Владимир

НАБОКОВ

В. СИРИНЪ

EXCLUSIVE
AUTHORIZED
EDITION
▪
THE ESTATE
OF VLADIMIR
NABOKOV

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИМПОЗИУМ»

Владимир

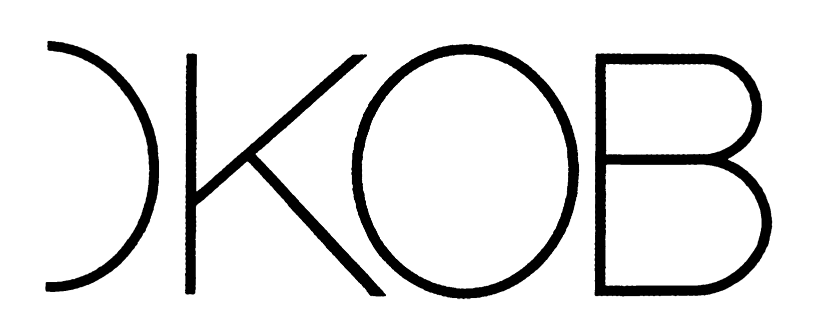
НАБС

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ РУССКОГО ПЕРИОДА В ПЯТИ ТОМАХ

Столетие со дня рождения

1899

1999



Vladimir Nabokov

COLLECTED RUSSIAN LANGUAGE WORKS

In Five Volumes

Volume Two

This edition published by arrangement with the Estate of Vladimir Nabokov

ВЛАДИМИР НАБОКОВ
(В. Сиринъ)

1926-1930

Машенька
Король, дама, валет
Защита Лужина
Рассказы
Стихотворения

Драма

Эссе. Рецензии

Санкт-Петербург
«Симпозиум»
2009

ББК 84 Р
Н14

Издание осуществлено в рамках соглашения
The Estate of Vladimir Nabokov
и Издательства «Симпозиум»

Составление
Н. И. Артеменко-Толстой

Предисловие
А. А. Долинина

Примечания
М. Э. Маликовой, В. Б. Полищук, О. В. Сконечной,
Ю. Левинга, Р. Д. Тименчика

Художник
М. Г. Занько

Редактор тома
М. В. Козикова

Издательство выражает признательность Д. В. Набокову, N. Smith, D. Barton Johnson, С. Б. Ильину, Е. Б. Белодубровскому, Е. Б. Шиховцеву, И. С. Зверевой, Г. Б. Глушанок, А. В. Глебовской и С. Р. Федякину за их помощь и содействие в процессе подготовки этого издания.

ISBN 978-5-89091-389-0 (Т. 2)
ISBN 978-5-89091-381-4

От Издательства

Этот том собрания сочинений В. В. Набокова-Сирина (1899–1977) русского периода включает в себя первые романы — «Машенька» (1926), «Король, дама, валет» (1928), «Защита Лужина» (1930), — которые четко обозначили стилистический характер автора, выявили его языковые причуды и пунктуационные капризы, которые мы сочли необходимым представить вниманию вдумчивого читателя.

В данном томе, продолжая следовать хронологическому принципу, мы располагаем рассказы и стихотворения, позднее объединенные автором в сборники, в порядке их первых публикаций в периодической печати, дабы ознакомить читателя с жанровой и творческой эволюцией В. Набокова.

В настоящем собрании впервые републикуется набоковский перевод отрывка из поэмы Теннисона «In Memoriam» (1926), рецензия «Выставка М. Нахман-Ачария» (1928), впервые полностью — рецензия «Ирина Одоевцева. “Изольда”» (1929). Также здесь представлены рассказы, не вошедшие в прижизненные сборники, и небольшие заметки-постскриптумы, в которых Набоков вносит ясность в свои пострадавшие от опечаток рецензии на произведения Раисы Блох (1928) и Довида Кнута (1928).

Приводя тексты в соответствие с современными нормами правописания, мы бережно сохраняем авторскую пунктуацию (в том числе и в способе оформления прямой речи) и некоторые особенности орфографии начала века (в основном это касается заимствованных слов и имен собственных), внося лишь необходимые коррективы.

Во всех возможных случаях тексты сверяются с первыми публикациями, расхождения с последующими изданиями отражаются в примечаниях.

Собрание сочинений публикуется по согласованию с The Estate of Vladimir Nabokov, с разрешения сына писателя, Дмитрия Владимировича Набокова.

ИСТИННАЯ ЖИЗНЬ ПИСАТЕЛЯ СИРИНА: ПЕРВЫЕ РОМАНЫ

Когда Федор Годунов-Чердынцев в «Даре» собирается писать автобиографический роман, он говорит: «Я это все так перетасую, перекручу, смешаю, разжую, отрыгну... таких своих специй добавлю, так пропитаю собой, что от автобиографии останется лишь пыль, — но такая пыль, конечно, из которой делается самое оранжевое небо». Молодому Набокову этот рецепт был еще неведом, и в «Машеньке», его первом романе, автобиография присутствует отнюдь не в пылеобразном состоянии. Как впоследствии признавался писатель, «Машенька» была для него неким терапевтическим средством: в ней он «отделывался от самого себя» и «утолял томление» по своей первой любви и утраченному вместе с ней дому; в нее он перенес — «как через океан перевозится разобранный замок» — свои сокровенные воспоминания о юношеских «годах сирени и тумана».

Читатель, знакомый с его автобиографической книгой «Другие берега» (или с ее английскими вариантами), легко узнает в зеленовато-сером деревянном двухэтажном доме родителей Ганина и в парковых аллеях набоковскую Выру, в «усадьбе александровских времен на зеленом холму» над рекой Оредежь, где встречаются Ганин и Машенька, — усадьбу дяди Набокова В. И. Рукавишникова в Рождествено, в смуглой смешливой Машеньке — первую возлюбленную Набокова, названную в автобиографии Тамарой (на самом деле ее звали Валентина [Люся] Шульгина). Совпадает и множество тщательно воссозданных подробностей: старинный умывальник в комнате, разноцветные стекла на веранде, нитяные перчатки буфетчика, шлюзы водяной мельницы, красный, как терракота, берег Оредежи, велосипедные поездки по вечерам при свете карбидного фонаря, серая шубка Машеньки-Тамары, последняя встреча в тамбуре поезда, несущегося «между дымящихся торфяных болот в желтом потоке вечерней зари», крутая каменистая тропа в Крыму, где герой читает письмо от любимой, глядя на перламутровое (в «Других берегах») или розовато-млеющее (в «Машеньке») небо. Сравнивая «Машеньку» с «Другими берегами», сам Набоков не без удивления отметил, что, «несмотря на выдуманные эпизоды (как, например, драка с деревенским хулиганом или свидание среди светляков в безымянном городке),

настойка личной реальности в романизированном рассказе оказалась крепче, чем в строго-правдивом автобиографическом изложении»[1].

В настойку личной реальности Набоков подмешал изрядное количество специй, заимствованных из русской литературной традиции. На связь с нею прямо указывают как эпиграф к «Машеньке» из «Евгения Онегина», вводящий тему элегического, сновидческого воспоминания о «начале жизни молодой», так и само имя героини романа, восходящее к именам пушкинских героинь[2] и адресата «Заблудившегося трамвая» Гумилева:

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла!

Усадебные красоты романа не могут не напомнить дворянские гнезда Тургенева, а в ночных его садах и впрямь водится «фетовский соловей». Посылая Левушку Ганина в Крым, Набоков, как позже в «Подвиге», вводит ассоциацию с изгнанием Пушкина (едва ли случайно герой носит имя младшего брата поэта); помещая его на «каменистую тропу», он, конечно же, учитывает ее родство с «кремнистым путем» у Лермонтова и его модификациями у Блока. Блоковскими мотивами насыщен и эпизод прощания Ганина с Машенькой, где пылают те же «пожары дымные заката, пророчества о нашем дне», что и в «Возмездии»[3].

С точки зрения стиля многие лирические пассажи «Машеньки» тоже вполне традиционны. В «Другие берега» Набоков включил пародию на «парчовую прозу» Бунина — своеобразный

[1] См. его предисловие к английскому переводу «Машеньки»: В. В. Набоков: Pro et contra. / Антология. СПб., 1997. С. 67–68.

[2] «Исключительное пристрастие» Пушкина к имени Мария было отмечено Ходасевичем, назвавшим главных героинь «Бахчисарайского фонтана», «Метели», «Капитанской дочки», «Дубровского», «Полтавы», «Марии Шонинг», а также занимающих не столь центральные места графиню Б. в «Выстреле» и Машеньку в «Отрывке из романа в письмах». Кроме того, к этому же ряду Ходасевич отнес Мариулу из «Цыган» и неназванную Марию в элегии «Редеет облаков летучая гряда» (В. Ходасевич. Поэтическое хозяйство Пушкина. Л., 1924. С. 77–78). Ср. также в «Дон Жуане» Байрона: «I have a passion for the name of “Mary”, / For once it was a magic sound to me: / And still it half calls up the realms of fairy / Where I beheld what never was to be» (песнь V, стр. 4).

[3] Подробнее об этом см. мою заметку «Набоков и Блок» (Тезисы докладов научной конференции «А. Блок и русский постсимволизм». Тарту, 1991. С. 36–44).

коллаж цитат и реминисценций из разных текстов писателя, связанных типично бунинским синтаксисом: «...и герой выходит в очередной сад, и полыхают зарницы, а потом он едет на станцию, и звезды грозно и дивно горят на гробовом бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей, и в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости опевают ночь петухи». Но одновременно — хотел Набоков того или не хотел — эти каденции пародируют его собственную молодость, его «Машеньку», которая изобилует характерными для Бунина разветвленными периодами с чередой сочинительных союзов и всеми атрибутами его изобразительности. Явственно слышны в первом романе Набокова и отзвуки Чехова, особенно в диалогах.

Однако, при всей опоре «Машеньки» на литературную традицию, Ю. Айхенвальд был не прав, когда, прослушав роман в авторском чтении, сгоряча назвал Набокова вторым Тургеневым. Сама традиция в романе не только воспроизводится, но и становится предметом рефлексии; отталкиваясь от традиции, Набоков ищет способы ее обновления. Недаром симпатичный Антон Сергеевич Подтягин, старый поэт с инициалами и отчеством Пушкина, именем Чехова и значимой фамилией (он не солирует, но только подтягивает классикам), певец березок и речной волны, обречен в романе на немоту и гибель, — наследие отцов себя исчерпало, и настает очередь тех, кто, говоря словами из послесловия к «Лолите», его по-своему преодолевает. Уже первым романом Набоков осознанно закладывает фундамент новой поэтики. Лирические воспоминания прошлого помещаются в раму жесткого повествования о настоящем; текст получает неожиданную, противоречащую читательским ожиданиям развязку; принципом его организации становится система повторов и лейтмотивов; существенная информация вводится исподволь, незаметно; точка зрения повествователя приобретает подвижность, заезженные, легко узнаваемые темы начинают звучать в «Машеньке» иначе, чем у набоковских литературных учителей. Элегические ретроспекции романа — это нечто большее, чем очередная попытка «воспомнить прежнюю любовь», возопить с тоской: «Машенька (или Мисюсь, или Ася), где ты?» — или, вслед за Буниным, призвать к возвращению в Элизиум былого. Герой «Машеньки» Ганин тоскует не столько о любимой девушке, с которой он расстался несколько лет назад, так и не сумев ею овладеть (мотив, спародированный в истории детской любви героя «Лолиты» к прекрасной Аннабеле Ли), сколько по утраченным месту и времени — по тому состоянию «дрожащего счастья», которое он пережил в юности. «И куда все это делось, — вопрошает Ганин. — Где теперь это счастье и солнце, эти рюхи, которые так славно звякали и скакали, мой велосипед с низким рулем и большой передачей?» «Боже мой, где оно — все это далекое,

светлое, милое...», — вторит ему Машенька, причем в их ламентациях явственно звучит эхо «Трех сестер»[1]. Однако в отличие от чеховских персонажей, обреченных тосковать по своей несуществующей «Москве» и оставаться несчастными, изгнанник Набокова получает возможность усилием воображения и памяти превратить потерянное в сверхреальное, вечно сущее и потому быть счастливым вопреки любой трагической утрате:

Вдали от ропота изгнанья
живут мои воспоминанья
в какой-то неземной тиши.
Бессмертно все, что невозвратно,
и в этой вечности обратной —
блаженство гордое души.

(«Весна», 1925)

Перефразируя известную поговорку, можно сказать, что он переживает изгнание как счастье (ср. первоначальное заглавие романа) по парадоксальному принципу: «Что имеем, не храним, потерявши — обретаем».

В «Других берегах» Набоков замечает, что он по-настоящему «ощутил горечь и вдохновение изгнания» в Крыму, получив письмо от «невымышленной Тамары», и долгое время потеря родины оставалась для него равнозначной потере возлюбленной. Так и для изгнанника Ганина[2], оторванного от «теплой громады родины», Машенька — это всего лишь часть, заменяющая целое, персонификация подлинного предмета ностальгии, знак невозвратной утраты, причем утраты даже не России как таковой, а *его* России, то есть того поэтизированного образа Дома, который хранится в его памяти и потому переходит в «обратную вечность».

Этому образу-миру прошлого в романе резко противопоставлен перевернутый мир эмигрантского настоящего: чужой город, проходящий перед героем словно «движущийся снимок» на экране; дом, где живут неприкаянные беглецы, расположенный рядом с железной дорогой, «на железном сквозняке» истории; неуютный и неблаговонный пансион с листками из прошлогоднего календаря вместо номеров на дверях. Если прошлое в воспоминаниях

---

[1] Ср.: «Ирина *(рыдая)*. Куда? Куда все ушло? Где оно? О Боже мой, Боже мой!» (действие 3); «Андрей. О где оно, куда ушло мое прошлое, когда я был молод, весел, умен...» (действие 4).

[2] Обращает на себя внимание звуковой состав придуманной героем фамилии, под которой он живет за границей. Она анаграммирована в словах «изГНАНИе» и «изГНАНнИк» и одновременно созвучна английскому «gone» в значении «ушедший» и «то, что ушло».

Ганина вещественно, объемно, многоцветно, осмысленно, то настоящее призрачно, одномерно и абсурдно. В системе образов романа эмиграция — это полустанок, где застряли и сбились в кучу выброшенные из экспресса пассажиры; жизнь проносится мимо и сквозь них, а они — бездомные, потерянные, одинокие — ведут мнимое существование теней или (используя другую важную метафору романа) кинематографических статистов, не ведающих, в какой картине они участвуют.

Приспособиться к мнимой жизни способен лишь тот, кто не ощущает ее неподлинности, ибо лишен памяти о потерянном Эдеме. Из всех обитателей пансиона госпожи Дорн реального успеха добиваются только балетные танцовщики Колин и Горноцветов, безобидная чета гомосексуалистов — вечные изгои *par excellence,* не нуждающиеся в Доме. Вполне может рассчитывать на успех и муж Машеньки, Алексей Иванович Алферов, затевающий какое-то конторское дело. Этот провинциальный гимназический учитель имеет богатую литературную генеалогию: он, безусловно, близкий родственник еще одного «Машиного мужа», своего коллеги Кулыгина в «Трех сестрах», и других чеховских учителей, а когда, напившись, он плюет в стену, то в нем обнаруживается семейное сходство с Передоновым из «Мелкого беса» Сологуба. Как и его литературные предшественники, Алферов являет собой воплощение мировой пошлости, которая у Набокова, долго и успешно ее изучавшего, всегда понимается как узость и слепота самодовольного, эстетически не развитого сознания. В романе он подчеркнуто неприятен физически, у него «маслянистый» и «неприятно певучий» голос; он изъясняется стертыми штампами начала века («женственность, прекрасная русская женственность...») и плоскими математическими аналогиями, а главное, не любит и не хочет вспоминать Россию. «С Россией кончено, — заявляет он. — Смыли ее, как вот, знаете, если мокрой губкой мазнуть по черной доске, по нарисованной роже». Лишенный творческой памяти, «Машин муж» в конечном счете Машенькой не обладает и Ганину не соперник: ведь Машенька-Россия, Машенька-психея закрыта для его вульгарной слепоты и принадлежит ему только формально — в призрачном, мнимом настоящем, тогда как Ганин обладает ею в иной, «бессмертной действительности».

По контрасту с танцовщиками и Алферовым, другие соседи Ганина по пансиону любят и помнят Россию, но не способны эту память творчески преобразовать. Обречена на полное одиночество милая Клара, вырванная из естественной среды обитания чеховская барышня с «замечательными синевато-карими глазами», чьи жалобы на жизнь в «Машеньке» — еще одна цитата из «Трех сестер»:

Мне уже двадцать шесть лет, (...) я целое утро стучу на машинке и пять раз в неделю работаю до шести. Я очень устаю[1].

Умирает на руках у чужих людей поэт Подтягин, автор банальных стихов, которых он сам теперь стыдится, потому что из-за них «всю свою жизнь проглядел, всю Россию». Обеим этим жертвам главный герой романа сочувствует, но разделять их судьбу не желает и ищет спасения от «дурного сна изгнания».

Характер и биографию взрослого Ганина, в отличие от нежного мальчика Левы, Набоков строит отнюдь не по образу и подобию своему, а скорее от противного. Это хамоватый и надменный кадровый офицер, самовлюбленный сильный мужчина, который ходит на руках как акробат, поднимает стул зубами и «рвет веревку на тугом бицепсе». Не следует думать, однако, что Набоков утрирует мужские достоинства своего героя (как он утрирует недостатки его антагониста, пошляка Алферова), чтобы вызвать симпатию к нему. Наоборот, писатель пытается если не развенчать «сильную личность», то уж по крайней мере взглянуть на нее с иронической дистанции, и показательно, что в письме к матери он называет Ганина «не очень симпатичным господином». Во всяком случае, ни физическая сила, ни мужественный характер, ни тренированная воля не спасают его от духовного паралича, от той «туманной дремоты», в которую он погружается в изгнании, и пробуждением его становится не действие, не поступок, а, напротив, полное бездействие, оцепенение, когда он полностью погружается в чистое воспоминание-созерцание. От внешнего толчка — фотографии Машеньки, показанной ему Алферовым, — в сознании Ганина «переставляются световые призмы», и он, выходя из потока времени, попадает в иное, «более действительное и интенсивное» измерение — попадает, пользуясь терминами Шопенгауэра, усвоенного Набоковым через Фета, из мира как воля в мир как представление:

Воспоминание так занимало его, что он не чувствовал времени. Тень его жила в пансионе госпожи Дорн, — он же сам был в России, переживал воспоминанье свое как действительность. Временем для него был ход его воспоминания, которое развертывалось постепенно.

---

[1] Ср.: «Ирина *(сдерживаясь)*. (...) Мне уже двадцать четвертый год, работаю уже давно, и мозг высох, похудела, подурнела, постарела...» (действие 3). Избавляясь от интонаций чеховской драматургии, Набоков в дальнейшем превратит их в объект пародирования. Так, например, пародии на «Три сестры» обнаруживаются в «Приглашении на казнь», где тон героинь Чехова имитирует мать Цинцинната, в пьесе «Событие» и даже в «Аде».

По сути дела, не столь уж важно, *что* именно вспоминает Ганин. Значительно важнее, *как* он это делает. Набоков уподобляет своего героя «богу, воссоздающему погибший мир», и шесть дней, которые охватывает основное действие романа (с понедельника до субботы), явно соотнесены с шестью днями творения. Сны наяву Ганина уподобляются творческому акту — как художник, он тщательно отбирает эстетически значимые элементы и организует их в «ровный узор», выстраивая связный «текст». «Это был удивительный роман, развивающийся с подлинной, нежной осторожностью», — говорит повествователь о воспоминаниях своего героя, и само слово «роман» здесь получает два значения: не только любовь, но и «книга» о ней — книга воображенная, созданная вырвавшимся из плена времени сознанием, хотя и не записанная.

Почти до самого конца Ганин не вполне ведает, что творит. Ему кажется, что его воспоминания — это лишь пролог к главному сюжету, который должен разворачиваться не в мире сознания, а в мире «реальности», и он строит планы счастливой «новой жизни» с не изменившейся Машенькой. И только в самый последний момент Ганин понимает, что его «книга» дописана до конца и, в отличие от тургеневского романа, не должна иметь эпилога.

В отказе Ганина от встречи с Машенькой в финале романа не следует видеть только повторение трюизма, что «домой возврата нет», или преодоление эгоистических иллюзий «сильной личности». Едва ли можно согласиться и с утверждением Ю. Левина, что «тема реальности / нереальности повисает в виде типично набоковских качелей, совершающих в сознании читателя свои колебания от одной “реальности” к другой» [1]. Истинным, **окончательным** пробуждением героя, «тайным поворотом» его судьбы Набоков называет даже не его уход, а момент прозрения, так сказать, просветления оптики, когда он начинает смотреть как художник «с какой-то свежей любовью» не назад, в прошлое, а вокруг себя, на настоящее, — момент преображения человека, одержимого памятью об утраченном прошлом, в человека, творчески открытого миру, «полному чудес и преступлений». Как уже много раз было отмечено, центральной метафорой финала «Машеньки» становится достраивающийся, почти подведенный под черепичную крышу дом (образ, вероятно, заимствованный у Пруста, писавшего об «огромном здании воспоминания»). К этому дому Набоков соприравнивает одновременно и свою книгу, которую мы вот-вот дочитаем до конца, и сознание ее

---

[1] Ю. Левин. Заметки о «Машеньке» В. В. Набокова // В. В. Набоков: Pro et contra. С. 369.

героя, которое изжило ностальгическую тоску по прошлому, преобразовав ее в законченный «роман», и вот-вот будет достроено. И когда в самой последней фразе романа он сажает Ганина в движущийся поезд и снова, в какой уже раз, погружает его в сон, это уже не «туманная дремота» его былого духовного ступора и не сновидческая «жизнь воспоминаний», а то «редчайшее, необычайное» сновиденье, смысл которого он прежде не смог понять, — тот пришедший в движение творческий сон, который «живее самой живой мечты о минувшем».

В своей любопытной, но далеко не бесспорной статье о русских романах Набокова Виктор Ерофеев заметил, что «Машенька» — это «первая попытка Набокова вернуть потерянный рай» [1]. Осмелюсь возразить эссеисту: отнюдь не первая (вспомним десятки, если не сотни ностальгических стихов) и для русской прозы писателя, если не считать — *mutatis mutandis* — «Дара», последняя. «Машенька» одновременно завершает первый, ранний период истинной жизни Сирина и открывает новый — она конденсирует все питавшие его лирику ностальгические воспоминания и в то же время изживает их. В этом смысле финал романа можно прочесть как прощание Набокова с собственной литературной молодостью, прощание с лирическими грезами. Итогом его погружения в прошлое становится понимание того, что в творчестве совершается не вечное возвращение, а вечное преображение и что художник — не «бог, воссоздающий погибший мир», а бог, создающий новые миры из любого подручного материала. Уже в следующем своем романе, «Король, дама, валет», Набоков демонстративно, даже с некоторым вызовом, отказывается от ностальгических и эмигрантских тем, которые, по мнению критиков, сулили ему большое будущее, и изящно разыгрывает жестокий фарс «из иностранной жизни». Если в финале «Машеньки» Ганин (в известном смысле *alter ego* писателя) уезжал на поезде прочь из русского Берлина, то в начале «Короля, дамы, валета» поезд движется в противоположном направлении, привозя совсем другого героя — юного немецкого провинциала Франца — в совсем другой Берлин, Берлин немецкий.

За сюжетом «Короля, дамы, валета» отчетливо просматриваются модели западного реалистического романа, от Стендаля и Бальзака до Драйзера. Уже сама завязка действия — никому не известный бедный юноша из захолустного городка, мечтающий об успехе и богатстве, отправляется в столицу, где должны исполниться его грезы, — напоминает о бальзаковском Растиньяке и прочих персонажах того же типа, чьей судьбе так отчаянно

---

[1] В. Ерофеев. Русская проза Владимира Набокова // В. Набоков. Собрание сочинений в четырех томах. М., 1990. Т. 1. С. 16.

завидовал герой «Зависти» Юрия Олеши (книги, с которой Набоков вступает в тайное противоборство). Огромный универмаг, куда поступает на службу набоковский Франц, имеет явные прообразы в «Дамском счастье» Золя и «Сестре Керри» Драйзера. Как и большинство его западноевропейских романических предшественников, герой «Короля, дамы, валета», едва освоившись в столице, вступает в связь с немолодой замужней женщиной, несчастливой в браке с богатым мужем-коммерсантом; их адюльтер сначала развивается по образцу «запретной любви» Эммы и Леона в «Госпоже Бовари» Флобера [1], а затем, когда любовники задумывают убийство докучного мужа, начинает перекликаться с «Терезой Ракен» Золя, хотя способ преступления Набоков заимствует из недавно прочитанной «Американской трагедии» Драйзера.

Однако, сдав себе карты из старой, изрядно замусоленной романической колоды, Набоков раскладывает из них собственный, весьма своеобразный пасьянс. Когда коммерсант Драйер нанимает на работу скульптора и профессора анатомии, ему доставляет «непрестанное наслаждение» расхождение их внешности с привычными стереотипами: «долговязый, бледный, неряшливый, с орлиным взглядом, длинными, откинутыми назад волосами и большущим кадыком» — не художник, а ученый, тогда как «солидный, седой, в очках, в высоком крахмальном воротнике» — не профессор, а скульптор. В этом незначительном, на первый взгляд, эпизоде можно усмотреть прямую параллель принципам, положенным в основу поэтики романа, который постоянно провоцирует определенные читательские ожидания только для того, чтобы их шаловливо обмануть.

Напрасно, например, читатель стал бы искать в романе изображение Берлина двадцатых годов, которое соответствовало бы привычным образам города, повторяющимся в десятках книг и кинофильмов. Набоковский Берлин не похож ни на тот

---

[1] К «Госпоже Бовари» в романе отсылают не только некоторые детали (как, например, отмеченные многими комментаторами красные домашние туфельки Марты — интимный подарок Франца, аналогичный «домашним туфлям из розового атласа», подарку Леона Эмме), но и ряд важных мотивов: обман доверчивого мужа (Эмма выдает любовные свидания за уроки музыки, а Марта — за уроки ритмической гимнастики), порабощение любовника (ср. мысли Леона об Эмме в «Госпоже Бовари»: «...она все больше и больше порабощала его личность»), подстрекательство к преступлению (когда Эмма просит Леона украсть для нее деньги из конторы, «молодой человек чувствовал, что он не в силах противодействовать молчаливой воле этой женщины, толкающей его на преступление»).

унылый, серый, скучный город, где «улица неотличима от улицы»[1], а «дома одинаковые как чемоданы»[2], который любили проклинать его временные русские жильцы, ни на ту блистательную, многоликую, постоянно меняющуюся столицу «модернизма» во всех его проявлениях — в искусстве, музыке, театре, архитектуре, в бурной «низовой» культуре кабаре, джаза, модных танцев, нудизма и профессионального спорта, в «американизации» быта, в раскрепощенных сексуальных нравах, — о которой много писали современные журналисты, писатели и позднейшие западные мемуаристы. Характерно, что дневной Берлин мы впервые видим в романе близорукими глазами Франца, только что раздавившего свои очки: город утрачивает очертания, сияет и переливается, становится неясным, зыбким, «призрачно-окрашенным», дразня героя несходством с фотографическими открытками, по которым он рисовал его в своем банальном воображении. Столь же необычный, «остранняющий» ракурс Набоков находит едва ли не для всех сцен городской жизни. Герой романа осматривает универмаг ночью, при свете карманного фонаря, удивляясь «сказочности угловатых отсветов и призрачной бездны кругом, где смутные, усталые, за день перещупанные вещи отдыхали в причудливых положениях»; в центральные кварталы города он попадает после дождя, когда в лужах сквозят «просветы в опрокинутый влажный мир, в головокружительную, геометрическую разноцветность»; во многих сценах люди и предметы вовлечены в прихотливую игру света и тени, отблесков и зеркальных отражений, резко сдвигающих привычную перспективу.

С очевидным полемическим сдвигом строит Набоков и характеры главных действующих лиц романа, образующих карточно-любовный треугольник, — юного «валета» Франца, опытной «дамы» Марты и обманутого «короля» Драйера. Близорукий, мягкотелый недотепа Франц ничем не напоминает энергичных, целеустремленных, обаятельных завоевателей западноевропейских столиц; хотя он и похож на флоберовского Леона, юношу, по определению разочаровавшейся в нем Эммы, «заурядного, бесхарактерного, безвольного... да к тому же еще скупого и трусливого», — но начисто лишен даже пошловатой романтической мечтательности своего прототипа. Это никчемный, пустоголовый приказчик с неразвитым, одномерным, плоским (как игральная карта) сознанием, который, попав под полный контроль своей

---

[1] См.: А. Белый. Одна из обителей царства теней. М., 1924. С. 7, 31.

[2] В. Шкловский. Zoo, или Письма не о любви, или Третья Элоиза. // В. Шкловский. Сентиментальное путешествие. М., 1966. С. 320.

любовницы, быстро теряет зачатки человечности и впадает в «машинальное полубытие», — превращается в «мертвую куклу», в бездушный автомат или «искусственный манекен», подобный тем механическим фигурам, которыми увлекается Драйер.

Мертвенное, оцепенелое бессилие Франца во всем, кроме секса, — это как раз то, что нужно от него Марте, которая ненавидит свободное, непредсказуемое многообразие живой жизни. Она убеждена, что «жизнь должна идти по плану, прямо и строго, без всяких оригинальных поворотиков», и, получив в свое полное распоряжение послушную куклу, наделенную чудесной фаллической силой, начинает планировать «неподвижное счастье» с ней. В отличие от Анны Карениной, Эммы Бовари и множества других своих литературных предшественниц по роли неверной жены, набоковская Марта движима не страстью, не мечтой о романтической любви, не жаждой свободы, а вульгарной волей к обладанию, к опредмечиванию жизни; сама идея убийства соприродна ее пошлому, эгоистическому сознанию, которое умертвляет все, на что оно обращено.

В эссе «Искусство литературы и здравый смысл» Набоков, парафразируя Августина, определил зло («badness») как нехватку или недостаток блага и заметил, что преступники — это, как правило, люди, лишенные воображения[1]. О том же размышляет в романе Драйер, когда осматривает экспонаты в музее криминалистики. Для него преступник, по определению, нудный, бездарный человек, глупец, тупой однодум или дурак-истерик, который пропускает «все чудеса ежедневной жизни, простое удовольствие существования», ибо лишен любопытства. Увы, он и не подозревает, что его жена и племянник — это не «два совершенно человеческих, совершенно знакомых лица», а те самые бездарные «однодумы» из музейной коллекции, замышляющие банальное и подлое убийство. Герои-любовники «Короля, дамы, валета» открывают длинный ряд набоковских жестоких пошляков, чья злая, эгоистическая воля отчуждена от полноты бытия и в конце концов приносит гибель им самим. У них отсутствуют все свойства, без которых, по убеждению Набокова, человеческое сознание погружается во зло: воображение («фантазия всегда была ей ненавистна», — говорится в романе о Марте), наблюдательность, жалость, эстетический вкус (они приходят в восторг от пошлейшей — «тягучей, сладкой» — музыки и дешевых световых эффектов[2]), чувство юмора («у Франца юмор был туговат»; Марта

---

[1] V. Nabokov. Lectures on Literature. San Diego — N.Y. — L., 1980. P. 375–376.

[2] Сочетание цветов в этом эпизоде, когда прожектор «прилежно обдавал» скрипачку «то розовым, то зеленым светом», отсылает к знаменитому «розовому платью с зеленым поясом» Наташи в «Трех сестрах» Чехова — знаку вопиющей безвкусицы.

смеется, «когда шлепается пожилая дама»). Поэтому все их действия, мысли, чувства не оригинальны, а представляют собой «невольный плагиат»; поэтому они постоянно ошибаются, попадают впросак, строят неверные предположения. Так, Марта принимает зажигалку за настоящий револьвер или воображает, будто из комнаты Франца убрана кушетка, тогда как «там прежде стояло чужое пианино», а Франц долго не может понять, что в квартире нет никакой «старушонки», всегда сидящей в кресле спиной к двери (очевидная реминисценция сна Раскольникова в «Преступлении и наказании»), — только «седой паричок, надетый на палку» сумасшедшим домохозяином. Подобные промахи у Набокова всегда указывают на глубинную болезнь восприятия — на неспособность отличить живое, непредсказуемое, истинное от мертвого, детерминированного, поддельного, распознать скрытое значение развертывающегося сюжета жизни, оценить красоту «Не-Я». Герои «Короля, дамы, валета» слепы не только в мелочах, но и в главном. Близорукий (как в прямом, так и в переносном смысле) Франц попадает в плен к Марте потому, что видит в омерзительной хищнице мадонну, прекрасную даму и лишь с большим запозданием обнаруживает в ней стареющую женщину, «похожую на большую белую жабу». Неудачливые убийцы видят в своей жертве «схематичный объект», «плоский и неподвижный» предмет, которым «очень удобно орудовать», не отдавая себе отчета в том, что «невыносимо живой» Драйер, «который ходил, говорил, хохотал», не укладывается в их схемы и своими свободными, неожиданными поступками неизменно путает их карты.

В очередной раз переворачивая литературные стереотипы, Набоков изображает обманутого мужа отнюдь не бездушным сухарем типа Каренина, не жалким обывателем типа Шарля Бовари и не домашним тираном-импотентом типа Ракена у Золя, а, напротив, веселым, открытым, щедрым, спортивным человеком, по сравнению с которым герой-любовник особенно убог и нелеп. Из всех персонажей романа он наименее «буржуазен» (не в марксистском, а во флоберовском понимании этого термина, как любил уточнять Набоков) и наиболее приближен к полноте бытия, к благу. Книгочей, шутник, фантазер, мечтатель, «гуляка праздный», Драйер обладает недюжинной зоркостью и умением «с волнением воспринимать мелочи жизни»; он охоч до «пустых наблюдений» и «забавных подробностей»; ему претит пошлость во многих ее проявлениях. Его любовь к «прихотливой легкости», к свободной причуде, его открытость миру, который, по его убеждению, «кипит кругом, смеется, искрится каждый день, каждый миг, — просит, чтобы посмотрели, полюбили 〈...〉 как собака, стоит, служит, чтобы только поиграли с ним», делают «короля» романа потенциальным художником, творцом, и он даже способен испытать момент трансцендентного слияния со всем сущим,

который сродни вдохновению: «смешная легкость, млеющий блеск, утрата собственной личности, имени, профессии».

Правда, при всей его «остроглазости», Драйер способен наслаждаться лишь отдельными статичными моментами, игнорируя глубинную, динамическую связь между ними, их развитие во времени. «Ты только... скользишь, — говорит ему умная Эрика, его бывшая любовница. — Ты сажаешь человека на полочку и думаешь, что он будет так сидеть вечно, а он сваливается, — а ты и не замечаешь, — думаешь, что все продолжает сидеть, — и в ус себе не дуешь». По этой причине Марте и Францу удается столь легко его провести, хотя улик они оставляют предостаточно:

...с первого дня знакомства Франц представлялся ему забавным провинциальным племянником, точно так же, как Марта, вот уже семь лет, была для него все той же хозяйственной, холодной женой, озарявшейся изредка баснословной улыбкой. Оба эти образа не менялись по существу, — разве только пополнялись постепенно чертами гармоническими, естественно идущими к ним. Так художник видит лишь то, что свойственно его первоначальному замыслу.

Точечное сознание Драйера обладает весьма важными свойствами, которые, согласно Набокову, необходимы, но недостаточны для полноценной творческой личности, — оно соприродно скорее легким жанрам в литературе и музыке или, скажем, моментальному фотоснимку (ср. мотив фотографии в романе, связанный с Драйером, который один раз, как бы невзначай, назван «братом» фотолюбителя), нежели всеобъемлющему видению истинного «художника Божией милостью», приход которого возвещает нищий фотограф в главе XII. Однако, как гласит английская поговорка, «в стране слепых одноглазый — король»: даже ограниченный, но свободный и беззлобный творческий дар Драйера является его «гарантией духа человеческого» и делает его подлинным «королем» романа.

В рецензии на «Короля, даму, валета» М. Цетлин проницательно заметил, что «немецкое» у Набокова пропущено через призму русской литературной традиции [1], чьи иронические отзвуки, добавим, создают в тексте некую идеальную парадигму, с которой персонажи и основные сюжетные события соотнесены как сниженные, пародийные варианты. Если в английской версии романа, например, повествователь должен сообщать читателю, что Марта не похожа на Анну Каренину, то в русском оригинале несходство выявляет тонкая перекличка: вернувшись домой после первого любовного свидания с Францем, Марта не узнает собственного мужа, подобно тому как Анна, вернувшись из Москвы,

---

[1] Современные записки. 1928. Кн. XXXVII. С. 536–538.

недоумевает, отчего у Каренина «стали такие уши». В одном из нереализованных планов убийства Драйера звучит эхо сцены в ночном саду перед убийством Федора Павловича в «Братьях Карамазовых», которую Набоков, кстати сказать, считал выдающимся художественным достижением [1]. Сумасшедший домохозяин Франца — «старичок в сером» — представляет собой снижающую пародию на призрак «старичка с серыми глазами», обыгрывающего в штосс героя незаконченной повести Лермонтова, и на демонического старика-домохозяина в «Хозяйке» Достоевского. Когда Марта и Франц устраивают «генеральную репетицию уже недалекого счастья», притворяясь, что Драйер (уехавший на лыжный курорт) давно мертв, и им слышатся страшные, таинственные звуки, как будто «покойник» восстал из гроба, они, сами того, конечно, не осознавая, разыгрывают профанную травестию финала пушкинского «Каменного гостя» и «Шагов Командора» Блока. Стук двери, бой ночных часов и автомобильный рожок возвещают не появление мертвого супруга, явившегося, чтобы наказать живых, а внезапное возвращение «невозможно живого мужа», вступающего в дом — по воле судьбы, — дабы посмеяться над «мертвыми» любовниками. «Нам повезло... Судьба нас чудом спасла, — объясняет Марта Францу. — Но это урок», — и она права, но смысл этого урока, этого фарсового предостережения о тщете их преступных планов, от нее не может не ускользнуть, ибо лежит за пределами ее ограниченного кругозора — в игре литературными аллюзиями, ведомыми только автору и читателю, но не персонажам.

Особо важное место среди подтекстов «Короля, дамы, валета» занимает «Пиковая дама», к которой прямо отсылают уже три карты в заглавии романа. Как и у Пушкина, судьба в финале жестоко подшучивает над стремящейся к обогащению героиней, неожиданно отправляя ее на тот свет и тем самым реализуя буквальное значение убийственной для Германна реплики Чекалинского: «Дама ваша убита». Подобно Германну, «расчетливые немцы» Набокова не доверяют «оборотням случая», желают действовать наверняка, устранить непредсказуемость из жизни и потому в конце концов оказываются в дураках. Судьба для них есть некий заранее предопределенный, «простой и честный» сценарий, который нетрудно воплотить в реальность, то, что, по словам Марты, «иначе и не могло быть», тогда как на самом деле она многовариантна, прихотлива, обманчива и непредсказуема с точки зрения тех, кем играет. И у Пушкина, и у Набокова замысел судьбы, ее «сверхзадача» выявляется только через случай,

---

[1] См. об этом: А. Долинин. Набоков, Достоевский и достоевщина // Литературное обозрение. 1999, № 2. С. 38–45.

который задним числом может быть переосмыслен как продуманный и мотивированный ход в «таинственной игре», или, по известной пушкинской формуле, как «мощное, мгновенное орудие Провидения». В «Короле, даме, валете» Набоков многократно подчеркивает, что Драйер полагается на случай, не боясь проигрыша, — он «случайный коммерсант», у него «случайное богатство», он ценит «случайные совпадения», он рискует своими деньгами, — и потому в конечном счете ему везет, хотя он и остается в счастливом неведении относительно собственного выигрыша: судьба спасает его не только от гибели, но и от знания оскорбительной для него правды.

Анализируя сюжет «Пиковой дамы», Ю. М. Лотман заметил, что мехнизмом, который им движет, становится сама азартная игра в фараон, в которой все зависит от случая: «Тема карточной игры вводит в механизм сюжета, в звено, заключенное между побуждениями героя и результатами его действий, случай, непредсказуемый ход событий. Случайность становится и механизмом сюжета, и объектом размышлений героя и автора. Сюжет начинает строиться как приближение героя к цели, за которым следует неожиданная катастрофа» [1]. Хотя сюжет «Короля, дамы, валета» и построен сходным образом, его приводит в действие принципиально иной механизм, ибо сама тема карт в тексте отсутствует (лишь в одной сцене упоминаются трое игроков в скат) и вводится только через заглавие и тематические переклички с «Пиковой домой», что связывает ее не с персонажами, а с образом автора, полновластного хозяина изображаемого мира, его Промыслителя. Всесильный автор прочно держит в своих руках все нити сюжета или нити судеб — по отношению к героям-картам он занимает позицию тайного Провидения, организующего кажущиеся случайности в единое, художественно осмысленное целое.

В «Короле, даме, валете» Набоков впервые опробует целый ряд приемов, которые впоследствии составят ядро его игровой поэтики: «случайные совпадения» соединяются в значимые дуплеты и серии, второстепенные мотивы и события ретроспективно оказываются скрытыми предвосхищениями романного будущего, реалистически мотивированные реплики действующих лиц приобретают двойной смысл, иронически комментируя сюжет и построение текста. Кроме того, в роман вводятся персонажи особого типа — своего рода «агенты судьбы», оказывающие существенное — хотя и неявное для героев — влияние на ход событий. Это,

---

[1] Ю. Лотман. «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века // Ю. Лотман. Пушкин. СПб., 1995. С. 786–814.

с одной стороны, демонический «старичок в сером», домохозяин Франца с библейским прозвищем Менетекелфарес, которое отсылает к легенде о таинственной надписи, появившейся на стене дворца царя Валтасара во время пира и истолкованной Даниилом как пророчество о его гибели, «мелкий бес», покровительствующий адюльтеру и преступным планам героев, а с другой — синещекий изобретатель, которого, как замечает повествователь, «судьба ⟨...⟩ послала — вдогонку, вдогонку» Францу, чтобы, в конечном счете, спасти Драйера от гибели. В романе они противопоставляются друг другу как гений Зла и гений Добра, олицетворяя важнейшую для всего творчества Набокова антитезу двух типов отношения: «Я» и «Не-Я» — или двух типов сознания: закрытого, мертвого, солипсистского и открытого, творческого, преобразующего. «Серый старичок», так же как и его подопечные, убежден, что «весь мир — собственный его фокус» и что другие люди полностью подчиняются его злой воле, тогда как единственное его «творение» — это грубая, неподвижная имитация живого. Изобретатель же, напротив, как новый Пигмалион, пытается преобразовать и оживить неживую материю, придать ей «стилизованную одухотворенность» и «одухотворенную гибкость», заставить двигаться неподвижное, что превращает его проект в метафору авторского художественного замысла.

Наконец, в финальных сценах романа на периферии действия появляется и сам его автор, который как бы отправляется в созданный им мир с инспекционным визитом (еще один прием, впоследствии многократно использованный Набоковым). Сигналом к его появлению становится русская фамилия «Пороховщиков», случайно обнаруженная Драйером в списке гостей приморского отеля. Перерабатывая «Короля, даму, валета» для американского издания, Набоков заменил ее на анаграмму своего имени: Блавдак Виномори (= Владимир Набоков) и тем самым прямо связал с образом автора. В оригинале эта связь введена намного тоньше: избранная фамилия отсылает одновременно и к реальному роду Пороховщиковых, родне Набокова [1], и, семантически, к литературным «родственникам» текста — к Пушкину (через метонимическое соотнесение «порох / пушка», а также

[1] Я благодарен В. П. Старку, указавшему мне на этот биографический факт. Впоследствии Набоков будет неоднократно давать фамилии родственников (Шишков, Веретенников, фон Граун и мн. др.) своим персонажам. Любопытно, что в «Защите Лужина» пьяные немцы принимают потерявшего сознание русского героя за некоего Пульвермахера, чья фамилия в переводе с немецкого означает «пороховщик» — скрытая отсылка к «Королю, даме, валету», служащая сигналом авторского присутствия.

через фоническую перекличку с паронимией «Прохоров / похороны» в «Станционном смотрителе»[1]) и к Достоевскому (напомню, что внезапно появляющийся в финале «Преступления и наказания» поручик Порох играет роль «агента судьбы»). Антропоморфный бог сотворенного им мира и его спутница в «сияющем синем платье», говорящие на «совершенно непонятном языке», являются Францу (который чувствует, что «они знают про него решительно все») в поворотный момент сюжета, когда ему внезапно открывается весь ужас его ситуации:

Иностранка в синем платье и загорелый мужчина в старомодном смокинге. Он давно заметил эту чету, — они мелькали, как повторный образ во сне, как легкий лейтмотив, — то на пляже, то в кафе, то на набережной. Но только теперь он осознал этот образ, понял, что он значит. У дамы в синем был нежно-накрашенный рот, нежные, как будто близорукие глаза, и ее жених или муж, большелобый, с зализами на висках, улыбался ей, и по сравнению с загаром зубы у него казались особенно белыми. И Франц так позавидовал этой чете, что сразу его тоска еще пуще разрослась.

Искушенный читатель, знакомый с более поздними романами Набокова, без труда обнаружит в этом фрагменте ключи, позволяющие распознать в «счастливой чете» самого Набокова и его жену Веру Евсеевну: портретное сходство, мотивы повтора, сна, художественного построения в сравнениях, фонические комплексы, перекликающиеся со словом «автор» и его истинной фамилией (пОВТОРный, ТО В КАфе, ТО НА НАБеРежной и т. п.). Любители переставлять буквы в маркированных набоковских пассажах, извлекая из них тайные «росписи» писателя, могут проделать эту операцию с коротким назывным предложением, открывающим описание иностранной пары, и найти в ней анаграммы полных имен Владимира Сирина и Веры Слоним. При их повторном появлении перед Францем, когда ему кажется, что «они его обсуждают», ветер — постоянный у Набокова атрибут богоподобного творца текста — срывает с «трубочки аспиринных таблеток», которые уже не понадобятся умирающей Марте, «аптечную бумажку» или, иными словами, сигнатурку (от *лат.* signum — «знак, отметка, клеймо», ср. *англ.* signature — «подпись»)

---

[1] Об анаграмматической игре в «Станционном смотрителе» см.: Вольф Шмид. Проза как поэзия. Статьи о повествовании в русской литературе. СПб., 1994. С. 45. Завязка пушкинской новеллы — переезд гробовщика Прохорова в немецкую слободу, где ему и являются мертвецы, — может рассматриваться как параллель к переходу Набокова от русских героев «Машеньки» к немецким «живым мертвецам» «Короля, дамы, валета».

с названием лекарства, в котором тоже спрятана подпись автора (аСпИРИН).

Входя в собственную книгу под личиной «счастливого иностранца», Набоков переключает читательское внимание с банальных персонажей и ситуаций романа на отнюдь не банальный способ их перекомпоновки и соединения в новые конфигурации — с фабулы романа на самое его строение. Если персонажам романа все происходящее с ними кажется лишь жестокой игрой случая наподобие фараона или рулетки, то с точки зрения автора (и его идеального читателя) события гармончно образуют единое, завершенное целое, подобное красивой шахматной партии или шахматной задаче. Недурной для дилетанта шахматный композитор, Набоков неоднократно проводил параллель между структурой своих произведений и хитроумными построениями на шахматной доске..Так, знаменитое описание шахматной задачи в «Даре» вполне может быть переадресовано его романам, и в частности — «Королю, даме, валету»:

Все было осмысленно, и вместе с тем все было скрыто. Всякий творец — заговорщик; и все фигуры на доске, разыгрывая в лицах его мысль, стояли тут конспираторами и колдунами. Только в последний миг ослепительно вскрывалась их тайна. (...) На доске звездно сияло ослепительное призведение искусства: планетариум мысли. Все тут веселило шахматный глаз.

В одном эпизоде «Короля, дамы, валета» шахматы, как метафора неумолимо развертывающегося, победоносного авторского замысла, «планетариума мысли», имплицитно противопоставляются «карточному» миропониманию героев: когда Франца перед самым отъездом из Берлина, к месту намеченного преступления, охватывает ужас и он думает, не лучше ли выброситься из окна, чем стать убийцей («...немножко нагнуться вперед, потерять равновесие и кинуться навстречу жадно подскочившей панели...»), на дальнем балконе, склонясь над освещенным столом, «двое играют в шахматы», причем шахматная партия заканчивается, как только герой сдается и малодушно решает выполнить волю Марты. Он не сомневается, что «все будет так, как она сказала», и только в «последний миг» романа убеждается в своей ошибке: неожиданный и эффектный мат в финале «партии» получает атакующая сторона.

Этот небольшой эпизод, в котором Набоков лишь намекнул на взаимосвязь мотивов судьбы, самоубийства и шахматной игры, по-видимому, можно считать первым прообразом его третьего романа «Защита Лужина», где шахматы — не только профессия и всепоглощающая страсть полубезумного, полугениального героя, в конце концов выбрасывающегося из окна, и не только

главная тема текста, но и — как карты в «Пиковой даме»[1] — его основополагающая семиотическая модель, по аналогии с которой строится весь романный мир. Искусство Набокова часто есть искусство изощренной реализации стертой метафоры, ее развертывания в сюжет, и в «Защите Лужина» он подобным же образом использует традиционное «сравнение нашей жизни с игрою в шахматы», которое уже Санчо Панса в «Дон Кихоте» находил далеко не новым: «Пока идет игра, каждая фигура имеет свое особое назначение, а когда игра кончилась, все фигуры перемешиваются... и попадают в один мешок, подобно как все живое сходит в могилу»[2]. Цитируя это место у Сервантеса в своих лекциях о «Дон Кихоте», Набоков привел и поэтическую параллель к нему — вольное переложение из Омара Хайяма английского поэта Эдварда Фицджеральда, которым он увлекался и о котором писал в двадцатые годы[3]:

> [Мы суть] лишь беспомощные фигуры в игре,
> Которую Он разыгрывает
> На шашечной доске Ночей и Дней;
> Двигает туда-сюда, шахует, съедает
> И одну за другой укладывает в ящик[4].

---

[1] Набоков, по-видимому, осознанно отталкивался от концепции игры в «Пиковой даме», заменяя карты (игру случая) на шахматы (игру расчета) со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кроме общей темы сумасшествия игрока, на это указывает сходный тип галлюцинаций Германна и Лужина, принимающих людей и предметы за, соответственно, тройку, семерку, туза и шахматные фигуры. В восьмой главе романа имеются и две аллюзии к «Пиковой даме»: сначала будущий тесть Лужина задает ему нелепый вопрос, который проецирует на шахматы карточную мечту Германна («Нет ли в шахматной игре такого хода, благодаря которому всегда выигрываешь»); вскоре после этого упоминается некая престарелая княгиня Уманова, «которую называли пиковой дамой (по известной опере)». Отсылка к опере Чайковского (которую Набоков не любил) вместо повести Пушкина — типичный набоковский прием полусокрытия прямо не названного подтекста. По тонкому замечанию Е. А. Тоддеса, которое мне любезно передала М. О. Чудакова и с которым я полностью солидарен, почти вся русская проза Набокова вышла из «Пиковой дамы».

[2] Мигель де Сервантес Сааведра. Дон Кихот Ламанчский // Собр. соч. в пяти томах. М., 1961. Т. 2. С. 97.

[3] Набоков упоминает Фицджеральда в своей рецензии «Омар Хайям, в переводах Ив. Тхоржевского», см. с. 657 наст. тома.

[4] Vladimir Nabokov. Lectures on *Don Quixote* / Ed. by Fredson Bowers. San Diego — N.Y. — L., 1983. P. 167–168.

Это четверостишие могло бы послужить эпиграфом к «Защите Лужина», но эпиграфом двусмысленным, ибо, делая своим героем одаренного шахматиста, Набоков превращает фаталистическую аллегорию в одну из сторон неразрешимого противоречия, в один из двух членов центральной для романа оппозиции. Дело в том, что Лужин — одновременно «человек играющий», который свободно творит в особом шахматном пространстве, так сказать, король шахматного мира, где «все... слушается его воли и покорно его замыслам», и «человек играемый», важнейшая и в то же время слабейшая фигура на доске «реальной» жизни, подобная королю черных — объекту атаки в шахматных этюдах и задачах. Соответственно, и шахматные аналогии, которыми изобилует роман, принадлежат к двум уровням текста. Часть из них характеризует сознание героя, который часто проецирует вовне игровые коды, — например, замечает правильное чередование темных и светлых квадратов на пятнистой от солнца аллее, на скатерти или на торте, принимает за шахматные фигуры разнообразные предметы («Он... думал о том, что этой липой... можно, ходом коня, взять вон тот телеграфный столб») или, в последних главах книги, обнаруживает в своей жизни коварную последовательность атакующих ходов невидимого противника. Однако в текст встроены и другие — менее явные — аналогии, которые уподобляют его персонажей определенным шахматным фигурам, а сюжетные события — тактическим приемам в некоем сложном этюде. Так, по признанию самого Набокова, в финальной сцене романа, с ее шахматными образами черно-белых квадратных оконниц и хождения туда-сюда по смежным комнатам (подобно тому, как ходит загнанный в угол доски король), он воспроизвел рисунок неортодоксального задачного мата, при котором черные помогают белым себя заматовать, и, добавим, актуализировал исходное значение арабского слова «мат» — «умер». Благодаря подобным аналогиям само построение романа приобретает некоторые черты квазишахматной композиции, а его автор соприравнивается к фицджеральдовскому богу-как-игроку, для которого созданный им мир есть ЕГО игровое пространство.

В контексте 1920-х годов обращение Набокова к шахматной теме могло показаться непосредственным откликом на резко увеличившуюся популярность профессиональных шахмат, которые именно тогда изменили свой статус, превратившись из келейного, клубного занятия в одну из разновидностей современного спорта. Как на Западе, так и в СССР крупные международные турниры и матчи стали широко освещаться в массовой печати; некоторые классные игроки — и среди них русские эмигранты А. Алехин и Е. Боголюбов — вошли в когорту спортивных звезд, мировых знаменитостей, за которыми с интересом следили даже полные профаны. Над увлечением шахматами как занятием странным

и бесполезным принято было подсмеиваться. Достаточно вспомнить, например, кинокомедию В. Пудовкина «Шахматная горячка» (1925), в которой, как в фильме, задуманном Валентиновым, снимались «настоящие, живые шахматисты», или шахматную главу «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова. Набоков же видел в шахматах вполне легитимную сферу осуществления человеческого духа и считал претензии к ним, равно как и к другим новым видам игр и состязаний, вопиющей пошлостью. В этом смысле «Защита Лужина» представляет собой защиту шахмат от тех критиков послевоенных нравов, которые, подобно теще героя, объясняли «существование таких профессий... проклятой современностью, современным тяготением к бессмысленому рекорду (эти аэропланы, которые хотят долететь до солнца, марафонская беготня, олимпийские игры)».

Разумеется, в «Защите Лужина» так или иначе отразились некоторые черты современной шахматной жизни и полемики вокруг нее, а также характеры и судьбы кое-кого из знаменитых мастеров. Можно заметить в романе и явные следы изучения работ по психологии шахмат. Например, хорошо знакомый Набокову Анри Бергсон в статье «Интеллектуальное усилие» обратил внимание на особенности специальной памяти игроков вслепую, которые — как он пишет, ссылаясь на исследования французского психолога А. Бинэ, — «представляют себе не внешний вид каждой фигуры, но ее силу, высоту ее стоимости, ее функцию. ⟨...⟩ Что касается теперь самой партии, то в памяти игрока находится известная комбинация сил, или, лучше сказать, известное отношение между силами союзными и враждебными». Приводит Бергсон и слова одного игрока, сравнившего свое представление шахматной партии как единого целого с восприятием музыки: «Я схватываю ее, как музыкант схватывает аккорд в его целом» [1]. Именно так у Набокова воспринимает шахматы Лужин. Сами фигуры кажутся ему лишь грубой оболочкой «незримых шахматных сил», и он любит играть вслепую, потому что ощущает тогда «эти разнообразные силы в первоначальной их чистоте» и как бы переходит в иное измерение, «орудуя бесплотными величинами». В описании решающей для героя партии против Турати Набоков снова использует образ шахматных сил и величин, причем уподобляет их музыкальным мелодиям и аккордам, отталкиваясь, несомненно, от сравнения шахмат с музыкой в психологических штудиях Бинэ и Бергсона.

---

[1] А. Бергсон. Собр. соч. Т. 4. Вопросы философии и психологии. СПб., б. г. С. 132. Ср.: A. Binet. Psychologie des grands calculateurs etjoueurs d'échecs. Paris, 1894. P. 264–265, 355–357.

Шахматы, впрочем, интересуют Набокова не столько как социокультурный и психологический феномен, сколько как модель творческого воображения в первичной, абстрактной, дообразной форме — воображения, которое, преодолевая сопротивление материала и подчиняясь определенным правилам, создает протяженные во времени гармонические единства. В первых трех романах Набоков словно бы расщепляет полноценное творческое сознание на его составляющие, по одной наделяя ими своих героев. У Ганина в «Машеньке» — это ностальгическая память, у Драйера в «Короле, даме, валете» — острая наблюдательность, у Лужина — комбинаторное воображение, способность порождать «правильный и безжалостно развивающийся узор». В этом плане все три романа схожи, но только «Защита Лужина» исследует уникальное дарование героя в становлении и развитии — на протяжении без малого двадцати лет его шахматной жизни, причем Набокову впервые удается выстроить психологически достоверный, хотя и странный характер, которому органически присущ специфически шахматный склад творческого сознания.

В основе характера Лужина лежит врожденный страх перед непредсказуемостью и неизвестностью бытия, «ужас перемены» и, глубже, самого времени, подобными переменами чреватого и неумолимо ведущего к смерти. Угрюмый, нелюдимый, легко ранимый ребенок, единственный сын несчастливых в браке и не понимающих его родителей, он смотрит на мир как на источник жестоких ударов и обид и инстинктивно ищет способы «защиты», чтобы обезопасить себя от всех неожиданностей. Роман начинается в момент первой серьезной перемены в его жизни, первой насильственной инициации, когда ему присваивается новое, взрослое имя («Больше всего его поразило то, что с понедельника он будет Лужиным») и он должен пойти в школу — то есть сменить установленный и приемлемый порядок на «нечто отвратительное своей новизной и неизвестностью, невозможный, неприемлемый мир». В панике он бежит со станции обратно на дачу и прячется там на чердаке, среди ящиков, откуда его в конце концов вытаскивает «чернобородый мужик с мельницы, обитатель будущих кошмаров».

Эта сцена романа служит своего рода прологом ко всей последующей судьбе Лужина, ибо задает некую парадигму, динамическую схему (угроза перемены — побег как попытка остановить время и найти надежное, герметическое укрытие — потеря убежища и возвращение во временной поток), которая будет снова и снова, только в видоизмененных вариантах, разыгрываться как в жизни, так и в творчестве героя: в его новых побегах из дома и из школы, в его партии с Турати, где не срабатывает заранее заготовленная защита, в безумных поисках пути назад, домой, из реальности Берлина после откладывания этой роковой партии,

в уходе из шахмат и женитьбе и, наконец, в смерти. Соответственно, Набоков насыщает эпизод побега образами и мотивами, которые впоследствии повторятся в иных ситуациях, устанавливая тем самым отношения параллелизма между ними. Так, мост (традиционный символ перехода в новое состояние), по которому бежит домой Лужин и на котором раньше на него нападали дети с жестяными пистолетами, трансформируется сначала в берлинские мосты, когда герой в беспамятстве кружит по чужому городу, принимая его за дачный поселок своего детства, а затем в перекинутый через пропасть мост на его рисунке; окно, через которое он залезает в дом, «рифмуется» с окном, через которое он выбрасывается на улицу; звон телефона (у Набокова часто — сигнал судьбы) отзывается в судьбоносном телефонном звонке скрипачу во время концерта, благодаря которому Лужин открывает «игру богов», и, позднее, в звонках «господина Фати» (очевидная отсылка к фатуму), то есть Валентинова, предваряющих его гибель; «чернобородый мужик» (вероятно, реминисценция вещего сна Гринева в «Капитанской дочке»), силой вытаскивающий Лужина из его убежища, отождествляется с немецким психоаналитиком, насильно «вытаскивающим» героя из мира шахмат, а постриженный бобриком буфетчик — с лужинским тестем и т. п.

Особое внимание обращает на себя образ ящиков со всякой всячиной, обнаруженных Лужиным на чердаке. Говоря словами Андрея Белого о шкатулке Чичикова, это — и символы, и реальные предметы [1], которые становятся прототипом для множества других вместилищ, сопровождающих героя на всем протяжении романа: ящика фокусника, в котором хранятся шкатулки с двойным дном, нескольких ящиков с шахматами, ящика с лотерейными билетами, всевозможных коробок и коробочек, лужинского «клетчатого сундучка», шкафов, комодов, портсигаров, кабин, пакетов — вплоть до того белого куба, рисунок которого Лужин вешает в ванной комнате, последнем пункте его земного пути. Разумеется, все подобные образы связаны с попытками героя отгородиться некими стенами — реальными или ментальными — от пугающей его действительности, что в конечном счете оборачивается стремлением к смерти или, так сказать, к реализации метафоры «сыграть в ящик»: не случайно один ящик с шахматами Лужин закапывает в землю, а другой — много лет спустя — уподобляет «маленькому гробу». За «контейнерными» метафорами «Защиты Лужина» проглядывает очевидный подтекст — рассказ Чехова «Человек в футляре» (к которому, как представляется, в сцене побега отсылает единственная немотивированная деталь:

---

[1] Андрей Белый. Мастерство Гоголя. Исследование. М.–Л., 1934. С. 97.

стоящий рядом с ящиками дамский велосипед, напоминающий о причине смерти Беликова). Как и чеховский герой, Лужин носит калоши и пальто на вате, но этим их сходство, конечно же, не ограничивается: оба они относятся к типу одинокого, робкого, пугливого чудака, которому свойственно, цитируя Чехова, «постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе... футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний».

Однако перекличка с классическим образцом, как и почти всегда у Набокова, включает элемент развития, усложнения и полемики. Если «человек в футляре» внутренне пуст, равен своим страхам, которые он проецирует вовне, и потому представляет социальную опасность, то интроверт Лужин имеет сложный внутренний мир и наделен особым творческим даром. Чеховским футлярам, не содержащим ничего, кроме неодушевленного предмета, Набоков противопоставляет образ магического ящика, в котором находятся удивительные игрушки, — акцент переносится с контейнера как защитной оболочки на его содержимое, на то, что может быть найдено, извлечено на свет Божий и пущено в ход. Подобно тому как внутренность шкатулки Чичикова в «Мертвых душах», по определению Набокова, дает «точную модель округлой чичиковской души» [1], вещи, обнаруженные Лужиным в ящике на чердаке (равно как и до поры до времени не замеченная им коробка с шахматами, лежащая там же), моделируют его мир, его душу и предсказывают его будущую судьбу.

Главный предмет в магическом ящике Лужина — треснутая шахматная доска, значение которой пока остается скрытым как от героя, так и от читателей. Судьба демонстрирует ему свой главный дар, отграниченную территорию для творческой игры, которая станет его истинным укрытием. Именно на этой доске он впервые продемонстрирует свое искусство отцу, победив его в поединке и тем самым добившись свободы от родительской власти. Пророчеством оказывается и трещина в доске, соотнесенная с трещиной в окне, через которое Лужин «выпадет из игры»: она намекает на некий изъян его сознания, на своего рода трагическую ошибку, которая должна привести его к гибели, и в то же время указывает на неполную герметичность самого шахматного мира, на его связь как с действительностью, так и с потусторонностью.

Два других предмета в ящике — волан с одним пером и большая фотография военного оркестра — символизируют начала, определяющие склад лужинского сознания и совпадающие с

[1] В. Набоков. Подлинная жизнь Себастьяна Найта. Под знаком незаконнорожденных. Николай Гоголь. СПб., 1997. С. 468.

тройственной сущностью шахмат как синтеза спортивной игры, военной стратегии (напомним, что, согласно легенде, шахматная богиня Каисса — возлюбленная бога войны Марса) и искусства. Подобно волану без перьев, Лужин способен взлетать ввысь, но не перелетать через границу двух реальностей, шахмат и жизни. Только в мире шахмат он находит применение «той воинственной, напирающей яркой силе, которую он в себе ощущал»; и только шахматы удовлетворяют его потребность в гармонии.

Природный дар Лужина, как неоднократно подчеркивается в романе, сродни дару музыкальному. Он — внук композитора-виртуоза, в тайну шахмат его посвящает демонический скрипач во время концерта, его отец хочет видеть в нем музыкального вундеркинда, его жене кажется, что он похож на музыканта, в минуты задумчивости он «будто слушает музыку», перед началом партии с Турати к нему обращаются с теми же словами, с какими его отец когда-то обратился к скрипачу: «Вас ждут, маэстро!» Как мы уже знаем, его восприятие шахмат носит квазимузыкальный характер: подобно «соблазнившему» его демону-скрипачу, который сравнил комбинации с мелодиями, он не видит, а **слышит** шахматные ходы словно звуки музыкальных инструментов в военном оркестре. Аналогиями между музыкой и шахматами Набоков, безусловно, подчеркивает эстетическую природу лужинского воображения, которое служит у него моделью воображения художественного. Но в музыке можно видеть и побочную, неразвитую потенцию героя, или, выражаясь языком шахматной композиции, «слабую дуаль»: недаром его отец предлагает ему начать заниматься музыкой в тот самый день, когда его завораживают шахматы, а сам Лужин в своей короткой послешахматной жизни, оставшись без любимого занятия, с удовольствием слушает пластинки, запоминает мелодии и пытается их напевать. В этой связи важно беглое упоминание в тексте о «великом Филидоре» — французском чемпионе, который в тридцатилетнем возрасте оставил шахматы, как Лужин, но, в отличие от последнего, стал известным композитором, — ибо его судьба могла бы оказаться неопробованной, упущенной альтернативой лужинскому фатальному выбору между шахматами и смертью.

В истории Лужина, от его неудачной попытки побега обратно в детство и до финальной гибели, отчетливо выделяются четыре периода, каждый из которых заканчивается кризисом и переходом в новое состояние. Первый из них — это период ученичества, достигающий своей кульминации в весенний день Пасхи, когда герой словно бы рождается заново, открывая для себя чудесное шахматное королевство — «блестящий островок, на котором обречена была сосредоточиться вся его жизнь». Шахматы полностью поглощают Лужина, и он стремительно, за полгода, вырастает в сильного мастера, готового начать профессиональную

карьеру. Как всякий художник, в творческом воображении он создает вневременную сверхреальность, которая постепенно вытесняет из его сознания «движение дней», и пытается убежать в нее от семьи, школы, докучливых сверстников — от всего «невозможного, неприемлемого мира». Завершает этот период смерть первого шахматного учителя Лужина, «старика с цветами», и его тяжелая, едва не смертельная болезнь, во время которой он в бреду переживает свое прошлое как какую-то «чудовищную игру на призрачной, валкой, бесконечно расползающейся доске».

Следующие шестнадцать лет Лужин существует исключительно в сверхреальности шахмат, игнорируя «внешнюю жизнь... как нечто неизбежное, но совершенно не занимательное». Его интеллектуальное, эмоциональное, сексуальное развитие затормаживается; по сути дела, во всем, кроме шахмат, он остается тем же нелюдимым, нелепым двенадцатилетним подростком, каким когда-то перешел через границу между двумя реальностями. Отчасти в этом повинен злой гений Лужина, его воспитатель и антрепренер Валентинов, который относился к своему подопечному как к «забавному монстру» и «безостановочно поощрял, развивал его дар, ни минуты не заботясь о Лужине-человеке». В согласии с ненавистной Набокову фрейдистской теорией сублимации, он считал, что творчество есть «особое преломление» полового чувства, и потому, «боясь, чтобы Лужин не израсходовал драгоценную силу», подавлял в нем сексуальное влечение. Превращение Лужина в шахматный автомат, однако, не идет на пользу его таланту: с каждым годом он играет все боязливее и осмотрительнее, прослыв «за осторожного, непроницаемого, сухого игрока». Появился у него и более сильный соперник, итальянец Турати, «игрок ему родственного склада, но только пошедший дальше». Лишенная всякой связи с «внешней жизнью», творческая сила Лужина иссякает; «застывший в своем искусстве, бывшем новым когда-то, но с тех пор не пошедшем дальше», он вступает во второй, на этот раз шахматный кризис, который снова совпадает со смертью близкого человека (умирает его отец) и болезнью, подводящей итог прошлому («Ему стало дурно ночью, в берлинской гостинице, после поездки на кладбище: сердцебиение, и странные мысли, и такое чувство, будто *мозг одеревенел и покрыт лаком*»).

По инерции Лужин ищет выход из тупика в шахматных вычислениях, придумывая «ослепительную защиту» против оригинального дебюта Турати, — защиту, которая так и останется ненужной и невостребованной, ибо хитроумный соперник разгадает лужинские планы и начнет партию иным способом. Помощь неожиданно приходит из другого, нешахматного мира. Лужин знакомится с милой русской женщиной, влюбляется в нее и делает ей предложение. Любовь заставляет героя выползти из

шахматного убежища во внешнюю жизнь, и его задержанное развитие сдвигается с мертвой точки: он наивно радуется новому окружению — невесте, ее неумным родителям, их пошлой квартире в псевдорусском стиле, которые кажутся ему «хорошим сном»; он начинает чувствовать половое влечение и, как неопытный возбужденный подросток, мгновенно эякулирует от первых же объятий. Вопреки теории Валентинова, пробуждение чувств благотворно сказывается на его творчестве. Во время берлинского турнира Лужин испытывает небывалый подъем: в его партиях «чувствовалась поразительная ясность мысли, беспощадная логика», и некоторые из них «были знатоками тогда же названы бессмертными».

Творческий взлет Лужина, дающий ему бессмертие, происходит в точке пересечения двух реальностей, взаимопроникновения воображения и жизни, но он, словно полет волана с одним пером, оказывается кратковременным. В решающий момент решающей партии с Турати, когда Лужину нужно перейти от защиты к атаке, он безуспешно ищет «тайный ход победы» и, не выдержав напряжения, снова срывается в болезнь, в забытье. Разверзнувшиеся перед ним «шахматные бездны» пугают его страшной неизвестностью, подобно тому как некогда пугала взрослая жизнь, и, вместо того чтобы сделать отчаянный шаг вперед, он снова бежит назад, в свое дошахматное детство. Как проницательно заметил еще В. Ходасевич, трагедия Лужина заключается в том, что он — талант, а не гений[1]: в партии с Турати он достигает предела своих возможностей и, не в силах совершить сверхусилие, винит в этом само творчество и отрекается от шахмат.

Проблема отречения художника от своего искусства всегда волновала Набокова. Уже в стихотворении 1928 года «Толстой» он противопоставил великого романиста как избранника, которому «Господь... передает свое / старинное и благостное право / творить миры и в созданную плоть / вдыхать мгновенно дух неповторимый», его «невзрачному» двойнику, ушедшему из творчества:

Совсем не страшен гений, говорящий
о браке или о крестьянских школах...
И чувствуя в нем равного, с которым
поспорить можно, и зовя его
по имени и отчеству, с улыбкой
почтительной, мы вместе обсуждаем,
как смотрит он на то, на се...

---

[1] В. Ходасевич. В. Сирин. «Защита Лужина» // Возрождение. 1930, 11 октября.

В лекциях о русской литературе Набоков снова обсуждал внезапное решение Толстого принести в жертву морали свой дар художественного воображения, как раз в тот момент, когда в «Анне Карениной» он достиг «вершин творческого совершенства», и отмечал, что после этого писателю, к счастью, не всегда удавалось удерживать в оковах гигантскую потребность в творчестве [1]. В книге о Гоголе он осудил его предсмертное отречение от литературы [2], а в лекции о «Дон Кихоте» назвал самой грустной сценой романа его финал, когда герой на смертном одре отказывается от своих фантазий «не из чувства благодарности к своему христианскому Богу и не по велению свыше, но потому, что он подчинился моральным нормам своего темного века». Капитуляцию Дон Кихота Набоков сравнил с трагедией гениального поэта Артюра Рембо, пришедшего к выводу, что поэзия греховна, и замолчавшего навсегда, — отрекаясь от собственного воображения, пишет он, отступник отказывается от того, что «сделало его таким, каков он есть» [3].

Как свидетельствуют толстовские и донкихотовские аллюзии в «Защите Лужина», Набоков осмысляет уход своего героя из шахмат как параллель к отступничеству великого романиста и великого фантазера. В отличие от своих предшественников, правда, он капитулирует не перед моральной идеей, а перед современными психологическими учениями о счастье и душевном здоровье человека. Руководствуясь той же фрейдистской идеей, что и Валентинов, «чернобородый психоаналитик» пытается излечить Лужина от шахмат как от невроза и вернуть его в «свободный и светлый мир». «Ужас, страдание, уныние — вот что порождает эта изнурительная игра», — внушает он своему доверчивому пациенту. Заставляет Лужина забыть о шахматах и его жалостливая, но недалекая жена, ставя его перед ложным выбором: или любовь и семейное счастье, или разрушительная страсть к шахматной игре. Она окружает мужа материнской заботой в надежде подавить в нем тягу к шахматам и найти какое-то другое применение его скрытым талантам, но, по сути дела, калечит его не меньше, чем Валентинов, хотя и с диаметрально противоположными намерениями: если тот изолировал Лужина-шахматиста от жизни, результатом чего явилось его творческое бессилие, то она изолирует Лужина-человека от шахмат, результатом чего является его деградация, безумие и самоубийство. Оба они не дают «бедному Лужину» доразвиться, довоплотиться в гармоническую личность,

---

[1] V. Nabokov. Lectures on Russian Literature. N.Y. — L., 1981. P. 140.

[2] См.: В. Набоков. Подлинная жизнь Себастьяна Найта. Под знаком незаконнорожденных. Николай Гоголь. С. 502.

[3] Vladimir Nabokov. Lectures on *Don Quixote*. P. 167–168.

что и оказывается главной причиной его трагических неудач как в шахматах, так и в жизни. Он гибнет, потому что не научается существовать одновременно в двух параллельных мирах, каждый из которых имеет свои собственные «правила игры».

Лишившись шахмат, Лужин не только не взрослеет, но, напротив, снова превращается в беспомощного, угрюмого ребенка, или, выражаясь шахматным языком, берет назад несколько ходов и начинает партию с дебюта. Вместе с воображением гаснут и его едва пробудившиеся чувства — жена больше не вызывает у него никакого влечения, а лишь заменяет заботливую мать и гувернантку. Он пытается изгнать шахматное прошлое из своей памяти, но оно постоянно напоминает о себе, и тогда ему начинает казаться, что он участвует в некоей гигантской шахматной игре на доске жизни, где он должен «придумать защиту» против коварной комбинации неведомого противника.

Исследователи романа много спорили о том, что представляют собой мучающие Лужина «комбинационные повторения» образов его детства в случайных встречах и совпадениях — маниакальный бред безумца или провидения гения, угадывающего в хаосе бытия искусный замысел его Творца и понимающего, что он есть персонаж чужой книги. Прав в этом споре, пожалуй, Пекка Тамми, отметивший, что ограниченному сознанию Лужина удается распознать лишь небольшую часть общего «узора» текста, изобилующего повторами, рефренами, ситуационными рифмами, связками, и что многие из них остаются вне поля его зрения[1]. Действительно, Лужин не может знать ни о многочисленных пересечениях его прошлого с прошлым его жены, которая в детстве с восторгом читала ненавистную ему отцовскую книгу «Приключения Антоши», училась у того же учителя географии, которого он однажды обыграл в шахматы, и была влюблена в «тихоню», его школьного товарища, ни о том, что гравюра с изображением юного Моцарта, висящая в их квартире, приходила на ум его отцу, когда он мечтал о славном будущем своего сына. Ему невдомек, что на эмигрантском балу кроме Петрищева, напоминающего ему о школе, присутствует и не названный по имени Валентинов[2], распекающий лакея точно так же, как неведомого «востроносого человечка» в автомобиле. От него скрыто сходство его богатого и самодовольного тестя с буфетчиком, а сборища интеллигентных гостей в квартире — с концертом в родительском доме, когда он открыл шахматы (в обеих сценах он «ходил между

---

[1] P. Tammi. Problems of Nabokov's Poetics. Helsinki, 1985. P. 143.

[2] Это тонкое наблюдение принадлежит Г. А. Барабтарло. См.: G. Barabtarlo. *The Defense* Marginalia // The Nabokovian. 28 (Spring 1992). P. 58–59.

людей / гостей», стараясь «найти тихое место»). Более того, Лужин неверно понимает саму природу «повторений», ибо они представляют собой не точные дублеты, а вариации, наподобие созвучий в неточной поэтической рифме, и даны в несколько измененной хронологической последовательности, с наложением более поздних, подавленных шахматных воспоминаний. Так, впервые после болезни он видит шахматы на экране кинематографа еще *до того*, как «повторяется» сцена его первого знакомства с игрой, но моментально определяет, что на доске воспроизведена невозможная позиция. «Восковую даму» с розовыми ноздрями в парикмахерской, которая «рифмуется» с ранним эпизодом, когда он, прогуляв школу, пошел к рыжеволосой тетке учиться играть в шахматы, Лужин узнает уже *после* того, как начинает тайком от жены решать шахматные задачи. Одним словом, повторы носят отнюдь не шахматный, а поэтический характер, но набоковский герой, которому, как говорит его жена, рифмы в тягость, не в состоянии оценить и постичь их гармонию.

Роковая же ошибка Лужина в последний период его жизни заключается в том, что, привыкнув «мыслить только шахматными образами», он продолжает анализировать нешахматную реальность, «словно он сидит за доской», тогда как с выходом из мира шахмат он потерял свободу и превратился из игрока в некое подобие шахматной фигуры. В конце восьмой главы романа Набоков дважды отождествляет своего теряющего разум и творческую силу героя именно с фигурой: сначала Лужину кажется, что «по отношению к каждому смутному предмету он стоит под шахом», а чуть позже его ноги наливаются свинцом, «как налито свинцом основание шахматной фигуры». Об этом же превращении Лужину напоминает его вещий сон, где перед ним «простирались все те же шестьдесят четыре квадрата, великая доска, посреди которой, дрожащий и совершенно голый, стоял Лужин, ростом с пешку, и вглядывался в неясное расположение огромных фигур, горбатых, головастых, венценосных». Оппозиция игрок/фигура соответствует в романе его центральной оппозиции творчество / жизнь. Только в творчестве человек свободен, как игрок за шахматной доской, — к реальному же миру «шахматная» стратегия неприменима, ибо в нем распоряжается судьба, а от судеб, как сказано, защиты нет. Несмотря на все попытки Лужина обмануть судьбу, неумолимо влекущую его к шахматам, к нему в конце концов возвращается творческая память, и он снова слышит «музыку шахматного соблазна»:

Лужин вспомнил с восхитительной, влажной печалью, свойственной воспоминаниям любви, тысячу партий, сыгранных им когда-то. Он не знал, какую выбрать, чтобы со слезами насладиться ею, все привлекало и ласкало воображение, и он летал от одной

к другой, перебирая на миг раздирающие душу комбинации. Были комбинации чистые и стройные, где мысль всходила к победе по мраморным ступеням; были нежные содрогания в уголке доски, и страстный взрыв, и фанфара ферзя, идущего на жертвенную гибель... Все было прекрасно, все переливы любви, все излучины и таинственные тропы, избранные ею. И эта любовь была гибельна. Ключ найден. Цель атаки ясна. Неумолимым повторением ходов она приводит опять к той же страсти, разрушающей жизненный сон. Опустошение, ужас, безумие.

Не в силах примирить между собой два несовместимых мира — прекрасный, но опасный мир творчества, требующий от него «жертвенной гибели» его защитницы-«королевы», и покойный мир «жизненного сна», требующий от него пожертвовать творчеством и, значит, говоря словами Набокова о покаявшемся Дон Кихоте, перестать быть тем, что он есть, — герой «Защиты Лужина» выбирает смерть.

Сцена самоубийства Лужина тоже имеет в романе целый ряд антецедентов. Она возвращает нас к отчаянию героя после откладывания партии с Турати, когда он понимает, что «завяз, заплутал» в своей шахматной мысли, и делает «отчаянную попытку высвободиться, куда-нибудь вылезти — хотя бы в небытие». Образ оконного стекла, будто подернутого ровным морозом (за которым проглядывает не названный, но подразумеваемый синоним — «матовый» в обоих значениях этого ключевого слова), напоминает о погибших от мороза «крутогрудых птицах», упавших на снег и лежащих «с поднятыми лапками» (знак капитуляции). В шахматных терминах это стекло может быть описано как белое поле h7, о защите которого размышлял Лужин, решая очередную шахматную задачу («Против угрозы на аш-семь у черных есть очевидная защита»). Предсмертная поза Лужина, повисшего на руках над двором, повторяет фотографию, замеченную им в кабинете Валентинова: «бледный человек с безжизненным лицом в больших американских [то бишь квадратных] очках, который на руках повис с карниза небоскреба, — вот-вот сорвется в пропасть». Сам двор, в который «вот-вот сорвется» Лужин, мы уже видели глазами его жены в несостоявшуюся первую брачную ночь: «В темной глубине двора... при *тусклом свете, неведомо откуда взявшемся* [1], что-то блестело, быть может, *лужа* на каменной панели вдоль газона, и в другом месте то появлялась,

[1] Откуда взялся «тусклый свет», нетрудно догадаться — из знаменитого стихотворения Блока: «Ночь, улица, фонарь, аптека, / Бессмысленный и *тусклый свет.* / Живи еще хоть четверть века — / Все будет так. Исхода нет». Заметим также, что «тусклый» — еще один синоним слова «матовый».

то скрывалась *тень какой-то решетки*». «Как бы сквозь *тусклое* стекло» (1-е Кор. 13:12) жена видит тень мертвого тела Лужина и его эмблемы — шахматной доски-тюрьмы, но для нее все закрывает «черная пропасть» — в ее жизни с Лужиным «исхода нет». По контрасту, Лужину в последние мгновения его земной жизни дано заметить, что вся бездна под ним «распадалась на бледные и темные квадраты», и увидеть, «какая именно вечность угодливо и неумолимо раскинулась перед ним».

Намеренно неясный образ упорядоченной, шахматной вечности, в которую летит Лужин, подлежит сразу нескольким истолкованиям. Он может означать, что герою романа дарована «реальная» потусторонность, некий шахматный Элизиум или Валгалла, где его встретят тени шахматистов прошлого, подобно тому как в стихах Набокова на смерть Блока и Гумилева мертвых поэтов встречают их великие собратья. Вполне допустимо и металитературное прочтение: поскольку сам текст романа Набоков уподобляет шахматному этюду, а героя — центральной шахматной фигуре, то Лужин, так никогда не достигнув «каменной панели», падает обратно в пространство завершающейся книги о нем, на ее «доску», и обретает вечность как литературный персонаж. Наконец, в словах о вечности, ожидающей Лужина, можно усмотреть вариацию на классическую тему бессмертия художника, который — как сказано у Горация и Пушкина — «умирает не весь», ибо душа его «переживает прах» в том, что им создано и что «прочнее меди». В этом смысле смерть Лужина есть переход в вечность творчества, ибо он, как объясняет повествователь в последнем романе Набокова «Смотри на арлекинов!», остается жить в сыгранных им «бессмертных партиях» и в многочисленных восклицательных знаках будущих комментаторов [1].

На подобную же тройственную интерпретацию рассчитаны у Набокова и последние фразы романа, в которых мы впервые узнаем полное имя «милого Лужина»:

Дверь выбили. «Александр Иванович, Александр Иванович!» — заревело несколько голосов.

Но никакого Александра Ивановича не было.

Людям, которые зовут героя по имени и отечеству и, следовательно, чувствуют в нем равного, — как пошлые обыватели, толкующие с Львом Николаевичем о том, о сем в стихотворении Набокова «Толстой», — незнаком и чужд Лужин-творец, не понятый в романе никем, кроме его автора. Мало того, что Лужина больше нет ни в его последнем убежище, куда вломились посто-

---

[1] V. Nabokov. Look at the Harlequins! Harmondsworth, Middlesex, 1980 (Penguin Books). P. 52.

ронние, ни в реальной жизни, откуда он выскользнул в вечность. Никакого Александра Ивановича по-настоящему никогда и не было — не было как в прочитанной нами книге о нем, где в первой же фразе он получил свое подлинное и единственное имя, так и в мире шахмат, где прошла вся истинная жизнь маэстро Лужина и где он заслужил бессмертие.

«Защита Лужина», впервые напечатанная в престижных «Современных записках», принесла Набокову довольно громкую славу. О Сирине заговорили как о надежде эмигрантской литературы, как о самом талантливом из молодых прозаиков. Удостоился он и резких, несправедливых нападок со стороны Г. Адамовича и Г. Иванова, враждебность которых, как сказано в «Даре», была бесконечно лестной. Однако ни поклонники «Защиты Лужина», восторгавшиеся живым, «теплым» характером главного героя романа и композиционно-стилистическим мастерством писателя, ни его критики, обвинившие Набокова в подражании каким-то неназванным западным образцам, не поняли, что они имеют дело не с блистательным дебютом новичка, а с завершением важного этапа в становлении уже вполне зрелого художника — со своего рода синтезом его десятилетнего творческого развития. В «Защите Лужина» Набоков не только соединил воедино лирическую мнемонику «Машеньки», холодный игровой расчет «Короля, дамы, валета» и психологизм ранних рассказов, но и обнажил едва ли не все свои основные темы: тему «двоемирия» сразу в нескольких ее разновидностях (мир воображения / мир действительности; мир с точки зрения персонажа / мир с точки зрения автора; земная жизнь / потусторонность, явь / сон, прошлое / настоящее, Россия / Запад), тему судьбы как впечатанного в ткань жизни тайного «узора», тему смерти как метаморфозы, тему воплощения / недовоплощенности творческого дара, тему трагического одиночества художника, тему пошлости и метатему литературы как таковой. Роман может служить и ключом к основным приемам набоковской поэтики: сложная сеть повторов, мотивированная шахматными аналогиями, выведена в нем на поверхность текста и прослеживается довольно легко. От «Защиты Лужина» протягиваются нити ко всей последующей русской прозе Набокова, которая предельно усложнит шахматную простоту этого романа и уберет в глубину то, что в нем открыто более или менее внимательному уму.

А. Долинин

ВЛАДИМIРЪ СИРИНЪ

МАШЕНЬКА

РОМАНЪ

СЛОВО

1926

…ДАТЕЛЬСТВО „СЛОВО"

В. СИРИНЪ

МАШЕНЬКА

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „СЛОВО"

Машенька

РОМАН

1926

Посвящаю моей жене

...Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь...

Пушкин

1

— Лев Глево... Лев Глебович? Ну и имя у вас, батенька, язык вывихнуть можно...

— Можно, — довольно холодно подтвердил Ганин, стараясь разглядеть в неожиданной темноте лицо своего собеседника. Он был раздражен дурацким положеньем, в которое они оба попали, и этим вынужденным разговором с чужим человеком.

— Я неспроста осведомился о вашем имени, — беззаботно продолжал голос. — По моему мнению, всякое имя...

— Давайте я опять нажму кнопку, — прервал его Ганин.

— Нажимайте. Боюсь, не поможет. Так вот: всякое имя обязывает. Лев и Глеб — сложное, редкое соединение. Оно от вас требует сухости, твердости, оригинальности. У меня имя поскромнее; а жену зовут совсем просто: Мария. Кстати, позвольте представиться: Алексей Иванович Алферов. Простите, я вам, кажется, на ногу наступил...

— Очень приятно, — сказал Ганин, нащупывая в темноте руку, которая тыкалась ему в обшлаг. — А как вы думаете, мы еще тут долго проторчим? Пора бы что-нибудь предпринять. Чорт...

— Сядем-ка на лавку да подождем, — опять зазвучал над самым его ухом бойкий и докучливый голос. — Вчера, когда я приехал, мы с вами столкнулись в коридоре. Вечером, слышу, за стеной вы прокашлялись, и сразу по звуку кашля решил: земляк. Скажите, вы давно живете в этом пансионе?

— Давно. Спички у вас есть?

— Нету. Не курю. А пансионат грязноват, — даром что русский. У меня, знаете, большое счастье: жена из России приезжает. Четыре года — шутка ль сказать... Да-с. А теперь недолго ждать. Нынче уже воскресенье.

— Тьма какая... — проговорил Ганин и хрустнул пальцами. — Интересно, который час...

Алферов шумно вздохнул; хлынул теплый, вялый запашок не совсем здорового, пожилого мужчины. Есть что-то грустное в таком запашке.

— Значит, осталось шесть дней. Я так полагаю, что она в субботу приедет. Вот я вчера письмо от нее получил. Очень смешно она адрес написала. Жаль, что такая темень, а то показал бы. Что вы там щупаете, голубчик? Эти оконца не открываются.

— Я не прочь их разбить, — сказал Ганин.

— Бросьте, Лев Глебович; не сыграть ли нам лучше в какое-нибудь пти-жо? Я знаю удивительные, сам их сочиняю. Задумайте, например, какое-нибудь двухзначное число. Готово?

— Увольте, — сказал Ганин и бухнул раза два кулаком в стенку.

— Швейцар давно почивает, — всплыл голос Алферова, — так что и стучать бесполезно.

— Но согласитесь, что мы не можем всю ночь проторчать здесь.

— Кажется, придется. А не думаете ли вы, Лев Глебович, что есть нечто символическое в нашей встрече? Будучи еще на терра фирма [1], мы друг друга не знали, да так случилось, что вернулись домой в один и тот же час и вошли в это помещеньице вместе. Кстати сказать, — какой тут пол тонкий! А под ним — черный колодец. Так вот, я говорил: мы молча вошли сюда, еще не зная друг друга, молча поплыли вверх и вдруг — стоп. И наступила тьма.

— В чем же, собственно говоря, символ? — хмуро спросил Ганин.

— Да вот, в остановке, в неподвижности, в темноте этой. И в ожиданье. Сегодня за обедом этот, — как его... старый писатель... да, Подтягин... — спорил со мной о смысле нашей эмигрантской жизни, нашего великого ожиданья. Вы сегодня тут не обедали, Лев Глебович?

— Нет. Был за городом.

— Теперь — весна. Там, должно быть, приятно.

Голос Алферова на несколько мгновений пропал, и,

[1] Твердая почва *(лат.)*.

когда снова возник, был неприятно певуч, оттого что, говоря, Алферов, вероятно, улыбался:

— Вот когда жена моя приедет, я тоже с нею поеду за город. Она обожает прогулки. Мне хозяйка сказала, что ваша комната к субботе освободится?

— Так точно, — сухо ответил Ганин.

— Совсем уезжаете из Берлина?

Ганин кивнул, забыв, что в темноте кивок не виден. Алферов поерзал на лавке, раза два вздохнул, затем стал тихо и сахаристо посвистывать. Помолчит и снова начнет. Прошло минут десять; вдруг наверху что-то щелкнуло.

— Вот это лучше, — усмехнулся Ганин.

В тот же миг вспыхнула в потолке лампочка, и вся загудевшая, поплывшая вверх клетка налилась желтым светом. Алферов, словно проснувшись, заморгал. Он был в старом, балахонистом, песочного цвета пальто, — как говорится, демисезонном, — и в руке держал котелок. Светлые редкие волосы слегка растрепались, и было что-то лубочное, слащаво-евангельское в его чертах — в золотистой бородке, в повороте тощей шеи, с которой он стягивал пестренький шарф.

Лифт тряско зацепился за порог четвертой площадки, остановился.

— Чудеса, — заулыбался Алферов, открыв дверь... — Я думал, кто-то наверху нас поднял, а тут никого и нет. Пожалуйте, Лев Глебович; за вами.

Но Ганин, поморщившись, легонько вытолкнул его и затем, выйдя сам, громыхнул в сердцах железной дверцей. Никогда он раньше не бывал так раздражителен.

— Чудеса, — повторял Алферов, — поднялись, а никого и нет. Тоже, знаете, — символ...

2

Пансион был русский и притом неприятный. Неприятно было главным образом то, что день-деньской и добрую часть ночи слышны были поезда городской железной дороги, и оттого казалось, что весь дом медленно едет куда-то. Прихожая, где висело темное зеркало с подставкой для перчаток и стоял дубовый баул, на который легко было наскочить коленом, суживалась в голый, очень тесный

коридор. По бокам было по три комнаты с крупными, черными цифрами, наклеенными на дверях: это были просто листочки, вырванные из старого календаря, — шесть первых чисел апреля месяца. В комнате первоапрельской — первая дверь налево — жил теперь Алферов, в следующей — Ганин, в третьей — сама хозяйка, Лидия Николаевна Дорн, вдова немецкого коммерсанта, лет двадцать тому назад привезшего ее из Сарепты и умершего в позапрошлом году от воспаления мозга. В трех номерах направо — от четвертого по шестое апреля — жили: старый российский поэт Антон Сергеевич Подтягин, Клара — полногрудая барышня с замечательными синевато-карими глазами, — и наконец — в комнате шестой, на сгибе коридора, — балетные танцовщики Колин и Горноцветов, оба по-женски смешливые, худенькие, с припудренными носами и мускулистыми ляжками. В конце первой части коридора была столовая, с литографической «Тайной Вечерью» на стене против двери и с рогатыми желтыми оленьими черепами по другой стене, над пузатым буфетом, где стояли две хрустальных вазы, бывшие когда-то самыми чистыми предметами во всей квартире, а теперь потускневшие от пушистой пыли. Дойдя до столовой, коридор сворачивал под прямым углом направо: там дальше, в трагических и неблаговонных дебрях, находились кухня, каморка для прислуги, грязная ванная и туалетная келья, на двери которой было два пунцовых нуля, лишенных своих законных десятков, с которыми они составляли некогда два разных воскресных дня в настольном календаре господина Дорна. Спустя месяц после его кончины Лидия Николаевна, женщина маленькая, глуховатая и не без странностей, наняла пустую квартиру и обратила ее в пансион, выказав при этом необыкновенную, несколько жуткую, изобретательность в смысле распределения всех тех немногих предметов обихода, которые ей достались в наследство. Столы, стулья, скрипучие шкафы и ухабистые кушетки разбрелись по комнатам, которые она собралась сдавать, и, разлучившись таким образом друг с другом, сразу поблекли, приняли унылый и нелепый вид, как кости разобранного скелета. Письменный стол покойника, дубовая громада с железной чернильницей в виде жабы и с глубоким, как трюм, средним ящиком, оказался в первом номере, где жил Алферов, а вертящийся табурет, некогда приобретенный со столом этим вместе, сиротливо

отошел к танцорам, жившим в комнате шестой. Чета зеленых кресел тоже разделилась: одно скучало у Ганина, в другом сиживала сама хозяйка или ее старая такса, черная, толстая сучка с седою мордочкой и висячими ушами, бархатными на концах, как бахрома бабочки. А на полке, в комнате у Клары, стояло ради украшения несколько первых томов энциклопедии, меж тем как остальные тома попали к Подтягину. Кларе достался и единственный приличный умывальник с зеркалом и ящиками; в каждом же из других номеров был просто плотный поставец, и на нем жестяная чашка с таким же кувшином. Но вот кровати пришлось прикупить, и это госпожа Дорн сделала скрепя сердце, не потому что была скупа, а потому что находила какой-то сладкий азарт, какую-то хозяйственную гордость в том, как распределяется вся ее прежняя обстановка, и в данном случае ей досадно было, что нельзя распилить на нужное количество частей двухспальную кровать, на которой ей, вдове, слишком просторно было спать. Комнаты она убирала сама, да притом кое-как, стряпать же вовсе не умела и держала кухарку — грозу базара, огромную рыжую бабищу, которая по пятницам надевала малиновую шляпу и катила в северные кварталы промышлять своею соблазнительной тучностью. Лидия Николаевна в кухню входить боялась, да и вообще была тихая, пугливая особа. Когда она, семеня тупыми ножками, пробегала по коридору, то жильцам казалось, что эта маленькая, седая, курносая женщина вовсе не хозяйка, а так, просто, глупая старушка, попавшая в чужую квартиру. Она складывалась как тряпичная кукла, когда по утрам быстро собирала щеткой сор из-под мебели, — и потом исчезала в свою комнату, самую маленькую из всех, и там читала какие-то потрепанные немецкие книжонки или же просматривала бумаги покойного мужа, в которых не понимала ни аза. Один только Подтягин заходил в эту комнату, поглаживал черную ласковую таксу, пощипывал ей уши, бородавку на седой мордочке, пытался заставить собачку подать кривую лапу и рассказывал Лидии Николаевне о своей стариковской, мучительной болезни и о том, что он уже давно, полгода, хлопочет о визе в Париж, где живет его племянница и где очень дешевы длинные хрустящие булки и красное вино. Старушка кивала головой, иногда расспрашивала его о других жильцах и в особенности о Ганине, который ей

казался вовсе не похожим на всех русских молодых людей, перебывавших у нее в пансионе. Ганин, прожив у нее три месяца, собирался теперь съезжать, сказал даже, что освободит комнату в эту субботу, но собирался он уже несколько раз, да все откладывал, перерешал. И Лидия Николаевна со слов старого мягкого поэта знала, что у Ганина есть подруга. В том-то и была вся штука.

За последнее время он стал вял и угрюм. Еще так недавно он умел, не хуже японского акробата, ходить на руках, стройно вскинув ноги и двигаясь подобно парусу, умел зубами поднимать стул и рвать веревку на тугом бицепсе. В его теле постоянно играл огонь — желанье перемахнуть через забор, расшатать столб, словом — ахнуть, как говорили мы в юности. Теперь же ослабла какая-то гайка, он стал даже горбиться, и сам признавался Подтягину, что «как баба» страдает бессонницей. Плохо он спал и в ту ночь с воскресенья на понедельник, после двадцати минут, проведенных с развязным господином в застрявшем лифте. В понедельник утром он долго просидел нагишом, сцепив между колен протянутые холодноватые руки, ошеломленный мыслью, что и сегодня придется надеть рубашку, носки, штаны — всю эту потом и пылью пропитанную дрянь, — и думал о цирковом пуделе, который выглядит в человеческих одеждах до ужаса, до тошноты жалким. Отчасти эта вялость происходила от безделья. Особенно трудиться ему сейчас не приходилось, так как за зиму он накопил некоторую сумму, от которой, впрочем, оставалось теперь марок двести, не больше: эти три последних месяца обошлись дороговато.

В прошлом году, по приезде в Берлин, он сразу нашел работу и потом до января трудился — много и разнообразно: знал желтую темноту того раннего часа, когда едешь на фабрику; знал тоже, как ноют ноги после того, как десять извилистых верст пробежишь с тарелкой в руке между столиков в ресторане «Pir Goroi»; знал он и другие труды, брал на комиссию все, что подвернется, — и бублики, и бриллиантин, и просто бриллианты. Не брезговал он ничем: не раз даже продавал свою тень подобно многим из нас. Иначе говоря, ездил в качестве статиста на съемку, за город, где в балаганном сарае с мистическим писком закипали светом чудовищные фацеты фонарей, наведенных, как пушки, на мертвенно-яркую толпу статистов, палили в упор белым

убийственным блеском, озаряя крашеный воск застывших лиц, щелкнув, погасали, — но долго еще в этих сложных стеклах дотлевали красноватые зори — наш человеческий стыд. Сделка была совершена, и безымянные тени наши пущены по миру.

Оставшихся денег было бы достаточно, чтобы выехать из Берлина. Но для этого пришлось бы порвать с Людмилой, а как порвать — он не знал. И хотя он поставил себе сроком неделю и объявил хозяйке, что окончательно решил съехать в субботу, Ганин чувствовал, что ни эта неделя, ни следующая не изменят ничего. Меж тем тоска по новой чужбине особенно мучила его именно весной. Окно его выходило на полотно железной дороги, и потому возможность уехать дразнила неотвязно. Каждые пять минут сдержанным гулом начинал ходить дом, затем громада дыма вздымалась перед окном, заслоняя белый берлинский день, медленно расплывалась, и тогда виден был опять веер полотна, суживающийся вдаль, между черных задних стен, словно срезанных, домов, и над всем этим небо, бледное, как миндальное молоко.

Ганину было бы легче, если бы он жил по ту сторону коридора, в комнате Подтягина, Клары или танцоров; окна там выходили на скучноватую улицу, поперек которой висел, правда, железнодорожный мост, но где не было зато бледной, заманчивой дали. Мост этот был продолженьем рельс, видимых из окна Ганина, и Ганин никогда не мог отделаться от чувства, что каждый поезд проходит незримо сквозь толщу самого дома: вот он вошел с той стороны, призрачный гул его расшатывает стену, толчками пробирается он по старому ковру, задевает стакан на рукомойнике, уходит наконец с холодным звоном в окно, — и сразу за стеклом вырастает туча дыма, спадает, и виден городской поезд, изверженный домом: тускло-оливковые вагоны с темными сучьими сосками вдоль крыш и куцый паровоз, что, не тем концом прицепленный, быстро пятится, оттягивает вагоны в белую даль между слепых стен, сажная чернота которых местами облупилась, местами испещрена фресками устарелых реклам. Так и жил весь дом на железном сквозняке.

«Уехать бы», — тоскливо потягивался Ганин и сразу осекался: а как же быть-то с Людмилой? Ему было смешно, что он так обмяк. В прежнее время (когда он ходил на

руках или же прыгал через пять стульев) он умел не только управлять, но и играть силой своей воли. Бывало, он упражнял ее, заставлял себя, например, встать с постели среди ночи, чтобы выйти на улицу и бросить в почтовый ящик окурок. А теперь он не мог заставить себя сказать женщине, что он ее больше не любит. Третьего дня она пять часов просидела у него; вчера, в воскресенье, он целый день провел с нею на озерах под Берлином, не мог ей отказать в этой дурацкой поездке. Ему теперь все противно было в Людмиле: желтые лохмы, по моде стриженные, две дорожки невыбритых темных волосков сзади на узком затылке, томная темнота век, а главное — губы, накрашенные до лилового лоску. Ему противно и скучно было, когда после схватки механической любви она, одеваясь, щурилась, отчего глаза ее сразу делались неприятно-мохнатыми, и говорила: «Я, знаешь, такая чуткая, что отлично замечу, как только ты станешь любить меня меньше». Ганин не отвечал, отворачивался к окну, где вырастала белая стена дыма, и тогда она посмеивалась в нос и глуховатым шепотком подзывала: «Ну, поди сюда...» Тогда ему хотелось заломить руки, так, чтобы сладко и тоскливо хрустнули хрящи, и спокойно сказать ей: «Убирайся-ка, матушка, прощай». Вместо этого он улыбался, склонялся к ней. Она бродила острыми, словно фальшивыми, ногтями по его груди и выпучивала губы, моргала угольными ресницами, изображая, как ей казалось, обиженную девочку, капризную маркизу. Он чувствовал запах ее духов, в котором было что-то неопрятное, несвежее, пожилое, хотя ей самой было всего двадцать пять лет. Он дотрагивался губами до ее маленького, теплого лба, и тогда она все забывала — ложь свою, которую она, как запах духов, всюду влачила за собой, ложь детских словечек, изысканных чувств, орхидей каких-то, которые она будто бы страстно любит, каких-то По и Бодлеров, которых она не читала никогда, забывала все то, чем думала пленить, и модную желтизну волос, и смугловатую пудру, и шелковые чулки поросячьего цвета, — и всем своим слабым, жалким, ненужным ему телом припадала к Ганину, закинув голову.

И, тоскуя и стыдясь, он чувствовал, как бессмысленная нежность — печальная теплота, оставшаяся там, где очень мимолетно скользнула когда-то любовь, — заставляет его прижиматься без страсти к пурпурной резине ее поддаю-

щихся губ, но нежностью этой не был заглушен спокойный насмешливый голос, ему советовавший: «А что, мол, если вот сейчас отшвырнуть ее?»

Вздохнув, он с тихой улыбкой глядел на ее поднятое лицо и ничего не мог ей ответить, когда, вцепившись ему в плечи, она летучим каким-то голосом — не тем прежним носовым шепотком — молила, вся улетала в слова: «Да скажи ты мне наконец, — ты меня любишь?» Но, заметив что-то в его лице — знакомую тень, невольную суровость, — она опять вспоминала, что нужно очаровывать — чуткостью, духами, поэзией, — и принималась опять притворяться то бедной девочкой, то изысканной куртизанкой. И Ганину становилось скучно опять, он шагал вдоль комнаты от окна к двери и обратно, до слез позевывал, и она, надевая шляпу, искоса в зеркало наблюдала за ним.

Клара, полногрудая, вся в черном шелку, очень уютная барышня, знала, что ее подруга бывает у Ганина, и ей становилось тоскливо и неловко, когда та рассказывала ей о своей любви. Кларе казалось, что эти чувства должны быть тише, без ирисов и скрипичных вскриков. Но еще невыносимее было, когда подруга, щурясь и выпуская сквозь ноздри папиросный дым, начинала ей передавать еще не остывшие, до ужаса определенные подробности, после которых Клара видела чудовищные и стыдные сны. И последнее время она избегала Людмилу из боязни, что подруга вконец ей испортит то огромное и всегда праздничное, что зовется смазливым словом «мечта». Острое, несколько надменное лицо Ганина, его серые глаза с блестящими стрелками, расходящимися вокруг особенно крупных зрачков, и густые, очень темные брови, составлявшие, когда он хмурился или внимательно слушал, одну сплошную черную черту, но зато распахивавшиеся, как легкие крылья, когда редкая улыбка обнажала на миг его прекрасные, влажно-белые зубы, эти резкие черты так нравились Кларе, что она в его присутствии терялась, говорила не так, как говорить бы хотела, да все похлопывала себя по каштановой волне прически, наполовину прикрывавшей ухо, или же поправляла на груди черные складки, отчего сразу у нее выдавалась вперед нижняя губа и намечался второй подбородок. Впрочем, с Ганиным она встречалась не часто, раз в день за обедом, и только однажды ужинала с ним и с Людмилой в той скверной пивной, где он по вечерам ел

сосиски с капустой или холодную свинину. За обедом в унылой пансионной столовой она сидела против Ганина, так как хозяйка разместила своих жильцов приблизительно в том же порядке, в каком находились их комнаты: таким образом, Клара сидела между Подтягиным и Горноцветовым, а Ганин между Алферовым и Колиным. Маленькая, черная, меланхолически-чопорная фигура самой госпожи Дорн в конце стола, между обращенных друг к другу через стол профилей напудренных, жеманных танцоров, которые быстро-быстро с какими-то птичьими ужимками заговаривали с ней, казалась очень неуместной, жалкой и потерянной. Она сама говорила мало, стесненная своей легкой глухотой, и только следила, чтобы громадная Эрика вовремя приносила и уносила тарелки. И то и дело ее крошечная, морщинистая рука, как сухой лист, взлетала к висячему звонку и спадала опять, мелькнув блеклой желтизной.

Когда в понедельник, около половины третьего, Ганин вошел в столовую, все уже были в сборе. Алферов, увидя его, приветливо улыбнулся, привстал, но Ганин руки не подал и, молча кивнув, занял свое место рядом с ним, заранее проклиная прилипчивого соседа. Подтягин, опрятный скромный старик, который не ел, а кушал, шумно присасывая и придерживая левой рукой салфетку, заткнутую за воротник, посмотрел поверх стекол пенснэ на Ганина и потом с неопределенным вздохом снова принялся за суп. Ганин в минуту откровенности как-то рассказал ему о тяжелой Людмилиной любви и теперь жалел об этом. Колин, его сосед слева, передал ему с дрожащей осторожностью тарелку супу и при этом взглянул на него так вкрадчиво, так улыбнулись его странные, с поволокой, глаза, что Ганину стало неловко. Меж тем справа уже бежал маслом смазанный тенорок Алферова, возражавшего на что-то сказанное Подтягиным, сидевшим против него.

— Напрасно хаете, Антон Сергеевич. Культурнейшая страна. Не чета нашей сторонушке.

Подтягин ласково блеснул стеклами и обратился к Ганину:

— Поздравьте меня, сегодня мне прислали визу. Прямо хоть орденскую ленту надевай да к президенту в гости.

У него был необыкновенно приятный голос, тихий, без всяких повышений, звук мягкий и матовый. Полное, гладкое лицо, с седою щеточкой под самой нижней губой и

с отступающим подбородком, было как будто покрыто сплошным красноватым загаром, и ласковые морщинки отходили от ясных, умных глаз. В профиль он был похож на большую поседевшую морскую свинку.

— Очень рад, — сказал Ганин. — Когда же вы едете?

Но Алферов не дал старику ответить и продолжал, дергая по привычке шеей, тощей, в золотистых волосках, с крупным прыгающим кадыком:

— Я советую вам здесь остаться. Чем тут плохо? Это, так сказать, прямая линия. Франция скорее зигзаг, а Россия наша, та — просто загогулина. Мне очень нравится здесь: и работать можно, и по улицам ходить приятно. Математически доказываю вам, что если уже где-нибудь жительствовать...

— Но я же говорю вам, — мягко прервал Подтягин, — горы бумаг, гроба картонные, папки, папки без конца! Полки под ними так и ломятся. И полицейский чиновник, пока отыскал мою фамилию, чуть не подох от натуги. Вы вообще не можете себе и представить (при словах «и представить» Подтягин тяжело и жалобно повел головой), сколько человеку нужно перестрадать, чтобы получить право на выезд отсюда. Одних бланков сколько я заполнил. Сегодня уж думал — стукнут мне выездную визу... Куда там... Послали сниматься, а карточки только вечером будут готовы.

— Очень все правильно, — закивал Алферов, — так и должно быть в порядочной стране. Тут вам не российский кавардак. Вы обратили внимание, например, что на парадных дверях написано? «Только для господ». Это знаменательно. Вообще говоря, разницу между, скажем, нашей страной и этой можно так выразить: вообразите сперва кривую, и на ней...

Ганин, не слушая дальше, обратился к Кларе, сидевшей против него:

— Меня вчера просила Людмила Борисовна вам передать, чтоб вы ей позвонили, как только вернетесь со службы. Это насчет кинематографа, кажется.

Клара растерянно подумала: «Как он это так просто говорит о ней... Ведь он знает, что я знаю...»

Она спросила ради приличия:

— Ах, вы ее вчера видели?

Ганин удивленно двинул бровями и продолжал есть.

— Я не совсем понимаю вашу геометрию, — тихо говорил Подтягин, осторожно счищая ножиком хлебные крошки себе в ладонь. Как большинство стареющих поэтов, он был склонен к простой человеческой логике.

— Да как же, это так ясно, — взволновался Алферов, — вообразите...

— Не понимаю, — твердо повторил Подтягин и, откинув слегка голову, всыпал собранные крошки себе в рот.

Алферов быстро развел руками, сшиб стакан Ганина:

— Ах, извините!..

— Пустой, — сказал Ганин.

— Вы не математик, Антон Сергеич, — суетливо продолжал Алферов. — А я на числах, как на качелях, всю жизнь прокачался. Бывало, говорил жене: раз я математик, ты мать-и-мачеха...

Горноцветов и Колин залились тонким смехом. Госпожа Дорн вздрогнула, испуганно посмотрела на обоих.

— Одним словом: цифра и цветок, — холодно сказал Ганин. Только Клара улыбнулась. Ганин стал наливать себе воды, все смотрели на его движенье.

— Да, вы правы, нежнейший цветок, — протяжно сказал Алферов, окинув соседа своим блестящим, рассеянным взглядом. — Прямо чудо, как она пережила эти годы ужаса. Я вот уверен, что она приедет сюда цветущая, веселая... Вы — поэт, Антон Сергеевич, опишите-ка такую штуку — как женственность, прекрасная русская женственность, сильнее всякой революции, переживает все — невзгоды, террор...

Колин шепнул Ганину: «Вот он опять... Вчера уже только и было речи, что об его жене...»

«Экий пошляк, — подумал Ганин, глядя на движущуюся бородку Алферова, — а жена у него, верно, шустрая... Такому не изменять — грех...»

— Сегодня — барашек, — провозгласила вдруг Лидия Николаевна деревянным голоском, исподлобья глядя, как жильцы ее невнимательно едят жаркое. Алферов почему-то поклонился и продолжал:

— Напрасно, батюшка, не берете такой темы. — (Подтягин мягко, но решительно мотал головой.) — Может быть, когда увидите мою жену, то поймете, что я хочу сказать... Кстати, она очень любит поэзию. Столкуетесь. И я вам вот еще что скажу...

Колин, украдкой, отбивал такт, искоса посматривая на Алферова. Горноцветов тихо покатывался со смеху, глядя на палец своего друга.

— А главное, — все тараторил Алферов, — ведь с Россией — кончено. Смыли ее, как вот, знаете, если мокрой губкой мазнуть по черной доске, по нарисованной роже...

— Однако... — усмехнулся Ганин.

— Не любо слушать, Лев Глебович?

— Не любо, но не мешаю, Алексей Иванович.

— Что же, вы тогда считаете, может быть, что...

— Ах, господа, — своим матовым, чуть шепелявым голосом перебил Подтягин, — без политики. Зачем политика?

— А все-таки мсье Алферов не прав, — неожиданно вставила Клара и проворно поправила прическу.

— Ваша жена приезжает в субботу? — через весь стол невинным голосом спросил Колин, и Горноцветов прыснул в салфетку.

— В субботу, — ответил Алферов, отставляя тарелку с недоеденной бараниной. Его глаза, заблиставшие было воинственным огоньком, сразу задумчиво погасли.

— Знаете что, Лидия Николаевна, — сказал он, — мы вчера с Глеб Львовичем в лифте застряли.

— Компот, — ответила госпожа Дорн, — грушевый.

Танцоры расхохотались. Эрика, толкая боками локти сидевших за столом, стала убирать тарелки. Ганин тщательно свернул салфетку, втиснул ее в кольцо и встал. Сладкого он не ел.

«Тощища какая... — думал он, возвращаясь в свою комнату. — И что мне теперь делать? Выйти погулять, что ли?..»

Этот день его, как и предыдущие, прошел вяло, в какой-то безвкусной праздности, лишенной мечтательной надежды, которая делает праздность прелестной. Бездействие теперь его тяготило, а дела не было. Подняв воротник старого макинтоша, купленного за один фунт у английского лейтенанта в Константинополе, и крепко засунув кулаки в карманы, он медленно, вразвалку, пошатался по бледным апрельским улицам, где плыли и качались черные купола зонтиков, и долго смотрел в витрину пароходного общества на чудесную модель Мавритании, на цветные шнуры, соединяющие гавани двух материков на большой карте. И в глубине была фотография тропической рощи — шоколадного цвета пальмы на бледно-коричневом небе.

Он с час попивал кофе, сидя у чистого огромного окна, и смотрел на прохожих. Вернувшись домой, он пробовал читать, но то, что было в книге, показалось ему таким чужим и неуместным, что он бросил ее посредине придаточного предложения. На него нашло то, что он называл «рассеянье воли». Он сидел не шевелясь перед столом и не мог решить, что ему делать: переменить ли положение тела, встать ли, чтобы пойти вымыть руки, отворить ли окно, за которым пасмурный день уже переходил в сумерки... Это было мучительное и страшное состояние, несколько похожее на ту тяжкую тоску, что охватывает нас, когда, уже выйдя из сна, мы не сразу можем раскрыть словно навсегда слипшиеся веки. Так и Ганин чувствовал, что мутные сумерки, которыми постепенно наливалась комната, заполняют его всего, претворяют самую кровь в туман, что нет у него сил пресечь сумеречное наважденье. А сил не было потому, что не было у него определенного желанья, и мученье было именно в том, что он тщетно искал желанья. Он не мог принудить себя протянуть руку к лампе, чтобы включить свет. Ему казался немыслимым чудом этот простой переход от намеренья к его осуществленью. Ничто не украшало его бесцветной тоски, мысли ползли без связи, сердце билось тихо, белье докучливо липло к телу. То казалось ему, что вот сейчас нужно написать к Людмиле письмо, твердо объяснить ей, что пора прервать этот тусклый роман, то вспоминалось ему, что вечером нужно с ней идти в кинематограф, и почему-то было гораздо труднее решиться позвонить, чтобы отказаться от сегодняшней встречи, нежели написать письмо, и потому он не мог исполнить ни того, ни другого.

А сколько раз уже он клялся себе, что завтра же с нею порвет, придумывал без труда нужные выражения, но никак не мог себе представить вот ту последнюю минуту, когда пожмет ей руку и спокойно выйдет из комнаты. Вот это движенье — повернуться, уйти — казалось немыслимым. Он был из породы людей, которые умеют добиваться, достигать, настигать, но совершенно не способны ни к отречению, ни к бегству, — что в конце концов одно и то же. Так мешались в нем чувство чести и чувство жалости, отуманивая волю этого человека, способного в другое время на всякие творческие подвиги, на всякий труд и принимающегося за этот труд жадно, с охотой, с радостным намерением все одолеть и всего достичь.

Он не знал, какой толчок извне должен произойти, чтобы дать ему силы порвать трехмесячную связь с Людмилой, так же как не знал, что именно должно случиться, чтобы он мог встать со стула. Очень недолго продолжалось подлинное его увлечение, то состояние его души, при котором Людмила ему представлялась в обольстительном тумане, состояние ищущего, высокого, почти неземного волненья, подобное музыке, играющей именно тогда, когда мы делаем что-нибудь совсем обыкновенное — идем от столика к буфету, чтобы расплатиться, — и превращающей это наше простое движенье в какой-то внутренний танец, в значительный и бессмертный жест.

Эта музыка смолкла в тот миг, когда ночью, на тряском полу темного таксомотора, Людмила ему отдалась, и сразу все стало очень скучным — женщина, поправлявшая шляпу, что съехала ей на затылок, огни, мелькавшие мимо окон, спина шофера, горой черневшая за передним стеклом.

Теперь приходилось расплачиваться за эту ночь трудным обманом, продолжать эту ночь без конца и бессильно, безвольно предаваться ее ползучей тени, которая теперь насытила все углы комнаты, превратила мебель в облака. Он впал в туманную дремоту, подперев лоб ладонью и странно вытянув под столом одеревеневшие ноги.

. . . .

А потом, в кинематографе, стало людно и жарко. Очень долго молча, без музыки, по экрану мелькали крашеные рекламы, рояли, платья, духи. Наконец заиграл оркестр, и началась драма.

Людмила была весела необычайно. Она пригласила Клару пойти вместе, оттого что отлично чувствовала, что той нравится Ганин, и хотела доставить удовольствие и ей, и самой себе, щегольнуть своим романом и умением его скрывать. Клара же согласилась пойти, оттого что знала, что Ганин в субботу собирается уезжать, и между прочим удивлялась, что Людмила словно об этом не знает, — или, может быть, нарочно ничего не говорит, а уедет с ним вместе.

Ганин, сидевший между ними, был раздражен тем, что Людмила, как большинство женщин ее типа, все время, пока шла картина, говорила о посторонних вещах, перегибалась через колени Ганина к подруге, обдавая его каждый

раз холодным, неприятно-знакомым запахом духов. Меж тем картина была занимательная, прекрасно сделанная.

— Послушайте, Людмила Борисовна, — не выдержал наконец Ганин, — перестаньте шептать. Уже немец за мной сердится.

Она в темноте быстро глянула на него, откинулась, посмотрела на сияющее полотно:

— Я ничего не понимаю, сплошная чепуха какая-то.

— Вольно было вам шептать, — сказал Ганин. — Немудрено, что ничего не понимаете.

На экране было светящееся, сизое движение: примадонна, совершившая в жизни своей невольное убийство, вдруг вспоминала о нем, играя в опере роль преступницы, и, выкатив огромные неправдоподобные глаза, валилась навзничь на подмостки. Медленно проплыла зала театра, публика рукоплещет, ложи и ряды встают в экстазе одобренья. И внезапно Ганину померещилось что-то смутно и жутко знакомое. Он с тревогой вспомнил грубо сколоченные ряды, сиденья и барьеры лож, выкрашенные в зловещий фиолетовый цвет, ленивых рабочих, вольно и равнодушно, как синие ангелы, переходивших с балки на балку высоко наверху или наводивших слепительные жерла юпитеров на целый полк россиян, согнанный в громадный сарай и снимавшийся в полном неведении относительно общей фабулы картины. Он вспомнил молодых людей в поношенных, но на диво сшитых одеждах, лица дам в лиловых и желтых разводах грима и тех безобидных изгнанников, старичков да невзрачных девиц, которых сажали в самую глубь, лишь для заполнения фона. Теперь внутренность того холодного сарая превратилась на экране в уютный театр, рогожа стала бархатом, нищая толпа — театральной публикой. Он напряг зрение и с пронзительным содроганьем стыда узнал себя самого среди этих людей, хлопавших по заказу, и вспомнил, как они все должны были глядеть вперед, на воображаемую сцену, где никакой примадонны не было, а стоял на помосте, среди фонарей, толстый рыжий человек без пиджака и до одури орал в рупор.

Двойник Ганина тоже стоял и хлопал, вон там, рядом с чернобородым, очень эффектным господином, с лентой поперек белой груди. Он попадал всегда в первый ряд за эту вот бородку и крахмальное белье, а в перерывах жевал

бутерброд, а потом, после съемки, надевал поверх фрака убогое пальтишко и ехал к себе домой, в отдаленную часть Берлина, где работал наборщиком в типографии.

И Ганин в этот миг почувствовал не только стыд, но и быстротечность, неповторимость человеческой жизни. Там, на экране, его худощавый облик, острое, поднятое кверху лицо и хлопавшие руки исчезли в сером круговороте других фигур, а еще через мгновенье зал, повернувшись как корабль, ушел, и теперь показывали пожилую, на весь мир знаменитую актрису, очень искусно изображавшую мертвую молодую женщину. «Не знаем, что творим», — с отвращеньем подумал Ганин, уже не глядя на картину.

Людмила снова шепталась с Кларой — о какой-то портнихе, материи, — драма подходила к концу, и Ганину было смертельно скучно. Когда через несколько минут они пробирались к выходу, Людмила к нему прижалась, шепнула: «Позвоню тебе завтра в два, миленький...»

Ганин и Клара проводили ее до дому и потом вместе пошли в свой пансион. Ганин молчал, и Клара мучительно старалась найти тему для разговора.

— Вы, говорят, в субботу уезжаете? — спросила она.

— Не знаю, ничего не знаю... — хмуро ответил Ганин.

Он шел и думал, что вот теперь его тень будет странствовать из города в город, с экрана на экран, что он никогда не узнает, какие люди увидят ее и как долго она будет мыкаться по свету. И когда потом он лег в постель и слушал поезда, насквозь проходившие через этот унылый дом, где жило семь русских потерянных теней, — вся жизнь ему представилась той же съемкой, во время которой равнодушный статист не ведает, в какой картине он участвует.

Ганин не мог уснуть; в ногах бегали мурашки, и подушка мучила голову. И среди ночи, за стеной, его сосед Алферов стал напевать. Сквозь тонкую стену слышно было, как он шлепает по полу, то близясь, то удаляясь, и Ганин лежал и злился. Когда прокатывала дрожь поезда, голос Алферова смешивался с гулом, а потом снова всплывал: ту-у-у, ту-ту, ту-у-у.

Ганин не выдержал. Он натянул штаны, вышел в коридор и кулаком постучал в дверь первого номера. Алферов, среди блужданья своего, оказался как раз против двери и сразу отпахнул ее, так что Ганин даже вздрогнул от неожиданности.

— Пожалуйте, Лев Глебович, милости просим.

Он был в сорочке и подштанниках, золотистая бородка слегка растрепалась — оттого, верно, что он песенки выдувал, — и в бледно-голубых глазах так и металось счастие.

— Вы вот поете, — сказал Ганин, сдвинув брови, — а мне это мешает спать.

— Да входите же, голубчик, что это вы, право, на пороге топчетесь, — засуетился Алексей Иванович, неловко и ласково беря Ганина за талию. — Простите великодушно, если мешал.

Ганин неохотно вошел в комнату. В ней было очень мало вещей и очень много беспорядка. Один из двух стульев, вместо того чтобы стоять у письменного стола (той дубовой махины, на которой была чернильница в виде большой жабы), забрел было в сторону маленького умывальника, но на полпути остановился, видимо споткнувшись об отвернутый край зеленого коврика. Другой стул, что стоял у постели и служил ночным столиком, исчезал под черным пиджаком, павшим на него словно с Арарата, так он тяжело и рыхло сел. На дубовой пустыне стола, а также на постели разбросаны были тонкие листы. На этих листах Ганин мельком заметил карандашные чертежи, колеса, квадраты, сделанные без всякой технической точности, а так, кое-как, ради препровожденья времени. Сам Алферов в своих теплых подштанниках, делающих всякого мужчину, будь он строен как Адонис и изящен как Браммель, необыкновенно непривлекательным, уже опять расхаживал среди этого комнатного бурелома, щелкая ногтем то по зеленому колпаку настольной лампы, то по спинке стула.

— Я страшно рад, что вы наконец ко мне заглянули, — говорил он, — сам-то я не в состоянии спать. Подумайте, — в субботу моя жена приезжает. А завтра уже вторник... Бедняжка моя, представляю, как она измучилась в этой проклятой России!

Ганин, который хмуро разглядывал шахматную задачу, набросанную на одном из листов, валявшихся на постели, вдруг поднял голову:

— Как вы сказали?

— Приезжает, — бойко щелкнул ногтем Алферов.

— Нет, не то... Как вы про Россию сказали?

— Проклятая. А что, разве не правда?

— Нет, так, — занятный эпитет.

— Эх, Лев Глебович, — остановился вдруг посреди комнаты Алферов. — Полно вам большевика ломать. Вам это кажется очень интересным, но, поверьте, это грешно с вашей стороны. Пора нам всем открыто заявить, что России капут, что «богоносец» оказался, как, впрочем, можно было ожидать, серой сволочью, что наша родина, стало быть, навсегда погибла.

Ганин рассмеялся:

— Конечно, конечно, Алексей Иванович.

Алферов помазал ладонью сверху вниз по блестевшему лицу и улыбнулся вдруг широкой мечтательной улыбкой:

— Отчего вы не женаты, дорогой мой. А?

— Не пришлось, — отвечал Ганин. — Это весело?

— Роскошно. Моя жена — прелесть. Брюнетка, знаете, глаза этакие живые... Совсем молоденькая. Мы женились в Полтаве, в девятнадцатом году, а в двадцатом мне пришлось бежать: вот здесь у меня в столе карточки, — покажу вам.

Он снизу, согнутой пятерней, вытолкнул широкий ящик.

— Чем вы тогда были, Алексей Иванович? — без любопытства спросил Ганин.

Алферов покачал головой:

— Не помню. Разве можно помнить, чем был в прошлой жизни, — быть может, устрицей или, скажем, птицей, а может быть, учителем математики. Прежняя жизнь в России так и кажется мне чем-то довременным, метафизическим, или, как это... другое слово, — да, — метампсихозой...

Ганин довольно равнодушно рассматривал снимок в открытом ящике. Это было лицо растрепанной молодой женщины с веселым, очень зубастым ртом. Алферов наклонился через его плечо:

— Нет, это не жена, это моя сестрица. От тифа умерла, в Киеве. Хорошая была, хохотунья, мастерица в пятнашки играть...

Он придвинул другой снимок:

— А вот это Машенька, жена моя. Плохая фотография, но все-таки похоже. А вот другая, в саду нашем снято. Машенька — та, что сидит в светлом платье. Четыре года не видел ее. Но не думаю, чтобы особенно изменилась. Прямо

не знаю, как доживу до субботы... Стойте... Куда вы, Лев Глебович? Посидите еще!..

Ганин, глубоко засунув руки в карманы штанов, шел к двери.

— Лев Глебович! Что с вами? Обидел я вас чем-нибудь?

Дверь захлопнулась. Алферов остался стоять один посреди комнаты.

— Все-таки... какой невежа, — пробормотал он. — Что за муха его укусила?

3

В эту ночь, как всегда, старичок в черной пелерине брел вдоль самой панели по длинному пустынному проспекту и тыкал острием сучковатой палки в асфальт, отыскивая табачные кончики — золотые, пробковые и просто бумажные, — а также слоистые окурки сигар. Изредка, вскрикнув оленьим голосом, промахивал автомобиль, или случалось то, что ни один городской пешеход не может заметить, — падала, быстрее мысли и беззвучнее слезы, звезда. Ярче, веселее звезд были огненные буквы, которые высыпали одна за другой над черной крышей, семенили гуськом и разом пропадали во тьме.

«Неужели... это... возможно...» — огненным осторожным шепотом проступали буквы, и ночь одним бархатным ударом смахивала их. «Неужели... это...» — опять начинали они, крадясь по небу.

И снова наваливалась темнота. Но они настойчиво разгорались и наконец, вместо того чтобы исчезнуть сразу, остались сиять на целых пять минут, как и было условлено между бюро электрических реклам и фабрикантом.

Впрочем, чорт его знает, что на самом деле играло там, в темноте, над домами, световая ли реклама, или человеческая мысль, знак, зов, вопрос, брошенный в небо и получающий вдруг самоцветный, восхитительный ответ.

А по улицам, ставшим широкими, как черные блестящие моря, в этот поздний час, когда последний кабак закрывается и русский человек, забыв о сне, без шапки, без пиджака, под старым макинтошем, как ясновидящий, вышел на улицу блуждать, — в этот поздний час по этим широким улицам расхаживали миры друг другу неведо-

мые — не гуляка, не женщина, не просто прохожий, — а наглухо заколоченный мир, полный чудес и преступлений. Пять извозчичьих пролеток стояли вдоль бульвара рядом с огромным барабаном уличной уборной, — пять сонных, теплых, седых миров в кучерских ливреях, и пять других миров на больных копытах, спящих и видящих во сне только овес, что с тихим треском льется из мешка.

Бывают такие мгновения, когда все становится чудовищным, бездонно-глубоким, когда, кажется, так страшно жить и еще страшнее умереть. И вдруг, пока мчишься так по ночному городу, сквозь слезы глядя на огни и ловя в них дивное ослепительное воспоминанье счастья, — женское лицо, всплывшее опять после многих лет житейского забвенья, — вдруг, пока мчишься и безумствуешь так, вежливо остановит тебя прохожий и спросит, как пройти на такую-то улицу, — голосом обыкновенным, но которого уже никогда больше не услышишь.

4

Во вторник, поздно проснувшись, он почувствовал некоторую ломоту в ногах и, облокотившись на подушку, раза два с тревожным, изумленным блаженством вздохнул, вспомнив, что вчера случилось.

Утро было белое, нежное, дымное. Деловитым гулом дрожали стекла.

Он решительным махом соскочил с постели и принялся бриться. Сегодня он находил в этом особое удовольствие. Кто бреется, тот каждое утро молодеет на день. Ганину сегодня казалось, что он помолодел ровно на девять лет.

Щетина на вытянутой коже, размягченная хлопьями пены, равномерно похрустывала и сходила под стальным плужком бритвы. Бреясь, Ганин поводил бровями, а потом, когда обливался из кувшина холодной водой, радостно улыбался. Он пригладил на темени влажные темные волосы, быстро оделся и вышел на улицу.

В пансионе никого из жильцов не оставалось, кроме танцоров, которые обыкновенно вставали только к обеду: Алферов отправился к знакомому, с которым затевал конторское дело, Подтягин поехал в полицейский участок добиваться выездной визы, Клара, уже опоздавшая на службу,

ждала трамвая на углу, прижав к груди бумажный мешок с апельсинами.

А Ганин, без волненья, поднялся на второй этаж в знакомом ему доме, дернул кольцо звонка. Отперев дверь, но не сняв внутренней цепочки, высунулась горничная и сказала, что госпожа Рубанская еще спит.

— Все равно, мне нужно ее видеть, — спокойно сказал Ганин и, просунув в скважину руку, сам снял цепочку.

Горничная, коренастая бледная девушка, с негодованием что-то забормотала, но Ганин все так же решительно, отстранив ее локтем, прошел в полусумрак коридора и стукнул в дверь.

— Кто там? — раздался хрипловатый утренний голос Людмилы.

— Я, отопри.

Она простукала босыми пятками к двери, повернула ключ и, раньше чем посмотреть на Ганина, побежала обратно к постели, прыгнула под одеяло. По кончику уха видно было, что она в подушку улыбается, ждет, чтобы Ганин к ней подошел.

Но он остановился посреди комнаты и так простоял довольно долго, бренча мелкими монетами в карманах макинтоша.

Людмила вдруг перевернулась на спину и смеясь распахнула голые худенькие руки. Утро к ней не шло: лицо было бледное, опухшее, и желтые волосы стояли дыбом.

— Ну же, — протянула она и зажмурилась.

Ганин перестал бренчать.

— Вот что, Людмила, — сказал он тихо.

Она привстала, широко открыв глаза:

— Что-нибудь случилось?

Ганин пристально посмотрел на нее и ответил:

— Да. Я, оказывается, люблю другую женщину. Я пришел с тобой проститься.

Она заморгала спутанными своими ресницами, прикусила губу.

— Это, собственно, все, — сказал Ганин. — Мне очень жаль, но ничего не поделаешь. Мы сейчас простимся. Я полагаю, что так будет лучше.

Людмила, закрыв лицо, опять пала ничком в подушку. Лазурное стеганое одеяло стало косо сползать с ее ног на белый мохнатый коврик. Ганин поднял, поправил его. Потом прошелся раза два по комнате.

— Горничная не хотела меня впускать, — сказал он.

Людмила, уткнувшись в подушку, лежала как мертвая.

— Вообще говоря, — сказал Ганин, — она какая-то неприветливая.

— Пора перестать топить. Весна, — сказал он немного погодя. Прошел от двери к белому трюмо, потом надел шляпу.

Людмила все не шевелилась. Он еще постоял, поглядел на нее молча и, издав горлом легкий звук, как будто хотел откашляться, вышел из комнаты.

Стараясь ступать тихо, он быстро прошел по длинному коридору, ошибся дверью, попал с размаху в ванную комнату, откуда хлынула волосатая рука и львиный рык, круто повернул и, столкнувшись опять с коренастой горничной, которая терла тряпкой бронзовый бюст в прихожей, стал спускаться в последний раз по отлогой каменной лестнице. На площадке громадная рама окна, выходившего на задний двор, была отпахнута, и во дворе бродячий баритон ревел по-немецки «Стеньку Разина».

И, послушав по-весеннему дрожавший голос и взглянув на роспись открытого стекла — куст кубических роз и павлиний веер, — Ганин почувствовал, что свободен.

Он медленно шел по улице, куря на ходу. День был холодноватый, молочный; белые растрепанные облака поднимались навстречу ему в голубом пролете между домов. Он всегда вспоминал Россию, когда видел быстрые облака, но теперь он вспомнил бы ее и без облаков: с минувшей ночи он только и думал о ней.

То, что случилось в эту ночь, то восхитительное событие души, переставило световые призмы всей его жизни, опрокинуло на него прошлое.

Он сел на скамейку в просторном сквере, и сразу трепетный и нежный спутник, который его сопровождал, разлегся у его ног сероватой весенней тенью, заговорил.

И теперь, после исчезновенья Людмилы, он свободен был слушать его...

Девять лет тому назад... Лето, усадьба, тиф... Удивительно приятно выздоравливать после тифа. Лежишь словно на волне воздуха; еще, правда, побаливает селезенка, и выписанная из Петербурга сиделка трет тебе язык по утрам — вязкий после сна — ватой, пропитанной портвейном. Сиделка очень низенького роста, с мягкой грудью,

с проворными короткими руками, и идет от нее сыроватый запах, стародевичья прохлада. Она любит прибаутки, японские словечки, оставшиеся у нее от войны четвертого года. Лицо с кулачок, бабье, щербатое, с острым носиком, и ни один волосок не торчит из-под косынки.

Лежишь словно на воздухе. Постель слева отгорожена от двери камышовой ширмой, сплошь желтой, с плавными сгибами. Направо, совсем близко, в углу — киот: смуглые образа за стеклом, восковые цветы, коралловый крестик. Два окна, — одно прямо напротив, но далеко: постель будто отталкивается изголовьем от стены и метит в него медными набалдашниками изножья, в каждом из которых пузырек солнца, метит и вот тронется, поплывет через всю комнату в окно, в глубокое июльское небо, по которому наискось поднимаются рыхлые, сияющие облака. Второе окно, в правой стене, выходит на зеленоватую косую крышу: спальня во втором этаже, а это — крыша одноэтажного крыла, где людская и кухня. Окна запираются на ночь белыми створчатыми ставнями.

За ширмой — дверь, ведущая на лестницу, а подальше у той же стены — блестящая белая печка и старинный умывальник, с баком, с клювастым краном: нажмешь ногой на медную педаль, и из крана прыщет тонкий фонтанчик. Слева от переднего окна — красного дерева комод с очень тугими ящиками, а справа — оттоманка.

Обои — белые, в голубоватых розах. В полубреду, бывало, из этих роз лепишь профиль за профилем или странствуешь глазами вверх и вниз, стараясь не задеть по пути ни одного цветка, ни одного листика, находишь лазейки в узоре, проскакиваешь, возвращаешься вспять, попав в тупик, и сызнова начинаешь бродить по светлому лабиринту. Направо от постели, между киотом и боковым окном, висят две картины: черепаховая кошка, лакающая с блюдца молоко, и скворец, сделанный выпукло из собственных перьев на нарисованной скворечнице. Рядом, у оконного косяка, приделана керосиновая лампа, склонная выпускать черный язык копоти. Есть еще картины: литография — неаполитанец с открытой грудью — над комодом, а над рукомойником — нарисованная карандашом голова лошади, что, раздув ноздри, плывет по воде.

День-деньской кровать скользит в жаркое ветреное небо, и когда привстаешь, то видишь верхушки лип, круто

прохваченные желтым солнцем, телефонные проволоки, на которые садятся стрижи, и часть деревянного навеса над мягкой красной дорогой перед парадным крыльцом. Оттуда доносятся изумительные звуки: щебетанье, далекий лай, скрип водокачки.

Лежишь, плывешь и думаешь о том, что скоро встанешь; и в солнечной луже играют мухи, и цветной моток шелка, как живой, спрыгивает с колен матери, сидящей подле, мягко катится по янтарному паркету...

В этой комнате, где в шестнадцать лет выздоравливал Ганин, и зародилось то счастье, тот женский образ, который спустя месяц он встретил наяву. В этом сотворении участвовало все — и мягкие литографии на стенах, и щебет за окном, и коричневый лик Христа в киоте, и даже фонтанчик умывальника. Зарождавшийся образ стягивал, вбирал всю солнечную прелесть этой комнаты, и, конечно, без нее он никогда бы не вырос. В конце концов, это было просто юношеское предчувствие, сладкие туманы, но Ганину теперь казалось, что никогда такого рода предчувствие не оправдывалось так совершенно. И целый день он переходил из садика в садик, из кафе в кафе, и его воспоминанье непрерывно летело вперед, как апрельские облака по нежному берлинскому небу. Люди, сидевшие в кафе, полагали, что у этого человека, так пристально глядящего перед собой, должно быть какое-нибудь глубокое горе, а на улице он в рассеянье толкал встречных, и раз быстрый автомобиль затормозил и выругался, едва его не задев.

Он был богом, воссоздающим погибший мир. Он постепенно воскрешал этот мир, в угоду женщине, которую он еще не смел в него поместить, пока весь он не будет закончен. Но ее образ, ее присутствие, тень ее воспоминанья требовали того, чтобы наконец он и ее бы воскресил, — и он нарочно отодвигал ее образ, так как желал к нему подойти постепенно, шаг за шагом, точно так же, как тогда, девять лет тому назад. Боясь спутаться, затеряться в светлом лабиринте памяти, он прежний путь свой воссоздавал осторожно, бережно, возвращаясь иногда к забытой мелочи, но не забегая вперед. Блуждая в этот весенний вторник по Берлину, он и вправду выздоравливал, ощущал первое вставанье с постели, слабость в ногах. Смотрелся во все зеркала. Белье и одежды казались необыкновенно чистыми, просторными и немного чужими. Он медленно

шел по широкой аллее, что вела от площадки дома в дебри парка. Там и сям вздувались на лиловатой от лиственной тени земле черные червистые холмики — работа кротов. Он надел белые панталоны, сиреневые носки. Он мечтал встретить кого-нибудь в парке, кого — он еще не знал.

Дойдя до конца аллеи, где сияла в темной зелени хвой белая скамья, он повернул обратно, и далеко впереди в пролете между лип виден был оранжевый песок садовой площадки и блестевшие стекла веранды.

Сиделка уехала обратно в Петербург, — долго высовывалась из коляски, махала коротенькой рукой, и ветер трепал косынку. Дни пошли радостные, бодрые. В усадьбе была прохлада, плащи солнца на паркете. И через две недели он уже до одури катался на велосипеде, лупил по вечерам в городки с сыном скотницы. А еще через неделю случилось то, чего он так ждал. «И куда все это делось, — вздохнул Ганин. — Где теперь это счастье и солнце, эти рюхи, которые так славно звякали и скакали, мой велосипед с низким рулем и большой передачей?.. По какому-то там закону ничто не теряется, материю истребить нельзя, значит, где-то существуют и по сей час щепки от моих рюх и спицы от велосипеда. Да вот беда в том, что не соберешь их опять, — никогда. Я читал о "вечном возвращении"... А что, если этот сложный пасьянс никогда не выйдет во второй раз? Вот... чего-то никак не осмыслю... Да: неужели все это умрет со мной? Я сейчас один в чужом городе. Пьян. От коньяку и пива трещит башка. Ноги вдосталь нашатались. И вот сейчас может лопнуть сердце, — и с ним лопнет мой мир... Никак не осмыслю...»

Он оказался опять в том же сквере, но теперь было совсем холодно, небо к вечеру подернулось обморочной бледнотой.

«Осталось четыре дня: среда, четверг, пятница, суббота. А я сейчас могу умереть...»

— Подтянуться! — вдруг пробормотал он, сдвинув темные брови. — Довольно. Пора домой.

На площадке лестницы он встретился с Алферовым, который, слегка сгорбившись в своем широченном пальто и старательно выпучив губы, совал ключ в замочную скважину лифта.

— Иду газету покупать, Лев Глебович. Хотите, вместе пройдемся?

— Благодарю, — сказал Ганин и прошел к себе.

Но, взявшись за ручку двери, он остановился. Им овладел мгновенный соблазн. Он услышал, как Алферов вошел в лифт, как машина с трудным глухим грохотом опустилась донизу и там лязгнула.

«Унесло... — подумал он, покусывая губы. — А, чорт... рискну». Судьба так захотела, чтобы минут пять спустя Клара постучалась к Алферову, чтобы спросить, нет ли у него почтовой марки. Сквозь верхнее матовое стекло двери желтел свет, и потому она решила, что Алферов дома.

— Алексей Иванович, — сказала Клара, одновременно стуча и приоткрывая дверь, — нет ли у вас...

Она в изумленье запнулась. У письменного стола стоял Ганин и поспешно задвигал ящик. Он оглянулся, блеснув зубами, толкнул ящик бедром и выпрямился.

— Ах, Боже мой, — тихо сказала Клара и попятилась из комнаты.

Ганин быстро шагнул к ней, на ходу выключив свет и захлопнув дверь. Клара прислонилась к стене в полутемном коридоре и с ужасом глядела на него, прижав пухлые руки к вискам.

— Боже мой... — повторила она так же тихо. — Как вы могли...

С медленным грохотом, словно отдуваясь, поплыл вверх лифт.

— Возвращается... — таинственно шепнул Ганин.

— О, я не выдам вас, — горько воскликнула Клара, не сводя с него блестящих, влажных глаз, — но как вы могли? Ведь он не богаче вас... Нет, это кошмар какой-то.

— Пойдемте к вам, — сказал с улыбкой Ганин. — Я вам, пожалуй, объясню...

Она медленно отделилась от стены и, нагнув голову, пошла в свою комнату. Там было тепло, пахло хорошими духами, на стене была копия с картины Беклина «Остров мертвых», на столике стояла фотография — Людмилино лицо, очень подправленное.

— Мы с нею поссорились, — кивнул Ганин в сторону снимка. — Не зовите меня, если она будет у вас. Все кончено.

Клара села с ногами на кушетку и, кутаясь в черный платок, исподлобья глядела на Ганина.

— Все это глупости, Клара, — сказал он, садясь рядом с ней и опираясь на выпрямленную руку. — Неужели вы думаете, что я действительно крал деньги? Но конечно, мне будет неприятно, если Алферов узнает, что я залезал к нему в стол.

— Да что же вы делали? Что могло быть другого? — зашептала Клара. — Я от вас не ожидала этого, Лев Глебович.

— Какая вы, право, смешная, — сказал Ганин и заметил, что ее большие, ласковые, слегка навыкате глаза чересчур уж блестят, что слишком уж взволнованно поднимаются и спадают ее плечи под черным платком.

— Полноте, — улыбнулся он. — Ну хорошо, предположим, я — вор, взломщик. Но почему это вас так тревожит?

— Уходите, пожалуйста, — тихо сказала Клара и отвернула голову. Он рассмеялся, пожал плечом...

Когда же дверь за ним закрылась, Клара заплакала, и плакала долго, тяжелыми блестящими слезами, которые равномерно возникали на ее ресницах и сползали продолговатыми каплями по ее запылавшим от рыданий щекам.

— Бедный мой, — бормотала она, — до чего жизнь довела его. И что я могу ему сказать...

Раздался легкий стук в стену из комнаты танцоров. Клара сильно высморкалась, прислушалась. Стук повторился опять, по-женски бархатный: это, верно, стучал Колин. Потом прокатился смех, кто-то воскликнул: «Алек, о Алек, перестань...» и два голоса глухо и нежно затараторили.

Клара подумала о том, что завтра, как всегда, нужно ехать на службу, до шести стучать по кнопкам, следя за лиловой строчкой, которая с зернистым потрескиваньем высыпает на лист, или же, если дела нет, читать, подперев ее об черный ремингтон, одолженную, бесстыдно растрепанную книгу. Она сварила себе чай, вяло поужинала, потом долго раздевалась, вздыхая и лениво двигаясь. Лежа в постели, она слышала, что рядом, в номере у Подтягина, голоса, кто-то входил, выходил, неожиданно голос Ганина что-то громко сказал, Подтягин ответил тихо, сокрушенно. Она вспомнила, что старик сегодня опять ездил насчет паспорта, что у него тяжелая болезнь сердца, что жизнь проходит: в пятницу ей минет двадцать шесть лет. А голоса все звучали, — и Кларе казалось, что она живет в стеклянном доме, колеблющемся и плывущем куда-то. Шум поез-

дов, особенно ясно слышный по ту сторону коридора, добирался и сюда, и кровать как будто поднималась и покачивалась. Перед ней мелькнула спина Ганина, который склонялся над столом и оглядывался через плечо, скаля яркие зубы. А потом она уснула и во сне видела какую-то чушь: будто села в трамвай, а рядом старушка, необыкновенно похожая на ее тетку, жившую в Лодзи, быстро говорит что-то по-немецки, и оказывается понемногу, что это вовсе не ее тетка, а та радушная торговка, у которой Клара по дороге на службу покупает апельсины.

5

В этот вечер к Антону Сергеевичу зашел гость. Это был старый господин с желтоватыми усами, подстриженными на английский манер, солидный, очень опрятно одетый, в сюртуке и полосатых штанах. Подтягин его потчевал бульоном «магги», когда вошел Ганин. Воздух был синеват от папиросных паров.

— Господин Ганин, господин Куницын, — и Антон Сергеевич, сияя стеклами пенснэ и посапывая, вдавил Ганина своей мягкой рукой в кресло.

— Это, Лев Глебович, мой старый однокашник, когда-то шпаргалки мне писал.

Куницын осклабился.

— Было дело, — проговорил он низким, круглым голосом. — А позвольте вас спросить, дорогой Антон Сергеевич, который теперь час?

— Да ну вас, час детский, можно еще посидеть.

Куницын встал, подтягивая жилет:

— Супруга ждет, не могу.

— Ну что же, не смею удерживать, — развел руками Антон Сергеевич и бочком, через пенснэ поглядел на гостя. — А жене вашей кланяйтесь. Не имею чести знать, но поклон передайте.

— Благодарю, — сказал Куницын. — Очень приятно. Всего доброго. Пальто я, кажется, в передней оставил.

— Я вас еще провожу, — сказал Подтягин. — Простите, пожалуйста, Лев Глебович, сейчас вернусь.

Оставшись один, Ганин поудобнее уселся в старом зеленом кресле и в раздумье улыбнулся. Он зашел к старому

поэту, оттого что это был, пожалуй, единственный человек, который мог бы понять его волненье. Ему хотелось рассказать ему о многом — о закатах над русским шоссе, о березовых рощах. В переплетенных старых журналах «Всемирная Иллюстрация» да «Живописное Обозрение» ведь бывали под виньетками стихи этого самого Подтягина.

Антон Сергеевич вернулся, хмуро покачивая головой.

— Обидел меня, — сказал он, садясь к столу и барабаня пальцами. — Ах, как обидел...

— В чем дело? — улыбнулся Ганин.

Антон Сергеевич снял пенснэ, вытер его краем скатерти.

— Презирает он меня, вот в чем дело. Знаете, что он мне давеча сказал? Посмотрел с этакой холодной усмешечкой: вы, говорит, стихи свои пописывали, а я не читал. А если бы читал, терял бы то время, что отдавал работе. Вот что он мне сказал, Лев Глебович; я вас спрашиваю, умно ли это?

— А кто он такой? — спросил Ганин.

— Да чорт его знает. Деньги делает. Эх-ма. Он человек, видите ли...

— Что же тут обидного, Антон Сергеевич? У него одно, а у вас другое. Ведь вы его, небось, тоже презираете.

— Ах, Лев Глебович, — заволновался Подтягин, — да разве я не прав, коли презираю его? Не это ведь ужасно, а ужасно то, что такой человек смеет мне деньги предложить...

Он открыл кулак, выбросил на стол смятую бумажку:

— ...ужасно то, что я принял. Извольте любоваться, — двадцать марковей, чтобы их чорт подрал.

Старик совсем растрепетался, жевал губами, седая щетка под нижней губой прыгала, толстые пальцы барабанили по столу. Потом он с болезненным присвистом вздохнул и покачал головой:

— Петька Куницын... Как же, все помню... Хорошо учился, подлец. И аккуратный такой был, при часах. Пальцем показывал во время урока, сколько минут до звонка. Первую гимназию с медалью кончил.

— Странно, должно быть, вам это вспоминать, — задумчиво сказал Ганин. — Странно вообще вспоминать, ну хотя бы то, что несколько часов назад случилось, ежедневную — и все-таки не ежедневную — мелочь.

Подтягин внимательно и мягко посмотрел на него:

— Что это с вами, Лев Глебович? Лицо у вас как-то светлее. Опять, что ли, влюблены? А насчет странностей воспоминанья... Фу ты, как хорошо улыбнулся...

— Я недаром к вам зашел, Антон Сергеич...

— А я вас Куницыным угостил. Берите пример с него. Вы как учились?

— Так себе, — опять улыбнулся Ганин. — Балашовское училище в Петербурге, знаете? — продолжал он, слегка подлаживаясь под тон Подтягина, как это часто бывает, когда говоришь со стариком. — Ну, вот. Помню тамошний двор. Мы в футбол лупили. Под аркой были сложены дрова. Мяч, бывало, собьет полено.

— Мы больше в лапту играли да в казаки-разбойники, — сказал Подтягин. — Вот жизнь и прошла, — добавил он неожиданно.

— А я, знаете, Антон Сергеевич, сегодня вспоминал старые журналы, в которых были ваши стихи. И березовые рощи.

— Неужели помните, — ласково и насмешливо повернулся к нему старик. — Дура я, дура, — я ведь из-за этих берез всю свою жизнь проглядел, всю Россию. Теперь, слава Богу, стихов не пишу. Баста. Совестно даже в бланки вписывать: «поэт». Я, кстати, сегодня опять ни черта не понял. Чиновник даже обиделся. Завтра снова поеду.

Ганин посмотрел себе на ноги и не спеша заговорил:

— В школе, в последних классах, мои товарищи думали, что у меня есть любовница, да еще какая: светская дама. Уважали меня за это. Я ничего не возражал, так как сам распустил этот слух.

— Так, так, — закивал Подтягин. — В вас есть что-то хитрое, Левушка... Это хорошо...

— А на самом деле я был до смешного чист. И совершенно не страдал от этой чистоты. Гордился ею, как особенной тайной, а выходило, что я очень опытен. Правда, я вовсе не был стыдлив и застенчив. Просто очень удобно жил в самом себе и ждал. А товарищи мои, те, что сквернословили, задыхались при слове «женщина», были все такие прыщеватые, грязные, с мокрыми ладонями. Вот за эти прыщи я их презирал. И лгали они ужасно отвратительно о своих любовных делах.

— Не могу скрыть от вас, — своим матовым голосом сказал Подтягин, — что я начал с горничной. А какая

была прелесть, тихая, сероглазая. Глашей звали. Вот какие дела.

— Нет, я ждал, — тихо сказал Ганин. — От тринадцати до шестнадцати лет, три, значит, года. Когда мне было тринадцать лет, мы играли раз в прятки, и я оказался со сверстником вместе в платяном шкафу. Он в темноте и рассказал мне, что есть на свете чудесные женщины, которые позволяют себя раздевать за деньги. Я не расслышал правильно, как он их назвал, и у меня вышло: принститутка. Смесь институтки и принцессы. Их образ мне казался поэтому особенно очаровательным, таким таинственным. Но конечно, я вскоре понял, что ошибся, так как те женщины, которые вразвалку ходили по Невскому и называли нас, гимназистов, «карандашами», вовсе меня не прельщали. И вот, после трех лет такой гордости и чистоты, я дождался. Это было летом, у нас в деревне.

— Так, так, — сказал Подтягин. — Все это я понимаю. Только вот скучно немного. Шестнадцать лет, роща, любовь...

Ганин посмотрел на него с любопытством:

— Да что же может быть лучше, Антон Сергеевич?

— Эх, не знаю, не спрашивайте меня, голубчик. Я сам поэзией охолостил жизнь, а теперь поздно начать жить сызнова. Только думается мне, что в конце концов лучше быть сангвиником, человеком дела, а если кутить, так так, чтобы зеркала лопались.

— И это было, — усмехнулся Ганин.

Подтягин на минуту задумался.

— Вот вы о русской деревне говорили, Лев Глебович. Вы-то, пожалуй, увидите ее опять. А мне тут костьми лечь. Или если не здесь, то в Париже. Совсем я сегодня раскис что-то. Простите.

Оба замолкли. Прошел поезд. Далеко, далеко крикнул безутешно и вольно паровоз. Ночь в незавешенном стекле холодно синела, отражая абажур лампы и край освещенного стола. Подтягин сидел сутуло, опустив седую голову и вертя в руках кожаный футляр портсигара. Никто бы не мог сказать, о чем он размышлял. Были ли то думы о бледно прошедшей жизни, или же старость, болезнь, нищета, с темной ясностью ночного отраженья, являлись перед ним, — были ли это думы о паспорте, о Париже, или просто — скучная мысль о том, что вот узор на коврике как раз

вмещает носок сапога, что хорошо бы выпить холодного пива, что гость засиделся, не уходит, — Бог весть; но Ганин, глядя на его большую поникшую голову, на старческий пушок в ушах, на плечи, округленные писательским трудом, почувствовал внезапно такую грусть, что уже не хотелось рассказывать ни о русском лете, ни о тропинках парка, ни тем более о том удивительном, что случилось вчера.

— Ну вот, я пойду. Спите спокойно, Антон Сергеевич.

— Спокойной ночи, Левушка, — вздохнул Подтягин. — Хорошо мы потолковали с вами. Вы вот не презираете меня за то, что я взял у Куницына денег.

И только в последнюю минуту, уже на пороге комнаты, Ганин остановился, сказал:

— Знаете что, Антон Сергеевич? У меня начался чудеснейший роман. Я сейчас иду к ней. Я очень счастлив.

Подтягин приветливо кивнул:

— Так, как. Кланяйтесь. Не имею чести знать, но все равно кланяйтесь.

6

Он, странно сказать, не помнил, когда именно увидел ее в первый раз. Быть может, на дачном концерте, устроенном в большой риге на лугу. А может быть, и до того он мельком ее видал. Он как будто бы уже знал ее смех, нежную смуглоту и большой бант, когда студент-санитар при местном солдатском лазарете рассказывал ему о барышне «милой и замечательной» — так выразился студент, — но этот разговор происходил еще до концерта. Ганин теперь напрасно напрягал память: первую, самую первую встречу он представить себе не мог. Дело в том, что он ожидал ее с такою жадностью, так много думал о ней в те блаженные дни после тифа, что сотворил ее единственный образ задолго до того, как действительно ее увидел, потому теперь, через много лет, ему и казалось, что та встреча, которая мерещилась ему, и та встреча, которая наяву произошла, сливаются, переходят одна в другую незаметно, оттого что она, живая, была только плавным продленьем образа, предвещавшего ее.

И в июльский вечер Ганин нажал на железную, певучую дверь парадного крыльца и вышел в синеву сумерок.

В сумерках особенно легко шел велосипед, шина с шелестом нащупывала каждый подъем и выгиб в утоптанной земле по краю дороги. И когда он скользнул мимо темной конюшни, оттуда пахнуло теплом, фырканьем, нежным стуком переставленного копыта. И дальше дорогу охватили с обеих сторон бесшумные в этот час березы, и в стороне, посреди луга, был мягкий свет, словно на гумне тлел пожар, и темными полями к отдельно стоявшей риге шли вразброд, не спеша, по-праздничному гудевшие люди.

Внутри был сколочен помост, расставлены скамейки, свет обливал головы и плечи, играл в глазах, пахло леденцами и керосином. Народу набралось много: в глубине разместились мужики и бабы, посередке дачники и дачницы, впереди же на белых парковых скамейках — человек двадцать солдат из сельского лазарета, нахохленных, тихих, с проплешинами в серой синеве стриженых, очень круглых голов. А в стенах, украшенных еловой хвоей, там и сям были щели, сквозь которые глядели звездная ночь да черные тени мальчишек, взгромоздившихся по той стороне на высоко наваленные бревна.

Из Петербурга приехавший бас, тощий, с лошадиным лицом, извергался глухим громом; школьный хор, послушный певучему щелчку камертона, подтягивал ему.

И среди желтого, жаркого блеска, среди звуков, становившихся зримыми в виде складок пунцовых и серебристых платков, мигавших ресниц, черных теней на верхних балках, перемещавшихся, когда продувал ночной ветерок, среди этого мерцанья и лубочной музыки, среди всех плеч и голов, в громадной, битком набитой риге, — для Ганина было только одно: он смотрел перед собой на каштановую косу в черном банте, чуть зазубрившемся на краях, он гладил глазами темный блеск волос, по-девически ровный на темени. Когда она поворачивала в сторону лицо, обращаясь быстрым, смеющимся взглядом к соседке, он видел и темный румянец ее щеки, уголок татарского горящего глаза, тонкий изгиб ноздри, которая то щурилась, то расширялась от смеха.

А потом, когда все кончилось, и огромный заводской автомобиль, таинственно озарив траву и затем взмахом света ослепив спящую березу и мостик над канавой, увез столичного баса, и в синюю темноту по клеверной росе поплыли, празднично и зыбко белеясь, дачницы, и кто-то

в темноте закуривал, держа в горстях у освещенного лица вспыхнувший огонек, — Ганин, взволнованный и одинокий, пошел домой, катя за седло чуть стрекотавший спицами велосипед.

Окно большой старомодной уборной в крыле дома, между чуланом и комнатушкой экономки, выходило на заброшенную часть садовой площадки, где чернела в тени железного навеса чета колес над колодцем и шли по земле деревянные желоба водостока между обнаженными вьющимися корнями трех огромных, разросшихся вширь тополей. Окно было расписное: цветной копьеносец казал на стекле свою квадратную бороду и могучие икры, — и странно светился он при тусклом блеске керосиновой лампы с жестяным рефлектором, висевшей подле тяжелого бархатного шнура: дернешь, и в таинственных недрах дубового кресла закипит влажный гул, глухие глотки. Ганин отпахнул пошире раму цветного окна, уселся с ногами на подоконник, — и бархатный шнур тихо качался, — и звездное небо между черных тополей было такое, что хотелось поглубже вздохнуть. И эту минуту, когда он сидел на подоконнике мрачной дубовой уборной и думал о том, что, верно, никогда, никогда он не узнает ближе барышни с черным бантом на нежном затылке, и тщетно ждал, чтобы в тополях защелкал фетовский соловей, — эту минуту Ганин теперь справедливо считал самой важной и возвышенной во всей его жизни.

Он не помнил, когда он ее увидел опять — на следующий день или через неделю. На закате, до вечернего чая, он взмахивал на пружинистый кожаный клин, упирался руками в рулевые рога и катил прямо в зарю. Он избирал всегда один и тот же путь, круговой, мимо двух деревень, разделенных сосновым лесом, и потом по шоссе, между полей, и домой через большое село Воскресенск, что лежит на реке Оредежь, воспетой Рылеевым. Он знал самый путь, то узкий, утрамбованный, бегущий вдоль опасной канавы, то мощенный булыжниками, по которым прыгало переднее колесо, то изрытый коварными колеями, то гладкий, розоватый, твердый, — он знал этот путь на ощупь и на глаз, как знаешь живое тело, и катил по нему без запинки, вдавливая в шелестящую пустоту упругие педали.

В сосновом перелеске, на шероховатых стволах, вечернее солнце лежало огненно-румяными полосками. Из дачных

садиков доносился стук крокетных шаров; и в рот, в глаза попадали мошки.

Иногда на шоссе у пирамидки щебня, над которым пустынно и нежно гудел телеграфный столб, облупившийся сизыми струпьями, он останавливался и, опираясь на велосипед, глядел через поля на одну из тех лесных опушек, что бывают только в России, далекую, зубчатую, черную, и над ней золотой запад был пересечен одним только лиловатым облаком, из-под которого огненным веером расходились лучи. И глядя на небо, и слушая, как далеко-далеко на селе почти мечтательно мычит корова, он старался понять, что все это значит — вот это небо, и поля, и гудящий столб; казалось, что вот-вот сейчас он поймет, — но вдруг начинала кружиться голова, и светлое томленье становилось нестерпимым.

Он никогда не знал, где встретит, где обгонит ее, на каком повороте дороги, в этом ли перелеске или в следующем. Она жила в Воскресенске, и в тот же час, как и он, выходила бродить в пустыне солнечного вечера. Он замечал ее издали, и сразу холодело в груди. Она шла быстро, засунув руки в карманы темно-синей, под цвет юбки, шевиотовой кофточки, надетой поверх белой блузки, и Ганин, как тихий ветер нагоняя ее, видел только складки синей материи, которые на спине у нее слегка натягивались и переливались, да черный шелковый бант, распахнувший крылья. Пролетая мимо, он никогда не заглядывал ей в лицо, а притворялся углубленным в езду, хотя за минуту до того, представляя себе встречу, клялся, что улыбнется ей, поздоровается. Ему казалось в эти дни, что у нее должно быть какое-нибудь необыкновенное, звучное имя, а когда узнал от того же студента, что ее зовут Машенька, вовсе не удивился, словно знал наперед, — и по-новому, очаровательной значительностью, зазвучало для него это простенькое имя.

— Машенька, Машенька, — зашептал Ганин, — Машенька... — и набрал побольше воздуха, и замер, слушая, как бьется сердце. Было около трех часов ночи, поезда не шли, и потому казалось, что дом остановился. На стуле, раскинув руки, как человек, оцепеневший среди молитвы, смутно белела в темноте сброшенная рубашка.

— Машенька, — опять повторил Ганин, стараясь вложить в эти три слога все то, что пело в них раньше, —

ветер, и гудение телеграфных столбов, и счастие, — и еще какой-то сокровенный звук, который был самой жизнью этого слова. Он лежал навзничь, слушал свое прошлое. И вдруг за стеной раздалось нежно, тихонько, назойливо: туу... ту... ту-ту... Алферов думал о субботе.

7

Утром на следующий день, в среду, рыжая ручища Эрики просунулась в номер второго апреля и уронила на пол длинный сиреневый конверт. На конверте Ганин равнодушно узнал косой, крупный, очень правильный почерк. Марка была наклеена вниз головой, и в углу толстый палец Эрики оставил жирный след. Конверт был крепко надушен, и Ганин мельком подумал, что надушить письмо то же, что опрыскать духами сапоги для того, чтобы перейти через улицу. Он надул щеки, выпустил воздух и сунул нераспечатанное письмо в карман. Спустя несколько минут он его опять вынул, повертел в руках и кинул на стол. Потом прошелся раза два по комнате.

Все двери пансиона были открыты. Звуки утренней уборки мешались с шумом поездов, которые, пользуясь сквозняками, прокатывали по всем комнатам. Ганин, остававшийся по утрам дома, обычно сам выметал сор, стелил постель. Он теперь спохватился, что второй день не убирал комнаты, и вышел в коридор в поисках щетки и тряпки. Лидия Николаевна с ведром в руке шуркнула мимо него как мышь и на ходу спросила: «Вам Эрика передала письмо?»

Ганин молча кивнул и взял половую щетку, лежавшую на дубовом бауле. В зеркале прихожей он увидел отраженную глубину комнаты Алферова, дверь которой была настежь открыта. В этой солнечной глубине — день был на диво погожий — косой конус озаренной пыли проходил через угол письменного стола, и он с мучительной ясностью представил себе те фотографии, которые сперва ему показывал Алферов и которые он потом с таким волненьем рассматривал один, когда помешала ему Клара. На этих снимках Машенька была совсем такой, какой он ее помнил, и теперь страшно было подумать, что его прошлое лежит в чужом столе.

В зеркале отраженье захлопнулось: это Лидия Николаевна, мышиными шажками просеменив по коридору, толкнула открытую дверь.

Ганин со щеткой в руке вернулся в свою комнату. На столе лежало сиреневое пятно. Он вспомнил по быстрому сочетанью мыслей, вызванных этим пятном и отраженьем стола в зеркале, те другие, очень старые письма, что хранились у него в черном бумажнике, лежащем рядом с крымским браунингом, на дне чемодана.

Он загреб длинный конверт со стола, локтем отпахнул пошире оконную раму и сильными своими пальцами разорвал накрест письмо, разорвал опять каждую долю, пустил лоскутки по ветру, и бумажные снежинки полетели, сияя, в солнечную бездну. Один лоскуток порхнул на подоконник, Ганин прочел на нем несколько изуродованных строк:

нечно, сумею теб
юбовь. Я только про
обы ты был сча

Он щелчком скинул его с подоконника в бездну, откуда веяло запахом угля, весенним простором, и, облегченно двинув плечами, принялся убирать комнату.

Потом он слышал, как один за другим возвращались к обеду соседи, как Алферов громко смеялся, как Подтягин что-то мягко бормотал. И еще спустя некоторое время Эрика вышла в коридор и уныло забухала в гонг.

Идя к обеду, он обогнал у двери столовой Клару, которая испуганно взглянула на него. И Ганин улыбнулся, да такой красивой и ласковой улыбкой, что Клара подумала: «Пускай он вор, — а все-таки такого второго нет». Ганин открыл дверь, она наклонила голову и прошла мимо него в столовую. Остальные уже сидели по местам, и Лидия Николаевна, держа громадную ложку в крохотной увядшей руке, грустно разливала суп.

У Подтягина сегодня опять ничего не вышло. Старику действительно не везло. Французы разрешили приехать, а немцы почему-то не выпускали. Между тем у него оставалось как раз достаточно средств, чтобы выехать, а продлись эта канитель еще неделю, деньги уйдут на жизнь, и тогда до Парижа не доберешься. Кушая суп, он рассказывал, с каким-то грустным и медлительным юмором, как

его гнали из одного отдела в другой, как он сам не мог объяснить, что ему нужно, и как наконец усталый, раздраженный чиновник накричал на него.

Ганин поднял глаза и сказал:

— Да поедем туда завтра вместе, Антон Сергеевич. У меня времени вдоволь. Я помогу вам объясниться.

Он, точно, хорошо говорил по-немецки.

— Ну что же, спасибо, — ответил Подтягин и снова, как вчера, заметил необычную светлость его лица. — А то, знаете, прямо хоть плачь. Опять два часа простоял в хвосте и вернулся ни с чем. Спасибо, Левушка.

— Вот у жены моей тоже будут хлопоты... — заговорил Алферов. И с Ганиным случилось то, чего никогда с ним не случалось. Он почувствовал, что нестерпимая краска медленно заливает ему лицо, горячо щекочет лоб, словно он напился уксусу. Идя к обеду, он не подумал о том, что эти люди, тени его изгнаннического сна, будут говорить о настоящей его жизни — о Машеньке. И с ужасом, со стыдом он вспомнил, что сам, по неведенью своему, третьего дня за обедом смеялся с другими над женой Алферова. И сегодня опять кто-нибудь мог усмехнуться.

— Она, впрочем, у меня расторопная, — говорил тем временем Алферов. — В обиду себя не даст. Не даст себя в обиду моя женка.

Колин и Горноцветов переглянулись, хихикнули... Ганин, кусая губы и опустив глаза, катал хлебный шарик. Он решил было встать и уйти, но потом пересилил себя. Подняв голову, он заставил себя взглянуть на Алферова и, взглянув, подивился, как Машенька могла выйти за этого человека с жидкой бородкой и блестящим пухлым носом. И мысль, что он сидит рядом с мужчиной, который Машеньку трогал, знает ощущенье ее губ, ее словечки, смех, движенья и теперь ждет ее, — эта мысль была ужасна, но вместе с тем он ощущал какую-то волнующую гордость при воспоминанье о том, что Машенька отдала ему, а не мужу, свое глубокое, неповторимое благоуханье.

После обеда он вышел пройтись, потом влез на верхушку автобуса. Внизу проливались улицы, по солнечным зеркалам асфальта разбегались черные фигурки, автобус качался, грохотал, — и Ганину казалось, что чужой город, проходивший перед ним, только движущийся снимок. Потом, вернувшись домой, он видел, как Подтягин стучался

в номер Клары, и Подтягин показался ему тоже тенью, случайной и ненужной.

— А наш-то, опять в кого-то влюблен, — кивнул в сторону двери Антон Сергеевич, попивая чай у Клары. — Не в вас ли?

Та отвернулась, полная грудь ее поднялась и опустилась, ей не верилось, что это могло быть так; она боялась этого, боялась того Ганина, который шарил в чужом столе, но все-таки ей был приятен вопрос Подтягина.

— Не в вас ли, Кларочка? — повторил он, дуя на чай и через пенснэ искоса поглядывая на нее.

— Он вчера порвал с Людмилой, — вдруг сказала Клара, чувствуя, что Подтягину можно проговориться.

— Я так и думал, — кивнул старик, со вкусом отхлебывая. — Недаром он такой озаренный. Старому — прочь, новому — добро пожаловать. Слыхали, что он мне сегодня предложил? Завтра — вместе со мной в полицию.

— Я буду у нее вечером, — задумчиво сказала Клара. — Бедняжка. У нее был загробный голос по телефону.

Подтягин вздохнул:

— Что же, дело молодое. Ваша подруга утешится. Все это благо. А знаете, Кларочка, мне-то скоро помирать...

— Бог с вами, Антон Сергеевич! Какие глупости.

— Нет, не глупости. Сегодня ночью опять был припадок. Сердце — то во рту, то под кроватью...

— Бедный вы, — забеспокоилась Клара. — Ведь нужно доктора...

Подтягин улыбнулся:

— Я пошутил. Мне, напротив, куда легче эти дни. А припадок — пустяк. Сам сейчас выдумал, чтобы посмотреть, как вы очеса распахнете. Если бы мы были в России, Кларочка, то за вами ухаживал бы земский врач или какой-нибудь солидный архитектор. Вы как — любите Россию?

— Очень.

— То-то же. Россию надо любить. Без нашей эмигрантской любви России — крышка. Там ее никто не любит.

— Мне уже двадцать шесть лет, — сказала Клара, — я целое утро стучу на машинке и пять раз в неделю работаю до шести. Я очень устаю. Я совершенно одна в Берлине. Как вы думаете, Антон Сергеевич, это долго будет так продолжаться?

— Не знаю, голубушка, — вздохнул Подтягин. — Сказал бы, да не знаю. Вот я тоже работал, журнал тут затеял... А теперь сижу на бобах. Дай Бог только в Париж попасть. Там жить привольнее. Как вы думаете, попаду?

— Ну что вы, Антон Сергеевич, конечно. Завтра все устроится.

— Привольнее и, кажется, дешевле, — сказал Подтягин, ложечкой доставая нерастаявший кусочек сахара и думая о том, что в этом ноздреватом кусочке есть что-то русское, весеннее, когда вот снег тает.

8

День Ганина еще более опустел в житейском смысле после его разрыва с Людмилой, но зато теперь не было тоски бездействия. Воспоминанье так занимало его, что он не чувствовал времени. Тень его жила в пансионе госпожи Дорн, — он же сам был в России, переживал воспоминанье свое как действительность. Временем для него был ход его воспоминанья, которое развертывалось постепенно. И хотя роман его с Машенькой продолжался в те далекие годы не три дня, не неделю, а гораздо больше, он не чувствовал несоответствия между действительным временем и тем другим временем, в котором он жил, так как память его не учитывала каждого мгновенья, а перескакивала через пустые, непамятные места, озаряя только то, что было связано с Машенькой, и потому выходило так, что не было несоответствия между ходом прошлой жизни и ходом настоящей.

Казалось, что эта прошлая, доведенная до совершенства жизнь проходит ровным узором через берлинские будни. Что бы Ганин ни делал в эти дни, та жизнь согревала его неотступно.

Это было не просто воспоминанье, а жизнь, гораздо действительнее, гораздо «интенсивнее» — как пишут в газетах, — чем жизнь его берлинской тени. Это был удивительный роман, развивающийся с подлинной, нежной осторожностью.

Конец июля на севере России уже пахнет слегка осенью. Мелкий желтый лист нет-нет да и слетит с березы; в просторах скошенных полей уже пусто и светло по-осеннему.

Вдоль опушки, где еще лоснится на ветру островок высокой травы, избежавшей косарей, на бледно-лиловых подушечках скабиоз спят отяжелевшие шмели. И как-то вечером, в парковой беседке...

Да. Эта беседка стояла на подгнивших сваях, над оврагом, и с обеих сторон к ней вели два покатых мостика, скользких от ольховых сережек да еловых игол.

В небольших ромбах белых оконниц были разноцветные стекла: глядишь, бывало, сквозь синее — и мир кажется застывшим в лунном обмороке, — сквозь желтое — и все весело чрезвычайно, — сквозь красное — и небо розово, а листва как бургундское вино. И некоторые стекла были разбиты, а торчавшие уголки соединены паутиной. Беседка была снутри беленая; на стенах, на откидном столике дачники, забиравшиеся незаконно в парк, оставляли карандашные надписи.

Так забралась и Машенька с двумя неприметными подругами. Он сперва обогнал ее на тропинке парка, бегущей вдоль реки, и проехал так близко, что подруги ее с визгом шарахнулись. Он обогнул парк, перерезал его, и потом вдали, сквозь листву, увидел, как они входят в беседку. Он прислонил велосипед к дереву и вошел за ними.

— В парке нельзя гулять посторонним, — сказал он тихо и хрипло, — на калитке есть даже вывеска.

Она ничего не ответила, играющими раскосыми глазами смотрела на него. Он спросил, указывая на одну из бледных надписей:

— Это вы сделали?

А написано было: «В этой беседке двадцатого июня Машенька, Лида и Нина пережидали грозу».

Они все три рассмеялись, и тогда он рассмеялся тоже, сел на столик, закачал ногами, заметил некстати, что черный шелковый носок порвался на щиколотке. И Машенька вдруг сказала, указав на розовую дырочку:

— Смотрите, у вас — солнышко.

Они говорили о грозе, о дачниках и о том, что он болен был тифом, и о смешном студенте в солдатском лазарете, и о концерте в сарае.

У нее были прелестные бойкие брови, смугловатое лицо, подернутое тончайшим шелковистым пушком, придающим особенно теплый оттенок щекам; ноздри раздувались, пока она говорила, посмеиваясь и высасывая сладость из травя-

ного стебля; голос был подвижный, картавый, с неожиданными грудными звуками, и нежно вздрагивала ямочка на открытой шее.

Потом, к вечеру, он провожал ее и ее подруг до села и, проходя по зеленой лесной дороге, заросшей плевелами, мимо хромой скамьи, очень серьезно рассказывал: «Макароны растут в Италии. Когда они еще маленькие, их зовут вермишелью. Это значит: Мишины червяки».

Он условился с ними, что завтра повезет их всех на лодке. Но она явилась без подруг. У шаткой пристани он развернул грохочущую цепь большой, тяжелой, красного дерева шлюпки, откинул брезент, ввинтил уключины, выволок весла из длинного ящика, вдел стержень руля в стальное кольцо.

Поодаль ровно шумели шлюзы водяной мельницы; вдоль белых складок спадающей воды рыжеватым золотом отливали подплывшие стволы сосен.

Машенька села у руля, он оттолкнулся багром и медленно стал грести вдоль самого берега парка, где на воде черными павлиньими глазами отражались густые ольхи и порхало много темно-синих стрекоз. Потом он повернул на середину реки, виляя между парчовых островов тины, и Машенька, держа в одной руке оба конца мокрой рулевой веревки, другую руку опускала в воду, стараясь сорвать глянцевито-желтую головку кувшинки. Уключины скрипели при каждом нажиме весел; он то откидывался, то подавался вперед, и Машенька, сидевшая против него у руля, то отдалялась, то приближалась в своей синей кофточке, раскрытой на легкой, дышащей блузе.

На реке теперь отражался левый, красный как терракота, берег, сверху поросший елью да черемухой, в красной крутизне вырезаны были имена и даты, а в одном месте кто-то, лет сорок тому назад, высек громадное скуластое лицо. Правый берег был пологий, вереск лиловел между пятнистых берез. А потом, под мостом, хлынула темная прохлада, сверху был тяжелый стук копыт и колес, и когда опять лодка выплыла, солнце ослепило, сверкнуло на концах весел, выхватило телегу с сеном, которая как раз проезжала по низкому мосту, и зеленый скат, и над ним белые колонны большой заколоченной усадьбы александровских времен. А потом спустился к самой реке с обеих сторон темный бор, и лодка с мягким шуршаньем въехала в камыши.

А дома ничего не знали, жизнь тянулась летняя, знакомая, милая, едва затронутая далекой войной, шедшей уже целый год. Старый, зеленовато-серый, деревянный дом, соединенный галереей с флигелем, весело и спокойно глядел цветными глазами своих двух стеклянных веранд на опушку парка и на оранжевый крендель садовых тропинок, огибавших черноземную пестроту куртин. В гостиной, где стояла белая мебель и на скатерти стола, расшитой розами, лежали мрамористые тома старых журналов, желтый паркет выливался из наклонного зеркала в овальной раме, и дагерротипы на стенах слушали, как оживало и звенело белое пианино. Вечером высокий синий буфетчик в нитяных перчатках выносил на веранду лампу под шелковым абажуром, и Ганин возвращался домой пить чай, глотать холодные хлопья простокваши на этой светлой веранде с камышовым ковром на полу и черными лаврами вдоль каменных ступеней, ведущих в сад.

Он теперь ежедневно встречался с Машенькой, по той стороне реки, где стояла на зеленом холму пустая белая усадьба и был другой парк, пошире и запущеннее, чем на мызе.

Перед этой чужой усадьбой, на высокой площадке над рекой, стояли под липами скамьи и железный круглый стол, с дыркой посередке для стока дождевой воды. Оттуда виден был далеко внизу мост через тинистую излучину и шоссе, поднимавшееся в Воскресенск. Эта площадка была их любимым местом.

И однажды, когда они встретились там в солнечный вечер после бурного ливня, на садовом столе оказалась хулиганская надпись. Деревенский озорник соединил их имена коротким, грубым глаголом, безграмотно начав его с буквы «и». Надпись сделана была химическим карандашом и слегка расплылась от дождя. Тут же, на мокром столе, прилипли сучки, листики, меловые червячки птичьих испражнений.

И так как стол принадлежал им, был святой, освященный их встречами, то спокойно, молча они принялись стирать пучками травы сырой лиловый росчерк. И когда весь стол смешно полиловел и пальцы у Машеньки стали такими, как будто она только что собирала чернику, Ганин, отвернувшись и прищуренными глазами глядя внимательно на что-то желто-зеленое, текучее, жаркое, что было в обык-

новенное время липовой листвой, объявил Машеньке, что давно любит ее.

Они так много целовались в эти первые дни их любви, что у Машеньки распухали губы и на шее, такой всегда горячей под узлом косы, появлялись нежные подтеки. Она была удивительно веселая, скорее смешливая, чем насмешливая. Любила песенки, прибаутки всякие, словечки да стихи. Песенка у нее погостит два-три дня и потом забудется, прилетит новая. Так, во время самых первых свиданий она все повторяла, картаво и проникновенно: «Скрутили Ванечке руки и ноги, долго томили Ваню в остроге», — и смеялась воркотливым, грудным смехом: «Вот здорово-то!» Во рвах о ту пору зрела последняя, водянисто-сладкая малина; она необыкновенно любила ее, да и вообще постоянно что-нибудь сосала — стебелек, листик, леденец. Ландриновские леденцы она носила просто в кармане, слипшимися кусками, к которым прилипали шерстинки, сор. И духи у нее были недорогие, сладкие, назывались «Тагор». Этот запах, смешанный со свежестью осеннего парка, Ганин теперь старался опять уловить, но, как известно, память воскрешает все, кроме запахов, и зато ничто так полно не воскрешает прошлого, как запах, когда-то связанный с ним.

И Ганин на мгновенье отстал от своего воспоминанья, подумал о том, как мог прожить столько лет без мысли о Машеньке, — и сразу опять нагнал ее: она бежала по шуршащей темной тропинке, черный бант мелькал, как огромная траурница, — и Машенька вдруг остановилась, схватилась за его плечо и, подняв ногу, принялась тереть запачкавшийся башмачок о чулок другой ноги — повыше, под складками синей юбки.

Ганин уснул, лежа одетый на нераскрытой постели; воспоминанье его расплылось и перешло в сновиденье. Это сновиденье было необычайное, редчайшее, и он бы знал, о чем оно, если бы на рассвете его не разбудил странный, словно громовой, раскат. Он привстал, прислушался. Гром оказался непонятным кряхтеньем и шорохом за дверью: кто-то тяжело скребся в нее; ручка, едва блестевшая в тумане рассветного воздуха, вдруг опустилась и вскочила опять, но дверь осталась закрытой, хотя не была заперта на ключ. Ганин, двигаясь беззвучно и с удовольствием предвкушая приключенье, сполз с постели и, на всякий

случай сжав в кулак левую руку, правой сильно рванул дверь.

К нему на плечо, с размаху, как громадная, мягкая кукла, ничком пал человек. От неожиданности Ганин едва не ударил его, но тотчас же почувствовал, что человек валится на него только потому, что не в силах стоять. Он отодвинул его к стене и нащупал свет.

Перед ним, опираясь головой о стену и ловя воздух разинутым ртом, стоял старик Подтягин, босой, в длинной ночной рубашке, распахнутой на седой груди. Глаза его, без пенснэ, обнаженные, слепые, не мигали, лицо было цвета сухой глины, большой живот горой ходил под натянутым полотном рубашки.

Ганин сразу понял, что старика опять одолел сердечный припадок. Он поддержал его, и Подтягин, тяжко передвигая сизые ноги, добрался до кресла, рухнул в него, откинул серое, вдруг вспотевшее лицо.

Ганин сунул в кувшин полотенце и прижал отяжелевшие мокрые складки к голой груди старика. Ему казалось, что в этом большом, напряженном теле могут сейчас с резким хрустом лопнуть все кости.

И вдруг Подтягин передохнул, со свистом выпустил воздух. Это был не просто вздох, а чудеснейшее наслажденье, от которого сразу оживились его черты. Ганин, поощрительно улыбаясь, все прижимал к его телу мокрое полотенце, потирал ему грудь, бока.

— Лу...лучше, — выдохнул старик.

— Сидите совсем спокойно, — сказал Ганин. — Сейчас все пройдет.

Подтягин дышал и мычал, шевеля крупными кривыми пальцами босых ног. Ганин прикрыл его одеялом, дал ему выпить воды, отворил пошире окно.

— Не мог... дышать, — с трудом проговорил Подтягин. — Не мог к вам войти... так ослаб. Один... не хотел умирать...

— Сидите смирно, Антон Сергеевич. Скоро день. Позовем доктора.

Подтягин медленно потер лоб рукой, задышал ровнее.

— Миновало, — сказал он. — На время миновало. У меня все капли вышли. Потому было так худо.

— И капель купим. Хотите перебраться ко мне на постель?..

— Нет... Я посижу и пойду к себе. Миновало. А завтра утром...

— Отложим до пятницы, — сказал Ганин. — Виза не убежит.

Подтягин облизал толстым, пупырчатым языком засохшие губы:

— Меня в Париже давно ждут, Левушка. А у племянницы нет денег выслать мне на дорогу. Эх-ма...

Ганин сел на подоконник (и мельком подумал: «Я так сидел совсем недавно, но где?» И вдруг вспомнил — цветную глубину беседки, белый откидной столик, дырку на носке).

— Потушите, пожалуйста, свет, голубчик, — попросил Подтягин. — Больно глазам.

В полутьме все показалось очень странным: и шум первых поездов, и эта большая седая тень в кресле, и блеск пролитой воды на полу. И все это было гораздо таинственнее и смутнее той бессмертной действительности, которой жил Ганин.

9

Утром Колин заваривал для Горноцветова чай. В этот четверг Горноцветов должен был рано поехать за город, чтобы повидать балерину, набиравшую труппу, и потому все в доме еще спали, когда Колин, в необыкновенно грязном японском халатике и в потрепанных ботинках на босу ногу, поплелся в кухню за кипятком. Его круглое, неумное, очень русское лицо, со вздернутым носом и синими томными глазами (сам он думал, что похож на верлэновского «полу-пьерро, полу-гаврош»), было помято и лоснилось, белокурые волосы, еще не причесанные на косой ряд, падали поперек лба, свободные шнурки ботинок со звуком мелкого дождя похлестывали об пол. Он по-женски надувал губы, возясь с чайником, а потом стал что-то мурлыкать, тихо и сосредоточенно. Горноцветов кончал одеваться, завязывал бантиком пятнистый галстук перед зеркалом, сердясь на прыщ, только что срезанный при бритье и теперь сочащийся желтой кровью сквозь плотный слой пудры. Лицо у него было темное, очень правильное, длинные загнутые ресницы придавали его карим глазам ясное,

невинное выраженье, черные короткие волосы слегка курчавились, он по-кучерски брил сзади шею и отпускал бачки, которые двумя темными полосками загибались вдоль ушей. Был он, как и его приятель, невысокого роста, очень тощий, с прекрасно развитыми мускулами ног, но узенький в груди и в плечах.

Они подружились сравнительно недавно, танцовали в русском кабарэ где-то на Балканах и месяца два тому назад приехали в Берлин в поисках театральной фортуны. Особый оттенок, таинственная жеманность несколько отделяла их от остальных пансионеров, но, говоря по совести, нельзя было порицать голубиное счастие этой безобидной четы.

Колин, после ухода друга, оставшись один в неубранной комнате, открыл прибор для отделки ногтей и, вполголоса напевая, стал подрезывать себе заусеницы. Чрезмерной чистоплотностью он не отличался, зато ногти держал в отменном порядке.

В комнате тяжело пахло ориганом и потом; в мыльной воде плавал пучок волос, выдернутых из гребешка. По стенам поднимали ножку балетные снимки; на столе лежал большой раскрытый веер, и рядом с ним — грязный крахмальный воротничок.

Колин, полюбовавшись на пунцоватый блеск вычищенных ногтей, тщательно вымыл руки, натер лицо и шею туалетной водой, душистой до тошноты, скинув халат, прошелся нагишом на пуантах, подпрыгнул с быстрой ножною трелью, проворно оделся, напудрил нос, подвел глаза и, застегнув на все пуговицы серое, в талию, пальто, пошел прогуляться, ровным движеньем поднимая и опуская конец щегольской тросточки.

Возвращаясь домой к обеду, он обогнал у парадной двери Ганина, который только что покупал в аптеке лекарство для Подтягина. Старик чувствовал себя хорошо, что-то пописывал, ходил по комнате, но Клара, посоветовавшись с Ганиным, решила не пускать его сегодня из дому.

Колин, подоспев сзади, сжал Ганину руку повыше локтя. Тот обернулся:

— А, Колин... хорошо погуляли?

— Алек сегодня уехал, — заговорил Колин, поднимаясь рядом с Ганиным по лестнице. — Я ужасно волнуюсь, получит ли он ангажемент...

— Так, так, — сказал Ганин, который решительно не знал, о чем с ним говорить.

Колин засмеялся:

— А Алферов-то вчера опять застрял в лифте. Теперь лифт не действует...

Он повел набалдашником трости по перилу и посмотрел на Ганина с застенчивой улыбкой:

— Можно у вас посидеть немного? Мне что-то очень скучно сегодня...

«Ну ты, брат, не вздумай со скуки ухаживать за мной», — мысленно огрызнулся Ганин, открывая дверь пансиона, и вслух ответил:

— К сожалению, я сейчас занят. В другой раз.

— Как жаль, — протянул Колин, входя за Ганиным и прикрывая за собой дверь. Дверь не поддалась, кто-то сзади просунул большую, коричневую руку, и оттуда басистый берлинский голос грянул:

— Одно мгновенье, господа.

Ганин и Колин оглянулись. Порог переступил усатый, тучный почтальон.

— Здесь живет герр Алфэров?

— Первая дверь налево, — сказал Ганин.

— Благодарю, — на песенный лад прогудел почтальон и постучался в указанный номер.

Это была телеграмма.

— Что такое? Что такое? Что такое? — судорожно лепетал Алферов, неловкими пальцами развертывая ее. От волненья он не сразу мог прочесть наклеенную ленточку бледных неровных букв: «Priedu subbotu 8 utra». Алферов вдруг понял, вздохнул и перекрестился.

— Слава тебе, Господи... Приезжает...

Широко улыбаясь и потирая свои костлявые ляжки, он присел на постель и стал покачиваться взад и вперед. Его водянисто-голубые глаза быстро помигивали, бородка цвета навозца золотилась в косом потоке солнца.

— Зер гут, — бормотал он. — Послезавтра — суббота. Зер гут. Сапоги в каком виде!.. Машенька удивится. Ничего, как-нибудь проживем. Квартирку наймем, дешевенькую. Она уж решит. А пока здесь поживем. Благо, дверь есть между комнатами.

Погодя немного, он вышел в коридор и постучался в соседний номер.

Ганин подумал: «Что это мне сегодня покоя не дают?»

— Вот что, Глеб Львович, — без обиняков начал Алферов, круговым взглядом обводя комнату, — вы когда думаете съехать?

Ганин с раздраженьем посмотрел на него:

— Меня зовут Лев. Постарайтесь запомнить.

— Ведь к субботе съедете? — спросил Алферов и мысленно соображал: «Постель нужно будет иначе. Шкаф от проходной двери отставить...»

— Да, съеду, — ответил Ганин и опять, как тогда за обедом, почувствовал острую неловкость.

— Ну вот и отлично, — возбужденно подхватил Алферов. — Простите за беспокойство, Глеб Львович.

И, в последний раз окинув взглядом комнату, он со стуком вышел.

— Дурак... — пробормотал Ганин. — К чорту его. О чем это я так хорошо думал сейчас... Ах, да... ночь, дождь, белые колонны...

— Лидия Николаевна! Лидия Николаевна! — громко звал маслянистый голос Алферова в коридоре.

«Житья от него нет, — злобно подумал Ганин. — Не буду сегодня здесь обедать. Довольно».

На улице асфальт отливал лиловым блеском; солнце путалось в колесах автомобилей. Рядом с кабачком был гараж; пройма его ворот зияла темнотой, и оттуда нежно пахнуло карбидом. И этот случайный запах помог Ганину вспомнить еще живее тот русский дождливый август, тот поток счастья, который тени его берлинской жизни все утро так назойливо прерывали.

Он выходил из светлой усадьбы в черный, журчащий сумрак, зажигал нежный огонь в фонарике велосипеда, — и теперь, когда он случайно вдохнул карбид, ему все вспомнилось сразу: мокрая трава, хлещущая по движущейся икре, по спицам колес, круг молочного света, впивающий и растворяющий тьму, из которой возникали: то морщинистая лужа, то блестящий камешек, то навозом обитые доски моста, то, наконец, вертящаяся калитка, сквозь которую он протискивался, задевая плечом мягкую мокрую листву акаций.

И тогда в струящейся тьме выступали с тихим вращеньем колонны, омытые все тем же нежным, белесым светом велосипедного фонарика, и там на шестиколонном крытом

перроне чужой заколоченной усадьбы его встречал душистый холодок, смешанный запах духов и промокшего шевиота, — и этот осенний, этот дождевой поцелуй был так долог и так глубок, что потом плыли в глазах большие, светлые, дрожащие пятна, и еще сильнее казался развесистый, многолиственный, шелестящий шум дождя. Мокрыми пальцами он открывал стеклянную дверцу фонарика, тушил огонек. Ветер напирал из тьмы тяжело и влажно. Машенька, сидя рядом на облупившейся балюстраде, гладила ему виски холодной ладошкой, в темноте он различал смутный угол ее промокшего банта и улыбавшийся блеск глаз.

Дождевая сила в липах перед перроном, в черной, клубящейся тьме, прокатывала широким порывом, и скрипели стволы, схваченные железными скрепами для поддержания их дряхлой мощи. И под шум осенней ночи он расстегивал ей кофточку, целовал ее в горячую ключицу; она молчала, — только чуть блестели глаза, — и кожа на ее открытой груди медленно остывала от прикосновений его губ и сырого ночного ветра. Они говорили мало, говорить было слишком темно. Когда он наконец зажигал спичку, чтобы посмотреть на часы, Машенька щурилась, откидывала со щеки мокрую прядь. Он обнимал ее одной рукой, другой катил, толкая за седло, велосипед, — и в моросящей тьме они тихо шли прочь, спускались по тропе к мосту и там прощались — длительно, горестно, словно перед долгой разлукой.

И в ту черную, бурную ночь, когда, накануне отъезда в Петербург к началу школьного года, он в последний раз встретился с ней на этом перроне с колоннами, случилось нечто страшное и нежданное, символ, быть может, всех грядущих кощунств. В эту ночь особенно шумно шел дождь, и особенно нежной была их встреча. И внезапно Машенька вскрикнула, спрыгнула с перил. И при свете спички Ганин увидел, что ставня одного из окон, выходящих на перрон, отвернута, что к черному стеклу изнутри прижимается, сплющив белый нос, человеческое лицо. Оно двинулось, скользнуло прочь, но оба они успели узнать рыжеватые вихры и выпученный рот сына сторожа, зубоскала и бабника лет двадцати, всегда попадавшегося им в аллеях парка. И Ганин одним бешеным прыжком кинулся к окну, просадил спиною хряснувшее стекло, ввалился

в ледяную мглу и с размаху ударился головой в чью-то крепкую грудь, которая екнула от толчка. И в следующий миг они сцепились, покатились по гулкому паркету, задевая во тьме мертвую мебель в чехлах, и Ганин, высвободив правую руку, стал бить каменным кулаком по мокрому лицу, оказавшемуся вдруг под ним. И только когда сильное тело, прижатое им к полу, вдруг обмякло и стало стонать, он встал и, тяжело дыша, тыкаясь во тьме о какие-то мягкие углы, добрался до окна, вылез опять на перрон, отыскал рыдавшую, перепуганную Машеньку — и тогда заметил, что изо рта у него течет что-то теплое, железистое и что руки порезаны осколками стекла. А утром он уехал в Петербург — и по дороге на станцию, из окна глухо и мягко стучавшей кареты, увидел Машеньку, шедшую по краю шоссе вместе с подругами. Стенка, обитая черной кожей, мгновенно закрыла ее, и так как он был не один в карете, то он не решился взглянуть в заднее овальное оконце.

Судьба в этот последний августовский день дала ему наперед отведать будущей разлуки с Машенькой, разлуки с Россией.

Это было пробным испытаньем, таинственным предвкушеньем; особенно грустно уходили одна за другой в серую муть горящие рябины, и казалось невероятным, что весною он опять увидит эти поля, этот валун на юру, эти задумчивые телеграфные столбища.

В петербургском доме все показалось по-новому чистым, и светлым, и положительным, как это всегда бывает по возвращении из деревни. Началась школа, — он был в седьмом классе, учился небрежно. Выпал первый снег, и чугунные ограды, спины понурых лошадей, дрова на баржах покрылись белым, пухловатым слоем.

И только в ноябре Машенька переселилась в Петербург. Они встретились под той аркой, где — в опере Чайковского — гибнет Лиза. Валил отвесно крупный мягкий снег в сером, как матовое стекло, воздухе. И Машенька в это первое петербургское свидание показалась слегка чужой, оттого, быть может, что была в шляпе и в шубке. С этого дня началась новая — снеговая — эпоха их любви. Встречаться было трудно, подолгу блуждать на морозе было мучительно, искать теплой уединенности в музеях и в кинематографах было мучительнее всего, — и недаром в тех

частых, пронзительно нежных письмах, которые они в пустые дни писали друг другу (он жил на Английской набережной, она на Караванной), оба вспоминали о тропинках парка, о запахе листопада как о чем-то немыслимо дорогом и уже невозвратимом: быть может, только бередили любовь свою, а может быть, действительно понимали, что настоящее счастье минуло. И по вечерам они звонили друг другу — узнать, получено ли письмо и где и когда встретиться: ее смешное произношенье было еще прелестнее в телефон, она говорила куцые стишки и тепло смеялась, прижимала к груди трубку, и ему чудилось, что он слышит стук ее сердца.

Так они говорили часами.

Она ходила в ту зиму в серой шубке, слегка толстившей ее, и в замшевых гетрах, надетых прямо на тонкие комнатные башмачки. Он никогда не видел ее простуженной, даже озябшей. Мороз, метель только оживляли ее, и в ледяных вихрях в темном переулке он обнажал ей плечи, снежинки щекотали ее, она улыбалась сквозь мокрые ресницы, прижимала к себе его голову, и рыхлый снежок осыпался с его каракулевой шапки к ней на голую грудь.

Эти встречи на ветру, на морозе больше его мучили, чем ее. Он чувствовал, что от этих несовершенных встреч мельчает, протирается любовь. Всякая любовь требует уединенья, прикрытия, приюта, а у них приюта не было. Их семьи не знали друг друга; эта тайна, которая сперва была такой чудесной, теперь мешала им. И ему начинало казаться, что все поправится, если она, хотя бы в меблированных номерах, станет его любовницей, — и эта мысль жила в нем как-то отдельно от самого желанья, которое уже слабело под пыткой скудных прикосновений.

Так проблуждали они всю зиму, вспоминая деревню, мечтая о будущем лете, иногда ссорясь и ревнуя, пожимая друг дружке руки под мохнатой, плешивой полостью легких извозчичьих санок, — а в самом начале нового года Машеньку увезли в Москву.

И странно: эта разлука была для Ганина облегченьем.

Он знал, что летом она вернется в дачное место под Петербургом, он сперва много думал о ней, воображал новое лето, новые встречи, писал ей все те же пронзительные письма, а потом стал писать реже, а когда сам переехал на дачу в первые дни мая, то и вовсе писать перестал.

И в эти дни он успел сойтись и порвать с нарядной, милой, белокурой дамой, муж которой воевал в Галиции.

И потом Машенька вернулась.

Голос ее слабо и далеко вспыхнул, в телефоне дрожал гул, как в морской раковине, по временам еще более далекий перекрестный голос перебивал, вел с кем-то разговор в четвертом измеренье: дачный телефонный аппарат был старый, с вращательной ручкой, — и между ним и Машенькой было верст пятьдесят гудящего тумана.

— Я приеду, — кричал в трубку Ганин. — Я говорю, что приеду. На велосипеде, выйдет два часа.

— ...Не хотел опять в Воскресенске. Ты слушаешь? Папа ни за что не хотел опять снять дачу в Воскресенске. От тебя досюда пятьдесят...

— Не забудьте привезти штиблеты, — мягко и равнодушно сказал перекрестный голос.

И снова в жужжанье просквозила Машенька точно в перевернутом телескопе. И когда она совсем исчезла, Ганин прислонился к стене и почувствовал, что у него горят уши.

Он выехал около трех часов дня, в открытой рубашке и футбольных трусиках, в резиновых башмаках на босу ногу. Ветер был в спину, он ехал быстро, выбирая гладкие места между острых камешков на шоссе, и вспоминал, как проезжал мимо Машеньки в прошлом июле, когда еще не был с нею знаком.

На пятнадцатой версте лопнула задняя шина, и он долго чинил ее, сидя на краю канавы. Над полями, с обеих сторон шоссе, звенели жаворонки; прокатил в облаке пыли серый автомобиль с двумя офицерами в совиных очках. Покрепче надув починенную шину, он поехал дальше, чувствуя, что не рассчитал, опоздал уже на час. Свернув с шоссе, он поехал лесом, по тропе, указанной прохожим мужиком. И потом свернул опять, да неверно, и долго колесил, раньше чем попал на правильную дорогу. Он отдохнул и поел в деревушке, и когда оставалось всего двенадцать верст, переехал острый камушек и опять свистнула и осела та же шина.

Было уже темновато, когда он прикатил в дачный городок, где жила Машенька. Она ждала его у ворот парка, как было условлено, но уже не надеялась, что он приедет, так как ждала уже с шести часов. Увидя его, она от волненья

оступилась, чуть не упала. На ней было белое сквозистое платье, которого Ганин не знал. Бант исчез, и потому ее прелестная голова казалась меньше. В подобранных волосах синели васильки.

В этот странный, осторожно темнеющий вечер, в липовом сумраке широкого городского парка, на каменной плите, вбитой в мох, Ганин, за один недолгий час, полюбил ее острее прежнего и разлюбил ее как будто навсегда.

Они сначала говорили тихо и блаженно — о том, что вот так долго не виделись, о том, что на мху, как крохотный семафор, блестит светлячок. Ее милые, милые татарские глаза близко скользили у его лица, белое платье словно мерцало в темноте, — и, Боже мой, этот запах ее, непонятный, единственный в мире...

— Я твоя, — сказала она. — Делай со мной что хочешь.

Молча, с бьющимся сердцем, он наклонился над ней, забродил руками по ее мягким, холодноватым ногам. Но в парке были странные шорохи, кто-то словно все приближался из-за кустов; коленям было твердо и холодно на каменной плите; Машенька лежала слишком покорно, слишком неподвижно.

Он застыл, потом неловко усмехнулся.

— Мне все кажется, что кто-то идет, — сказал он и поднялся.

Машенька вздохнула, оправила смутно белевшее платье, встала тоже.

И потом, когда они шли к воротам по пятнистой от луны дорожке, Машенька подобрала с травы бледно-зеленого светляка. Она держала его на ладони, наклонив голову, и вдруг рассмеялась, сказала с чуть деревенской ужимочкой: «В обчем — холодный червячок».

И в это время Ганин, усталый, недовольный собой, озябший в своей легкой рубашке, думал о том, что все кончено, Машеньку он разлюбил, — и когда через несколько минут он покатил в лунную мглу домой по бледной полосе шоссе, то знал, что больше к ней не приедет.

Лето прошло; Машенька не писала, не звонила, он же занят был другими делами, другими чувствами.

Снова на зиму он вернулся в Петербург, ускоренным порядком в декабре держал выпускные экзамены, поступил в Михайловское юнкерское училище. И следующим летом, уже в год революции, он еще раз увиделся с Машенькой.

Он был на перроне Варшавского вокзала. Вечерело. Только что подали дачный поезд. В ожиданье звонка он гулял взад и вперед по замызганной платформе и, глядя на сломанную багажную тачку, думал о чем-то другом, о вчерашней пальбе перед Гостиным Двором, и вместе с тем был раздражен мыслью, что не мог дозвониться на дачу и что придется плестись со станции на извозчике.

Когда лязгнул третий звонок, он подошел к единственному в составе синему вагону, стал влезать на площадку, — и на площадке, глядя на него сверху, стояла Машенька. За год она изменилась, слегка, пожалуй, похудела и была в незнакомом синем пальто с пояском. Ганин неловко поздоровался, вагон громыхнул буферами, поплыл. Они остались стоять на площадке. Машенька, должно быть, видела его раньше и нарочно забралась в синий вагон, хотя ездила всегда в желтом, и теперь с билетом второго не хотела идти в отделение. В руках у нее была плитка шоколада «Блигкен и Робинсон»; она сразу отломала кусок, предложила.

И Ганину было страшно грустно смотреть на нее, — что-то робкое, чужое было во всем ее облике, посмеивалась она реже, все отворачивала лицо. И на нежной шее были лиловатые кровоподтеки, теневое ожерелье, очень шедшее к ней. Он рассказывал какую-то чепуху, показывал ссадину от пули на сапоге, говорил о политике. А вагон погрохатывал, поезд несся между дымившихся торфяных болот в желтом потоке вечерней зари; торфяной сероватый дым мягко и низко стелился, образуя как бы две волны тумана, меж которых несся поезд.

Она слезла на первой станции, и он долго смотрел с площадки на ее удалявшуюся синюю фигуру, и чем дальше она отходила, тем яснее ему становилось, что он никогда не разлюбил ее. Она не оглянулась. Из сумерек тяжело и пушисто пахло черемухой.

Когда поезд тронулся, он вошел в отделение, и там было темно, оттого что в пустом вагоне кондуктор не счел нужным зажечь огарки в фонарях. Он лег навзничь на полосатый тюфяк лавки и в пройму дверцы видел, как за коридорным окном поднимаются тонкие провода среди дыма горящего торфа и смуглого золота заката. Было странно и жутковато нестись в этом пустом, тряском вагоне между серых потоков дыма, и странные мысли приходили в голову, словно все это уже было когда-то, — так вот лежал,

подперев руками затылок, в сквозной грохочущей тьме, и так вот мимо окон, шумно и широко, проплывал дымный закат.

Больше он не видался с Машенькой.

10

Шум подкатил, хлынул, бледное облако заволокло окно, стакан задребезжал на рукомойнике. Поезд прошел, и теперь в окне снова раскинулась веерная пустыня рельс. Нежен и туманен Берлин, в апреле, под вечер.

В этот четверг, в сумерки, когда всего глуше гул поездов, к Ганину зашла, ужасно волнуясь, Клара — передать ему Людмилины слова: «Скажи ему так, — бормотала Людмила, когда от нее уходила подруга. — Так скажи: что я не из тех женщин, которых бросают. Я сама умею бросать. Скажи ему, что я от него ничего не требую, не хочу, но считаю свинством, что он не ответил на мое письмо. Я хотела проститься с ним по-дружески, предложить ему, что пускай любви не будет, но пускай останутся самые простые дружеские отношения, а он не потрудился даже позвонить. Передай ему, Клара, что я ему желаю всякого счастья с его немочкой и знаю, что он не так скоро забудет меня».

— Откуда взялась немочка? — поморщился Ганин, когда Клара, не глядя на него, быстрым, тихим голосом передала ему все это. — И вообще, почему она вмешивает вас в это дело. Очень все это скучно.

— Знаете что, Лев Глебович, — вдруг воскликнула Клара, окатив его своим влажным взглядом, — вы просто очень недобрый... Людмила о вас думает только хорошее, идеализирует вас, но если бы она все про вас знала...

Ганин с добродушным удивленьем глядел на нее. Она смутилась, испугалась, опустила опять глаза.

— Я только передаю вам, потому что она сама просила, — тихо сказала Клара.

— Мне нужно уезжать, — после молчанья спокойно заговорил Ганин. — Эта комната, эти поезда, стряпня Эрики — надоели мне. К тому же деньги мои кончаются, скоро придется опять работать. Я думаю в субботу покинуть Берлин навсегда, махнуть на юг земли, в какой-нибудь порт...

Он задумался, сжимая и разжимая руку.

— Впрочем, я ничего не знаю... Есть одно обстоятельство... Вы бы очень удивились, если бы узнали, что я задумал... У меня удивительный, неслыханный план. Если он выйдет, то уже послезавтра меня в этом городе не будет.

«Какой он, право, странный», — думала Клара, с тем щемящим чувством одиночества, которое всегда овладевает нами, когда человек, нам дорогой, предается мечте, в которой нам нет места.

Зеркально-черные зрачки Ганина расширились, нежные, частые ресницы придавали что-то пушистое, теплое его глазам, и спокойная улыбка задумчивости чуть приподымала его верхнюю губу, из-под которой белой полоской блестели ровные зубы. Темные, густые брови, напоминавшие Кларе обрезки дорогого меха, то сходились, то расступались, и на чистом лбу появлялись и исчезали мягкие морщинки. Заметив, что Клара глядит на него, он перемигнул ресницами, провел рукой по лицу и вспомнил, что хотел ей сказать:

— Да. Я уезжаю, и все прекратится. Вы так просто ей и скажите: Ганин, мол, уезжает и просит не поминать его лихом. Вот и все.

11

В пятницу утром танцовщики разослали остальным четырем жильцам такую записку:

Ввиду того что:
1. Господин Ганин нас покидает.
2. Господин Подтягин покидать собирается.
3. К господину Алферову завтра приезжает жена.
4. M-lle Кларе исполняется двадцать шесть лет.
и 5. Нижеподписавшиеся получили в сем городе ангажемент — ввиду всего этого устраивается сегодня в десять часов пополудни в номере шестого апреля — празднество.

— Гостеприимные юноши, — усмехнулся Подтягин, выходя из дома вместе с Ганиным, который взялся сопровождать его в полицию. — Куда это вы едете, Левушка? Далеко загнете? Да... Вы — вольная птица. Вот меня в юности мучило желанье путешествовать, пожирать свет Божий. Осуществилось, нечего сказать...

Он поежился от свежего весеннего ветра, поднял воротник пальто, темно-серого, чистого, с большущими костяными пуговицами. Он еще чувствовал в ногах сосущую слабость, оставшуюся после припадка, но сегодня ему было как-то легко, весело от мысли, что теперь-то уж наверное кончится возня с паспортом и он получит возможность хоть завтра уехать в Париж.

Громадное, багровое здание центрального полицейского управления выходило сразу на четыре улицы; оно было построено в грозном, но очень дурном готическом стиле, с тусклыми окнами, с очень интересным двором, через который нельзя было проходить, и с бесстрастным полицейским у главного портала. Стрелка на стене указывала через улицу на мастерскую фотографа, где в двадцать минут можно было получить свое жалкое изображение: полдюжины одинаковых физиономий, из которых одна наклеивалась на желтый лист паспорта, еще одна поступала в полицейский архив, а остальные, вероятно, расходились по частным коллекциям чиновников.

Подтягин и Ганин вошли в широкий серый коридор. У двери паспортного отделенья стоял столик, и седой, в усах, чиновник выдавал билетики с номерами, изредка, как школьный учитель, поглядывая через очки на небольшую разноплеменную толпу.

— Вам надо стать в очередь и взять номер, — сказал Ганин.

— Этого-то я и не делал, — шепотом ответил старый поэт. — Прямо проходил в дверь...

Получив через несколько минут билетик, он обрадовался, стал еще больше похож на толстую морскую свинку.

В голой комнате, где за низкой перегородкой, в душной волне солнца, сидели за своими столами чиновники, опять была толпа, которая, казалось, только затем и пришла, чтобы во все глаза смотреть на то, как эти угрюмые господа пишут.

Ганин протиснулся вперед, таща за рукав Подтягина, который доверчиво посапывал.

Через полчаса, сдав подтягинский паспорт, они перешли к другому столу, — опять была очередь, давка, чье-то гнилое дыханье, и, наконец, за несколько марок желтый лист был возвращен, уже украшенный волшебным клеймом.

— Ну теперь айда в консульство, — радостно крякнул Подтягин, когда они вышли из грозного на вид, но в общем скучноватого заведения. — Теперь — дело в шляпе. Как это вы, Лев Глебович дорогой, так покойно с ними говорили? А я-то в прошлые разы как мучился... Давайте-ка на империал влезем. Какое, однако, счастье. Я даже, знаете, вспотел.

Он первый вскарабкался по винтовой лесенке, кондуктор сверху бабахнул ладонью о железный борт, автобус тронулся. Мимо поплыли дома, вывески, солнце в витринах.

— Наши внуки никак не поймут вот этой чепухи с визами, — говорил Подтягин, благоговейно рассматривая свой паспорт. — Никак не поймут, что в простом штемпеле могло быть столько человеческого волненья... Как вы думаете, — вдруг спохватился он, — мне теперь французы наверное визу поставят?

— Ну конечно, поставят, — сказал Ганин. — Ведь вам сообщили, что есть разрешение.

— Пожалуй, завтра уеду, — посмеивался Подтягин. — Поедем вместе, Левушка. Хорошо будет в Париже. Нет, да вы только посмотрите, какая мордомерия у меня.

Ганин через его руку взглянул на паспорт, на снимок в уголку. Снимок, точно, был замечательный: изумленное распухшее лицо плавало в сероватой мути.

— А у меня целых два паспорта, — сказал с улыбкой Ганин. — Один русский, настоящий, только очень старый, а другой польской, подложный. По нему-то и живу.

Подтягин, платя кондуктору, положил свой желтый листок на сиденье, рядом с собой, выбрал из нескольких монет на ладони сорок пфеннигов, вскинул глаза на кондуктора:

— Генух? [1]

Потом бочком глянул на Ганина:

— Что это вы говорите, Лев Глебович. Подложный?

— Именно. Меня, правда, зовут Лев, но фамилия вовсе не Ганин.

— Как же это так, голубчик, — удивленно таращил глаза Подтягин и вдруг схватился за шляпу — дул сильный ветер.

— Так. Были дела, — задумчиво проговорил Ганин. — Года три тому назад. Партизанский отряд. В Польше. И так

---

[1] Достаточно? *(Нем.)*

далее. Я когда-то думал: проберусь в Петербург, подниму восстание... А теперь как-то забавно и удобно с этим паспортом.

Подтягин вдруг отвел глаза, мрачно сказал:

— Мне, Левушка, сегодня Петербург снился. Иду по Невскому, знаю, что Невский, хотя ничего похожего. Дома — косыми углами, сплошная футуристика, а небо черное, хотя знаю, что день. И прохожие косятся на меня. Потом переходит улицу человек и целится мне в голову. Я часто это вижу. Страшно, — ох, страшно, — что когда нам снится Россия, мы видим не ее прелесть, которую помним наяву, а что-то чудовищное. Такие, знаете, сны, когда небо валится и пахнет концом мира.

— Нет, — сказал Ганин, — мне снится только прелесть. Тот же лес, та же усадьба. Только иногда бывает как-то пустовато, незнакомые просеки. Но это ничего. Нам тут вылезать, Антон Сергеевич.

Он сошел по винтовой лесенке, помог Подтягину сступить на асфальт.

— Вода славно сверкает, — заметил Подтягин, с трудом дыша и указывая растопыренной рукой на канал.

— Осторожно — велосипед, — сказал Ганин. — А консульство вон там, направо.

— Примите мое искреннее благодарение, Лев Глебович. Я один бы никогда не кончил этой паспортной канители. Отлегло. Прощай, Дейтчланд.

Они вошли в здание консульства и стали подниматься по ступеням.

Подтягин на ходу пошарил в кармане.

— Идем же, — обернулся Ганин.

Но старик все шарил.

12

К обеду собралось только четверо пансионеров.

— Что же наши-то — так опоздали? — весело проговорил Алферов.

— Верно, ничего у них не вышло.

От него так и несло радостным ожиданием. Накануне он ходил на вокзал, узнал точный час прихода северного поезда: 8,05. Утром чистил костюм, купил пару новых

манжет, букет ландышей. Денежные дела его как будто поправлялись. Перед обедом он сидел в кафе с мрачным бритым господином, который предлагал ему несомненно выгодную комбинацию. Его ум, привыкший к цифрам, был теперь заполнен одним числом, как бы десятичной дробью: восемь, запятая, ноль, пять. Это был тот процент счастья, который покамест выдавала судьба. А завтра... Он жмурился и шумно вздыхал, представляя себе, как завтра, спозаранку, пойдет на вокзал, как будет ждать на платформе, как хлынет поезд...

Он исчез после обеда; танцоры, взволнованные, как женщины, предстоящим торжеством, последовали: вышли под ручку закупать мелкие яства.

Одна Клара осталась дома: у нее болела голова, ныли тонкие кости полных ног; это вышло некстати — ведь нынче был ее праздник. «Мне сегодня двадцать шесть лет, — думала она, — и завтра уезжает Ганин. Он нехороший человек, обманывает женщин, способен на преступление... Он может спокойно глядеть мне в глаза, хотя знает, что я видела, как он собирался украсть деньги. И все же он весь — чудесный, я буквально целый день думаю о нем. И никакой нет надежды...»

Она посмотрела на себя в зеркало: лицо было бледнее обыкновенного; на лбу, под низкой каштановой прядью, появилась легкая сыпь; под глазами были желтовато-серые тени. Лоснистое черное платье, которое она надевала изо дня в день, ей надоело нестерпимо; на темно-прозрачном чулке, по шву, очень заметно чернела штопка; покривился каблучок.

Около пяти Подтягин и Ганин вернулись. Клара услышала их шаги и выглянула. Подтягин, бледный как смерть, в распахнутом пальто, держа в руке воротник и галстук, молча прошел в свою комнату и запер дверь на ключ.

— Что случилось? — шепотом спросила Клара.

Ганин цокнул языком:

— Паспорт потерял, а потом был припадок. Тут, перед самым домом. Я едва дотащил его. Лифт не действует — беда. Мы по всему городу рыскали.

— Я к нему пойду, — сказала Клара, — надо же его успокоить.

Подтягин не сразу ее впустил. Когда он наконец отпер, Клара ахнула, увидя его мутное, расстроенное лицо.

— Слыхали? — сказал он с печальной усмешкой. — Этакий я старый идиот. Ведь все уже было готово, — и нате вам... Хватился...

— Где же это вы уронили, Антон Сергеич?..

— Именно: уронил. Поэтическая вольность... Запропастить паспорт. Облако в штанах, нечего сказать. Идиотина.

— Может быть, подберет кто-нибудь, — сочувственно протянула Клара.

— Какое там... Это, значит, судьба. Судьбы не миновать. Не уехать мне отсюда. Так на роду было написано...

Он тяжело сел.

— Плохо мне, Клара... На улице так задохнулся, что думал: конец. Ах ты, Боже мой, прямо теперь не знаю, что дальше делать. Разве вот — в ящик сыграть...

13

А Ганин, вернувшись к себе, принялся укладываться. Он вытащил из-под постели два пыльных кожаных чемодана — один в клетчатом чехле, другой голый, смугло-желтоватый, с бледными следами наклеек — и все содержимое вывалил на пол. Затем он вынул из тряской, скрипучей темноты шкафа черный костюм, тощую пачку белья, пару тяжелых бурых сапог с медными кнопками. Из ночного столика он извлек разнородные штучки, когда-то брошенные туда: серые комочки грязных носовых платков, тонкие бритвенные ножи с подтеками ржавчины вокруг просверленных дырочек, старые газеты, видовые открытки, желтые, как лошадиные зубы, четки, рваный шелковый носок, потерявший свою пару.

Ганин скинул пиджак и, опустившись на корточки среди этого грустного пыльного хлама, стал разбираться в нем, прикидывать, что взять, что уничтожить.

Раньше всего он уложил костюм и чистое белье, потом браунинг и старые, сильно потертые в паху галифэ.

Раздумывая, что должно пойти дальше, он заметил черный бумажник, который упал под стул, когда он опоражнивал чемодан. Он поднял его, открыл было, с улыбкой думая о том, что в нем лежит, — но, сказав себе, что нужно поскорее уложиться, сунул бумажник в задний карман штанов и стал быстро и неразборчиво бросать в открытые

чемоданы: комья грязного белья, русские книжки, Бог весть откуда забредшие к нему, и все те мелкие, чем-то милые предметы, к которым глаза и пальцы так привыкают и которые нужны только для того, чтобы человек, вечно обреченный на новоселье, чувствовал себя хотя бы немного дома, выкладывая в сотый раз из чемодана легкую, ласковую, человечную труху.

Уложившись, Ганин запер оба чемодана, поставил их рядышком, набил мусорную корзину трупами газет, осмотрел все углы опустевшей комнаты и пошел к хозяйке расплачиваться.

Лидия Николаевна, сидя очень прямо в кресле, читала, когда он вошел. Ее такса мягко сползла с постели и забилась в маленькой истерике преданности у ног Ганина.

Лидия Николаевна, поняв, что он уже теперь непременно уедет, опечалилась. Она любила большую спокойную фигуру Ганина, да и вообще очень привыкала к жильцам, и было что-то подобное смерти в их неизбежных отъездах.

Ганин заплатил за последнюю неделю, поцеловал легкую, как блеклый лист, руку.

Идя назад по коридору, он вспомнил, что сегодня танцоры звали его на вечеринку, и решил пока не уходить: комнату в гостинице всегда можно нанять, хоть за полночь.

«А завтра приезжает Машенька, — воскликнул он про себя, обведя блаженными, слегка испуганными глазами потолок, стены, пол. — Завтра же я увезу ее», — подумал он с тем же глубоким мысленным трепетом, с тем же роскошным вздохом всего существа.

Быстрым движением он вынул черный бумажник, в котором хранил пять писем; он получил их, когда уже был в Крыму. И теперь он мгновенно целиком вспомнил ту крымскую зиму: норд-ост, вздымающий горькую пыль на ялтинской набережной, волну, бьющую через парапет на панель, растерянно-наглых матросов, потом немцев в железных грибах шлемов, потом веселые трехцветные нашивки, — дни ожиданья, тревожную передышку, — худенькую, веснушчатую проститутку со стрижеными волосами и греческим профилем, гуляющую по набережной, норд-ост, рассыпающий ноты оркестра в городском саду, и — наконец — поход, стоянки в татарских деревушках, где в крохотных цирюльнях день-деньской как ни в чем не бывало блестит бритва, взбухает мылом щека, меж тем как

на улице, в пыли, мальчишки хлещут по своим волчкам, как тысячу лет тому назад, — и дикую ночную тревогу, когда не знаешь, откуда стрельба и кто бежит вприпрыжку через лужи луны, между косыми черными тенями домишек.

Ганин вынул из пачки первое письмо — один плотный, удлиненный листок с рисунком в левом углу: молодой человек в лазурном фраке, держа за спиной букет бледных цветов, целует руку даме, такой же нежной, как и он, с завитками вдоль щек, в розовом, высоко подпоясанном платье.

Ему переслали это первое письмо из Петербурга в Ялту; оно написано было спустя два года с лишком после той счастливейшей осени.

«Лева, вот я уже в Полтаве целую неделю, скука адская. Не знаю, увижу ли я вас еще когда-нибудь, но мне так хочется, чтобы вы все-таки не забывали меня».

Почерк был мелкий, кругленький, словно бегущий на цыпочках. Под «ш» и над «т» были для отличия черточки; конечная буква бросала вправо стремительный хвостик; только у буквы «я» в конце слов трогательно загибался хвостик вниз и влево, как будто Машенька в последний миг брала слово назад; точки были очень крупные, решительные, зато запятых было мало.

«Подумать только, что неделю я смотрю на снег, белый, холодный снег. Холодно, жутко, тоскливо. И вдруг, как птица, прорежет ум мысль, что где-то, там, далеко-далеко, люди живут совершенно другой, иной жизнью. Они не прозябают, как я, в глуши маленького заброшенного хуторка...

Нет, это так, уже очень тоскливо здесь. Лева, напишите мне что-либо. Хотя бы самые пустяки».

Ганин вспомнил, как получил это письмо, как пошел в этот далекий январский вечер по крутой каменистой тропе, мимо татарских частоколов, увенчанных там и сям конскими черепами, и как сидел над ручьем, тонкими струями омывающим белые гладкие камни, и глядел сквозь тончайшие, бесчисленные, удивительно отчетливые сучки голой яблони на розовато-млеющее небо, где блестел, как прозрачный обрезок ногтя, юный месяц, и рядом с ним, у нижнего рога, дрожала светлая капля — первая звезда.

Он написал ей в ту же ночь — об этой звезде, о кипарисах в садах, об осле, ревущем утром за домом, в татарском дворе. Он писал ласково, мечтательно, припомнил мокрые

сережки на скользком мостике беседки, где они встретились.

В эти годы письма шли долго: только в июле пришел ответ.

«Большое спасибо за хорошее, милое, "южное" письмо. Зачем вы пишете, что все-таки помните меня? И не забудете? Нет? Как хорошо!

Сейчас такой хороший, свежий, послегрозовой день. Помните, как в Воскресенске? Хотелось бы вам опять побродить по знакомым местам? Мне — ужасно. Как хорошо было бродить под дождем в осеннем парке. Почему тогда не было грустно в худую погоду?

Пока брошу писать, пойду пройдусь.

Вчера так и не удалось окончить письмо. Как нехорошо это с моей стороны. Правда? Ну простите, милый Лева, я правда больше не буду».

Ганин опустил руку с письмом, задумался, легко улыбаясь. Как он помнил эту вот веселую ужимку ее, низкий грудной смешок, когда она просила прощенья... Этот переход от пасмурного вздоха к горячей живости взгляда.

«Долго мучила неизвестность, где вы и как вы, — писала она в том же письме. — Теперь не надо прерывать эту маленькую ниточку, которая натянулась между нами. Я хочу написать, спросить очень много, и мысли путаются. Я много горя видела и пережила за это время. Пишите, пишите, ради Бога, почаще и побольше. А пока всего, всего хорошего. Хотелось бы проститься сердечнее, но, может быть, за это долгое время я разучилась. А может быть, и другое что удерживает?»

Целые дни после получения письма он полон был дрожащего счастья. Ему непонятно было, как он мог расстаться с Машенькой. Он только помнил их первую осень, — все остальное казалось таким неважным, бледным — эти мученья, размолвки. Его тяготила томная темнота, условный лоск ночного моря, бархатная тишь узких кипарисовых аллей, блеск луны на лопастях магнолий.

Долг удерживал его в Ялте, — готовилась военная борьба, — но минутами он решал все бросить, поехать искать Машеньку по малороссийским хуторкам.

И было что-то трогательно-чудесное — как в капустнице, перелетающей через траншею, — в этом странствии писем через страшную Россию. Его ответ на второе письмо

очень запоздал, и Машенька никак не могла понять, что случилось, — так была она уверена, что для писем их нет обычных в то время преград.

«Вам, конечно, странно, что я пишу вам, несмотря на ваше молчанье, — но я не думаю, не хочу думать, что и теперь вы не ответите мне. Вы не потому не ответили, что не хотели, а просто потому, что... ну не могли, не успели, что ли... Скажите, Лева, ведь смешно вам теперь вспоминать ваши слова, что любовь ко мне — ваша жизнь и если не будет любви — не будет и жизни... Да... Как все проходит, как меняется. Хотели бы вы вернуть все, что было? Мне сегодня как-то слишком тоскливо...

Но сегодня весна, и сегодня мимозы
Предлагают на каждом шагу.
Я несу тебе их, они хрупки, как грёзы...

Хорошенькое стихотворение, но не помню ни начала, ни конца, и чье оно, тоже не помню. Теперь буду ждать вашего письма. Я не знаю, как попрощаться с вами. Быть может, я поцеловала вас. Да, должно быть...»

И через две-три недели пришло четвертое письмо:

«Лева, я рада, что получила. Оно такое милое, милое... Да, нельзя забыть того, что мы любили друг друга, так много и светло. Вы пишете, что за миг отдали бы грядущую жизнь, — но лучше встретиться и проверить себя.

Лева, если все-таки приедете, то позвоните с вокзала на земскую телефонную станцию и попросите номер 34. Возможно, что вам ответят по-немецки: это у нас стоит германской лазарет. Вы попросите позвать меня.

Вчера была в городе, немного "кутила", много музыки, огня и света развеселило. Очень смешной господин с желтой бородкой за мной ухаживал и называл "королевой бала". Сегодня же так скучно, скучно. Обидно, что дни уходят, и так бесцельно, глупо, — а ведь это самые хорошие, лучшие годы. Я, кажется, скоро превращусь в "ханжу". Нет, этого не должно быть.

Сброшу с себя я оковы любви
И постараюсь забыться,
Налейте полнее бокалы вина,
Дайте вином мне упиться.

Вот мило-то!

Ответьте мне сейчас, как получите мое письмо. Приедете ли сюда повидаться со мной? Нельзя? Ну, что же делать... А может быть? Какую глупость я написала; приехать только для того, чтобы повидать меня. Какое самомнение! Не так ли?

Прочитала сейчас в старом журнале хорошенькое стихотворение "Ты моя маленькая, бледная жемчужина" Краповицкого. Мне очень нравится. Напишите мне все, все. Целую вас. Вот еще прочла, — Подтягина:

Над опушкою полная блещет луна,
Погляди, как речная сияет волна».

«Милый Подтягин, — улыбнулся Ганин. — Вот странно... Господи, как это странно... Если бы мне сказали тогда, что я именно с ним встречусь...»

Улыбаясь и покачивая головой, он развернул последнее письмо. Получил он его накануне отъезда на фронт. Был холодный, январский рассвет, и на пароходе его мутило от ячменного кофе.

«Лева, милый, радость моя, как ждала, как хотела я этого письма. Было больно и обидно писать и в то же время сдерживать самое себя в письмах. Неужели я жила эти три года без тебя и было чем жить и для чего жить?

Я люблю тебя. Если ты возвратишься, я замучаю тебя поцелуями. Помнишь:

Расскажите, что мальчика Леву
Я целую как только могу,
Что австрийскую каску из Львова
Я в подарок ему берегу.
А отцу напишите отдельно...

Боже мой, где оно — все это далекое, светлое, милое... Я чувствую, так же как и ты, что мы еще увидимся, — но когда, когда?

Я люблю тебя. Приезжай. Твое письмо так обрадовало меня, что я до сих пор не могу прийти в себя от счастья...»

— Счастье, — повторил тихо Ганин, складывая все пять писем в ровную пачку. — Да, вот это — счастье. Через двенадцать часов мы встретимся.

Он замер, занятый тихими и дивными мыслями. Он не сомневался в том, что Машенька и теперь его любит. Ее

пять писем лежали у него на ладони. За окном было совсем темно. Блестели кнопки чемоданов. Стоял легкий пустынный запах пыли.

Он сидел все в том же положении, когда за дверью раздались голоса, и вдруг, с разбегу, не постучавшись, ворвался в комнату Алферов.

— Ах, извините, — сказал он без особого смущенья. — Я почему-то думал, что вы уже уехали.

Ганин туманно глядел на его желтую бородку, играя пальцами по сложенным письмам. В дверях показалась хозяйка.

— Лидия Николаевна, — продолжал Алферов, дергая шеей и развязно переходя через комнату. — Вот эту музыку нужно отставить — чтобы дверь в мою комнату открыть.

Он попробовал сдвинуть шкаф, крякнул и беспомощно попятился.

— Давайте я это сделаю, — весело предложил Ганин и, засунув черный бумажник в карман, встал, подошел к шкафу, плюнул себе в руки.

14

Гремели черные поезда, потрясая окна дома; волнуемые горы дыма, движеньем призрачных плеч, сбрасывающих ношу, поднимались с размаху, скрывая ночное засиневшее небо; гладким металлическим пожаром горели крыши под луной; и гулкая черная тень пробуждалась под железным мостом, когда по нему гремел черный поезд, продольно сквозя частоколом света. Рокочущий гул, широкий дым проходили, казалось, насквозь через дом, дрожавший между бездной, где поблескивали, проведенные лунным ногтем, рельсы, и той городской улицей, которую низко переступал плоский мост, ожидающий снова очередной гром вагонов. Дом был как призрак, сквозь который можно просунуть руку, пошевелить пальцами.

Стоя у окна в камере танцоров, Ганин поглядел на улицу: смутно блестел асфальт, черные люди, приплюснутые сверху, шагали туда и сюда, теряясь в тенях и снова мелькая в косом отсвете витрин. В супротивном доме, за одним незавешенным окном, в светлом янтарном провале

виднелись стеклянные искры, золоченые рамы. Потом черная нарядная тень задернула шторы.

Ганин обернулся. Колин протягивал ему рюмку, в которой дрожала водка.

В комнате был бледноватый, загробный свет, оттого что затейливые танцоры обернули лампу в лиловый лоскуток шелка. Посередине, на столе, фиолетовым лоском отливали бутылки, блестело масло в открытых сардинных коробочках, был разложен шоколад в серебряных бумажках, мозаика колбасных долек, гладкие пирожки с мясом.

У стола сидели: Подтягин, бледный и угрюмый, с бисером пота на тяжелом лбу; Алферов, в новеньком переливчатом галстуке; Клара, в неизменном своем черном платье, томная, раскрасневшаяся от дешевого апельсинного ликера.

Горноцветов без пиджака, в нечистой шелковой рубашке с открытым воротом, сидел на краю постели, настраивал гитару, Бог весть откуда добытую. Колин все время двигался, разливал водку, ликер, бледное рейнское вино, и толстые бедра его смешно виляли, меж тем как оставался почти недвижным при ходьбе его худенький корпус, стянутый синим пиджачком.

— Что же вы ничего не пьете? — задал он, надув губы, обычный укоризненный вопрос и поднял на Ганина свои нежные глаза.

— Нет, отчего же? — сказал Ганин, садясь на подоконник и беря из дрожавшей руки танцора легкую холодную рюмку. Опрокинув ее в рот, он обвел взглядом сидевших вокруг стола. Все молчали. Даже Алферов был слишком взволнован тем, что вот, через восемь-девять часов, приедет его жена, — чтобы болтать, по своему обыкновению.

— Гитара настроена, — сказал Горноцветов, повернув винтик грифа и ущипнув струну. Он заиграл, потом потушил ладонью гнусавый звон.

— Что же вы, господа, не поете? В честь Клары. Пожалуйста. Как цветок душистый...

Он заиграл опять, перекинув ногу на ногу и опустив боком темную голову.

Алферов, осклабясь на Клару и с притворной удалью подняв рюмку, откинулся на своем стуле, — причем чуть не упал, так как это был вертящийся табурет без спинки, —

и запел было фальшивым, нарочитым тенорком, но никто не вторил ему.

Горноцветов пощипал струны и умолк. Всем стало неловко.

— Эх, песенники... — уныло крякнул Подтягин, облокачиваясь на стол и покачивая подпертой головой. Ему было нехорошо: мысль о потерянном паспорте мешалась с чувством тяжелой духоты в груди.

— Вина мне нельзя пить, вот что, — добавил он угрюмо.

— Я говорила вам, — тихо сказала Клара, — вы, Антон Сергеич, как малый младенец.

— Что же это никто не ест и не пьет... — завилял боками Колин, семеня вокруг стола. Он стал наливать пустые рюмки. Все молчали. Вечеринка, по-видимому, не удалась.

Ганин, который до тех пор все сидел на подоконнике, с легкой задумчивой усмешкой в углах темных губ глядя на лиловатый блеск стола, на странно освещенные лица, вдруг спрыгнул на пол и ясно рассмеялся.

— Лейте, не жалейте, Колин, — сказал он, подходя к столу. — Вот Алферову пополнее. Завтра жизнь меняется. Завтра меня здесь не будет. Ну-ко-ся, залпом. Не глядите на меня, Клара, как раненая лань. Плесните ей ликеру. Антон Сергеич, вы тоже — веселее; нечего паспорт поминать. Другой будет, еще лучше старого. Скажите нам стихи, что ли. Ах, кстати...

— Можно мне вот эту пустую бутылку? — вдруг сказал Алферов, и похотливый огонек заиграл в его радостных, взволнованных глазах.

— Кстати, — повторил Ганин, подойдя сзади к старику и опустив руку к нему на мягкое плечо. — Я одни ваши стихи помню, Антон Сергеич. Опушка... Луна... Так, кажется?..

Подтягин обернул к нему лицо, неторопливо улыбнулся:

— Из календаря вычитали? Меня очень любили в календарях печатать. На исподе, над дежурным меню.

— Господа, господа, что он хочет делать! — закричал Колин, указывая на Алферова, который, распахнув окно, вдруг поднял бутылку, метя в синюю ночь.

— Пускай, — рассмеялся Ганин, — пускай бесится...

Алферовская бородка блестела, вздувался кадык, редкие волосы на темени шевелились от ночного ветерка. Широко

размахнувшись, он замер, потом торжественно поставил бутылку на пол.

Танцоры залились хохотом.

Алферов сел рядом с Горноцветовым, отнял у него гитару, стал пробовать играть. Он очень быстро пьянел.

— Кларочка такая серьезная, — с трудом говорил Подтягин. — Мне эти барышни когда-то проникновенные письма писали. А она теперь на меня и глядеть не хочет.

— Вы не пейте больше. Пожалуйста, — сказала Клара и подумала, что еще никогда в жизни ей не было так грустно, как сейчас.

Подтягин с усилием усмехнулся, потрепал Ганина по рукаву:

— А вот — будущий спаситель России. Расскажите что-нибудь, Левушка. Где шатались, как воевали?

— Нужно ли? — добродушно поморщился Ганин.

— Ну, а все-таки. Мне что-то, знаете, тяжело. Когда вы из России выехали?

— Когда? Эй, Колин. Вот этого липкого. Нет, не мне, — Алферову. Так. Смешайте.

15

Лидия Николаевна уже была в постели. Она испуганно отказалась от приглашения танцоров и теперь дремала чутким, старушечьим сном, сквозь который огромными шкафами, полными дрожащей посуды, проходил грохот поездов. Изредка сон ее прерывался, и тогда ей смутно слышны были голоса в номере шестом. Мельком ей приснился Ганин, и во сне она все не могла понять, кто он, откуда. Его облик и наяву был окружен таинственностью. И немудрено: никому не рассказывал он о своей жизни, о странствиях и приключениях последних лет, — да и сам он вспоминал о бегстве своем из России как бы сквозь сон — подобный морскому, чуть сверкающему туману.

Быть может, Машенька ему еще писала в те дни — в начале девятнадцатого года, — когда он дрался на севере Крыма, но этих писем он не получил. Пошатнулся и пал Перекоп. Ганин, контуженный в голову, был привезен в Симферополь, и через неделю, больной и равнодушный, отрезанный от своей части, отступившей к Феодосии, по-

пал поневоле в безумный и сонный поток гражданской эвакуации. В полях, на склонах инкерманских высот, где некогда мелькали в дыму игрушечных пушек алые мундиры солдат королевы Виктории, уже цвела пустынно и прелестно Крымская весна. Молочно-белое шоссе шло, плавно вздымаясь и опускаясь, откинутый верх автомобиля трещал, подпрыгивая на выбоинах, — и чувство быстроты с чувством весны, простора, бледно-оливковых холмов, вдруг слилось в нежную радость, при которой забывалось, что это легкое шоссе ведет прочь из России.

Он приехал в Севастополь еще полный этой радости и, оставив чемодан в белокаменной гостинице Киста, где суета была необыкновенная, — спустился, пьяный от туманного солнца и мутной боли в голове, мимо бледных колонн дорического портика, по широким гранитным пластам ступеней, к Графской пристани и долго, без мысли об изгнанье, глядел на голубой, млеющий блеск моря, а потом поднялся снова на площадь, где стоит серый Нахимов в долгом морском сюртуке, с подзорной трубкой, и, добредя по пыльной, белой улице до самого Четвертого бастиона, осматривал серо-голубую Панораму, где настоящие старинные орудия, мешки, нарочито рассыпанные осколки и настоящий, как бы цирковой, песок за круговой балюстрадой переходили в мягкую, сизую, слегка душноватую картину, окружавшую площадку для зрителей и дразнившую глаз своей неуловимой границей.

Так и остался Севастополь у него в памяти — весенний, пыльный, охваченный какой-то неживой сонной тревогой.

Ночью, уже с палубы, он глядел, как по небу, над бухтой, надуваются и снова спадают пустые белые рукава прожекторов, и черная вода гладко лоснилась под луной, и подальше, в ночном тумане, стоял весь в огоньках иностранный крейсер, покоясь на золотистых текучих столбах своего же отражения.

Судно, на которое он попал, было греческое, грязное; на палубе спали вповалку смуглые нищие беглецы из Евпатории, куда утром заходил пароход. Ганин устроился в кают-компании, где тяжело качалась лампа и стояли на длинном столе какие-то тюки, как гигантские бледные луковицы.

А потом пошли чудеснейшие, грустные морские дни; двумя скользящими белыми крылами вскипавшая навстречу

пена все обнимала, обнимала нос парохода, разрезавший ее, и на светлых скатах морских волн мягко мелькали зеленые тени людей, облокотившихся у борта.

Скрежетала ржавая рулевая цепь, две чайки плавали вокруг трубы, и влажные клювы их, попадая в луч, вспыхивали, точно алмазные.

Рядом заплакал толстоголовый греческий ребенок, и его мать стала в сердцах плевать на него, чтобы как-нибудь его успокоить. И вылезал на палубу кочегар, весь черный, с глазами, подведенными угольной пылью, с поддельным рубином на указательном пальце.

Вот такие мелочи, — не тоску по оставленной родине, — запомнил Ганин, словно жили одни только его глаза, а душа притаилась.

На второй день, оранжевым вечером, показался темный Стамбул и медленно пропал в сумраке ночи, опередившей судно. На заре Ганин поднялся на капитанский мостик: матово-черный берег Скутари медлительно синел. Отражение луны суживалось и бледнело. Лиловая синева неба переходила на востоке в червонную красноту, и, мягко светлея, Стамбул стал выплывать из сумерек. Вдоль берега заблестела шелковистая полоса ряби; черная шлюпка и черная феска беззвучно проплыли мимо. Теперь восток белел, и ветерок подул, соленой щекоткой прошел по лицу. На берегу где-то заиграли зорю, промахнули над пароходом две чайки, черные как вороны, и с плеском легкого дождя, сетью мгновенных колец прыгнула стая рыб. И потом пристал ялик; тень под ним на воде выпускала и втягивала щупальцы. Но только когда Ганин вышел на берег и увидел у пристани синего турка, спавшего на огромной груде апельсинов, — только тогда он ощутил пронзительно и ясно, как далеко от него теплая громада родины и та Машенька, которую он полюбил навсегда.

И все это теперь развернулось, переливчато сверкнуло в памяти и снова свернулось в теплый комок, когда Подтягин, растерянно, через силу, спросил:

— Давно ли вы покинули Россию?

— Шесть лет, — ответил он коротко, а потом, сидя в углу под томно-фиолетовым светом, обливавшим скатерть отодвинутого стола и улыбавшиеся лица Колина и Горноцветова, которые молча и быстро танцовали посреди комнаты, Ганин думал: «Какое счастье. Это будет завтра, нет, сегод-

ня, ведь уже за полночь. Машенька не могла измениться за эти годы, все так же горят и посмеиваются татарские глаза». Он увезет ее подальше, будет работать без устали для нее. Завтра приезжает вся его юность, его Россия.

Колин, подбоченясь и встряхивая откинутой слегка головой, то скользя, то притаптывая каблуками и взмахивая носовым платком, вился вокруг Горноцветова, который, присев, ловко и лихо выкидывал ноги, все шибче, и наконец закружился на согнутой ноге. Алферов, охмелевший вконец, благодушно покачивался, Клара тревожно вглядывалась в потное, серое лицо Подтягина, который сидел как-то боком на постели и время от времени судорожно поводил головой.

— Вам нехорошо, Антон Сергеич, — зашептала она. — Вам нужно лечь, уже второй час...

...О, как это будет просто: завтра, — нет, сегодня, — он увидит ее: только бы совсем надрызгался Алферов. Всего шесть часов осталось. Сейчас она спит в вагоне, промахивают в темноте телеграфные столбы, сосны, взбегающие скаты... Как стучат эти скачущие юноши. Скоро ли они кончат плясать... Да, удивительно просто... В действиях судьбы есть иногда нечто гениальное...

— Да, я, пожалуй, пойду прилягу, — глухо сказал Подтягин и, тяжело вздохнув, встал.

— Куда же вы, идеал мужчины? Стойте... Побудьте еще моментик, — радостно забормотал Алферов.

— Пейте и молчите, — обернулся к нему Ганин и быстро подошел к Подтягину. — Обопритесь на меня, Антон Сергеевич.

Старик мутно глянул на него, сделал движение рукой, как будто целился на муху, и вдруг с легким клекотом зашатался, повалился вперед.

Ганин и Клара успели поддержать его, танцоры заметались вокруг. Алферов, еле ворочая вязким языком, заблябал с пьяным равнодушием: «Смотрите, смотрите, это он умирает».

— Не вертитесь зря, Горноцветов, — спокойно говорил Ганин. — Держите его голову. Колин, — вот здесь... подоприте. Нет, это моя рука, — повыше. Да не глазейте на меня. Повыше, говорю вам. Откройте дверь, Клара.

Втроем они понесли старика в его комнату. Алферов, пошатываясь, вышел было за ними, потом вяло махнул

рукой и сел у стола. Дрожащей рукой налив себе водки, он вытащил из жилетного кармана никелевые часы и положил их перед собой на стол.

— Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, — повел он пальцем по римским цифрам и замер, боком повернув голову и одним глазом следя за секундной стрелкой.

В коридоре тонко и взволнованно затявкала такса. Алферов поморщился:

— Паршивый пес... Раздавить бы его.

Погодя немного он вынул из другого кармана химический карандашик и намазал лиловую черточку по стеклу над цифрой восемь.

«Едет, едет, едет...» — думал он в такт тиканью.

Он пошарил глазами по столу, выбрал шоколадную конфету и тотчас же выплюнул ее. Коричневый комок шлепнулся об стену.

— Три, четыре, пять, семь, — опять засчитал Алферов и с блаженной мутной улыбкой подмигнул циферблату.

16

За окном ночь утихла. По широкой улице уже шагал, постукивая палкой, сгорбленный старик в черной пелерине и, кряхтя, нагибался, когда острие палки выбивало окурок. Изредка проносился автомобиль, и еще реже, устало цокая подковами, протряхивал ночной извозчик. Пьяный господин в котелке ожидал на углу трамвая, хотя трамвай вот уж два часа как не ходил. Несколько проституток разгуливали взад и вперед, позевывая и болтая с подозрительными господами в поднятых воротниках пальто. Одна из них окликнула Колина и Горноцветова, которые чуть не бегом пронеслись мимо, но тотчас же отвернулась, профессиональным взглядом окинув их бледные, женственные лица.

Танцоры взялись привести к Подтягину знакомого русского доктора и действительно через полтора часа явились обратно в сопровождении заспанного господина с бритым, неподвижным лицом. Он пробыл полчаса и, несколько раз издав сосущий звук, как будто у него была дырка в зубе, ушел.

Теперь в неосвещенной комнате было очень тихо. Стояла та особая, тяжелая, глуховатая тишина, которая бывает,

когда несколько человек молча сидят вокруг больного. Уже начинало светать, воздух в комнате как будто медленно линял, — и профиль Ганина, пристально глядевшего на кровать, казался высеченным из бледно-голубого камня; у изножья, в кресле, смутно посиневшем в волне рассвета, сидела Клара и смотрела туда же, ни на миг не отводя едва блестевших глаз. Поодаль, на маленьком диванчике, рядышком уселись Горноцветов и Колин, — и лица их были как два бледных пятна.

Доктор уже спускался по лестнице за черной фигуркой г-жи Дорн, которая, тихо бренча связкой ключей, просила прощенья за то, что лифт испорчен. Добравшись до низу, она отперла тяжелую дверь, и доктор, на ходу приподняв шляпу, вышел в синеватый туман рассвета.

Старушка тщательно заперла дверь и, кутаясь в черную вязаную шаль, пошла наверх. Свет на лестнице горел желтовато и холодно. Тихо побренькивая ключами, она дошла до площадки. Свет на лестнице потух.

В прихожей она встретила Ганина, который, осторожно прикрывая дверь, выходил из комнаты Подтягина.

— Доктор обещал утром вернуться, — прошептала старушка. — Как ему сейчас, — легче?

Ганин пожал плечом:

— Не знаю. Кажется, нет. Его дыхание... звук такой... страшно слушать.

Лидия Николаевна вздохнула и пугливо вошла в комнату. Клара и оба танцора одинаковым движеньем обратили к ней бледно блеснувшие глаза и опять тихо уставились на постель. Ветерок толкнул раму полуоткрытого окна.

А Ганин прошел на носках по коридору и вернулся в номер, где давеча была пирушка. Как он и предполагал, Алферов все еще сидел у стола. Его лицо опухло и отливало серым лоском от смеси рассвета и театрально убранной лампы; он клевал носом, изредка отрыгивался; на часовом стеклышке перед ним блестела капля водки, и в ней расплылся лиловатый след химического карандаша. Оставалось около четырех часов.

Ганин сел подле него и долго глядел на его пьяную дремоту, хмуря густые брови и подпирая кулаком висок, отчего слегка оттягивалась кожа и глаз становился раскосым.

Алферов вдруг дернулся и медленно повернул к нему лицо.

— Не пора ли вам ложиться, дорогой Алексей Иванович, — отчетливо сказал Ганин.

— Нет, — с трудом выговорил Алферов и, подумав, словно решал трудную задачу, повторил: — Нет...

Ганин выключил ненужный свет, вынул портсигар, закурил. От холода бледной зари, от табачного дуновенья Алферов как будто слегка потрезвел.

Он помял ладонью лоб, огляделся и довольно твердой рукой потянулся за бутылкой.

На полпути его рука остановилась, он закачал головой, потом с вялой улыбкой обратился к Ганину:

— Не надо больше... этого. Машенька приезжает.

Погодя он дернул Ганина за руку:

— Э... вы... как вас зовут... Леб Лебович... слышите... Машенька.

Ганин выпустил дым, пристально глянул Алферову в лицо, — все вобрал сразу: полуоткрытый, мокрый рот, бородку цвета навозца, мигающие водянистые глаза...

— Леб Лебович, вы только послушайте, — качнулся Алферов, хватая его за плечо: — Вот я сейчас вдрызг, вдребезги, на положении дров... Сами, черти, напоили... Нет, — совсем не то... Я вам о девочке рассказывал...

— Вам надо выспаться, Алексей Иванович.

— Девочка, говорю, была. Нет, я не о жене... вы не думайте... жена моя чи-истая... А вот я сколько лет без жены... Так вот, недавно, — нет, давно... не помню когда... девочка меня повела к себе... На лису похожая... Гадость такая, — а все-таки сладко... А сейчас Машенька приедет... Вы понимаете, что это значит, — вы понимаете или нет? Я вот — вдрызг, — не помню, что такое перпе... перпед... перпендикуляр, — а сейчас будет Машенька... Отчего это так вышло? А? Я вас спрашиваю! Эй ты, большевик... Объясни-ка, можешь?

Ганин легко оттолкнул его руку. Алферов, покачивая головой, наклонился над столом, локоть его пополз, морща скатерть, опрокидывая рюмки. Рюмки, блюдце, часы поползли на пол...

— Спать, — сказал Ганин и сильным рывком поднял его на ноги.

Алферов не сопротивлялся, но так качало его, что Ганин с трудом направлял его шаги.

Очутившись в своей комнате, он широко и сонно ухмыльнулся, медленно повалился на постель. Но внезапно ужас прошел у него по лицу.

— Будильник... — забормотал он, приподнявшись, — Леб, — там, на столе, будильник... На половину восьмого поставь...

— Ладно, — сказал Ганин и стал поворачивать стрелку. Поставил ее на десять часов, подумал и поставил на одиннадцать.

Когда он опять посмотрел на Алферова, тот уже крепко спал, навзничь раскинувшись и странно выбросив одну руку.

Так в русских деревнях спят шатуны-пьяные. Весь день сонно сверкал зной, проплывали высокие возы, осыпая проселочную дорогу сухими травинками, — а бродяга буйствовал, приставал к гулявшим дачницам, бил в гулкую грудь, называя себя сынком генеральским, и наконец, шлепнув картузом оземь, ложился поперек дороги, да так и лежал, пока мужик не слезет с воза. Мужик оттаскивал его в сторонку и ехал дальше; и шатун, откинув бледное лицо, лежал, как мертвец, на краю канавы, — и зеленые громады возов, колыхаясь и благоухая, плыли селом, сквозь пятнистые тени млеющих лип.

Ганин, беззвучно поставив на стол будильник, долго стоял и смотрел на спящего. Постояв, потренькав монетами в кармане штанов, он повернулся и тихо вышел.

В темной ванной комнатке, рядом с кухней, сложены были в углу под рогожей брикеты. В узком окошке стекло было разбито, на стенах выступали желтые подтеки, над черной облупившейся ванной криво сгибался металлический хлыст душа. Ганин разделся донага и в продолжение нескольких минут расправлял руки и ноги — крепкие, белые, в синих жилках. Мышцы хрустели и переливались. Грудь дышала ровно и глубоко. Он отвернул кран душа и постоял под ледяным веерным потоком, от которого сладко замирало в животе.

Одевшись, весь подернутый огненной щекоткой, он, стараясь не шуметь, вытащил в прихожую свои чемоданы, поглядел на часы. Было без десяти шесть.

Он бросил пальто и шляпу на чемоданы и тихо вошел в номер Подтягина.

Танцоры спали рядышком, на диванчике, прислонившись друг к другу. Клара и Лидия Николаевна нагибались

над стариком. Глаза у него были закрыты, лицо, цвета высохшей глины, изредка искажалось выражением муки. Было почти светло. Поезда с заспанным грохотом пробирались сквозь дом.

Когда Ганин приблизился к изголовью, Подтягин открыл глаза. На мгновенье в бездне, куда он все падал, его сердце нашло шаткую опору. Ему захотелось сказать многое, — что в Париж он уже не попадет, что родины он и подавно не увидит, что вся жизнь его была нелепа и бесплодна и что он не ведает, почему он жил, почему умирает. Перевалив голову набок и окинув Ганина растерянным взглядом, он пробормотал: «Вот... без паспорта», — и судорожная улыбка прошла по его губам. Он снова зажмурился, и снова бездна засосала его, боль клином впилась в сердце, — и воздух казался несказанным, недостижимым блаженством.

Ганин, сильной белой рукой сжав грядку кровати, глядел старику в лицо, и снова ему вспомнились те дрожащие теневые двойники русских случайных статистов, тени, проданные за десять марок штука и Бог весть где бегущие теперь в белом блеске экрана. Он подумал о том, что все-таки Подтягин кое-что оставил, хотя бы два бледных стиха, зацветших для него, Ганина, теплым и бессмертным бытием: так становятся бессмертными дешевенькие духи или вывески на милой нам улице. Жизнь на мгновенье представилась ему во всей волнующейся красе ее отчаянья и счастья, — и все стало великим и очень таинственным — прошлое его, лицо Подтягина, облитое бледным светом, нежное отраженье оконной рамы на синей стене, — и эти две женщины в темных платьях, неподвижно стоящие рядом.

И Клара с изумленьем заметила, что Ганин улыбается, — и его улыбку понять не могла.

Улыбаясь, он тронул руку Подтягина, чуть шевелившуюся на простыне, и, выпрямившись, обернулся к госпоже Дорн и Кларе.

— Я уезжаю, — сказал он тихо. — Вряд ли мы опять встретимся. Передайте мой привет танцорам.

— Я провожу вас, — сказала Клара так же тихо и добавила: — Танцоры спят на диванчике.

И Ганин вышел из комнаты. В прихожей он взял чемоданы, перекинул макинтош через плечо, и Клара открыла ему дверь.

— Благодарствуйте, — сказал он, боком выходя на площадку. — Всего вам доброго.

На мгновенье он остановился. Еще накануне он мельком подумал о том, что хорошо бы разъяснить Кларе, что никаких денег он не собирался красть, а рассматривал старые фотографии, но теперь он не мог вспомнить, о чем хотел сказать. И, поклонившись, он стал не торопясь спускаться по лестнице. Клара, держась за скобку двери, глядела ему вслед. Он нес чемоданы как ведра, и его крепкие шаги будили в ступенях отзвуки, подобные бою медленного сердца. Когда он исчез за поворотом перил, она еще долго слушала этот ровный, удалявшийся стук. Наконец она закрыла дверь, постояла в прихожей. Повторила вслух: «Танцоры спят на диванчике», — и вдруг бурно и тихо разрыдалась, указательным пальцем водя по стене.

17

Тяжелые, толстые стрелки на огромном циферблате, белевшем наискось от вывески часовщика, показывали 36 минут седьмого. В легкой синеве неба, еще не потеплевшей после ночи, розовело одно тонкое облачко, и было что-то не по-земному изящное в его удлиненном очерке. Шаги несчастных прохожих особенно чисто звучали в пустынном воздухе, и вдали телесный отлив дрожал на трамвайных рельсах. Повозка, нагруженная огромными связками фиалок, прикрытая наполовину полосатым грубым сукном, тихо катила вдоль панели: торговец помогал ее тащить большому рыжему псу, который, высунув язык, весь подавался вперед, напрягал все свои сухие, человеку преданные, мышцы.

С черных веток чуть зеленевших деревьев спархивали с воздушным шорохом воробьи и садились на узкий выступ высокой кирпичной стены.

Лавки еще спали за решетками, дома освещены были только сверху, но нельзя было представить себе, что это закат, а не раннее утро. Из-за того, что тени ложились в другую сторону, создавались странные сочетания, неожиданные для глаза, хорошо привыкшего к вечерним теням, но редко видящего рассветные.

Все казалось не так поставленным, непрочным, перевернутым, как в зеркале. И так же, как солнце постепенно поднималось выше и тени расходились по своим обычным местам, — точно так же, при этом трезвом свете, та жизнь воспоминаний, которой жил Ганин, становилась тем, чем она вправду была, — далеким прошлым.

Он оглянулся и в конце улицы увидел освещенный угол дома, где он только что жил минувшим и куда он не вернется больше никогда. И в этом уходе целого дома из его жизни была прекрасная таинственность.

Солнце поднималось все выше, равномерно озарялся город, и улица оживала, теряла свое странное теневое очарование. Ганин шел посреди мостовой, слегка раскачивая в руках плотные чемоданы, и думал о том, что давно не чувствовал себя таким здоровым, сильным, готовым на всякую борьбу. И то, что он все замечал с какой-то свежей любовью — и тележки, что катили на базар, и тонкие, еще сморщенные листики, и разноцветные рекламы, которые человек в фартуке клеил по окату будки, — это и было тайным поворотом, пробужденьем его.

Он остановился в маленьком сквере около вокзала и сел на ту же скамейку, где еще так недавно вспоминал тиф, усадьбу, предчувствие Машеньки. Через час она приедет, ее муж спит мертвым сном, и он, Ганин, собирается ее встретить.

Почему-то он вспомнил вдруг, как пошел проститься с Людмилой, как выходил из ее комнаты.

А за садиком строился дом. Он видел желтый, деревянный переплет — скелет крыши, — кое-где уже заполненный черепицей.

Работа, несмотря на ранний час, уже шла. На легком переплете в утреннем небе синели фигуры рабочих. Один двигался по самому хребту, легко и вольно, как будто собирался улететь.

Золотом отливал на солнце деревянный переплет, и на нем двое других рабочих передавали третьему ломти черепицы.

Они лежали навзничь, на одной линии, как на лестнице, и нижний поднимал наверх через голову красный ломоть, похожий на большую книгу, и средний брал черепицу и тем же движеньем, отклонившись совсем назад и выбросив руки, передавал ее верхнему рабочему. Эта ленивая,

ровная передача действовала успокоительно, этот желтый блеск свежего дерева был живее самой живой мечты о минувшем. Ганин глядел на легкое небо, на сквозную крышу — и уже чувствовал с беспощадной ясностью, что роман его с Машенькой кончился навсегда. Он длился всего четыре дня, — эти четыре дня были, быть может, счастливейшей порой его жизни. Но теперь он до конца исчерпал свое воспоминанье, до конца насытился им, и образ Машеньки остался вместе с умирающим старым поэтом там, в доме теней, который сам уже стал воспоминаньем.

И, кроме этого образа, другой Машеньки нет, и быть не может.

Он дождался той минуты, когда по железному мосту медленно прокатил шедший с севера экспресс. Прокатил, скрылся за фасадом вокзала.

Тогда он поднял свои чемоданы, крикнул таксомотор и велел ему ехать на другой вокзал, в конце города. Он выбрал поезд, уходивший через полчаса на юго-запад Германии, заплатил за билет четверть своего состояния и с приятным волненьем подумал о том, как без всяких виз проберется через границу, — а там Франция, Прованс, а дальше — море.

И когда поезд тронулся, он задремал, уткнувшись лицом в складки макинтоша, висевшего с крюка над деревянной лавкой.

В. СИРИНЪ

КОРОЛЬ
ДАМА
ВАЛЕТЪ

РОМАНЪ

СЛОВО

...ТВО „СЛОВО", БЕРЛИН

В. СИРИНЪ

КОРОЛЬ
ДАМА
ВАЛЕТЪ

РОМАНЪ

СЛОВО

БЕРЛИНЪ
1930

Король,
дама,
валет
РОМАН
1928

ГЛАВА I

Огромная, черная стрела часов, застывшая перед своим ежеминутным жестом, сейчас вот дрогнет, и от ее тугого толчка тронется весь мир: медленно отвернется циферблат, полный отчаяния, презрения и скуки; столбы, один за другим, начнут проходить, унося, подобно равнодушным атлантам, вокзальный свод; потянется платформа, увозя в неведомый путь окурки, билетики, пятна солнца, плевки; не вращая вовсе колесами, проплывет железная тачка; книжный лоток, увешанный соблазнительными обложками — фотографиями жемчужно-голых красавиц, — пройдет тоже; и люди, люди, люди на потянувшейся платформе, переставляя ноги и все же не подвигаясь, шагая вперед и все же пятясь, — как мучительный сон, в котором есть и усилие неимоверное, и тошнота, и ватная слабость в икрах, и легкое головокружение, пройдут, отхлынут, уже замирая, уже почти падая навзничь...

Больше женщин, чем мужчин, — как это всегда бывает среди провожающих... Сестра Франца, такая бледная в этот ранний час, нехорошо пахнущая натощак, в клетчатой пелерине, какой, небось, не носят в столице, — и мать, маленькая, круглая, вся в коричневом, как плотный монашек. Вот запорхали платки.

И отошли не только они, — эти две знакомые улыбки, — тронулся не только вокзал, с лотком, тачкой, белым продавцом слив и сосисок, — тронулся и старый городок в розоватом тумане осеннего утра: каменный курфюст на площади, землянично-темный собор, поблескивающие вывески, цилиндр, рыба, медное блюдо парикмахера... Теперь уж не остановить. Понесло! Торжественно едут дома, хлопают занавески в открытых окнах родного дома, потрескивают полы, скрипят стены, сестра и мать пьют на быстром сквозняке утренний кофе, мебель вздрагивает от

учащающихся толчков, — все скорее, все таинственнее едут дома, собор, площадь, переулки... И хотя уже давно мимо вагонного окна развертывались поля в золотистых заплатах, Франц еще ощущал, как отъезжает городишко, где он прожил двадцать лет.

В деревянном, еще прохладном отделении третьего класса сидели кроме Франца: две плюшевых старушки, дебелая женщина с корзиной яиц на коленях и белокурый юноша в коротких желтых штанах, крепкий, угластый, похожий на свой же туго набитый, словно высеченный из желтого камня мешок, который он энергично стряхнул с плеч и бухнул на полку. Место у двери, против Франца, было занято журналом с голой стриженой красавицей на обложке, а в коридоре, у окна, спиной к отделению, стоял широкоплечий господин.

Город уехал. Франц схватился за бок, навылет раненный мыслью, что пропал бумажник, в котором так много: крепкий билетик, и чужая визитная карточка, и непочатый месяц человеческой жизни. Бумажник был тут как тут, плотный и теплый. Старушки стали шевелиться, шуршать, разоблачать бутерброды. Господин, стоявший в проходе, повернулся и, слегка качнувшись, отступив на полшага и снова поборов шаткость пола, вошел в отделение.

Только тогда Франц увидел его лицо: нос — крохотный, обтянут по кости белесой кожей, кругленькие, черные ноздри непристойны и асимметричны, на щеках, на лбу — целая география оттенков — желтоватость, розоватость, лоск. Бог знает, что случилось с этим лицом, — какая болезнь, какой взрыв, какая едкая кислота его обезобразили. Губ почти не было вовсе, отсутствие ресниц придавало выпуклым, водянистым глазам невольную наглость. А наряден и статен был господин на диво: шелковый галстук в нежных узорах нырял, слегка изогнувшись, под двубортный жилет. Руки в серых перчатках подняли, раскрыли журнал с соблазнительной обложкой.

У Франца дрожь прошла между лопаток, и во рту появилось странное ощущение: неотвязно мерзка влажность нёба, отвратительно жив толстый, пупырчатый язык. Память стала паноптикумом, и он знал, знал, что там, где-то в глубине, — камера ужасов. Однажды собаку вырвало на пороге мясной лавки; однажды ребенок поднял с панели и губами стал надувать нечто, похожее на соску, желтое, прозрачное;

однажды простуженный старик в трамвае пальнул мокротой... Все — образы, которых Франц сейчас не вспомнил ясно, но которые всегда толпились на заднем плане, приветствуя истерической судорогой всякое новое, сродное им, впечатление. После таких ужасов, в те еще недавние дни, вялый, долговязый, перезрелый школьник ронял из рук портфель, бросался ничком на кушетку, и его долго, мучительно мутило. Мутило его и на последнем экзамене — оттого, что сосед по парте, задумавшись, грыз и без того обгрызанные, мясом ущемленные ногти. И школу Франц покинул с облегчением, полагая, что отделался навсегда от ее грязноватой, прыщеватой жизни.

Господин разглядывал журнал, и сочетание его лица и фотографии на обложке было чудовищно. Румяная торговка сидела рядом с монстром, прикасаясь к нему сонным плечом; рюкзак юноши лежал бок о бок с его черным, склизким, пестрым от наклеек чемоданом; а главное — старушки, несмотря на мерзкое соседство, жевали бутерброды, посасывали мохнатые дольки апельсинов, завертывали корки в бумажки и деликатно бросали их под лавку... Франц стискивал челюсти, сдерживая смутный позыв на рвоту. Когда же господин отложил журнал и стал сам, не снимая перчаток, есть булочку с сыром, вызывающе глядя на Франца, он не стерпел. Быстро встав, запрокинув побелевшее лицо, он расшатал, стащил сверху свой чемодан, надел пальто и шляпу и, неловко стукнувшись чемоданом о косяк, вышел в коридор.

Ему сразу стало легче, но головокружение не прошло. Вдоль окон пролетал буковый лес, рябили лиловатые стволы, испещренные солнцем. Он неуверенно пошел по коридору, всматриваясь в отделения. Только в одном из них было свободное место; зато там сидела сердитая женщина с двумя бледными, чернорукими, раздраженными детьми, которые, подняв плечи в ожидании неизбежного подзатыльника, тихонько сползали с лавки, чтобы поиграть сальными бумажками на полу, у ног пассажиров. Франц дошел до конца вагона и там остановился, пораженный небывалой мыслью. Эта мысль была так хороша, так дерзновенна, что даже сердце запнулось и на лбу выступил пот. «Нет, нельзя...» — вполголоса сказал Франц, уже зная, впрочем, что соблазна не перебороть. Затем, двумя пальцами проверив узел галстука, он с восхитительным замиранием под

ложечкой перешел по шаткой соединительной площадке в следующий вагон.

Это был вагон второго класса, а второй класс был для Франца чем-то непозволительно привлекательным, немного греховным, пожалуй, — с привкусом пряного мотовства, — как рюмка густого белого кюрасо, как трехминутная поездка в таксомоторе, как тот огромный помплимус, похожий на желтый череп, который он как-то купил по дороге в школу. О первом классе нельзя было мечтать вовсе: бархатные покои, где сидят дипломаты в дорожных кепках и почти неземные актрисы!.. Но во второй... во второй... ежели набраться смелости... Покойный отец (нотариус и филателист) езжал, говорят — давно, до войны, — вторым классом. И все-таки Франц не решался — замирал в начале прохода, у таблички, сообщавшей вагонный инвентарь, — и уже не решетчатый лес мелькал за окнами, а благородно плыли просторные поля, и вдалеке, параллельно полотну, текла дорога, по которой улепетывал лилипутовый автомобиль.

Его вывел из затруднения кондуктор, как раз совершавший обход. Франц прикупил своему билету дополнительный чин. Гулким мраком бабахнул короткий туннель. Опять светло, и уже нет кондуктора.

В купэ, куда Франц вошел с безмолвным, низким поклоном, сидели только двое: чудесная, большеглазая дама и пожилой господин с подстриженными желтыми усами. Франц снял пальто и осторожно сел. Сиденье было так мягко, так уютно торчал у виска полукруглый выступ, отделяющий одно место от другого, так изящны были снимки на стенке: какой-то собор, какой-то водопад... Он медленно вытянул ноги, медленно вынул из кармана газету; но читать не мог: оцепенел в блаженстве, держа раскрытую газету перед собой. Его спутники были обаятельны. Дама — в черном костюме, в черной шапочке с маленькой бриллиантовой ласточкой, лицо серьезное, холодноватые глаза, легкая тень над губой и бархатно-белая шея в нежнейших поперечных бороздках на горле. Господин, верно, иностранец, оттого что воротничок мягкий, и вообще... Однако Франц ошибся.

— Пить хочется, — протяжно сказал господин. — Жалко, что нет фруктов...

— Сам виноват, — ответила дама недовольным голосом и погодя добавила:

— Я все еще не могу забыть. Это было так глупо...

Драйер слегка закатил глаза и не возразил ничего.

— Сам виноват, что пришлось прятаться... — сказала она и машинально поправила юбку, машинально заметив, что пассажир, появившийся в углу, — молодой человек в очках — смотрит на голый шелк ее ног. Потом пожала плечом.

— Все равно... — сказала она тихо, — не стоит говорить.

Драйер знал, что молчанием он жену раздражает неизъяснимо. В глазах у него стоял мальчишеский, озорной огонек, мягкие складки у губ двигались — оттого, что он перекатывал во рту мятную лепешку, — и одна бровь, желтая, шелковистая, была поднята выше другой. История, которая так рассердила жену, была, в сущности говоря, пустая. Август и половину сентября они провели в Тироле, и вот теперь, на обратном пути, остановившись на несколько дней по делу в антикварном городке, он зашел к кузине Лине, с которой был дружен в молодости, лет двадцать тому назад. Жена отказалась пойти наотрез. Лина, кругленькая дама с бородавкой, как репейник, на щеке, все такая же болтливая и гостеприимная, нашла, что «годы, конечно, наложили свой след», но что могло быть и хуже, угостила его отличным кофе, рассказала о своих детях, пожалела, что их нет дома, расспросила его о жене, которой она не знала, о делах, про которые знала понаслышке; потом стала советоваться. В комнате было жарко, вокруг старенькой люстры с серыми, как грязный ледок, стекляшками кружились мухи, садясь все на то же место, что почему-то очень его смешило, и с комическим радушием протягивали свои плюшевые руки старые кресла, на одном из которых дремала злая обветшалая собачка. И на выжидательный, вопросительный вздох собеседницы он вдруг сказал, рассмеявшись, оживившись: «Ну что ж, пускай он поедет ко мне, — я его устрою...» Вот это жена и не могла простить. Она назвала это: «Наводнять дело бедными родственниками» — но, в сущности говоря, какое же наводнение мог произвести один, всего один бедный родственник? Зная, что Лина жену пригласит, а жена не пойдет ни за что, — он солгал, сказал Лине, что уезжает в тот же вечер. А потом, через неделю, на вокзале, когда они уже уселись в вагон, он вдруг из окна увидел Лину, Бог весть чем привлеченную на платформу. И жена ни за что не хотела,

чтобы та заметила их, и хотя ему очень понравилась мысль купить на дорогу корзиночку слив, он не высунулся из окна с легким «псст...», не потянулся к молодому продавцу в белой куртке...

Удобно одетый, совершенно здоровый, с туманом легких мыслей в голове, с мятным ветерком во рту, Драйер сидел скрестив руки, и складки мягкой материи на сгибах как-то соответствовали мягким складкам его щек, и очерку подстриженных усов, и веерками морщинок у глаз. И глядел он, слегка надув шею, слегка исподлобья, с чертиками в глазах, на зеленый вид, жестикулирующий в окне, на прекрасный профиль Марты, обведенный смешной солнечной каемкой, на дешевый чемодан молодого человека в очках, который читал газету в углу, у двери. Этого пассажира он обошел, пощупал, пощекотал долгим, но легким, ни к чему не обязывающим взглядом, отметил зеленый крап его галстучка, стоившего, разумеется, девяносто пять пфеннигов, высокий воротничок, а также манжеты и передок рубашки, — рубашки, существующей, впрочем, только в идее, так как, судя по особому предательскому лоску, то были крахмальные доспехи довольно низкого качества, но весьма ценимые экономным провинциалом, который нацепляет их на суровую сорочку, сшитую дома. Над костюмом молодого человека Драйер нежно загрустил, подумав о том, что покрой пиджаков трогателен своей недолговечностью и что этот синий в частую белую полоску костюм уже пять сезонов как исчез из столичных магазинов.

В стеклах очков внезапно родились два встревоженных глаза, и Драйер отвернулся, поглатывая слюну с легким чмоканием. Марта сказала:

— Вообще, происходит какая-то путаница.

Муж вздохнул и ничего не ответил. Она хотела добавить что-то, но почувствовала, что молодой человек в очках прислушался, — и, вместо слов, резким движением облокотилась на столик, оттянув кулаком щеку. Посидев так до тех пор, пока мелькание леса в окне не стало тягостным, она, с досадой, со скукой, медленно разогнулась, откинулась, приоткрыла глаза. Сквозь веки солнце проникало сплошной мутноватой алостью, по которой вдруг побежали чередой светлые полосы — прозрачный негатив движущегося леса, — и каким-то образом вмешалось в эту красноту,

в это мелькание, медленно и близко поворачивающееся к ней, невыносимо веселое лицо мужа, и она, вздрогнув, открыла глаза. Но муж сидел сравнительно далеко и читал книжку в кожаном переплете. Читал он внимательно, с удовольствием. Вне солнцем освещенной страницы не существовало сейчас ничего. Он перевернул страницу, и весь мир, жадно, как игривая собака, ожидавший это мгновение, метнулся к нему светлым прыжком, — но, ласково отбросив его, Драйер опять замкнулся в книгу.

То же резвое сияние было для Марты просто вагонной духотой. В вагоне должно быть душно; это так принято и потому хорошо. Жизнь должна идти по плану, прямо и строго, без всяких оригинальных поворотиков. Изящная книга хороша на столе, в гостиной или на полке. В вагоне, для отвода скуки, можно читать какой-нибудь ерундовый журналишко. Но эдак вкушать и впивать... переводную новеллу, что ли, в дорогом переплете. — Человек, который называет себя коммерсантом, не должен, не может, не смеет так поступать. Впрочем, возможно, что он делает это нарочно, назло. Еще одна показная причуда. Ну что ж, чуди, чуди. Хорошо бы сейчас вырвать у него эту книжку и запереть ее в чемодан...

В это мгновение солнечный свет как бы обнажил ее лицо, окатил гладкие щеки, придал искусственную теплоту ее неподвижным глазам с их большими, словно упругими, зрачками в сизом сиянии, с их прелестными темными веками, чуть в складочку, редко мигавшими, как будто она все боялась потерять из виду непременную цель. Она почти не была накрашена; только в тончайших морщинках теплых, крупных губ сохла оранжево-красная пыльца.

И Франц, до сих пор таившийся за газетой в каком-то блаженном и беспокойном небытии, живший как бы *вне* себя, в случайных движениях и случайных словах его спутников, медленно стал расти, сгущаться, утверждаться, вылез из-за своей газеты и во все глаза, почти дерзко, посмотрел на даму.

А ведь только что его мысли, всегда склонные к бредовым сочетаниям, сомкнулись в один из тех мнимо стройных образов, которые значительны только в самом сне, но бессмысленны при воспоминании о нем. Переход из третьего класса, где тихо торжествовало чудовище, сюда, в солнечное купэ, представился ему как переход из

мерзостного ада, через пургаторий площадок и коридоров, в подлинный рай. Старичок кондуктор, давеча пробивший ему билет и сразу исчезнувший, был, казалось ему, убог и полновластен, как апостол Петр. Какая-то лубочно-благочестивая картина, испугавшая его в детстве, опять странно ожила. Он обратил кондукторский щелк в звук ключа, отпирающего райский замок. Так, в мистерии, по длинной сцене, разделенной на три части, восковой актер переходит из пасти дьявола в ликующий парадиз. И Франц, отталкивая навязчивую и чем-то жутковатую грезу, стал жадно подыскивать приметы человеческие, обиходные, чтобы прервать наваждение.

Сама Марта ему помогла: глядя искоса в окно, она зевнула, дрогнув напряженным языком в красной полутьме рта и блеснув зубами. Потом замигала, разгоняя ударами ресниц щекочущую слезу. И Франца потянуло тоже к зевоте. В ту минуту, как он, не справившись с силой, распиравшей нёбо, судорожно открыл рот, Марта на него взглянула и поняла по его зевоте, что он только что на нее смотрел. И сразу рассеялось болезненное блаженство, которое Франц недавно ощущал, глядя на мадоннообразный профиль. Он насупился под ее равнодушным лучом и, когда она отвернулась, мысленно сообразил, будто протрещал пальцем по тайным счетам, сколько дней своей жизни он отдал бы, чтобы обладать этой женщиной.

Резко хряснула дверь, и взволнованный лакей, точно предупреждая о пожаре, сунулся, рявкнул и метнулся дальше — выкрикивать свою весть.

Втайне Марта была против этих жульнических, летучих обедов, за которые дерут втридорога, хотя дают дрянь, и это почти физическое ощущение лишней траты, смешанное с чувством, что кто-то надувает и, надувая, наживает, было так в ней сильно, что, если б не тошный голод, она бы вовсе в столовый вагон не пошла. Сердито и смутно она позавидовала юнцу в очках, который при напоминании об обеде полез в карман пальто, висевшего рядом, и вытащил бутерброд. Сама же встала, взяла сумку под мышку. Драйер нашел фиолетовую ленточку в книге, заложил страницу и, выждав секунды две, как будто не мог сразу перейти из одного мира в другой, легонько хлопнул себя по коленям и выпрямился. Он тотчас заполнил все купэ: был он один из тех людей, которые, несмотря на средний рост и уме-

ренную плотность, производят впечатление громоздкости. Франц поджал ноги. Марта и за нею муж двинулись мимо него, вышли.

Франц остался с серым бутербродом в опустевшем купэ. Он жевал и глядел в окно. Поднимался по диагонали окна зеленый откос, заполнил окно доверху, затем, разрешив железный аккорд, грохнул сверху мост, и мгновенно зеленый скат пропал, распахнулся свободный вид, луга, ивы вдоль ручья, лиловатые гряды капусты. Франц проглотил последний кусок, поерзал, прикрыл глаза.

Столица... В самом названии этой незнакомой еще столицы — в увесистом грохоте первого слога и в легком звоне второго — было для него что-то волнующее. Экспресс уже как будто мчал его по знаменитому проспекту, обсаженному исполинскими древними липами, под которыми кипела цветистая толпа. Промчал экспресс мимо этих лип, пышно выросших из названия проспекта, и влетел под огромную арку в перламутровых блестках. Дальше был увлекательный туман, где поворачивалась фотографическая открытка — сквозная башня в расплывчатых огнях, на черном фоне. Она исчезла, и в сияющем магазине, среди золоченых болванок, изображавших торсы, и чистых зеркал, и стеклянных прилавков, Франц разгуливал — в визитке, в полосатых штанах, в белых гетрах — и плавным движением руки направлял покупателей в нужные им отделы. Это уже была не совсем сознательная игра мысли, но еще не сон; и в тот миг, когда сон собрался его подкосить, Франц опять овладел собой, направил мысли по собственному усмотрению, оголил плечи даме, только что сидевшей у окна, прикинул — взволнован ли он? — затем, сохранив голые плечи, переменил голову, подставил лицо той семнадцатилетней горничной, которая испарилась с серебряной суповой ложкой до того, как он успел ей объясниться в любви; но и эту голову он затушевал и вместо нее приделал лицо одной из тех лихих столичных красавиц, которые встречаются главным образом на ликерных и папиросных рекламах; и только тогда образ ожил: гологрудая дама подняла к пунцовым губам рюмку, покачивая ажурной ногой, с которой спадала красная туфелька без задника. Туфелька свалилась, и Франц, нагнувшись за ней, пошатнулся, мягко нырнул в темную дремоту. Он спал с разинутым ртом, так что были на его бледном лице три дырки: две блестящих — стекла

очков, и одна черная — рот. Драйер это отметил, когда час спустя вернулся с женой из вагона-ресторана. Они молча переступили через протянутую мертвую ногу. Марта положила сумку на откидной столик под окном, и никелевый глазок сумки сразу ожил, мелко заиграл зеленым блеском. Драйер закурил сигару.

Обед оказался недурным, и Марта теперь не жалела, что пошла. Цвет лица у нее как-то потеплел, прекрасные глаза были влажны, блестели свежо подмазанные губы; она улыбнулась, чуть обнажив резцы, и эта довольная, драгоценная улыбка медлила на ее лице несколько мгновений. Драйер глядел на жену слегка прищурясь, наслаждаясь ее улыбкой, как неожиданным подарком, — но ни за что в мире он не показал бы этого. Когда улыбка исчезла, он отвернулся, подобно удовлетворенному зеваке, после того как уличный торговец поднял и снова положил на возок нечаянно рассыпавшиеся апельсины.

Франц вдруг подтянул ногу, но не проснулся. Поезд стал грубо тормозить. Проплыли красноватые стены, огромная труба, словно выложенная мозаикой, товарные вагоны, стоявшие на запасном пути; и затем в отделении потемнело: вокзал.

— А я, моя душа, пойду прогуляться, — сказал Драйер, любивший курить на свежем воздухе.

Марта, оставшись одна, откинулась в угол, посмотрела, зевнув, на мертвеца в очках, равнодушно подумала, что он сейчас съедет на пол. Драйер, гуляя по платформе, мимоходом поиграл пальцами по оконному стеклу, но жена больше не улыбнулась, — и, пахнув дымом, он двинулся дальше. Шел он неторопливой, чуть подпрыгивающей походкой, заложив руки за спину и выпятив сигару. Между прочим, он подумал о том, что хорошо бы так прогуливаться под сводами незнакомого вокзала где-нибудь по пути в Андалузию, Багдад, Нижний Новгород... Можно хоть сегодня пуститься в путь: земной шар огромен и кругл, — и денег достаточно на пять, а то и больше, полных обхватов. Марта бы, впрочем, ни за что не поехала. Никак даже не скажешь ей: поедем, дела подождут. Купить, что ли, газету; биржа, пожалуй, тоже любопытная вещь. И надо узнать, перелетел ли этот молодчик через океан? Америка, Мексика, Пальмовый Пляж. Вот Вилли Грюн там побывал, звал с собой. Нет, ее не уломать... Где же, в сущности

говоря, газетный лоток... Этот велосипед с завернутыми лапками сейчас так отчетлив, а забуду его навсегда, забуду, что смотрел на него, все забуду... И вот, багажный вагон тронулся, поплыл. Э! да это мой поезд... А все-таки надо купить...

Драйер мелкой рысью кинулся к лотку, выбрал на ладони монету, кинулся обратно, засовывая газету в карман. Он не очень ловко вскочил на проплывавшую подножку и не сразу мог отворить дверь. Посмеиваясь и глубоко дыша, он прошел один вагон, второй, третий. В предпоследнем коридоре учтиво отодвинулся, чтобы пропустить его, длинный господин. Драйер, мимоходом глянув на него, увидел лицо взрослого человека с носиком грудного младенца. «Занятно, — подумал Драйер, — очень занятно». В следующем вагоне он отыскал свое купэ, опять переступил через мертвую ногу и тихонько сел. Марта, по-видимому, спала. Он развернул газету и вдруг заметил, что Марта глядит на него в упор.

— Сумасшедший идиот, — сказала она спокойно и тотчас прикрыла глаза снова. Драйер дружелюбно ей покивал и окунулся в газету.

Первая часть дороги — первая глава путешествия — всегда подробна и медлительна. Средние часы — дремотны, последние — скоры. И вот Франц проснулся, пожевал губами. Его спутники спали. Свет в окне поблек, точно где-то потушили одну, две лампочки. Он посмотрел на кисть, на часики под решеткой. Он спал очень долго. Отяжелели ноги, и во рту был препротивный вкус. Тщательно вытерев стекла очков, он выбрался в коридор.

И с этих пор время пошло быстро. Час спустя ожила и чета Драйер, лакей принес им кофе в толстых чашках, кофе было скверное. Где-то потухли еще две-три лампочки. Потом, в сумерках, по окну стал тихонько потрескивать дождь, катились по стеклу струйки, останавливались неуверенно и снова быстро сбегали вниз. За окнами коридора под аспидной тучей тлел узкий, желтый закат. И еще немного спустя электрический свет озарил отделение, и Марта долго смотрелась в зеркальце, скаля зубы, подтягивая верхнюю губу.

Драйер, весь еще полный приятного тепла дремоты, посмотрел на потускневшее окно, на струйки, угловато сбегавшие по стеклу, подумал, что завтра воскресенье, что

утром он поедет играть в теннис (за который недавно принялся с жарким рвением пожилого человека) и что нехорошо, если помешает дождь. Он спросил себя, сделал ли он успехи, бессознательно напряг правое плечо и тотчас вспомнил холеную, солнцем облитую площадку в тирольском городке и знаменитого, баснословного игрока, который пришел на состязание в белом пальто с полдюжиной ракет под мышкой, а затем медленно, с профессиональной плавностью снял и пальто, и шелковый шарф, и цветистый свэтер, — и, сверкнув по локоть обнаженной рукой, поддал звучно и с какой-то нечеловеческой точностью первый, пробный мяч.

— Осень, дождь, — сказала Марта, резко захлопнув сумку.

— Совсем маленький, — тихо поправил Драйер.

Поезд, как бы уже попав в поле притяжения столицы, шел необыкновенно быстро. Стекла совсем потемнели, в них незаметно появились отражения, отблески. Мелькнула мимо огненная полоса встречного поезда и навеки оборвалась. Франц, вернувшись в купэ, вдруг судорожно схватился за бок. И еще через час в смутном мраке появились далекие россыпи огней, бриллиантовые пожары.

Вскоре Драйер встал; Франц, с холодком волнения в груди, встал тоже. Драйер стал стаскивать чемоданы (он очень любил совать их носильщику в окно); Франц, поднявшись на цыпочки, стал стаскивать свой чемодан тоже. Оба мягко столкнулись спинами, и Драйер рассмеялся. Волнуясь и торопясь, Франц стал надевать пальто, не мог сразу попасть в рукав, нахлобучил зеленую свою шляпу и вышел в коридор.

Огней в темноте прибавилось, и вдруг, словно под самыми ногами, открылась улица с освещенным трамваем и пропала опять за мелькавшими стенами, которые кто-то быстро тасовал.

«Поскорей бы! — взмолился Франц. — Это невыносимо...»

Промахнула мелкая станция, платформа под черным навесом, и снова стало темно, точно никакой столицы и близко не было. Наконец разлился желтоватый свет, озарил тысячу рельс, ряды мокрых спящих вагонов, — и медленно, уверенно, плавно огромная железная полость вокзала втянула в себя сразу отяжелевший поезд.

Франц вылез на платформу, в дымную сырость. Проходя мимо покинутого вагона, он увидел своего светлоусого спутника, который, опустив стекло, звал носильщика. На мгновение он пожалел, что расстается навсегда с той прелестной, большеглазой дамой. Вместе с торопливой толпой он быстро пошел по длинной, длинной платформе, дрожащей рукой отдал контролеру билет и, мимо бесчисленных касс, реклам, расписаний, низких прилавков для багажа, вышел на волю.

ГЛАВА II

Смутный золотистый свет, воздушная отельная пелерина... Опять — пробуждение, но, быть может, пробуждение еще не окончательное? Так бывает: очнешься и видишь, скажем, будто сидишь в нарядном купэ второго класса, вместе с неизвестной изящной четой, а на самом деле это — пробуждение мнимое, это только следующий слой сна, словно поднимаешься со слоя на слой и все не можешь достигнуть поверхности, вынырнуть в явь. Очарованная мысль принимает, однако, новый слой сновидения за свободную действительность: веря в нее, переходишь, не дыша, какую-то площадь перед вокзалом и почти ничего не видишь, потому что ночная темнота расплывается от дождя, и хочешь поскорее попасть в призрачную гостиницу напротив, чтобы умыться, переменить манжеты и тогда уже пойти бродить по каким-то огнистым улицам. Но что-то случается, мелочь, нелепый казус, — и действительность теряет вдруг привкус действительности; мысль обманулась, ты еще спишь; бессвязная дремота глушит сознание; и вдруг опять прояснение: смутный золотистый свет и номер в гостинице, название которой «Видэо» — написал тебе на листке знакомый лавочник, побывавший в столице. И все-таки, — кто ее знает, явь ли это, окончательная явь, или только новый обманчивый слой?

Франц, еще лежа навзничь, близорукими, мучительно сощуренными глазами посмотрел на дымчатый потолок и потом в сторону — на сияющий туман окна. И чтобы высвободиться из этой золотистой смутности, еще так напоминавшей сновидение, — он потянулся к ночному столику, нащупывая очки.

И только прикоснувшись к ним, вернее не к ним, а к бумажке, в которую они были завернуты, Франц вспомнил ту мелочь, тот нелепый казус... Войдя вчера в номер, осмотревшись, распахнув окно, за которым, однако, он увидел, вместо воображаемых огней, только темный двор и темное шумящее дерево, он содрал грязный, томивший шею воротник и, спеша, принялся мыть лицо. Очки он положил рядом с тазом, на доску умывальника, с краю. Умывшись, он поднял таз, чтобы вылить его в ведро, и столкнул очки на пол. Одновременно он неловко шагнул в сторону, держа перед собой тяжелый, бушующий таз, и под каблуком зловеще хрустнуло.

Восстановив все это в уме, Франц поморщился. Что ж, надо отдать очки в починку; стекло, да и то треснувшее, осталось только в одной окружности. Мысленно он уже вышел из дому и бродил в поисках нужного магазина. Сперва — магазин, потом важное, страшноватое посещение. И, вспомнив, как мать настаивала, чтобы этот визит он сделал в первое же утро по приезде («...это будет как раз такой день, когда делового человека можно застать...»), Франц вспомнил и то, что нынче — воскресенье.

Он цокнул языком и замер. Его охватило паническое чувство: без очков он все равно что слепой, а нужно пуститься в опаснейший путь, через незнакомый город. Он вообразил хищные призраки автомобилей, которые вчера, на месте погрохатывая, теснились у вокзала, когда он, еще зрячий, но отуманенный сырой ночью, переходил площадь к гостинице. Так он и лег, не прогулявшись, не познакомившись со столицей в самую пору ее ночного сверкающего роения.

Но просидеть весь день в номере, среди смутных, враждебных предметов, без дел дожидаясь понедельника, когда какой-нибудь магазин с вывеской в виде огромного синего пенснэ наконец откроется, — это было немыслимо. Франц откинул перину и, босиком, осторожно прошлепал к окну. День был голубой, нежный, на диво солнечный; слева наползала бархатистая тень, и невозможно было понять, где кончается тень и где начинается расплывчато-оранжеватая листва дерева, заполнявшего двор. И было тихо-тихо, будто в осенней, погожей деревенской глуши.

Казалось теперь, что в комнате душная шумиха: раздраженный гул человеческих мыслей, гром отодвигаемого

стула, под которым давно прячется от близоруких глаз необходимый ботинок, плеск воды, звон мелких монет, сдуру выпавших из кармана увертливого жилета; тяжелый, неохотный шорох чемодана, проехавшегося по полу в дальний угол, где уж не будет опасности опять об него споткнуться; — и казалось так шумно в комнате именно по сравнению с той солнечной, поразительной тишиной, хранимой, как дорогое вино, в холодной глубине двора.

Наконец Франц преодолел все туманы, высмотрел шляпу, шарахнулся от зеркала, в которое чуть было не вошел, и шагнул к двери. Только его лицо так и осталось неодетым. Осторожно сойдя вниз, он швейцару показал адрес на бесценной визитной карточке, и тот объяснил ему, в какой сесть автобус и где его ждать.

Он вышел на улицу и сразу с головой погрузился в струящееся сияние. Очертаний не было; как снятое с вешалки легкое женское платье, город сиял, переливался, падал чудесными складками, но не держался ни на чем, а повисал, ослабевший, словно бесплотный, в голубом сентябрьском воздухе. За ослепительной пустыней площади, по которой изредка с криком, новым, столичным, промахивал автомобиль, млели розоватые громады, и вдруг солнечный зайчик, блеск стекла, мучительно вонзался в зрачок.

Франц дошел до угла, отыскал, щурясь, красный указатель остановки, неясный и зыбкий, как столб купальни, когда ныряешь под сваи, и сразу тяжелым, желтым миражем надвинулся автобус. Франц, наступив на чью-то мгновенно растаявшую ногу, схватился за поручень, и голос — очевидно, кондукторский — гаркнул ему в ухо: «Наверх!» Впервые ему приходилось карабкаться по эдакой кружащейся лесенке — в родном городке ходил только трамвай, — и, когда автобус рванул, он едва не потерял равновесия, увидел на мгновение асфальт, поднявшийся серебристой стеной, удержался за чье-то плечо и, следуя силе какого-то неумолимого поворота — при котором, казалось, автобус весь накренился, — взмыл через последние ступеньки и оказался наверху. Он с размаху сел на скамейку и в беспомощном негодовании стал озираться. Он плыл высоко-высоко над городом. Внизу, по улице, как медузы, скользили люди, среди внезапно замершего автомобильного студня, — потом все это опять двигалось, и смутно-синие дома по одной стороне, солнечно-неясные — по другой

текли мимо, как облака, незаметно переходящие в нежное небо. Такой представилась Францу столица — призрачно-окрашенной, расплывчатой, словно бескостной, ничуть не похожей на его грубую провинциальную мечту.

Чистый воздух свистел в уши, райскими голосами перекликались гудки, внезапно пахнуло прелой листвой, и одна смутноватая ветка чуть не задела Франца. Погодя он спросил у кондуктора, где ему вылезать; оказалось, что еще не скоро. Он принялся считать остановки, чтобы лишний раз не спрашивать, — и мучительно старался различить улицы, по которым проезжал. Быстрота, воздушность, запах осени, головокружительная зеркальность того, что плыло мимо, — все сливалось в ощущение бесплотности, которое было так необыкновенно, что Франц нарочно дергал шеей, чтобы чувствовать твердую головку запонки, казавшуюся ему единственным доказательством его бытия.

Наконец он доехал; замирая, сполз вниз по лесенке и вступил на тротуар. Кто-то в уплывающих небесах — быть может, незамеченный сосед — крикнул ему: «Направо! Первый поворот напра...», Франц вздрогнул и, дойдя до угла, повернул. Тишина, и безлюдность, и солнечная зыбкость... Он терялся, таял в этой смутности, а главное, никак не мог найти номера на домах. Он вспотел и ослаб. Наконец завидя туманного прохожего, он подошел к нему, спросил, где пятый номер. Прохожий стоял совсем близко, и так странно падала лиственная тень на его лицо, и так все было смутно, что Францу вдруг показалось, что человек — тот самый, от которого он вчера бежал. Почти наверное можно сказать, что это была лишь световая пятнистость, прихоть теней, — однако Францу стало так гадко, что он предпочел отвести глаза. «Прямо напротив, где ограда», — бодро сказал человек и пошел своей дорогой.

Франц переправился через улицу, нашел калитку, нащупал кнопку звонка и нажал на нее. Калитка издала странный жужжащий звук. Франц подождал немного и позвонил опять. Калитка опять зажужжала. Никто не приходил открывать. За калиткой был зеленоватый туман сада, и в нем плавал дом, как неясное отражение в воде. Франц попробовал сам открыть калитку, но она заартачилась. Кусая губы, он позвонил снова и долго держал палец на кнопке. Однообразное жужжание. Вдруг сообразив, в чем дело, он боком уперся в калитку, пока звонил, и она так сердито

открылась, что он чуть не упал. Кто-то окликнул его: «Вам к кому?» Он повернулся на голос и увидел женщину в светлом платье, стоявшую перед ним на гравистой тропе, ведущей к дому.

— Его еще нет, — неторопливо сказал голос, когда Франц ответил.

Он прищурился, увидел белое лицо, темные гладкие волосы.

— Мне очень важно, — сказал Франц. — Я вот приехал... Я прихожусь ему родственником...

Он почему-то вытащил бумажник и стал рыться в нем, отыскивая пресловутую карточку. Дама на него пристально глядела, стараясь понять, где это она уже видела его. У него были прозрачные от солнца уши и невинный лоб в мельчайших капельках пота у самых корней волос. Внезапно воспоминание, как фокусник, надело на это склоненное лицо очки и сразу опять их сняло. Дама усмехнулась. Одновременно Франц, найдя карточку, поднял голову.

— Вот, — сказал он, — мне было велено сюда явиться. Я думал, что так как сегодня воскресенье...

Она посмотрела на карточку и опять усмехнулась:

— Мой муж поехал играть в теннис. Он вернется к обеду. А ведь мы уже встречались...

— Виноват? — сказал Франц и напряг зрение.

Позже, вспоминая эту встречу, марево сада, хрустящий гравий, солнечно-пестрое платье, — он часто недоумевал — как это он сразу не узнал ее? Правда, он был беспомощно близорук, правда, он ее раньше не видел без шляпы и, вероятно, не ожидал, что у нее такая голова — пробор посередке и сзади шиньон (единственное, кстати сказать, в чем Марта не следовала моде), — все же не так-то просто было объяснить, как это он мог долго-долго дураком стоять перед ней и не понимать, к чему она клонит. Ему казалось потом, что в то утро он попал в смутный и неповторимый мир, существовавший один короткий воскресный день, мир, где все было нежно и невесомо, лучисто и неустойчиво. В этом сне могло случиться все что угодно: так что и впрямь оказывается, что Франц в то утро, в отельной постели, не проснулся действительно, а только перешел в новую полосу сна. Марта в бесплотном сиянии его близорукости нисколько не была похожа на вчерашнюю даму, которая позевывала, как тигрица. Зато мадоннообразное

в ее облике, примеченное им вчера в полудремоте и снова утраченное, — теперь проявилось вполне, как будто и было ее сущностью, ее душой, которая теперь расцвела перед ним без примеси, без оболочки. Он не мог бы в точности сказать, — нравится ли ему эта туманная дама: близорукость целомудренна. Но кроме всего, она оказалась женой человека, от которого зависела вся его дальнейшая судьба; женой человека, из которого ему было сказано выжать все, что только возможно, — и тем самым она стала выше, отдаленнее, недоступнее, даром что он познакомился с ней. Следуя за Мартой по дорожке к дому, он слегка размахивал руками и, второпях, мучась желанием поскорее расположить ее к себе, говорил о том, какое это неожиданное, удивительное, небывалое и очень, очень приятное совпадение.

Сбоку от крыльца на мураве стоял огромный полотняный зонт, и под ним — столик и несколько плетеных кресел. Марта села, Франц, улыбаясь и щурясь, сел рядом. Она решила, что ошеломила его совершенно видом небольшого, но очень дорогого сада, где, между прочим, было и персиковое деревцо, и плакучая ива, и серебристые елочки, и какая-то патентованная яблоня, и магнолия, и банан, уже завернутый в рогожку... То, что сад для Франца только зеленоватое марево, ей просто в голову не пришло, хотя она заметила, как беспомощно он близорук. Приятно принимать его так изящно в саду, приятно поражать невиданным богатством, но особенно приятно будет показывать ему комнаты в особняке и выслушивать рокот его почтительного восхищения. И так как обыкновенно у нее бывали люди ее же круга, перед которыми ей давно наскучило щеголять, она была почти нежно благодарна этому провинциалу в узких штанах за то, что он дает ей возможность освежить, возобновить ощущение гордости, которое она знала в первые месяцы замужества.

— У вас такая тишина... — сказал Франц. — Я думал, что город так шумен...

— Да ведь мы живем почти за городом, — ответила она и, чувствуя себя на семь лет моложе, добавила: — Вон там, соседняя вилла принадлежит графу Брамсдорфу... Очень милый старик, часто у нас бывает...

— Приятнейшая тишина, — сказал Франц, развивая тему и уже предчувствуя тупик.

Она посмотрела на его белую руку, плашмя лежащую на столе. Худые пальцы слегка дрожали.

— Вы, значит, как приходитесь моему мужу? Троюродным племянником, не правда ли? Вы будете служить — это хорошо. У него дело огромное. Ну вы, конечно, уже слыхали о магазине — там только мужские вещи, но зато — все, все, — галстуки, шляпы, спортивные принадлежности. Потом у него есть контора, всякие банковские дела...

— Трудно начать, — сказал Франц, барабаня пальцами. — Я боюсь... Но я знаю, ваш муж — прекрасный человек, добрейший человек...

В это время откуда-то появился призрак собаки, оказавшейся при ближайшем рассмотрении желто-серой овчаркой. Пес подошел и, опустив голову, что-то положил к ногам Франца. Потом отошел аршина на три, уже в туман, и там остался — выжидательно.

— Это — Том, — сказала Марта. — Том получил приз на выставке. Не правда ли, Том?

Франц, из уважения к хозяйке, поднял с муравы то, что Том принес. Это оказалось мокрым деревянным шаром, сплошь испещренным следами зубов. Как только он поднял шар, — а поднял он его к самому лицу, — призрак собаки вынырнул из солнечного тумана, стал живым, теплым, дышащим и прыгнул, чуть не свалив его со стула. Он поспешно бросил шар; собака исчезла.

Шар попал прямо в астры; но Франц этого, конечно, не увидел.

— Чудная собака, — сказал он, с отвращением вытирая мокрую руку о колено под столом.

Марта беспокойно смотрела в сторону: Том, в поисках шара, мял астры. К счастью, в эту минуту быстро проехал мальчишка на велосипеде, и собака, мгновенно забыв шар, стремглав бросилась к ограде сада и промчалась вдоль нее с неистовым лаем. Потом, сразу успокоившись, затрусила обратно и легла у ступени крыльца, выпустив язык и поджав одну переднюю лапу, по-львиному.

Франц, слушая, что Марта рассказывает ему о Тироле, чувствовал, что собака где-то поблизости, и с тревогой думал, что вот-вот она ему назад принесет склизкую гадость.

— ...Но мне было душно, — говорила Марта, — мне казалось, что эти горы вот-вот рухнут на гостиницу. Мы

думали было поехать оттуда в Италию, да мне как-то расхотелось. Он совсем дурак, — наш Том. Вот пришел чужой, а ему что чужой, что свой — все равно. Вы в столице впервые, не правда ли? Нравится?

Франц потрогал глаза.

— Я совсем слепой, — сказал он, — пока не куплю новых очков, ничего не могу оценить... А в общем — хорошо... И у вас так тихо...

Он почему-то вдруг подумал, что, вероятно, вот сейчас его мать возвращается домой из церкви. Меж тем он ведет трудный, но приятный разговор с туманной дамой в туманном сиянии. Это все очень опасно, каждое слово может оступиться. И Марта отметила эту прерывистость, замирание, неловкость. «Он ослеплен и смущен, он такой молоденький, — подумала она с презрением и нежностью. — Теплый, податливый воск, из которого можно сделать все, что захочется». И она сказала — просто так, в виде пробы:

— Если желаете служить, сударь, вы должны держаться бодрее, увереннее.

Как она и полагала, Франц не нашелся, что ответить, и только хмыкнул.

Она увидела, что ему неприятно, но сказала себе, что это крайне для него полезно. Францу и впрямь стало на миг неприятно, но не совсем так, как думала Марта. Какая-то неожиданная живость и грубоватость появились в ее голосе, и он смутно различил, как она, подавая пример, расправила плечи при словах «бодрее, увереннее»; все это не вязалось с ее бесплотным обликом, меж тем как ее прежние, скользящие слова ничуть его не коробили. Неприятность, впрочем, мгновенная: Марта сразу затуманилась опять, влилась в общую туманность.

— А все-таки свежо... — сказала она. — По вечерам совсем даже холодно. Я люблю холод, но он меня не любит.

— У нас еще купаются, — заметил Франц. Он решил было рассказать о родной реке, о том, как славно там плавать, нырять прямо с лодки, о сильном течении и чистоте воды, — но в это мгновение грянул автомобиль за оградой, хлопнула дверца, и Марта, повернувшись, сказала: «Вот наконец и мой муж».

Она пристально смотрела на Драйера, который быстро, чуть подпрыгивающей походкой, шел по тропе. Он был в просторном пальто, на шее, спереди, пучилось белое

кашнэ, из-под мышки торчала ракета в чехле, как музыкальный инструмент, в руке он нес чемоданчик. Марте стало досадно, что прервался разговор, что она уже не наедине с Францем, не занимает, не поражает его всецело, — и совершенно невольно она переменила манеру по отношению к Францу, как будто между ними, как говорится, «что-то было» и вот явился муж, перед которым надо держаться суше. А кроме того, она, конечно, не собиралась показывать мужу, что бедный родственник, заранее ею расхаянный, вовсе не оказался таким уже плохим, — и потому, когда Драйер подошел, она незаметной, тонко рассчитанной ужимкой хотела выразить ему, что вот, мол, своим приходом он наконец освободит ее от скучного гостя; но Драйер, приближаясь, не спускал глаз с Франца, который, вглядываясь в туман, встал, вытянулся, готовился поклониться. Драйер, по-своему наблюдательный и до пустых наблюдений охочий (он часто играл сам с собой, вспоминая, какие картины были на стенах в чужом кабинете), сразу, еще издали, узнал вчерашнего пассажира и сперва подумал, что их случайный спутник подобрал какую-нибудь вещицу, которую они посеяли в вагоне, и вот разыскал их, принес; но вдруг другая мысль, еще более забавная, пришла ему в голову. Марта видела, как ноздри его расширились, губы вздрогнули, морщинки у глаз умножились, заиграли, и в следующий миг Драйер расхохотался, да так, что Том, прыгавший вокруг него, разразился неудержимым лаем. Ему смешно было не только само совпадение, но и то, что, вероятно, жена что-нибудь говорила о его родственнике, пока родственник тут же сидел в отделении. Что именно говорила Марта, мог ли это слышать Франц, — никак уже не вспомнить, — но что-то было, что-то было, и эта щекочущая неуверенность еще усиливала смешную сторону совпадения. Он смеялся, пока жал руку племяннику, он продолжал смеяться, когда со скрипом пал в плетеное кресло. Том все лаял. Марта вдруг подалась вперед и наотмашь, сверкнув кольцами, сильно ударила собаку по бедру. Та взвизгнула и отошла.

— Очаровательно, — проговорил Драйер, вытирая глаза большим шелковым платком. — Вы, значит, Франц, сын Лины?.. После такого удивительного случая мы должны быть на «ты», — и ты, пожалуйста, зови меня не «господин директор», а дядя, дядя, дядя...

«...избегать местоимения и обращения», — вскользь подумал Франц. Однако ему стало тепло и покойно. Драйер, хохочущий в тумане, был смутен, несуразен и безопасен, как те совершенно чужие люди, которые являются нам во сне и говорят с нами, как близкие.

— Я сегодня был в ударе, — обратился Драйер к жене, — и, знаешь, голоден. Я думаю, Франц тоже голоден...

— Сейчас подают, — ответила Марта и встала, ушла; солнце медленно ее затушевало.

Франц почувствовал себя еще свободнее и сказал:

— Я должен просить прощенья. Разбил очки и ничего не вижу, так что несколько теряюсь...

— Ты где же остановился? — спросил Драйер.

— Гостиница «Видэо», — сказал Франц, — у вокзала. Мне посоветовали.

— Так-с. Раньше всего тебе нужно найти хорошую комнату. Поблизости отсюда. За сорок-пятьдесят марок. Ты в теннис играешь?

— Да, конечно, — ответил Франц, вспомнив какой-то задний двор, подержанную ракету, купленную у антиквара за марку, и черный резиновый мяч.

— Ну вот — будем лупить по воскресеньям. Затем нужно тебе приличный костюм, рубашки, галстуки, всякую всячину. Ты как, с Мартой подружился?

Франц осклабился.

— Ладно, — сказал Драйер. — Я думаю, что обед готов. О делах потом. Дела обсуждаются за кофе.

Он увидел жену, вышедшую на крыльцо. Она холодно на него посмотрела, холодно кивнула и опять ушла в дом. «Что за ами-кошонство», — сердито подумала она, проходя через белую переднюю, где на подзеркальнике лежали официально чистенькие гребешок и щетка; весь дом, небольшой, двухэтажный, с террасой, с антенной на крыше, был такой же — чистый, изящный и в общем никому не нужный. Хозяина он смешил. Хозяйке он был по душе, — или, вернее, она просто считала, что дом богатого коммерсанта должен быть именно таким, как этот. В нем были все удобства, и большинством из этих удобств никто не пользовался. Было, например, на столике, в ванной комнате, круглое, в человеческое лицо, увеличительное зеркало на шарнирах, с приделанной к нему электрической лампочкой. Марта как-то его подарила мужу для бритья, но тот

очень скоро его возненавидел: нестерпимо было видеть каждое утро ярко освещенную, раза в три распухшую, свиной щетиной за ночь обросшую морду. В бидермайеровской гостиной мебель походила на выставку в хорошем магазине. На письменном столе, которому Драйер предпочитал стол в конторе, стоял, вместо лампы, бронзовый рыцарь (прекрасной, впрочем, работы) с фонарем в руке. Были повсюду фарфоровые звери, которых никто не любил, разноцветные подушки, к которым никогда еще не прильнула человеческая щека, альбомы — дорогие, художественные книжищи, которые раскрывал разве только самый скучный, самый застенчивый гость. Все в доме, вплоть до голубой окраски стен, до баночек с надписями: сахар, гвоздика, цикорий, на полках идиллической кухни, — исходило от Марты, которой, семь лет тому, муж подарил еще пустой и на все готовый только что выстроенный особнячок. Она приобрела и распределила картины по стенам, руководствуясь указаниями очень модного в тот сезон художника, который считал, что всякая картина хороша, лишь бы она была написана густыми мазками, чем ярче и неразборчивее, тем лучше. Потому-то большинство картин в доме напоминало жирную радугу, решившую в последнюю минуту стать яичницей или броненосцем. Впрочем, Марта накупила на аукционе и несколько старых полотен: среди них был превосходный портрет старика, писанный масляными красками. Старик благородного вида, с баками, в сюртуке шестидесятых годов, на коричневом фоне, сам освещенный словно зарницей, стоял, слегка опираясь на тонкую трость. Марта приобрела его неспроста. Рядом с ним — на стене в столовой — она повесила дагерротип деда, давно покойного купца; дед на дагерротипе тоже был с баками, в сюртуке и тоже опирался на трость. Благодаря этому соседству картина неожиданно превратилась в фамильный портрет. «Это мой дед», — говорила Марта, указывая гостю на подлинный снимок, и гость, переводя глаза на картину рядом, сам делал неизбежный вывод.

Но ни картин, ни глазчатых подушек, ни фарфора Франц, к сожалению, не мог рассмотреть, хотя Марта умело и настойчиво обращала его близорукое внимание на комнатные красоты. Он видел нежную красочную муть, чувствовал прохладу, запах цветов, ощущал под ступней тающую мягкость ковра — и таким образом воспринимал

именно то, чего не было в обстановке дома, что должно было в ней быть, по мнению Марты, то, за что было ею дорого заплачено, — какую-то воздушную роскошь, в которой, после первого бокала красного вина, он стал медленно растворяться. Драйер налил ему еще, — и Франц, к вину не привыкший, почувствовал, что его нижние конечности растворились уже совершенно. Марта сидела где-то вдалеке, светлым призраком; Драйер, тоже призрачный, но теплый, золотистый, рассказывал, как он однажды летел из Мюнхена в Вену, как туман заволок землю, как машину бросало, трясло и как ему хотелось пилоту сказать: «Пожалуйста, остановитесь на минутку». Между тем Франц испытывал фантастические затруднения с ножами и вилками, боролся то с волованом, то с неуступчивым пломбиром, и чувствовал, что вот-вот, еще немного — и уже тело его растает, и останется уже только голова, которая, с полным ртом, станет, как воздушный шар, плавать по комнате. Кофе и кюрасо, которое сладко заворачивалось вокруг языка, доконали его. Марта исчезла в тумане, и Драйер, кружась перед ним медленным золотистым колесом с человеческими руками вместо спиц, стал говорить о магазине, о службе. Он отлично видел, что Франц совсем разомлел от хмеля, и потому в подробности не входил; сказал, однако, что Франц очень скоро превратится в прекрасного приказчика, что главный враг воздухоплавателя — туман и что так как жалованье будет сперва пустяковое, то он берется платить за комнату и очень будет рад, если Франц будет, хоть каждый день, заходить, причем он не удивится, если уже в будущем году установится воздушное сообщение между Европой и Америкой. Все это путалось в голове у Франца; кресло, в котором он сидел, путешествовало по комнате плавными кругами. Драйер глядел на него исподлобья и, посмеиваясь в предчувствии того нагоняя, который даст ему Марта, мысленно вытряхивал Францу на голову огромный рог изобилия; ибо Франца он должен был как-нибудь вознаградить за чудесный, приятнейший, еще не остывший смех, который судьба — через Франца — ему подарила. И не только его, но и Лину нужно было вознаградить — за ее бородавку, собачку, качалку с подушкой для затылка в виде зеленой колбасы, на которой было вышито: «Только четверть часика». И затем, когда Франц, дыша вином и благодарностью, простился с ним, осторожно

сошел по ступеням в сад, осторожно протиснулся в калитку и, все еще держа шляпу в руке, исчез за углом, Драйер подумал, как бедняга славно выспится там, у себя в номере, — и, сам почувствовав упоительную дремотность, — после тенниса, после обеда — поднялся по внутренней, деревянной лестнице наверх, в спальню.

Там, в оранжевом пеньюаре, согнув голую, бархатно-белую шею, которую особенно оттеняла темнота ее волос, собранных сзади в низкий, толстый шиньон, сидела у зеркала Марта и розовой замшей терла ногти. В зеркале Драйер увидел ее гладкие виски, белый равнобедренный треугольник лба, напряженные брови, — и так как Марта не подняла головы, не оглянулась, он понял, что она сердится.

Он мягко сказал, желая ухудшить положение:

— Отчего ты исчезла? Могла подождать, пока он уйдет... правда же...

Марта, не поднимая глаз, ответила:

— Ты прекрасно знаешь, что мы сегодня приглашены на чай. Тебе тоже не мешало бы привести себя в порядок.

— У нас есть еще часок, — сказал Драйер, — я, в сущности говоря, хотел было соснуть.

Марта, быстро поводя замшей, молчала. Он скинул пиджак, развязал галстук, потом сел на край кушетки, стал снимать башмаки.

Марта склонилась еще ниже и вдруг сказала:

— Удивительно, как у некоторых людей нет никакого чувства собственного достоинства.

Драйер крякнул.

Спустя минуту Марта со звоном отбросила что-то на стеклянную подставку туалета и сказала:

— Интересно знать, что этот молодой человек подумал о тебе? Говори мне «ты», называй «дяденька»... Неслыханно...

Драйер улыбнулся, шевеля пальцами ног и глядя, как переливается золотистый шелк носков.

Марта вдруг обернулась к нему и, облокотясь на белую ручку кресла, подперла кулаком подбородок. Одна нога была перекинута через другую и тихонько раскачивалась. Она пристально смотрела на мужа, прикусив губу.

Муж взглянул на нее исподлобья играющими озорными глазами.

— Ты добился своего, — задумчиво сказала Марта. — Устроил племянничка. Теперь будешь возиться с ним. Наобещал ему, вероятно, горы добра.

Драйер, сообразив, что ему подремать не удастся, сел поудобнее, опираясь теменем об стену, и стал думать, что будет, если он сейчас скажет примерно что-нибудь такое: у тебя есть тоже причуды, моя душа: ездишь вторым классом, а не первым — оттого что второй ничуть не хуже, — а получается страшная экономия — сберегается колоссальная сумма в двадцать семь марок и шестьдесят пфеннигов, которая иначе канула бы в карманы тех, дескать, мошенников, которые придумали первый класс. Ты бьешь собаку, оттого что собаке не полагается громко смеяться. Все это так, все это, предположим, правильно. Но позволь же и мне поиграть, оставь мне племянничка...

— Ты, очевидно, со мной говорить не желаешь, — сказала Марта, — ну что ж... — Она отвернулась и опять принялась за ногти.

Драйер думал: «Раз бы хорошо тебя пробрало... Ну рассмейся, ну разрыдайся. И потом, наверное, все было бы хорошо...»

Он кашлянул, расчищая путь для слов, но, как уже не раз случалось с ним, решил в последнюю минуту все-таки не сказать ничего. Было ли это — желание раздразнить ее немотой, или просто — счастливая лень, или — бессознательная боязнь что-то вконец разрушить, — Бог весть. Глубоко засунув руки в карманы штанов, откинувшись к голубой стене, он молчал и смотрел на очаровательную шею Марты, а потом перевел глаза на широкую женину постель, покрытую кружевом и строго отделенную от его — тоже широкой, тоже кружевной — постели ночным столиком, на котором сидела раскорякой долголягая кукла — негр во фраке. Этот негр, и пухлые кружева, и белая, церемонная мебель — смешили, претили. Он зевнул, потер переносицу. Потом встал, решив, что сейчас переоденется и полчасика почитает на террасе. Марта скинула свой оранжевый пеньюар, поправила бридочку на плече, мягко сдвинув голые лопатки. Он исподлобья посмотрел на ее спину и, улыбкой проводив какую-то милую мысль, беззвучно прошел в коридор, а оттуда в гардеробную.

Как только дверь прикрылась за ним, Марта быстро и яростно свернула замку шею. Это был, пожалуй, первый

ее поступок, который она не могла бы себе объяснить. Он был тем более бессмысленный, что все равно ей нужна будет сейчас горничная и придется отпереть. Позже, много месяцев спустя, стараясь восстановить этот день, она всего яснее вспомнила именно дверь и ключ, как будто простой дверной ключ был как раз ключ к этому дню. Однако, заперев дверь, от гнева своего она не отделалась. А сердилась она смутно и бурно. Ее сердило, что посещение Франца доставило ей странное удовольствие и что удовольствием этим она обязана мужу. Выходило так, что, значит, она ошиблась, а прав был ее непослушный и чудаковатый муж, пригласивший сдуру бедного родственника. Поэтому она старалась прелести посещения не признать, дабы муж остался неправым; но приятно ей было и то, что сегодняшнее удовольствие несомненно повторится. И странное дело: будь она уверена, что ее слова заставят мужа не принимать Франца, она бы, пожалуй, их не сказала. Чуть ли не в первый раз она чувствовала нечто, не предвиденное ею, не входящее законным квадратом в паркетный узор обычной жизни. Таким образом, из пустяка, из случайной встречи в глупейшем городке выросло что-то облачное и непоправимое. Меж тем не было на свете такого электрического пылесоса, который мог бы мгновенно вычистить все комнаты мозга. Смутное свойство ее ощущений, невозможность толково разобраться в том, почему же он ей пришелся по вкусу — этот беспомощный, близорукий провинциал с прыщиками между бровей, — так ее раздражало, что она готова была сердиться на все — на зеленое платье, приготовленное на кресле, на толстый зад Фриды, копошившейся в нижнем ящике комода, на свое же злое лицо, отраженное в зеркале. Ей вспомнилось, что на днях минуло ей тридцать четыре года, и со странным нетерпением она стала искать на этом отраженном лице слабых складок, вялых теней. Где-то тихо закрылась дверь, заскрипели ступени лестницы (они не должны были скрипеть!), веселенький, фальшивый свист мужа удалился, пропал. «Он танцует плохо, — подумала Марта. — Он всегда будет танцевать плохо. Он не любит танцевать. Он не понимает, что это теперь так модно. Что это модно и необходимо».

Глухо сердясь на Фриду, она просунула голову в мягкую, собранную окружность платья; мимо глаз, сверху вниз, пролетела зеленая тень; она вынырнула, погладила себя по

бокам и почувствовала вдруг, что этим легким зеленым платьем ее душа на время окружена и сдержана.

Внизу, на квадратной террасе, — с цементовым полом, с астрами на широких перилах, — у голого стола, в полотняном складном кресле сидел Драйер и, положив раскрытую книжку на колено, глядел в сад. За оградой уже неумолимо стоял черный автомобиль, дорогой «Икар». Новый шофер, облокотясь с внешней стороны на калитку, переговаривался с садовником. В осеннем воздухе была уже холодная, предвечерняя ясность; резкие синие тени деревец тянулись по солнечному газону — все в одну сторону, как будто им хотелось посмотреть, кто первый дотянется до боковой стены сада, до высокой кирпичной стены, охваченной понизу тысячелапым ползучим растением. Далеко, за улицей, очень отчетливы были фисташковые фасады супротивных домов, и там, облокотясь на красную перину, положенную на подоконник, сидел лысый человечек в жилете. Садовник уже дважды брался за тачку, но всякий раз обращался опять к шоферу. Потом они оба закурили, и легкий дымок ясно проплыл по черному фону автомобиля. Тени как будто чуть подвинулись дальше, но солнце еще полновесно сияло справа, из-за угла графской виллы, где сад был выше и газон пожелтее. Откуда-то появился Том, лениво прошел вдоль клумб; по долгу службы, без малейшей надежды на успех, кинулся за низко порхнувшим воробьем и, опустив морду на лапы, лег подле тачки. Хорошо, прохладно, просторно было на террасе. Забавным лучом паутинка косо шла от крайнего цветка на перилах к столу, стоявшему рядом. Облачки в бледном чистом небе были какие-то завитые, и все одинаковые, и держались легкой стаей все на одном месте. Садовник наконец все выслушал, все досказал и двинулся вдоль газона со своей тачкой, и Том, лениво встав, пошел сзади, как заводная игрушка, и повернул, когда повернул садовник. Книга, уже давно скользившая по колену, съехала вниз на пол, и лень было ее поднимать. Хорошо, просторно, прохладно... Первой придет, вероятно, длинная тень вон той молодой яблони. Шофер сел на свое место... Интересно, о чем он сейчас думает... Утром у него были такие веселенькие глаза... Уж не пьет ли? Вот была бы умора... Прошли два господина в цилиндрах; цилиндры, как пробки на воде, проплыли над оградой. Совершенно непонятно, почему они в цилиндрах.

И потом, откуда ни возьмись, скользнул над террасой вялый облетевший адмирал, опустился на край столика, раскрыл бархатные крылья и медленно ими задвигал, как будто задышал. Малиновые полоски вылиняли, бахрома изорвалась, но он был еще так нежен, так наряден...

ГЛАВА III

В понедельник Франц размахнулся: он купил американские очки; оправа была черепаховая, — с той оговоркой, конечно, что черепаха тем и известна, что ее отлично и разнообразно подделывают. Как только вставлены были нужные стекла, он эти очки надел. На сердце, как и за ушами, стало уютно и покойно. Туман рассеялся. Свободные краски мира вошли снова в свои отчетливые берега.

Еще одно нужно было сделать, чтобы окончательно восстановить свою полновесность, осесть, утвердиться в свежерасчерченном мире: нужно было найти себе верное пристанище. Он снисходительно улыбнулся, вспомнив вчерашнее обещание Драйера платить и за то, и за сё. Драйер — приятное, фантастическое и крайне полезное существо. И он совершенно прав: приодеться прямо необходимо. Сперва, однако, — комнату.

День был бессолнечный, но сухой. Трезвым холодком веяло с низкого, сплошь белого неба. Таксомоторы были оливково-черные с отчетливым шашечным кантом по дверце. Там и сям синий почтовый ящик был заново покрашен — блестящий и липкий по-осеннему. Улицы в этом квартале были тихие, какими, собственно говоря, не полагалось быть улицам столицы. Он старался запомнить их названия, местонахождение аптеки, полиции. Ему не нравилось, что так много простора, муравчатых скверов, сосен и берез, строящихся домов, огородов, пустырей. Это слишком напоминало провинцию. В собаке, гулявшей с горничной, ему показалось, что он узнал Тома. Дети играли в мяч или хлестали по своим волчкам, прямо на мостовой: так и он играл когда-то, в родном городке. В общем, только одно говорило ему, что он действительно в столице: некоторые прохожие были чудесно, прямо чудесно одеты! Например: клетчатые шаровары, подобранные мешком ниже колена, так что особенно тонкой казалась голень в шерстяном

чулке; такого покроя, именно такого, он еще не видал. Затем был щеголь в двубортном пиджаке, очень широком в плечах и донельзя обтянутом на бедрах, и в штанах неимоверных, просторных, безобразных, скрывающих сапоги, — хоть воплощай в бродячем цирке передние ноги клоунского слона. И превосходные были шляпы, и галстуки как пламя, и какие-то голубиные гетры. Драйер добр.

Он шел медленно, болтая руками, поминутно оглядываясь: «Ах, какие дамочки, — почти вслух думал он и легонько стискивал зубы... — Какие икры, с ума сойти!..»

В родном городке, гуляя по приторно-знакомым улицам, он, конечно, сто раз в день испытывал то же самое, — но тогда он не смел слишком засматриваться, — а тут дело другое: эти дамочки доступны, они привыкли к жадным взглядам, они рады им, можно, пожалуй, любую остановить, разговориться с ней... Он так и сделает, но только нужно сперва найти комнату. За сорок-пятьдесят марок, сказал Драйер. За пятьдесят, значит...

И Франц решил действовать систематически. У дверей каждого третьего, четвертого дома была вывешена дощечка: сдается, мол, комната. Он вытащил из кармана только что купленный план, проверил еще раз, далеко ли он находится от дома Драйера, и увидел, что близко. Затем он выбрал издали одну такую дощечку и позвонил. Позвонив, он заметил, что на дощечке написано: «Осторожно, дверь только что покрашена». Но было уже поздно. Справа отворилось окно. Стриженая девушка, держась обнаженной по плечо рукой за раму, другой прижимая к груди черного котенка, внимательно посмотрела на Франца. Он почувствовал неожиданную сухость во рту: девушка была прелестная; простенькая совсем, но прелестная. А эти простые девушки в столице, если им хорошо заплатить...

— Вам к кому нужно? — спросила девушка.

Франц переглотнул, глупо улыбнулся и, с совершенно неожиданной наглостью, от которой сам тотчас смутился, сказал:

— Может быть, к вам, а?

Она поглядела на него с любопытством.

— Полноте, полноте, — неловко проговорил Франц, — вы меня впустите.

Девушка отвернулась и сказала кому-то в комнате:

— Я не знаю, чего он хочет. Ты его лучше сам спроси.

Над ее плечом выглянула голова пожилого мужчины с трубкой в зубах. Франц приподнял шляпу и, круто повернувшись, ушел. Он заметил, что продолжает болезненно улыбаться, а кроме того, тихо мычит. «Пустяк, — подумал он злобно. — Ничего не было. Забыто. Итак, нужно найти комнату».

Осмотрел он за два часа одиннадцать комнат, на трех улицах. Строго говоря, любая из них была прекрасна, но у каждой был крохотный недостаток. В одной, например, было еще не убрано, и, посмотрев в глаза заплаканной женщине в трауре, которая с каким-то вялым отчаянием отвечала на его вопросы, он решил почему-то, что тут, в этой комнате, только что умер ее муж, — и, решив так, не мог уже справиться с образом, который его фантазия поспешила отвратительно развить. В другой комнате недочет был попроще: она стоила на пять марок больше цены, положенной Драйером; зато была очаровательна. В третьей стоял у постели столик, который вдруг напомнил ему точь-в-точь такой же столик, бывший главным действующим лицом на неприятнейшем спиритическом сеансе. В четвертой пахло уборной. В пятой... Но Франц сам вскоре стал путать в памяти эти комнаты и их недостатки, — и только одна осталась какой-то нетронутой и ясной, — та, за пятьдесят пять марок, на тихой улице, кончавшейся тупиком. Он вдруг почувствовал, что искать дольше незачем, что он все равно сам не решится, боясь сделать дурной выбор и лишить себя миллиона других комнат; а вместе с тем — трудно себе представить что-нибудь лучше — той, дороговатой, с портретом голой женщины на стене.

«Итак, — подумал он, — теперь без четверти час. Я пойду обедать. Блестящая мысль: я пойду обедать к Драйеру. Я спрошу у него, на что, собственно, мне обращать сугубое внимание при выборе и не думает ли он, что пять лишних марок...»

Остроумно пользуясь картой (и заодно пообещав себе, что, как только освободится от дел, махнет вон туда, так, потом так, потом так, — по подземной железной дороге, — туда, где улицы, должно быть, пошумнее и понаряднее), Франц без труда добрел до особнячка. Этот зернисто-серый особнячок был на вид удивительно какой-то плотный, ладный, даже, скажем, аппетитный. В саду на молодых деревцах гроздились тяжелые яблоки. Проходя по хрустящей

тропе, Франц увидел Марту, стоявшую на ступеньке крыльца. Она была в шляпе, в кротовом пальто, в руке держала зонтик и, проверяя сомнительную белизну неба, соображала, раскрыть ли зонтик или нет. Заметив Франца, она не улыбнулась, и он, здороваясь с ней, почувствовал, что попал некстати.

— Мужа нет дома, — сказала она, уставившись на Франца своими чудесными, холодными глазами. — Он сегодня обедает в городе.

Франц взглянул на ее сумку, торчавшую углом из-под мышки, на лиловатый цветок, приколотый к огромному воротнику пальто, на короткий тупой зонтик с красным набалдашником, — и понял, что и она тоже уходит.

— Простите, что побеспокоил, — сказал он, сдерживая досаду.

— Ах, пожалуйста... — сказала Марта.

Они оба двинулись по направлению к калитке. Франц не знал, что ему делать: проститься ли сейчас или продолжать идти с нею рядом. Марта с недовольным выражением в глазах глядела прямо перед собой, полураскрыв крупные теплые губы. Потом она быстро облизнулась и сказала:

— Так неприятно: я должна идти пешком. Дело в том, что мы вчера наш автомобиль разбили.

Случай, действительно, произошел неприятный: пытаясь объехать грузовик, шофер сперва наскочил на деревянную ограду — там, где чинили трамвайные рельсы, — затем, резко вильнув, стукнулся о бок грузовика, повернулся на месте и с треском въехал в столб. Пока продолжался этот припадок автомобильного бешенства, Марта и Драйер принимали всевозможные положения и в конце концов оказались на полу. Драйер сочувственно спросил, не ушиблась ли она. Встряска, толпа зевак, разбитый автомобиль, грубый шофер грузовика, полицейский, с которым Драйер говорил так, как будто случилось что-то очень смешное, — все это привело Марту в состояние такого раздражения, что потом, в таксомоторе, она сидела как каменная.

— Мы сломали какой-то барьер и столб, — хмуро сказала она и, медленно протянув руку, помогла Францу отворить калитку, которую он сердито теребил.

— Опасная все-таки вещь — автомобиль, — проговорил Франц неопределенно. Теперь уже пора было откланяться.

Марта заметила и одобрила его нерешительность.

— Вам в какую сторону? — спросила она, переместив зонтик из правой руки в левую. Очень подходящие он купил очки... Смышленый мальчик...

— Я сам не знаю, — сказал Франц и грубовато ухмыльнулся. — Собственно говоря, я как раз пришел посоветоваться с дядей насчет комнаты.

Это первое «дядя» вышло у него неубедительно, и он решил не повторять его некоторое время, чтобы дать слову созреть.

Марта рассмеялась, плотоядно обнажив зубы.

— Я тоже могу помочь, — сказала она. — Объясните, в чем дело?

Они незаметно двинулись и теперь медленно шли по широкой панели, на которой там и сям, как старые кожаные перчатки, лежали сухие листья. Франц оживился, высморкался и стал рассказывать о комнатах.

— Это неслыханно, — прервала Марта. — Неужели пятьдесят пять? Я уверена, что можно поторговаться.

Франц про себя подумал, что дело в шляпе, но решил не спешить.

— Там хозяин — эдакий тугой старикашка. Сам чорт его не проймет...

— Знаете что? — вдруг сказала Марта. — Я бы не прочь пойти туда, поговорить.

Франц от удовольствия зажмурился. Везло. Необыкновенно везло. Не говоря уже, что весьма хорошо получается — гулять по улицам с этой красногубой дамой в кротовом пальто. Резкий осенний воздух, лоснящаяся мостовая, шипение шин, вот она — настоящая жизнь. Только бы еще новый костюм, пылающий галстук, — и тогда полное счастье. Он подумал, что бы такое сказать приятное, почтительное...

— Я все еще не могу забыть, как это мы странно встретились в поезде. Невероятно!

— Случайность, — сказала Марта, думая о своем. — Вот что, — вдруг заговорила она, когда они стали подниматься по крутой лестнице на пятый этаж. — Мне не хочется, чтобы муж знал, что я вам помогла... Нет, тут никакой загадки нет; мне просто не хочется, — вот и все.

Франц поклонился. Его дело — сторона. Однако он спросил себя, лестно ли то, что она сказала, или обидно? Решить трудно.

На звонок долго никто не приходил. Франц вслушался — не слышно ли приближающихся шагов. Все было тихо. Оттого особенно неожиданным показалось, когда дверь отпахнулась. Старичок в сером, с бритым, мятым лицом и густыми, закрученными бровями, молча впустил их.

— Я к вам опять, — сказал Франц. — Я хотел бы еще раз посмотреть комнату.

Старичок в знак согласия приложил руку к груди и быстро, совершенно беззвучно, пошел вперед по длинному, темноватому коридору.

«Бог знает какие дебри», — брезгливо подумала Марта, и ей опять почудилась озорная улыбка мужа: меня журила, а сама помогаешь, меня журила, а сама...

Впрочем, комната оказалась светленькой, довольно чистой: у левой стены деревянная, должно быть скрипучая, кровать, рукомойник, печка; справа — два стула, соломенное кресло с потугами на грацию; небольшой стол посредине; комод в углу; на одной стене зеркало с флюсом, на другой портрет женщины в одних чулках.

Франц с надеждой посмотрел на Марту. Она указала зонтиком на правую пустоватую стену и каким-то деревянным голосом спросила, не глядя на старичка:

— Почему вы убрали кушетку, тут, очевидно, что-то раньше стояло.

— Кушетку просидели, она в починке, — глухо сказал старичок и склонил голову набок.

— Вы ее потом поставите, — заметила Марта и, подняв глаза, включила на миг электричество. Старичок тоже поднял глаза.

— Так, — сказала Марта и опять протянула зонтик: — Постельное белье есть?

— Постельное белье? — удивленно переспросил старичок; потом, склонив голову на другой бок, поджал губы и, подумав, ответил: — Да, белье найдется.

— А как насчет услуг, уборки?

Старичок ткнул себя пальцем в грудь.

— Все — я, — сказал он. — Все — я. Только я.

Марта подошла к окну, посмотрела на улицу, потом прошлась обратно.

— Сколько же вы хотите? — спросила она равнодушно.

— Пятьдесят пять, — бодро ответил старичок.

— Это как — с электричеством, с утренним кофе?

— Господин служит? — поинтересовался старичок, кивнув в сторону Франца.

— Да, — поспешно сказал Франц.

— Пятьдесят пять за все, — сказал старичок.

— Это дорого, — сказала Марта.

— Это недорого, — сказал старичок.

— Это чрезвычайно дорого, — сказала Марта.

Старичок улыбнулся.

— Ну что ж, — вздохнула Марта и повернулась к двери.

Франц почувствовал, что комната вот-вот сейчас навсегда уплывет. Он помял шляпу, стараясь поймать взгляд Марты.

— Пятьдесят пять, — задумчиво повторил старичок.

— Пятьдесят, — сказала Марта.

Старичок открыл рот и снова плотно закрыл его.

— Хорошо, — сказал он наконец, — но только чтобы тушить не позже одиннадцати.

— Конечно, — вмешался Франц, — конечно... Я это вполне понимаю...

— Вы когда хотите въехать? — спросил старичок.

— Сегодня, сейчас, — сказал Франц. — Вот только привезу чемодан из гостиницы.

— Маленький задаток? — предложил старичок с тонкой улыбочкой.

Улыбалась как будто и вся комната. Она была уже не чужая. Когда Франц опять вышел на улицу, у него в сознании осталась от нее неостывшая впадина, которую она выдавила в ворохе мелких впечатлений. Марта, прощаясь с ним на углу, увидела благодарный блеск за его круглыми стеклами. И потом, направляясь в фотографический магазин отдать дюжины две еще не прозревших тирольских снимков, она с законным торжеством вспоминала разговор.

Заморосило. Ловя влажность, широко распахнулись двери цветочных магазинов. Морось перешла в сильный дождь. Марте стало смутно и беспокойно — оттого что нельзя было найти таксомотор, оттого что капли норовили попасть под зонтик, смывая пудру с носа, оттого что и вчерашний день, и сегодняшний были какие-то новые, нелепые, и в них смутно проступали еще непонятные, но значительные очертания. И как будто тот темноватый раствор, в котором будут плавать и проясняться горы

Тироля, — этот дождь, эта тонкая дождевая сырость проявляла в ее душе лоснистые образы. Снова промокший, веселый, синеглазый господин, случайнейший знакомый мужа, под таким же дождем торопливо говорил ей о волнении, о бессонницах, и прошагал мимо, и исчез за углом памяти. Снова в ее бидермайеровской гостиной тот дурак художник, томный хлыщ с грязными ногтями, присосался к ее голой шее, и она не сразу оторвала его. И снова, — и этот образ был недавний, — иностранный делец с замечательной синеватой сединой вдоль пробора шептал, играя ее рукой, что она, конечно, придет к нему в номер, и она улыбалась и смутно жалела, что он иностранец. Вместе с ними, с этими людьми, быстро-быстро холодноватыми ладонями прикасавшимися к ней, она пришла домой, дернула плечом и легко отбросила их, как отбросила в угол раскрытый мокрый зонтик.

— Я — дура, — сказала она. — В чем дело? О чем мне тревожиться? Это случится рано или поздно. Иначе не может быть...

Все стало как-то сразу легко, ясно, отчетливо. Она с удовольствием выругала Фриду за то, что пес наследил на ковре; она съела кучу мелких сандвичей за чаем; она деловито позвонила в кассу кинематографа, чтобы оставили ей два билета на премьеру, в пятницу, и решила пойти со старухой Грюн, когда оказалось, что Драйер в тот вечер занят. А Драйер действительно был очень занят. Он так увлекся неожиданным предложением одной чужой фирмы, шелковистыми переговорами с ней, и телефонными перестрелками, и дипломатической плавностью важных совещаний, что в продолжение нескольких дней не вспоминал о Франце. Вернее, вспоминал о нем — да не вовремя, — когда млел золотистым призраком, по шею в теплой ванне, когда мчался из конторы на фабрику, когда курил в постели папиросу, раньше чем потушить свет; Франц мелькал, Драйер мысленно ему обещал, что им займется немного погодя, и тотчас начинал думать о другом.

И Францу от этого было не легче. Когда первое приятное волнение новоселья прошло, — а прошло оно скоро, — Франц спросил себя: что же делать дальше? Марта записала номер его телефона и при этом холодно сказала: «Я передам, что вы заходили, оставили телефон». Однако никто к нему не звонил. Сам позвонить он не смел. Пойти прямо

так к Драйеру он теперь тоже боялся, не доверяя случаю, который в последний раз так великолепно преобразил его неудачный визит. Надо было ждать. Очевидно, в конце концов Драйер вызовет его, но ждать было неприятно. Дело в том, что в первое же утро хозяин собственноручно принес ему в половине восьмого утра чашку слабого кофе с двумя кусочками сахара на блюдце и наставительно заметил:

— Не опоздайте на службу. Смотрите, не опоздайте. — После чего старичок почему-то подмигнул.

Франц решил, что ему ничего другого не остается делать, как уйти из дому на весь день, словно он действительно до семи на службе.

Он принужден был, таким образом, поневоле осматривать столицу — вернее, самую, как ему казалось, «столичную» ее часть. Принудительность этих прогулок отравляла новизну. К вечеру он так уставал, что все равно не мог выполнить свой давнишний, роскошнейший план — поблуждать по ночным огнистым улицам, присмотреться к волшебным ночным домам. В первый же день, далеко забредя, он попал на широкую скучную улицу, где было много пароходных контор и магазинов картин, — и, взглянув на столб с надписью, увидел, что находится на том проспекте, который некогда так пышно снился ему. Осыпались жидковатые липы. Арка в конце была сплошь заставлена лесами; а в другом конце был странный простор, — и, проходя вдоль канала, где в одном месте масло радугой стояло на воде и дурманно пахло медом от барж, с которых люди в розовых рубашках выгружали горы груш и яблок, он увидел с моста двух женщин в блестящих купальных шлемах, которые, сосредоточенно отфыркиваясь и равномерно разводя руками, плыли рядом, по самой средине водной полосы. В музее древностей он провел два часа, с ужасом разглядывая пестрые саркофаги и портреты носастых египетских младенцев. Он подолгу отдыхал в шоферских трактирах и на удобнейших скамьях в необъятном парке. Он спускался в прохладные недра подземной железной дороги — и, сидя на красном кожаном сиденье, глядя на блестящие штанги, по которым взбегала словно золотая ртуть, ждал с нетерпением, чтобы оборвалась поскорей угольная чернота, грохотавшая вдоль окон. Ему чрезвычайно хотелось найти тот огромный магазин Драйера,

о котором с таким почтением говорили в его родном городке. Но в толстом телефонном фолианте были только указаны дом и контора. Магазин, очевидно, назывался как-то иначе. И, не зная, что столица передвинулась на запад, Франц бродил по центральным и северным улицам, где, по его мнению, должны быть наряднейшие магазины, оживленнейшая торговля, и, замирая у витрин конфекционеров, все гадал, не это ли магазин, где он будет служить.

Его мучило, что он ничего не смеет купить. За это короткое время он успел уже потратить уйму денег, — а тут Драйер исчез, ничего как-то не известно, на душе смутно. Он попробовал подружиться со старичком-хозяином, так настойчиво выгонявшим его на целый день из дому, — но тот оказался неразговорчивым — все таился в неведомой глубине квартирки. Впрочем, в первый вечер встретив Франца в коридоре, он долго объяснял ему тайны районного участка, дал ему какие-то бланки, куда Франц должен был вписать свою фамилию, холост ли, или женат, и где родился.

— Кстати, я хочу вас предупредить, — сказал старичок. — Насчет вашей подруги... Она не должна вас посещать здесь. Я понимаю — вы молоды, я сам был молод, я бы, пожалуй, смотрел на это сквозь пальцы, с удовольствием... Но моя супруга, — она сейчас временно в отъезде, — моя супруга не разрешает таких посещений.

Франц, побагровев, закивал. То, что хозяин принял Марту за его возлюбленную, и поразило его, и польстило ему чрезвычайно. При этом он с легким волнением почувствовал, что теперь Марта и дама в вагоне слились в один образ. Он представил себе ее запах, ее теплые на вид губы, нежные поперечные бороздки на горле; но сразу остановил в себе привычный наплыв вожделения: «Она совершенно недоступна, — подумал он спокойно. — Недоступна и холодна. Она живет в другом мире с богатейшим, еще сочным мужем. Воображаю, как погнала бы в три шеи, если б я стал предприимчив. И сразу — разбитая карьера...» С другой же стороны, он подумал, что какую-нибудь подругу он все-таки непременно заведет — тоже крупную и темноволосую, — и в предвидении этого решил принять некоторые меры. Утром, когда старичок принес ему кофе, Франц кашлянул и сказал:

— Послушайте, — а если б я вам немножко приплатил,

вы бы... я бы... ну, словом, — можно было бы мне принимать кого хочу?

— Это еще вопрос, — сказал старичок.

— Несколько лишних марок, — сказал Франц.

— Я понимаю, — сказал старичок.

— Еще пять марок в месяц, — сказал Франц.

— Ладно, — кивнул старичок — и тут-то и добавил наставительно и лукаво: — Смотрите, не опоздайте на службу.

Так сразу пропал даром весь труд Марты, не стоило ей так торговаться. Но Франц, решив приплачивать тайно, из собственных денег, отлично почувствовал, что поступил опрометчиво. Деньги таяли, а Драйер все не звонил. В продолжение четырех дней он с отвращением, ровно в восемь, уходил из дому и в тумане усталости возвращался после семи. Пресловутый проспект и улицы, его пересекавшие, вконец ему опротивели. Матери он послал открытку с видом этого проспекта, написал, что здоров, что Драйер добрейший человек: незачем было пугать старушку. И только в пятницу вечером, часов в одиннадцать, когда Франц уже лежал в постели и говорил себе, в паническом трепете, что все его забыли, что он совершенно один в чужом городе, — и с каким-то злорадством думал: «Нет, дудки! Завтра скажусь больным, проваляюсь весь день, а вечерком махну в какие-нибудь злачные места», — в это мгновение постучался старичок и сонным голосом позвал его к телефону.

Франц, страшно спеша и волнуясь, натянул на ночную рубашку штаны, кинулся босиком в коридор, зацепился болтавшимися подтяжками о ручку двери, рванулся, резина больно хлопнула по уху, — замелькали темные стены коридора, какой-то сундук успел мимолетом хватить его по колену, и наконец райским блеском заиграло на стене телефонное сооружение. Оттого ли, что Франц к телефонам не привык, оттого ли, что он так был взволнован, так запыхался, — но сначала никак ему не удавалось разобрать голос, лающий ему в ухо. «Сию минуту приходи ко мне на дом, — наконец ясно сказал голос. — Слышишь? Пожалуйста, поторопись. Я тебя жду...» — «Ах, здравствуйте, здравствуйте...» — залепетал Франц, но телефон уже был пуст. С размаху повесив трубку, Драйер опять облокотился на стол и продолжал торопливо вписывать в большую карманную книжку все, что ему нужно завтра сделать. Потом он взглянул на часы, соображая, что сейчас жена должна

вернуться из кинематографа. Проворной ладонью он потер себе лоб и, хитро улыбнувшись, достал из ящика связку ключей и трубовидный электрический фонарик с выпуклым глазом. Был он еще в пальто — только что приехал домой — и прямо так, в пальто, прошагал в кабинет, как он всегда это делал, когда спешил что-нибудь записать, куда-нибудь позвонить. Теперь он шумно отодвинул стул и, снимая на ходу мохнатое, широкое, желтое свое пальто, прошел в переднюю, где его и повесил. Затем опустил в огромный карман уже успокоившегося пальто ключи и фонарик. Том, лежавший у двери, встал, потерся нежной головой о его ногу и улегся опять. Драйер звонко заперся в уборной, где на беленой стене дремали маленькие, состарившиеся комары, и через минуту, уже домашней, нетороплливой походкой, прошел обратно в кабинет, а оттуда в столовую.

Там стол был накрыт, алела вестфальская ветчина на блюде, среди мозаики ливерной колбасы. Крупный виноград, словно налитой светом, свешивался с края вазы. Драйер оторвал ягоду, бросил ее себе в рот, покосился на ветчину, но решил подождать Марту. В зеркале отражалась его широкая, светло-серая спина, теневые перехваты на сгибе рукава, желтые пряди приглаженных волос. Он быстро обернулся, будто почувствовал, что кто-то смотрит на него, отодвинулся, и в зеркале остался только ярко-белый угол накрытого стола на черном фоне, где темновато-драгоценно поблескивал хрусталь на буфете. Вдруг по той стороне тишины раздался легчайший звук: кто-то искал в тишине чувствительную точку; нашел; пронзил ее ударом ключа, отчетливо повернул — и все оживилось: в зеркале раза два прошло серое плечо Драйера, жадно зашагавшего вокруг ветчины; стукнула дверь, вошла Марта, блестя глазами и крепко вытирая нос душистым платком; за ней вошла, мягко выкидывая лапы, совсем проснувшаяся собака.

— Садись, садись, моя душа, — бодро воскликнул Драйер и включил хитрый электрический ток, согревающий воду для чая. Марта улыбалась. Вообще последнее время она улыбалась довольно часто, чему Драйер был несказанно рад. Она находилась в приятном положении человека, которому в близком будущем обещано удовольствие. Она готова была ждать некоторый срок, зная, что удовольствие придет непременно. Нынче она вызвала маляров, чтобы

освежить фасад дома. После кинематографа она разомлела, проголодалась и с наслаждением думала, что вот сейчас, сейчас, утолив грубоватый вечерний голод, завалится спать.

С парадной донесся взволнованный звонок. Том резво залаял. Марта удивленно подняла брови. Драйер с таинственным смешком встал и, жуя на ходу, пошел открывать.

Она сидела, полуобернувшись к двери, держа на весу чашку. Когда Франц, шутливо подталкиваемый Драйером, боком вошел в столовую, резко остановился, щелкнул каблуками и быстро к ней подошел, она так прекрасно улыбнулась, так жарко блеснули ее губы, что в душе у Драйера какая-то огромная веселая толпа оглушительно зарукоплескала, и он подумал, что уж после такой улыбки все будет хорошо: Марта, как некогда, будет захлебываясь рассказывать о кинематографе, о новом удивительном платье, — и в воскресенье, вместо тенниса (какой там теннис в дождь!), он с нею поедет кататься верхом в шуршащем, солнечном, оранжевом парке.

— Прежде всего, мой дорогой Франц, — сказал он, пододвинув стул, — закуси. И вот тебе рюмка коньяку.

Франц, как автомат, выбросил через стол руку, нацелясь на протянутую рюмку, сшиб вазочку с тяжелой, коричневатой розой («которую давно следовало убрать», — подумала Марта), и цвелая вода отвратительным узором растеклась по скатерти.

Он окончательно растерялся, — и немудрено. Во-первых, он вовсе не ожидал увидеть Марту. Ему казалось, что Драйер примет его в кабинете и сообщит ему о важном, очень важном деле, за которое он, Франц, тотчас должен взяться. Улыбка Марты разом его оглушила. Он мгновенно выяснил про себя причину тревоги. Как то семя, которое факир зарывает в землю, чтобы истошным колдовством вытянуть из него живое дерево, просьба Марты скрыть от Драйера их невинное похождение, просьба, на которую он тогда едва обратил внимание, теперь, в присутствии Драйера, мгновенно и чудовищно разрослась, обратившись в тайну, которая странно связывала его с Мартой. Вместе с тем он вспомнил слова старичка о подруге, и ему стало жарко, сладко и стыдно. Он попробовал сбросить с себя наваждение, посмотреть на Марту спокойно и весело; но, встретив ее нестерпимо пристальный взгляд, он беспомощно продолжал потапывать платком по мокрой скатерти, несмотря

на то что Драйер смеялся и отстранял его руку. Еще так недавно он лежал в постели, — и вдруг теперь оказался в поблескивающей столовой и, как во сне, страдал оттого, что не может остановить струйку, обогнувшую солонку и под прикрытием края тарелки норовившую добежать до сгиба скатерти. Марта, улыбаясь (завтра все равно нужна будет свежая скатерть), перевела взгляд на его руки, на нежную игру суставов под натянутой кожей, на трепещущие длинные пальцы, и почему-то почувствовала, что на ней не надето сегодня ничего шерстяного.

Драйер вдруг поднялся и сказал:

— Франц, — это может быть негостеприимно, — но ничего не поделаешь, уже поздно, — нам нужно с тобой ехать...

— Куда? — растерянно спросил Франц, засовывая мокрый комок платка в карман.

Марта с холодным удивлением взглянула на мужа.

— Это ты сейчас увидишь, — сказал Драйер, и глаза его засветились знакомым Марте огоньком.

«Какая чепуха, — подумала она злобно. — Что это он затеял?»

В передней она задержала его и скороговоркой прошептала:

— Куда ты едешь? Куда ты едешь? Я требую, чтобы ты мне сказал, куда ты едешь?

— Кутить, — весело ответил Драйер, в надежде вызвать еще одну прекрасную улыбку.

Она дернулась; он потрепал ее по щеке и вышел.

Марта вернулась в столовую, постояла в раздумье за стулом, на котором только что сидел Франц; потом с раздражением приподняла скатерть там, где была пролита вода, и подложила под скатерть тарелку. В зеркале отразилось ее зеленое платье, нежная шея под темной тяжестью шиньона, блеск мелких жемчужин. Она даже не почувствовала, что зеркало на нее глядит, — и, медленно двигаясь, убирая ветчину, продолжала изредка в нем отражаться. Потом потушила в столовой свет и, погрызывая ожерелье, поднялась к себе в спальню.

«Так оно, должно быть, и есть, — думала она. — Сведет его с какой-нибудь потаскухой, а та заразит... Вот и пропало...»

Она медленно стала раздеваться и вдруг почувствовала, что сейчас расплачется. Этого еще не хватало. Погоди,

погоди, когда вернешься. Особенно если пошутил... И вообще, что это за манера: пригласить и увести. Ночью... Чорт знает что... Чорт знает что...

Она снова, как уже много раз, перебрала в памяти все прегрешения мужа. Ей казалось, что она помнит их все. Их было много. Это ей не мешало, однако, говорить сестре, когда та приезжала из Гамбурга, что она счастлива, что у нее брак счастливый. И действительно: Марта считала, что ее брак не отличается от всякого другого брака, что всегда бывает разлад, что всегда жена борется с мужем, с его причудами, с отступлениями от исконных правил, — и это и есть счастливый брак. Несчастный брак — это когда муж беден, или попадает в тюрьму за темное дело, или тратит деньги на содержание любовниц, — и Марта прежде не сетовала на свое положение, — так как оно было естественное, обычное...

Она почти не знала его, когда семь лет тому ее родители, разорившиеся купцы, без труда уговорили ее выйти за легко и волшебно богатевшего Драйера. Он был очень веселый, пел смешным голосом, подарил ей белку, от которой дурно пахло... Только уж после свадьбы, когда муж, ради медового месяца в Норвегии, — и почему в Норвегии, неизвестно, — отказался от важной деловой поездки в Берн, только тогда кое-что выяснилось.

ГЛАВА IV

В темноте таксомотора (могучий черный «Икар» был еще в починке) Драйер молчал; таинственно тлел воспаленный огонь его сигары. Франц молчал тоже, с томным, бредовым беспокойством недоумевая, куда это его везут. После третьего поворота он совершенно потерял чувство направления.

До сего дня он успел изучить только тихий район, где жил, да район проспекта, в другом конце города. Все, что лежало между этими двумя живыми оазисами, было неизведанным туманом, так что образ столицы в его сознании напоминал те первые карты, на которых географ, еще не остывший после странствий, начертал все, что открыл, обдав остальное облачной синевой и поразив суеверные умы размашистой «Терра Инкогнита». Он глядел в окно,

и ему казалось, что темные улицы понемногу светлеют, опять меркнут, опять набираются света, разгораются пуще, сдают снова и, внезапно, уже с какой-то искристой уверенностью, возмужав в тесноте тьмы, прорываются небывалыми огнями, синими и румяными водопадами световых реклам. Проплыла туманная церковь, как тяжелая тень среди озаренных воздушных зданий, — и, промчавшись дальше, с разбегу скользнув по блестящему асфальту, автомобиль пристал к тротуару.

И только тогда Франц понял. Сапфирными буквами, алмазным хвостом, продолжавшим в бок конечный ипсилон, сверкала пятисаженная надпись: «Дэнди». Драйер взял его под руку и молча подвел к одной из пяти, в ряд сиявших, витрин. В ней, как в оранжерее, жарко цвели галстуки, то красками переговариваясь с плоскими шелковыми носками, то млея на сизых и кремовых прямоугольниках сложенных рубашек, то лениво свешиваясь с золотых суков, — а в глубине, как бог этого сада, стояла во весь рост опаловая пижама с восковым лицом. Но Драйер не дал Францу засмотреться; он быстро провел его мимо остальных четырех витрин; чередой мелькнули: оргия блестящей обуви, фата-моргана пиджаков и пальто, легкий полет шляп, перчаток и тросточек, солнечный рай спортивных вещей, — и Франц оказался в темной подворотне, где стоял старик в черной накидке с бляхой на фуражке, а рядом с ним — тонконогая женщина в мехах. Они оба посмотрели на Драйера, сторож узнал его и приложил руку к козырьку; яркоглазая беленая проститутка, поймав взгляд Франца, слегка отодвинулась, — и как только он, следом за Драйером, исчез в темноту двора, продолжала свою тихую, дельную беседу со сторожем о том, как лечит ревматизм.

Двор был темный, треугольный тупик, косо срезанный слева глухой стеною. Пахло сыростью и почему-то вином. В одном углу не то свалено было что-то, не то стояла телега с поднятыми оглоблями; во мраке не различить. Драйер вдруг вынул из кармана электрический фонарик, и скользнувший круг серого света наметил решетку, спускавшиеся ступеньки и затем железную дверь, которую он, радуясь, что избрал самый таинственный вход, тихо и быстро отпер. Франц, нагнув голову, прошел вслед за ним в темный каменный коридор, где снова светящийся круг выхватил дверь — которая при всякой беззаконной попытке ее отпе-

реть залилась бы громовым звоном. Но и к ней у Драйера нашелся беззвучный ключ, и Франц опять нагнул голову. В сумрачном проходе, по которому они теперь шли, громоздились там и сям какие-то тюки, ящики, под ногами шуршала солома. Фонарик подвижным испытующим светом обходил углы, — и снова выросла дверь, а за ней поднялась голая, каменная, тающая в темноте лестница. Они зашаркали вверх и вдруг, с неожиданностью сна, оказались в огромном туманном помещении. Свет скользнул по какой-то металлической виселице, по складкам портьер, по створчатым зеркалам, по черным плечистым фигурам, будто только что обезглавленным, — и, свернув налево, потом направо, за какие-то гигантские шкафы, Драйер остановился, спрятал свой фонарик и в темноте тихо сказал: «Внимание!..» Он пошуршал рукой по стене, и вспыхнула одна грушевидная лампочка, ярко озарившая прилавок. Вся остальная часть залы — широкий, бесконечный лабиринт — тонула в темноте, и было что-то жутковатое в том, что один только этот угол выделен желтым светом из всего огромного мрака. «Первый урок», — таинственно сказал Драйер и зашел за прилавок.

Этот фантастический ночной урок вряд ли принес пользу Францу, — слишком все было странно, и слишком прихотливо Драйер изображал приказчика. Но все же в самой сказочности угловатых отсветов и призрачной бездны кругом, где смутные, усталые, за день перещупанные вещи отдыхали в причудливых положениях, было нечто, что надолго запомнилось Францу и дало какую-то темную, роскошную окраску тому основному фону, на котором потом ежедневно приказчичий труд стал чертить свой простой, понятный, подчас докучливый узор. И Драйер, в эту ночь показывая Францу, как нужно продавать галстуки, следовал не прошлому опыту, не воспоминанию о тех, уже далеких, годах, когда он и вправду служил за прилавком, — а поднялся в упоительную область воображения, показывая не то, как галстуки продают в действительности, а то, как следовало бы их продавать, будь приказчик и художником, и прозорливцем.

— Я хочу простой, синий... — деревянным ученическим голосом говорил Франц.

— Пожалуйста, пожалуйста, — бодро отвечал Драйер и, проворно достав с полки несколько плоских, длинных

картонных коробок, так же проворно раскрывал их на прилавке.

— Как вам нравится этот? — задумчиво спрашивал он, завязывая на руке пятнистый фиолетовый галстук и слегка его отстраняя, словно сам любовался им.

Франц молчал.

— Очень важный прием, — понизив голос, объяснил Драйер. — Посмотрим, отметил ли ты, в чем дело. Теперь ты иди за прилавок. Вот в этой коробке галстуки одноцветные; они стоят по четыре, по пяти марок; а вот тут — модные, пестроватые, по восьми, по десяти, по четырнадцати, прости Господи. Итак, ты — приказчик, а я — молодой человек, неопытный, неустойчивый, легко соблазнимый.

Франц, стесняясь, стал за прилавок. Драйер, слегка сгорбившись и почему-то щурясь, тонким, неуверенным голосом сказал:

— Я хочу простой, синий... и подешевле... Улыбнись... — добавил он суфлерским шепотом.

Франц осклабился и, низко склонясь над одной из коробок, неловко пошарил и вынул простой, синий галстук.

— Вот и попался! — весело громыхнул Драйер. — Значит, не понял. Ты мне суешь самый дешевый. А нужно было сделать так, как я сделал, — показать сперва какой-нибудь подороже, — все равно какого цвета, — только подороже, да поизящнее, авось соблазнишь. Вот, бери этот. Теперь завяжи на руке. Да стой, — не мни его так. Совсем легко и — главное — мгновенно. Он должен у тебя сразу расцвести. Нет, это не узел, а какой-то нарост. Смотри. Держи руку прямо. Вот так. Теперь я, значит, гляжу на эту шелковую радугу и все-таки не поддаюсь соблазну.

— Я просил синий, одноцветный, — сказал Драйер тонким голосом — и снова зашептал: — Да нет же, нет же, — продолжай совать дорогие, может быть, доймешь его; и наблюдай за ним, за его глазами, — если он смотрит, это уже хорошо. Вот только если он не смотрит вовсе и начинает хмуриться, — только тогда, — понимаешь: только тогда, — выдай ему то, что он просил. Но при этом вот так — гляди — легонько пожми плечом и чуть брезгливо улыбнись: это, мол, совсем не модно, это, в сущности говоря, дрянь, — но уж если хотите...

— Я возьму вот этот — синий, — сказал Драйер тонким голосом.

Франц мрачно передал ему галстук через прилавок. Драйер расхохотался, разбудив странное эхо.

— Нет, — сказал он, — нет, мой друг. Сперва отложи в сторонку, потом спроси, не угодно ли еще чего, — и только потом — запиши, выдай билетик на кассу и так далее. Это тебе завтра покажет господин Пифке — большой педант. Теперь слушай дальше...

И, немного грузно подсев на прилавок, отбросив при этом резкую черную тень, которая головой вперед нырнула в темноту, подступившую ближе, чтобы лучше слышать, Драйер, перебирая блестящий шелк, с наслаждением погружая руки в коробки, — стал рассказывать, как запоминать галстуки по цветам, как воспитать в себе цветную память, как вымарывать из сознания уже проданные узоры, очищая место для новых, и как на глаз, не только на ощупь, сразу определять стоимость. Несколько раз он вскакивал, изображая покупателя, на все сердитого, покупателя, которому денег не жаль, старушку, покупающую галстук для внука, иностранца, не умеющего ничего толком сказать, — и сам себе тотчас отвечал, легонько опираясь пальцами о прилавок и придумывая для каждого случая особую разновидность улыбки, особый оттенок голоса. Затем, снова усевшись, слегка раскачивая ногой в желтом блестящем башмаке (и его тень взмахивала на полу черным крылом), он говорил о том, с какой нежностью и как весело нужно относиться к вещам, о том, что бывает до смешного жалко тех постаревших галстуков и носков, которых уже никто не покупает, и странная, мечтательная улыбка щекотала ему усы, морщила и снова расправляла складки у губ, — и Франц, прислонясь к шкафу, слушал в смутном оцепенении — и жадно косился изредка на шелковые чудеса, рассыпанные по прилавку.

Драйер умолк, потом тихонько засмеялся. Опять вынув фонарик, он повел Франца по темному бобрику в туманные дебри залы, на ходу откинул полотно с какого-то столика, осветив играющие, как глаза, несметные запонки на голубой бархатной подушке, — а немного дальше столкнул на пол огромный кожаный мяч, который беззвучно покатился в сумрак. Снова они зашагали по каменным коридорам, и, запирая последнюю дверь, Драйер улыбался, вспоминая

легкий, таинственный беспорядок, который он оставил за собой, и как-то не думая о том, что кому-то другому, быть может, придется за это отвечать.

Он кликнул таксомотор, когда они вышли из темного двора на мокрую, огнистую улицу, и предложил Франца подвезти. Но Франц, давясь чудесным волнением, вдруг наполнившим его при виде ночной улицы, глухо сказал, что пойдет пешком.

— Как хочешь, — рассмеялся Драйер и, высунувшись из таксомотора, крикнул напоследок: — Завтра, ровно в девять, в контору!

На глянцевитом, гладком асфальте были смутные, сливающиеся отражения — красноватые, лиловатые, — будто затянутые плевой, которую там и сям дождевые лужи прорывали большими дырьями, и в них-то сквозили живые подлинные краски — малиновая диагональ, синий сегмент — отдельные просветы в опрокинутый влажный мир, в головокружительную, геометрическую разноцветность. Перспективы были переменчивы, как будто улицу встряхивали, меняя сочетания бесчисленных цветных осколков в черной глубине. Проходили столбы света, отмечая путь каждого автомобиля. Витрины, лопаясь от тугого сияния, сочились, прыскали, проливались в черноту.

И на каждом углу, как знак небывалого счастья, стояла светлоногая женщина, — но времени не было заглянуть ей в лицо, уже звала вдали другая, за нею — третья, — и Франц уже знал, уже знал, куда ведут эти живые, таинственные маяки. Каждый фонарь, звездой расплывавшийся во мраке, каждый румяный отблеск, каждое содрогание перемещавшихся, перекликавшихся огней, и черные фигуры, поверявшие друг дружке душные, сладкие тайны в углублениях подъездов, и чьи-то полураскрытые губы, скользнувшие мимо, и черный, влажный, нежный асфальт, — все приобретало значение, сочеталось в одно, получало имя...

Потный, млеющий от растущей неги, он, точно сомнамбула, привлеченный обратно еще не остывшей подушкой, чмокая и вздыхая, медленно повалился на постель, не заметя, как вошел в дом, как попал к себе в комнату. Он провел ладонями по своим теплым, мохнатым ногам, вытянулся со странным ощущением кружения и легкости, — и почти тотчас сон с поклоном выдал ему ключи города, он понял значение всех огней, гудков, женских взглядов, все

слилось медленно в один блаженный образ. Он будто находился в какой-то зеркальной зале, которая чудом обрывалась к воде, вода сияла в самых неожиданных местах, и, направившись к двери, мимо вполне уместной мотоциклетки, которую пускал в ход квартирный хозяин, — Франц, в предчувствии неслыханного наслаждения, дверь осторожно открыл и увидел Марту, сидевшую на краю постели. Он быстро подошел, но в ногах у него путался Том, — и Марта смеялась и отгоняла собаку. Он теперь близко видел ее блестящие губы, вздувающуюся от смеха шею, — и заторопился, чувствуя, как нарастает в нем нестерпимая сладость; и он уже почти прикоснулся к ней, но вдруг не сдержал вскипевшего блаженства.

Марта вздохнула и открыла глаза. Ей показалось, что ее разбудил близкий шум. Действительно, — на соседней постели особенно развязно храпел ее муж. Она тотчас вспомнила, что легла спать, не дождавшись его прихода. Привстав, она громким голосом позвала его; потом, потянувшись через ночной столик, стала грубо ерошить ему волосы. Вольный храп оборвался. Вспыхнула на столике лампа.

— Пробуждение зверя, — сказал Драйер, сонно улыбаясь и, как ребенок, кулаками протирая глаза.

— Где ты был? — резко спросила Марта.

Он туманно посмотрел на ее обнажившееся плечо, на длинную, темную прядь, падающую ей на щеку, — и, медленно откидываясь опять на подушку, тихонько рассмеялся.

— Показывал ему магазин, — уютно пробормотал он. — Ночной урок... Очень занятно...

Марта сразу размякла. Ей стало необыкновенно легко и радостно. Она молча повернула выключатель. Тишина.

— Поедем в воскресенье верхом, а? — вдруг сказал в темноте голос. Но она уже спала. Голос повторил свой вопрос — шепотом, в еще более вопросительной форме; подождал. Потом — сонный вздох, скрип постели, молчанье — и снова — медленно разбегающийся храп.

Утром, пока он поспешно кокал ложечкой по яйцу, перед тем как махнуть в контору, горничная ему доложила, что автомобиль в порядке и уже подан. Драйер при этом вспомнил, что последние дни — особенно после недавней катастрофы — ему то и дело приходила в голову пресмешная

мысль, которую он все как-то не успевал до конца продумать. А нужно действовать осторожно, обходными путями, как изящный сыщик, — иначе, пожалуй, ничего не добьешься. Он залпом выпил кофе — и, помигивая, стал себе наливать вторую чашку. «Я, быть может, ошибаюсь... Умора все-таки...» Он проглотил сахарную жижицу на дне чашки, бросил на стол салфетку и торопливо вышел. Салфетка медленно сползла с края стола и вяло упала на ковер.

Да, автомобиль был в порядке. Сиял он черным лаком, стеклами окон, металлом фонарей; сияла гербовидная марка на серебре над решетом радиатора: золотой крылатый человечек на эмалевой лазури. Шофер, улыбаясь в легком смущении, показывая желтые неровные зубы, снял свой синий картуз и отпахнул полную отражений дверцу. Драйер исподлобья посмотрел на него. «Здравствуйте-здравствуйте, — сказал он. — Итак, мы снова вместе. — Он застегнул на все пуговицы пальто и продолжал: — Это, должно быть, обошлось дорого... Нет, — я еще счета не посмотрел. Но не в том дело. В сущности говоря, я готов и дороже платить за такое удовольствие. Трах, трах и еще раз трах. Прелесть. Но ни жена моя, ни полиция не понимают этого удовольствия...»

Он подумал, что еще сказать, но не придумал, расстегнул опять пальто и сел в автомобиль.

«Физиономию его я осмотрел основательно, — думал он под нежное мурлыканье мотора. — И все-таки ничего еще нельзя решить. Глаза, конечно, веселенькие, мешочки под ними, — но это может быть от природы. Щеки, нос в красных жилочках, одного зуба не хватает — тут тоже греха нет, бывает со всяким. В следующий раз надобно его хорошенько понюхать».

В это утро, как было решено, он представил Франца господину Пифке. Пифке был, как говорится, «с иголочки» одетый человек, представительный, плотный, со светлыми ресницами, с младенческим цветом кожи, с лицом, благоразумно остановившимся на полпути к кувшинному рылу, и с бриллиантом второстепенной воды на пухлом мизинце. К Францу он почувствовал уважение, как к племяннику хозяина, Франц же с завистью глядел на архитектурные складки его штанов и на прозрачный платок, склонившийся из грудного карманчика.

О вчерашнем причудливом уроке Драйер не упомянул, а самое забавное то, что Франц в отдел галстуков вовсе и не попал, а был определен Пифке, с полного одобрения Драйера, в отдел спортивный. Пифке взялся за работу ревностно, — и его приемы обученья значительно отличались от приемов Драйера: в них было арифметики гораздо больше, чем Франц ожидал. Не ожидал он и того, что так будут ныть ноги от беспрерывного стояния и что так будет ныть лицо от механической приветливости. В его помещении было куда тише, чем в других, так как дело было осенью. Довольно бойко шли всякие гимнастические пружины, лопатки и целлулоидовые мячики для мелкой лупни в пинг-понг, боксовые перчатки, производившие на ощупь ощущение какой-то скрипучей тучности, палки для хоккея, шерстяные шарфы в разноцветных полосках, футбольные сапоги на резиновых кнопках, с длинными белыми шнурками. Благодаря существованию в столице крытых бассейнов для плавания и огромных сараев для игры в теннис, был еще небольшой спрос на купальные костюмы и на ракеты. Но вместе с летом настоящая их пора миновала, забыты были резиновые негры да рыбы, белые туфли, козырьки против солнца, — меж тем как для других принадлежностей спорта, для желтых и коричневых лыж, плоских саночек, предназначенных мускулистому животу, больших санок с рулем и тормозом, блестящих коньков разнообразного вида, — время еще не пришло. Таким образом, обучению Франца никакой наплыв покупателей не мешал, и был у него полный досуг изучить дело. Коллегами его были две барышни, одна рыжая, востроносая, другая энергичная, с кислым запашком, сопровождавшим ее неотвязно, и атлетического сложения, до лоску выбритый молодой человек в таких же черепаховых очках, какие носил Франц. Он небрежно ему рассказал о призах, которые брал на состязаниях плавания, и Франц ему позавидовал, так как сам плавал отлично. С ним же, овеянный его советами, Франц выбирал себе материю для костюма, галстуки, рубашки, носки. И он же помог ему разобраться в тайнах продажи гораздо больше, чем Пифке, настоящее дело которого было разгуливать по магазину, торжественно и учтиво устраивая там и сям свидание между покупателем и приказчиком.

В первые дни, немного растерянный, немного оглушенный, с ломотой во всем теле, Франц просто пребывал

в уголку, стараясь не обращать на себя внимание и жадно следя за действиями атлета и обеих барышень, запоминая их профессиональные интонации и движения, и вдруг, так неожиданно, так нестерпимо-живо, воображая пробор и темный шиньон. Потом, ободренный заботливыми взглядами сослуживца, исполненный его спокойных намеков, он стал и сам продавать.

Он навсегда запомнил первого покупателя — толстого господина, который попросил мяч. Мяч... В ту же минуту этот мяч в его воображении запрыгал, размножился, рассыпался, и он почувствовал у себя в голове все мячи, все мячики, все мячишки, которые были в магазине, — большие кожаные из сшитых частей, и бархатисто-белые, с фиолетовой подписью фирмы, и маленькие, черные, твердые, как камень, и легкие, прелегкие, оранжевые, прыгающие с лепечущим звуком, и целлулоидовые, и веревчатые, и деревянные, и костяные, — и все они раскатились в разные стороны, оставя один, сияющий, как на рекламе, шар, когда покупатель спокойно добавил: «Мне нужен мячик для моей собаки».

— Третья полка справа, фирмы Туфпруф, — мимоходом шепнул атлетический коллега, и Франц, с радостной улыбкой, с бисером пота на лбу, с туманом на стеклах очков, рванулся, засуетился — и наконец нашел.

И сравнительно очень скоро, через какой-нибудь месяц, он совершенно привык к делу, уже не волновался, не боялся переспрашивать косноязычных, свысока давал советы худосочным. Довольно стройный, довольно широкий в плечах, не пухлозадый, как Пифке, но и не жилистый, как коллега-атлет, Франц с удовольствием отмечал свое прохождение в зеркалах и равнодушно полагал, что приказчицы — та, с рыжинкой, и та, с запашком, — тайно им увлечены. Он завел себе самопишущую ручку с серебряной зацепкой, два патентованных карандаша, и в хорошей парикмахерской полукругом выбрил шею. Прыщики на переносице сперва были запудрены, потом прошли вовсе. Выжаты были мельчайшие угри, дружно жившие по бокам носа, близ угловатых его ноздрей. Перестала лосниться впадинка подбородка, и он ежедневно брился, уничтожая не только твердый темный волос на щеках и на шее, но и легкий пух на скулах. Он стал холить руки и употреблял душистую воду для волос. Вообще он сошел бы за прилич-

нейшего, обыкновеннейшего приказчика, если бы вот не эта чуть хищная угловатость ноздрей, да какая-то странная слабость в очертаниях губ, как будто он запыхался, да глаза за стеклами очков — беспокойные глаза, нечистого цвета, со всегда воспаленными жилками на белках. И нехорошо было, что одна коричневая прядь имела обыкновение отклеиваться и спадать ему на висок, до самой брови.

Но в конце концов — Пифке, приказчик-пловец, блестящие ракеты с янтарными струнами, и бодрый диалог с покупателем, и автоматическая запись, и эти полки, ящики, выставки, прилавки — и остальная огромная часть магазина, гудящая за перегородкой, — все это было поверхностно, проходило мимо, не задевало, не занимало, — как будто он был одной из тех молодцеватых фигур с восковыми лицами, в костюмах, выглаженных утюгом идеала, стоявших на подмостках с чуть протянутыми, согнутыми в локтях руками. Молодые покупательницы или быстроногие стриженые приказчицы других отделов нисколько не волновали его. Как цветные, коммерческие объявления, которые, без музыки, долго мелькают перед началом обольстительного фильма, — все это было вполне необходимо и вполне незначительно. В семь часов это обрывалось. Тогда-то начиналась музыка.

Почти ежевечерне, — и какая чудовищная тоска таилась в этом «почти», — он бывал в доме у Драйера. Обедал он там только по воскресеньям, да и то не всегда; в будни же столовался в ресторанчике неподалеку от магазина. Зато по вечерам, вот уже больше месяца, вот уже, пожалуй, двадцать, двадцать пять вечеров...

Всегда было то же самое: жужжанье калитки, фонарь, освещающий тропу, сырое дыхание газона, хруст гравия, звонок, улетающий в дом в погоню за горничной, белый свет, спокойное, лошадиное лицо Фриды, — и вдруг — жизнь, нежный гром музыки из трубы радио...

Она обыкновенно бывала одна; Драйер приезжал ровно к ужину — всегда очень точно, и всегда предупреждал по телефону, когда опаздывал. В его присутствии Франц чувствовал себя до одури неловко и потому воспитал в себе, в те дни, какую-то мрачную фамильярность по отношению к Драйеру. Пока же он был наедине с Мартой, он все время ощущал где-то на затылке давление, томную тяжесть, и в груди была духота, в ногах — слабость, ладонь долго

хранила сухую прохладу ее крепкого рукопожатия. С точностью до полудюйма он отмечал ту черту, до которой она показывала ноги — когда ходила по комнате, когда сидела положив ногу на ногу, — и чувствовал, почти не глядя, тугой теплый лоск ее чулка, вздутие левой икры, подпертой правым коленом, складки на юбке, пологие, нежные, к которым хотелось прижаться лицом. Иногда, когда она, встав, шагала мимо, к трубе радио, свет так падал, что в легкой ткани юбки сквозили тени ее ног выше колен, а раз у нее лесенкой порвался чулок, и, облизнув палец, она быстро провела им по шелку. Изредка, переборов томную тяжесть, он поднимал глаза и, пользуясь мгновением, когда она смотрела вниз или в сторону, искал хоть какого-нибудь недостатка, на котором он мог бы опереть мысль и отделаться от безнадежного волнения. Иногда, мимолетно, ему казалось, что он нашел что-то — некрасивую черточку у рта, щедринку над бровью, слишком хмурую выпуклость губ в профиль и тень пушка над ними, особенно заметную, когда с ее лица сходила пудра; но малейший поворот головы, малейшая перемена выражения снова придавали ее лицу такую прелесть, что он не в силах был дольше смотреть. Вот такими быстрыми, короткими взглядами он изучил ее всю, предчувствовал движение ее проворно поднявшейся руки, когда гребешок отлипал одним концом от тяжелого шиньона, знал синус и косинус темной пряди, дугообразно прикрывавшей ухо; но, быть может, больше всего его мучила ее голая, белая, будто нежнозернистая шея и те пределы наготы, которые проводило то или иное платье. Был вечер, когда он увидел коричневое пятнышко на ее руке. Был вечер, когда, при случайном повороте ее стана, при случайном наклоне, он заметил неясную теневую впадину и почувствовал облегчение, когда серый шелк лифа опять тесно облек ей грудь. И был вечер, когда она собиралась на бал и он был поражен тем, что у нее под мышками бело, как у статуи.

Она расспрашивала его о детстве, о матери, о родном его городке. Как-то раз Том положил морду к нему на колени и, зевнув, обдал его нестерпимым запахом — не то селедки, не то просто тухлятины. «Вот так пахнет от моего детства», — тихо сказал Франц; она не расслышала или не поняла, переспросила, но он не повторил. Он рассказывал ей о школе, о пыли и скуке школьных будней и о том, как

соседний мясник, почтеннейший господин в белом жилете, приходил к ним в гости и с отвратительным профессиональным видом ел баранину. «Почему “отвратительно”? — удивленно перебивала Марта. — Вы же сказали, что он вполне благовоспитанный». — «Бог знает что мелю», — упрекал себя Франц и с механическим увлечением в сотый раз описывал реку, теплые мостки, веселую купальню и канат, не служивший для него границей.

Она включала радио, он благоговейно слушал урок испанского языка, речь о пользе спорта и сладостную гнусавую музыку. Она подробно рассказывала ему о последней кинематографической новинке, об удаче Драйера в дни инфляции и о том, как выводить фруктовые пятна. И в это время она думала: «Когда же он наконец раскачается?» — и вместе с тем ее забавляло и как-то даже трогало, что вот он такой неуверенный, бестолковый и что без ее помощи он, пожалуй, не раскачается вовсе. Но понемногу чувство досады начинало преобладать. Время уходило на пустяки, как уходят на пустяки деньги, когда из-за железнодорожной забастовки застреваешь в скучном городе. Смутная обида ей шептала, что вот, у ее сестры было уже три любовника, один за другим, а у молоденькой жены Вилли Грюн — два — и зараз. Меж тем ей шел тридцать пятый год. Пора, пора. Постепенно она получила мужа, прекрасную виллу, старинное серебро, автомобиль, — теперь очередной подарок — Франц. И все это было не совсем так просто — какой-то был приблудный ветерок, какая-то подозрительная нежность...

Франц, ошалев от бессонницы, распахнул окно. Бывают такие ночи поздней осенью, когда вдруг, откуда ни возьмись, проходит теплое влажное дуновение, случайно задержавшийся вздох лета. Он стоял, держась за рамы, потом высунулся, уныло выпустил длинную слюну и прислушался, ожидая, чтоб шлепнулся плевок о панель. Но он жил на пятом этаже и ничего не услышал. Тогда он окно закрыл, выпил залпом, — хоть пить не хотелось, — воды, отдававшей мятным порошком, и опять лег. Он спохватился в эту ночь, что знает Марту уже больше месяца, мучится невыносимо. И на полупакостном, полувыспреннем языке, на котором он сам с собою говорил, Франц зашептал в подушку: «Будь что будет... Лучше изменить поприщу, нежели дать черепу лопнуть по швам. Я завтра, завтра

схвачу ее и повалю — на диван, на пол, на битую посуду — все равно...»

Завтра настало. Дрожа от легкого озноба, он почему-то переменил белье и носки, раньше чем отправиться к ней. Отправился. По дороге убеждал себя, что она несомненно его любит, только не показывает, из гордости. И это жаль. Склонилась бы к нему, как бы случайно, дотронулась бы щекой при слепом совместном осматривании альбома. Тогда было бы легче. Но тут он подтянулся и сказал себе: «Это слабость, не нужно слабости...» Пусть она будет сегодня еще холоднее, чем обычно, — все равно — сегодня, сегодня, сегодня... Пока он звонил у двери, мелькнула острая надежда, что, может быть случайно, Драйер уже дома. Драйера не было дома.

Проходя через первые две комнаты, он так живо вообразил, как, вот сейчас, толкнет вон ту дверь, войдет в гостиную, увидит ее в открытом сером платье, сразу обнимет, крепко, до хруста, до обморока, — так живо вообразил он это, что на мгновение увидел впереди свою же удаляющуюся спину, свою руку — вон там, в трех саженях отсюда — открывающую дверь, — а так как это было проникновение в будущее, а будущее не дозволено знать, то он и был наказан. Во-первых, он зацепился о ковер, у самой двери, и раскрыл дверь с размаху. Во-вторых, гостиная была пуста. В-третьих, когда Марта вошла, она оказалась в бэжевом платье, с закрытой шеей. В-четвертых, он почувствовал такую знакомую, томную, жаркую робость, что дай Бог держаться как следует, говорить членораздельно, — о другом нельзя было и думать.

Марта решила, что сегодня он в первый раз ее поцелует. Предвкушая это, она не сразу села около него на диван, — по традиции включила радио, принесла серебряный ящичек с венскими папиросами, посмотрелась в зеркало, изменив при этом — как все женщины — выражение губ, стала рассказывать, что Драйер затеял вчера какое-то таинственное дело — выгодное, будем надеяться, — подняла и положила на кресло какой-то розовый шерстяной платок и только тогда мягко села рядом с Францем, поджав ногу и поправив складки юбки.

Он ни с того ни с сего стал расхваливать Драйера, говорить, как он ему благодарен, как полюбил его... Марта задумчиво кивала. Он то затягивался, то держал папиросу

у самого колена и водил картонным кончиком по штанине. Дымок, струей призрачного молока, полз по цепкому ворсу. Марта протянула руку и, улыбаясь, коснулась его колена, будто играя этим ползучим дымком. Он почувствовал нежный напор ее пальцев...

— ...И моя мать, в каждом письме, так кланяется ему... так благодарит...

Дымок развеялся. Марта встала и остановила радио. Франц закурил снова. Она, накинув розовый платок, из дальнего угла пристально смотрела на него. Он, с деревянным смехом, рассказал анекдот из вчерашней газеты. Затем, толкнув дверь лапой, появился очень грустный и гладкий Том, и — кажется, впервые — Франц с ним поговорил. Наконец — к счастью — приехал Драйер.

Когда, около десяти вернувшись домой, Франц на цыпочках проходил по коридору, он услышал глухое хихикание за хозяйской дверью. Дверь была полуоткрыта. Он мимоходом заглянул в комнату. Старичок-хозяин, в одном нижнем белье, стоял на четвереньках и, нагнув седовато-багровую голову, глядел — промеж ног — на себя в трюмо.

ГЛАВА V

Новое дело Драйера, точно, отличалось некоторой таинственностью.

Началось с того, что как-то в среду, в первых числах ноября, к нему явился незнакомый господин с неопределенной фамилией и неопределенной национальности. Он мог быть чехом, евреем, баварцем, ирландцем, — совершенно дело личной оценки.

Драйер сидел в своем конторском кабинете, огромном и тихом, с огромными окнами, с огромным письменным столом, с огромными кожаными креслами, — все это в шестом этаже огромного дома, — когда, предварительно пройдя по оливковому коридору, мимо стеклянных областей, полных ураганной трескотни пишущих машинок, вошел к нему этот неопределенный господин.

На карточке, опередившей его минуты на две, было под фамилией отмечено: «изобретатель». Драйер любил изобретателей. Он месмерическим жестом уложил его в кожаную

благодать кресла (с пепельницей, приделанной к ручке — вернее, ручище), а сам, поигрывая на диво отточенным карандашом, сел к нему вполоборота, глядя на его густые брови, шевелившиеся, как черные мохнатые гусеницы, и на темно-бирюзовый оттенок свежевыбритых щек; галстук был у него бантиком, — синий в белую горошину.

Изобретатель начал издалека, и Драйер одобрительно улыбнулся. Ко всякому делу надобно приступать вот эдак — с искусной осторожностью. Понизив голос, он от предисловия перешел, с похвальной незаметностью, к сути. Драйер отложил карандаш. Подробно и вкрадчиво мадьяр — или француз, или поляк — изложил свое дело.

— Это, значит, не воск? — спросил Драйер.

Изобретатель поднял палец:

— Отнюдь. Вот это один из секретов. Упругое, эластическое вещество, окрашенное в розовый или желтоватый цвет — по выбору. Я особенно напираю на его эластичность, на его, так сказать, подвижность.

— Занятно, — сказал Драйер. — А вот этот электрический двигатель, — я не совсем понимаю... Что вы называете, например, сократительной передачей?

Изобретатель усмехнулся:

— В том-то и штука. Разумеется, было бы гораздо проще, если бы я вам показал чертежи; но, разумеется, опять-таки я еще не склонен это сделать. Я вам объяснил, как вы можете использовать мою находку. Теперь вопрос сводится к следующему: согласны ли вы мне дать денег на фабрикацию первых образцов?

— Сколько же? — с любопытством спросил Драйер.

Изобретатель подробно ответил.

— А вы не думаете, — сказал Драйер, с озорным огоньком в глазах, — что, может быть, ваше воображение стоит гораздо дороже. Я очень уважаю и ценю чужое воображение. Если б, скажем, ко мне пришел человек и сказал: «Мой дорогой господин директор! Я хочу помечтать. Сколько вы заплатите мне за то, что я буду мечтать?» — тогда бы я, пожалуй, вступил с ним в переговоры. Вы же мне предлагаете сразу что-то практическое, фабричное производство, воплощение, — и так далее. Экая важность — воплощение. Верить в мечту — я обязан, но верить в воплощение мечты...

Изобретатель сперва не понял, потом понял и обиделся.

— Другими словами, вы просто отказываетесь? — спросил он мрачно.

Драйер вздохнул. Изобретатель цокнул языком, кивнул и откинулся в кресле, сцепляя и расцепляя руки.

— Это работа моей жизни, — проговорил он наконец, глядя в одну точку. — Я двенадцать лет бился над этим — над вот этой мягкостью, гибкостью, стилизованной одухотворенностью, если могу так выразиться...

— Можете, — конечно, можете, — сказал Драйер. — Это даже очень хорошо... Скажите мне, — он опять взялся за карандаш, — вы уже обращались к кому-нибудь с такими предложениями?

— Нет, — сказал изобретатель. — Это первый раз. Я только что сюда приехал.

— Ваша мечта очаровательна, — задумчиво произнес Драйер. — Не скрою от вас — очаровательна...

Тот неожиданно вспылил:

— Бросьте, сударь, твердить о мечте. Она сбылась, она превратилась в действительность — даром что я бедняк и не могу сфабриковать эту действительность. Но дайте же мне возможность вам доказать... Мне говорили, что вы интересуетесь всякой новизной. Подумайте только, какая это прелесть, какое украшение, какое изумительное — позвольте даже сказать, художественное — достижение.

— Какую, однако, вы мне даете гарантию? — спросил Драйер, наслаждаясь нечаянной забавой.

— Гарантию духа человеческого, — резко сказал изобретатель.

Драйер заулыбался:

— Вот это дело. Вы возвращаетесь к моей же постановке вопроса. Это дело.

Он подумал и добавил:

— Я, пожалуй, просмакую ваше предложение, авось во сне увижу то, что вы изобрели, — или, по крайней мере, мое воображение пропитается им. Сейчас не могу вам сказать ни да, ни нет. Вы же пойдите домой — где вы, кстати, остановились?

— Гостиница «Видэо», — сказал изобретатель, сильно волнуясь.

— Знакомое название, только не могу вспомнить почему... «Видэо»... Нет, не знаю. Вы ж, говорю, пойдите домой, проверьте еще раз вашу мечту, подумайте о том,

не грешно ли будет, если вдруг такую прелесть фабрика обесцветит, замучит, убьет, — и затем, скажем, через недельку, десять дней, я вас вызову, — вы, значит, приходите и — простите, что намекаю на это, — немного поподробнее, подоверчивее.

Когда посетитель ушел, Драйер несколько минут просидел неподвижно, глубоко заложив руки в карманы штанов. «Он не шарлатан, — подумал он, — или, по крайней мере, не знает, что шарлатан. Пожалуй, можно будет позабавиться. Если он прав, если все так, как он говорит, — то, действительно, может получиться курьезно, очень курьезно...» Мягко загудел телефон, и на время он забыл изобретателя.

Вечером, однако, он намекнул Марте, что собирается затеять совсем новое дело, и когда она спросила, выгодно ли оно, — прищурился, закивал: «Очень, очень, душа моя, выгодно...» На следующее утро, фыркая под душем, он решил, что изобретателя больше не примет; но днем, в ресторане, вспомнил его с удовольствием и решил, что дело прекрасное. Возвратясь домой к ужину, он мимоходом сказал Марте, что дело провалилось. Она была в новом бэжевом платье и почему-то куталась в розовый платок, хотя было совсем тепло в доме. Франц, как всегда, был забавно угрюм, но очень скоро ушел, — сказав, что слишком много курил и чувствует сильную головную боль. Как только он ушел, Марта отправилась спать. В гостиной, на столике подле дивана, остался открытый серебряный ящичек. Драйер взял оттуда папиросу — венскую, с картонным мундштуком, — и вдруг рассмеялся: «Сократительная передача... одухотворенная гибкость... Ведь он не врет... Ужасно мне нравится его идея».

Когда он в свою очередь поднялся в спальню, Марта, по-видимому, уже спала. Наконец, по истечении нескольких столетий, свет потух. Она тогда открыла глаза и прислушалась. Храпит. Она лежала навзничь, глядя в темноту, и сердилась на храп, на какой-то блеск в углу спальни и, между прочим, на самое себя. «Нужно — совсем иначе, — наконец подумала она. — Завтра вечером я сделаю иначе. Завтра вечером...»

Но ни в следующий вечер, ни в субботний Франц не явился. В пятницу он пошел в кинематограф, в субботу — в кафе. В кинематографе волоокая дура с черным сердечком вместо губ и с ресницами как спицы зонтика изобра-

жала богатую наследницу, изображавшую, в свою очередь, бедную конторскую барышню, — а в кафе оказалось бесовски дорого, и какая-то нарумяненная девица, с отвратительной золотой пломбой, курила, и смотрела на него, и качала ногой, и вскользь улыбалась, стряхивая пепел. «Я не могу больше, — протяжно, со стоном, шептал Франц. — Она застит жизнь, во рту от нее пересохло, нет сил... Так было просто — ее схватить, когда она меня тронула. Мука... Подождать, что ли, — не видеть ее несколько дней?.. Но тогда не стоит жить... Следующий раз, вот клянусь, клянусь... матушкой клянусь...»

В воскресенье он встал поздно, вяло вынес ведро с мыльной водой и, проходя мимо хозяйской двери, взглянул на нее со страхом и ненавистью. Он решил было выйти пройтись, но хлестал по стеклам бурный дождь. В комнате было холодно. От нечего делать он хорошенько протер очки, откупорил пузырек с чернилами, зарядил самопишущую ручку и стал писать матери.

«Дорогая матушка, — писал он своим неряшливым крупным почерком, — как ты поживаешь? Как поживает Эмми? Вероятно...» Он остановился, вычеркнул последнее слово и задумался, копая концом ручки в носу. Вероятно... сейчас отправляется в церковь, потом будет стряпать воскресный обед... Курица, бедные рыцари... Днем — кофе со взбитыми сливками... Что ей до него? Она всегда любила Эмми больше. Кругленькая, красно-бурая, — била его по щекам, когда ему уже было семнадцать, восемнадцать, девятнадцать лет. В прошлом году... А когда он был совсем малыш (бледненький, круглолицый, уже в очках), однажды, на Пасхе, она хотела заставить его съесть шоколадную конфету (в виде коричневого зайчика), — которую сестренка тишком облизала. За то, что Эмми облизала конфету, предназначенную ему, мать просто хлопнула ее легонько по задку, а его, за то, что он замусленный шоколад отказался даже тронуть, — так хватила наотмашь по лицу, что он слетел со стула и, стукнувшись головой о пол, лишился чувств. Любовь к матери была его первой несчастной любовью. Лучше было, пожалуй, когда она открыто сердилась на него, чем когда равнодушно ему улыбалась или, при гостях, ласково его щипала. Накануне его отъезда она забыла у него в комнате свой шерстяной платок, и он почему-то подложил его на ночь под голову, но не мог спать,

а как дурак плакал. Может быть, она все-таки сейчас скучает по нем? Этого она не пишет...

Приятно все-таки себя пожалеть, — до слез приятно. А Эмми — хорошая девушка... Выйдет за мясника в белом жилете; выйдет — как пить дать... И правильно поступит, — дело у него солидное, лучший мясник в городе. Проклятый дождь... А что настрочить — все-таки неизвестно... Описать, что ли, комнату.

«У меня, как я уже тебе писал, отличная комната, с зеркалом. Кровать мягкая. Хозяин по утрам сам подметает. У окна, в левом углу...»

В это мгновение раздался легкий стук, и дверь приоткрылась. Хозяин просунул голову, улыбнулся, подмигнул и, скрывшись, сказал кому-то за дверью: «Да, он дома; пожалуйте...»

Она была в своем нежном кротовом пальто, широко раскрытом на клетчатом шерстяном платье, по серой низко надвинутой шляпе успели рассыпаться темные звезды дождя, перехватившего ее между таксомотором и подъездом, шелковые ноги были тесно сдвинуты и оттого казались еще стройнее. Стоя неподвижно, она протянула назад руку, закрывая за собой дверь, — и пристально, без улыбки, смотрела на Франца, точно не ожидала увидеть его. Он покрыл ладонью кадык — так как был без воротничка, — и, сказав длинную фразу, с удивлением заметил, что, по-видимому, слов не отпечаталось, как будто простучал на пишущей машинке, в которую забыл вставить ленту.

— Простите, что так вхожу... — сказала Марта. — Но мне некуда деться от дождя...

И взгляд ее будто разжался, выпустил его, скользнул в сторону. Франц сразу ослаб, размяк и, задыхаясь от знакомого сердцебиения, бледный, мигающий, с отвисшей нижней губой, стал помогать ей снимать пальто. Подкладка была малиновая, шелковая, теплая, пропитанная духами. Ее пальто и шляпу он положил на постель, и последний наблюдатель в его сознании, стойкий, маленький, еще оставшийся на посту после того, как, толкаясь и спотыкаясь, разбежались все прочие мысли, — подсказал, что вот так пассажир в поезде отмечает место, которое сейчас займет.

Марта сказала:

— Что же это такое? Я думала, что вы будете рады, — а вы молчите...

— Я говорю, — ответил Франц, стараясь перекричать нестройное гудение, — говорю... я все время говорю...

— У вас осталось мыло в ухе, — сказала Марта. — Постойте, я вытру.

Они оба стояли посреди комнаты, Франц бедром опирался о край стола, который вдруг стал тихо потрескивать. Оказалось, что он держит ее руку, прижимает к губам, к носу, весь уходя головой в эту горячую, послушную ладонь. Свободной рукой она гладила его по волосам, морщась от наслаждения, накручивая на пальцы их мягкие, высушенные вежеталем пряди. Франц жмурился, дышал. Какая-то одичалая нежность сменила в нем все острое, неловкое, грубое, что недавно так мучило его. Она, вероятно, сняла ему очки, так как теперь он чувствовал эти небывалые пальцы на своих веках, на бровях. Теперь он знал, что через минуту будет такое счастье, пред которым ничто самый страстный сон. Медля, он взял ее за кисти, раскрыл глаза, из теплого тумана стало приближаться ее лицо. Но, не дойдя до его губ, оно остановилось.

— Пожалуйста, — пробормотал он, — пожалуйста... Я умоляю...

— Глупый! — сказала она тихо. — Нужно ведь запереть дверь... Постой...

Райская теплота на миг скользнула прочь, дважды осторожно хрустнул ключ в замке; теплота вернулась.

— Ну вот, — туманно улыбаясь, сказала Марта.

Он почувствовал у себя на затылке ее напряженную ладонь, тихо ткнулся губами в жаркий уголок ее полуоткрытого рта, скользнул, нашел, и весь мир сразу стал темно-розовым. И затем, когда, следуя смутному закону постепенности, бессознательно выведенному им из того, что он слышал или читал, Франц выдыхал в ее волосы, в теплую шею повторяющиеся слова, смысл которых был только в их повторении, — и когда, уже сидя с ней рядом на краю постели, не отрываясь губами от ее виска, стаскивал с ее ноги башмак, теребил сырой каблук, — он ощущал вовсе не то беспомощное, торопливое волнение, которое ему не раз снилось, а какую-то благодатную силу, торжество, упоительную безопасность.

Но попутно были маленькие приключения: каким-то образом его очки оказались у Марты на коленях, и он по привычке их нацепил; небольшое столкновение произошло

между ним и ее платьем — пока не выяснилось, что оно снимается просто через голову; его правый носок был с дыркой, и выглядывал ноготь большого пальца; и подушка могла быть чище...

Постель тронулась, поплыла, чуть поскрипывая, как ночью в вагоне. «Ты...» — тихо сказала Марта, лежа навзничь и глядя, как бежит потолок.

Теперь в комнате было пусто. Вещи лежали и стояли в тех небрежных положениях, которые они принимают в отсутствие людей. Черная самопишущая ручка дремала на недоконченном письме. Круглая дамская шляпа как ни в чем не бывало выглядывала из-под стула. Какая-то пробочка, вымазанная с одного конца синевой чернил, подумала-подумала да и покатилась тихонько полукругом по столу, а оттуда упала на пол. Ветер с помощью дождя попытался открыть раму окна, но это не удалось. В шкафу, улучив мгновение, тайком плюхнулся с вешалки халат — что делал уже не раз, когда никто не мог услышать.

Но вдруг зеркало предостерегающе блеснуло, отразив прелестную голую руку, которая в изнеможении вытянулась и упала как мертвая. Постель медленно приехала обратно. Марта лежала с закрытыми глазами, и улыбка образовала две серповидных ямки по бокам ее сжатого рта. Пряди, некогда непроницаемые, были теперь откинуты с висков, и Франц, облокотясь рядом с ней, глядя на ее нежное голое ухо, на чистый лоб, опять нашел в этом лице то сходство с мадонной, которое он, падкий на такого рода сравнения, уже отмечал.

В комнате было холодно.

— Франц... — сказала Марта, не открывая глаз. — Франц... ведь это был рай... Я еще никогда, никогда...

Она ушла через час. Перед уходом хорошенько изучила все углы комнаты, привела в порядок все вещи Франца, поставила иначе стол и кресло, заметила, что все его носки — рваные, на всех подштанниках не хватает пуговиц, — и сказала, что вообще нужно украсить комнату — скатередки вышитые, что ли, да непременно — кушетку, да две-три ярких подушки. О кушетке она напомнила старичку-хозяину, который тихо прогуливался взад и вперед по коридору. Улыбаясь то ей, то Францу, потирая сухо шелестящие ладони, он сказал, что, как только супруга приедет, будет и кушетка. И так как, по чести говоря, никакой кушетки

чинить он не давал (в пустом углу прежде стояло чужое пианино), и так как, кроме того, старичок был холост, — он с большим удовольствием отвечал Марте. Да и вообще он был доволен жизнью, этот серый старичок в домашних сапожках на пряжках, — особенно с тех пор, как открыл в себе удивительный дар — превращаться вечерком, по выбору, либо в толстую лошадь, либо в девочку лет шести, в матроске. Ибо на самом деле — но это, конечно, тайна — был он знаменитый иллюзионист и фокусник, Менетекелфарес.

Марте понравилась его учтивость, но Франц предупредил ее, что он чудаковат.

— Ах, мой милый, — сказала она, спускаясь по лестнице, — это все очень, очень хорошо. Этот тихий старик лучше, чем какая-нибудь любопытная, болтливая карга. До завтра, мой милый... А когда жена его приедет, мы просто найдем себе другую комнату. Можешь поцеловать меня — только быстро...

Улица, где жил Франц, была тихая, бедная, кончавшаяся тупиком, а другим концом выходила на небольшую площадь, где по вторникам и пятницам расставлял свои лотки скромный рынок. Оттуда растекались две улицы: налево — кривой переулок, где в дни политических торжеств торчали из окон грязно-красные флаги; направо же — длинная, людная улица, на которой, между прочим, был магазин, где всякая вещь стоила пять грошей, будь то пара подвязок или бюст Шиллера. Эта улица упиралась в каменный портик, с белой буквой на синем стекле, — конечная станция подземной дороги. Там нужно было свернуть налево, по бульвару, дальше дома обрывались, кое-где строилась вилла или ширился зеленый пустырь, разделенный на огородики. Затем опять дома — огромные, розовые, только что созданные. Марта завернула за угол последнего из них и оказалась на своей улице. Особнячок был в другом конце — недалеко от широкого проспекта, где водились два вида трамвая, 113-й и 108-й, и один вид автобуса.

Она быстро прошла по гравистой тропе, ведущей к крыльцу, — и в это мгновение солнце, прокатившись по мягкому исподу замшевых туч, нашло прореху и торопливо прорвалось. Деревца вдоль тропы сразу вспыхнули мокрыми огоньками, и паутина кое-где раскинула радужные

спицы. Газон заискрился. Стеклянным крылом блеснул пролетевший воробей.

Когда она вошла в прихожую, перед ее глазами в сравнительной темноте поплыли румяные пятна. Дом был пуст; в столовой — еще не накрыто; в спальне, на ковре, на синей кушетке, — аккуратно сложено солнце. Она стала переодеваться, счастливо и нежно улыбаясь зеркалу.

И немного погодя, когда она уже стояла посреди спальни, в легком темно-красном платье, чуть-чуть подкрашенная, с гладкими висками, донесся к ней снизу лирический лай Тома и затем — громкий голос, показавшийся ей незнакомым. Сходя по лестнице, она встретила на повороте чужого господина, который быстро поднимался, посвистывая и ударяя стеком по балюстраде. «Здравствуй, моя душа, — сказал он, не останавливаясь, — я через десять минут буду готов». И, последние две-три ступеньки перейдя одним шагом, он весело крякнул, причем искоса посмотрел вниз на ее уплывавший пробор. «Поторопись, — сказала она, не оглядываясь. — И пожалуйста, чтобы от тебя не пахло манежем». Наверху, с легким смехом, закрылась дверь.

И потом, за обедом, окруженная сочным разговором и тем особым, не то стеклянным, не то металлическим звоном, присущим человеческому питанию, Марта продолжала не узнавать хозяина дома — его подвижные подстриженные усы и манеру его быстро кидать себе в рот то редиску, то кусочек булочки, которую он мял на скатерти, пока говорил.

Справа от нее сидел грубоватый титулованный старик, слева толстый Вилли Грюн, с румянцем во всю щеку, с тремя правильными складками жира сзади, над воротничком; рядом с ним шумела его мать, тоже тучная, тоже лупоглазая, говорившая скрипучим голосом, который переходил в тряский клокочущий смех; а подле старика блистала огнем длинных, длинных серег молодая госпожа Грюн, напудренная до смертельной белизны, с неестественно узкими и дугообразными бровями; и между ними, там, там, напротив Марты, скрываемый то мясистой георгиной, то хрусталем, сидел, говорил, смеялся совершенно лишний, совершенно чужой господин. Все, кроме этого господина, было хорошо, приятно: и гусь, удавшийся на славу, и тяжелый добродушный профиль лысого Вилли, и разговор

об автомобилях, и сальный анекдотец об охотничьем павильоне, сообщенный ей вполголоса титулованным стариком. Ей казалось, что она сама много говорит, а на самом деле она все больше молчала, но молчала так звучно, так отзывчиво, с такой живой улыбкой на полуоткрытых блестящих губах, с таким светом в глазах, подведенных нежной темнотой, что действительно казалась необыкновенно разговорчивой. И Драйер, поглядывая на нее из-за толстых розовых углов георгин, наслаждался ею, слушая счастливую речь ее глаз, лепет ее поблескивавших рук, — и сознание, что она все-таки счастлива с ним, как-то заставляло его забыть редкость и равнодушность ее ночных соизволений.

— Я считаю про себя, считаю... считаю... — призналась она Францу в одну из ближайших встреч, когда он вдруг стал добиваться у нее, любила ли она когда-нибудь мужа.

— Я, значит, первый? — спросил он жадно. — Первый?

Она, вместо ответа, скаля влажные зубы, медленно ущипнула его за щеку. Франц обхватил ее ноги и смотрел на нее снизу вверх и слегка поводил головой, стараясь захватить в рот ее пальцы. Уже одетая, готовая к уходу и все не решавшаяся уйти, она сидела в плетеном кресле, а он ежился на коленях перед ней, растрепанный, в мигающих очках, в новых белых подтяжках. Только что он переобул ей ноги, — она носила, пока была у него, ночные туфельки с пунцовыми помпончиками, и эти туфельки (его скромный, но продуманный подарок) оставались у него в верхнем отделении ночного столика и вынимались оттуда, как только она возвращалась. Да и вообще вся комната несомненно похорошела. На столе в синей вазе с одним продолговатым бликом розовели три георгины. Появилась кружевная скатередка, — а скоро должна была въехать кушетка, и для нее Марта уже приобрела две павлиньего цвета подушки. В целлулоидовой коробочке на умывальнике лежало любимое мыло Марты — бледно-коричневое, пахнущее фиалкой. Белье в ящиках было пересмотрено, пересчитано, на новых подштанниках красовались четкие метки, два новых галстука, темный и светлый, висели на веревочке с внутренней стороны шкафной дверцы. И был один медленно назревающий, упоительнейший проект: — смокинг!

Франц возмужал от любви. Эта любовь была чем-то вроде диплома, которым можно гордиться. Весь день его

разбирало желание кому-нибудь показать диплом. В четверть восьмого (Пифке, думая угодить хозяину, отпускал его чуть раньше других) он, запыхавшись, влетал к себе в комнату. Через несколько минут являлась Марта. В четверть девятого она уходила. А в без четверти девять Франц отправлялся ужинать к дяде.

Теплое текучее счастье заполняло его всего, словно не кровью были налиты жилы, а вот этим счастьем, бьющимся в кисти, в виске, стучащим в грудь, выходящим из пальца рубиновой капелькой, если уколет случайная булавка; а с булавками ему приходилось много иметь дела в магазине, — и благо еще, что был он в таком отделе, где не приходилось с булавками во рту хариусом виться вокруг беспокойного господина в одноруком, испещренном наметками, исчерченном мелом пиджаке. Но вообще руки у него стали проворнее, он не ронял легких картонных крышек, как в первые дни. И эти быстрые прилавочные упражнения как бы готовили его руки к другим, тоже быстрым, тоже легким движениям, пронзительно волнующим Марту, ибо его руки она особенно любила, и больше всего любила их тогда, когда скорыми, как бы музыкальными прикосновениями они снимали с нее платье и пробегали по ее молочно-белой спине. Так, прилавок был немой клавиатурой, на которой Франц репетировал счастье.

Зато, как только она уходила, как только приближался час ужина и надо было встретиться с Драйером, — все менялось. Как иногда, во сне, безобиднейший предмет внушает нам страх и уже потом страшен нам всякий раз, как приснится, — и даже наяву хранит легкий привкус жути, — так присутствие Драйера стало для Франца изощренной пыткой, неотразимой угрозой. Когда в первый раз, через полчаса после свидания, он прошел, нервно позевывая и поправляя на ходу очки, короткое расстояние между калиткой и крыльцом, когда в первый раз в качестве тайного любовника хозяйки дома подозрительно блеснул очками на Фриду и, потирая мокрые от дождя руки, переступил порог, Францу было так жутко, что он с испуга огрызнулся на Тома, встретившего его в гостиной с почти человеческой радостью, и, дожидаясь появления хозяев, стал суеверно искать в цветистых глазах подушек каких-то грозных признаков беды. Его затошнило от ужаса, когда, с неожиданным стуком, из двух разных дверей, как на рез-

ко освещенной сцене, одновременно вошли Марта и Драйер. Он вытянул по швам руки, и ему казалось, что в этой позе он быстро поднимается вверх, сквозь потолок, сквозь крышу, во тьму, — а на самом деле — вытянутый, опустошенный, он здоровался с Мартой, здоровался с Драйером — и вдруг из небытия, с неведомой высоты, плотно упал на ноги посреди комнаты, когда Драйер, как всегда, описал указательным пальцем быстрый круг и легонько ткнул его в пуп, сочно квохнув; и Франц, как всегда, преувеличенно ёкнул, животом захихикав, — и, как всегда, холодно сияла Марта. Страх не пропал, а только на время приглох: один неосторожный взгляд, одна красноречивая улыбка, — и все разъяснится, — и будет ужас, который нельзя вообразить. С тех пор всякий раз, когда он входил в этот дом, ему казалось, что вот, нынче Марту выследили, она во всем призналась мужу, — и катастрофическим блеском встречала его люстра в гостиной.

Каждую шутку Драйера он с трепетом поскабливал, взвешивал, принюхивался к ней — нет ли намека, коварной трещинки, подозрительного бугорка... Но ничего этого не было. Наблюдательный, остроглазый Драйер переставал смотреть зорко после того, как между ним и рассматриваемым предметом становился приглянувшийся ему образ этого предмета, основанный на первом остром наблюдении. Схватив одним взглядом новый предмет, правильно оценив его особенности, он уже больше не думал о том, что предмет сам по себе может меняться, принимать непредвиденные черты и уже больше не совпадать с тем представлением, которое он о нем составил. Так, с первого дня знакомства Франц представлялся ему забавным провинциальным племянником, точно так же как Марта, вот уж семь лет, была для него все той же хозяйственной, холодной женой, озарявшейся изредка баснословной улыбкой. Оба эти образа не менялись по существу — разве только пополнялись постепенно чертами гармоническими, естественно идущими к ним. Так художник видит лишь то, что свойственно его первоначальному замыслу.

Зато Драйеру делалось как-то щекотно, когда предмет не сразу поддавался его зоркости, не сразу поворачивался так, чтобы он мог одним взглядом уловить его застенчивые переливы. Месяца два миновало с того вечера, когда черный «Икар» сошел на пять секунд с ума, — и Драйеру все

еще не удалось установить кое-что относительно шофера. Он захаживал в гараж, незаметно шофера обнюхивал, следил за его походкой или внезапно в самый такой опасный час, — скажем, в субботу под вечер, — вызывал его к себе и, с трудом поддерживая незначительный разговор, исподлобья наблюдал — не слишком ли он развязен, не слишком ли влажным и довольным блеском играют его подвижные глаза. И иногда он грезил, что вот, как-нибудь ему доложат, что в данную минуту шофер не может, увы, не может прийти на вызов. А не то ему казалось, что «Икар» берет повороты чуть быстрее, чуть жизнерадостнее, чем обыкновенно... Как раз в такой день беззаботных поворотов (что особенно было интересно, ввиду того что накануне неожиданно выпал первый снег и сегодня скользко растаял) он заметил из окна господина, точно на шарнирах, мелкими шажками переходившего улицу, — и сразу почему-то вспомнил разговор с милейшим изобретателем. Приехав в контору, он тотчас велел позвонить к нему в гостиницу «Видэо» и очень обрадовался, когда секретарь доложил, что изобретатель сейчас явится. Но ни Драйер, ни секретарь, ни вообще кто-либо в мире, никогда не узнал, что изобретатель с синими щеками жил случайно как раз в том номере, где по приезде переночевал Франц, — где из окна был виден теперь уже голый ясень и где можно было заметить — если очень-очень тщательно присмотреться, — что въелась мельчайшая стеклянная пыль в линолеум у рукомойника. То, что судьба поселила изобретателя именно там, — знаменательно. Этот путь проделал Франц, — судьба вдруг спохватилась, послала — вдогонку, вдогонку — синещекого человека, — который об этом, конечно, ничего не знал, и никогда не узнал, — как вообще об этом никогда не узнал никто.

— Добро пожаловать, — сказал Драйер, — садитесь.

Изобретатель сел.

— Итак? — спросил Драйер, играя карандашом.

Изобретатель высморкался и, аккуратно запаковав изверженное, долго совал платок в карман.

— Я к вам с тем же предложением, — сказал он наконец и сцепил узкие волосатые руки.

— Новые какие-нибудь подробности? — намекнул Драйер, рисуя карандашом концентрические круги на промокательной бумаге.

Изобретатель кивнул и, понизив голос, стал говорить. На столе загудел телефон. Драйер, нежно улыбнувшись посетителю, энергично приложил трубку к уху.

— ...Это я. Я забыла: ты как будто говорил, что сегодня не ужинаешь дома?

— Так точно, моя душа.

— А вернешься поздно?

— За полночь. Заседание правления. Пойди куда-нибудь, если тебе скучно.

— Не знаю. Может быть, так и сделаю.

— Превосходно, — закивал Драйер, — до свидания... Ах, постой, я хотел еще...

Но она уже повесила трубку.

Изобретатель делал вид, что не слушает. Драйер заметил и, ради красного словца, тонким умильным голосом сказал: «Это моя маленькая подруга...»

Изобретатель вежливо улыбнулся и тотчас продолжал свои разъяснения. Драйер начал новую серию концентрических кругов. Секретарь принес пачку писем и безмолвно исчез. Изобретатель говорил. Драйер вдруг отбросил карандаш, мягко развалился в кресле, и очарование, уже раз испытанное, снова овладело им.

— Как вы сказали? — вкрадчиво перебил он. — Благородная медлительность лунатика?

— Да, если желательно, — сказал тот. — А с другой стороны — естественнейшая проворность.

— Продолжайте, продолжайте, — зажмурился Драйер, — сущая ворожба...

ГЛАВА VI

Это был неказистый, насупленный ресторанчик на той улице, где жил Франц. Трое мужчин молча дулись в скат. Жена одного из них, бледная, как пласт остывшей телятины, сонно следила за игрой. Худенькая барышня с тиком листала в углу старый иллюстрированный журнал, в котором уже давно чей-то химический карандаш хищно заполнил пустоты крестословиц. Дама в кротовом пальто (приятно поразившем кабатчицу) и молодой человек в черепаховых очках пили вишневую наливку и глядели друг другу в глаза. Пьяный малый в картузе постукивал по

толстому стеклу, за которым металлической колбасой сбились монеты — проигрыш всех тех, кто, сунув в щель один грош, рукояткой подвигал туда-сюда жестяного жонглерчика, пока скатывалась горошинка по извилистым желобкам. Было темновато, тихо и дымно. Рыбьим блеском отливала стойка, озябшая от пивной пены. Кабатчица, с двумя зелеными шерстяными футболами вместо грудей и со множеством розовых веснушек на лице, зевая, глядела туда, где лакей, полускрытый ширмой, пожирал рыхлую гору вареного картофеля. На стене были деревянные часы, каким-то образом вделанные в оленьи рога, и олеография — встреча Бисмарка с Наполеоном III. Картежники шелестели все тише.

— Мы хорошо выбрали, тут уж нас никто не встретит...

Он сжал под столом ее руку:

— Не поздно ли, моя дорогая, — может быть, пора?

— Твой дядя вернется только в полночь, даже еще позже... Время есть.

— Прости, что я завел тебя в такой кабачишко.

— Да нет же, нет же... Я говорю тебе: мы хорошо выбрали. Мы еще выпьем чего-нибудь.

— Ты здесь — как королева. Инкогнито. Я хотел бы с тобой пить шампанское. И чтобы кругом танцевали...

Она облокотилась на стол, оттянув щеку кулаком, и в странной тишине ему показалось, что он слышит, как тикают часики на ее кисти — золотые, величиной с кошачий глаз. Она вздохнула, одновременно улыбнулась. Молчание.

— А скажи — ты сыт? Ты такой у меня худенький...

— Ах, что ты... И не все ли равно? Я всю жизнь был несчастен. А теперь ты со мной. Это какой-то невероятный сон...

Игроки застыли, глядя в карты. Бледная одутловатая женщина, сидевшая подле них, склонилась без сил к мужнину плечу. Барышня задумалась, и щека ее перестала дрыгать. Иллюстрированный журнал на древке поник листами, как знамя в безветрие... Тишина... Оцепенение.

Она первая шевельнулась; и он, стряхивая с себя странную дремотность, замигал, одернул отвороты пиджака.

— Я люблю его, а он беден, — сказала она шутя, — сказала и вдруг переменилась в лице. Ей померещилось, что вот у нее тоже, как и у него, ни гроша за душой, — и вот,

вдвоем, тут, в убогом кабачке, в соседстве сонных ремесленников, пьяниц, дешевых потаскушек, в оглушительной тишине, за липкой рюмочкой, они коротают субботнюю ночку. С ужасом она почувствовала, что вот этот нежный бедняк действительно ее муж, ее молодой муж, которого она не отдаст никому... Заштопанные чулки, два скромных платья, беззубая гребенка, комната с опухшим зеркалом, малиново-бурые от стирки и стряпни руки, этот кабак, где за марку можно царственно напиться... Ей сделалось так страшно, что она ногтями впилась в его кисть.

— Что случилось? Милая моя, я не понимаю...

— Вставай, — сказала она. — Заплати и пойдем. Мне нечем дышать в этой духоте...

И затем, вобрав холод ясной ноябрьской ночи, она мгновенно разбогатела опять, прижалась к нему, быстро переступила, чтобы идти с ним в ногу, — и в складках кротового меха он нащупал ее теплую руку.

На следующее утро, в постели, в светлой своей спальне, Марта с улыбкой вспомнила нелепую тревогу. «Все так просто, — успокаивала она себя. — Просто — у меня любовник. Это должно украшать, а не усложнять жизнь. Так оно и есть: приятное украшение. И если бы, скажем...»

Но странно: она никуда не могла направить мысль: улица Франца оканчивалась тупиком. Мысль попадала в этот тупик — неизменно. Нельзя было представить себе, что Франца нет, что кто-нибудь другой у нее на примете. И нынешний день, и все будущие были пропитаны, окрашены, озарены — Францем. Она попыталась подумать о прошлом, о тех годах, когда она Франца еще не знала, — и вдруг у нее в воображении встал тот городок, где она както побывала проездом, и среди тумана этого городка, едва ею замеченного, был никогда не виданный наяву, но так живо описанный Францем, дом, белый, с зеленой крышей, — и за углом кирпичная школа, и худенький мальчик в очках, и нелюбящая мать. То немногое, что ей рассказал Франц о своем детстве, было ярче и важнее всего, что она и впрямь пережила; и она не понимала, отчего это так, спорила сама с собой, уязвленная в своей любви к простоте, прямоте, ясности.

Особенно чувствителен был разлад, когда приходилось заняться каким-нибудь хозяйственным замыслом или дорогим приобретением, никак не касавшимся Франца. Как-то,

например, всплыла мысль, что хорошо бы купить другой автомобиль, — но вдруг она сказала себе, что Франц тут ни при чем, обойден, выпущен, — и хотя ей давно грезился некий лимузин модной марки вместо надоевшего «Икара», все удовольствие такого приобретения было отравлено. Другое дело — платье, которое она надевала для Франца, воскресный обед, который она составляла из его любимых блюд... И сперва все это было странно ей, — как будто она училась жить по-новому и не сразу могла привыкнуть.

Ее удивляло, что у нее в доме (особенно полюбившемся ей с тех пор, как Франц стал в нем, что называется, «своим человеком») живет еще кто-то другой. А был он тут как тут, желтоусый, шумный, ел за одним столом с ней и спал на постели рядом, — и ее волновали его денежные дела, совсем так же, как в тот — уже далекий — год, когда полновесной деньгой сыпался, сыпался к нему — балласт, выбрасываемый с воздушных шаров инфляции. Вот этот ее интерес к делам Драйера не сочетался с новым, пронзительным смыслом ее жизни, — и она чувствовала, что не может быть вполне счастлива без такого сочетания, однако не знала, как добиться гармонии, как уничтожить разлад.

Он ей как-то показал листок, на котором приблизительно подсчитал свое состояние. «Достаточно, — спросил он с улыбкой, — как ты полагаешь?» Она подумала, что действительно таких денег хватит на много лет ленивой жизни. Но пока существует Драйер, он должен продолжать зарабатывать. Потому она пожала плечами и молча отдала ему обратно листок. Они стояли у письменного стола, где рыцарь держал свой зажженный фонарь, — и по особой тишине чувствовалось, что за окнами мягко валит снег. Так оно и было: декабрь выдался снежный, с крепкими морозами — на радость запамятливым газетным старожилам. Драйер сунул записную книжку обратно в карман и взволнованно посмотрел на часы. Нынче они втроем, он, жена и племянник, собрались в мюзик-холл. Он, как мальчик, боялся опоздать. Марта потянулась за газетой, лежавшей на столе, просмотрела объявления и хронику, прочла о том, что за пятьсот тысяч продается роскошная вилла, что нельзя, к сожалению, ожидать повышения температуры и что перевернулся автомобиль, причем был убит актер Курт Винтер, ехавший к больной жене. В соседней комнате Франц, заложив руки в карманы, угрюмо слушал жирный голос радио.

В театре (просторном, многолюдном, с гигантской, еще не распахнувшейся сценой) они стеснились в одной из тех необыкновенно узких лож, в которых сразу так ясно чувствуешь, что это за неудобная, карикатурно длинная, костисто-суставочно-мурашливая штука — пара мужских ног. Особенно тяжело было долговязому Францу: мало того, что нижние его конечности мгновенно отяжелели, заныли, — Марта, невозмутимо поглядывая по сторонам, шелковым боком колена крепко, сладко прижалась к его правой неловко согнутой ноге, меж тем как Драйер, сидевший слева и немного позади, легонько оперся об его плечо и щекотал ему ухо углом программы. Францу было невыносимо страшно, что вот муж что-нибудь заметит, — но отстранить ногу он не мог, места не было, — да кроме того, Марта изредка двигала голенью, и тогда по всему телу у него пробегали какие-то шелковые искры, от которых нельзя было отказаться.

— Такой огромный театр, — проговорил он, слегка поводя плечом, чтобы незаметно освободиться от отвратительной, в золотистых волосках, руки Драйера. — Представляю, сколько они зарабатывают за вечер! Мест, пожалуй, тысячи две...

Драйер, перечитывая во второй раз программу, сказал:

— Ага, вот это будет занятно: пятый номер — велосипедисты-эксцентрики.

Свет медленно померк, плотнее прижалась нога Марты, заиграла музыка.

Немало забавного показали им в этот вечер: господин в цилиндре набекрень жонглировал серебристыми бутылками; четыре японца летали на чуть скрипевших трапециях, в перерывах кидая друг другу тонкий цветной платок, которым они тщательно вытирали ладони; клоун, в спадающих ежеминутно штанах, мягко ухал по сцене — скользил со свистом и звучно хлопался ничком; белая, словно запудренная, лошадь нежно переставляла ноги в такт музыке; семья велосипедистов извлекала из свойств колеса все, что только возможно; тюлень, отливая лоснистой чернотой, гортанно и влажно крича, как захлебнувшийся купальщик, — скользко, гладко, будто смазанный салом, сигал по доске в зеленую воду бассейна, где полуголая девица целовала его в уста. Драйер изредка ахал от удовольствия и толкал Франца. А после того, как тюлень, получив в награду рыбу

(которую он сочно хапнул на лету), был уведен, — занавес на миг задернулся, и, когда распахнулся опять, посреди сцены, в полумраке, стояла озаренная женщина в серебряных туфлях, в чешуйчатом платье и играла на светящейся скрипке. Прожектор прилежно обдавал ее то розовым, то зеленым светом, мерцала диадема на ее лбу, она играла тягуче, сладко, — и Марта почувствовала вдруг такое волнение, такую прекрасную грусть, что полузакрыла глаза и в темноте отыскала руку Франца, и он почувствовал то же, что и она, что-то млеющее, упоительное, созвучное их любви. Музыкальная феерия (так значилось в программе) поблескивала и ныла, звездой вспыхивала скрипка, то розовый, то зеленый свет озарял музыкантшу... Драйер вдруг не выдержал.

— Я закрыл глаза и уши, — сказал он плачущим голосом. — Скажите мне, когда эта мерзость кончится.

Марта вздрогнула; Франц, сразу не сообразив, о чем идет речь, подумал, что все погибло — что Драйер все понял, — и такой ужас нахлынул на него, что даже выступили слезы. Одновременно сцена потухла, и театр загремел, как хлынувший на железную крышу ливень.

— Ты ровно ничего не понимаешь в искусстве, — сухо сказала Марта, обернувшись к мужу. — А только мешаешь другим слушать...

Он закатил глаза и шумно выпустил воздух; затем, преувеличенно засуетившись, быстро дергая бровями, как человек, который хочет поскорей забыться, — отыскал в программе следующий номер.

— Вот это дело, — воскликнул он. — «Эластическая продукция братьев Челли»; после чего — «всемирно знаменитый волшебник». Посмотрим.

«...Миновало, — думал тем временем Франц. — На этот раз — миновало. Ух... Надо быть крайне осторожным... Собственно говоря, должна быть известная прелесть в том, что она вот — моя, а он сидит рядом и не знает. И все-таки страшно, — Господи, как страшно...»

Представление завершилось кинематографической картиной, как это принято во всех цирках и мюзик-холлах с тех давних пор, как появился первый обольстительный «биоскоп». На мигающем экране, странно плоском — после живой сцены, — шимпанзе в унизительном человеческом платье совершал человеческие, унизительные для зверя,

действия. Марта смеялась, приговаривая: «Нет, какой умный, какой умный!..» Франц в изумлении цокал языком и серьезно утверждал, что это загримированный ребенок.

Когда они вышли на морозную улицу, озаренную фасадом театра, и подкатил верный «Икар», Драйер, спохватившись, что последние дни он как-то прервал свои наблюдения над шофером, и немного рассердившись на самого себя за то, что до сих пор не пришел к определенному выводу, подумал, что сейчас как раз время кое-что подсмотреть. Он пристально глянул на шофера, который поспешно натягивал меховые рукавицы, и попробовал носом поймать пар, выходивший у него изо рта. Тот встретил его взгляд и, показывая коричневые корешки зубов, вопросительно и невинно поднял брови.

— Холодно-холодно, — быстро сказал Драйер. — Не правда ли?

— Какое там!.. — ответил шофер. — Какое там...

«Неуловим, — подумал Драйер. — А ведь почти наверное, — пока мы были в театре... Румян, глаза — счастливые... А впрочем, — чорт его знает... Ну, посмотрим, как он будет править».

Но правил шофер хорошо. Франц, благоговейно сидевший на переднем стульчике, слушал гладкую быстроту, разглядывал цветы в вазочке, телефон, часы, серебряную пепельницу. Снежная ночь в расплывчатых звездах фонарей шелестела мимо широкого окна.

— Я здесь выйду, — сказал он, обернувшись. — Мне отсюда близко пешком...

— Подвезу, подвезу, — ответил Драйер, позевывая. Марта поймала взгляд Франца и быстро, едва заметно покачала головой. Он понял. Драйер, привыкнувший видеть его у себя в доме чуть ли не каждый вечер, не поинтересовался узнать, где «в сущности говоря» он живет, — и это нужно было так и оставить в молчаливой и благоприятной неизвестности. Он нервно кашлянул и сказал:

— Нет, право же... Мне хочется поразмять ноги.

— Воля твоя, — сквозь зевоту проговорил Драйер и постучал кулаком в переднее стекло.

— Зачем стучать? — в скобках заметила Марта. — Я не понимаю тебя... Ведь есть для этого трубка.

Франц, очутившись на безлюдной, белой улице, поставил воротник, засунул кулаки в карманы и, сгорбясь,

быстро пошел по направлению к своему дому. По воскресеньям, на нарядной улице в западной части города, он ходил совсем иначе, — но теперь было не до того — крепко пробирал мороз. Ту воскресную столичную походку было вначале не так легко усвоить; состояла она в том, чтобы, вытянув и скрестив руки (непременно в хороших перчатках) на животе, — будто придерживаешь пальто, — ступать очень медленно и плавно, выкидывая ноги носками врозь. Так шествовали все молодые щеголи по той нарядной улице, — изредка оглядываясь на женщин, — не меняя при этом положения рук, а лишь слегка дернув плечом; и опять — врозь, врозь, раз-два, очень медленно. Но в такую ночь, на безлюдном морозе, человек ходит не напоказ.

Впрочем, Франц скоро разогрелся и даже стал посвистывать. К чорту ее мужа. Не нужно трусить. Такое блаженство, — ведь это дается не всякому. Что она сейчас делает? Верно, приехала, раздевается. Белые бедра с двумя ямками. И разумеется, она не солгала, когда поклялась, что только очень редко, только по долгу службы, — когда иначе было бы подозрительно... Нет, это неприятная мысль... Желтошерстая гадина. Лезет, небось. К чорту! Теперь она села на постель. Еще три-четыре дома, и вот она сбросила туфли. Когда дойду вон до того фонаря, она опустит голову на подушку. Теперь перейду улицу. Так. Она потушила свет. У них общая спальня. Опять — эта мерзость... Нет, этого сегодня не может, не должно быть. Вот еще один квартал, — так, — и она уснула. Площадь. Она спит. Завтра пятница — тут будет базар. Вот наконец и моя улица. Чудесная скрипка, — и так сказочно... прямо райское что-то. И волшебник хорош был. Вероятно, это все очень простые фокусы, легко в общем раскусить, в чем дело... Теперь она спит крепко. Опять что-то случилось с этим ключом, — чорт его побери. Вертишь, вертишь... Свет на лестнице опять не действует. Так можно загрохотать, коли оступишься... И вот этот ключ — тоже мудрит...

В тускло освещенном коридоре, у полуоткрытой двери своей комнаты, стоял старичок-хозяин и неодобрительно качал головой. Был он в сером халатике, в клетчатых домашних сапожках.

— Ай-я-яй, — проговорил он, когда Франц с ним поравнялся. — Ай-я-яй... Опять после одиннадцати ложитесь. Нехорошо, сударь.

Франц сухо пожелал ему доброй ночи и хотел пройти, но тот вцепился ему в рукав.

— Я, впрочем, не могу сердиться сегодня, — сказал он проникновенно. — У меня радость: супруга приехала.

— Поздравляю, — сказал Франц.

— Но всякая радость, — продолжал старичок, не отпуская его рукава, — всякая радость несовершенна. Моя старушка приехала больной.

Франц соболезнующе хрюкнул.

— И вот, — крикнул ясным голосом старичок, — она сидит в кресле... Поглядите.

Он пошире приоткрыл дверь, и точно — Франц увидел над спинкой кресла старушечий седой затылок с какой-то наколочкой на макушке.

— Вот, — повторил старичок, глядя на Франца блестящими, немигающими глазами.

Франц, не зная, что сказать, глупо улыбнулся.

— А теперь — спокойной ночи, — отчетливо проговорил старичок и, шмыгнув к себе в комнату, закрыл дверь.

Франц было пошел, но вдруг остановился.

— Послушайте, — сказал он через дверь, — а как насчет кушетки?

Молчание.

Он постучал.

И вдруг послышался чей-то хриплый, напряженный, фальшивый голосок.

— Кушетка уже поставлена, — скрипнул голосок. — Я вам дала мою собственную кушетку.

«Чудаки!» — брезгливо усмехнулся Франц и пошел к себе. В его комнате, действительно, было прибавление мебельного семейства. Прибавление твердое, ветхое, сизое, в мелких красноватых цветочках. Марта, когда пришла на следующий день, сморщила нос и, так оставшись — со сморщенным носом, — кушетку потрогала, нащупала больную пружину, приподняла вялую бахрому. «Ну что ж, ничего не поделаешь, — сказала она наконец. — Я с его старухой ссориться не намерена. Дай-ка сюда эти две подушки. Да, так — как будто лучше выглядит...» И вскоре они привыкли к ней, к ее сизой ветхости, к причудам ее пружин и к ее манере неодобрительно крякать, когда на нее садились.

Но не одной кушеткой обогатилась комната Франца. Однажды, в особенно благодушную минуту, Драйер дал ему

свыше положенных денег еще некоторую сумму, и спустя недели две (кстати сказать, близилось Рождество) в платяном шкафу появился новый жилец: долгожданный смокинг.

— Вот и отлично, — сказала Марта, пощипывая материю. — Теперь остается одно: нужно тебе научиться танцевать. Придешь завтра, — мы после ужина под граммофон и попляшем.

Франц сдуру явился в новом смокинге. Она пожурила его за то, что эдак, зря, смокинг треплет; однако нашла, что он ему к лицу. Было около девяти. Ужинали обыкновенно в девять. Драйер должен был приехать с минуты на минуту. Он в этом смысле был очень аккуратен, всегда предупреждал по телефону, что на столько-то вернется раньше или позже, ибо чрезвычайно любил слышать в телефон тихий ровный голос жены, голос в нежной перспективе. Марта всегда удивлялась этой его точности, — и несмотря на то, что сама относилась ко времени бережно и внимательно, точность мужа в данном случае ее раздражала. Нынче он не звонил, а меж тем прошло двадцать минут, полчаса — и он не являлся. Франц, боясь измять штаны, избегал садиться, шагал по гостиной, изредка подходя к креслу Марты, но не решаясь поцеловать ее, как хотелось бы, — в шею, под шиньон.

— Я голодна, — сказала Марта, — не понимаю, почему он не едет...

— Давайте заведем граммофон, — предложил Франц. — Вы поучите меня пока что.

— Нет настроения. После ужина другое дело. Я вам говорю, что я голодна. И хочется выпить чего-нибудь горячего.

Прошло еще десять минут. Она быстро поднялась и позвонила.

Огромный нежный омлет, подернутый рыжим крапом, сразу ее оживил. «Закройте», — сказала она Францу с улыбкой, кивнув по направлению к двери, которую Фрида, с утра шалевшая от зубной боли, забыла за собой прикрыть. Когда Франц вернулся на свое место, она улыбнулась еще значительнее. Это было как-то первый раз, что она у себя в доме ужинает наедине с Францем. Да, смокинг ему идет. Подарить бы ему хорошенькие запонки...

— Милый мой, — сказала она тихо и по скатерти протянула к нему руку.

— Осторожно... — шепнул Франц, озираясь. Он не доверял стенам. Пристально уставился на него старик в сюртуке на темном портрете. Буфет, поблескивая, смотрел во все глаза. Что-то было напряженное в складках портьеры. Хорошо еще, что Том остался в передней. Но сейчас может войти горничная. В этом доме надо говорить друг другу «вы» и не позволять себе никаких вольностей. Все же, не в силах противиться ее улыбающемуся желанию, он провел ладонью по ее голой руке. Она медленно оттянула руку, сияя и облизываясь. Ему показалось, что вот теперь из-за портьеры вдруг выступит Драйер.

— Ешьте, пейте, будьте как дома, — сказала, смеясь, Марта.

Она была сегодня в черном платье с тюлем, волосы ее, разделенные тончайшей бледной чертой пробора, отливали эбеновым лоском. Низкая лампа в оранжевом абажуре окатывала столь резким нарядным светом. Франц, блестя на Марту обожающими очками, посасывал ножку холодного цыпленка. Она вдруг потянулась к нему, взяла из его руки полуобглоданную косточку и, смеясь одними глазами, стала ее вкусно грызть, отставив пятый палец. Губы ее стали сочнее, ярче. Франц, подавшись вперед, шепотом проговорил: «Ты восхитительна. Я обожаю тебя», — потом откинулся, взглянув на портьеру.

— Так бы ужинать каждый вечер, ты да я, — вздохнула Марта. Она на мгновение нахмурилась, тряхнула головой и удалым, чуть-чуть фальшивым тоном воскликнула, пододвинув рюмку: — Налейте-ка мне коньяку, мой дорогой Франц.

— А я не буду пить; боюсь — не научусь потом танцевать, — сказал Франц, осторожно наклоняя графинчик.

Но что ей было сейчас до танцев... Ей хотелось сидеть в этом овальном озере света долго-долго, проникаясь чувством, что так будет опять завтра, послезавтра, до конца жизни... Моя столовая, мой сервиз, мой Франц.

Вдруг она схватилась за свою левую кисть, повернула часики, норовившие всегда находиться там, где троилась голубая вена, удивленно повела бровью:

— На целый час опоздал — нет, больше... Ничего не понимаю. Нажмите звонок, пожалуйста, — вот над вами висит.

Ему стало неприятно, что ее как будто тревожит отсутствие мужа. Опоздал так опоздал. Тем лучше. Она, собственно говоря, не имеет права.

— Почему надо звонить? — сказал он, засунув руки в карманы.

Она широко раскрыла глаза:

— Я, кажется, просила вас нажать вот эту кнопку...

В длинном луче ее взгляда он непонятным образом размяк; виновато улыбнулся и позвонил.

— Если вы сыты, мы можем встать, — сказала Марта. — Впрочем, поешьте винограда. Вот эту кисть.

Он стал есть виноград, тщательно выплевывая косточки. Призрачным маятником ходила по скатерти тень чуть качавшегося звонка. Вошла бледная, осоловелая Фрида.

— Скажите-ка, — обернулась к ней Марта, — мой муж не звонил в мое отсутствие?

Фрида замерла, потом схватилась за виски.

— Ах, Боже мой, — проговорила она тихо. — Ах, Боже мой... Господин директор звонил около восьми... что сейчас выезжает... чтобы подавали раньше... Простите меня...

— Вы, вероятно, с ума сошли, — холодно сказала Марта.

— Простите меня, — повторила горничная.

— Совершенно с ума сошли, — сказала Марта.

Горничная промолчала и, подозрительно быстро моргая, стала собирать грязные тарелки.

— Не надо, — огрызнулась Марта, — потом.

Горничная поспешно ушла.

— Поразительная женщина, — пробормотала Марта, сердито облокотясь на стол и кулаками подперев щеки. — Ведь она же видела, как мы садились за стол, сама же принесла омлет. Эгэ, — этого-то я и не сообразила, что ведь она сама видела... Позвони-ка еще раз.

Франц послушно поднял руку.

— Впрочем, не надо, оставь, — сказала Марта. — Я уж поговорю с нею после.

Ее охватило какое-то необыкновенное волнение. Оскалившись, она прижимала к зубам стиснутые пальцы, отчего скулы у нее поднялись, а глаза сузились. Погодя она встала.

— Теперь без четверти одиннадцать, — сказала она, усмехнувшись. — Долго же он едет.

— Что-нибудь задержало, — хмуро отозвался Франц. Он был озадачен и обижен ее волнением.

Она потушила свет в столовой. Перешли в гостиную. Марта сняла телефонную трубку, прислушалась, хлопнула трубку обратно.

— Телефон за это время не испортился, — сказала она. — Я ровно ничего не понимаю. Позвонить, что ли, кому-нибудь...

Франц, заложив руки за спину, ходил взад и вперед по комнате, чувствуя, что вот-вот расплачется. Марта быстро провела пальцем по табличке около аппарата, отыскала домашний номер мужниного секретаря.

— Это странно, — ответил тот, — я сам видел, как он поехал домой. Да, в вашем «Икаре». Это было — позвольте — да, около восьми...

— Так, — сказала Марта, и телефонная вилка звякнула.

Она подошла к окну, отдернула лазурную портьеру. Ночь была ясная. Вчера началась было оттепель; да снова хватил мороз. Она видела утром, как на голом льду поскользнулась пожилая дама. Очень смешно, когда шлепается пожилая дама... Марта, не раскрывая рта, судорожно засмеялась. Франц, судя по звуку, подумал, что она всхлипнула, и растерянно подошел. Она обернулась к нему и вдруг вцепилась ему в плечо, заскользила щекой по его лицу.

— Осторожно — очки, — прошептал Франц.

— Заведи граммофон, — сказала она, отпустив его, — будем танцевать. И не смей пугаться — я буду тебе говорить «ты» всякий раз, как мне вздумается, слышишь?

Франц начал почтительно вертеть ручку большого лакового ящика. Когда он поднял голову, Марта сидела на диване, хмуро и странно глядя на него.

— Я думал, вы приготовите пластинку, — сказал Франц, — я ведь не знаю, какую...

— Мне расхотелось, — проговорила Марта и отвернулась.

Франц вздохнул. Он никогда не видал ее в таком странном настроении. Вместо того чтобы радоваться, что муж задержался...

Он сел рядом с ней на диван. Прислушиваясь, поцеловал ее в волосы, потом в губы. Она стучала зубами. «Дай мне платок», — сказала она. Он принес розовый вязаный платок, который всегда валялся в углу, на кресле. Она взглянула на часы. Половина двенадцатого.

Франц вдруг встал.

— Я пойду домой, — сказал он мрачно.

— Ты останешься, — тихо сказала Марта.

Он посмотрел на нее в упор и смутно подумал, что ведь тут что-то неспроста, какая-то не совсем обыкновенная тревога...

— Знаешь, о чем я сейчас вспоминаю? — вдруг заговорила Марта. — Я вспоминаю о полицейском, который писал протокол. Дай мне твою записную книжку. И карандаш. Вот; он держал так перед собой книжку и писал.

— Какой полицейский? О чем ты говоришь?

— Да, правда, тебя там не было. Я как-то теперь привыкла задним числом вмешивать тебя во все, что было. Впрочем, я тебя уже знала тогда.

— Перестань, — сказал Франц. — Мне страшно.

— Это ничего, что страшно. Это ничего, что... Прости. Я говорю глупости. Я просто очень взволнована.

Она держала записную книжку на коленях. Франц видел, что она сперва рисовала на страничке какие-то черточки, потом вдруг написала свою фамилию и медленно вычеркнула. Написала опять, очень отчетливо, «Драйер» и опять вычеркнула. Посмотрела на него искоса — и снова написала «Драйер», крупными буквами. Прищурилась и стала тщательно, крепко вымарывать. Кончик карандаша хрустнул и сломался. Она кинула ему книжку и встала.

Франц молчал. Тикали часы. Марта стояла перед ним и смотрела, смотрела, смотрела, словно внушала ему что-то. И вдруг в нестерпимой тишине хлопнула входная дверь и грянул ликующий голос Тома.

— Пришел, — глухо сказала Марта, и на мгновение ее лицо странно исказилось.

Драйер вошел не совсем так бодро, как всегда, — и не совсем так бодро поздоровался с Францем. Франц сразу ошалел от ужаса.

— Почему так поздно? — спросила Марта. — Почему ты не звонил?

— Так уж случилось, моя душа, так уж случилось. — Он хотел улыбнуться, но ничего не вышло.

— Ну-с, мне пора, — поспешно и хрипло закричал Франц.

Он потом не помнил, как попрощался, как надел пальто, как оказался на улице.

— Это не совсем так, — сказала Марта, — я чувствую, что это не совсем так. Скажи мне, в чем дело?

— Скучное дело, моя душа. Человек убит.

— Опять шутки, шутки... — застонала Марта.

— К сожалению, нет, — тихо сказал Драйер. — Мы, видишь ли, на всем ходу бухнулись в трамвай. Номер семьдесят третий. Я только потерял шляпу да здорово стукнулся обо что-то. В таких случаях хуже всего приходится шоферу. Отвезли в больницу, был еще жив, там умер. Лучше не проси подробностей.

Они сидели друг против друга, у накрытого стола. Драйер потупясь ел холодного цыпленка. Марта, с бледным лоснящимся лицом, с мельчайшими капельками пота над губой, где чернели тонкие волоски, глядела, прижав пальцы к вискам, на белую, белую, нестерпимо белую скатерть.

ГЛАВА VII

Не докончив увлекательной, но несколько сбивчивой беседы с синещеким мадьяром (или евреем, или баском) о том, можно ли хирургическим путем (то есть выливая на него ведра крови!) так обработать хвост тюленя, чтобы тюлень мог ходить стоймя, Драйер резко проснулся и с отчаянной поспешностью, словно имел дело с адской машиной, остановил разошедшийся будильник. Постель Марты, охочей до холодка раннего часа, была уже пуста. Он привстал и почувствовал боль в плече: электрический звонок из вчерашнего дня в нынешний. По коридору, в голос плача, прошумела сердобольная Фрида. Он осмотрел, вздыхая, большущее фиолетовое пятно на толстой плечевине.

Умываясь, он из ванны слышал, как в соседней комнате Марта дышит и похрустывает, делая модную гимнастику. Потом закурил сигару, улыбнулся от боли, надевая пальто, и вышел.

Заметив, что у ограды стоит садовник (он же сторож), Драйер подумал, что хорошо бы хоть теперь, путем прямого вопроса, разрешить тайну, занимавшую его так давно.

— Вот беда, так беда, — степенно сказал садовник, когда Драйер подошел. — А ведь в деревне — отец и четыре сестрички. Шарахнуло, стало быть, на гололедице, — вот и капут.

— Да, — кивнул Драйер. — Ему проломило голову, грудную клетку — все.

— Хороший, веселый парень, — сказал садовник с чувством. — И помер. У него от гаража ключ, должно быть, остался. Заперто.

— Послушайте, — начал Драйер, — вы случайно не заметили... — дело в том, что я сильно подозреваю...

Он запнулся. Пустяк, время глагола остановило его. Вместо того чтобы спросить: «Он пьет?», надобно было спросить: «Он пил?». Благодаря этой перестановке времени получалась какая-то логическая неловкость. Труп не может быть пьяницей; а что было раньше — много ли, мало ли пролилось того-сего в несуществующую теперь глотку, — нет, это перестало быть забавным...

— ...я насчет садовой дорожки. Сильно подозреваю, что можно тут поскользнуться. Вы бы ее песком посыпали...

«Финис... — усмехнулся он про себя, сидя в таксомоторе. — “Икар” продам без ремонта. Ну его... Марта не хочет новой машины. Права, пожалуй. Надо переждать».

Но Марта отказалась от автомобиля совсем по другой причине. Как-то странно, подозрительно выходит, если не пользуешься собственной машиной, отправляясь (три-четыре раза в неделю, ровно к семи часам вечера) на урок ритмических поклонений и всплескиваний («Флора, прими эти розы...» или: «О, Солнце...»). А не могла она пользоваться ею потому, что от шофера до анонимного письмеца один только шаг. Нужно, значит, обратиться к другим — и самым разнообразным — способам передвижения, вплоть до подземной железной дороги, привозившей очень удобно из любой части города (а окружной путь был необходим — хотя пешком можно было дойти в четверть часа) на ту улицу, которая выходила на площадь, где по вторникам и пятницам продавалась рыба, шерстяные носки, всякая всячина. Драйер, кстати сказать, никогда в подземных вагонах не ездил, утверждая, что там всегда попахивает сыром. Вообще, — если соблюсти вот эти небольшие, но скучнейшие предосторожности, он вряд ли мог догадаться, что она не четыре раза в неделю, а только раз — да и то не всегда — склоняется, рассыпая невидимые цветы, босоногая, в тунике, среди семи-восьми таких же плавных, полуголых, богатых дам.

В тот день, когда в газете, в отделе происшествий, мелькнули коммерсант Драйер (владелец магазина «Дэнди»)

и его почему-то безымянный — и значит, уже навеки безымянный — шофер, в тот день Марта пришла немного раньше обыкновенного. Франц еще не возвращался со службы. Она села на сизую кушетку, принявшую ее с недовольным кряком, и стала ждать. Лицо у нее было нынче особенно бледное, с едва подкрашенными губами; она надела закрытое платье, бэжевое, с пуговками. Когда, знакомыми шагами простучав по коридору, вошел Франц (с той резкой бесцеремонностью, с которой мы входим в собственную, заведомо пустую, комнату), она не улыбнулась. Увидев ее, Франц радостно ахнул и, не снимая шляпы, принялся кропить Марту мелкими поцелуями.

— Ты уже знаешь? — спросила она, и в глазах у нее было то странное выражение, которое он надеялся сегодня не увидеть.

— Еще бы, — сказал он и, встав с кушетки, быстро стянул с шеи разноцветное кашнэ. — В магазине узнал. Меня даже расспрашивали, как и что. Я, по правде сказать, вчера немного испугался, когда он так мрачно вошел. Ужас.

— Что ужас, Франц?

Он уже был без пиджака, без галстука и шумно мыл руки.

— Да вот — куски стекла прямо в морду. Углами. А потом тяжелая артиллерия — металл, удар металла... взрывается голова. Я такие вещи так ясно себе представляю. Прямо тошнит.

Она дернула плечом:

— Все нервы, Франц. Нервы. Поди сюда.

Он подсел к ней и, стараясь не замечать, что сегодня все как-то по-новому, что она поглощена какими-то чуждыми мыслями, тихо спросил:

— А что, — моих туфелек ты сегодня не наденешь?

Это было условное иносказание. Но Марта как будто и не расслышала.

— Франц, — сказала она, гладя его по руке и этим его руку удерживая: — я ведь вчера предчувствовала... Подумай, он чудом выскочил...

На душе у него сразу стало темновато, что-то внутри скучно заскулило; он отвернулся и хотел засвистать, но звука не получилось — и он так и остался с мрачно выпяченными губами.

— Что с тобой? Франц! Перестань дурачиться. Слышишь!

Она притянула его к себе за шею; он напрягся, не давался, — но вдруг ее острый, бриллиантовый взгляд полоснул его, и он весь как-то осел, как оседает с жалобным писком детский воздушный шар. Слезы обиды затуманили очки. Он прижался щекой к ее плечу.

— Я не могу так, — заговорил он, тихонько подвывая. — Уже вчера вечером... Нет, я не могу так. Уже вчера я почувствовал, что ты меня как-то не по-настоящему, не всецело... Я не могу... Ты так его ждала, так волновалась! И вот теперь — продолжаешь об этом. Ах, это очень тяжело...

Марта замигала в недоумении. Потом поняла.

— Вот оно что, — протянула она, усмехнувшись. — Вот оно что... Прелестно!

Она взяла его голову, поглядела ему в глаза пристально и строго, и затем медленно, с полуоткрытым ртом, словно хотела мягко укусить, приблизилась к его лицу, завладела его губами.

— Эх ты... — сказала она, медленно отпустив его; — эх ты... — повторила она, кивая и усмехаясь в нос. — Вот не думала, что ты такой глупый. Нет, постой, — я хочу, чтобы ты понял, какой ты глупый... Постой же...

Но Франц нежно взбесился. С края кушетки хлопнулась на пол сумка, и никто ее не поднял. Марта стала вдруг что-то говорить вполголоса, торопливо и несвязно; так бывает со спящим: застонет и быстро-быстро забормочет, — потусторонняя скороговорка. Потом смолкает. И после молчания она сказала мутным спросонья голосом:

— Подними, моя радость, сумку. Все, кажется, рассыпалось.

Он поднял. Ему было опять совсем легко и весело. Вполне понятно, что она вчера волновалась. Просто — дружеская тревога. Ничего тут нет особенного.

— Слушай, — сказала она погодя. — Слушай, Франц... как было бы чудесно, если б не нужно было мне уходить сегодня. Ни сегодня, ни завтра. И вообще — никогда. Конечно, мы бы не могли жить вот в такой крохотной комнатке.

— Мы бы взяли комнату побольше да посветлее, — уверенно сказал Франц.

— Да, — давай помечтаем. Побольше и посветлее. Даже, пожалуй, две комнаты, а? Ты думаешь — три? И еще кухню...

— Но ты бы не стряпала. У тебя такие драгоценные ногти.

— Да, конечно; у нас была бы прислуга. Взяли бы ту же Фриду. Мы как говорили — три комнаты?

— Нет, четыре, — подумавши, сказал Франц. — Спальня, гостиная, кабинет, столовая...

— Четыре. Так. Квартиру в четыре комнаты. С кухней. С ванной. И спальня будет вся белая, правда? А остальные комнаты будут синие. В гостиной и зале будет много, много цветов. И еще, в верхнем этаже будет комната — на всякий случай — для гостей, что ли...

— Как — «в верхнем этаже»?

— Ну да: у нас будет вилла.

— Да, конечно, — кивнул Франц.

— Давай дальше, милый. Значит, вилла. Со светлым холлом. Ковры, картины, серебро. Так? И небольшой сад. Газон. Фруктовые деревца. Магнолии. Правда, Франц?

Он вздохнул:

— Все это будет только лет через десять. Я не скоро выбьюсь...

Марта затихла — как будто ее не было в комнате. Он, улыбаясь, повернулся к ней и застыл в свою очередь: она на него смотрела, сощурившись, прикусив губу.

— Десять лет, — сказала она горько и холодно. — Ты хочешь ждать десять лет?

— Мне так кажется, — отвечал Франц. — Я не знаю. Может быть, если очень повезет... Но ведь вот: возьми Пифке; он с самого начала — значит, лет десять — в магазине. И занимает хорошую должность. А я знаю, что он живет очень скромно... получает не больше трехсот пятидесяти в месяц. Жена у него тоже служит. Квартира малюсенькая...

— Слава Богу, — ты это понял, — сказала Марта. — Видишь ли, друг мой, мечты нельзя отдавать в банк под проценты. Эти бумаги неверные; да и проценты — пустяшные.

— Как же нам быть? — проговорил Франц. — Я бы, знаешь, женился на тебе хоть сейчас. Я не могу жить без тебя. Я как пустой рукав без тебя. Но ведь даже ковер — или там приличный сервиз — не могу купить. Да и вообще — пришлось бы искать другой службы — ты понимаешь, — а я ничего не знаю, ничего не умею. Значит, опять учиться.

Мы бы жили в сырой комнатушке, впроголодь... Экономили бы на пище, на угле...

— Да, уж никакой бы дядюшка тебе не помогал, — сухо сказала Марта.

— Это вообще немыслимо, — сказал Франц.

— Совершенно немыслимо, — сказала Марта.

— Отчего ты на меня сердишься? — спросил он после минуты молчания. — Как будто я в чем-то виноват... Право же, я тут ни при чем... Ну, будем мечтать, если хочешь. Только не сердись. Давай продолжать. У меня будет восемь костюмов, — хочешь, я опишу тебе, какие?

— За десять лет, — сказала она, усмехнувшись, — за десять лет, мой милый, мужские моды успеют значительно измениться...

— Ну вот, ты опять сердишься...

— Да, я сержусь, — но не на тебя, на судьбу. Видишь ли, Франц, — нет, ты не поймешь...

— Я пойму, — сказал Франц.

— Ну так, видишь ли, обыкновенно люди делают всякие планы, — очень хорошие планы, — но совершено при этом упускают из виду одно: смерть. Как будто никто умереть не может. Ах, не смотри на меня так, как будто я говорю что-то неприличное...

У нее было сейчас точь-в-точь такое лицо, как вчера, когда бормотала о каком-то полицейском. Странное лицо.

— Мне пора, — сказала Марта, нахмурившись, — и, неторопливо встав, принялась перед зеркалом поправлять волосы.

— Уже продают на улицах елки, — сказала она, глядя в зеркало и высоко поднимая локти. — Я хочу купить елку, огромную, очень дорогую. Дай мне, пожалуйста, побольше денег с собой.

— Ты сегодня злая, — вздохнул Франц.

Он спустился вместе с ней по темной лестнице. Проводил до площади. Было очень скользко, ледок отблескивал под фонарями.

— Знаешь что? — сказала она, прощаясь с ним на углу. — Ведь я бы сегодня могла быть в трауре. Это случайность, что я не в трауре. Подумай об этом.

И произошло как раз то, чего она хотела: Франц мгновенно повеселел. Он посмотрел на нее и рассмеялся. Она рассмеялась тоже. Господин с фокстерьером, ждавший,

пока собака кончит обнюхивать фонарь, одобрительно и немного завистливо на них посмотрел. «В трауре», — сказал Франц, давясь от смеха. Она, смеясь, закивала. «В трауре», — сказал Франц, бубня смехом в ладонь. Господин с фокстерьером вздохнул и двинулся. «Я обожаю тебя», — слабым голосом проговорил Франц и довольно долго, мокрыми глазами, смотрел ей вслед.

Но как только она отвернулась, как только пошла, лицо у Марты снова стало сосредоточенным и строгим. Франц уже не видел этого. Он вытер платком стекла очков и тихо побрел домой, продолжая посмеиваться. Да, действительно — случайность. Сел бы *тот* рядом с шофером... К примеру, скажем. Взял и сел. И готово: вдова. Богатая вдова. Через год свадьба. Впрочем, — зачем сложные комбинации с автомобилем?.. Да и не всегда кончается такая катастрофа смертью; чаще всего отделываешься ушибами, переломом, порезами... Нельзя предъявлять случаю слишком сложных требований... именно так, пожалуйста, именно так, — чтобы мозги брызнули... Но мало ли что вообще бывает: болезни, скажем. Может быть, у него порок сердца? Или вот, от инфлюэнцы дохнут... Зажили бы тогда на славу... Первоклассное счастье. Магазин бы работал, денежки прибывали бы... А вернее всего, он жену переживет, — эдаким патриархальным дубом дотянет до двадцать первого века. Вот, в газетах было, что какой-то есть турок, которому полтораста лет...

Так он мечтал, смутно и грубовато, — и не сознавал, что мысль его катится от толчка, данного ей Мартой. Извне пришла и мысль о женитьбе. О, это была хорошая мысль. Если уже счастье — видеть Марту урывками, так какое же это будет огромное блаженство — иметь ее подле себя круглые сутки!.. Он употребил этот арифметический прием совершенно бесхитростно, — точно так же, как ребенок, любящий шоколад, воображает страну, где горы из шоколада: гуляешь и лижешь.

Он совершенно не заметил в те дни разъедающего, разрушительного свойства приятных мечтаний о том, как вот Драйера хватит кондрашка. Слепо и беззаботно он вступал в бред. Последующие свидания с Мартой были как будто такие же естественные, ласковые, как и предыдущие. Но подобно тому, как в этой простенькой квартире со старой скромной мебелью, с капустообразными цветами на

обоях, с наивно-темным коридором хозяином был старичок, бесповоротно, хоть и незаметно сошедший с ума, — в них, в этих свиданиях, таилось теперь нечто странное — жутковатое и стыдное на первых порах, но уже увлекательное, уже всесильное. Что бы Марта ни говорила, как бы нежно ни улыбалась, Франц в каждом ее слове и взгляде чуял неотразимый намек. Они были как наследники, сидящие в полутемной комнате, за стеной которой вот-вот должен испустить дух обреченный богатей; можно было говорить о пустяках, о близком Рождестве, о том, что теперь в магазине уйма работы, — лыжи и всякие шерстяные вещи идут превосходно, — можно было обо всем говорить, — правда, чуть глуше, чем обыкновенно, — но слух напряжен, в глазах неверный блеск, затаенная мысль не дает покою: ждешь, ждешь, что вот выйдет оттуда на цыпочках и красноречиво вздохнет хмурый доктор, — и в пройме двери будет видна спина аббата, склонившегося над белой, белой постелью.

Бессмысленное ожидание. Марта знала отлично, что как будто никогда и зубы у него не болели, никогда не бывало насморка. Потому особенно было для нее раздражительно, когда, накануне праздников, она сама простудилась, сухо и мучительно кашляла, потела по ночам, днем же бродила сама не своя, одурманенная простудой, с тяжелой головой, с жужжанием в ушах. К Рождеству ей не полегчало. Все же она надела вечером открытое легчайшее платье, пламенного цвета, с глубоким вырезом на спине, — и, оглушенная аспирином, стараясь ударами воли прогнать недуг, следила за изготовлением крюшона, за убранством стола, за румяной дымящей деятельностью кухарки.

В гостиной, упираясь венцом в потолок, вся опутанная легким серебром, вся в электрических, еще не зажженных лампочках, стояла свежая, пышная елка, равнодушная к своему шутовскому наряду. Между гостиной и передней, в проходном холле, где было светло и пустовато, где среди плетеной мебели тепличной тишиной дышали цветущие растения, где за решеткой искусственного камина пылал мандариновый жар, Драйер, в ожидании гостей, читал английскую книжку. Он шевелил губами и частенько заглядывал в толстенький словарь. Марта прошла мимо него и, не зная, что с собой делать в это длительное затишье перед первым звонком, села поодаль и, чуть отделив ступ-

ню от пола, стала разглядывать, так и эдак, яркую, острую туфлю. Была невозможная тишина. Драйер уронил словарь и, хрустнув щедрым крахмалом рубашки, поднял его, не отрывая взгляда от книги. Она чувствовала в груди духоту. Ей показалось, что просто кашлем этой духоты не разрядить; только одно сразу все разрешило бы и облегчило: если б вдруг исчез вон тот большой, желтоусый человек в смокинге. Острота ее ненависти дошла внезапно до такой степени проницательности, что на одно мгновение ей померещилось: его кресло пусто. Но дугой просверкнула запонка, он захлопнул словарь и проговорил, исподлобья ей улыбаясь: «Боже мой, как ты простужена; я отсюда слышу, как у тебя внутри все посвистывает».

— Убери книги, — сказала Марта. — Сейчас приедут гости. Это беспорядок.

— Ладно, — ответил он по-английски и тихо вышел из холла, мысленно сетуя на свое дурное произношение, на скудный запас иностранных слов.

Кресло у камина опустело, но это не помогло. Она всем существом ощущала его присутствие — там, за дверью, в той комнате, и в той и еще в той, — дому было душно от него, хрипло тикали часы, задыхались белые конусы салфеток на нарядном столе, — но как выкашлять его, как продохнуть?.. Ей казалось теперь, что так было всегда, что с первого дня замужества она его ненавидела, так безнадежно, так нестерпимо. На ее прямом и ясном пути он стоял ныне плотным препятствием, которое как-нибудь следовало отстранить, чтобы снова жить прямо и ясно. Человека лишнего, человека, широкой, спокойной спиной мешающего нам протиснуться к вокзальной кассе или к прилавку в колбасной, мы ненавидим куда тяжелее и яростнее, чем откровенного врага, откровенно напакостившего нам.

Она вдруг резко встала, почувствовав, что вот — сейчас задохнется... Что-то нужно было сделать, как-нибудь расчистить путь для дыхания жизни... И в это мгновение зазвучал звонок. Марта похлопала себя по вискам, проверяя прическу, и быстро прошла — не в переднюю, а назад, к двери гостиной, — чтобы оттуда, через холл, плавно выступить навстречу гостям.

С перерывами в несколько минут, семь раз повторялся звонок. Первыми явились неизбежные Грюны, затем Франц,

затем, почти одновременно: титулованный старик; фабрикант бумаги с супругой; две громких полуголых барышни; директор страхового общества «Фатум», курносый, тощий и молчаливый; розовый инженер в трех лицах, то есть с сестрой и с сыном, до жути похожими на него. Все это постепенно разогревалось, оживлялось, слипалось, пока не образовало одно слитое веселое существо, шумящее, пьющее, кружащееся вокруг самого себя. И только Марта и Франц никак не могли втиснуться в эту живую, цветистую, дышащую гущу — и изредка встречались глазами, — но и не глядя, и он и она все время ясно ощущали переменные сочетания их взаимных местонахождений, пространственные их положения друг относительно дружки: он идет с бокалом вина, наискось, — она в другом конце надевает бумажный колпак на лысого Вилли; он сел и заговорил с розовой сестрой инженера, — она тем временем прошла от Вилли к столу с закусками; он закурил, — она положила апельсин на тарелку. Так шахматист, играющий вслепую, чувствует, как передвигаются один относительно другого его конь и чужой ферзь. Был какой-то смутно-закономерный ритм в этих их сочетаниях, — и ни на один миг чувство этой гармонии не обрывалось. Существовала будто незримая геометрическая фигура, и они были две движущихся по ней точки, и отношение между этими двумя точками можно было в любой миг прочувствовать и рассчитать, — и хотя они как будто двигались свободно, однако были строго связаны незримыми, беспощадными линиями той фигуры.

Уже паркет был усыпан пестрым бумажным мусором; уже кто-то разбил рюмку и топырил липкие пальцы. Толстый Вилли Грюн, уже пьяный, в золотом колпаке, увешанный серпантином, широко раскрыв невинные голубые глаза, с восхищением рассказывал титулованному старику о своей недавней поездке в Россию, воодушевленно расхваливал Кремль, икру и комиссаров. Потом Драйер, пышущий теплом, раскрасневшийся, хохочущий, в поварском колпаке, подошел к ним, отвел Вилли в сторону и что-то ему зашептал, меж тем как розовый инженер продолжал рассказывать другим гостям страшную повесть о том, как в такую же праздничную ночь трое господ в масках ограбили всю компанию. В зале, смежной с гостиной, зарокотал граммофон. Драйер закрутил огромную госпожу Грюн-

старшую, и та клокотала и отмахивалась и наконец рухнула на тахту. Франц стоял у портьеры окна, жалея, что все еще не успел научиться танцевать. Он почувствовал, что Марта где-то совсем близко, — увидел ее белую руку на чьем-то черном плече, затем ее профиль, затем ее обнаженную бархатно-белую спину и чью-то чужую руку, опять профиль, опять спину — и ноги ее, светлые, словно по колено голые, двигались, двигались, как будто (если смотреть только на них) ноги женщины, не знающей, что с собой делать от нетерпения, от ожидания, — то медленно, то быстро ступавшие туда и сюда, поворачивавшие резко — и опять шагавшие в нестерпимом нетерпении. Она танцевала бессознательно, чувствуя только, как все время меняется расстояние между ней и Францем, стоящим у портьеры. Мимоходом она заметила, как Драйер, оставив свою даму, просунул руку в портьеру — очевидно, приоткрыл окно, так как в зале стало прохладнее. Танцуя, она мужа поискала глазами; и, не найдя его, поняла, что эта внезапная прохлада и легкость объясняются именно его отсутствием. Близко скользнув мимо Франца, она обдала его таким знакомым, выразительным взглядом, что он смешался и улыбнулся инженеру, лицо которого некстати подвернулось по прихоти танца. Еще и еще раз заводили граммофон, среди многих пар обыкновенных ног мелькали все те же упоительные ноги, и у Франца, от вина, от чужого кружения, начиналась какая-то бальная кутерьма в голове, словно все мысли его сразу научились плясать.

И внезапно что-то случилось.

Одна из барышень, среди танца, крикнула:

— Ах, смотрите, — портьера!

Все глянули, — и действительно, портьера на окне странно шевельнулась, переменила складки и в одном месте стала медленно набухать. Одновременно кто-то выключил электричество, и в темноте все заахали и остановились. В темноте странный овал света стал бегать по зале, портьера раздвинулась, и молча появился при зыбком свете человек в маске, в лохмотьях, с трубовидным фонарем в протянутой руке. Кто-то пронзительно вскрикнул. Голос инженера спокойно сказал в темноте: «Держу пари, что это наш милый хозяин». И вдруг, заглушая граммофон, продолжавший играть в темноте, раздался сильный голос Марты. Она закричала так, что некоторые отхлынули к двери,

которую, пыхтя и животом смеясь, загораживал Вилли. Фигура в маске захрипела и, наводя на Марту фонарик, двинулась вперед. Многие и впрямь испугались, — и Марта, продолжая кричать, холодно отметила, что инженер, стоявший с ней рядом, вдруг заложил руку назад, под смокинг, и что-то как будто вынимает. Тогда, поняв, что значит ее крик, она завопила еще пуще, до непристойности громко, — понукая, улюлюкая...

Франц не выдержал. Он стоял всех ближе к вошедшему и теперь проворной пятерней стащил с его лица отвратительно хрустнувшую маску. Меж тем кто-то, наконец одолев пыхтевшего Вилли, включил свет. Посредине комнаты, в шарфе, в черных лохмотьях, стоял Драйер и, помирая со смеху, пошатываясь, приседая, красный, растрепанный, указывал пальцем на Марту. Быстро сообразив, как теперь разрешить свой напускной ужас, она повернулась к мужу спиной, пожала голым плечом и спокойно подошла к замиравшему граммофону. Он бросился к ней и, смеясь, поцеловал ее в щеку. Франц почувствовал вдруг приступ давно назревавшей тошноты и быстро ушел из залы. За собой он слышал шум, все хохотали, орали, — вероятно, толпясь вокруг Драйера, тиская его, тиская... Прижав платок к губам, Франц кинулся в переднюю, рванул дверь уборной. Оттуда огромной бомбой вылетела старуха Грюн и исчезла за поворотом стены. «Боже мой, Боже мой», — приговаривал он, согнувшись вдвое, — и потом, глубоко дыша, брезгливо вытирая рот, пошел медленно обратно. В гостиной он остановился. Зловеще горела широкая елка. Там, дальше, продолжался захлебывающийся шум голосов, ревел граммофон. Вдруг он увидел Марту.

Она быстро к нему подошла, оглядываясь на ходу. Как в дурном сне, пылала электрическая елка. Они были одни в яркой гостиной, а там, за дверью, был шум, гогот, кто-то кричал петухом.

— Сорвалось, — сказала Марта.

Ее пронзительные глаза были сразу и спереди, и сбоку, и сзади — так все кружилось. Он спросил, плечом касаясь шуршавшей хвои:

— Что сорвалось?

— Я так больше не могу, — забормотала Марта, меж припадков лающего кашля, — ...не могу... И посмотри на себя: ты бледен как смерть...

Шум за стеной разрастался, близился; уже казалось — вот эта огромная елка орет всеми своими лампочками.

— ...Как смерть, — сказала Марта и закашлялась.

Он опять почувствовал прилив тошноты; шум голосов хлынул, Драйер, с топотом, потный, хохочущий, спасаясь от Грюна и инженера, промчался мимо, за ними другие, — все кричало, гудело, стонало, — и этот хищный шум не умолк в ту ночь; он последовал наутро за Францем, окружал его потом и на улице, и дома, и во сне, и опять наяву. Как будто прорвались в мозгу тайные шлюзы, шумящая темнота помчала, закружила его. И пока он боролся, было еще страшно, — но когда он решился и отдался ревущему бреду — все стало так легко, так странно, почти сладостно. И было по-праздничному пусто на солнечных улицах, было тепло, было мокро, всюду большие лужи, полные рябого неба. К вечеру во всех окнах зажглись елки, — и прошла какая-то женщина в маске рождественского деда, с ватной бородой, — и раздавала какие-то объявления. Он шел и никак не мог сообразить, вчера ли был этот бал у Драйера или третьего дня. Но Марты он с тех пор не видел; значит, должно быть, — вчера. Он прислушался. Да, шум был тут как тут, — но уже ровный, понятный, признанный. «Я больше не могу». Да, она права. Все будет так, как она решит.

Он заторопился, нетерпеливо толкнул калитку, почти бегом бросился к дому. Никогда бы он нынче не пошел сюда, если б не совершенно непреодолимое желание увидеть Марту.

В передней он заметил рыжий чемодан и пару великолепных лыж. В холле друг против друга стояли Драйер и Марта. Он смеялся и быстро говорил; она молча кивала.

— А, Франц! — сказал он, обернувшись, и поймал племянника за пуговицу. — Вот это кстати. Я уезжаю недельки на три.

— Там — лыжи... — вяло проговорил Франц, и сам удивился, что Драйер перестал быть страшен ему.

— Да, лыжи. Я еду в Давос.

Он посмотрел на жену и рассмеялся:

— Нет, не приезжай ко мне. Повеселись тут на праздниках. Вот, Франц поведет тебя в театр. Право, моя душа, не сердись, что я тебя не беру. Снег только для мужчин. Этого не изменишь.

— Ты еще опоздаешь на поезд, — сказала Марта.

Он посмотрел на часы, кивнул и стал торопливо прощаться. Горничная прибежала сказать, что таксомотор ждет у калитки. Они все вышли в сад. Капало. Марта, без шляпы, в кротовом пальто, шла, покачивая бедрами, соединив рукава. Довольно долго устраивали на крыше автомобиля длинные лыжи. В сторонке Том поедал навоз. Наконец захлопнулась дверца. Таксомотор двинулся. Франц вяло отметил номер: 22221. Эта неожиданная единица после стольких двоек была странная. Они медленно пошли назад к дому по хрустящей тропе.

— Оттепель, — сказала Марта. — Я уже сегодня кашляю совсем мягко.

Франц подумал и сказал:

— Да, но еще будет холодно.

— Возможно, — сказала Марта.

Когда они вошли в пустой дом, у Франца было впечатление, будто они вернулись с похорон.

ГЛАВА VIII

Она принялась его учить — упрямо и проникновенно. Стыдясь вначале, и спотыкаясь, и путаясь, он постепенно начинал понимать то, что, почти без слов, почти только мимикой, она внушала ему. Он прислушивался и к ней, и к завывающему звуку, который постоянно, то громче, то тише, ему сопутствовал, — и уже чуял в этом звуке ритмическое требование, и смысл, и правильность. То́, чего хотела от него Марта, оказывалось таким простым... Почувствовав, что он это усвоил, она молча кивала, с пристальной улыбкой глядя вниз, как будто следя за движением и ростом уже отчетливой тени. Неловкость, стыд, то чувство горбатости, которое было сперва, — все это скоро пропало; зато прямая, стройная, но искусственная поступь, которой она учила его, поработила его всецело; он уже не мог не слушаться разгаданного звука. Головокружение стало для него состоянием привычным и приятным, автоматическая томность — законом естества; и Марта уже улыбалась, уже прижималась виском к его виску, зная, что он с ней заодно, что он сделает так, как нужно. Уча его, она сдерживала свое нетерпение, нетерпение, которое он

уже раз подметил в мелькании ее нарядных ног. Она теперь, стоя перед ним и двумя пальцами подтянув юбку, медленно, как в задержанном кинематографе, повторяла эти движения, чтобы он понял их, медленно переступала, поворачивала носок. Когда же, под напором ее ладони, он научился кружиться, когда наконец его шаги стали отвечать ее шагам, когда в зеркале она мимоходом заметила не кривой урок, а гармонический танец, тогда она ускорила размах, дала волю нетерпеливому волнению и сурово порадовалась его послушливой быстроте.

Он познал одуряющий паркетный разлив огромных зал, окруженных ложами; он облокачивался на вялый бархат барьера; он видел себя и Марту в пресыщенных зеркалах; он платил из ее шелкового кошелька лощеным, хищным лакеям; его макинтош и ее кротовое пальто часами обнимались в тесном сумраке нагруженных вешалок, под охраной позевывающих гардеробщиц; и все звучные названия модных зал и кафе — тропические, хрустальные, королевские — стали ему так же знакомы, как названия улиц в том городке, где он когда-то жил наяву.

И вот, запыхавшись, судорожно переводя дух, они сидели рядом на сизой кушетке, в его тихой комнатке.

— Новый год, — сказала Марта. — Наш год. Напиши матери, что тебе хорошо, что ты веселишься. Подумай, как потом... после... она будет удивлена...

Он спросил:

— А срок? Ты говорила о сроке... Какой ты установила срок?

— Самый краткий, самый краткий. Чем быстрее, тем лучше...

— Да, конечно, — медлить нельзя.

Она откинулась на подушки, заломив руки...

— Месяц, может быть два. Нужно все рассчитать, мой милый...

— Я без тебя сошел бы с ума, — сказал Франц. — Меня все пугает. Эти обои, люди на улицах, мой хозяин... Его жена никогда не показывается. Это странно.

— Ты должен быть спокойнее. Иначе вообще ничего из дела не выйдет. Поди сюда...

— Я знаю — все будет чудесно, — сказал он, припадая к ней. — Но только нужно действовать наверняка. Малейший промах...

— Если ты будешь бояться, Франц...

— Нет, конечно нет. Я не так выразился. Просто нужно найти верный способ...

— Быстро, мой милый, совсем быстро — ты же слышишь ритм...

Как-то так вышло, что они уже не сидели на сизой кушетке, а танцевали, в озаренном пространстве между белеющих столиков, в кружащемся кафе. Оркестр играл, захлебываясь. Среди танцующих был рослый негр.

— Найдем, не можем не найти... — скороговоркой, в такт музыке, продолжала Марта. — Ведь мы в своем праве...

Он видел ее длинный горящий глаз, черную прядь, прикрывавшую ухо... Если б можно было так всегда — не отрываясь от нее, скользить... Но был магазин, где он, как веселая кукла, кланялся, вертелся; но были ночи, когда он, как мертвая кукла, лежал навзничь в постели, не зная, спит ли он или бодрствует; — и кто это шаркает и шепчет в коридоре, — и почему гремит в ухо будильник?.. А ведь правда, уже рассвет, — и вот бровастый старичок с ужимочкой несет ему кофе. И на полу валяются пропотевшие, порванные шелковые носки.

И в такое вот мутное утро, как-то в воскресенье, когда он пришел к Марте и они чинно ходили по саду, — она молча показала ему снимок, который только что получила из Давоса. На снимке улыбался Драйер, в лыжном костюме, с палками в руках, и лыжи лежали параллельно, и кругом был яркий снег, и на снегу — тень фотографа.

Когда фотограф — свой брат лыжник — щелкнул и разогнулся, Драйер, продолжая сиять, двинул вперед левую лыжу, но так как стоял он на незаметном уклоне, лыжа скользнула дальше, чем он сам предполагал, и, взмахнув палками, он довольно грузно повалился на спину. Некоторое время он не мог расцепить скрестившихся лыж и раза два, глубоко, по локоть, уходил рукой в снег. Когда же он наконец поднялся, обезображенный снегом, и осторожно пошел, лицо его уже было серьезно. Он мечтал делать всякие стремительные христиании и телемарки — резко поворачивать в облаке снега, лететь дальше по склону, — но Бог был, видимо, против этого. На снимке, однако, он вышел настоящим лыжником, и долго он любовался им, прежде чем сунуть его в конверт. Но на следующий день после отсылки снимка, утром, стоя в желтой пижаме

у окна, он подумал, что вот уже здесь почти две недели, а меж тем на лыжах бегает так же плохо, как и в прошлую зиму. Вспомнил он, кстати, изобретателя, который, должно быть, уже принялся за работу в устроенной для него мастерской; вспомнил еще кое-какие занятные дела, связанные с расширением магазина да с продажей участка земли, до которого, ползя на запад, уже жадно дотянулся город; вспомнил все это, посмотрел на синие следы лыж, исполосовавшие снежный склон, — и решил до срока покатить обратно; и за этими мыслями была еще одна теплая мысль, которую он сознательно не пускал в передний ряд... Хотелось ему ненароком явиться домой, чтобы душу Марты застать врасплох, посмотреть — улыбнется ли она от неожиданности или встретит его так же плавно и немного хмуро, как если б была предупреждена об его приезде.

Мелкие белесоватые кусочки Франц швырнул в сторону, и ветер понес их по газону.

— Глупый... — спокойно сказала Марта. — Зачем ты это сделал? Он же меня спросит — наклеила ли я этот снимок в альбом...

— Я альбом тоже когда-нибудь разорву, — сказал Франц, чувствуя, как ноги у него вдруг ослабели от волнения.

Издалека, очень радостно, примчался Том: ему показалось, что Франц что-то бросил — вероятно, камешек. Но камешка нигде не оказалось.

И как-то вечером, следуя все тому же мучительному желанию утвердиться, освободиться, войти в свои права, — Марта и Франц решили — хоть один этот вечер — пожить всласть, пожить так, как они потом заживут, устроить генеральную репетицию уже недалекого счастья.

— Ты сегодня здесь хозяин, — сказала она. — Вот твой стол, вот твое кресло, вот, если хочешь, вечерняя газета.

Он скинул пиджак, прошелся по всем комнатам, как будто осматривая их, как будто вернувшись в свой теплый дом из далекого путешествия.

— Все в порядке? — спросила она. — Ты доволен?

Он обнял ее за плечо, и они оба стали бок о бок перед зеркалом. Был он в этот вечер плохо выбрит, вместо жилета надел простоватый рыжий свэтер, — и в Марте тоже было что-то домашнее, тихое, ее волосы, недавно вымытые,

лежали негладко, на ней была вязаная кофточка, которую она носила только когда была совсем одна.

— Стой прямо. А то выходит, что мы одного роста.

— Так и есть, — усмехнулся он. — Смотри, я не могу вытянуться выше.

Потом он повалился в кожаное кресло, она села к нему на колени, и то, что она была довольно тяжеленькая, както подбавляло уюта.

— Я люблю твое ухо, — сказал он, приподнимая лошадиным движением губ прядь на ее виске.

В соседней комнате нежно и звучно заиграли часы. Франц тихо засмеялся.

— Нет, — ты подумай. Вдруг он бы вошел сейчас...

— Кто? — спросила Марта. — Я не понимаю, о ком ты говоришь?

— Да он. Вернулся бы, не предупредив. Он умеет так таинственно открывать двери.

— Ах, ты о моем покойнике... — лениво сказала Марта, покачиваясь на его коленях. — Нет, покойник у меня аккуратный. Всегда предупредит...

Молчание. В тишине явственно тикали далекие часы.

— Покойник... — усмехнулся Франц, — ...покойник...

— Ты его ясно помнишь? — пробормотала Марта, почесывая нос об его плечо.

— Приблизительно. А ты?

— Я тоже. Это было так давно...

Она вдруг подняла голову.

— Франц, — сказала она, сияя глазами, — никто никогда не узнает!

Уже привыкший, уже совсем ручной, он молча закивал.

— Мы это сделали так просто, так точно... — сказала Марта, щурясь, словно вспоминала. — Ни тени подозрения. Ничего. Потому что за нас наша судьба. Иначе и не могло быть. Ты помнишь похороны?

Он закивал опять.

— Была оттепель. Помнишь? Я еще кашляла, но уже мягко...

Молчание.

— У меня, знаешь, чуть-чуть нога устала, — шепнул Франц. — Нет, постой, — не вставай, сядь только иначе. Вот так.

— Мое счастье, мое счастье... — сказала она. — Мой милый муж. Я никогда не думала, что могут быть такие браки, как наш...

Он скользнул губами по ее теплой шее и проговорил:

— Уж поздненько... Не пора ли нам спать. А?

— Какой ты... Спать захотел... Ну ладно.

Она встала, сильно в него упершись; потом вся вытянулась, расправилась...

— Пойдем наверх, — сказала она, мягко зевнув. — В нашу спальню.

— Можно? — спросил Франц, но не двинулся с места.

— Конечно. Ну что же ты, — вставай. Уже половина одиннадцатого.

— Я, — знаешь, — все-таки покойника-то... побаиваюсь, — сказал Франц, покусывая губы.

— Ах, он только явится через неделю. Чего тут бояться.

— Но все-таки... как же так... Например, прислуга...

— Глупости. Спят мертвым сном. На другой стороне дома.

— Ну хорошо, — решился Франц.

Они потушили свет в гостиной, медленно поднялись по внутренней лестнице, короткой и скрипучей; пошли по голубенькому коридору.

— Да что ты ходишь на цыпочках, — громко рассмеялась Марта. — Пойми же, — мы женаты, женаты...

Она показала ему пустую комнату для гимнастики, гардеробную, ванную и наконец спальню.

— Покойник спал вон на той постели, — сказала она. — Но, конечно, белье с тех пор переменили. Если хочешь помыться или что, пойдем вот сюда, в ванную.

— Нет, я тебя подожду здесь, — сказал Франц, рассматривая куклу на ночном столике: долголягий негр во фраке. Она оставила дверь полуоткрытой. Платье ее уже лежало на стуле. Оттуда, из полуоткрытой двери, лился какой-то фарфоровый свет и доносилось журчание воды.

Он вдруг почувствовал, что в этой чужой, нестерпимо белой комнате, где все напоминает ему того... покойника, — он раздеться не в состоянии. С отвращением он поглядел на постель, что была поближе к окну, на большие колодки под стулом, — и ему стало попросту страшно.

Он прислушался. Ему почудилось, что за журчанием воды слышен еще какой-то звук — кто-то будто стукнул

дверью внизу, где-то что-то скрипит и потрескивает. Мгновенно ошалев от страха, он кинулся к двери ванной; одновременно вышла оттуда Марта, розовая, растрепанная, в оранжевом пеньюаре.

— Что-то произошло, — сказал он быстрым плюющимся шепотом. — Мы больше не одни. Ты прислушайся...

Марта нахмурилась и, приоткрыв дверь в коридор, постояла так, наклонив голову.

— Я тебя уверяю... Я слышал...

— Мне тоже стало неприятно, — тихо сказала Марта. — Знаешь, милый, мы все-таки не должны так безумствовать. Ведь теперь уже недолго ждать. Ты лучше уходи.

— Но как же... там, внизу... Как я спущусь...

— Никого нет, Франц. Нельзя быть таким нервным. Вот, возьми ключ; завтра мне отдашь.

Она проводила его до лестницы, продолжая прислушиваться и чувствуя сама неприятное волнение.

Что-то внизу громко и раздраженно стукнуло. Франц остановился, ухватившись за перила. Но она облегченно рассмеялась.

— Ах, я понимаю, — сказала она, — это там есть такая дверь. Дверь нижней уборной. Она всегда хлопает по ночам, если ее плотно не затворить.

— Я, признаться, немножко испугался, — выдохнул Франц.

— Все-таки, милый, лучше уходи. Мы не должны рисковать.

Он обнял ее; она, улыбаясь, дала поцеловать себя в плечо, оттянув для этого кружево пеньюара, и оставалась стоять на площадке короткой, театрально-синей лестницы, пока он, сгорбившись, поспешно отворял дверь.

Хватил по лицу сильный, чистый ветер. Гравий приятно захрустел под ногами. Франц глубоко набрал воздуха; затем чертыхнулся. Она была так хороша... Оранжевая, сияющая... Если б он так легко не пугался... И его охватила тяжелая злоба при мысли, что призрак, покойник, выгнал его из дома, где по праву он, Франц, подлинный хозяин. Бормоча что-то на ходу, как часто с ним случалось в последнее время, он быстро пошел по темному тротуару и затем, не глядя по сторонам, стал наискось переходить улицу в том месте, где всегда переходил, когда возвращался восвояси. Автомобильный рожок, гнусавый и яростный,

заставил его отпрыгнуть. Франц, продолжая бормотать, ускорил шаг и завернул за угол. Меж тем таксомотор затормозил, неуверенно пристал к панели. Шофер слез и открыл дверцу. «Какой номер? — спросил он. — Я забыл номер». Никакого ответа. «Какой номер?» — повторил шофер и, протянув руку в темноту, потряс сидящего за плечо. Тот не сразу проснулся. Наконец он открыл глаза, привстал, вылез на тротуар. «Пятый, — ответил он на вопрос шофера. — Вы немного промахнулись».

Окно спальни было освещено. Марта устраивала на ночь волосы. Вдруг она замерла с поднятыми локтями. Совершенно ясно она услышала громкий треск, как будто что-то упало. Она метнулась в коридор. Кто-то внизу, в передней, раскатисто смеялся, — знакомый смех. И смеялся он потому, что, неловко повернувшись с парой длинных лыж на плече, уронил их, сбил с подзеркальника белую щетку, взлетевшую бумерангом, и спотыкнулся об свой же чемодан. А затем, на мгновение, он узнал совершенное счастье. На лице Марты была изумительная улыбка. Он только не заметил, что глядит-то она не на него, а как-то через его голову, улыбаясь не ему, а доброй, умной судьбе, которая так просто и честно предотвратила нелепейшую катастрофу.

— Нам повезло... Судьба нас чудом спасла, — рассказывала она потом Францу. — Но это урок... Ты сам видишь: дольше тянуть невозможно. Раз — пронесло, два — пронесло, а затем — крышка. И что тогда будет? Предположим, он даст мне развод. Что дальше? Я совершенно так же бедна, как и ты, мои родители разорены, живут, бедняги, у моей сестры в Гамбурге, — никто ни мне, ни тебе не поможет. Да и разве две-три тысячи, которые я могла бы в конце концов добыть, чем-нибудь помогли бы? Нет, — нам нужно — все...

Франц пожал плечами:

— Зачем ты мне это говоришь? Мы об этом достаточно уже толковали. Я отлично знаю, что есть только один путь.

Она тогда поняла, увидев, какой скользкий, мутный блеск стоит в его зеленоватых глазах, — она поняла, что теперь она своего добилась, что подготовлен он совершенно, созрел окончательно, — и что можно теперь приняться за дело. И действительно: своей воли у Франца уже не было, — но он преломлял ее волю по-своему. Легкая выполнимость ее замысла стала ему очевидной благодаря

очень простой игре чувств. Уже однажды они Драйера удалили. Был покойник; были даже все внешние признаки смерти; тошнота смерти, похороны, опустевшие комнаты, воспоминание о мертвом. Все было уже проделано на голой сцене, перед темным и пустым залом. Затем, с потрясающей неожиданностью труп откуда-то вернулся, заходил, заговорил — точь-в-точь как живой. Но что из этого? Было легко и нестрашно положить этой мнимой жизни конец, из трупа опять сделать труп. И на этот раз — окончательно.

Мысль об умерщвлении стала для них чем-то обиходным. Натянутости, стыда — в этой мысли уже не было, как не было в ней и азартной жути, и всего того, что вчуже волнует доброго семьянина, читающего хронику в истерической газетке.

Слова «пуля» и «яд» стали звучать столь же просто, как «пилюля» или «яблочный мусс». Способы умерщвления можно было так же спокойно разбирать, как рецепты в поварской книге. И, быть может, именно по врожденной у женщины хозяйственной склонности к стряпне и природному знанию пряностей и зелий, полезного и вредного, — Марта прежде всего подумала о ядах.

Из энциклопедического словаря они узнали о ядах Локусты и Борджиа. Какой-то отравленный перстень недели две мучил воображение Франца. По ночам ему снилось коварное рукопожатие. Он спросонья шарахался в сторону и замирал, приподнявшись на напряженной руке; где-то под ним, на простыне, только что перекатился колючий перстень, и страшно было на него ненароком лечь. Но днем, при спокойном свете Марты, все было опять так просто. Тоффана продавала свою водицу в склянках с невинным изображением святого. Словно после благодушной понюшки, почихивала жертва министра Лэстера. Марта нетерпеливо захлопывала словарь и искала в другом томе. Оказывалось, что римское право видело в венефиции сочетание убийства и предательства. «Умники...» — усмехалась Марта, резко перевертывая страницу. Но она все не могла добраться до сути дела. Ироническое «смотри» отсылало ее к каким-то алкалоидам. Франц дышал, глядя через ее плечо. Пробираясь сквозь проволочные заграждения формул, они долго читали о применении морфина, пока Марта, дойдя до каких-то плевритических экссудатов, не догадывалась вдруг, что речь идет о ядах прирученных.

Обратясь к другой литере, они узнали, что стрихнин вызывает судороги у лягушек. Марта начинала раздражаться. Она резко вынимала и ставила обратно в шкаф толстые тома. Мелькали цветные таблицы — ордена, этрусские вазы, осоковые растения... «Вот это уже лучше, — сказала Марта и негромко прочитала: — ...рвота, ощущение тоски, звон в ушах, — не сопи так, пожалуйста, — невыносимое чувство зуда и жжения по всей коже... зрачки сужены до размера булавочной головки». Франц почему-то вспомнил, как в школьные годы тайком читал в таком же словаре статью о проституции. Но он взглянул на внимательный профиль Марты, и все стало опять вполне естественным. «Нет, — сказала она, цокнув языком, — медицина... это, по-видимому, не так просто найти, как я думала. Нужно, что ли, каких-нибудь специальных книжек. Подтянись, Франц, — он приехал». Она не торопясь поставила том на место, не торопясь закрыла стеклянные створки шкафа, пока из загробного мира, посвистывая на ходу, пощелкивая над лающей собакой, близился Драйер. Но она не сдавалась. По утрам, одна, опять она рыскала глазами по увертливым статейкам энциклопедии, стараясь найти тот простой деловитый яд, который ей мерещился. Случайно в конце одного параграфа она наткнулась на библиографический списочек трудов по отравлению. Она посоветовалась с Францем, не купить ли одну из этих книг. Он побледнел, но сказал, что, если нужно, пойдет и купит. Но она не решалась пускать его одного. Скажут ему, что книжку нужно выписать, или окажется, что труд состоит из десяти томов стоимостью в двадцать пять марок каждый. Он смешается, сдуру купит, даст свой адрес. Пойди она вместе с ним, он, конечно, будет держать себя превосходно — естественно и небрежно: студент, мол, медик, химик. Но пойти вдвоем — опасно. Да и раз втянешься в это — начнешь бегать по магазинам... Чорт знает, какая ерунда получится. Она перебрала в уме все то немногое, что раньше знала или теперь выудила — о способах отравления. Одно ей было уже ясно — что, во-первых, у всякого яда есть свое эхо — противоядие, и что, во-вторых, экспертиза всегда найдет причину смерти. Но все же она еще довольно долго, с покорным содействием Франца (купившего однажды совершенно самостоятельно на уличном лотке «правдивую историю маркиза Бренвилье, знаменитого отравителя»), продолжала лелеять мысль

о яде. Как-то она даже остановилась на цианистом калии. Это звучало уже не романтично, а бодро и солидно. Мышь, проглотив ничтожную часть грамма, падает мертвой, не пробежав и одной сажени. Она представила его себе в виде щепотки бесцветного порошка, которую можно было незаметно бросить в чашку чаю.

— Это было бы так просто, — сказала она Францу, улыбаясь своей чудесной, влажной улыбкой. — Пили бы вместе чай, вечерком, и вдруг...

— Надо достать, — ответил он. — Я достану. Но только я совершенно не знаю, как. Ведь если пойти в аптеку... Нет, я совершенно не знаю...

— Ты прав, — усмехнулась Марта. — Конечно, есть кабачки, где можно познакомиться с какой-нибудь личностью — вроде тех, которые торгуют кокаином... Но это все не то. Свинство мечтать, когда мы в таком положении. А даже если удастся что-нибудь достать — то все равно вскроют, узнают. Я почему-то думала, что есть такие яды, которые действуют бесследно. Взял и помер. Врачи полагают, что от разрыва сердца. И дело с концом. Я совершенно была уверена, что существуют такие яды. Ужасно глупо, что их нет. И как жаль, Франц, что ты не медик, — мог бы разузнать, рассудить...

— Я все готов сделать, — сказал он несколько сдавленным голосом, так как в эту минуту стаскивал башмаки, а они были новые и неприятно жали. — Я на все готов. Я тоже думал... Я тоже...

— Много мы потратили времени попусту, — вздохнула Марта. — Я, конечно, не ученая...

Она аккуратно сложила на кресле снятое платье. Была она в плотных вязаных панталонах и в нательной фуфайке под блестящей розовой сорочкой — так как в февральские, пронзительно-ветреные дни всегда боялась бронхита.

— Нужно годами изучать яды, — сказала она, открывая постель. — Только тогда можно за это браться.

Он в свою очередь аккуратно натягивал снятый пиджак на деревянные плечи вешалки, предварительно вынув и положив на стол: перо, два карандаша, записную книжку, ключи, кошелек с тремя марками, письмо к матери, которое он забыл отправить. Затем он снял часы с кисти, положил их на ночной столик. Она всегда уходила ровно в четверть девятого. Оставалось двадцать пять минут.

— Милый, поторопись... — сквозь зубы проговорила Марта.

— Эх, какую я мозоль себе натер, — крякнул он, поставив босую ногу на край стула и разглядывая желтую шишку на пятом пальце. — А ведь это мой номер. Ноги, что ли, у меня выросли...

— Франц, иди же... Потом будешь осматривать...

После, действительно, он осмотрел мозоль основательно. Марта еще лежала с закрытыми глазами, неподвижно и блаженно. На ощупь мозоль была как камень. Он надавил на нее пальцем и покачал головой. Во всех его движениях была какая-то вялая серьезность. Надув губы, он почесал темя. Потом, с той же вялой основательностью, стал изучать другую ногу. Никак в голове не укладывалось, что, вот, номер — правильный, а все-таки башмаки оказались тесными. Вон они там стоят в углу, рядышком, желтые, крепкие. Он подозрительно на них посмотрел. Жалко — такие красивые. Он медленно отцепил очки, дохнул на стекла, открыв рот по-рыбьи, и концом простыни стал их протирать. Потом так же медленно надел.

Марта, не открывая глаз, сладко вздохнула. Затем быстро приподнялась, посмотрела на часики. Да, надо одеваться, уходить.

— Ты сегодня непременно приходи ужинать, — сказала она, поспешно щелкая подвязками. — Еще когда гости — то ничего, — а мне сидеть вдвоем с ним весь вечер... Это невозможно. Через полчаса, как всегда. И не надевай башмаков, если они жмут. А завтра пойдешь и потребуешь, чтобы их размяли. Конечно, бесплатно. И знаешь, Франц, нам нужно поторопиться. Каждый день дорог... Ох как дорог...

Он сидел на постели, обняв колени, и смотрел не мигая на светлую точку в графине, стоявшем на умывальнике. Он ей показался — в этой раскрытой на груди рубашке, в этих слепых очках — таким особенным, таким милым... Неподвижность гипноза была в его позе и взгляде. Она подумала, что одним лишь словом может его заставить, вот сейчас, встать и пойти за ней — как есть, в одной рубашке, по лестнице, по улицам... Чувство счастья дошло в ней вдруг до такой степени яркости, так живо она представила себе всю их ясную, прямую жизнь, после удаления Драйера, — что она побоялась хотя бы взглядом нарушить

неподвижность Франца, неподвижность ей снившегося счастья; она быстро накинула пальто, взяла шляпу и, тихо смеясь, вышла из комнаты. В передней, у жалкого зеркала, она тщательно шляпу надела, поправила виски. Как хорошо горят щеки...

Откуда-то вынырнул старичок-хозяин и низко ей поклонился.

— Как здоровье вашей супруги? — спросила она, берясь за дверную ручку.

Он поклонился опять.

Марта почему-то подумала мельком, что этот сухенький, чем-то неприятный старикашка, наверное, знает коечто о способах отравления. Любопытно, что он там делает со своей незримой старухой. И еще несколько дней она не могла отделаться от мысли о ядах, хотя знала, что из этого не выйдет ничего. Сложный, опасный, несовременный способ. Вот именно — несовременный. «Если в середине прошлого века разбиралось ежегодно средним числом сорок дел об отравлении, то зато в наши дни...» Вот именно. Но жалко, жалко отказаться от этого способа. В нем такая домашняя простота. Ах, как жалко...

Драйер поднял чашку к губам. Франц невольно встретился глазами с Мартой. Белоснежный стол на оси хрустальной вазы описал медленный круг. Драйер опустил чашку, и стол остановился.

— ...Свет там плоховат, — продолжал он, — и холодно, как в погребе. Но, конечно, тренируешься, подача не расклеивается за зиму. Впрочем... (опять глоток чаю) ...слава Богу, скоро можно будет играть на открытом воздухе. Мой клуб оживет через месяц. Тогда-то мы и начнем. А, Франц?..

Накануне, около девяти утра, он ни с того ни с сего явился в магазин. Маленькая сенсация. Франц видел в какой-то зеркальной перспективе, как он там, в глубине, остановился, заговорил с почтительно склонившимся Пифке. Приказчицы и коллега-атлет сперва замерли, потом стали суетливо что-то запаковывать и записывать, хотя покупателей в этот ранний час еще не было. Драйер подошел к прилавку, за которым сумрачно и подобострастно застыл Франц.

— Работай, работай, — сказал он с тем рассеянным добродушием, с каким всегда обращался к племяннику. Потом

он остановился перед восковым молодцом, которого недавно переодели в теннисный костюм: фланелевые штаны, белые туфли.

Он стоял перед ним долго — с удовольствием и нежным волнением думая о той работе, над которой сейчас счастливо мучился изобретатель. Молодой человек держал в руке ракету. Он держал ее так, что было ясно: ни одного движения он ею сделать не может. Живот у него был безобразно подтянут. На лице — выражение какого-то гордого идиотизма. Драйер вдруг с ужасом заметил, что на нем галстук. Поощрять людей надевать галстук, чтобы играть в теннис...

Он обернулся. Другой молодой человек (по внешним признакам — живой и даже в очках), кивая, выслушал его короткое приказание.

— Кстати, Франц, — добавил Драйер, лукаво улыбнувшись, — покажи мне самые лучшие ракеты.

Франц показал. Пифке смотрел издали с умилением. Драйер выбрал английскую. Пощелкал по янтарным струнам. Взвесил ее на пальце, проверяя, что тяжелее, рама или рукоятка. Провел ею по воздуху, ударяя воображаемый мяч. Она была очень приятная.

— Ты ее держи в прессе, — обратился он к Францу. Франц почему-то побледнел.

— Маленький подарок, — вскользь объяснил Драйер и, бросив напоследок недружелюбный взгляд на воскового молодца, направился в соседний отдел.

Франц машинально подошел к этому мертвецу в белой рубашке, в белых штанах и стал осторожно развязывать ему галстук. При этом он старался не касаться холодной шеи. Стянув с него галстук, он расстегнул пуговку. Ворот распахнулся. Тело было бледное, в странных географических пятнах. Выражение молодого человека приобрело, благодаря открытому вороту, что-то наглое и нечистоплотное. Под глазом у него был белесый развод, в ноздри набилась черная пыль. Франц попробовал вспомнить, где он уже видел такое лицо. Да, конечно, давным-давно, в поезде. В поезде, кроме того, была дама в черной шапочке с бриллиантовой ласточкой. Холодная, душистая, прелестная дама. Он попытался воскресить в памяти ее черты, но это ему не удалось.

ГЛАВА IX

Уже в дождях было что-то веселое и осмысленное. Дожди уже не моросили попусту, а дышали и начинали говорить. Дождевой раствор стал, пожалуй, крепче. Лужи состояли уже не просто из пресной воды, а из какой-то синей, искрящейся жидкости. Два пузатых шофера, чистильщик задних дворов в своем песочного цвета фартуке, горничная с горящими на солнце волосами, белый пекарь в башмаках на босу ногу, бородатый старик-иностранец с судком в руке, две дамы с двумя собаками и господин в сером борсалино, в сером костюме столпились на панели, глядя вверх на угловой бельведер супротивного дома, где, пронзительно переговариваясь, роилось штук двадцать взволнованных ласточек. Затем желтый мусорщик подкатил к грузовику свой желтый металлический бочонок, шоферы вернулись к своим машинам, пекарь махнул на свой велосипед, горничная вошла в писчебумажную лавку, потянулись дамы, следом за своими собаками, сошедшими с ума от каких-то новых, выразительных дуновений, — последним двинулся господин в сером, и только бородатый старик-иностранец, с судком в руке, один продолжал неподвижно глядеть вверх.

Господин в сером пошел медленно и щурился от неожиданных белых молний, которые отскакивали от передних стекол проезжавших автомобилей. Было что-то такое в воздухе, от чего забавно кружилась голова, то теплые, то прохладные волны пробегали по телу, под шелковой рубашкой, — смешная легкость, млеющий блеск, утрата собственной личности, имени, профессии.

Господин в сером только что пообедал и должен был, в сущности говоря, вернуться в контору, — но в этот первый весенний день контора тихонько испарилась.

Навстречу ему по солнечной стороне улицы шла худенькая дама в пегом пальто, и с нею рядом катил на трехколесном велосипеде мальчик лет пяти в синей матроске.

— Эрика! — вдруг воскликнул господин и резко остановился, раскинув руки.

Мальчик, проворно колеся, проехал мимо, но дама замерла, мигая от солнца.

Он сразу заметил, что она теперь наряднее и как-то́ тоньше. Еще мельче стали черты ее подвижного, умного,

птичьего лица. Но налет прошлой прелести исчез. Конечно, она постарела со дня их разлуки. Семь лет с лишком — шутка ль сказать!..

— Я видела тебя дважды за это время, — проговорила она таким знакомым, хрипловатым, скорым голоском. — Раз ты проехал в открытом автомобиле, а раз — в театре: ты был с высокой темной дамой. Твоя жена, правда? Я сидела от вас...

— Так, так, — сказал он, смеясь от удовольствия и взвешивая ее маленькую руку в тугой белой перчатке. — Но вот уж я не думал тебя встретить сегодня. Это что — твой ребенок? Ты замужем?

Одновременно говорила и она, так что этот разговор трудно записать. Надобно было бы нотной бумаги, два музыкальных ключа. Пока он говорил: «Вот уж я не думал...», она уже говорила свое: «...через, может быть, десять кресел. Я так и поняла, что это твоя жена. Ты не изменился, Курт. Только усы подстрижены. Да, это мой мальчик. Нет, я не замужем. Плод недоразумения. Проводи меня кусочек...»

— Семь лет, — сказал Курт. — Да, я свободен, погуляем тут на солнышке. Я, знаешь, только что видел... Нет, не совсем так много...

— ...миллионы. Я знаю, что ты зарабатываешь миллионы. И я тоже устроилась... («Не совсем так много, — вставил Курт, — но ты мне лучше скажи...») ...очень счастлива. У меня после тебя было только четверо, но зато один богаче другого. А теперь совсем хорошо. У него чахоточная жена за границей. Он как раз на месяц уехал к ней. Немолодой, солидный. Обожает меня. А скажи, Курт, ты-то счастлив?

Курт улыбнулся и подтолкнул синего мальчика, который остановился было, глядя на него круглым детским взглядом, а потом, дудя губами, запедалил дальше.

— ...Это от молодого англичанина. Вот мы какие. И смотри, он как модная дама подстрижен. Если бы мне тогда сказали...

Он слушал ее проворный лепет и вспоминал тысячу мелочей: какие-то стихи, шоколадные конфеты с ликером в середине («Нет, эта опять с марципаном, я хочу с ликером...»), аллею памятников в центральном парке, — и то, как эти смешные пузатые короли были чудесно хороши

лунной ночью, среди цветущей, электрическим светом убеленной сирени... Такие бледные, такие неподвижные, — и такой сладкий запах, о Господи, и непонятные громады теней... Те два коротких веселых года, когда Эрика была его подругой, он вспомнил теперь как прерывистый ряд мелких забавных подробностей: — картину, составленную из почтовых марок, у нее в передней, ее манеру прыгать на диване, или сидеть, подложив под себя руки, или вдруг быстро похлопывать его по лицу; и оперу «Богема», которую она обожала; поездку за город, где, на террасе, под цветущими деревьями, они пили фруктовое вино; эмалевую брошку, которую она там потеряла... Все это легкое и немного щемящее взыграло в нем, пока она быстро и легко, в такт его воспоминаниям, рассказывала о том, какая у нее теперь квартира, рояль, гравюры...

— Помнишь, — сказал он и пропел фальшиво, но с чувством: — «Меня зовут Мими...»

— О, я уже не богема, — усмехнулась она, быстро-быстро тряся головой. — А вот ты все такой же, такой... (она не сразу могла подобрать слово) ...пустяковый.

Он опять подтолкнул мальчика, сгорбившегося над рулем, хотел его мимоходом погладить по светлокудрой голове, но тот уже отъехал...

— Ты мне не ответил: ты счастлив? — спросила Эрика. — Скажи?

— Пожалуй — не совсем, — ответил он и прищурился.

— Жена тебя любит?

— Как тебе сказать... — проговорил он и опять прищурился. — ...Видишь ли, она очень холодна...

— Верна тебе? Держу пари, что изменяет. Ведь ты...

Он рассмеялся:

— Ах, ты ее не знаешь. Я тебе говорю — она холодна. Я себе не представляю, как она кого-либо — даже меня — по своей бы воле поцеловала.

— ...Ведь ты все тот же, — лепетала Эрика промеж его слов. — Я так и вижу, что ты делаешь со своей женой. Любишь и не замечаешь. Целуешь и не замечаешь. Ты всегда был легкомыслен, Курт, и в конце концов думал только о себе. О, я хорошо тебя изучила. В любви ты не был ни силен, ни очень искусен. И я, знаешь, никогда, никогда не забуду нашего расставания. Так глупо шутить... Скажем, ты меня больше не любил, скажем — ты был свободен, мог поступить как хотел. Но все-таки...

Он опять рассмеялся:

— Да... я не знаю. Как-то так вышло. У меня была невеста. И все такое. Впрочем, я тебя не забывал долго.

— Ты знаешь, Курт, по правде сказать, были минуты, когда ты меня делал попросту несчастной. Я понимала вдруг, что ты только... скользишь. Не могу объяснить это чувство. Ты сажаешь человека на полочку и думаешь, что он будет так сидеть вечно, а он сваливается, — а ты не замечаешь, — думаешь, что все продолжает сидеть, — и в ус себе не дуешь...

— Напротив, напротив, — перебил он, — я очень наблюдателен. Вот, например, — у тебя раньше челка была светлая, а теперь какая-то рыжая...

Она, как в былое время, ладонью толкнула его в плечо:

— Бог тебе судья, Курт. Я уже давно перестала на тебя сердиться. Приходи ко мне кофе пить как-нибудь. Поболтаем, вспомним старое...

— Конечно, конечно, — сказал он, отлично зная, что никогда этого не сделает.

Она дала ему свою визитную карточку (которую он потом оставил в пепельнице таксомотора) и на прощание долго трясла ему руку, продолжая быстро-быстро говорить. Смешная Эрика... Это маленькое лицо, нежные ресницы, птичий нос, хриплый торопливый говорок.

Мальчик на велосипедике тоже подал руку и тотчас заколесил опять. Обернувшись, Драйер несколько раз на ходу помахал шляпой, извинился перед столбом фонаря, пропустил его и, надев шляпу, пошел дальше. Напрасная все-таки встреча. Теперь уж никогда не будешь помнить Эрику, как помнил ее раньше. Ее всегда будет заслонять Эрика номер второй, нарядная, в незнакомой шляпе и пятнистом пальто, с мальчиком на велосипедике. И хорошо ли было ответить, что он «не совсем счастлив». Чем он несчастен? Зачем было так говорить? Быть может, вся прелесть Марты именно в том, что она так холодна. Есть холодок в ощущении счастья. Она и есть этот холодок. Воплощение самой сущности счастья. Сокровенная прохлада. Эрика, постельная попрыгунья, конечно, не может понять, что такой холод — лучшая верность. Как можно было так ответить... А кроме того, вот это все — что кипит кругом, смеется, искрится каждый день, каждый миг — просит, чтобы посмотрели, полюбили... Мир, как собака, стоит — служит,

чтобы только поиграли с ним. Эрика, небось, забыла всякие смешные поговорки, песенки, и Мими в розовой шляпе, и фруктовое вино, и движение солнечного пятна на ступени. Хорошо бы поехать в Китай...

В тот день Драйер был особенно весел. В конторе он продиктовал секретарю совершенно невозможное письмо к одной старой, заслуженной фирме. Под вечер, в странно освещенной мастерской, где медленно рождалось чудо, он хлопал изобретателя по спине, так что тот вдвое сгибался и делал поневоле смешные маленькие шаги. А за ужином он, с невозмутимым видом, Франца экзаменовал по прилавочной науке, задавал ему нелепые вопросы вроде: «Как бы ты поступил, если б вот моя жена вошла в мой магазин и на твоих глазах украла воскового теннисиста?» Или: «Какой номер обуви следует дать старушке ростом в метр с четвертью при продаже ей футбольных сапог?» Франц, у которого юмор был туговат, таращил глаза и облизывался. Это так забавляло Драйера, что он едва мог сдержать глухие судороги смеха. Марта, в холодном рассеянии, играла чайной ложкой: изредка касалась ею стакана и пальцем тушила звон.

За этот месяц она с Францем перебрала несколько новых способов, — и опять-таки говорила она о них с такой суровой простотой, что Францу не было страшно, — благо происходило в нем странное перемещение: незаметно для него самого Драйер раздвоился. Был Драйер, опасный, докучливый, который ходил, говорил, хохотал, — и был какой-то отклеившийся от первого, совершенно схематический Драйер, которого и следовало уничтожить. Все, что говорилось о способах истребления, относилось именно к этому второму, схематическому объекту. Им было очень удобно орудовать. Он был плоский и неподвижный. Он был похож на те фотографии, вырезанные по очерку фигуры и подкрепленные картоном, которые любители дешевых эффектов ставят к себе на письменный стол. Но Франц не сознавал появления этого неживого лица — и потому-то не задумывался над тем, почему так легки и просты роковые о нем разговоры. В действительности выходило так, что Марта и он говорят о двух разных лицах, она — об оглушительно шумном, невыносимо живом, приглаживающем усы серебряной щеточкой и храпящем по ночам с торжествующей звучностью, а Франц — о бледном и плоском, которого можно сжечь, или разорвать на куски, или

просто выбросить. Это неуловимое раздвоение только еще начиналось, когда Марта, забраковав отравление как покушение на жизнь с негодными средствами (о чем пространно было сказано в многострадальном словаре) и как нечто отжившее, не подходящее к современной жизни, столь «практической» в ее представлении, заговорила об огнестрельном оружии. И тут холодная и по существу аляповатая ее изобретательность развернулась довольно широко. Бессознательно набирая рекрутов в захолустьях памяти, безотчетно вспоминая подробности хитрых убийств, описанных когда-то в газетке, в грошовой книжке, и совершая тем самым невольный плагиат, которого, впрочем, избежал один разве Каин, Марта предложила следующее: во-первых, Франц приобретет револьвер. Затем... («Я умею стрелять, — вставил Франц. — У меня был, помню, духовой пистолет; он стрелял совсем как настоящий — мелкими такими пульками...») Так как он оружием немного владеет («Хотя, знаешь, милый, нужно будет тебе все-таки подучиться — где-нибудь за городом...»), то этим дело несколько облегчается. А состоит оно вот в чем: она задержит Драйера до полуночи в гостиной («Как это ты сделаешь?» — «Не перебивай, Франц, у меня есть такой способ...»). В полночь она подойдет к окну — в соседней комнате, — отдернет занавеску и так постоит некоторое время. Это будет сигнал. Франц, подошедший в эту минуту к ограде сада, увидит ее. Она бесшумно откроет окно и вернется к Драйеру в гостиную. Франц тогда сразу перемахнет в темноте через калитку («Это легко сделать... Там, правда, такие железные шипы, но можно как-нибудь между ними...») и, очень быстро перейдя сад, войдет в окно. Дверь гостиной будет открыта. Он выстрелит с порога. Заберет для видимости бумажник. И сразу исчезнет. Она меж тем быстро поднимется к себе, — разденется и ляжет. Вот и все.

Франц кивнул.

Другой способ такой: она поедет вдвоем с Драйером за город. Вдвоем пойдут гулять. Предварительно она и Франц выберут место поглуше («В лесу», — сказал Франц — и представил себе сосновую темную чащу). Он будет ждать за деревом с револьвером наготове. Когда с тем будет уже покончено, он ей прострелит руку («Да, это нужно, милый; это выйдет так естественно — разбойники, дескать...»). Кроме того, он заберет бумажник.

Франц кивнул.

Эти два способа были основные. Другие были только вариации на тему. Справедливо считая, что подробности в таких делах важнее сути, Марта разработала тему ночного ограбления и тему лесного разбоя в мельчайших деталях. При этом у Франца оказался неожиданный и очень счастливый дар: он мог с необыкновенной, прямо-таки чертежной, ясностью представить себе и свои движения, и движения Марты, и отчетливо согласовать их наперед — не только в их взаимном отношении, но и в отношении к тем различным пространственным и предметным понятиям, которыми приходилось орудовать. В этой его ясной и гибкой схеме одно всегда оставалось неподвижным, но этого несоответствия Марта не заметила. Неподвижной всегда оставалась жертва, словно она уже заранее одеревенела, ждала. Вокруг этой мертвой точки мысль Франца ходила с акробатической легкостью. Все необходимые движения и последовательность их были рассчитаны превосходно. То, что называлось «Драйер», отличалось от того, чем Драйер станет, только поскольку стоячее положение отличается от лежачего. Разница в перспективе, и больше ничего. В этом Марта бессознательно помогала Францу тем, что, описывая будущее умерщвление, всегда принимала за аксиому, что Драйер будет взят врасплох и не успеет от удивления защищаться. Она совершенно ясно представляла себе, как он поднимет брови, увидев Франца с револьвером, и как захохочет, полагая, что тот шутит, и как повалится, доканчивая свой смех уже под другой долготой. Ставя его, ради уменьшения риска, в положение какого-то готового, запакованного, перевязанного товара, она не понимала, как этим дело облегчает Францу. «Смышленый мальчик, — усмехалась она, целуя его в щеку. — Хороший, понятливый». И, тупо ободренный ее похвалой, он представил своеобразную смету — число шагов от ограды до окна, число секунд, которого это прохождение потребует, расстояние от порога гостиной до воображаемой точки над спинкой кресла, где будет находиться ожидающий затылок (ибо он для удобства болванку усадил), и отношение всех этих шагов и секунд к действиям Марты: ее место в комнате, точное время, которое ей нужно будет, чтобы по данному числу ступеней побежать наверх и лечь в постель; и число движений, которые он тем временем сделает, вынимая бумажник, направляясь к окну и возвращаясь через окно в анонимный сумрак.

Изо дня в день в комнате, где кряхтела все та же сизая кушетка, и улыбалась голая олеография, и давно уже валялась в углу новенькая, дорогая, но никому не нужная ракета, Марта и Франц вырабатывали подробности то первого плана, то второго, и уже поговаривали о том, что пора достать револьвер. И лишь только они стали думать, как это сделать, появился нелепый затор. Оба были уверены, что для покупки огнестрельного оружия непременно требуется разрешение на ношение оного. Затор состоял в том, что ни Марта, ни Франц не имели ни малейшего понятия, как такое разрешение добыть. Кого-то нужно было расспросить, разузнать все толком, — а там, может быть, придется писать прошение, подписывать его... Оказывается, что самое-то добывание револьвера стократ сложнее и опаснее, чем его применение. Такой парадокс Марта не могла потерпеть. Она уничтожила его тем, что уже и в выполнении замысла отыскала неодолимые трудности. Был, например, сторож особняка, хладнокровный мужик, который дежурил зорко и чутко. Был полицейский, который частенько, как бы гуляючи, проходил по этой улице; был ночной старичок в плаще, с фонариком. Точно так же и в «лесном» плане нашлись пробелы, недочеты: как, например, заранее наметить место, сколько это нужно предварительно блуждать, высматривать. И когда, таким образом, выполнение стало чудовищно сложным, вопрос о приобретении оружия отошел на должное место, показался не таким уже неразрешимым: есть, вероятно, любезные оружейники, в северной части города, которые особых препятствий не чинят. Так Марта мельком удовлетворила присущее ей чувство законных соотношений.

Итак, нужно было достать маленький, верный револьвер. Но она вдруг представила себе, как это Франц будет ходить — такой милый, длинный, нерасторопный — по оружейным лавкам, как продавцы станут, чего доброго, задавать ему неприятные вопросы, как они запомнят его черепаховые очки и объяснительные движения тонких, белых рук, как потом — после — намотает это себе на ус какой-нибудь пронырливый сыщик... Вот если бы ей можно было пойти купить... И внезапно какой-то посторонний образ проплыл, остановился, повернулся, поплыл опять, как те предметы, которые сами собой движутся в рекламном фильме. Она поняла, почему образ револьвера, который

следовало достать, был, в ее представлении, такого определенного вида и окраски. Из глубины памяти вышло и засмеялось лицо Вилли, и склонилось, рассматривая что-то. Она сделала еще одно усилие и вспомнила: ведь это Драйер показывал ему револьвер. Вилли вертел его в руках и смеялся. Больше ничего она не могла вспомнить, но этого было довольно. И она поразилась и порадовалась тому, как бережно и предусмотрительно ее ум сохранил мимолетное впечатление.

День был воскресный. Драйер и Том ушли гулять. Все окна в доме были открыты. В неожиданных углах комнат горело солнце. Ветерок перелистывал валявшийся на подоконнике первоапрельский (уже старый) номер журнала с фотографией найденных рук Милосской Венеры. Прежде всего Марта хорошенько исследовала ящики письменного стола. Среди синих папок с бумагами она нашла несколько палочек золотистого сургуча, электрический фонарик, три гульдена и один шиллинг, тетрадку с английскими словами, трубку (сломанную), которую она давным-давно ему подарила, старенький альбом пожелтевших снимков, кнопки, веревочки, часовое стеклышко и прочий мелкий хлам, приводивший ее в бешенство. Кое-что она с удовольствием отправила в корзину. Затем резко вдвинула ящики и, оставив оглушенный стол, пошла наверх, в спальню. Там она перерыла два белых комода, ночной столик, зеркальный шкаф, — нашла, между прочим, обгрызанный зубами Тома твердый шар, попавший, Бог весть как, в ящик, где рядком стояли мужнины башмаки. Шар она выбросила в окно. После чего стукнула дверью, опять побежала вниз. Мельком она заметила в зеркале, что пудра сошла с носа, растрепались виски; в этот день ей нездоровилось: было неудобно и жарко. Осмотрев еще несколько ящиков в различных комнатах, при чем сама на себя сердилась, что уже начинает искать в нелепых местах, она наконец решила, что револьвер либо в сейфе, от которого у нее нет ключа, либо в конторе. На всякий случай она опять попытала письменный стол. Он весь подобрался и замер при ее приближении. Захлопали ящики, как оплеухи. Осмотрен. Осмотрен. Осмотрен. В одном был большой рыжий портфель. Она его злобно приподняла. Под ним в глубине мелькнул небольшой, черный револьвер. Одновременно где-то сзади раздался голос мужа, — и, опустив портфель, она быстро задвинула ящик.

— Райский день, — нараспев говорил Драйер. — Прямо настоящее лето...

Она, не оборачиваясь, сурово сказала:

— Где-то у тебя был пирамидон. Голова трещит.

— Не знаю. Вышел, — ответил он и стал посвистывать. Только тогда она взглянула на него: он тяжело уселся на кожаную ручку кресла и платком вытирал лоб.

— Знаешь что, моя душа, — сказал он. — У меня блестящая мысль. Я поэтому так скоро вернулся. Вот что: позвоню я Францу, и айда на теннис. Что ты на это скажешь?

— Уж поздно, — ответила она. — Стоит ли?..

— Сейчас только одиннадцать. Ровно одиннадцать. Жаль тратить зря та́кую погоду. И ты тоже поезжай с нами. А?

Она согласилась только потому, что знала, как Францу было бы невыносимо поехать с ним вдвоем. Драйер стал внезапно двигаться необычайно быстро. Франц, взятый врасплох, явился в обыкновенном костюме, только башмаки надел резиновые. Драйер, пыхтя от нетерпения, боясь, что вот сейчас раздуется в небе дождевая туча, помчал его наверх и выдал ему пару белых фланелевых штанов. Подбоченясь и склонив голову набок, он с тревогой смотрел, как Франц переодевается. Франц, внутренне омертвев от ужаса и стыда, от чувства, что невольной мимикой предает свою тайну, топтался, переступал, топтался, вбирал, вытягивал ногу, уговаривая себя, что все это только дурной сон. Драйер тоже стал переступать. Франц был в бледно-лиловых кальсонах. Ужас длился. Было невыносимое мгновение, когда он прыгал на одной ноге, натягивая на другую штанину, меж тем как Драйер делал смутные движения протянутой рукой, точно хотел помочь. Не менее ужасно было застегивать пуговки, затягивать пряжки... Драйер облегченно усмехнулся: штаны оказались впору. Он взял Франца за локоть, повернул его так и эдак, и ладонью плотно хлопнул его по заду. Долго потом в сознании у Франца ходило что-то раскорякой, почти валясь навзничь, подбирая зад. Это ощущение продолжалось, пока он сидел в автомобиле. При выходе Драйер хлопнул его еще раз.

Звучно стукали мячи. На пяти красноватых площадках метались туда и сюда белые фигуры. Кругом были высокие проволочные сетки, завешанные зеленым брезентом. Перед клубным павильоном белели столики, плетеные кресла. Все было очень чисто, резко и нарядно. Марта разговорилась

с какой-то толстоногой белобрысой дамой, у которой на лбу был козырек против солнца, а под мышкой две ракеты. Драйер ушел в павильон. Марта и белая дама говорили громко, но ни одного слова Франц не улавливал. Шальной мяч прыгнул мимо него, на столик, на стул, на песок. Он его поднял. Подбежал мальчишка с сачком. Франц кинул ему мяч. Прошли две барышни с голыми руками, в плиссированных белых юбочках, плоско ставя ноги, как будто шли босиком. Глаза веселые, солнечные. Нет, все это миновало. Все это теперь кончено. Подле одной из площадок, на лесенке, сидел человек и, следя за перелетами мяча, как автомат, поворачивал голову вправо, влево, вправо, влево, словно отрицал что-то. Нет, нет, нет, — миновало все это. В черной пройме двери появился ослепительно белый Драйер. «Пошли», — крикнул он и подпрыгивающей походкой, сияющий, с мохнатым полотенцем, перекинутым через плечо, с коробкой новых мячей в руке, он направился к площадке. Марта простилась с дамой и села в плетеное кресло. На площадке, в нескольких шагах от нее, Драйер медленно мерил ракетой высоту сетки. Франц по другой стороне ждал, хмуро глядя вверх, на пролетавший аэроплан. Она со строгой нежностью отметила его блестящие очки, длинные, милые ноги. Драйер, окончив свои манипуляции, тяжеловатой трусцой побежал к задней линии. Франц остался стоять посреди своего прямоугольника, глядя на сетку и крепко держа ракету в протянутой в бок руке. Драйер старательным, размашистым, но все же не очень чистым ударом поддал снизу мяч. Франц вздрогнул, шагнул в сторону, потом повернулся, побежал за мячом, неуловимо мелькнувшим мимо. Он настиг его у проволочной сетки, с разбегу наступил на него и чуть не упал. Не торопясь он пошел обратно. Драйер, наблюдавший за этим с любопытством, теперь опять размахнулся. На этот раз мяч прыгнул довольно близко. Франц рванулся, поднял ракету как топор, ударил, но ничего не случилось. Он оглянулся. Мяч был далеко. Мальчишка с сачком широко улыбался. Тогда, сохраняя на лице деревянное выражение, Франц попробовал в свою очередь перекинуть мяч, который каким-то образом оказался у него в руке. Трижды он размахивался, роняя на песок мяч и пытаясь его поддеть на прыжке, и трижды пустынно и неприятно просвистывала ракета; а мяч продолжал прыгать рядом. Но на четвертый раз он

не промахнулся. Треснуло, отдалось в локте. Белая точка, описав высокую параболу, исчезла за крышей павильона.

Драйер тихо подошел к сетке и пальцем поманил Франца.

— Друг мой, — сказал он вкрадчиво, — мы не в лапту играем. Пойми.

Затем он так же тихо и грустно вернулся к своей черте, и все началось сначала.

Он мучил его долго; только один раз удалось Францу отдать мяч, но он никогда не узнал, куда этот мяч угодил. Изредка гакая, он метался туда и сюда, отбиваясь от невидимых врагов, спотыкаясь, неловко прыгая, и у Драйера все выше поднимались брови, все неудержимее вздрагивали усы. И Марта вдруг не вытерпела. Она крикнула со своего места:

— Да брось! Ты же видишь, что он не может...

Она хотела крикнуть «не может играть», — но какой-то ледяной ветер подкосил последнее слово. Франц остановился, сосредоточенно разглядывая струны. Драйер мелко затрепетал от смеха. Молодой человек в пестром свэтере, хищно следивший за игрой, выступил вперед, поклонился, и Драйер, взмахом ракеты указав Францу, что он может уйти, радостно поздоровался с подошедшим, предчувствуя в нем сильного противника.

Франц медленно приблизился и сел рядом с Мартой. Его лицо было неподвижно и бледно и блестело от пота. Она улыбалась ему, но он не глядел, вытирал очки. «Милый», — сказала она шепотом, стараясь поймать его взгляд; поймала; включила ток; он хмуро покачал головой, стиснув зубы.

— Все хорошо, — сказала она тихо. — Все хорошо, мой милый. Больше этого не будет... Слушай, — добавила она еще тише, лучистой своей силой удерживая его взгляд. — Слушай: я нашла...

Взгляд его скользнул, но она опять твердо его схватила.

— ...в столе нашла. Накануне ты просто его возьмешь. Понимаешь?..

Он моргнул.

— Постой, — сказала она. — Ты ведь простудишься. Ветер. Накинь что-нибудь.

— Не надо так громко, — шепнул Франц. — Пожалуйста...

Она усмехнулась и, оглянувшись, пожала плечом.

— Я должна тебе объяснить... Слушай, Франц... У меня есть совсем новый план. Такой, по-моему, естественный...

Она прищурилась, глядя на игравших. Драйер только что сделал хороший удар — нежно срезал мяч у самой сетки и, исподлобья глянув на жену, порадовался, что она это видела.

— Знаешь что, — зашептала Марта. — Мы пойдем отсюда. Я должна тебе объяснить.

Драйер промахнулся и, качая головой, вернулся на свою линию. Марта подозвала его, сказала, что голова болит нестерпимо (это было действительно так) и чтобы он не опаздывал к обеду. Драйер кивнул и продолжал игру.

Таксомотора они поблизости не нашли. Пошли пешком, через парк, потом вдоль небольшого озера. По дороге она стала объяснять.

Основа была простая, невинная: изучение английского языка. Случалось изредка, что он просил ее что-нибудь подиктовать. Она диктовала, хотя произносила еще хуже, чем он. Он писал в тетрадке. Потом сам сверял с текстом. И вот, на такой диктовке все и будет основано. Нужно взять какой-нибудь Таухниц и в нем найти подходящую фразу, вроде: «Я иначе поступить не мог» или: «Я умираю, смерть единственный выход»... Остальное ясно. Вечерком, когда ты тоже будешь, мы и устроим диктовку. Я выберу и продиктую такую вот фразу. Только, конечно, не в тетрадке он должен писать, а на чистом листе, на почтовой бумаге. Тетрадка уже уничтожена. Как только он напишет, но еще головы не подымет, ты подойдешь справа совсем близко, как будто хочешь посмотреть, вынешь и очень осторожно — —

ГЛАВА X

Еще в феврале синещекий изобретатель создал первый образец. Это был только грубый набросок, болванка, воплощение голого принципа, остов мечты. В большой пустынной комнате, где холодный электрический свет отливал лиловатым, как это бывает в ателье и лабораториях, произошло первое зачаточное представление. Изобретатель и Драйер стояли в углу комнаты и безмолвно смотрели.

Посредине же, на освещенном полу, толстая фигурка, ростом в полтора фута, плотно закутанная в коричневое сукно, так что были видны только короткие, словно из красной резины, ноги в детских сапожках на пуговках, ходила взад и вперед механической, но очень естественной поступью, поворачиваясь с легким скрипом на каждом десятом шагу. Драйер, сцепив руки на животе и улыбаясь исподлобья, в молчаливом умилении смотрел на нее, как смотрит чувствительный посетитель на ребенка, первыми шажками которого его угощает гордый, но на вид равнодушный отец. Впрочем, было заметно, что изобретатель взволнован: в такт движениям фигурки он слегка постукивал подошвой. «Боже мой!» — тонким голосом сказал вдруг Драйер, словно готов был прослезиться. Коричневая фигурка, похожая на ребенка, на которого сверху надели бы мешок, ступала действительно очень трогательно. Сукно было только для приличия. Потом изобретатель ее раскутал и обнажил механизм: гибкую систему суставов и мускулов и три маленьких, но тяжелых батареи. Самым замечательным в этом изобретении (и проступало это даже в первом грубом образце) были не столько электрические ганглии и ритмическая передача тока — сколько легкая, чуть стилизованная, но почти человеческая походка механического младенца. Тайна такого движения лежала в гибкости вещества, которым изобретатель заменил живые мускулы, живую плоть. Ноги первоначального младенца казались живыми, не потому, что он их переставлял, — ведь автоматический ходок не диковина, — а потому, что самый матерьял, оживленный током, находился в постоянной работе, переливался, натягивался или ослабевал, как будто и вправду были там и кожа, и мышцы. Ходил он мягко, без толчков, — вот в этом-то было чудо, и вот это особенно оценил Драйер, относившийся довольно равнодушно к технической тайне, открытой ему изобретателем.

Но младенец должен был вырасти. Следовало создать не только подобие человеческих ног, но и подобие человеческого тела, с мягкими плечами, с гибким корпусом, с выразительным лицом. Изобретатель, однако, не был ни художником, ни анатомом. Драйер поэтому нашел ему двух помощников — скульптора, чьи работы отличались особой легкостью, нежностью, слегка фантастической изящностью, и профессора анатомии, написавшего в свое время

суховатый, но любопытный труд о самосознании мышц. Вскоре мастерская приобрела такой вид, будто в ней только что аккуратно нарезали дюжины две человеческих рук и ног, а в углу, с независимым выражением на лицах, столпилось несколько голов, на одной из которых кто-то раздавил окурок. Анатом и скульптор помогали усердно. Один из них был долговязый, бледный, неряшливый, с орлиным взглядом, длинными, откинутыми назад волосами и большущим кадыком; другой — солидный, седой, в очках, в высоком крахмальном воротнике. Их внешность служила для Драйера источником непрестанного наслаждения, ибо тот, с шевелюрой, был профессор, а этот, в строгих очках, — скульптор.

Но забавляло его и другое. Он уже мог представить себе довольно ясно, как, в костюмах напоказ, за витриной, будут ходить туда и сюда искусственные манекены. Это было прелестное видение. Кроме того, дело было прибыльное. Уже в мае он дешево купил у изобретателя право на патент и теперь решал про себя, что́ лучше сделать: оживить движущимися фигурами магазин или же продать изобретение иностранному синдикату: первое было веселее, второе выгоднее.

Как бывает в жизни у многих коммерсантов, он стал чувствовать в эту весну, что, в сущности говоря, его дела приобретают какую-то самостоятельную жизнь, что его деньги, находящиеся в постоянном, плодотворном вращении, движутся по инерции и движутся быстро и что он, пожалуй, теряет власть над ними, не может по желанию остановить это золотое, огромное колесо. Его крупное состояние, которое он создал в год причудливых удач, — в такую именно пору, когда случайно нужны были легкость, счастье, воображение, теперь уже стало слишком живым, слишком подвижным. Всегда настроенный бодро, он надеялся, что это лишь временная утрата власти — и ни на миг не полагал, что это вращение может постепенно превратиться в золотой призрак и что когда он остановит его, то увидит — оно исчезло. Но Марта, теперь еще пуще прежнего ненавидя прихотливую легкость мужа (хоть ей-то он и был обязан своим случайным богатством), нестерпимо боялась, что он догарцует до катастрофы раньше, чем она навсегда его отстранит и сама остановит кружение.

Магазин работал хорошо, но прибыль не оседала. Совершенно внезапно улетело у него в сквозняке биржи тысяч восемьдесят. Он проводил их с улыбкой; оставалось немало таких тысчонок. Но Марта почуяла в этом роковое предостережение. Она была бы готова дать ему отсрочку на выгодное дело, она сама признавалась, что, несмотря ни на что, «верит его нюху» в некоторых случаях; но нужно было действовать безотлагательно, когда всякий лишний месяц мог значить новое уменьшение богатства.

В тот солнечный, мучительный день, как только она и Франц вернулись с тенниса в синеватый холодок особняка, она сразу повела его в кабинет, чтобы показать ему револьвер. С порога она указала ему быстрым взглядом и едва уловимым движением плеча письменный стол в глубине. Там, в ящике, лежало орудие их счастья. «Вот ты его сейчас увидишь», — шепнула Марта и двинулась к столу. Но в это время размашистым и легким ходом вошел в комнату Том. «Убери собаку, — сказал Франц. — Я ничего не могу делать, пока тут собака». Марта резко крикнула: «Уходи, Том... Хуш!» Том прижал уши, вытянул нежную серую морду и зашел за кресло. «Убери», — сказал Франц сквозь зубы, и его всего передернуло. Марта хлопнула в ладоши. Том скользнул под кресло и вынырнул с другой стороны. Она взмахнула рукой. Том вовремя отпрыгнул и, обиженно облизнувшись, затрусил к двери. На пороге он обернулся, подняв переднюю лапу; но Марта шла на него. Он покорился неизбежному. Марта захлопнула дверь. Услужливый сквозняк тотчас стукнул рамой окна. «Ну, теперь скорей, — сказала она сердито. — Что ты там забился в угол? Поди сюда».

Она быстро выдернула ящик. Рыжий портфель. Портфель она приподняла. В глубине лежал черный предмет. Франц машинально протянул руку, взял, повертел.

— Это браунинг, — сказал он вяло. — Без барабана. Браунинг.

Он поднял голову. Марта вдруг сухо усмехнулась и отошла.

— Положи назад, — сказала она, глядя в окно. Все стало так ясно: Вилли смеялся, он ведь смеялся, когда тот ему показывал.

— Я тебе говорю — положи назад. Ты же отлично видишь, что это зажигалка для сигар.

— В виде браунинга, — сказал Франц и как можно беззвучнее задвинул ящик.

И в тот день Марта кое-что поняла. До сих пор ей казалось, что она действует так обдуманно, так рассудительно, — как действовала всю жизнь. Не деловитый расчет, а фантазия. Та фантазия, которая так всегда была ей ненавистна. Пустая трата времени. Чорт знает что. Заскок. Самоуверенность новичка. Уже однажды случилось нечто подобное. Был этот жених с вонючей белкой в руках, из которого она, по молодости лет, думала сделать дюжинного, солидного, послушного мужа. Через месяц, в скучнейшем норвежском городке, она убедилась, что ничего не выйдет. Семь лет холодной борьбы. Ей нужен был тихий муж. Ей нужен был муж обмертвелый. Через семь лет она поняла, что ей просто нужен мертвый муж. Но нельзя так по-дурацки браться за это дело. Если нет опыта, то по крайней мере нужна известная трезвость, разборчивость. А вместо того...

Было несколько дней, когда она вся как-то сжалась, отвердела, как человек, который спохватился бы, что невольно ошибался, и теперь удаляется в пустыню, чтобы набраться сил, очиститься, подтянуть душу — и снова вернуться к своему делу — и уже не ошибаться по-старому. Она поняла, что ее спасение — в простоте, строгости, обычайности; искомый способ должен быть совершенно естественным и чистым. Посредников просят не беспокоиться. Отрава — сводня, пистолет — маклер. Оба могут подвести. Это оборотни случая.

Франц молча кивал. Комнатка была полна солнца. Он сидел на подоконнике. Рамы были раскинуты и укреплены деревяшками. Роскошные белые облака, грудью вперед, быстро и мощно плыли, наискось, по синеве, уже по-летнему темной. Солнце облепляло правильными искрами чешую зеленой черепичной крыши напротив. Где-то густо грохотал грузовик.

Стало жарко спине. Он сполз с подоконника. Марта, туго скрестив ноги, сидела боком у стола. Ее освещенное солнцем, гладкое лицо казалось шире, оттого что она кулаком уткнулась в подбородок. Углы ее влажных губ были опущены, глаза глядели вверх. В сознании у Франца кто-то совершенно посторонний мельком отметил, что она сейчас похожа на жабу. Но она двинула головой — все стало опять душно, темно и неотразимо.

— ...Удавить, — пробормотала она. — Если б можно было просто удавить. Голыми руками...

Ей казалось иногда, что сердце у нее лопнет, не выдержав чувства ненависти, которое ей внушало каждое движение, каждый звук Драйера. Бывало, когда он, ночью, гладил ее по обнаженной руке, неуверенно посмеиваясь, ей до тошноты, до обморока хотелось вцепиться ему в шею и сжимать, сжимать изо всех сил. Она понимала, как трудно мыслить логически, развертывать простые и плавные планы, когда все в ней кричит и бушует. А что-нибудь нужно было сделать, — Драйер перед ней чудовищно разрастался, как пожар. Но оказывалось, что человеческую жизнь, как и пожар, тушить опасно и трудно. И, так недавно решив, что надобно действовать просто, отбросить обманчивые игрушки вроде яда, который найдет экспертиза, вроде револьвера, который годен только чтобы закурить сигару, она вскоре заметалась еще пуще, как человек, увидевший, что горит занавеска, вот-вот займется вся комната, запылает постель, — и уже лестница полна дыма, ступени исчезают, не выбраться...

Большой, загорелый от тенниса, в ярко-желтой пижаме, с раскрытой грудью, где густо вились золотистые волосы, пышущий теплом и здоровьем, издающий те разнообразные, крякающие, ухающие звуки, которые издает мужчина, когда встал с постели раньше обыкновенного, — Драйер заполнял всю спальню, весь дом, весь мир.

От его торжествующего присутствия она все чаще спасалась к Францу, приходила даже в те часы, когда он еще был на службе, и, штопая носок, сурово сдвинув брови, ждала его прихода с уверенной и законной нежностью. Прожить дольше одного дня без его покорных губ и близоруких прикосновений она не могла. То мгновение в их свиданиях, когда нежная молния вздрагивала вдруг в самой глубине ее существа, было необходимостью безусловной. Когда она, еще ощущая удаляющиеся полыхания, размякшая, вздыхающая, открывала глаза, ей было странно, что Драйер еще жив. Она вскоре пыталась вновь завлечь сонного Франца, и, добившись этого, она снова воображала, что по мере того, как блаженство близится, Драйер гибнет, что каждый торопливый удар ранит его еще глубже и что наконец он слабеет, валится, растворяется в нестерпимом блеске ее счастья.

Но, как ни в чем не бывало, он оживал, шумно проходил по всем комнатам и, веселый, голодный, сидел против нее за ужином, складывал, пронзал вилкой пласт ветчины и жевал, вращая желтыми усами.

«Помоги же мне, Франц, помоги», — бормотала она иногда, хватая его за руки, скользя пальцами по его груди, тряся его за плечи.

Его глаза за стеклами очков были совершенно покорны. Но придумать он не мог ничего. Его воображение было ей подвластно: оно готово было работать на нее, но толчок должна была дать она. Внешне он очень изменился за эти последние месяцы, потощал, побледнел; душа в нем осипла; какая-то слабость была во всех его движениях, — как будто он существовал только потому, что существовать принято, но делал это нехотя, был бы рад всякую минуту вернуться в сонное оцепенение. Ход его дня был машинальный. Утренний толчок будильника был как монета, падающая в автомат. Он вставал; вяло умывался; шел к станции подземной дороги; садился в некурящий вагон; читал все тот же рекламный стишок в простенке, под ритм этого грубого хорея доезжал до нужной остановки; поднимался по каменным ступеням; щурился от солнца, от ряби анютиных глазок на огромной клумбе; пересекал улицу; в магазине он делал все, что полагается делать приказчику. Вернувшись тем же путем домой, он обычно находил у себя Марту и, опять-таки, делал все, что от него требовалось. В продолжение получаса после ее ухода он читал газету — потому что газеты читать принято. Потом он отправлялся к Драйеру ужинать. За ужином он иногда рассказывал, чтó читал в газете, повторяя некоторые фразы слово в слово и странно путая факты. Около одиннадцати он уходил. Пешком добирался домой всегда по тем же панелям. Через четверть часа он уже раздевался. Потухал свет. Автомат останавливался, чтобы через восемь часов опять прийти в действие.

В мыслях его была та же однообразность, как и в движениях, — и порядок их соответствовал порядку его дня. «Тупой клинок; порезался. Нынче девятое, нет, десятое, нет, одиннадцатое июня. Поезд на две минуты опоздал. Есть дураки, которые дамам уступают место. Чисти зубы нашей пастой, улыбаться будешь часто. Чисти зубы нашей пастой. Чисти зубы — Предпоследняя остановка. Улыбать-

ся будешь часто. Улыбаться будешь часто. Улыбаться будешь — Приехали...»

И, как за словами, написанными на стекле, за этими ровными мыслями была черная тьма, тьма, в которую не следовало вникать. Но бывали странные просветы. Ему показалось однажды, что полицейский чиновник с портфелем под мышкой, сидящий рядом, смотрит на него подозрительно. В письмах матери были как будто инсинуации: она утверждала, например, что в его письмах к ней он пропускает буквы, не дописывает слов, путает. А то, — в магазине, желтое тюленеподобное лицо резинового человека, предназначенного для развлечения купальщиков, показалось ему похожим на лицо Драйера, и он был рад, когда его унесли. Со странной тоской он вдруг вспоминал школу в родном городке, почуя запах цветущей липы. Ему померещилось как-то, что в молоденькой девушке с подпрыгивающей грудью, в красном платье, которая побежала через улицу со связкой ключей в руке, он узнал дочку швейцара, примеченную им некогда, много веков тому назад. Все это были только мимолетные вспышки сознания; он тотчас возвращался в машинальное полубытие.

Зато ночью, во сне, что-то в нем прорывалось. Вместе с Мартой они отпиливали голову Пифке, хотя, во-первых, он был весь в морщинах, а во-вторых, назывался — на языке снов — Драйер. В этих снах ужас, бессилие, отвращение сочетались с каким-то потусторонним чувством, которое знают, быть может, те, кто только что умер, или те, кто сошел с ума, разгадав смысл сущего. Так, в одном из его сновидений, Драйер медленно заводил граммофон, и Франц знал, что сейчас граммофон гаркнет слово, которое все объяснит и после которого жить невозможно. И граммофон напевал знакомую песенку о каком-то негре и любви негра, но по лицу Драйера Франц вдруг замечал, что тут обман, что его хитро надувают, что в песенке скрыто именно то слово, которое слышать нельзя, — и он с криком просыпался, и долго не мог понять, что это за бледный квадрат в отдалении, и только когда бледный квадрат становился просто окном в его темной комнате, сердцебиение проходило и он со вздохом опускал голову на подушку. И внезапно Марта, с ужасным лицом, бледным, блестящим, широкоскулым, со старческой дряблостью складок у дрожащих губ, вбегала, хватала его за кисть, тащила его на

какой-то балкон, высоко висящий над улицей, и там, на мостовой, стоял полицейский и что-то держал перед собой, и медленно рос, и дорос до балкона, и, держа газету в руках, громким голосом прочел Францу смертный приговор.

Он в аптеке купил капель против нервозности и одну ночь, действительно, проспал слепо, а потом все пошло сначала, хуже прежнего.

Его коллега по отделу, белокурый атлет, как-то заметил его бледность и посоветовал купаться по воскресеньям в озере, жариться на солнце. Но ледяная лень тяготела над Францем, а вдобавок: досужий час значил час с Мартой. Она же принимала его бледность за тот пронзительный недуг, которым сама болела, за белый жар неотвязной мысли. Ее радовало, когда иногда, в присутствии Драйера, Франц, встретив ее взгляд, начинал сжимать и разжимать руки, ломать спички, теребить что-нибудь на столе. Ей казалось тогда, что ее лучи пронзают его насквозь и что, кольни она его острым лучом в ту напряженно сжатую частицу его души, где таится сдержанный образ убийства, эта частица взорвется, пружина соскочит и он мгновенно ринется. Зато ее раздражало, когда не ею, не ее взглядом и словом, бывал потрясен Франц. Она пожимала плечами, слушая его бормотание:

— Пойми же, он сумасшедший, — повторял Франц. — Я знаю, что он сумасшедший...

— Пустяки. Не сумасшедший, а просто так, с бзиком. Это нам даже выгодно. Перестань, пожалуйста, дергаться.

— Но это ужасно, — настаивал Франц. — Ужасно жить в квартире, где хозяин душевнобольной. Вот почтальон тоже подтверждает. Я не могу...

— Перестань же. Он совсем тихий. У него больная жена...

Франц тряс головой:

— ...Ее никогда не видно... мне это не нравится. Ах, это все так неприятно...

— Глупый! Это нам выгодно. Никто за нами не следит, не вынюхивает. Мне кажется, что нам очень повезло в этом смысле.

— Бог знает, что у них происходит в комнате, — вздохнул Франц. — Такой там бывает странный шум, не то смех, не то... Я не знаю, — вроде... кудахтанья...

— Ну, довольно, — тихим голосом сказала Марта.

Он замолчал, опустив одно плечо ниже другого.

— Милый, милый, — заговорила она уныло и бурно. — Разве это все важно? Разве ты не чувствуешь, что дни идут, — а мы все мечемся, не знаем, что предпринять? Ведь эдак мы себя доведем до того, что в один прекрасный день просто набросимся, разорвем, растопчем... Нельзя так тянуть. Надо что-нибудь придумать. И знаешь... — Она понизила голос почти до шепота. — ...Знаешь, он последнее время такой живой, невозможно живой...

Она была права. Жизнь в Драйере так и пылала. Так действовали на него запах цветущих лип, солнце, игра в теннис, сложный круговорот дел. Кроме того, у него было увлечение. До поры до времени он решил скрыть это увлечение от жены, хотя, правда, раза три намекал на какое-то особое, необыкновенное дело. Но и то сказать: как бы он объяснил ей, чем увлекся? Невозможно. Сочла бы за пустую прихоть. Пожилой Пигмалион и дюжина электрических Галатей. Они уже оживали, оживали... Жена бы сказала: «Занимаешься чепухой». Да, — но какая чудесная чепуха... Он улыбнулся, подумав, что и у нее небось свои причуды. Перед тем как лечь спать, например, розовая вода и лед. И не только уход за лицом, но и всякие упражнения. Уроки ритмической гимнастики — чуть ли не каждый день. Он улыбнулся опять и тростью простучал по частоколу. Шел он по солнечной стороне улицы. Его спутник — черняувенький изобретатель — все намекал, что недурно бы перейти на теневую панель. Но Драйер не слушал. Если ему приятно солнце, то и другим оно должно быть приятно тоже. «Еще довольно далеко, — вздохнул его спутник, — вы непременно хотите пешком?» — «С вашего разрешения», — рассеянно поклонился Драйер и малость ускорил шаг. Он теперь думал о том, как весело жить, как все любопытно в жизни. Вот сейчас, например, ведут его смотреть на что-то весьма занятное. Останови он прохожего и спроси: «А угадай-ка, милый, на что я иду смотреть и почему должен пойти», — никогда бы не ответил прохожий. Мало того: все эти люди на улице, снующие мимо, ожидающие на трамвайных остановках, — какое собрание тайн, поразительных профессий, невероятных воспоминаний. Вот этот, например, в котелке, с моноклем — быть может, он помнит какую-нибудь фантастическую ночь, спортивный холодок,

отбитый у англичан окоп, где на углах переходов еще остались смешные надписи: Пикадилли, Бондстрит, Кингскросс. А не то — яблочный запах удушливого газа, хлюпающую грязь и грохот в небе. Но почему чужого человека наделять собственным своим воспоминанием? Можно ведь предположить и всякое другое — что прохожий этот завтра едет в Китай или что он знаменитый сыщик, или акробат, или мастер на лыжах прыгать. Или написал замечательную книгу. Ничего не известно, и все возможно.

— Направо, — сказал его спутник, тяжело дыша. — Вон тот дом — со статуями.

Это был криминальный музей, кунсткамера беззаконий, при здании главного суда. У одного почтенного бюргера, ни с того ни с сего растерзавшего дитя соседа, нашли, среди прочих тайных курьезов, искусственную женщину. Эта женщина была теперь в музее. Изобретатель, движимый профессиональной тревогой, желал на нее посмотреть. Женщина, однако, оказалась сделанной грубовато, а таинственный состав, о котором говорилось в газетах, был просто гуттаперчей. Правда, она умела закрывать стеклянные глаза, нагревалась изнутри, волосы были настоящие, — но в общем — чепуха, ничего нового — вульгарная кукла. Изобретатель тотчас ушел, но Драйер, всегда боявшийся упустить что-нибудь любопытное, принялся обходить залы музея. Он осмотрел лица бесчисленных преступников, увеличенные снимки ушей, ладоней, нечистоплотные отпечатки, кухонные ножи, веревки, какие-то выцветшие лоскутки одежд, пыльные склянки, — тысячу мелких обиходных предметов, незаслуженно обиженных, — и опять — ряды снимков, лица немытых, плохо одетых убийц, — одутловатые лица их жертв, ставших после смерти похожими на них же, — и все это было так убого, так скучно, так глупо, — что Драйер вдруг улыбнулся. Он думал о том, каким нужно быть нудным, бездарным человеком, тупым однодумом или дураком-истериком, чтобы попасть в эту коллекцию. Мертвенная серость экспонатов, налет пошлого преступления на предмете мещанской обстановки, ни за что ни про что обиженный столик, на котором нашли отпечаток грязного пальца, — банка из-под варенья, тоже как-то замешанная, ржавые гайки, пуговицы, жестяной таз, — все это, в представлении Драйера, выражало самую сущность преступления. Сколько эти глупцы пропускают! Пропуска-

ют не только все чудеса ежедневной жизни, простое удовольствие существования, — но даже вот такие мгновения, как сейчас, способность с любопытством отнестись к тому, что само по себе — скучно. И, обыкновенно, все кончается судом, каторгой, казнью. На рассвете, в автомобиле, едут заспанные, бледные люди в цилиндрах — представители города, помощники бургомистра. Холодно, туманно, пять часов утра. Каким, вероятно, ослом себя чувствуешь — в цилиндре, в пять часов утра! Ослом стоишь в тюремном дворе. И приводят осужденного. Помощники палача тихо его уговаривают: «Не кричать... не кричать...» Потом публике показывают отрубленную голову. Что должен делать человек в цилиндре, когда смотрит на эту голову, — соболезнующе ей кивнуть, или укоризненно нахмуриться, или ободряюще улыбнуться: видишь, мол, как это все было просто и быстро... Драйер поймал себя на мысли, что все-таки любопытно было бы проснуться раным-рано и, после основательного бритья да сытного обеда, выйти в полосатой тюремной пижаме на холодный двор, похлопать солидного палача по животу, приветливо помахать на прощание всем собравшимся, поглазеть на побелевшие лица магистратуры... Да, лица неприятные. Вот, например, какой-то молодчик, зарубивший отца и мать: ушастый, немытый. Вот небритый господин, оставивший на вокзале сундук с трупом невесты. И еще какие-то тупорылые. И еще. А вот и головорубка — доска, деревянный ошейник — все честь честью. А рядом — американский стул. Зубной врач в маске. Пациенту тоже — маску на лицо, с дырками для глаз. Штанину на голени разрезают, чтобы приложить провод. Пускают ток. Прыгаешь, хоп-хоп, как на ухабах. Жилы на кистях лопаются, изо рта, из ушей клубы пара. Какие дураки! Коллекция дурацких физиономий и замученных вещей.

На улице было солнечно, дул пышный ветер, подошвы прохожих оставляли на асфальте серебряные следы. Прекрасен, лазурен и душист город жарким летом. Недурно тоже в лесу или на море. Облака сияющие, каникульные. Рабочие лениво чинят мостовую... Хорошо! И ему вдруг показалось забавным искать на лицах этих рабочих, этих прохожих, те черты, которые он только что видел на бесчисленных фотографиях. И вот удивительно: он в каждом встречном узнавал преступника, бывшего, настоящего или

будущего, — и вскоре так увлекся этой игрой, что для каждого начал придумывать особое преступление. Он долго наблюдал за сутулым человеком с подозрительным чемоданом и наконец подошел к нему и, вынув папиросу, попросил огонька. Человек стряхнул пепел, дал ему закурить. Драйер заметил, как дрожит эта рука, и пожалел, что, вот, не может легонько отогнуть ворот пиджака и показать значок сыщика. Лицо за лицом скользило мимо, мелькали неверные глаза, и в каждом взгляде была возможность убийства. Так он шел, вращая тростью, как пропеллером, необыкновенно развлекаясь, улыбаясь невольно чужим людям и с удовольствием отмечая их мимолетное смущение. Но потом игра ему наскучила, он почувствовал голод и ускорил шаг. Подходя к калитке, он заметил в саду жену и племянника. Они неподвижно сидели у стола под полотняным зонтиком и смотрели, как он приближается. И он почувствовал приятное облегчение, увидев наконец два совершенно человеческих, совершенно знакомых лица.

ГЛАВА XI

— Прошу вас, сударыня, — сказал Вилли Грюн, — не надо! Вы уже дважды исподтишка посмотрели на часы, а потом — на мужа... Право, — не поздно...

— ...И возьмите еще земляники, — сказала госпожа Грюн, нежная, тонкобровая, как говорится — «стильная», — и сверкнула текучими серьгами.

— Придется посидеть, моя душа, — обратился Драйер к жене: — Я все еще не вспомнил.

— Верю, — сказал Вилли, пыхтя и расплываясь в кресле, — верю, что анекдот — мастерской. Но его, по-видимому, нельзя вспомнить.

— ...Или, например, ликера? — сказала госпожа Грюн.

Драйер постучал себя по лбу кулаком:

— Начало — есть, средняя часть — тоже, но конец, конец!..

— Бросьте, — сказал Вилли, — а то вашей супруге станет еще скучнее. Она суровая. Я ее боюсь.

— ...Завтра, в это время, мы уже будем по пути в Париж, — плавно разбежалась госпожа Грюн, но муж ее перебил:

— Она везет меня в Париж! Не город, а шампанское, — но у меня от него всегда изжога. Однако я еду. Кстати: — вы так до сих пор и не удосужились мне ответить, куда вы собираетесь этим летом? Знаете, был случай: вспоминал человек анекдот — и вдруг лопнул.

— Мне не то обидно, что я не могу вспомнить, — жалобно протянул Драйер, — мне обидно, что я вспомню, как только расстанемся... Мы еще не решили. Не правда ли, моя душа, мы еще не решили? Мы даже и не говорили об этом вовсе. Там была какая-то закавыка в конце — такая забавная...

— Я говорю вам — бросьте, — пыхтел Вилли. — И как это вы еще не решили? Уже конец июня. Пора.

— Я думаю, — сказал Драйер, вопросительно взглянув на жену, — что мы поедем к морю.

— Вода, — кивнул Вилли. — Вода. Это хорошо. Я бы тоже с удовольствием. Но тащусь в Париж. Плаваете?

— Какое... — мрачно ответил Драйер. — Учился и не научился. Вот и на лыжах тоже — как-то все так, — размаха нет, легкости. Душа моя, а ведь правда, мы поедем к морю? Франца с собой возьмем, Тома. Побарахтаемся, загорим...

И Марта улыбнулась. Она не сразу поняла, откуда потянуло такой ясной, влажной прохладой. Ей представился длинный пляж, где они как-то раз уже побывали, белый мол, полосатые будки, тысяча полосатых будок... они редеют, обрываются, а дальше, верст на десять, пустая белизна песка вдоль сияющей, серовато-синей воды.

— Мы поедем к морю, — сказала она, обернувшись к Вилли.

Она оживилась необыкновенно. Губы полуоткрылись, две серповидных ямочки появились на потеплевших щеках. Волнуясь, она стала рассказывать госпоже Грюн о летних своих платьях, о том, что солнечный загар теперь в большой моде... Драйер смотрел на нее и радовался. Она никогда не сияла так, когда бывала в гостях, — особенно в гостях у Грюн.

По дороге домой, в таксомоторе, он ее поцеловал.

— Оставь, — сказала она. — Нам нужно серьезно поговорить. Ведь правда, — это хорошая мысль. Ты вот завтра утром напиши туда, закажи комнаты. В той же гостинице. Франца мы возьмем, пожалуй, — но собаку оставим — с ней только возня. Хорошо бы поскорей, — а то комнат не будет...

Но ее торопливость была теперь легкая. Кругом волны, сияние... грудь дышит так легко... на душе так ясно. Одно слово «вода» все разрешило. В ключе к сложнейшей задаче нас поражает прежде всего именно его простота, его гармоническая очевидность, которая открывается нам лишь после нескладных, искусственных попыток. По этой простоте Марта и узнала разгадку. Вода. Ясность. Счастье. Она ощутила живейшее желание сию же минуту повидать Франца, сказать ему одно, все объясняющее слово, телеграфный шифр их жизни. Но сейчас была полночь, таксомотор, Драйер, стоп, ливень, калитка, стоп, передняя, лестница, спальня, стоп — сейчас было невозможно его увидеть! А завтра — воскресенье. Вот тебе на! — Она его предупредила, что утром у него не будет, так как Драйер играть в теннис не пойдет — слишком сыро. Но даже эта отсрочка, которая в иное время привела бы ее в бешенство, теперь показалась ей пустячной неприятностью, — столь покойно, столь плавно двигалась ее уверенная мысль.

На другое утро она проснулась поздно и первым ее чувством было: вчера случилось что-то прекрасное. На террасе Драйер, допив свой кофе, читал газету. Когда она появилась — сияющая, в бледно-зеленом жоржетовом платье, он привстал и поцеловал ее прохладную руку, как всегда делал при воскресной утренней встрече. Ослепительно горела на солнце серебряная сахарница. Потом она медленно потухла. Вспыхнула снова.

— Неужели площадки не высохли? — сказала Марта.

— Три дня шел ливень, — ответил он, продолжая двигать глазами по строкам газеты. — И сегодня — погода неверная. В Египте нашли в гробнице игрушки и розы — им три тысячи лет...

— Ты написал насчет комнат?

Он закивал, не поднимая глаз, и продолжал кивать по инерции, все тише.

Кивай... кивай... это теперь не имеет значения. Франц отлично плавает, — это тебе не теннис. Он родился на большой реке. Она тоже родилась на большой реке — может держаться на воде часами... навзничь, бывало, лежит, вода колышет, хорошо, прохладно... И эти мысли скользили с какой-то изящной плавностью, без толчков, без усилия. Не выдумывать надобно было, — а только проявлять то, что уже наметилось.

Он шумно сложил газету и сказал:

— Выйдем, погуляем... А? Как ты полагаешь?

— Иди один, — ответила она. — Мне нужно кой-какие письма написать.

Он подумал: а что, если ее попросить, нежно попросить? Сегодня свободное утро. В кои-то веки раз...

Но как-то так вышло, что он не сказал ничего.

Через минуту Марта, с террасы, увидела, как он, с макинтошем на руке, открывает калитку, пропускает вперед Тома, как даму, удаляется, закуривая на ходу.

Некоторое время она сидела совершенно неподвижно. Горела и потухала сахарница. Вдруг на скатерти появилось сизое пятнышко, расплылось, — потом рядом другое, третье; капля упала ей на руку; она встала, глядя вверх. Горничная стала поспешно убирать посуду, скатерть, тоже поглядывая на небо. Марта ушла в дом. Где-то звякнуло окно. Горничная, уже вся мокрая, держа скатерть в охапку, смеясь и бормоча, метнулась с террасы на кухню. Марта стояла посреди потемневшей гостиной, приглаживая виски и улыбаясь. Она подождала еще несколько минут. Все кругом журчало, шелестело, дышало. Она подумала, не предупредить ли сперва по телефону, — но нетерпение ее было так живо, что возиться с телефоном показалось лишней тратой времени. Она быстро пошла в переднюю, надела, шурша, резиновое пальто, схватила зонтик. Фрида принесла ей из спальни шляпу и сумку. «Обождали бы, — сказала Фрида, — очень сильный дождь». Она рассмеялась, сказала, что идет на почту. Дождь забарабанил по тугому шелку зонтика. Хлопнула калитка, обрызгав руку. Она быстро пошла по зеркальной панели, спеша к стоянке таксомоторов. И вдруг что-то случилось. Солнце с размаху ударило по длинным струям дождя, скосило их — струи стали сразу тонкими, золотыми, беззвучными. Снова и снова размахивалось солнце, — и разбитый дождь уже летал отдельными огненными каплями, лиловой синевой отливал асфальт, — и стало вдруг так светло и жарко, что Драйер на ходу скинул макинтош, а Том, несколько потемневший от дождя, сразу оживился и, подняв хвост трубой, пошел походом на рыжую таксу. Том и такса, оба желавшие друг дружку понюхать под хвост, довольно долго вращались на одном месте, пока Драйер не свистнул. Шел он медленно, поглядывая по сторонам, так как попал в довольно интересные

места, где бывал редко, хотя это находилось недалеко от дома. Кое-где строилась вилла или высилось новое огромное здание, словно составленное из тех розовых, ладных кубов, из которых дети строят дома. А кругом блестели на мокром солнце зеленые участки, аккуратные огородики, где, там и сям, круглилась телесного цвета тыква. Потом начался опять кусок города — постарше да посерее, — и вдруг из какой-то пивной, вытирая ладонью рот, вышел Франц.

— Неожиданный случай, — воскликнул Драйер, держа племянника за пуговицу. — Так, так... Вот оно что. Случай. Ты что тут делаешь? Пьянствуешь?

Франц вяло ухмыльнулся. Они пошли рядом. Глубоко сияли лужи.

Им почти никогда не приходилось быть вдвоем, беседовать с глазу на глаз. Драйер теперь почувствовал, что им ровно не о чем говорить. Это было странное чувство. Он попробовал его уяснить себе. Да, действительно, — он всегда видел Франца у себя в доме, за ужином, в присутствии Марты, — и Франц естественно подходил к обычной обстановке, занимал давно отведенное ему место, — и Драйер с ним не говорил иначе как шутливо-небрежно, — не думая о том, что говорит, принимая Франца как бы на веру среди прочих знакомых предметов и людей. Тайную свою застенчивость, неумение говорить с людьми по душам, просто и серьезно, Драйер знал превосходно. Сейчас его и пугало и смешило молчание, которое наступило между ним и Францем. Он не имел ни малейшего понятия, как это молчание прервать. Он кашлянул и искоса посмотрел на Франца. Франц шел, глядя себе под ноги. Он был, вероятно, подвыпивши.

— Я тут живу поблизости, — сказал Франц и сделал неопределенное движение рукой. Драйер на него смотрел. «Пусть смотрит, — думал Франц. — Все бессмысленно в жизни, — и эта прогулка тоже бессмысленна. Но только все-таки лучше, чтоб говорилось что-нибудь — все равно что...»

— Так, так, — сказал Драйер. — Ты вот, кстати, мне и покажешь свою обитель. Очень интересно.

Франц кивнул. Молчание. Погодя он указал рукой направо — и оба невольно ускорили шаг, — чтобы дойти до поворота, чтобы сделать хоть одно не совсем бесцельное

движение: — повернуть направо. Том молчал тоже. Он не очень любил Франца.

«Однако, — усмехнулся про себя Драйер, — что за чепуха! Нужно ему что-нибудь рассказать».

Он подумал, не рассказать ли ему об электрических манекенах; тема, точно, была занимательная. Целую неделю изобретатель просил его не заходить в мастерскую — хотел, мол, устроить сюрприз, — а на днях, со скромной гордостью, позвал. Скульптор, похожий на ученого, и профессор, похожий на художника, казались тоже чрезвычайно довольными собой. И немудрено. Изобретатель раздвинул за шнур черный занавес, и из боковой двери слева вышел бледный мужчина в смокинге, прошел, с той особенной нежной медлительностью, которой отличается походка лунатиков или движение людей в задержанном кинематографе, — и ушел в боковую дверь направо. За ним следом прошли: бронзоватый юноша в белом, с ракетой в руке, и представительный господин, в отлично сшитом сером костюме, с портфелем под мышкой. Едва последний успел уйти в дверь направо, как уже слева опять вышел бледный мужчина в смокинге — а затем опять — теннисист, делец с портфелем, опять смокинг — и так далее, без конца. Ах, как они прелестно двигались!.. Так медленно и все же машисто, гибко и все же чуть стилизованно... Лица были сделаны удивительно — мягкие на вид, с живым переливом на щеках. И потом изобретатель что-то такое там сделал — и уже фигуры стали проходить иначе — навстречу друг другу, причем через раз мужчина в смокинге останавливался посредине, делал осторожное движение ногами, как будто показывал танцевальный прием, и потом, медленно округлив руку, словно вел невидимую даму, поворачивался и медленно уходил.

Но как рассказать Францу об этом? В шуточном виде — выйдет неинтересно, а если — серьезно, то он, пожалуй, не поверит, достаточно он ловил его на таких штучках. Вдруг у него мелькнула спасительная мысль: ведь Франц еще не знает, что его везут к морю, нужно его порадовать. Одновременно он вспомнил конец анекдота, игру слов, которую никак не мог вспомнить накануне. Сперва, однако, он ему рассказал насчет моря, приберегая анекдот к концу. Франц пробормотал, что он очень благодарен. Драйер объяснил ему, что́ купить для поездки. Франц опять

благодарил. В общем, ему было совершенно все равно, ехать или не ехать. Все бессмысленно, страшно и темно. Они подходили к дому. Драйер решил, что расскажет анекдот уже в комнате Франца. Это была гибельная отсрочка: он его не рассказал никогда. Они подходили к дому все ближе. «Вот», — сказал Франц и указал пальцем на одно из верхних окон. «Ну войдем, войдем», — сказал Драйер и пропустил Тома вперед. Они стали подниматься по лестнице, где ковер, как растительность на горах, обрывался на известной вышине. Они поднимались долго. За это время Марта успела доштопать последнюю дырку в одном из белых носков Франца. Она сидела на ветхой кушетке и, склонясь над штопкой, надувала губы. Ждала она Франца уже четверть часа, по крайней мере. Хозяин сказал, что он сейчас вернется, хотя на самом деле старичок даже не знал, дома ли Франц или нет. Марта встала, чтобы сложить носки в ящик. Она уже была в тех красных ночных туфельках, которые некогда ей подарил Франц. Вдруг она прислушалась, затаив дыхание. «Пришел», — подумала она и блаженно вздохнула. В коридоре по линолеуму внезапно пробежали семенящие нечеловеческие шажки и превратились в отрывистый лай. «Тише, Том, — сказал знакомый веселый голос, — ты не у себя». — «Прямо — и вторая дверь направо», — сказал голос Франца. Марта кинулась к двери, чтобы повернуть ключ в замке. Ключ был с другой стороны. «Сюда?» — спросил Драйер оглушительно близким голосом. Тогда она всем телом уперлась в дверь, держа ручку. Ручка туго двинулась. Она прижалась крепче. Дверь дрогнула. Том снизу фыркал в щель. Дверь дрогнула опять. Марта поскользнулась, и одна пятка вышла из красной туфельки. Она снова уперлась. «В чем дело? — сказал голос Драйера. — У тебя дверь не открывается». Ручка поднялась. Потом опять туго опустилась, несмотря на усилия Марты. Это, очевидно, Франц взялся за дело. Том вдруг радостно залаял. Франц изо всех сил нажал на дверь. «Дурак», — холодно подумала Марта, — и опять заскользила. Красная туфелька соскочила с ноги и отъехала. Дверь приоткрылась на дюйм. Она грянула плечом, нажала. Франц бормотал: «Ничего не понимаю... Это, может быть, мой хозяин шутит...» Том фыркал и лаял. Драйер посмеивался и советовал вызвать полицию. Марта почувствовала, что уже больше не может держать дверь. Вдруг — молчание и тонкий, сиплый голосок: «Там, кажется, — ваша маленькая подруга...»

Драйер обернулся. Взъерошенный, бровастый старичок с чайником в руке стоял в конце коридора. Марта услышала взрыв хохота, хохот стал удаляться. «Очень хорошо, очень хорошо, — стонал Драйер, уже стоя в передней. — Вот мы, значит, — какие... очень хорошо...» Он подмигнул, ткнул Франца в живот и вышел. Том стремглав понесся вниз по лестнице. Франц, пошатываясь, с одеревенелым лицом, вернулся по коридору, открыл уже полегчавшую дверь. Марта, розовая, слегка растрепанная, тяжело дышащая, без одной туфли, как будто после драки, стояла, опираясь о спинку кресла.

Она бурно обняла Франца; сияя и смеясь, стала целовать его в губы, в нос, в стекла очков, усадила его на постель, рядом с собой, почему-то дала ему выпить воды, — и когда он наконец, вяло покачнувшись, упал головой к ней на колени, стала гладить его по волосам и тихо, неторопливо объяснять единственную, сияющую разгадку.

Домой она вернулась до прихода мужа и потом, насмешливо щурясь на собаку, пожаловалась ему, что вымокла по дороге на почту, испортила новые туфли.

— Ну и история, — сказал он, сделав круглые глаза, — наш-то Франц... представь себе только...

Он долго смеялся и качал головой, пока не рассказал ей, в чем дело. Образ его долговязого, довольно мрачного племянника, обнимающего миловидную, млеющую приказчицу, был несказанно смешон. Почему-то он вспомнил Франца, в лиловатых подштанниках прыгавшего на одной ноге, — и ему стало еще веселее. В первый же раз, как Франц пришел ужинать, он начал тонко издеваться над ним. Франц давно обмертвел, — только поворачивал туда-сюда лицо, как будто получая по щекам невидимые удары. Марта пристально смотрела на мужа. «Мой дорогой Франц, — говорил Драйер проникновенным голосом. — Может быть, тебе сейчас не хочется уезжать из города? Ты скажи прямо. Я ведь твой друг, я все пойму и прощу...»

А не то он обращался к жене и небрежно рассказывал: «Я, знаешь, нанял сыщика. Он должен следить за тем, чтобы мои приказчики вели аскетическую жизнь, а главное... — Вдруг он прижимал ладонь ко рту, как человек, который сказал лишнее, искоса смотрел на Франца — и, кашлянув, говорил нарочито успокоительным тоном: — Я, конечно, пошутил. Ты понимаешь, Франц, я по-шу-тил...»

До отъезда оставалось всего несколько дней. Марта была так счастлива, так спокойна, что ничто уже не могло ее волновать. Изощренные насмешки Драйера должны были скоро кончиться — как и все прочее — его взгляд, походка, жаркий запах. Только одно — то, что дирекция гостиницы, пользуясь каникульным наплывом, запросила за две комнаты сумму колоссальную, бесстыдную, — только это одно еще могло ее раздражать. Она пожалела, что отстранение Драйера обойдется так дорого — особенно теперь, когда нужно было беречь каждый грош: того и гляди, он успеет за эти несколько дней погубить все свое состояние. Некоторые основания для таких опасений были. Огромный дом, который Драйер купил для переселения туда магазина, — вдруг показался ему негодным — надобно было многое перестроить, усовершенствовать, — и уже ему расхотелось расширять магазин; и так хорош, только лишняя возня. Невыгодно купленный дом торчал в представлении у Драйера как что-то большое, сконфуженное и совершенно ненужное. Некоторые его акции нервничали. Банковская контора, принадлежавшая ему второй год, работала недурно, — но он перестал к ней чувствовать доверие. Марта не могла добиться от него подробностей, но чувствовала неладное, и вместе с тем ее как-то странно удовлетворяло, что именно теперь, когда ему придется исчезнуть, Драйер как будто утратил ту живость коммерческого воображения, ту дерзкую предприимчивость, благодаря которым он разбогател.

Она не знала, что в эти дни Драйер потихоньку начал любопытное дело с искусственными манекенами. Изобретение можно было продать за хорошие деньги — только бы очаровать покупателя. Должен был в скором времени приехать некий американец. «Продать, и баста, — думал Драйер. — Хорошо бы продать и весь магазин...»

Он втайне сознавал, что коммерсант он случайный, ненастоящий, и что, в сущности говоря, он в торговых делах ищет то же самое — то летучее, обольстительное, разноцветное нечто, что мог бы он найти во всякой отрасли жизни. Часто ему рисовалась жизнь, полная приключений и путешествий, яхта, складная палатка, пробковый шлем, Китай, Египет, экспресс, пожирающий тысячу километров без передышки, вилла на Ривьере для Марты, а для него музеи, развалины, дружба со знаменитым путешественни-

ком, охота в тропической чаще. Что он видел до сих пор? Так мало, — Лондон, Норвегию, несколько среднеевропейских курортов... Есть столько книг, которых он не может даже вообразить. Его покойный отец, скромный портной, тоже мечтал бывало, — но отец был бедняк. Странно, что вот деньги есть, а мечта остается мечтой. И иногда Драйер думал, что если с таким волнением он воспринимает всякую мелочь жизни, которой сейчас живет, то что же было бы там, в сиянии преувеличенного солнца, среди баснословной природы?.. Вот даже этот обычный летний отъезд слегка его волновал, хоть он уже побывал на том пестреньком пляже.

Марта готовилась к отъезду плавно, строго и блаженно. Прижимая к себе Франца, она шептала, что уже недолго ждать, что мучиться он не должен. Она последила за тем, чтобы у него все было для морского курорта, — черный купальный костюм, купальные туфли, полосатый халат, синие очки, две пары фланелевых штанов, запас платков, носков, полотенец. Драйер приобрел огромный резиновый мяч и плавательные пузыри. Марта накупила множество легких, светлых вещей — без особого, впрочем, усердия, так как знала, что скоро придется ей носить траур. Накануне отъезда она с волнением осмотрела все комнаты в доме, мебель, посуду, картины, — говоря себе, что вот через совсем короткое время она вернется сюда свободной и счастливой. И в этот день Франц показал ей письмо, только что полученное им от матери. Мать писала, что Эмми выходит замуж через год. «Через год, — улыбнулась Марта, — через год, мой милый, будет и другая свадьба. Ну, ободрись, не смотри в одну точку. Все хорошо».

Последний раз они встречались в этой убогой комнатке, у которой уже был вид настороженный, неестественный, как это всегда бывает, когда комната, особенно — маленькая, расстается со своим жильцом навсегда. Красные туфельки, довольно уже потрепанные, Марта унесла к себе домой и спрятала в сундук. Скатередочки и подушки некуда было девать, и скрепя сердце Марта посоветовала подарить их хозяину. Комнатка принимала все более натянутое выражение, как будто чувствовала, что о ней говорят. Голая женщина на олеографии последний раз надевала шелковый свой чулок. Узоры обоев, капустообразные розы, правильно чередуясь, доходили с трех сторон до двери, —

но дальше расти было некуда, уйти из комнаты они не могли, как не могут выбраться из тесного круга смертные, прекрасно согласованные, но на плен обреченные мысли. Появились в углу два чемодана, один получше, совсем новый, другой похуже, происхождения нестоличного, но тоже — свеженький. Все, что было в комнате живого, личного, человеческого, ушло в эти два чемодана, которые завтра спозаранку уедут неведомо куда.

Вечером Франц не пошел ужинать. Он запер на ключ чемоданы, открыл окно и сел с ногами на подоконник. Как-нибудь нужно было пережить этот вечер, эту ночь. Лучше всего не двигаться, стараться не думать ни о чем, слушать дальние рожки автомобилей, глядеть на линяющую синеву неба, на дальний балкон, где горит лампа под красным абажуром и, склонясь над освещенным столом, двое играют в шахматы. Что будет завтра, послезавтра, через три, четыре, пять дней, — Франц вообразить не мог. Холодный блеск, и больше ничего. Он знал, что против этого блеска идти нельзя. Будет так, как она сказала. Панический трепет, как зарница, прошел в его мыслях. Может быть, еще не поздно — написать матери, чтобы она приехала, чтобы увезла его... Что это было в воскресенье? — ах да, — судьба чуть-чуть не спасла... Написать, или заболеть внезапно, — или вот, немножко нагнуться вперед, потерять равновесие и кинуться навстречу жадно подскочившей панели... Но зарница потухла. Будет так, как она сказала.

Весь скорченный, без пиджака, в потемневших очках, он сидел, обняв колени, на подоконнике, не двигаясь, не поворачивая головы, не меняя положения ляжек, хоть больно впивался порог рамы и голову облетал уныло поющий комар. В комнате было уже совсем темно, но он света не зажигал. Там, на балконе, давно кончилась шахматная партия. Окна погасли. Погодя ему стало холодно, и он медленно перебрался на кровать. В одиннадцать старичок-хозяин беззвучно прошел по коридору. Он прислушался, посмотрел на дверь Франца и потом пошел назад к себе. Он отлично знал, что никакого Франца за дверью нет, что Франца он создал легким взмахом воображения, — но все же нужно было шутку довести до конца — проверить, спит ли его случайный вымысел, не жжет ли он по ночам электричество. Этот долговязый вымысел в черепа-

ховых очках уже порядком ему надоел, пора его уничтожить, сменить новым. Одним мановением мысли он это и устроил. Да будет это последнею ночью вымышленного жильца. Он положил для этого, что завтра первое число, — и ему самому показалось, что все вполне естественно: жилец будто бы сам захотел съехать, уже все заплатил, все честь честью. Так, изобретя нужный конец, Менетекелфарес присочинил к нему все то, что должно было, в прошлом, к этому концу привести. Ибо он отлично знал, что весь мир — собственный его фокус и что все эти люди — Франц, подруга Франца, шумный господин с собакой и даже его же, Фаресова, жена, тихая старушка в наколке (а для посвященных — мужчина, пожилой его сожитель, учитель математики, умерший семь лет тому), — все только игра его воображения, сила внушения, ловкость рук. Да и сам он в любую минуту может превратиться — в сороконожку, в турчанку, в кушетку... Такой уж был он превосходный фокусник — Менетекелфарес...

Грянул будильник. Франц с криком, защищая руками голову, спрыгнул с постели, кинулся к двери и тут остановился, дрожа, близоруко озираясь и понимая уже, что ничего особенного не случилось, а просто — семь часов утра, дымчатое млеющее утро, воробный галдеж, через полтора часа уходит поезд...

Был он почему-то в дневном белье, в носках, отвратительно вспотел за ночь. Чистое белье уложено, — да и не стоит, не стоит менять. На умывальнике валялся тонкий, уже прозрачный кусочек фиалкового мыла. Он долго ногтем соскребал с него приставший волос, волос менял свой выгиб, но не хотел сходить. Под ноготь забилось мыло. Он стал мыть лицо. Волос пристал к щеке, потом к шее, потом вдруг защекотал губу. Накануне он сдуру уложил полотенце. Подумал и вытерся концом постельной простыни. Бриться не стоит, — это можно по приезде. Зарница ужаса мелькнула, дрожью прошла по спине. И опять стало душно и глухо. Щетка уложена, но есть карманный гребешок. Волосы в перхоти, лезут. Он стал застегивать пуговки смятой рубашки. Ничего, — сойдет. Но белье липло к телу, сводило с ума вкрадчивыми прикосновениями. Стараясь ничего не ощущать, он торопливо нацепил мягкий воротничок, сразу обхвативший шею, как холодный компресс. Зазубренный, плохо подпиленный ноготь зацепил за шелк

галстука. Он похолодел и долго сосал палец. Штаны за ночь безобразно смялись, — валялись у кровати на полу. Платяная щетка уложена, — и Бог с ней. Так сойдет. Последняя катастрофа случилась, когда он надевал башмаки: порвалась тесемка. Пришлось ее перетянуть, получилось два коротеньких конца, из которых было трудно сделать узел. Странное дело: вещи не любили Франца.

Наконец он был готов, посмотрел на будильник — да, пора ехать на вокзал. Его тошнило. Почему ему не дали сегодня кофе? С вялой тоской, с глухим отвращением он оглядел стены; плюнул в ведро и попал мимо. Пришлось открыть один из чемоданов и сунуть туда будильник, завернутый в клочок газеты. Он надел макинтош, шляпу, содрогнулся, увидев себя в зеркале, подхватил чемоданы и, слегка пошатнувшись, стукнувшись о косяк двери, словно неловкий пассажир в скором поезде, вышел в коридор. В комнате осталось только немного грязной водицы на дне таза.

В коридоре он остановился, пораженный неприятной мыслью: нужно было проститься с хозяином. Он опустил на пол чемоданы и, торопясь, постучался. Никакого ответа. Он толкнул дверь и вошел. Посреди комнаты, к нему спиной, на обычном своем месте сидела старушка, лица которой он не видал никогда. «Я уезжаю, я хотел проститься», — сказал он, подойдя к креслу. Вдруг он замер и как смерть побледнел. Никакой старушки не было: просто — седой паричок, надетый на палку, вязаный платок. Он с дрожью сбил всю эту махину на пол. Запорхала серая пыль. Из-за ширмы вышел старичок-хозяин. Он был совершенно голый и держал в руке бумажный веер. «Вы уже не существуете», — сказал он сухо и указал веером на дверь. Франц молча вышел. На лестнице у него закружилась голова, и он постоял некоторое время, опустив чемодан на ступень, вцепившись в перила. Наконец дом раскрылся, выпустил его и стянулся опять.

ГЛАВА XII

На первом месте, конечно, было море, легкое, сизое, с размазанным горизонтом, а над ним — тучки, плывущие гуськом, все одинаковые, все в профиль. Затем вогнутым

полукругом шел пляж, с тесной толпой полосатых будок, особенно сгущенных там, где начинался мол, уходивший далеко в море. Иногда одна из будок наклонялась и переползала на другое место, как красно-белый скарабей. Вдоль пляжа шла высокая каменная набережная, обсаженная со стороны пляжа акациями, на черных стволах которых после дождя оживали налипшие улитки, вытягивали из круглого завоя чуткие прозрачно-желтые рожки. Вдоль набережной белели фасады гостиниц. Комната четы Драйер выходила балконом на море. Комната Франца выходила на улицу, шедшую параллельно набережной. Дальше, по другой стороне улицы, тянулись гостиницы второго сорта, дальше — опять параллельная улица и гостиницы третьего сорта. Пять-шесть таких улиц, и чем дальше от моря, тем дешевле, — словно море — сцена, а ряды домов — ряды в театре, кресла, стулья, а там уж и стоячие места. Названия гостиниц так или иначе пытались намекать на присутствие моря. Некоторые это делали с самодовольной откровенностью. Другие предпочитали метафоры, символы. Попадались женские имена. Одна была вилла, которая называлась почему-то «Гельвеция» — ирония или заблуждение. Чем дальше от пляжа, тем названия становились поэтичнее.

Все это очень его развлекало. Оставив жену и племянника на террасе кафе, он ходил по лавкам, разглядывал открытки. Они были все те же. Больше всего доставалось человеческой тучности. Облую громаду в полосатом трико ущипнул краб, и обладательница громады млеет, полагая, что это рука соседа — щуплого щеголя в канотье. Плывет толстяк на спине, и куполом вздымается над водой пунцовое пузо. Накрахмаленный усач смотрит из-за скалы на гиперболу в купальном костюме. Та же гипербола в других положениях, поцелуй на закате, полушария, выдавленные в песке, «привет с моря»... Но особенно его забавляли и трогали открытки фотографические. Они были сняты Бог знает как давно. Тот же пляж, те же корзины; но дамы в плечистых блузах, в длинных юбках бутылкой, мужчины как парикмахерские рекламы... Эти расфуфыренные ребятишки теперь купцы, инженеры, чиновники...

Лавки обвевал морской ветерок. Смесь морского воздуха и антикварной дряни: рамочки из раковин и перламутра, рогатые раковины, барометры и мундштуки, ракушки в розовых кисейных мешочках, картины, картины — творения

местных маринистов, маслянистый столб луны или сахарный парус среди прусской синьки. И ни с того ни с сего Драйеру стало грустно.

По пляжу, пробираясь меж крепостных валов, окружавших каждую будку, куда-то спеша, чтобы этой поспешностью доказать ходкость товара, шел со своим аппаратом нищий фотограф и орал, надрываясь: «Вот грядет художник, вот грядет художник Божией милостью!»

На пороге лавки, где почему-то продавались только китайские изделия, шелка, вазы, чашки — и кому все это нужно на берегу моря? — стоял день-деньской незагоревший человечек и, глядя на гуляющих, тщетно ждал покупателя.

В кафе Марте дали не то пирожное, которое она заказала, и Марта взбесилась, долго звала метавшегося лакея, — и пирожное (прекрасный шоколадный эклер) лежало на тарелке одинокое, ненужное, незаслуженно обиженное.

Всего только четыре дня были они здесь, — а уже несколько раз Драйер чувствовал этот нежный наплыв грусти. Правда, это бывало с ним и раньше («Чувствительность эгоиста, — говорила когда-то Эрика; — ты можешь не заметить, что мне грустно, ты можешь обидеть, унизить, — а вот тебя трогают пустяки...»), но теперь случалось это как-то по-особенному. Солнце, что ли, так разнежило его, или он, может быть, стареет, что-то уходит, чем-то сам он похож на фотографа, чьих услуг никто не хочет...

В ночь с четвертого на пятое он дурно спал. Накануне солнце, под видом нежности, так растерзало ему спину, что, пожалуй, несколько дней нельзя будет ходить в купальном костюме. Они играли в мяч, стоя по бедра в воде, — он, Марта, Франц, еще двое молодых людей, один — танцмейстер, другой — студент, сын меховщика. Танцмейстер мячом сбил Францу синие очки, — очень все смеялись, очки чуть не утонули. Потом Франц и Марта поплыли — далеко, далеко, — он стоял и смотрел с пляжа, а рядом какая-то незнакомая старушка в одном нижнем белье ужасно почему-то волновалась. Надо непременно научиться плавать. Вот пройдет спина, и нужно будет начать серьезно. Здорово жжет. Никак не ляжешь удобно.

Он попробовал заставить себя уснуть, но как только он закрывал глаза, он видел воронку, которую они выкопали, чтобы будка стояла уютно, напряженную волосатую ногу

Франца, копавшего рядом, потом невозможно яркую страницу книги, которую он пытался читать, лежа на солнце... Ах, как горит спина! Марта сказала: «Завтра пройдет... непременно... навсегда...» Да, конечно, — кожа окрепнет. Завтра утром нужно выиграть пари. Глупое пари. Марта таких вещей не понимает. Конечно, если он пойдет лесом, то дойдет скорее, чем они доедут на лодке. Лесом километра два... Лодка должна описать полукруг... Одним словом, завтра это будет доказано.

Чтобы уснуть, он вообразил этот длинный, длинный буковый лес вдоль полосы длинного пустого пляжа, — лес тянется, пляж тянется, далеко сзади осталась кучка будок, дома исчезли за лукой, лес тянется, тянется пустой пляж...

Он вздохнул и повернулся на другой бок. Теперь он видел темную голову Марты, холм ее перины. Только что мысли были такие занятные, — и вот — волна грусти. Ведь только протянуть руку, и тронешь ее волосы. А нельзя. Есть деньги, а путешествовать нельзя. Ждут его не дождутся — в Китае, Италии, Америке. Скоро должен приехать американец. Любопытно, понравятся ли ему куклы? Говорят, довольно неаккуратный господин. Нет, завтра нельзя будет купаться — ох, спина, спина... прямо пожар. Хорошо будет в лесу. Не спутать место, где тропинка сворачивает к пляжу — к этой пресловутой скале. Полчаса ходьбы — максимум. Не пошел бы завтра дождь. Барометр падает, падает...

Когда он наконец начал храпеть, Марта приподнялась на локте, посмотрела на окно — не светает ли. Там, за окном, стоял ровный, легкий, непрерывный шум, как будто где-то далеко наполнялась ванна. Она откинулась опять на подушку и, лежа навзничь, стала смотреть на потолок, выжидая появления первой бледной полосы рассвета. Она подумала о том, спит ли Франц, может ли он спать в эту ночь?

Погодя она осторожно взяла со стола часы и посмотрела на фосфористые стрелки и цифры — скелет времени. Еще долго...

В должный час Франц зашевелился. Ему было сказано встать ровно в половине восьмого. Было ровно половина восьмого. «К обеду все уже будет кончено», — подумал он машинально, — и не мог себе представить ни обеда, ни последующего дня, — как не может человек представить себе вечность.

Скрипя зубами, он натянул холодный, не просохший за ночь купальный костюм. Карманы халата были полны песку. Он побил ладонь о ладонь и, тихонько прикрыв за собой дверь, пошел по длинным белым коридорам. В носках парусиновых туфель тоже был песок: тупая мягкость.

Марта и Драйер уже сидели на своем балконе, пили кофе. День был бессолнечный, белесое небо, серое море, барашки, невеселый ветерок. Марта налила Францу кофе. Она тоже была в халате поверх купального костюма. По мохнатой синеве халата вились оранжевые узоры. Она придержала свободной рукой широкий рукав, когда протянула Францу чашку.

Драйер читал список курортных гостей, изредка произнося вслух смешную фамилию. Он был в синем пиджаке и серых фланелевых штанах. Он надел было светлый, нежный, почти белый галстук, уникум, — но Марта сказала, что, пожалуй, пойдет дождь, галстук испортится. Поэтому он надел другой — попроще, потемнее. В таких мелочах Марта обычно бывала права.

Драйер выпил две чашки кофе и съел булочку с медом. Марта выпила три чашки и ничего не съела. Франц выпил полчашки и тоже не съел ничего. По балкону гулял ветер.

— По-ро-кхов-штши-коф, — вслух прочел Драйер и рассмеялся.

— Если ты кончил, пойдем, — сказала Марта, запахивая халат и стараясь не стучать зубами. — А то еще польет дождь.

— Рано, душа моя, — протянул он и покосился на тарелку с булочками.

— Пойдем, — повторила Марта и встала. Франц встал тоже.

Драйер посмотрел на часы.

— Я все равно обгоню вас, — сказал он, лукаво подняв одну бровь. — Вы оба идите вперед. Я вам дам четверть часика. Не жалко.

— Ладно, — сказала Марта.

— Посмотрим, чья возьмет, — сказал Драйер.

— Посмотрим, — сказала Марта.

— ...Ваши весла или мои ножки, — сказал Драйер.

— Пусти, — я не могу выйти, — резко воскликнула она, толкаясь коленом и продолжая запахиваться.

Драйер отодвинул свой стул. Она прошла.

— К тому же у Франца живот болит, — сказал Драйер.

Франц, не глядя на него, покачал головой. В очках, в пестром халате, он смутно походил на японца.

— Эх ты, — японец, — сказал Драйер и принялся за вторую булочку.

Хлопнула стеклянная дверь. Тишина. Жуя и обсасывая медом запачканный палец, он поглядел на бледное огромное море. С балкона был виден кусок пляжа, неопрятно, не совсем прямо стоявшие будки. Лодки нанимаются где-то в стороне — поправее... не видать отсюда. Было холодно, неинтересно без солнца. Но это не могло ослабить приятное чувство, которое он испытывал при мысли о том, что жена согласилась с ним поиграть и не отказалась в последнюю минуту — из-за дурной погоды, как он втайне боялся.

Он опять посмотрел на часы. Вчера и третьего дня как раз в это время звонила контора. Нынче, пожалуй, опять позвонит. Бог с ней. Не стоит ждать.

Он крепко вытер губы, стряхнул крошки с колен и прошел к себе в номер. Перед зеркалом он остановился, вынул серебряную щеточку, провел ею вправо и влево по усам. Облупилась кожа на носу. Некрасиво. Стук в дверь.

Конторе все-таки удалось его поймать. Драйер поторопился к телефону. Поговорив, он заторопился опять. Того и гляди, они в своей лодочке доплывут до скалы первые.

На набережной еще было пустовато. Двое-трое таких же энергичных купальщиков, как его жена и племянник, спешили к пляжу. Но его-то не тянуло купаться... Ни в каком случае... Холодно, тучи, море как чешуя. Мимоходом он заметил вдали лодку. Он напряг зрение, и ему показалось, что он различает халаты Марты и Франца. Он ускорил шаг, изредка поглядывая на беленькую, словно неподвижную лодку. Потом свернул в боковую улочку, ведущую в лес.

Франц греб, то угрюмо склоняя лицо, то в размахе отчаяния глядя в небо. Марта сидела у руля. До того как нанять лодку, она на минуту влезла в воду, чтобы согреться. Промах. Мокрый костюм прилип к груди, к бедрам, к спине, зябли ноги, — но Марта была слишком взволнована и счастлива, чтобы обращать внимание на такие глупости. Населенная будками часть пляжа медленно удалялась. Лодка стала обходить широкий загиб берега. Тяжело скрипели уключины.

— Ты все запомнил, милый?

Забирая веслами, наклоняясь вперед, Франц кивнул — и опять стал валиться навзничь, туго отталкивая воду.

— ...Когда я скажу, только когда я скажу, — помнишь?

Опять угрюмый наклон.

— Ты будешь сидеть на носу, — помнишь?

Скрипнули уключины, волна подняла лодку, Франц поклонился. Он старался не смотреть на нее, — но глядел ли он на бурое дно лодки, вдоль которого лежала вторая пара весел, — или запрокидывал лицо, — все равно он ощущал Марту всем своим существом, — видел, и не глядя, ее синий резиновый чепчик, большое голое лицо, широкий халат. И знал он в точности, как это все будет, — как Марта скажет пароль, как оба гребца встанут... лодка качается... разминуться трудненько... осторожно... еще шаг... близость... шаткость.

— ...Ты помнишь: всем телом, сразу... — сказала Марта, и он медленно наклонился.

Ветер прохватывал суровой сыростью. У Марты на голых ногах мелко пупырилась кожа. Она пристально глядела на берег, на бесконечную бледную полосу пляжа, отыскивая то место — около остроконечной скалы, — где они должны были пристать. Увидела. Натянула левую веревку руля.

Франц, с беззвучным стоном откидываясь назад, услышал вдруг, как Марта хрипло засмеялась, прочистила горло и засмеялась опять. Волна подняла лодку, брызнули весла, он согнулся, напрягся, капли пота, несмотря на морской холод, стекали у него по вискам. Марта, по воле волны, поднималась и опускалась, дрожащая, большеглазая, на голых ногах мелкие волоски стояли дыбом.

Она смотрела на крохотную темную фигурку, которая вдруг появилась на пустынной полосе пляжа.

— Поторопись, — сказала она, дрожа и оттягивая на груди и бедрах холодное прилипшее трико: — Поторопись. Он ждет.

Франц бросил весла, медленно снял очки, медленно вытер стекла об полу халата.

— Я тебе говорю, поторопись! — крикнула она. — Франц! Слышишь?

Держа очки в руке, он посмотрел сквозь стекла на небо, медленно нацепил их и взялся опять за весла.

Темная фигурка стала яснее, появилось у нее лицо, как кукурузное зернышко. Марта двигала корпусом взад и вперед, не то повторяя движения Франца, не то подталкивая лодку.

Теперь уже ясно можно было различить синий пиджак, серые штаны. Он стоял расставив ноги, подбоченясь.

— Ничего не забудь, — уже шепотом сказала Марта. — Только когда дам знак... помни...

Она мяла в руках веревки руля. Берег близился.

Драйер глядел на них и улыбался. На ладони он держал плоские золотые часы. Он пришел на двенадцать минут раньше. На целых двенадцать минут.

— С приездом, — сказал он и сунул часы обратно в карман.

— Ты, вероятно, всю дорогу бежал, — сказала Марта, тяжело дыша и озираясь.

— Как бы не так. Шел с прохладцей. Даже отдыхал по дороге.

Она продолжала озираться. Песок, дальше песчаный скат, обросший лесом. Ни души кругом.

— Садись в лодку, — сказала она. Лодка чуть вздрагивала от мелких набегающих волн. Франц вяло возился с веслами.

Драйер усмехнулся:

— Я вернусь тем же путем. В лесу чудесно. Встретимся у нашей будки.

— Садись, — повторила она резко. — Ты немного погребешь. Ты разжирел.

— Право, душа моя, не хочется... — протянул он, глядя на нее бочком.

Марта рулевой веревкой хлопала себя по колену. Он закатил глаза, вздохнул и неуклюже, с опаской, стал влезать в лодку. Лодка называлась «Морская сказка».

Франц вставил в уключины вторую пару весел. Драйер скинул пиджак. Лодка тронулась.

И сразу волнение Марты прошло. Она почувствовала блаженный покой. Совершилось. Он в их власти. Пустынный пляж, пустынное море, туманно. На всякий случай нужно отъехать подальше от берега. В груди, в голове у нее была странная, прохладная пустота, как будто влажный ветер насквозь продул ее, вычистил снутри, мусора больше не осталось. Звенящий холод. И сквозь легкий звон она слышала беспечный голос:

— Ты все время влезаешь в мои весла, Франц, нельзя так. Я понимаю, конечно, что мыслями ты далеко... Но все-таки нужно быть повнимательнее. Не могу же я оборачиваться. Вот опять! Ты в лад, в лад... Она тебя не забыла. Ты ей, надеюсь, оставил свой адрес? Раз, раз... Я уверен, что сегодня будет тебе письмо. Ритм, — соблюдай ритм!

Франц видел его крепкий затылок, желтые пряди волос, слегка распушенные ветром, белую рубашку, натягивавшуюся на спине... Но видел он это как сквозь сон.

— Ах, дети, — как было забавно в лесу! — говорил голос. — Буки, темнота, павилика. На дорожке такие черные голые улитки, с продольной резьбой. Прямо самопишущие ручки. Очень забавно. Соблюдай ритм.

Марта, полузакрыв глаза, глядела на его движущееся лицо, которое она видела в последний раз. Рядом с ней лежал его пиджак, в нем были часы, щеточка для усов, особая зубочистка, бумажник. Ей было приятно, что часы и бумажник не пропадут. В ту минуту она как-то не подумала, что придется, конечно, и пиджак сбросить в воду. Этот довольно сложный вопрос возник только потом, когда главное уже было совершено. Сейчас ее мысли текли медленно, почти томно. Предвкушение счастья было сейчас восхитительно.

— Я, признаться, боялся, что гребля будет раздражать спину, — говорил голос. — Ты вот обещала, моя душа, что сегодня пройдет, — и правда, лучше, гораздо лучше. И грести можно. Рубашка почесывает, это приятно.

Они были теперь достаточно далеко от берега. Накрапывал дождь. На горизонте пушистым хвостиком склонялся дымок. Кругом лодки мелкие волны, журча, проливались и пенились.

— В сущности говоря, нынче мой последний день, — сказал Драйер.

Франц выслушал это совершенно равнодушно: уже ничто в мире не могло его потрясти. Но Марта взглянула на мужа с любопытством.

— Я должен завтра пораньше уехать в город, — пояснил он. — Мне только что звонили. Денька на три.

Дождь усиливался. Марта оглянулась на берег, потом посмотрела на Франца. Можно было начать.

— Послушай, Курт, — сказала она тихо, — мне хочется погрести. Ты перейди на место Франца, а Франц пускай сядет на руль.

— Нет уж, погоди, моя душа, — сказал Драйер и попытался сделать так, как делал Франц, — повести весла плашмя по воде, на манер ласточки. — Я только что разошелся. Мы с Францем сыгрались. Прости, моя душа, — я тебя, кажется, обрызгал.

— Мне холодно, — сказала Марта. — Пожалуйста, встань и пусти меня.

— Еще пять минут, — сказал Драйер и опять попробовал скользнуть веслами, — и опять не вышло.

Марта пожала плечами. Ощущение власти было приятно; она готова была это ощущение продлить.

— Еще двадцать пять ударов, — сказала она с улыбкой. — Я буду считать.

— Брось, не мешай.. Я скоро тебя пущу. Я ведь завтра уезжаю...

Ему стало вдруг обидно, что она не интересуется, почему ему нужно ехать. Наверное, думает, что просто так — по обычным конторским делам.

— Любопытная комбинация, — сказал он небрежно, исподлобья глядя на жену.

Она внимательно шевелила губами.

— Завтра, — сказал он, — я одним махом заработаю тысяч сто.

Марта, считавшая удары весел, подняла голову.

— Изобретение продаю. Вот какие дела мы делаем!

Франц вдруг оставил весла и стал вытирать очки. Ему почему-то казалось, что Драйер разговаривает с ним, и, вытирая очки, он кивал, вяло ухмылялся. Однако слов он не слышал. Кроме того, Драйер сидел к нему спиной.

— Ты не думала, что я такой умный, а? — говорил Драйер, лукаво прищурясь на жену. — Одним махом, — подумай!

— Ты, вероятно, так, — шутишь, — сказала она, нахмурившись.

— Честное слово, — протянул он жалобно, — это удивительная штука. Прямо сенсация. Продаю американцам.

— Что это, — какая-нибудь запонка или подвязки?..

— Тайна, — сказал он. — А с твоей стороны глупо не верить.

Она отвернулась, кусая запекшиеся губы, и долго глядела на горизонт, где по узкой светлой полосе свисала серая бахрома ливня.

— Ты говоришь — сто тысяч? Это наверное?

Он кивнул и налег на весла, почувствовав, что гребец сзади опять начал работать.

— А скажи, — спросила она, продолжая глядеть в сторону, — это не затянется? Эти сто тысяч будут у тебя через три дня, — не позже?

Он рассмеялся, не понимая, почему, ни с того ни с сего, она ему не верит.

— Будут, если продам, — сказал он, — а купят наверняка. Ручаюсь тебе. Нужно очаровать и ошарашить. Мы это умеем.

Дождь то переставал, то снова лил, — будто примеривался. Драйер, заметив, как далеко они отъехали, стал правым веслом поворачивать лодку; Франц машинально табанил левым. Марта сидела задумавшись, языком то ощупывая заднюю пломбу, то проводя по граням передних зубов. Погодя Драйер предложил ей погрести. Она молча мотнула головой, скребя подошвой синей купальной туфли по мокрому дну лодки. Дождь пошел вовсю, Драйер сквозь шелк рубашки чувствовал его приятный холодок. Ему было хорошо, весело, он с каждым взмахом греб лучше, приближался берег, а вон там, за изгибом, — городок будок на пляже.

— Ты, значит, вернешься девятого? Это наверное? — спросила Марта, холодно глядя на его промокшую рубашку, сквозь которую, смотря по тому, какая часть прилипала к коже, проступали то здесь, то там телесного цвета пятна.

— Не позже девятого, — сказал он, с удовольствием откидываясь назад и снова взмахивая веслами.

Хлестал ливень. Халат Марты отяжелел. Ее облекал плотный холод. Она об этом не думала. Она думала о том, правильно ли она поступает? Правильно. Ничего нет легче, чем повторить такую поездку. Изредка она взглядывала мимо мужа на Франца. Он, вероятно, удивлен. Только не показывает этого. Он устал. У него рот открыт. Бедный мой. Сейчас приедем, отдохнешь, выпьешь горячего...

Лодку они сдали на первой попавшейся пристани и, по вязкому песку, а потом по узким мосткам, поднялись на набережную, склоняя головы под хлещущим дождем. Усталая, не очень торопясь, она свалила с плеч набухший водой, потемневший халат, стянула песком облипшие туфли и затем со склизким шорохом стала вылезать из клейкого трико. Драйер, совершенно голый, желтый, красный,

огромный, бурно топтался по комнате, подпрыгивая, покрякивая и мощно растирая горящее тело большим мохнатым полотенцем. Стараясь не видеть ужасных красных узоров на его лопатках, не вдыхать его ветра, она накинула пеньюар, с отвращением вымыла ноги, натянула неприятно хрустящие чулки — и сразу так утомилась, что села на кушетку, сказав себе, что подождет, пока он оденется и уйдет, — тогда ей будет свободнее двигаться. Он ушел, но она все продолжала сидеть, не шевелясь, чувствуя странную сонливость и рассуждая сама с собой, сняла ли она то, что у нее было на голове, — не шляпу, а вот такой купальный чепчик, — но не в силах была поднять к вискам руки. А на душе было странно хорошо, — так покойно. Правильно поступила. Иначе было бы неразумно, нерасчетливо. Потом она заметила, что вся дрожит, и, нехотя встав, с перерывами, со странными интервалами томности, принялась одеваться.

Меж тем дождь не прекращался. Стеклянный ящик (на набережной, перед кургаузом), где стрелка отмечала по ролику фиолетовую кривую атмосферического давления, приобрел значение почти священное. К нему подходили как к пророческому кристаллу. Но его нельзя было умилостивить ни молитвой, ни стуком нетерпеливого пальца. На пляже кто-то забыл ведерцо, и оно уже было полно дождевой воды. Приуныл фотограф, радовался ресторатор. Все те же лица можно было встретить то в одном, то в другом кафе. К вечеру дождь стал мельче. Драйер, затая дыхание, делал карамболи. Пронеслась весть, что стрелка на один миллиметр поднялась. «Завтра будет солнце», — сказал кто-то и с чувством ударил в ладонь кулаком. Несмотря на дождевую прохладу, многие ужинали на балконах. Пришла вечерняя почта — целое событие. Дождь нерешительно перестал. Под расплывающимися от сырости фонарями началось на набережной вечернее пошаркивание многих ног. В курзале были танцы.

Днем она прилегла — думала, согреется, оживет, — но озноб был тут как тут. За ужином она съела пол-огурца, две вареных вишни, — и больше ничего. Теперь в этом холодном, оглушительном зале ей было как-то странно — словно бальное платье не так сидит, сейчас расползется. Она ощущала тугой, негреющий шелк чулок, полоску подвязки вдоль ляжки. Ей все казалось, что сзади, к голой спине,

пристало конфетти, — а все-таки и ноги и спина были какие-то чужие. Музыка ею не овладевала, как обычно, а чертила по поверхности сознания угловатую линию, кривую озноба. При каждом движении головы от виска к виску, как кегельный шар, перекатывалась плотная боль. Направо от нее сидел молодой танцмейстер, все лето черной бабочкой летавший с курорта на курорт, налево — темноглазый студент, сын почтеннейшего меховщика, дальше — Франц, Драйер. Она слышала, как Марта Драйер что-то спрашивает, на что-то отвечает. Вкус ледяного шампанского все оставался как-то в стороне, — шипящие звездочки, которые только кололи чужой язык, не удовлетворяя ее жажды. Она незаметно взяла Марту Драйер за левую кисть, нащупывая пульс. Но пульс был не там, а где-то за ухом, а потом в шее, а потом в голове. Кругом, вырастая из рук танцующих, на длинных нитках колыхались синие, красные, глянцевитые шары, и в каждом была вся зала, и люстра, и столики, и она сама. Она заметила, что Марта тоже танцует, тоже держит шар. Ее кавалер, студент с индусскими глазами, отрывисто и тихо ей объяснялся в любви. Через какой-то неподвижный промежуток, во время которого ползли вверх колючие звезды шампанского, опять заколыхались шары, и ее кавалер, летучий танцмейстер, норовил, улыбаясь, коснуться щекой ее виска и одновременно ощупывал ее голую спину. Озноб собрался в одно место, стал пятипалым. Когда музыка замерла, он отнял руку. Озноб снова разлился по всему телу.

Опять она сидела за столиком, поводила плечами, говорила налево, говорила направо, перекатывалась круглая боль в голове. Ей показалось, что в очках у Франца плывут красные и синие пятна, и она решила, что это каким-то образом отражаются шары, колыхающиеся над столом. Драйер невыносимо смеялся, хлопая ладонью по столу и сильно откидываясь. Она протянула ногу под столом, нажала. Франц вздрогнул и встал, поклонился. Она положила руку к нему на плечо. Музыка на мгновение пробилась через туман, дошла до нее, окружила. Ей показалось, что все опять хорошо, оттого что это ведь — он, Франц, его руки, его ноги, его милые движения.

— Ближе, еще ближе, — забормотала она, — чтобы мне было тепло...

— Я устал, — сказал он тихо. — Я смертельно устал. Пожалуйста... не надо так...

Музыка встала на дыбы и рассыпалась. Она двинулась к столику. Кругом били в ладоши. Музыка воскресла. Мимо нее скользнул танцмейстер с ярко-желтой барышней. Индусские глаза студента мелькнули у ее лица, он кланялся, он приглашал. Она видела, как Марта Драйер прильнула к нему, зашагала, закружилась.

Драйер и Франц остались сидеть одни. Драйер отбивал пальцем такт, и глядел на танцующих, и слушал сильный голос певицы, нанятой дирекцией. Певица, небольшого роста, плотная, невеселая, надрываясь, орала, приплясывая: «Монтевидэо, Монтевидэо, пускай не едет в тот край мой Лэо...» Ее толкали танцующие, она без конца повторяла истошный припев, толстяк в смокинге, ее сожитель, шипел на нее, чтобы она выбрала что-нибудь другое, что никто не смеется, и с тоской Драйер вспоминал, что это «Монтевидэо» он слышал и вчера, и третьего дня, и опять странная грусть на него нахлынула, и он растерялся, когда вдруг певица осеклась и улыбнулась. Франц сидел рядом, облокотясь на стол, и тоже смотрел на танцующих. Был он немного пьян, ломило в плечах от утренней гребли, было жарко, воротничок размяк. Его томила огромная, оглушительная тоска. Хотелось ему лбом упасть на стол и так остаться навеки. Он чувствовал, что его мучат изощренно, безобразно мучат, выворачивают наизнанку, — и нет конца, нет конца... Такой тоски человек не выдерживает, что-то должно лопнуть, кости наконец хряснут.

Он словно сейчас очнулся, как больной — на операционном столе, и почувствовал, что его режут. Он посмотрел вокруг себя, теребя веревку шара, привязанного к бутылке, и увидел отражение в зеркале — затылок Драйера, кивавшего в такт музыки.

Он отвел глаза, запутался взглядом в ногах танцующих и с жадностью уцепился за сияющее синее платье. Иностранка в синем платье и загорелый мужчина в старомодном смокинге. Он давно заметил эту чету — они мелькали, как повторный образ во сне, как легкий лейтмотив, — то на пляже, то в кафе, то на набережной. Но только теперь он осознал этот образ, понял, чтó он значит. У дамы в синем был нежно-накрашенный рот, нежные, как будто близорукие глаза, и ее жених или муж, большелобый, с зализами на висках, улыбался ей, и по сравнению с загаром зубы у него казались особенно белыми. И Франц так позавидовал этой

чете, что сразу его тоска еще пуще разрослась. Музыка остановилась. Они прошли мимо него. Они громко говорили. Они говорили на совершенно непонятном языке.

И опять — волна хлороформа, беспощадная близость Марты.

— Ваша тетя танцует как богиня! — обратился к нему студент, садясь рядом.

— Я очень устал, — невпопад ответил он. — Я сегодня много греб. Гребной спорт очень полезен.

Драйер меж тем говорил, посмеиваясь:

— А мне можно тебя пригласить на один тур? Только разок. Обещаю тебе не наступать на ноги.

— Пойдем домой, — тихо сказала Марта. — Мне как-то нехорошо...

ГЛАВА XIII

Моргая спросонья, в желтой пижаме, расстегнутой на животе, Драйер вышел на балкон. Ослепительно искрилась мокрая листва. Море было молочно-синеватое, сплошь в играющих блестках. Пятна солнца дрожали на перилах балкона, на ступенях смешной лестницы, спускающейся в сад. На веревочке сох женин купальный костюм. Он вернулся в темную спальню, спеша одеться, чтобы ехать в столицу. Через три четверти часа отходил автобус, который повезет его по деревенским дорогам к станции. В полутьме он пополоскался в резиновой ванне. На балконе, пристально глядя в сияющее зеркальце, поставленное на перила, с удовольствием побрился, чуть припудрил горящие щеки. Снова вернувшись в полутьму, он бодро оделся, вынул из шкафа городскую шляпу.

Из сумрака постели вдруг возник голос Марты. «Мы сейчас поедем кататься на лодке, — пробормотала она скороговоркой. — Ты встретишь нас у скалы — поторопись...»

Драйер, хлопая себя по бокам, проверяя, все ли он разложил по карманам, засмеялся:

— Проснись, моя душа. Я уезжаю в город.

Она что-то пробормотала еще, потом внятно сказала:

— Дай мне воды.

— Я спешу, — сказал он, — сама возьмешь. Пора тебе вставать, купаться. Погода райская.

Он склонился над туманной постелью, поцеловал ее в волосы и быстро вышел из спальни. До отхода автобуса нужно было еще успеть выпить кофе.

Кофе он пил на террасе кургауза. Съел две булочки с медом. Посмотрел на часы и съел третью. Уже мелькали пестрые купальные халаты, разгоралось море. Закуривая на ходу, он поспешил к площади, где уже грохотал автобус. Поехали.

Море осталось позади. Уже прыгали в воде, взмахивая голыми руками, купальщики. На всех балконах был нежный звон утренних завтраков. Франц, машинально захватив под мышку резиновый мяч, прошлепал по коридору, постучался в номер четы Драйер. Молчание. Он толкнул дверь. Шторы были спущены, Марта еще спала.

Он сообразил, что Драйер уже уехал. Нужно тихонько уйти. Пускай спит. Это хорошо. Можно спокойно полежать на пляже.

Туманная постель скрипнула; потом прозвучал тусклый голос.

— Дай мне, пожалуйста, воды, — с вялой настойчивостью проговорила Марта.

Он отыскал, в полутьме, на умывальнике графин, стакан, нечаянно облил себе пальцы, двинулся со стаканом к постели. Марта медленно приподнялась, выпростала голую руку, стала жадно всасывать воду.

— Франц, поди сюда, — позвала она все тем же невыразительным голосом.

Он сел к ней на постель, угрюмо предчувствуя, что сейчас постучится горничная.

— Я, кажется, заболела, — задумчиво сказала она, не поднимая головы с подушки и устало ловя его руку. — Садись ближе. Знаешь, он вернется через три дня. У меня, должно быть, жар. И трудно дышать.

Уткнувшись в подушку, она одной рукой обхватила его за шею, потянула.

— Сейчас принесут кофе, — сказал Франц. — Вставай. Сегодня солнце, — а тут так темно.

Она заговорила опять:

— Пойди в аптеку, купи мне аспирина. Я еще немного полежу. И скажи там, чтобы увели Тома, — он все лает.

— Это не Том, это у соседей собака. Что с тобой?

— Пожалуйста, Франц... Я не могу встать. И накрой меня чем-нибудь.

Он пожал плечами и перетянул на нее перину с соседней постели.

— Я не знаю, где тут аптека, — сказал он нерешительно.

— Ты принес? — спросила она. — Что ты принес?

Он опять пожал плечами и вышел.

Аптеку он нашел без труда. Кроме трубочки аспиринных таблеток, он еще купил бритвенный клинок в конвертике. Идя назад к кургаузу, по солнечной набережной, он несколько раз останавливался, глядел вниз на пляж. Мимо него прошла уже знакомая ему чета. Оба были в халатах, шли быстро, громко говорили на неизвестном языке. Он заметил, что они на него взглянули и на мгновение умолкли. Потом, удаляясь, заговорили опять, и ему показалось, что они его обсуждают, — даже произносят его фамилию. Подул ветерок, сорвал бумажку с трубочки в его руке. Он ощутил странную неловкость, беспричинное чувство, что вот этот проклятый счастливый иностранец, спешащий к пляжу со своей загорелой, прелестной спутницей, знает про него решительно все, — быть может, насмешливо его жалеет, что вот, мол, юношу опутала, прилепила к себе стареющая женщина — красивая, пожалуй, — а все-таки чем-то похожая на большую белую жабу. Он подумал, что беспечные люди на морском курорте всегда проницательны, глумливы, злоязычны. Ему стало стыдно, он почувствовал свою дрожащую наготу, едва прикрытую шарлатанским халатом; задумался, потряс головой и, брезгливо держа в руке стеклянную трубочку с таблетками, вернулся в гостиницу. Он даже не заметил, что потерял на набережной легкую бумажку, в которую трубочка была обернута; бумажка скользнула по набережной, легла, опять скользнула, обогнала чету, недавно замеченную Францем; потом ветерок отнес бумажку к скамейке у спуска на пляж. Там ее задумчиво пробил острием трости гревшийся на солнце старик. Что случилось с ней дальше — неизвестно: тем, кто спешил на пляж, некогда было за нею наблюдать. Песком опушенные мостки вели вниз к красно-белым будкам. Тянуло поскорей к сияющим складкам моря. Мостки оборвались. Дальше надо было идти по рыхлому белому песку. Узнать свою будку легко — и не только по цифре на ней: есть предметы, которые необыкновенно быстро привыкают к человеку, входят в его жизнь, просто и доверчиво. Неподалеку от этой будки была будка семейства Драйер; сейчас

она пустовала; ни Драйера, ни жены его, ни племянника... Кругом нее был огромный песчаный вал. Чужой ребенок в красных трусиках лез по нему, и песок сбегал искристыми струйками. Госпожа Драйер была бы недовольна, что вот чужие дети лезут и портят. За валом, внутри, на песке вокруг будки, вчерашний дождь смешал следы босых ног. Невозможно уже было найти, например, крупный отпечаток Драйера или узкий, длиннопалый след Франца. Через некоторое время подошли танцмейстер и студент, увидели, что никого еще нет, удивились и двинулись дальше. «Милая, обаятельная женщина», — сказал один, а другой посмотрел через пляж на набережную, на полосу гостиниц, кивнул и ответил: «Они, должно быть, сейчас придут. Мы можем через десять минут вернуться». Но будка продолжала пустовать. Мелькнула белая бабочка в борьбе с ветром. Где-то далеко кричал фотограф. Люди входили в воду, двигали в ней ногами, как будто шли на лыжах. Потом — вспышка, фыркание, — поплыли.

И одновременно все эти морские образы — синие тени будок на песке, блеск воды, пестрые от песка и загара тела, — эти образы, собранные в один солнечный узор, уезжали со скоростью восьмидесяти километров в час, уютно поместившись в душе у Драйера, и тем настойчивее требовали к себе внимания, чем больше он сам, в длинном вагоне экспресса, отдалялся от моря. Приятное, волнующее предвкушение дела, ожидавшего его в городе, как-то опреснело при мысли о том, что вот сейчас, пока он, превратившись уже в горожанина, сидит в поезде, — там, у моря, на горячем песке — блаженство, отдохновение, свобода... И чем ближе подъезжал он к столице, тем привлекательнее казалось ему то синее, жаркое, живое, что он оставлял позади себя.

Не понравился ему американец, — совсем не понравился. Во-первых, он говорил по-английски так, что ничего нельзя было понять. Во-вторых, у него был тяжелый, золотой портсигар в виде двустворчатой раковины. В-третьих, он ни разу не улыбнулся. Был он маленького роста, прозрачно-бледный, с рыжей щетиной на голове и беспрестанно подтягивал кожаный поясок штанов.

Во время представления он молчал. В тишине был слышен мягкий шелестящий шаг механических фигур. Один за другим прошли: мужчина в смокинге, юноша в белых

штанах, делец с портфелем под мышкой, — и потом снова в том же порядке... И вдруг Драйеру стало скучно. Очарование испарилось. Эти электрические лунатики двигались слишком однообразно, и что-то неприятное было в их лицах, — сосредоточенное и приторное выражение, которое он видел уже много раз. Конечно, гибкость их была нечто новое, конечно, они были изящно и мягко сработаны, — и все-таки от них теперь веяло скукой, — особенно юноша в белых штанах был невыносим. И, словно почувствовав, что холодный зритель зевает, фигуры приуныли, двигались не так ладно, одна из них — в смокинге — смущенно замедлила шаг, устали и две другие, их движения становились все тише, все дремотнее. Две, падая от усталости, успели уйти и остановились уже за кулисами, но делец в сером замер посреди сцены — хотя долго еще дрыгал плечом и ляжкой, как будто прилип к полу и пытался оторвать подошвы. Потом он затих совсем. Изнеможение. Молчание.

И Драйер понял, что все, что могли дать эти фигуры, они уже дали, — что теперь они уже больше не нужны, лишены души, и прелести, и значения. Он им был смутно благодарен за то волшебное дело, которое они выполнили. Но теперь волшебство странным образом выдохлось. От их нежной сонности только претило. Затея надоела.

И равнодушно он выслушал все то, что стал говорить американец, перешедший вдруг на прескверный немецкий язык. Американец, рассеянно положив себе сахару в кофе и передав сахарницу Драйеру, говорил о том, что фигуры, конечно, очень остроумны, очень художественны, но... Тут он взял из рук Драйера сахарницу и, по рассеянности, пустил в свою чашку еще партию кусочков. Драйер, глядя на это с любопытством, почувствовал, что вот, по крайней мере, что-то занятное — единственная занятная до сих пор черточка; ее надобно поэксплуатировать. Американец говорил, что фигуры очень художественны, но что заменить ими живых манекенов — («Да возьмите сахару», — сказал Драйер) — дело рискованное. Можно, конечно, создать моду на это (говорил американец, передавая сахарницу), но такая мода будет непродолжительна. Конечно, изобретение — любопытное, и кое-что можно из него извлечь, но с другой стороны... И чем скучнее говорил американец, тем яснее убеждался Драйер, что изобретение он жаждет

купить, что сумму можно запросить грандиозную; но Драйеру было все равно. Фигуры умерли.

Американец пошел звонить по телефону; на столике он оставил свой затейливый золотой портсигар. Драйер повертел его в руках, удивляясь человеческому безвкусию. Затем он улыбнулся. Надо было чем-нибудь вознаградить себя за пережитую скуку. Вот заволнуется американец, засуетится и потом просияет. Любопытно на это посмотреть. Американец вернулся, Драйер встал, и оба вышли на улицу. Драйер думал, что вот он сейчас захочет курить — и начнется потеха. Но американец опять заговорил о фигурах. Драйер перебил его и стал рассказывать о старинном автомате-шахматисте, который он видел в одном провинциальном музее. Шахматист был одет турком. На углу они распрощались. Условились, где встретиться завтра. Американец добавил, что послезавтра вечером уезжает в Париж, — так что дело нужно решить не откладывая... Драйер, продолжая думать о шахматисте и рассуждая про себя, можно ли, например, построить механического ангела, который бы летал, — тихо пошел по вечереющей улице. В глубине улицы жарко горел закат. Подходя к дому, он увидел, что одно окно — окно спальни — пылает золотым закатным блеском. Золото... Он спохватился, что чужой портсигар остался у него в кармане. Не беда, — завтра можно будет отдать. Еще забавнее выйдет.

После ужина он тихо занялся английским языком, изредка потягивая за неизъяснимо нежное ухо Тома, который лежал у его ног. В доме было как-то легко и пусто без Марты. И было очень тихо, — и Драйеру было даже непонятно, почему так тихо, пока он не заметил, что все часы в доме стоят.

В спальне была открыта только его постель; другая была, поверх одеяла, наглухо прикрыта простыней. Белая, безликая постель. Пустовали полочки туалета, и не было кружевного круга на стеклянной подставке. Отсутствовал долголягий негр, обычно сидевший на ночном столике. Драйер потушил свет и, окруженный странной тишиной, незаметно уснул.

И уже в восемь часов сизо-голубого июльского утра, не побрившись, не позавтракав, он быстро ехал в наемном лимузине — сперва по улицам знакомым, потом по улицам безымянным, потом по гладкому шоссе, мимо сосновых

рощ, полей, неизвестных деревень. У окна, в металлической вазочке, приделанной к стенке, тряслись в лихорадке пыльные искусственные цветы. Через час хлынул мимо небольшой город, потом приблизилась багровая фабрика, закружилась и отошла. Мелькнул велосипедист, как отпущенный конец резины. И опять — поля, бурно катящиеся нивы, деревья, взбегающие на холм, чтобы лучше видеть. Еще через час, опять в городке, пришлось не то набирать бензину, не то чинить что-то. Потом — чудовищно долгая остановка перед закрытым шлагбаумом. Оглушительно пели птицы и пахло сеном. Пронесся поезд. И опять — все быстрее, по белому шоссе... трудно сидеть... кидает... трещат рамы... хлещет мимо зелень. Он вспотел, стал искать платок и вынул неизвестно как попавший к нему в карман золотой портсигар в виде раковины — с двумя папиросами. Он машинально их выкурил. Второй окурок упал на десять километров дальше первого. Теперь катились мимо фиолетовые волны вереска. Не успев сделать и одного полного поворота, мелькнула ветряная мельница. Столпились кругом какие-то домишки и ухнули в тартарары. Протрещало эхо по частым стволам леса; и опять — поля...

Он приехал около часу дня. Молодой человек, студент, сын Шварца из Лейпцига, встретил его, стал что-то объяснять.

— Это вы мне звонили, — я с вами говорил? — на ходу спросил Драйер. Студент закивал, шагая через две ступеньки. В коридоре Драйер увидел того, второго, — танцмейстера, — который ходил взад и вперед, как часовой. Драйер быстро вошел в спальню. Дверь тихо закрылась. Студент и танцмейстер замерли в коридоре.

— Профессор еще там? — шепотом спросил студент.

— Да, — сказал танцмейстер, — он еще там. Повезло все-таки...

Они умолкли, глядя на белую дверь с цифрой 21 и думая о том, как повезло, что в списке курортных гостей они отыскали знаменитейшего доктора. Белая дверь открылась; вышел Драйер и с ним — загорелый лысый старик в полосатом купальном халате. Из кармана халата торчал стетоскоп.

— Я не очень доволен. Pneumonia crouposa, — да таким галопом.

— Да, — сказал Драйер.

— Я уже вчера вечером был недоволен. У вашей супруги — странное сердце.

— Да, — сказал Драйер.

— Дыхание сейчас дошло до пятидесяти движений в минуту. Очень нервная больная. Я после обеда зайду опять.

— Да, — сказал Драйер.

Доктор пожал ему руку и, придерживая полы пышного халата, торжественно спустился по лестнице, прошел через холл, вышел на солнечную ветреную набережную. На скамейке перед гостиницей сидел совершенно неподвижно, в синих очках, Франц.

— Приехал ваш дядя, — сказал доктор, веял мимо.

Когда он прошел, Франц встал и медленно направился в противоположную сторону, направо, вдоль кафе. Потом он остановился, опустив голову. Сделал еще несколько шагов, медленно замер опять; потом, с усилием, повернулся и пошел к гостинице. Он поднялся по лестнице, скрипя ладонью по перилам. В коридоре было пусто. Он остановился у белой двери с цифрой 21. Через некоторое время дверь открылась. Вышла большая и беззвучная сестра милосердия, неся что-то, завернутое в полотенце. На ходу она потрепала по голове девочку в синем халатике, с лопатой в руке, и скрылась за углом коридора. Так же беззвучно и деловито сестра вернулась. Дверь открылась (послышалось чье-то странное бормотание) и медленно затворилась. Франц прислонился к стене, оттолкнулся и крадучись пошел прочь. Но он не успел скрыться. Дверь открылась опять, и на цыпочках вышел Драйер.

— Я пойду закусить, — сказал он, виновато взглянув на Франца. — Пойдем. Я со вчерашнего вечера ничего не ел.

В столовой они сели в уголок; обедающие смотрели на них во все глаза. Драйер молча и быстро принялся за суп. Желтая щетина на невыбритых щеках странно его старила. Франц тоже ел суп. Так же молча было съедено и жаркое.

— Можно обойтись без сладкого, — рассеянно сказал Драйер и полез за зубочисткой. Он вынул большую золотую раковину. Посмотрел на нее, морщась, и брезгливо бросил на стол.

— Не вышла шуточка, — сказал он с усмешкой.

Он помолчал и опять усмехнулся.

— Знаешь, Франц, — ужасная получилась глупость. Хозяин этой вещи завтра уезжает. Мы с ним сидели в кафе, я вот случайно присвоил.

Франц облизал губы, переглотнул, готовясь что-то сказать.

— Ужасная глупость, — повторил Драйер. — Прямо катастрофа. Верно, он бегает по всему городу. Что теперь делать? Экая золотая гадость...

Он смотрел на раковину, и ему казалось, что это и есть тот ужас, который его сейчас гнетет, и что если как-нибудь от нее отвязаться, то и ужас пройдет, боль в боку у Марты пройдет, боль пройдет — все будет как прежде...

Франц наконец выдавил то, что он хотел сказать:

— Я ему отвезу. Дай мне; я ему отвезу.

— Благородно с твой стороны, Франц. Неужели ты это сделаешь?

— Сегодня вечером, последним поездом, — волнуясь и не сводя глаз с золотой раковины, сказал Франц. — Я отвезу... я отвезу.

«Хороший парень», — мельком подумал Драйер и почувствовал щекотку в углах глаз.

Он вынул визитную карточку и перо, оперся на балюстраду лестницы, написал несколько слов, отдал Францу.

— Очень благородно, мой друг.

Ни тот, ни другой не заметили, как оказались опять в коридоре перед белой дверью. Франц вздрогнул, увидев дверь, и выхватил из руки Драйера раковину. Драйер кивнул, вздохнул и тихо открыл дверь. Францу опять показалось, что он услышал бормотание Марты, быстрый рокот бреда. Но дверь закрылась; он повернулся и, через плечо оглядываясь, поспешно ушел. Бред остался в полутемной комнате.

И по волнам, по мелким круглым волнам, которые поднимались и спадали — быстро, в лад с ее дыханием, — Марта плыла в белой лодке, и на веслах сидели Драйер и Франц. Франц, через голову Драйера, бодро ей улыбался, и в очках у него был чудный отблеск. Был Франц в длинной ночной сорочке, открытой у ворота, — и лодка опускалась и крякала, как будто на пружинах. И Марта сказала: «Пора, можно начать». Драйер встал, Франц встал тоже, и оба зашатались, смеясь и крепко обнявшись. Волновалась на ветру долгая рубашка Франца, и вот он уже стоял один, смеясь и шатаясь, — а из воды торчала растопыренная рука с обручальным кольцом на пальце.

«Веслом!» — сказала Марта, захлебываясь от смеха. Франц поднял весло — рука исчезла. Они были одни в белой лодке. И уже это была не лодка, а мраморный столик в открытом кафе, и Франц в ночной рубашке сидел против нее, — и теперь было все равно, что он так смешно одет. Они пили кофе — ужасная разбирала жажда, Франц дул, склонясь над своей чашкой, и Драйер хлопал по столику сафьяновым бумажником, призывая лакея. Тогда она посмотрела на Франца, и Франц, улыбнувшись, сказал Драйеру что-то на ухо, и Драйер со смехом встал и пошел за ним. Марта осталась одна; ждала, и стул, на котором она сидела, поднимался и опускался, оттого что кафе, верно, было — плавучее. И вот вернулся Франц, один, неся на руке чужой синий пиджак; многозначительно кивнул и бросил пиджак на стул рядом, Марта хотела поцеловать Франца, но стол был между ними, и мраморный край больно упирался ей в грудь. Принесли еще кофе, три чашки, три кофейничка, и она не сразу спохватилась, что одна порция — лишняя. Кофе не утолял жажды, она тщетно дула на него — и потом решила, что, так как накрапывает дождь, нужно подождать, чтобы дождь разбавил кофе. Но дождь был тоже горячий, и Франц доказывал, что нужно вернуться домой, — и дом был тут как тут — через поляну, знакомая вилла с террасой. «Пойдем», — сказала она, и все трое встали, и Драйер, бледный и потный, стал натягивать свой синий пиджак. Тогда она заволновалась, — это было нечестно, незаконно. Франц понял и, говоря что-то увещевательным голосом, стал уводить Драйера, который шел, пошатываясь, и все не мог попасть в рукав. Франц вернулся один, но не успел он подойти, как уже Драйер появился поодаль, осторожно шел обратно, — и лицо его было мертвенно-бледное. Косясь на нее, он молча сел на весла, Франц оттолкнул лодку, и Марту охватило такое нетерпение, что она сразу, как только лодка, качаясь, поплыла, стала кричать, топать ногой. Все зашаталось, она хотела подняться, чье-то весло встало ей поперек груди, не пускало, вздувалась от ветра белая рубашка Франца... И снова они были вдвоем, — но что-то ей говорило, что не все сделано, что это еще не конец, — хотя Франц уже обнимал ее, жал ей ребра торопливыми руками. И вдруг она поняла: пиджак... Пиджак лежал на дне лодки, синий, распластанный, — но уже спина подозрительно горбилась, набухали

рукава, он пытался встать на четвереньки. Она схватила пиджак, Франц и она сильно его раскачали и швырнули. Но он не хотел тонуть — шевелился на волне, как живой. Она стала толкать его веслом, он цеплялся за весло, хотел вылезти. Но вдруг она вспомнила, что в нем остались часы, — и тогда пиджак начал медленно тонуть, вяло двигая обессиленными рукавами. Марта и Франц глядели, обнявшись, как он исчезает, и когда наконец что-то чмокнуло и на воде остался только расширяющийся круг — она поняла, что наконец свершилось, что теперь дело действительно сделано, и огромное, бурное, невероятное счастье нахлынуло на нее. Было теперь легко дышать, играло солнце, и она чувствовала и покой, и освобождение, и благодарность. Франц быстрыми руками трогал ее то за плечи, то за бедра, — и в окнах сквозила яркая зелень, белый стол был накрыт для двоих... И счастье все росло, переливалось по телу... счастье, свобода... неуязвимое торжество...

Ее бред протекал вне времени, ее бормотания никто не мог понять. Изредка дверь отворялась и тихо затворялась снова. И была одна минута среди ночи, когда Драйер, оказавшись в коридоре, в кромешной тьме, водил ладонью по стене, в отчаянии отыскивая свет.

Франц очнулся. Было за полночь. Поезд входил в вокзал. Столица. Не было у него ни пальто, ни чемодана. В ушах еще стояло ее безобразное бормотание. Ежась от ночного холода, он прошел в буфет, рухнул на диванчик. Там и сям сидели молчаливые, сгорбленные люди. Изредка гулко гремел отодвигаемый стул.

Облегчение, которое он сперва испытывал, вырвавшись из области ее бреда, — скоро прошло. Это было мнимое бегство. Он знал, что если Марта выживет — он погиб. Вернется к ней прежняя сила, против которой он не может ничего, — и он погиб. И возможная смерть Марты представилась Францу с такой сладостной ясностью, что на мгновение он поверил, что Марта действительно умрет. И потом, сразу, без перехода, он вообразил другое — долгое житье-бытье с нарумяненной, пучеглазой старухой, — и неотвязный ежечасный страх.

На рассвете он почему-то оказался стоящим на каком-то мосту. На столбе, подле спасательного круга, были пожелтевшие иллюстрации под стеклом. Усатый мужчина в штанах и жилете плывет, держа под мышкой другого

усача. Через час, может быть через два, Франц пил кофе в трактире, где на стене была надпись в стихах: «Ешь, пей, хохочи — о политике молчи». Он стал считать сидящих в трактире. Если четное, она умрет, если нечетное — выживет. Было семеро мужчин — все шоферы да грузчики — и какая-то женщина. Он не знал, сосчитать ли и ее, относится ли она к посетителям или это жена трактирщика, — долго разбирал про себя этот вопрос.

Погодя он очнулся опять на мосту — все попадал он на мосты в это зеленое, как морская болезнь, утро — и стал гадать, четный ли или нечетный номер у трамвая, приближавшегося издали. Трамвай прошел по мосту: он был без всякого номера, и окна были заколочены.

Около десяти он отправился в другую часть города, в гостиницу, где жил американец. Раковину и записку Драйера он сдал в конторе гостиницы. На него посмотрели неуверенно и подозрительно. Он втянул голову в плечи и вышел.

Потом он сидел на скамейке в парке и смутно думал, что все эти блуждания — какая-то ужасная карикатура на те блуждания, которые когда-то, давным-давно, он совершал, притворяясь, что ходит на службу... На песке были кольца солнца. Он стал их считать. Тревога становилась нестерпимой. Его тянуло обратно к той белой двери, — но слишком было страшно вернуться. Мгновениями отвратительная, расслабляющая дремота наваливалась на него. Он заснул на скамейке, потом в ресторане, и, проснувшись, долго не мог понять, что говорит ему сердитый лакей. Это смешение дремотности и острейшей тревоги было состояние странное, — как будто спорили за его душу две силы, рвущие то в одну сторону, то в другую. И постепенно он приближался к вокзалу, — да все переулками, переулками, и часто останавливался, замирал, — и потом опять заснул в странном домике, в виде горного шалаша, куда впустила его чистая старуха в переднике. И наконец в пятом часу он очутился на вокзале, и всю дорогу его трясло, он ходил взад и вперед по коридору, и грохот колес напоминал ему страшное бормотание.

Было уже темновато, когда он пересел в автобус. Ему показалось, что шофер хитро на него посмотрел — знаю, мол, да не скажу. Его соседи с любопытством разглядывали его пыльные башмаки. Он заметил, что все, на что сам

смотрит, пересечено сверху вниз неясной полосой, словно вычеркнуто. Он сообразил, что это у него одно стекло треснуло, — но не мог вспомнить, как это случилось. Наконец приехали. Стараясь быстрой ходьбой унять нестерпимую дрожь в ногах, он пошел к гостинице. Кто-то догнал его и передал ему шляпу, забытую в автобусе. Он ускорил шаг, подошел к гостинице, поискал глазами. На освещенном балконе сидел Драйер и читал газету.

Волнение сразу улеглось. Значит — жива, болезнь перевалила. Он стал вяло подниматься по ступеням лестницы, ведущей из сада на балкон. В душе была пустота, глухота, покорность.

Услышав скрип ступеней, Драйер медленно повернул голову. Франц, взглянув на его лицо, вяло подумал, что, верно, у него сильный насморк. Драйер издал горлом неопределенный звук и, быстро встав, отошел к перилам.

Он стоял к Францу спиной и пальцами играл по деревянной балюстраде. На столе, под лампой, валялся изорванный кусок старой, мятой газеты. Франц посмотрел на газету, опять на спину Драйера, посмотрел — и вдруг раскрыл рот. Раза два Драйер двинул плечами, как будто ему был узок пиджак. Он уже не играл пальцами, а равномерно бил по балюстраде ребром руки. Потом спина его опять дрогнула, и, не оборачиваясь, он быстро засунул руки в карманы штанов.

Он не решался вынуть платок, не решался показать Францу лицо. В темноте ночи, куда он глядел, было только одно: улыбка, — та улыбка, с которой она умерла, улыбка прекраснейшая, самая счастливая улыбка, которая когда-либо играла на ее лице, выдавливая две серповидные ямки и озаряя влажные губы. Красота уходит, красоте не успеваешь объяснить, как ее любишь, красоту нельзя удержать, и в этом — единственная печаль мира. Но какая печаль! Не удержать этой скользящей, тающей красоты никакими молитвами, никакими заклинаниями, как нельзя удержать бледнеющую радугу или падучую звезду. Не нужно думать об этом, нужно на время ничего не видеть, ничего не слышать, — но что поделаешь, когда недавняя жизнь человека еще отражена во всяких предметах, на всяких лицах, и невозможно смотреть на Франца без того, чтобы не вспомнить солнечного пляжа и Франца с нею, с живою, играющего в мяч.

— Мяч, — сказал Драйер, не оборачиваясь. — Мяч...

Он прочистил горло, хотел добавить, что мяч еще остался в ее комнате, — но почувствовал, что не может.

Впрочем, Франца уже не было на балконе. Были только мелкие белесые мотыльки и какие-то зеленые мошки, вьющиеся вокруг лампы, ползающие по белой скатерти.

Франц бесшумно, не скрипнув ни одной ступенью, спустился по балконной лестнице. Он пошел вдоль крыла гостиницы, ступая в потемках по клумбам, и вернулся в гостиницу через празднично озаренный холл. Приложив ладонь ко рту, чтобы как-нибудь удержать смех, душивший его, разрывающий ноздри, распирающий живот, он мимоходом приказал лакею принести в его номер ужин. Продолжая скрывать дрожащее лицо, поправляя танцующие очки, он поднялся к себе. В коридоре он остановил горничную, крупную, розовую девицу с родимым пятнышком на шее, и сказал глуховатым голосом: «Разбудите меня завтра не раньше десяти, и вот вам две марки». Девица поблагодарила, закивала, играя глазами, и повернулась, продолжая свой скорый путь. Он мельком подумал, что, пожалуй, можно было ее ущипнуть сейчас, не откладывая до завтра. Смех наконец вырвался. Он рванул дверь своей комнаты. Барышне в соседнем номере показалось спросонья, что рядом, за стеной, смеются и говорят, все сразу, несколько подвыпивших людей.

В. СИРИНЪ

ЗАЩИТА
ЛУЖИНА

РОМАНЪ

СЛОВО

...О „СЛОВО", БЕРЛИНЪ 1930

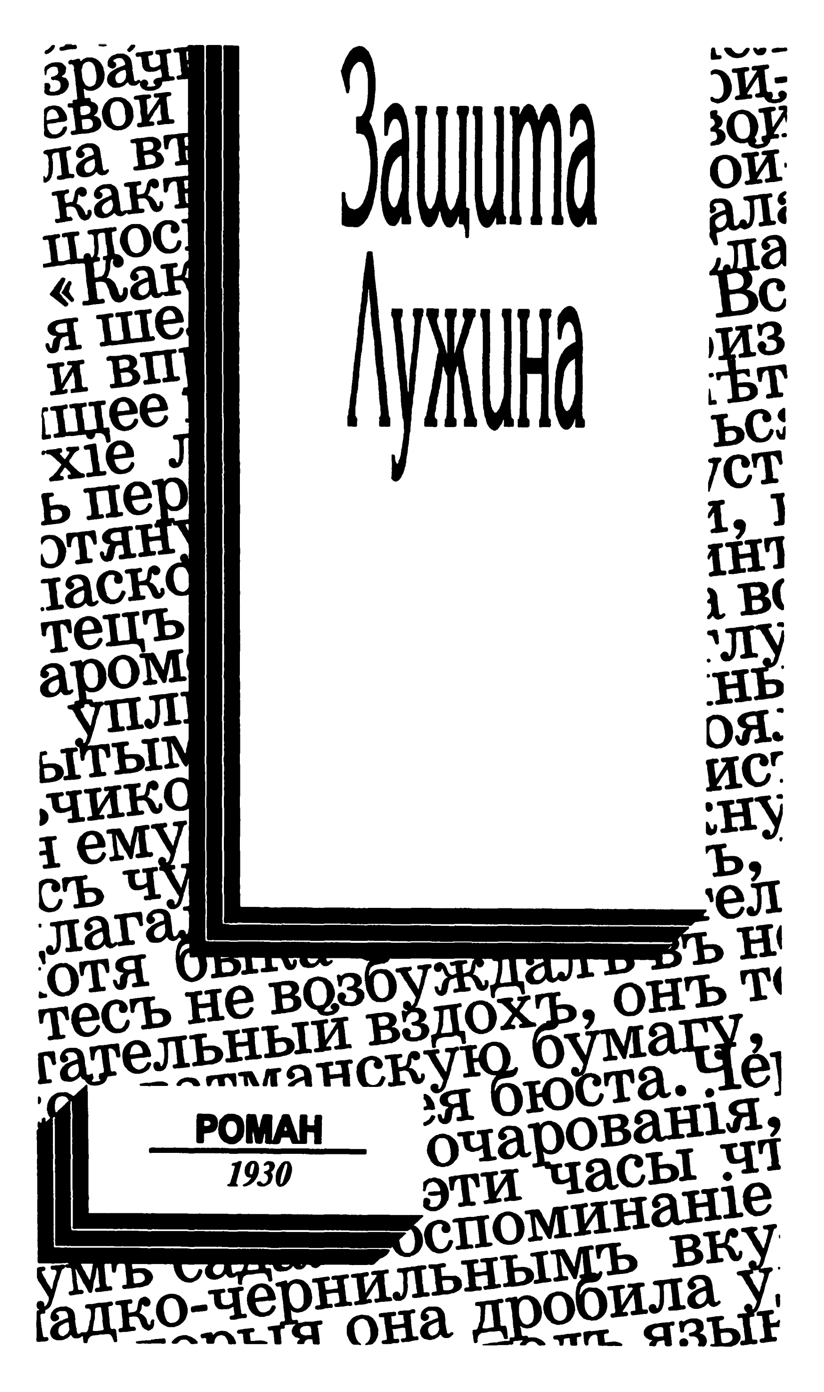
В. СИРИНЪ

ЗАЩИТА
ЛУЖИНА

РОМАНЪ

СЛОВО

БЕРЛИНЪ
1930


Защита
Лужина
РОМАН
1930

1

Больше всего его поразило то, что с понедельника он будет Лужиным. Его отец — настоящий Лужин, пожилой Лужин, Лужин, писавший книги, — вышел от него, улыбаясь, потирая руки, уже смазанные на ночь прозрачным английским кремом, и своей вечерней замшевой походкой вернулся к себе в спальню. Жена лежала в постели. Она приподнялась и спросила: «Ну что, как?» Он снял свой серый халат и ответил: «Обошлось. Принял спокойно. Ух... Прямо гора с плеч». — «Как хорошо... — сказала жена, медленно натягивая на себя шелковое одеяло. — Слава Богу, слава Богу...»

Это было и впрямь облегчение. Все лето — быстрое дачное лето, состоящее в общем из трех запахов: сирень, сенокос, сухие листья, — все лето они обсуждали вопрос, когда и как перед ним открыться, и откладывали, откладывали, дотянули до конца августа. Они ходили вокруг него, с опаской суживая круги, но только он поднимал голову, отец с напускным интересом уже стучал по стеклу барометра, где стрелка всегда стояла на шторме, а мать уплывала куда-то в глубь дома, оставляя все двери открытыми, забывая длинный, неряшливый букет колокольчиков на крышке рояля. Тучная француженка, читавшая ему вслух «Монте-кристо» и прерывавшая чтение, чтобы с чувством воскликнуть: «Бедный, бедный Дантес!», предлагала его родителям, что сама возьмет быка за рога, хотя быка этого смертельно боялась. Бедный, бедный Дантес не возбуждал в нем участия, и, наблюдая ее воспитательный вздох, он только щурился и терзал резинкой ватманскую бумагу, стараясь поужаснее нарисовать выпуклость ее бюста.

Через много лет, в неожиданный год просветления, очарования, он с обморочным восторгом вспомнил эти часы чтения на веранде, плывущей под шум сада. Воспоминание

пропитано было солнцем и сладко-чернильным вкусом тех лакричных палочек, которые она дробила ударами перочинного ножа и убеждала держать под языком. И обойные гвоздики, которые он однажды положил на плетеное сиденье кресла, предназначенного принять с рассыпчатым потрескиванием ее грузный круп, были в его воспоминании равноценны и солнцу, и шуму сада, и комару, который, присосавшись к его ободранному колену, поднимал в блаженстве рубиновое брюшко. Хорошо, подробно знает десятилетний мальчик свои коленки, — расчесанный до крови волдырь, белые следы ногтей на загорелой коже, и все те царапины, которыми расписываются песчинки, камушки, острые прутики. Комар улетал, избежав хлопка, француженка просила не егозить; с остервенением, скаля неровные зубы — которые столичный дантист обхватил платиновой проволокой, — нагнув голову с завитком на макушке, он чесал, скреб всей пятерней укушенное место, — и медленно, с возрастающим ужасом, француженка тянулась к открытой рисовальной тетради, к невероятной карикатуре.

«Нет, я лучше сам ему скажу, — неуверенно ответил Лужин-старший на ее предложение. — Скажу ему погодя, пускай он спокойно пишет у меня диктовки». «Это ложь, что в театре нет лож, — мерно диктовал он, гуляя взад и вперед по классной. — Это ложь, что в театре нет лож». И сын писал, почти лежа на столе, скаля зубы в металлических лесах, и оставлял просто пустые места на словах «ложь» и «лож». Лучше шла арифметика: была таинственная сладость в том, что длинное, с трудом добытое число, в решительный миг, после многих приключений, без остатка делится на девятнадцать.

Он боялся, Лужин-старший, что, когда сын узнает, зачем так нужны были совершенно безликие Трувор и Синеус, и таблица слов, требующих «ять», и главнейшие русские реки, с ним случится то же, что два года назад, когда, медленно и тяжко, при звуке скрипевших ступеней, стрелявших половиц, передвигаемых сундуков, наполнив собою весь дом, появилась француженка. Но ничего такого не случилось, он слушал спокойно, и когда отец, старавшийся подбирать любопытнейшие, привлекательнейшие подробности, сказал, между прочим, что его, как взрослого, будут звать по фамилии, сын покраснел, заморгал, откинулся навзничь на подушку, открывая рот и мотая

головой («Не ерзай так», — опасливо сказал отец, заметив его смущение и ожидая слез), но не расплакался, а вместо этого весь как-то надулся, зарыл лицо в подушку, пукая в нее губами, и вдруг, быстро привстав, — трепаный, теплый, с блестящими глазами, — спросил скороговоркой, будут ли и дома звать его Лужиным.

И теперь, по дороге на станцию, в пасмурный, напряженный день, Лужин-старший, сидя рядом с женой в коляске, смотрел на сына, готовый тотчас же улыбнуться, если тот повернет к нему упрямо отклоненное лицо, и недоумевал, с чего это он вдруг стал «крепенький», как выражалась жена. Сын сидел на передней скамеечке, закутанный в бурый лоден, в матросской шапке, надетой криво, но которую никто на свете сейчас не посмел бы поправить, и глядел в сторону, на толстые стволы берез, которые, крутясь, шли мимо, вдоль канавы, полной их листьев. «Тебе не холодно?» — спросила мать, когда, на повороте к мосту, хлынул ветер, отчего побежала пушистая рябь по серому птичьему крылу на ее шляпе. «Холодно», — сказал сын, глядя на реку. Мать, с мурлыкающим звуком, потянулась было к его плащику, но, заметив выражение его глаз, отдернула руку и только показала перебором пальцев по воздуху: «Завернись, завернись поплотнее». Сын не шевельнулся. Она, пуча губы, чтобы отлепилась вуалетка ото рта, — постоянное движение, почти тик, — посмотрела на мужа, молча прося содействия. Он тоже был в плаще-лодене, руки в плотных перчатках лежали на клетчатом пледе, который полого спускался и, образовав долину, чуть-чуть поднимался опять, до поясницы маленького Лужина. «Лужин, — сказал он с деланной веселостью, — а, Лужин?» — и под пледом мягко толкнул сына ногой. Лужин подобрал коленки. Вот крыши изб, густо поросшие ярким мхом, вот знакомый старый столб с полустертой надписью (название деревни и число душ), вот журавль, ведро, черная грязь, белоногая баба. За деревней поехали шагом в гору, и сзади, внизу, появилась вторая коляска, где тесно сидели француженка и экономка, ненавидевшие друг дружку. Кучер чмокнул, лошади опять пустились рысью. Над жнивьем по бесцветному небу медленно летела ворона.

Станция находилась в двух верстах от усадьбы, там, где дорога, гулко и гладко пройдя сквозь еловый бор, пересекала петербургское шоссе и текла дальше, через рельсы,

под шлагбаум, в неизвестность. «Если хочешь, пусти марионеток», — льстиво сказал Лужин-старший, когда сын выпрыгнул из коляски и уставился в землю, поводя шеей, которую щипала шерсть лодена. Сын молча взял протянутый гривенник. Из второй коляски грузно выползали француженка и экономка, одна вправо, другая влево. Отец снимал перчатки. Мать, оттягивая вуаль, следила за грудастым носильщиком, забиравшим пледы. Прошел ветер, поднял гривы лошадей, надул малиновые рукава кучера.

Оказавшись один на платформе, Лужин пошел к стеклянному ящику, где пять куколок с голыми висячими ножками ждали, чтобы ожить и завертеться, толчка монеты; но это ожидание было сегодня напрасно, так как автомат оказался испорченным, и гривенник пропал даром. Лужин подождал, потом отвернулся и подошел к краю платформы. Справа, на огромном тюке, сидела девочка и, подперев ладонью локоть, ела зеленое яблоко. Слева стоял человек в крагах, со стеком в руках, и глядел вдаль, на опушку леса, из-за которого через несколько минут появится предвестник поезда — белый дымок. Спереди, по ту сторону рельс, около бесколесного желтого вагона второго класса, вросшего в землю и превращенного в постоянное человеческое жилье, мужик колол дрова. Вдруг туман слёз скрыл все это, обожгло ресницы, невозможно перенести то, что сейчас будет, — отец с веером билетов в руке, мать, считающая глазами чемоданы, влетающий поезд, носильщик, приставляющий лесенку к площадке вагона, чтобы удобнее было подняться. Он оглянулся. Девочка ела яблоко; человек в крагах смотрел вдаль; все было спокойно. Он дошел, словно гуляя, до конца платформы и вдруг задвигался очень быстро, сбежал по ступеням — битая тропинка, садик начальника станции, забор, калитка, елки — дальше овражек и сразу густой лес.

Сначала он бежал прямо лесом, шурша в папоротнике, скользя на красноватых ландышевых листьях, — и шапка висела сзади на шее, придержанная только резинкой, коленям в шерстяных, уже городских чулках было жарко, — он плакал на бегу, по-детски картаво чертыхаясь, когда ветка хлестала по лбу, — и наконец остановился, присел, запыхавшись, на корточки, так что лоден покрыл ему ноги.

Только сегодня, в день переезда из деревни в город, в день, сам по себе не сладкий, когда дом полон сквозня-

ков и так завидуешь садовнику, который никуда не едет, только сегодня он понял весь ужас перемены, о которой ему говорил отец. Прежние осенние возвращения в город показались счастьем. Ежедневная утренняя прогулка с француженкой — всегда по одним и тем же улицам, по Невскому и кругом, через Набережную, домой, — никогда не повторится. Счастливая прогулка. Иногда ему предлагали начать с Набережной, но он всегда отказывался — не столько потому, что с раннего детства любил привычку, сколько потому, что нестерпимо боялся петропавловской пушки, громового, тяжкого удара, от которого дрожали стекла домов и могла лопнуть перепонка в ухе, — и всегда устраивался так (путем незаметных маневров), чтобы в двенадцать часов быть на Невском, подальше от пушки — выстрел которой настиг бы его у самого дворца, если бы изменился порядок прогулки. Кончено также приятное раздумье после завтрака, на диване, под тигровым одеялом, и ровно в два — молоко в серебряной чашке, придающей молоку такой драгоценный вкус, и ровно в три — катание в открытом ландо. Взамен всего этого было нечто, отвратительное своей новизной и неизвестностью, невозможный, неприемлемый мир, где будет пять уроков подряд и толпа мальчиков, еще более страшных, чем те, которые недавно, в июльский день, на мосту, окружили его, навели жестяные пистолеты, пальнули в него палочками, с которых коварно были сдернуты резиновые наконечники.

В лесу было тихо и сыро. Наплакавшись вдоволь, он поиграл с жуком, нервно поводившим усами, и потом долго его давил камнем, стараясь повторить первоначальный сдобный хруст. Погодя он заметил, что заморосило. Тогда он встал с земли, нашел знакомую тропинку и побежал, спотыкаясь о корни, со смутной, мстительной мыслью: добраться до дому и там спрятаться, провести там зиму, питаясь в кладовой вареньем и сыром. Тропинка, минут десять поюлив в лесу, спустилась к реке, которая была сплошь в кольцах от дождя, и еще через пять минут показался лесопильный завод, мельница, мост, где по щиколку утопаешь в опилках, и дорожка вверх, и через голые кусты сирени — дом. Он прокрался вдоль стены, увидел, что окно гостиной открыто, и, взобравшись около водосточной трубы на зеленый облупленный карниз, перевалился через подоконник. В гостиной он остановился, прислушался.

Дагерротип деда, отца матери, — черные баки, скрипка в руках, — смотрел на него в упор, но совершенно исчез, растворился в стекле, как только он посмотрел на портрет сбоку, — печальная забава, которую он никогда не пропускал, входя в гостиную. Подумав, подвигав верхней губой, отчего платиновая проволока на передних зубах свободно ездила вверх и вниз, он осторожно открыл дверь и, вздрагивая от звонкого эха, слишком поспешно после отъезда хозяев вселившегося в дом, метнулся по коридору и оттуда, по лестнице, на чердак. Чердак был особенный, с оконцем, через которое можно было смотреть вниз, на лестницу, на коричневый блеск ее перил, плавно изгибавшихся пониже, терявшихся в тумане. В доме было совершенно тихо. Погодя, снизу, из кабинета отца, донесся заглушенный звон телефона. Звон продолжался с перерывами довольно долго. Потом опять тишина.

Он устроился на ящике. Рядом был такой же ящик, но открытый, и в нем были книги. Дамский велосипед с рваной зеленой сеткой, натянутой вдоль заднего колеса, стоял на голове в углу, между необструганной доской, прислоненной к стене, и огромным баулом. Через несколько минут Лужину стало скучно, как когда горло обвязано фланелью и нельзя выходить. Он потрогал пыльные, серые книги в ящике, оставляя на них черные отпечатки. Кроме книг, был волан с одним пером, большая фотография (военный оркестр), шахматная доска с трещиной и прочие не очень занимательные вещи.

Так прошел час. Он услышал вдруг шум голосов, воющий звук парадной двери и, осторожно выглянув в окошечко, увидел внизу отца, который, как мальчик, взбегал по лестнице и, не добежав до площадки, опять проворно спустился, двигая врозь коленями. Там, внизу, слышались теперь ясно голоса — буфетчика, кучера, сторожа. Через минуту лестница опять ожила, на этот раз быстро поднималась по ней мать, придерживая юбку, но тоже до площадки не дошла, а перегнулась через перила и потом быстро, расставив руки, сошла вниз. Наконец, еще через минуту, все гурьбой поднялись наверх, — блестела лысина отца, птица на шляпе матери колебалась, как утка на бурном пруду, прыгал седой бобрик буфетчика; сзади, поминутно перегибаясь через перила, поднимались кучер, сторож и

почему-то Акулина-молочница, да еще чернобородый мужик с мельницы, обитатель будущих кошмаров. Он-то, как самый сильный, и понес его с чердака до коляски.

2

Лужин-старший, Лужин, писавший книги, часто думал о том, что может выйти из его сына. В его книгах, — а все они, кроме забытого романа «Угар», были написаны для отроков, юношей, учеников среднеучебных заведений, и продавались в крепких, красочных переплетах, — постоянно мелькал образ белокурого мальчика, и взбалмошного, и задумчивого, который превращался в скрипача или живописца, не теряя при этом нравственной своей красоты. Едва уловимую особенность, отличавшую его сына от всех тех детей, которые, по его мнению, должны были стать людьми ничем не замечательными (если предположить, что существуют такие люди), он понимал как тайное волнение таланта и, твердо помня, что покойный тесть был композитором (довольно, впрочем, сухим и склонным, в зрелые годы, к сомнительному блистанию виртуозности), он не раз, в приятной мечте, похожей на литографию, спускался ночью со свечой в гостиную, где вундеркинд в белой рубашонке до пят играет на огромном, черном рояле.

Ему казалось, что все должны видеть недюжинность его сына; ему казалось, что, быть может, люди со стороны лучше в ней разбираются, чем он сам. Школа, которую он для сына выбрал, особенно славилась внимательностью к так называемой «внутренней» жизни ученика, гуманностью, вдумчивостью, дружеским проникновением. Преданье говорило, что, в первое время ее существования, учителя в час большой перемены возились с ребятами: физик мял, глядя через плечо, комок снега, математик получал на бегу крепкий мячик в ребра, и сам директор веселым восклицанием поощрял игру. Таких общих игр теперь больше не было, но идиллическая слава осталась. Классным воспитателем сына был учитель словесности, добрый знакомый писателя Лужина и, кстати сказать, недурной лирический поэт, выпустивший сборник подражаний Анакреону. «Забреди́те, — сказал он в тот день, когда Лужин-старший в первый раз привел сына в школу. — В любой четверг,

около двенадцати». Лужин забрел. На лестнице было пусто и тихо. Проходя через зал в учительскую, он услышал из второго класса глухой, многоголосый раскат смеха. Затем, в тишине, шаги его особенно звонко застучали по желтому паркету зала. В учительской у большого стола, покрытого сукном, напоминавшим об экзаменах, сидел воспитатель и писал письмо.

С тех пор как его сын поступил в школу, он с воспитателем еще не говорил и теперь, спустя месяц являясь к нему, был полон щекочущего ожидания, некоторого волнения и робости — всех тех чувств, которые он некогда испытал, когда, юношей в студенческой форме, пришел к редактору, которому недавно послал первую свою повесть. И теперь, как и тогда, вместо слов изумления, которых он смутно ожидал (как, проснувшись в чужом городе, ожидаешь, еще не раскрыв век, необыкновенного, сияющего утра), вместо всех тех слов, которые он бы с такой охотой сам подсказал, если бы не надежда, что все-таки их дождется, — он услышал пасмурные, холодноватые слова, доказывавшие, что его сына воспитатель понимает еще меньше, чем он сам. О какой-либо тайной даровитости тот и не обмолвился. Наклонив бледное, бородатое лицо с двумя розовыми выемками по бокам носа, с которого он осторожно снял цепкое пенснэ, вытирая глаза ладонью, воспитатель начал говорить первым, сказал, что мальчик мог бы учиться лучше, что мальчик, кажется, не ладит с товарищами, что мальчик мало бегает на переменах... «Способности у мальчика несомненно есть, — сказал воспитатель, покончив манипуляции с глазами, — но наблюдается некоторая вялость». В это мгновение где-то внизу родился звонок, перекинулся наверх, невыносимо пронзительно прошел по всему зданию. После этого были две-три секунды полнейшей тишины, — и вдруг все ожило, зашумело, захлопали крышки парт, зал наполнился говором, топотом. «Большая перемена, — сказал воспитатель. — Если хотите, сойдемте во двор, посмотрите, как резвятся ребята».

Они быстро съезжали по каменной лестнице, обняв балюстраду, скользя подошвами сандалий по отшлифованным краям ступеней. Внизу, в темной тесноте вешалок, переобувались; иные сидели на широких подоконниках, кряхтели, поспешно затягивая шнурки. Вдруг он увидел

сына, который, сгорбившись, брезгливо вынимал сапоги из мешочка. Белобрысый мальчик второпях толкнул его; он посторонился и вдруг увидел отца. Отец улыбался ему, держа свой каракулевый колпак и ребром руки выдавливая необходимую бороздку. Лужин прищурился и отвернулся, словно отца не заметил. Присев на пол спиной к отцу, он завозился с сапогами; те, кто успел уже одеться, ступали через него, и он, после каждого толчка, все больше горбился, забивался в сумрак. Когда он наконец вышел — в длинном, сером пальто и каракулевом колпачке (который один и тот же детина постоянно с него смахивал), отец уже стоял у ворот, в том конце двора, и выжидательно смотрел в его сторону. Рядом стоял воспитатель, и когда серый резиновый мяч, которым играли в футбол, подкатился случайно к его ногам, учитель словесности, инстинктивно продолжая очаровательное предание, сделал вид, что хочет его пнуть, неловко потоптался, чуть не потерял галошу и рассмеялся с большим добродушием. Отец поддержал его за локоть, и Лужин-младший, улучив мгновение, вернулся в переднюю, где уже было совсем спокойно и, скрытый вешалками, блаженно зевал швейцар. Через дверное стекло, между чугунных лучей звездообразной решетки, он увидел, как отец вдруг снял перчатку, быстро попрощался с воспитателем и исчез под воротами. Только тогда он выполз опять и, осторожно обходя игравших, пробрался налево, под арку, где были сложены дрова. Там, подняв воротник, он сел на поленья.

Так он просидел около двухсот пятидесяти больших перемен, до того года, когда он был увезен за границу. Иногда воспитатель неожиданно появлялся из-за угла. «Что ж ты, Лужин, все сидишь кучей? Побегал бы с товарищами». Лужин вставал с дров, выходил из-под арки в четырехугольный задний двор, делал несколько шагов, стараясь найти точку, равноотстоящую от тех трех его одноклассников, которые бывали особенно свирепы в этот час, шарахался от мяча, пущенного чьим-то звучным пинком, и, удостоверившись, что воспитатель далеко, возвращался к дровам. Он избрал это место в первый же день, в тот темный день, когда он почувствовал вокруг себя такую ненависть, такое глумливое любопытство, что глаза сами собой наливались горячей мутью, и все то, на что он глядел — по проклятой необходимости смотреть на что-нибудь, —

подвергалось замысловатым оптическим метаморфозам. Страница в голубую клетку застилалась туманом; белые цифры на черной доске то суживались, то расплывались; как будто равномерно удаляясь, становился глуше и неразборчивее голос учителя, и сосед по парте, вкрадчивый изверг с пушком на щеках, тихо и удовлетворенно говорил: «Сейчас расплачется». Но он не расплакался ни разу, не расплакался даже тогда, когда в уборной, общими усилиями, пытались вогнуть его голову в низкую раковину, где застыли желтые пузыри. «Господа, — сказал воспитатель на одном из первых уроков, — ваш новый товарищ — сын писателя. Которого если вы еще не читали, то прочитайте». И крупными буквами он записал на доске, так нажимая, что из-под пальцев с хрустом крошился мел: «Приключения Антоши, изд. Сильвестрова». В течение двух-трех месяцев после этого Лужина звали Антошей. Изверг с таинственным видом принес в класс книжку и во время урока исподтишка показывал ее другим, многозначительно косясь на Лужина, — а когда урок кончился, стал читать вслух из середины, нарочито коверкая слова. Петрищев, смотревший через его плечо, хотел задержать страницу, и она порвалась. Кребс сказал скороговоркой: «Мой папа говорит, что это писатель очень второго сорта». Громов крикнул: «Пусть Антоша нам вслух почитает!» — «А мы лучше каждому по кусочку дадим», — со смаком сказал шут класса, после бурной схватки завладевший красно-золотой нарядной книжкой. Страницы рассыпались по всему классу. На одной была картинка — ясноокий гимназист на углу улицы кормит своим завтраком облезлую собаку. На следующий день Лужин нашел ее аккуратно прибитой кнопками к внутренней стороне партовой крышки.

Скоро, впрочем, его оставили в покое, только изредка вспыхивала глупая кличка, но так как он упорно на нее не отзывался, то и она наконец погасла. Лужина перестали замечать, с ним не говорили, и даже единственный тихоня в классе (какой бывает в каждом классе, как бывает непременно толстяк, силач, остряк) сторонился его, боясь разделить его презренное положение. Этот же тихоня, получивший лет шесть спустя Георгиевский крест за опаснейшую разведку, а затем потерявший руку в пору гражданских войн, стараясь вспомнить (в двадцатых годах сего века), каким был в школе Лужин, не мог себе его представить

иначе как со спины, то сидящего перед ним в классе, с растопыренными ушами, то уходящего в конец зала, подальше от шума, то уезжающего домой на извозчике — руки в карманах, большой пегий ранец на спине, валит снег... Он старался забежать вперед, заглянуть ему в лицо, но тот особый снег забвения, снег безмолвный и обильный, сплошной белой мутью застилал воспоминание. И бывший тихоня, теперь беспокойный эмигрант, говорил, глядя на портрет в газете: «Представьте себе, совершенно не помню его лица... Ну совершенно не помню...»

Но Лужин-старший, около четырех посматривавший в окно, видел приближавшиеся сани и лицо сына, как бледное пятнышко. Сын обычно сразу входил к нему в кабинет, целовал воздух, прикоснувшись щекой к его щеке, и сразу поворачивался. «Постой, — говорил отец, — постой. Расскажи, что было сегодня. Вызывали?»

Он жадно смотрел на сына, который отклонял лицо, и ему хотелось взять его за плечи, встряхнуть его, крепко поцеловать в бледную щеку, в глаза, в нежный впалый висок. От маленького Лужина в ту первую школьную зиму трогательно пахло чесноком из-за впрыскиваний мышьяка, прописанных доктором. Платиновую полоску ему сняли, но он, по привычке, продолжал скалиться, подворачивать верхнюю губу. Он был одет в серый английский костюмчик — хлястик сзади, короткие штаны с пуговками пониже колен. Он стоял у письменного стола, балансируя на одной ноге, и отец ничего не смел против его непроницаемой хмурости. Сын уходил, волоча ранец по ковру; Лужин-старший облокачивался на стол, где, в синих школьных тетрадках (прихоть, которую, быть может, оценит будущий биограф), он писал очередную повесть, и прислушивался к монологу в соседней столовой, к голосу жены, уговаривающей тишину выпить какао. «Страшная тишина, — думал Лужин-старший. — Он нездоров, у него какая-то тяжелая душевная жизнь... пожалуй, не следовало отдавать в школу. Но зато нужно же ему привыкнуть к обществу других мальчуганов... Загадка, загадка...»

«Съешь хоть кекса», — горестно продолжал голос за стеной, — и опять тишина. Но изредка происходило ужасное: вдруг, ни с того ни с сего, раздавался другой голос, визжащий и хриплый, и, как от ураганного ветра, хлопала дверь. Тогда он вскакивал, вбегал в столовую, держа в руке перо,

как стрелу. Жена дрожащими руками подбирала со скатерти опрокинутую чашку, блюдечко, смотрела, нет ли трещин. «Я его расспрашивала о школе, — говорила она, не глядя на мужа, — он не хотел отвечать, — а потом, вот... как бешеный...» Они оба прислушивались. Француженка уехала осенью в Париж, и теперь уже никто не знал, что он там делает у себя в комнате. Там обои были белые, а повыше шла голубая полоса, по которой нарисованы были серые гуси и рыжие щенки. Гусь шел на щенка, и опять то же самое, тридцать восемь раз вокруг всей комнаты. На этажерке стоял глобус и чучело белки, купленное когда-то на Вербе. Зеленый паровоз выглядывал из-под воланов кресла. Хорошая была комната, светлая. Веселые обои, веселые вещи.

Были и книги. Книги, сочиненные отцом, в золото-красных, рельефных обложках, с надписью от руки на первой странице: «Горячо надеюсь, что мой сын всегда будет относиться к животным и людям так, как Антоша», — и большой восклицательный знак. Или: «Эту книгу я писал, думая о твоем будущем, мой сын». Эти надписи вызывали в нем смутный стыд за отца, а самые книжки были столь же скучны, как «Слепой музыкант» или «Фрегат “Паллада”». Большой том Пушкина, с портретом толстогубого курчавого мальчика, не открывался никогда. Зато были две книги — обе подаренные ему тетей, — которые он полюбил на всю жизнь, держал в памяти, словно под увеличительным стеклом, и так страстно пережил, что через двадцать лет, снова их перечитав, он увидел в них только суховатый пересказ, сокращенное издание, как будто они отстали от того неповторимого, бессмертного образа, который они в нем оставили. Но не жажда дальних странствий заставляла его следовать по пятам Филеаса Фогга и не ребячливая склонность к таинственным приключениям влекла его в дом на Бэкер стрит, где, впрыснув себе кокаину, мечтательно играл на скрипке долговязый сыщик с орлиным профилем. Только гораздо позже он сам себе уяснил, чем так волновали его эти две книги: правильно и безжалостно развивающийся узор, — Филеас, манекен в цилиндре, совершающий свой сложный изящный путь с оправданными жертвами, то на слоне, купленном за миллион, то на судне, которое нужно наполовину сжечь на топливо; и Шерлок, придавший логике прелесть грезы, Шерлок,

составивший монографию о пепле всех видов сигар и с этим пеплом, как с талисманом, пробирающийся сквозь хрустальный лабиринт возможных дедукций к единственному сияющему выводу. Фокусник, которого на Рождестве пригласили его родители, каким-то образом слил в себе на время Фогга и Хольмса, и странное наслаждение, испытанное им в тот день, сгладило все то неприятное, что сопровождало выступление фокусника. Так как просьбы, осторожные, редкие просьбы, «позвать твоих школьных друзей» не привели ни к чему, Лужин-старший, уверенный, что это будет и весело, и полезно, обратился к двум знакомым, сыновья которых учились в той же школе, а кроме того, пригласил детей дальнего родственника, двух тихих, рыхлых мальчиков и бледную девочку с толстой черной косой. Все приглашенные мальчики были в матросских костюмах и пахли помадой. В двух из них маленький Лужин с ужасом узнал Берсенева и Розена из третьего класса, которые в школе были одеты неряшливо и вели себя бурно. «Ну вот, — радостно сказал Лужин-старший, держа сына за плечо (плечо медленно уходило из-под его ладони). — Теперь вас оставят одних, — познакомьтесь, поиграйте, — а потом позовут, будет сюрприз». Через полчаса он пошел их звать. В комнате было молчание. Девочка сидела в углу и перелистывала, ища картин, приложение к «Ниве». Берсенев и Розен сидели на диване, со сконфуженными лицами, очень красные и напомаженные. Рыхлые племянники бродили по комнате, без любопытства рассматривая английские гравюры на стенах, глобус, белку, давно разбитый педометр, валявшийся на столе. Сам Лужин, тоже в матроске, с белой тесемкой и свистком на груди, сидел на венском стуле у окна и смотрел исподлобья, грызя ноготь большого пальца. Но фокусник все искупил, и даже когда на следующий день Берсенев и Розен, уже настоящие, отвратительные, подошли к нему в школьном зале, низко поклонились, а потом грубо расхохотались и в обнимку, шатаясь, быстро отошли, — даже и тогда эта насмешка не могла нарушить очарование. По его хмурой просьбе, — что бы он ни говорил теперь, брови у него мучительно сходились, — мать привезла ему из Гостиного Двора большой ящик, выкрашенный под красное дерево, и учебник чудес, на обложке которого был господин с медалями на фраке, поднявший за уши кролика. В ящике

были шкатулки с двойным дном, палочка, обклеенная звездистой бумагой, колода грубых карт, где фигурные были наполовину короли и валеты, а наполовину овцы в мундирах, складной цилиндр с отделениями, веревочка с двумя деревянными штучками на концах, назначение которых было неясно... И в кокетливых конвертиках были порошки, окрашивающие воду в синий, красный, зеленый цвет. Гораздо занимательнее оказалась книга, и Лужин без труда выучил несколько карточных фокусов, которые он часами показывал самому себе, стоя перед зеркалом. Он находил загадочное удовольствие, неясное обещание каких-то других, еще неведомых наслаждений в том, как хитро и точно складывался фокус, но все же недоставало чего-то, он не мог уловить некоторую тайну, в которой, вероятно, был искушен фокусник, хватавший из воздуха рубль или вынимавший задуманую публикой семерку треф из уха смущенного Розена. Сложные приспособления, описанные в книге, его раздражали. Тайна, к которой он стремился, была простота, гармоническая простота, поражающая пуще самой сложной магии.

В письменном отзыве о его успехах, присланном на Рождестве, в отзыве, весьма обстоятельном, где, под рубрикой «Общие замечания», пространно, с плеоназмами, говорилось о его вялости, апатии, сонливости, неповоротливости и где баллы были заменены наречиями, оказалось одно «неудовлетворительно» — по русскому языку — и несколько «едва удовлетворительно» — между прочим, по математике. Однако как раз в это время он необычайно увлекся сборником задач, «веселой математикой», как значилось в заглавии, причудливым поведением чисел, беззаконной игрой геометрических линий — всем тем, чего не было в школьном задачнике. Блаженство и ужас вызывало в нем скольжение наклонной линии вверх по другой, вертикальной, — в примере, указывавшем тайну параллельности. Вертикальная была бесконечна, как всякая линия, и наклонная, тоже бесконечная, скользя по ней и поднимаясь все выше, обречена была двигаться вечно, соскользнуть ей было невозможно, и точка их пересечения, вместе с его душой, неслась вверх по бесконечней стезе. Но при помощи линейки он принуждал их расцепиться: просто чертил их заново, параллельно друг дружке, и чувствовал при этом, что там, в бесконечности, где он заставил наклонную

соскочить, произошла немыслимая катастрофа, неизъяснимое чудо, и он подолгу замирал на этих небесах, где сходят с ума земные линии.

На время он нашел мнимое успокоение в складных картинах. Это были сперва простые, детские, состоявшие из больших кусков, вырезанных по краю круглыми зубцами, как бисквиты петибер, и сцеплявшихся так крепко, что, сложив картину, можно было поднимать, не ломая, целые части ее. Но в тот год английская мода изобрела складные картины для взрослых — «пузеля», как называли их у Пето, — вырезанные крайне прихотливо: кусочки всех очертаний, от простого кружка (часть будущего голубого неба) до самых затейливых форм, богатых углами, мысками, перешейками, хитрыми выступами, по которым никак нельзя было разобрать, куда они приладятся — пополнят ли они пегую шкуру коровы, уже почти доделанной, является ли этот темный край на зеленом фоне тенью от посоха пастуха, чье ухо и часть темени ясно видны на более откровенном кусочке. И когда постепенно появлялся слева круп коровы, а справа, на зелени, рука с дудкой, и повыше небесной синевой ровно застраивалась пустота, и голубой кружок ладно входил в небосвод, — Лужин чувствовал удивительное волнение от точных сочетаний этих пестрых кусков, образующих в последний миг отчетливую картину. Были головоломки очень дорогие, состоявшие из нескольких тысяч частей; их приносила тетя, веселая, нежная, рыжеволосая тетя, — и он часами склонялся над ломберным столом в зале, проверяя глазами каждый зубчик раньше, чем попробовать, подходит ли он к выемке, и стараясь, по едва заметным приметам, определить заранее сущность картины. Из соседней комнаты, где шумели гости, тетя просила: «Ради Бога, не потеряй ничего!» Иногда входил отец, смотрел на кусочки, протягивал руку к столу, говорил: «Вот это, несомненно, должно сюда лечь», и тогда Лужин, не оборачиваясь, бормотал: «Глупости, глупости, не мешайте», — и отец, осторожно прикоснувшись губами к его хохолку, уходил, — мимо позолоченных стульев, мимо обширного зеркала, мимо копии с купающейся Фрины, мимо рояля, большого безмолвного рояля, подкованного толстым стеклом и покрытого парчовой попоной.

3

Только в апреле, на пасхальных каникулах, наступил для Лужина тот неизбежный день, когда весь мир вдруг потух, как будто повернули выключатель, и только одно, посреди мрака, было ярко освещено, новорожденное чудо, блестящий островок, на котором обречена была сосредоточиться вся его жизнь. Счастье, за которое он уцепился, остановилось; апрельский этот день замер навеки, и где-то, в другой плоскости, продолжалось движение дней, городская весна, деревенское лето, — смутные потоки, едва касавшиеся его.

Началось это невинно. В годовщину смерти тестя Лужин-старший устроил у себя на квартире музыкальный вечер. Сам он в музыке разбирался мало, питал тайную, постыдную страсть к «Травиате», на концертах слушал рояль только вначале, а затем глядел, уже не слушая, на руки пианиста, отражавшиеся в черном лаке. Но музыкальный вечер с исполнением вещей покойного тестя пришлось устроить поневоле: уж слишком молчали газеты — забвение было полное, тяжкое, безнадежное, — и жена с дрожащей улыбкой повторяла, что это все интриги, интриги, интриги, что и при жизни завидовали дару ее отца, что теперь хотят замолчать его славу. В открытом черном платье, в чудесном бриллиантовом ошейнике, с постоянным выражением сонной ласковости на пухлом, белом лице, она принимала гостей тихо, без восклицаний, нашептывая что-то быстрое, нежное по звуку, и, втайне шалея от застенчивости, все время искала глазами мужа, который подвигался туда-сюда мелкими шажками, с выпирающим из жилета крахмальным панцирем, добродушный, осторожный, с первыми робкими потугами на маститость. «Опять вышла нагишом», — со вздохом сказал издатель художественного журнала, взглянув мимоходом на Фрину, которая, благодаря усиленному освещению, была особенно ярка. Тут маленький Лужин попался ему под ноги и был поглажен по голове. Лужин попятился. «Какой он у вас стал огромный», — сказал дамский голос сзади. Он спрятался за чей-то фрак. «Нет, позвольте, позвольте, — загремело над его головой. — Нельзя же предъявлять таких требований к нашей печати». Вовсе не огромный, а, напротив, очень маленький для своих лет, он ходил между гостей, стараясь найти тихое место.

Иногда кто-нибудь ловил его за плечо, спрашивал ерунду. В зале было тесно от золоченых стульев, которые поставили рядами. Кто-то осторожно вносил в дверь нотный пюпитр.

Незаметными переходами Лужин пробрался в отцовский кабинет, где было темно, и сел в угол, на оттоманку. Из далекой залы, через две комнаты, доносился нежный вой скрипки.

Он сонно слушал, обняв коленки и глядя на кисейный просвет меж неплотно задвинутых штор, в котором лиловатой белизной горел над улицей газовый фонарь. По потолку изредка таинственной дугой проходил легкий свет, и на письменном столе была блестящая точка — неизвестно что: блик ли в тяжелом хрустальном яйце или отражение в стекле фотографии. Он чуть было не задремал и вдруг вздрогнул оттого, что на столе зазвонил телефон, и сразу стало ясно, что блестящая точка — на телефонной вилке. Из столовой вошел буфетчик, включил на ходу свет, озаривший лишь письменный стол, приложил трубку к уху и, не заметив Лужина, опять вышел, осторожно положив трубку на кожаный бювар. Через минуту он вернулся, сопровождая господина, который, попав в круг света, схватил со стола трубку, другой рукой нащупал сзади себя спинку кресла. Слуга прикрыл за собой дверь, заглушив далекий перелив музыки. «Я слушаю», — сказал господин. Лужин из темноты смотрел на него, боясь двинуться и смущенный тем, что совершенно чужой человек так удобно расселся у отцовского стола. «Нет, я уже отыграл», — сказал он, глядя вверх и что-то трогая на столе белой беспокойной рукой. Извозчик глухо процокал по торцам. «Вероятно», — сказал господин. Лужин видел его профиль, нос из слоновой кости, блестящие черные волосы, густую бровь. «Я, собственно говоря, не знаю, почему ты мне сюда звонишь, — тихо сказал он, продолжая теребить что-то на столе. — Если только для того, чтобы проверить...» «Чудачка», — рассмеялся он и стал равномерно покачивать ногой в лакированной туфле. Потом он очень ловко подложил трубку между ухом и плечом и, изредка отвечая «да», «нет», «может быть», взял в обе руки то, что он на столе потрагивал. Это был небольшой гладкий ящик, который на днях кто-то подарил отцу. Лужин еще не успел посмотреть, что внутри, и теперь с любопытством следил за руками господина. Но тот не

сразу открыл ящик. «И я тоже, — сказал он. — Много раз, много раз. Спокойной ночи, девочка». Повесив трубку, он вздохнул и открыл ящик. Однако он так повернулся, что из-за его черного плеча Лужин ничего не видел. Он осторожно подвинулся, но на пол соскользнула подушка, и господин быстро оглянулся. «Ты что тут делаешь? — спросил он, в темном углу разглядев Лужина. — Ай-ай, как нехорошо подслушивать!» Лужин молчал. «Как тебя зовут?» — дружелюбно спросил господин. Лужин сполз с дивана и подошел. В ящике тесно лежали резные фигуры. «Отличные шахматы, — сказал господин. — Папа играет?» — «Не знаю», — сказал Лужин. «А ты сам умеешь?» Лужин покачал головой. «Вот это напрасно. Надо научиться. Я в десять лет уже здорово играл. Тебе сколько?»

Осторожно открылась дверь. Вошел Лужин-старший — на цыпочках. Он приготовился к тому, что скрипач еще говорит по телефону, и думал очень деликатно прошептать: «Продолжайте, продолжайте, а когда кончите, публика очень просит еще чего-нибудь». «Продолжайте, продолжайте», — сказал он по инерции и, увидев сына, запнулся. «Нет, нет, уже готово, — ответил скрипач, вставая. — Отличные шахматы. Вы играете?» — «Неважно», — сказал Лужин-старший. («Ты что же тут делаешь? Иди тоже послушать музыку...») «Какая игра, какая игра, — сказал скрипач, бережно закрывая ящик. — Комбинации как мелодии. Я, понимаете ли, просто слышу ходы». — «По-моему, для шахмат нужно иметь большие математические способности, — быстро сказал Лужин-старший. — У меня на этот счет... Вас ждут, маэстро». — «Я бы лучше партишку сыграл, — засмеялся скрипач, идя к двери. — Игра богов. Бесконечные возможности». — «Очень древнее изобретение, — сказал Лужин-старший и оглянулся на сына. — Ну, что же ты? Иди же!» Но Лужин, не доходя до залы, ухитрился застрять в столовой, где был накрыт стол с закусками. Там он взял тарелку с сандвичами и унес ее к себе в комнату. Он ел раздеваясь, потом ел в постели. Когда он уже потушил, к нему заглянула мать, нагнулась над ним, блеснув в полутьме бриллиантами на шее. Он притворился, что спит. Она ушла и долго-долго, чтобы не стукнуть, закрывала дверь.

Он проснулся на следующее утро с чувством непонятного волнения. Было ярко, ветрено, мостовые отливали лило-

вым блеском; близ Дворцовой Арки над улицей упруго надувалось огромное трехцветное полотно, сквозь которое тремя разными оттенками просвечивало небо. Как всегда в праздничные дни, он вышел гулять с отцом, но это не были прежние детские прогулки: полуденная пушка уже не пугала, и невыносим был разговор отца, который, придравшись ко вчерашнему вечеру, намекал на то, что хорошо бы начать заниматься музыкой. За завтраком был последний остаток сливочной пасхи (приземистая пирамидка с сероватым налетом на круглой макушке) и еще не початый кулич. Тетя, все та же милая рыжеволосая тетя, троюродная сестра матери, была весела чрезвычайно, кидалась крошками и рассказала, что Латам за двадцать пять рублей прокатит ее на своей «Антуанете», которая, впрочем, пятый день не может подняться, между тем как Вуазен летает как заводной, кругами, да притом так низко, что, когда он кренится над трибунами, видна даже вата в ушах у пилота. Лужин почему-то необыкновенно ясно запомнил это утро, этот завтрак, как запоминаешь день, предшествующий далекому пути. Отец говорил, что хорошо бы после завтрака поехать на острова, где поляны сплошь в анемонах, и, пока он говорил, тетя попала ему крошкой прямо в рот. Мать молчала, — и вдруг, после второго блюда, встала и, стараясь скрыть дрожащее лицо, повторяя шепотом, что «это ничего, ничего, сейчас пройдет», — поспешно вышла. Отец бросил салфетку на стол и вышел тоже. Лужин никогда не узнал, что именно случилось, но, проходя с тетей по коридору, слышал из спальни матери тихое всхлипывание и увещевающий голос отца, который громко повторял слово «фантазия».

«Уйдем куда-нибудь», — зашептала тетя, красная, притихшая, с бегающими глазами, — и они оказались в кабинете, где над кожаным креслом проходил конус лучей, в котором вертелись пылинки. Она закурила, и в этих лучах мягко и призрачно закачались складки дыма. Это был единственный человек, в присутствии которого он не чувствовал себя стесненным, и сейчас было особенно хорошо: странное молчание в доме и как будто ожидание чего-то. «Ну, будем играть во что-нибудь, — поспешно сказала тетя и взяла его сзади за шею. — Какая у тебя тоненькая шея, одной рукой можно...» — «Ты в шахматы умеешь?» — вкрадчиво спросил Лужин и, высвободив голову, приятно

потерся щекой об ее васильковый шелковый рукав. «Лучше в дураки», — сказала она рассеянно. Где-то хлопнула дверь. Она поморщилась и, повернув лицо в сторону звука, прислушалась. «Нет, я хочу в шахматы», — сказал Лужин. «Сложно, милый, сразу не научишь». Он пошел к письменному столу, отыскал ящик, стоявший за портретом. Тетя встала, чтобы взять пепельницу, в раздумье напевая окончание какой-то своей мысли: «Это было бы ужасно, это было бы ужасно...» «Вот», — сказал Лужин и опустил ящик на низенький турецкий столик с инкрустациями. «Нужно еще доску, — сказала она. — И знаешь, я тебя лучше научу в поддавки, это проще». — «Нет, в шахматы», — сказал Лужин и развернул клеенчатую доску.

«Сперва расставим фигуры, — начала тетя со вздохом. — Здесь белые, там черные. Король и королева рядышком. Вот это — офицеры. Это — коньки. А это — пушки, по краям. Теперь...» Она вдруг замерла, держа фигуру на весу и глядя на дверь. «Постой, — сказала она беспокойно. — Я, кажется, забыла платок в столовой. Я сейчас приду». Она открыла дверь, но тотчас вернулась. «Пускай, — сказала она и опять села на свое место. — Нет, не расставляй без меня, ты напутаешь. Это называется — пешка. Теперь смотри, как они все двигаются. Конек, конечно, скачет». Лужин сидел на ковре, плечом касаясь ее колена, и глядел на ее руку в тонком платиновом браслете, которая поднимала и ставила фигуры. «Королева самая движущаяся», — сказал он с удовольствием и пальцем поправил фигуру, которая стояла не совсем посреди квадрата. «А едят они так, — говорила тетя. — Как будто, понимаешь, вытесняют. А пешки так: бочком. Когда можно взять короля, это называется шах; когда ему некуда сунуться, это — мат. Ты должен, значит, взять моего короля, а я твоего. Видишь, как это все долго объяснять. Может быть, в другой раз сыграем, а?» — «Нет, сейчас», — сказал Лужин и вдруг поцеловал ее руку. «Ах ты, милый, — протянула тетя, — откуда такие нежности... Хороший ты все-таки мальчик». — «Пожалуйста, будем играть», — сказал Лужин и, пройдя по ковру на коленках, стал так перед столиком. Но она вдруг поднялась с места, да так резко, что задела юбкой доску и смахнула несколько фигур. В дверях стоял его отец.

«Уходи к себе», — сказал он, мельком взглянув на сына. Лужин, которого в первый раз в жизни выгоняли из ком-

наты, остался от удивления, как был, на коленях. «Ты слышал?» — сказал отец. Лужин сильно покраснел и стал искать на ковре упавшие фигуры. «Побыстрее», — сказал отец громовым голосом, каким он не говорил никогда. Тетя стала торопливо, кое-как, класть фигуры в ящик. Руки у нее дрожали. Одна пешка никак не хотела влезть. «Ну, бери, бери, — сказала она, — бери же!» Он медленно свернул клеенчатую доску и, с темным от обиды лицом, взял ящик. Дверь он не мог прикрыть за собой, так как обе руки были заняты. Отец быстро шагнул и так грохнул дверью, что Лужин уронил доску, которая сразу развернулась; пришлось поставить на пол ящик и свертывать ее опять. За дверью, в кабинете, сперва было молчание, затем — скрип кресла, принявшего тяжесть, и прерывистый вопросительный шепот тети. Лужин брезгливо подумал, что нынче все в доме сошли с ума, и пошел к себе в комнату. Там он сразу расставил фигуры, как показывала тетя, долго смотрел на них, соображая что-то; после чего очень аккуратно сложил их в ящик. С этого дня шахматы остались у него, и отец долго не замечал их отсутствия. С этого дня появилась в его комнате обольстительная, таинственная игрушка, пользоваться которой он еще не умел. С этого дня тетя никогда больше не приходила к ним в гости.

Как-то, через несколько дней, между первым и третьим уроком оказалось пустое место: простудился учитель географии. Когда прошло минут пять после звонка и никто еще не входил, наступило такое предчувствие счастья, что, казалось, сердце не выдержит, если все-таки стеклянная дверь сейчас откроется и географ, по привычке своей почти бегом, влетит в класс. Одному Лужину было все равно. Низко склонясь над партой, он чинил карандаш, стараясь сделать кончик острым как игла. Нарастал взволнованный шум. Счастье, как будто, должно было сбыться. Иногда, впрочем, бывали невыносимые разочарования: вместо заболевшего учителя вползал маленький, хищный математик и, беззвучно прикрыв дверь, со злорадной улыбкой начинал выбирать кусочки мела из желоба под черной доской. Но прошло полных десять минут, и никто не являлся. Шум разросся. Кто-то, от избытка счастья, хлопнул крышкой парты. Сразу из неизвестности возник воспитатель. «Совершенная тишина, — сказал он. — Чтоб была совершенная тишина. Валентин Иванович болен. Займитесь

каким-нибудь делом. Но чтоб была совершенная тишина». Он ушел. За окном сияли большие, рыхлые облака, и что-то журчало, капало, попискивали воробьи. Блаженный час, очаровательный час. Лужин стал равнодушно чинить еще один карандаш. Громов рассказывал что-то хриплым голосом, со смаком произнося странные, непристойные словечки. Петрищев умолял всех объяснить ему, почему мы знаем, что они равняются двум прямым. И вдруг Лужин отчетливо услышал за своей спиной особый, деревянно-рассыпчатый звук, от которого стало жарко и невпопад стукнуло сердце. Он осторожно обернулся. Кребс и единственный тихоня в классе проворно расставляли маленькие, легкие фигуры на трехвершковой шахматной доске. Доска была на скамье между ними. Они сидели очень неудобно, боком. Лужин, забыв дочинить карандаш, подошел. Игроки его не заметили. Тихоня, когда, много лет спустя, старался вспомнить своего однокашника, никогда не вспомнил этой случайной шахматной партии, сыгранной в пустой час. Путая даты, он извлекал из прошлого смутное впечатление о том, что Лужин когда-то кого-то в школе обыграл, чесалось что-то в памяти, но добраться было невозможно.

«Тура летит», — сказал Кребс. Лужин, следя за его рукой, с мгновенным паническим содроганием подумал, что тетя назвала ему не все фигуры. Но тура оказалась синонимом пушки. «Я просто не заметил», — сказал другой. «Бог с тобой, переиграй», — сказал Кребс.

С раздражающей завистью, с зудом неудовлетворенности глядел Лужин на их игру, стараясь понять, где же те стройные мелодии, о которых говорил музыкант, и неясно чувствуя, что каким-то образом он ее понимает лучше, чем эти двое, хотя совершенно не знает, как она должна вестись, почему это хорошо, а то плохо, и как надобно поступать, чтобы без потерь проникнуть в лагерь чужого короля. И был один прием, очень ему понравившийся, забавный своей ладностью: фигура, которую Кребс назвал турой, и его же король вдруг перепрыгнули друг через друга. Он видел затем, как черный король, выйдя из-за своих пешек (одна была выбита, как зуб), стал растерянно шагать туда и сюда. «Шах, — говорил Кребс, — шах, — (и ужаленный король прыгал в сторону), — сюда не можешь, и сюда тоже не можешь. Шах, беру королеву, шах». Тут он сам прозевал

фигуру и стал требовать ход обратно. Изверг класса одновременно щелкнул Лужина в затылок, а другой рукой сбил доску на пол. Второй раз Лужин замечал, что за валкая вещь шахматы.

И на следующее утро, еще лежа в постели, он принял неслыханное решение. В школу он обыкновенно ездил на извозчике, всегда, кстати сказать, старательно изучая номер, разделяя его особым образом, чтобы поудобнее упаковать его в памяти и вынуть его оттуда в целости, если будет нужно. Но сегодня он до школы не доехал, номера от волнения не запомнил и, боязливо озираясь, вышел на Караванной, а оттуда, кружными путями, избегая школьного района, пробрался на Сергиевскую. По дороге ему попался как раз учитель географии, который, сморкаясь и харкая на ходу, огромными шагами, с портфелем под мышкой, несся по направлению к школе. Лужин так резко отвернулся, что тяжело звякнул таинственный предмет в ранце. Только когда учитель, как слепой ветер, промчался мимо, Лужин заметил, что стоит перед парикмахерской витриной и что завитые головы трех восковых дам с розовыми ноздрями в упор глядят на него. Он перевел дух и быстро пошел по мокрому тротуару, бессознательно стараясь делать такие шаги, чтобы каждый раз каблук попадал на границу плиты. Но плиты были все разной ширины, и это мешало ходьбе. Тогда он сошел на мостовую, чтобы избавиться от соблазна, пошел вдоль самой панели, по грязи. Наконец он завидел нужный ему дом, сливовый, с голыми стариками, напряженно поддерживающими балкон, и с расписными стеклами в парадных дверях. Он свернул в ворота, мимо убеленной голубями тумбы, и, прошмыгнув через двор, где двое с засученными рукавами мыли ослепительную коляску, поднялся по лестнице и позвонил. «Еще спят, — сказала горничная, глядя на него с удивлением. — Побудьте, что ли, вот тут. Я им погодя доложу». Лужин деловито свалил ранец с плеч, положил его подле себя на стол, где была фарфоровая чернильница, бисером расшитый бювар и незнакомая фотография отца (в одной руке книга, палец другой прижат к виску), и от нечего делать стал считать, сколько разных красок на ковре. В этой комнате он побывал только однажды, — когда, по совету отца, отвез тете на Рождестве большую коробку шоколадных конфет, половину которых он съел сам, а остальные разложил так, чтобы

не было заметно. Тетя еще недавно бывала у них ежедневно, а теперь перестала, и было что-то такое в воздухе, какой-то неуловимый запрет, который мешал дома об этом спрашивать. Насчитав девять оттенков, он перевел глаза на шелковую ширму, где вышиты были камыши и аисты. Только он стал соображать, есть ли такие же аисты и на другой стороне, как наконец вошла тетя — непричесанная, в цветистом халате, с рукавами как крылья. «Ты откуда? — воскликнула она. — А школа? Ах ты, смешной мальчик...»

Часа через два он вышел опять на улицу. Ранец, теперь пустой, был так легок, что прыгал на лопатках. Надо было как-нибудь провести время до часа обычных возвращений. Он побрел в Таврический сад, и пустота в ранце постепенно стала его раздражать. Во-первых, то, что он из предосторожности оставил у тети, могло как-нибудь пропасть до следующего раза; во-вторых, оно бы пригодилось ему дома по вечерам. Он решил, что впредь будет поступать иначе.

«Семейные обстоятельства», — ответил он на следующий день воспитателю, который мимоходом понаведался, почему он не был в школе. В четверг он ушел из школы раньше и пропустил подряд три дня, после чего объяснил, что болело горло. В среду был рецидив. В субботу он опоздал на первый урок, хотя выехал из дома раньше обыкновенного. В воскресенье он поразил мать сообщением, что приглашен к товарищу, и отсутствовал часов пять. В среду распустили раньше (это был один из тех чудесных дней, голубых, пыльных, в самом конце апреля, когда уже роспуск так близок и такая одолевает лень), но вернулся-то он домой гораздо позже обычного. А потом была уже целая неделя отсутствия, — упоительная, одуряющая неделя. Воспитатель позвонил к нему на дом, узнать, что с ним. К телефону подошел отец.

Когда Лужин около четырех вернулся домой, у отца было лицо серое, глаза выпученные, а мать точно лишилась языка, задыхалась, а потом стала странно хохотать, с завыванием, с криками. После минуты замешательства отец молча повел его в кабинет и, сложив руки на груди, попросил объяснить. Лужин, с тяжелым, драгоценным ранцем под мышкой, уставился в пол, соображая, способна ли тетя на предательство. «Изволь мне объяснить», — повторил отец. На предательство она не может быть способна, да и откуда ей узнать, что он попался. «Отказываешься?» —

спросил отец. Кроме того, ей как будто даже нравилось, что он пропускает школу. «Ну, послушай, — сказал отец примирительно, — давай говорить как друзья». Лужин со вздохом сел на ручку кресла, продолжая глядеть в пол. «Как друзья, — еще примирительнее повторил отец. — Вот, значит, оказывается, что ты несколько раз пропускал школу. И вот, мне хотелось бы знать, где ты был, что делал. Я даже понимаю, что, например, прекрасная погода и тянет гулять». — «Да, тянет», — равнодушно сказал Лужин, которому становилось скучно. Отец захотел узнать, где он гулял и давно ли у него такая потребность гулять. Затем он упомянул о том, что у каждого человека есть долг, долг гражданина, семьянина, солдата, а также школьника. Лужин зевнул. «Иди к себе», — безнадежно сказал отец и, когда тот вышел, долго стоял посреди кабинета и с тупым ужасом смотрел на дверь. Жена, слушавшая из соседней комнаты, вошла, села на край оттоманки и опять разрыдалась. «Он обманывает, — повторяла она, — как и ты обманываешь. Я окружена обманом». Он только пожал плечами и подумал о том, как грустно жить, как трудно исполнять долг, не встречаться, не звонить, не ходить туда, куда тянет неудержимо... а тут еще с сыном... эти странности... это упрямство... Грусть, грусть, да и только.

4

В бывшем кабинете деда, где даже в самые жаркие дни была могильная сырость, сколько бы ни открывали окна, выходившие прямо в тяжелую, темную хвою, такую пышную и запутанную, что невозможно было сказать, где кончается одна ель, где начинается другая, — в этой нежилой комнате, где на голом письменном столе стоял бронзовый мальчик со скрипкой, — был незапертый книжный шкаф и в нем толстые тома вымершего иллюстрированного журнала. Лужин быстро перелистывал их, добираясь до той страницы, где, между стихотворением Коринфского, увенчанным арфообразной виньеткой, и отделом смеси со сведениями о передвигающихся болотах, американских чудаках и длине человеческих кишок, была гравирована шахматная доска. Никакие картины не могли удержать руку Лужина, листавшую том, — ни знаменитый Ниагарский

водопад, ни голодающие индусские дети, толстопузые скелетики, ни покушение на испанского короля. Жизнь с поспешным шелестом проходила мимо, и вдруг остановка — заветный квадрат, этюды, дебюты, партии.

В начале летних каникул очень недоставало тети и старика с цветами, — особенно этого душистого старика, пахнувшего то фиалкой, то ландышем, в зависимости от тех цветов, которые он приносил тете. Приходил он обыкновенно очень удачно, — через несколько минут после того, как тетя, посмотрев на часы, уходила из дому. «Что ж, подождем», — говорил старик, снимая мокрую бумагу с букета, и Лужин придвигал ему кресло к столику, где уже расставлены были шахматы. Появление старика с цветами было выходом из довольно неловкого положения. После трех-четырех школьных пропусков обнаружилась неспособность тети играть в шахматы. Ее фигуры сбивались в безобразную кучу, откуда вдруг выскакивал обнаженный беспомощный король. Старик же играл божественно. Первый раз, когда тетя, натягивая перчатки, скороговоркой сказала: «Я, к сожалению, должна уйти, но вы посидите, сыграйте в шахматы с моим племянником, спасибо за чудные ландыши», — в первый раз, когда старик сел и сказал со вздохом: «Давненько не брал я в руки... ну-с, молодой человек, — левую или правую?» — в первый этот раз, когда через несколько ходов уже горели уши и некуда было сунуться, — Лужину показалось, что он играет совсем в другую игру, чем та, которой его научила тетя. Благоухание овевало доску. Старик называл королеву ферзем, туру — ладьей и, сделав смертельный для противника ход, сразу брал его назад, и, словно вскрывая механизм дорогого инструмента, показывал, как противник должен был сыграть, чтобы предотвратить беду. Первые пятнадцать партий он выиграл без всякого труда, ни минуты не думая над ходом, во время шестнадцатой он вдруг стал думать и выиграл с трудом, в последний же день, в тот день, когда старик приехал с целым кустом сирени, который некуда было поставить, а тетя на цыпочках бегала у себя в спальне и потом, вероятно, ушла черным ходом, — в этот последний день, после долгой, волнующей борьбы, во время которой у старика открылась способность сопеть, Лужин что-то постиг, что-то в нем освободилось, прояснилось, пропала близорукость мысли, от которой мучительной мутью

заволакивались шахматные перспективы. «Ну, что ж, ничья», — сказал старик. Он двинул несколько раз туда и сюда ферзем, как двигаешь рычагом испортившейся машины, и повторил: «Ничья. Вечный шах». Лужин попробовал тоже, не действует ли рычаг, потеребил, потеребил и напыжился, глядя на доску. «Далеко пойдете, — сказал старик. — Далеко пойдете, если будете продолжать в том же духе. Большие успехи. Первый раз вижу... Очень, очень далеко...»

Он же ему объяснил нехитрую систему обозначений, и Лужин, разыгрывая партии, приведенные в журнале, вскоре открыл в себе свойство, которому однажды позавидовал, когда отец за столом говорил кому-то, что он-де не может понять, как тесть его часами читал партитуру, слышал все движения музыки, пробегая глазами по нотам, иногда улыбаясь, иногда хмурясь, иногда на минуту возвращаясь назад, как делает читатель, проверяющий подробность романа — имя, время года. «Большое, должно быть, удовольствие, — говорил отец, — воспринимать музыку в натуральном ее виде». Подобное удовольствие Лужин теперь начал сам испытывать, пробегая глазами по буквам и цифрам, обозначавшим ходы. Сперва он научился разыгрывать партии, — бессмертные партии, оставшиеся от прежних турниров, — беглым взглядом скользил по шахматным нотам и беззвучно переставлял фигуры на доске. Случалось, что после какого-нибудь хода, отмеченного восклицанием или вопросом, смотря по тому, хорошо или худо было сыграно, следовало несколько серий ходов в скобках, ибо примечательный ход разветвлялся подобно реке, и каждый рукав надобно было проследить до конца, прежде чем возвратиться к главному руслу. Эти побочные, подразумеваемые ходы, объяснявшие суть промаха или провидения, Лужин мало-помалу перестал воплощать на доске и угадывал их гармонию по чередовавшимся знакам. Точно так же уже однажды разыгранную партию он мог просто перечесть, не пользуясь доской: это было тем более приятно, что не приходилось возиться с шахматами, ежеминутно прислушиваясь, не идет ли кто-нибудь; дверь, правда, он запирал на ключ, отпирал ее нехотя, после того как медная ручка много раз опускалась, — и отец, приходивший смотреть, что он делает в сырой, нежилой комнате, находил сына беспокойного и хмурого, с красными ушами; на столе

лежали тома журнала, и Лужин-старший охвачен бывал подозрением, не ищет ли в них сын изображений голых женщин. «Зачем ты запираешь дверь? — спрашивал он (и маленький Лужин втягивал голову в плечи, с ужасающей ясностью представляя себе, как вот-вот, сейчас, отец заглянет под диван и найдет шахматы). — Тут прямо ледяной воздух. И что же интересного в этих старых журналах? Пойдем-ка посмотреть, нет ли красных грибов под елками».

Были красные грибы, были. К мокрой, нежно-кирпичного цвета шапке прилипали хвойные иглы, иногда травинка оставляла на ней длинный, тонкий след. Испод бывал дырявый, на нем сидел порою желтый слизень, — и с толстого, пятнисто-серого корня Лужин-старший ножичком счищал мох и землю, прежде чем положить гриб в корзину. Сын шел за ним, отстав на пять-шесть шагов, заложив руки за спину, как старичок, и не только грибов не искал, но даже отказывался смотреть на те, которые с довольным кряканием откапывал отец. И иногда, в конце аллеи, полная и бледная, в своем печальном белом платье, не шедшем ей, появлялась мать и спешила к ним, попадая то в солнце, то в тень, и сухие листья, которые никогда не переводятся в северных рощах, шуршали под ее белыми туфлями на высоких, слегка скривившихся каблуках. И как-то в июле, на лестнице веранды, она поскользнулась и вывихнула ногу, и долго потом лежала — то в полутемной спальне, то на веранде, — в розовом капоте, напудренная, и рядом, на столике, стояла серебряная вазочка с бульдегомами. Нога скоро поправилась, но она осталась лежать, как будто решив, что так ей суждено, что именно это жизнью ей предназначено. А лето было необыкновенно жаркое, комары не давали покоя, с реки день-деньской раздавались визги купавшихся девиц, и в один такой томный день, рано утром, когда еще слепни не начали мучить черной пахучей мазью испачканную лошадь, Лужин-старший уехал на весь день в город. «Пойми же наконец. Мне необходимо повидаться с Сильвестровым, — говорил он накануне, расхаживая по спальне в своем мышиного цвета халате. — Какая ты, право, странная. Ведь это важно. Я сам предпочел бы остаться». Но жена продолжала лежать, уткнувшись лицом в подушку, и ее толстая, беспомощная спина вздрагивала. Все же он утром уехал, — и сын, стоя в саду, видел, как над зубчатым рядом елочек, отгораживавших сад от дороги, несся бюст кучера и шляпа отца.

Он в этот день затосковал. Все партии в старом журнале были изучены, все задачи решены, и приходилось играть самому с собой, а это безнадежно кончалось разменом всех фигур и вялой ничьей. И было невыносимо жарко. От веранды на яркий песок ложилась черная треугольная тень. Аллея была вся пятнистая от солнца, и эти пятна принимали, если прищуриться, вид ровных, светлых и темных, квадратов. Под скамейкой тень распласталась резкой решеткой. Каменные столбы с урнами, стоявшие на четырех углах садовой площадки, угрожали друг другу по диагонали. Реяли ласточки, полетом напоминая движение ножниц, быстро вырезающих что-то. Не зная, что делать с собой, он побрел по тропинке вдоль реки, а за рекой был веселый визг и мелькали голые тела. Он стал за ствол дерева, украдкой, с бьющимся сердцем, вглядываясь в это белое мелькание. Птица прошумела в ветвях, и он испугался, быстро пошел назад, прочь от реки. Завтракал он один с экономкой, молчаливой, желтолицей старухой, от которой всегда шел легкий кофейный запах. Затем, валяясь на диване в гостиной, он сонно слушал всякие легкие звуки, то крик иволги в саду, то жужжание шмеля, влетевшего в окно, то звон посуды на подносе, который несли вниз из спальни матери, — и эти сквозные звуки странно преображались в его полусне, принимали вид каких-то сложных светлых узоров на темном фоне, и, стараясь распутать их, он уснул. Его разбудила горничная, посланная матерью... В спальне было темновато и уныло; мать привлекла его к себе, но он так напрягся, так отворачивался, что пришлось его отпустить. «Ну, расскажи мне что-нибудь», — сказала она тихо. Он пожал плечами, ковыряя пальцем колено. «Ничего не хочешь рассказать?» — спросила она еще тише. Он посмотрел на ночной столик, положил в рот бульдегом и стал его сосать, — взял второй, третий, еще и еще, пока рот не наполнился сладкими, глухо стукавшимися шарами. «Бери, бери сколько хочешь», — шептала она и, выпростав руку, старалась как-нибудь его погладить. «Ты совсем не загорел в этом году, — сказала она погодя. — А может быть, я просто не вижу, тут такой мертвый свет, все синее. Подними жалюзи, пожалуйста. Или нет, постой, останься. Потом». Дососав бульдегомы, он справился, можно ли ему уходить. Она спросила, что он сейчас будет делать, не хочет ли он поехать на станцию к семичасовому поезду встречать отца. «Отпустите меня, — сказал он. — У вас пахнет лекарством».

По лестнице он попробовал съехать, как делалось в школе, как он сам никогда в школе не делал; но ступени были слишком высокие. Под лестницей, в шкафу, еще не до конца исследованном, он поискал журналов. Журнал он выкопал, нашел в нем шашечный отдел, глупые неповоротливые плошки, тупо стоявшие на доске, но шахмат не было. Под руку все попадался альбом-гербарий с сухими эдельвейсами и багровыми листьями и с надписями детским, тоненьким, бледно-лиловым почерком, столь непохожим на теперешний почерк матери: Давос, 1885 г.; Гатчина, 1886 г. Он в сердцах стал выдирать листья и цветы и зачихал от мельчайшей пыли, сидя на корточках среди разбросанных книг. Потом стало так темно под лестницей, что уже страницы журнала, который он снова перелистывал, стали сливаться в серую муть, и иногда какая-нибудь небольшая картинка обманывала, казалась в расплывчатой темноте шахматной задачей. Он засунул кое-как книги в шкаф, побрел в гостиную, вяло подумал, что, верно, уже восьмой час, так как буфетчик зажигает керосиновые лампы. Опираясь на трость и держась за перила, в сиреневом пеньюаре тяжело спускалась мать, и лицо у нее было испуганное. «Я не понимаю, почему твой отец еще не приехал», — сказала она и, с трудом передвигаясь, вышла на веранду, стала вглядываться в дорогу между еловых стволов, обтянутых там и сям ярко-рыжим лучом.

Он приехал только к десяти, опоздал, оказывается, на поезд, очень много было дел, обедал с издателем, — нет, нет, супа не нужно. Он смеялся и говорил очень громко и шумно ел, и Лужин вдруг почувствовал, что отец все время смотрит на него, точно ошеломлен его присутствием. Обед как-то слился с вечерним чаем, мать, облокотясь на стол, молча щурилась, глядя на тарелку с малиной, и чем веселее рассказывал отец, тем больше она щурилась. Потом она встала и тихо ушла, и Лужину показалось, что все это уже раз было. Он остался на веранде один с отцом и боялся поднять голову, все время чувствуя на себе пристальный, странный взгляд.

«Как вы изволили провести время? — вдруг сказал отец. — Чем занимались?» — «Ничем», — ответил Лужин. «А теперь что вы собираетесь делать? — тем же напряженно-шутливым голосом, подражая манере сына говорить на вы, спросил Лужин-старший. — Хотите уже спать ложиться или тут

со мной посидеть?» Лужин убил комара и очень осторожно, снизу и сбоку, взглянул на отца. У отца была крошка на бороде и неприятно насмешливо блестели глаза. «Знаешь что? — сказал он, и крошка спрыгнула. — Знаешь что? Давай во что-нибудь сыграем. Хочешь, например, я тебя научу в шахматы?»

Он увидел, как сын медленно покраснел, и, пожалев его, поспешно добавил: «Или в кабалу, — там есть карты в столике». «А шахмат у нас нет», — хрипло сказал Лужин и опять осторожно взглянул на отца. «Хорошие остались в Петербурге, — спокойно сказал отец, — но, кажется, есть старые на чердаке. Пойдем посмотрим».

Действительно, — при свете лампы, которую высоко держал отец, Лужин нашел в ящике, среди всякого хлама, доску и при этом опять почувствовал, что все это уже было раз — открытый ящик с торчащим сбоку гвоздем, пылью опушенные книги, деревянная доска с трещиной посредине. Нашлась и коробочка с выдвижной крышкой; в ней были щуплые шахматные фигуры. И все время, пока он искал, а потом нес шахматы вниз, на веранду, Лужин старался понять, случайно ли отец заговорил о шахматах или подсмотрел что-нибудь, — и самое простое объяснение не приходило ему в голову, как иногда, при решении задачи, ключом к ней оказывается ход, который представляется запретным, невозможным, естественным образом выпадающим из ряда возможных ходов.

И теперь, когда на освещенном столе, между лампой и простоквашей, была положена доска и отец стал ее вытирать газетой, лицо у него было уже не насмешливое, и Лужин, забыв страх, забыв тайну, вдруг наполнился горделивым волнением при мысли о том, что он может, если пожелает, показать свое искусство. Отец начал расставлять фигуры. Одну из пешек заменяла нелепая фиолетовая штучка вроде бутылочки; вместо одной ладьи была шашка; кони были без голов, и та конская голова, которая осталась после опорожнения коробки (вместе с маленькой игральной костью и красной фишкой), оказалась неподходящей ни к одному из них. Когда все было расставлено, Лужин вдруг решился и пробормотал: «Я уже немножко умею». — «Кто же тебя научил?» — не поднимая головы, спросил отец. «В школе, — ответил Лужин. — Там некоторые играли». — «А! великолепно, — сказал отец. — Начнем, пожалуй...»

Он играл в шахматы с юношеских лет, но редко и безалаберно, со случайными игроками, — на волжском пароходе в погожий вечер, в иностранной санатории, где некогда умирал брат, на даче с сельским доктором, нелюдимым человеком, который периодически переставал к ним заглядывать, — и все эти случайные партии, полные зевков и бесплодных раздумий, были для него небрежным отдохновением или просто способом пристойно молчать в обществе человека, с которым беседа не клеится, — короткие, незамысловатые партии, не отмеченные ни самолюбием, ни вдохновением, и которые он всегда одинаково начинал, мало обращая внимания на ходы противника. Не сетуя на проигрыш, он все же втайне считал, что играет очень недурно, и если проигрывает, то по рассеянности, по добродушию, по желанию оживить игру храбрыми вылазками, и полагал, что, если приналечь, можно и без теорий опровергнуть любой гамбит из учебника. Страсть сына к шахматам так поразила его, показалась такой неожиданной и вместе с тем роковой, неизбежной, — так странно и страшно было сидеть на этой яркой веранде, среди черной летней ночи, против этого мальчика, у которого словно увеличился, разбух напряженный лоб, как только он склонился над фигурами, — так это было все странно и страшно, что сосредоточить мысль на шахматном ходе он не мог и, притворяясь думающим, то смутно вспоминал свой беззаконный петербургский день, оставивший чувство стыда, в которое лучше было не углубляться, то глядел на легкое, небрежное движение, которым сын переставлял фигуру. И через несколько минут сын сказал: «Если так, то мат, а если так, то пропадает ваш ферзь», — и он, смутившись, взял ход обратно и задумался по-настоящему, наклоняя голову то влево, то вправо, медленно протягивая пальцы к ферзю и быстро отдирая их, как будто обжигаясь, а сын тем временем спокойно, с несвойственной ему аккуратностью, убирал взятые фигуры в ящик. Наконец Лужин-старший сделал ход, и сразу начался разгром его позиций, и тогда он неестественно рассмеялся и опрокинул своего короля. Так он проиграл три партии и почувствовал, что, сыграй он еще десять, результат будет тот же, и все-таки не мог остановиться. В самом начале четвертой сын отставил его ход и, покачав головой, сказал уверенным, недетским голосом: «Худший ответ. Чигорин советует брать

пешку». И когда, с непонятной, безнадежной быстротой, он проиграл и эту партию, Лужин-старший опять, как давеча, рассмеялся и стал дрожащей рукой наливать себе молоко в граненый стакан, на дне которого лежал стерженек малины, всплывший на поверхность, закружившийся, не желавший быть извлеченным. Сын убрал доску и коробку, положил их в угол на плетеный столик и, равнодушно пробурчав: «Спокойной ночи», тихо прикрыл за собою дверь.

«Ну что ж, этого следовало ожидать, — сказал Лужин-старший, вытирая платком кончики пальцев. — Он не просто забавляется шахматами, он священнодействует».

Мохнатая, толстобрюхая ночница с горящими глазками, ударившись о лампу, упала на стол. Легко прошумел ветер по саду. В гостиной тонко заиграли часы и пробили двенадцать.

«Чепуха, — сказал он, — глупая фантазия. Многие мальчишки отлично играют в шахматы. Ничего нет удивительного. Вся эта история просто мне на нервы подействовала. Нехорошо. Напрасно она его поощряла. Ну, все равно...»

Он с тоской подумал, что сейчас придется лгать, увещевать, успокаивать, а уже поздний час...

«Хочется спать», — сказал он, но остался сидеть в кресле.

А рано утром, в густой роще за садом, в самом темном и мшистом углу, маленький Лужин зарыл ящик с отцовскими шахматами, полагая, что это самый простой способ избежать всяких осложнений, благо есть теперь другие фигуры, которыми можно открыто пользоваться. Его отец, не совладев с любопытством, отправился к угрюмому доктору, который играл в шахматы куда лучше его, и вечером, после обеда, смеясь и потирая руки, всеми силами стараясь скрыть от себя, что поступает нехорошо, — а почему нехорошо, сам не знает, — он усадил сына и доктора за плетеный стол на веранде, сам расставил фигуры, извиняясь за фиолетовую штучку, и, сев рядом, стал жадно следить за игрой. Шевеля густыми, врозь торчащими бровями, муча мясистый нос большим мохнатым кулаком, доктор долго думал над каждым ходом и порой откидывался, как будто издали лучше было видно, и делал большие глаза, и опять грузно нагибался, упираясь руками в колени. Он проиграл и так крякнул, что в ответ хрустнуло камышовое кресло. «Да, нет же, нет же, — воскликнул Лужин-старший. — Надо

так пойти, и все спасено, — у вас даже положение лучше». — «Да я же под шахом стою», — басом сказал доктор и стал расставлять фигуры заново. И когда он вышел его провожать в темный сад до окаймленной светляками тропинки, спускавшейся к мосту, Лужин-старший услышал те слова, которые так жаждал услышать, но теперь от этих слов было тяжело, — лучше бы он их не услышал.

Доктор стал бывать каждый вечер и, так как действительно играл очень хорошо, извлекал огромное удовольствие из непрекращавшихся поражений. Он принес учебник шахматной игры, посоветовал, однако, не слишком им увлекаться, не уставать, читать на вольном воздухе. Он рассказывал о больших мастерах, которых ему приходилось видеть, о недавнем турнире, а также о прошлом шахмат, о довольно фантастическом радже, о великом Филидоре, знавшем толк и в музыке. Иногда, с угрюмой улыбкой, он приносил то, что называл «гостинцем», — хитрую задачу, откуда-то вырезанную. Лужин, покорпев над ней, находил наконец решение и картаво восклицал, с необыкновенным выражением на лице, с блеском счастья в глазах: «Какая роскошь! Какая роскошь!» Но составлением задач он не увлекся, смутно чувствуя, что попусту в них растратилась бы та воинственная, напирающая, яркая сила, которую он в себе ощущал, когда доктор ударами мохнатого пальца все дальше и дальше убирал своего короля и, наконец, замирал, кивал головой, глядя на доску, меж тем как отец, всегда присутствовавший, всегда жаждавший чуда — поражения сына, — и пугавшийся, и радовавшийся, когда сын выигрывал, и страдавший от этой сложной смеси чувств, — хватал коня или ладью, говорил, что не все пропало, сам иногда доигрывал безнадежную партию.

И пошло. Между этими вечерами на веранде и тем днем, когда в столичном журнале появилась фотография Лужина, как будто ничего не было, ни дачной осени, моросящей на астры, ни переезда в город, ни возвращения в школу. Фотография появилась в октябрьский день, вскоре после первого, незабвенного выступления в шахматном клубе. И все другое, что было между ней и переездом в Петербург, — два месяца как-никак, — было так смутно и так спутанно, что потом, вспоминая то время, Лужин не мог точно сказать, когда, например, была вечеринка в школе — где тихо, в уголку, почти незаметно для товарй-

щей, он обыграл учителя географии, известного любителя, — или когда, по приглашению отца, явился к ним обедать седой еврей, дряхлый шахматный гений, побеждавший во всех городах мира, а ныне живший в праздности и нищете, полуслепой, больной сердцем, потерявший навеки огонь, хватку, счастье... Лужин помнил одно совершенно ясно — боязнь, которую он испытывал в школе, боязнь, что узнают о его даре и засмеют его, — и впоследствии, орудуя этим безошибочным воспоминанием, он рассудил, что после партии, сыгранной на вечеринке, он в школе, должно быть, больше не бывал, ибо, помня все содрогания своего детства, он не мог представить себе то ужасное ощущение, которое бы испытал, войдя наутро в класс и увидев любопытные, всё проведавшие глаза. Он помнил опять-таки, что после появления фотографии он отказался ходить в школу, и невозможно было распутать в памяти узел, в который связались вечеринка и фотография, невозможно было сказать, что случилось раньше, что позже. Журнал ему принес отец, и фотография была та, которую сняли в прошлом году на даче: ствол в саду, и он у ствола, узор листвы на лбу, угрюмое выражение на чуть склоненном лице и те узкие, белые штанишки, которые всегда спереди расстегивались. Вместо радости, ожидаемой отцом, он не выразил ничего, — но тайная радость все же была: вот это кладет конец школе. Его упрашивали в продолжение недели. Мать, конечно, плакала. Отец пригрозил отнять новые шахматы — огромные фигуры на сафьяновой доске. И вдруг все решилось само собой. Он бежал из дому — в осеннем пальтишке, так как зимнее, после одной неудавшейся попытки бежать, спрятали, — и, не зная, куда деться (шел колючий снег, оседал на карнизах, и ветер его сдувал, без конца повторяя эту мелкую метель), он побрел наконец к тете, которой не видел с весны. Он встретил ее у подъезда ее дома. Она была в черной шляпе, держала в руках завернутые в бумагу цветы, шла на похороны. «Твой старый партнер помер, — сказала она. — Поедем со мной». Он рассердился, что нельзя посидеть в тепле, что идет снег, что у тети горят сентиментальные слезы за вуалью, — и, резко повернув, пошел прочь и, с час походив, отправился домой. Самого возвращения он не помнил, — любопытней всего, что, быть может, предыдущее произошло на самом деле иначе, что многое у него в памяти было потом добавлено, взято из его бреда, а бредил он целую неделю, и, так

как он был очень слабый и нервный, доктора полагали, что он болезни не переживет. Болел он не в первый раз, и, восстановляя ощущение именно этой болезни, он невольно вспоминал и другие, которыми его детство было полно, — и особенно отчетливо вспоминалось ему, как еще совсем маленьким, играя сам с собой, он все кутался в тигровый плед, одиноко изображая короля, — всего приятней было изображать короля, так как мантия предохраняла от озноба, и хотелось как можно больше отдалить ту неизбежную минуту, когда тронут ему лоб, поставят градусник и затем поспешно уложат его в постель. Но ничего раньше не было схожего с его октябрьской шахматной болезнью. Седой еврей, побивавший Чигорина, мертвый старик, обложенный цветами, отец, с веселым, хитрым лицом приносивший журнал, и учитель географии, остолбеневший от полученного мата, и комната в шахматном клубе, где какие-то молодые люди в табачном дыму тесно его окружили, и бритое лицо музыканта, державшего почему-то телефонную трубку, как скрипку, между щекой и плечом, — все это участвовало в его бреду и принимало подобие какой-то чудовищной игры на призрачной, валкой, бесконечно расползавшейся доске.

Когда он выздоровел, его, похудевшего и выросшего, увезли за границу, сперва на берег Адриатического моря, где он лежал на солнце в саду, разыгрывая в уме партии, что запретить ему было невозможно, затем — в немецкий курорт, где отец водил его гулять по тропинкам, огороженным затейливыми буковыми перилами. Шестнадцать лет спустя, снова посетив этот же курорт, он узнал глиняных бородатых карл между клумб, обведенных цветным гравием, перед выросшей, похорошевшей гостиницей, и темный, сырой лес на холму, разноцветные мазки масляной краски (каждый цвет означал направление определенной прогулки), которыми был снабжен буковый ствол или скала на перекрестке, дабы не заплутал медлительный путник. Те же пресс-папье с изумрудно-синими, перламутром оживленными видами под выпуклым стеклом продавались в лавках близ источника, и как будто тот же оркестр на помосте в саду играл попурри из опер, и клены бросали живую тень на столики, за которыми люди пили кофе и ели клинообразные ломти яблочного торта со сбитыми сливками.

«Вот видите эти окошки, — сказал он, указывая тростью на крыло гостиницы. — Там имел место тогда турнирчик.

Играли солиднейшие немецкие игроки. Мне было четырнадцать лет. Третий приз, да, третий приз».

Он снова положил руки на толстую трость тем печальным, слегка старческим движением, которое ему теперь было свойственно, и, как будто слушая музыку, наклонил голову.

«Что? Мне надеть шляпу? Солнце, говорите, печет? Нет, мне это нечувствительно. Нет, оставьте, зачем же? Мы сидим в тени».

Все же он взял соломенную шляпу, протянутую ему через столик, побарабанил по дну, где было расплывчато-темное пятно на имени шапочника, надел ее, криво улыбнувшись. Именно — криво: правая щека слегка поднималась, справа губа обнажала плохие, прокуренные зубы, и другой улыбки у него не было. И нельзя было сказать, что ему всего только пошел четвертый десяток, — от крыльев носа спускались две глубоких, дряблых борозды, плечи были согнуты, во всем его теле чувствовалась нездоровая тяжесть, и когда он вдруг резко встал, защищаясь локтем от осы, — стало видно, что он довольно тучный, — ничто в маленьком Лужине не предвещало этой ленивой, дурной полноты. «Да что она пристала!» — вскрикнул он тонким, плачущим голосом, продолжая поднимать локоть, а другой рукой силясь достать платок. Оса, описав еще один последний круг, улетела, и он долго провожал ее глазами, машинально отряхивая платок, и потом, поставив потверже на гравий металлический стул и подняв упавшую трость, сел снова, тяжело дыша.

«Отчего вы смеетесь? Они очень неприятные насекомые, — осы». Он нахмурился, глядя на стол. Рядом с его портсигаром лежала дамская сумочка, полукруглая, из черного шелка. Он рассеянно потянулся к ней, стал щелкать замком.

«Плохо запирается, — сказал он, не поднимая глаз. — В прекрасный день вы все выроните».

Он вздохнул, отложил сумку, тем же голосом добавил: «Да, солиднейшие немецкие игроки. И один австриец. Не повезло моему покойному папаше. Думал, что тут нет живого интереса к шахматам, а попали прямо на турнир».

Что-то понастроили, крыло дома теперь выглядело иначе. А жили они вон там, во втором этаже. Было решено остаться там до осени, а потом вернуться в Россию, и призрак школы, о которой отец второй год не смел упомянуть,

опять замаячил. Мать вернулась гораздо раньше, в начале лета. Она говорила, что безумно тоскует по русской деревне, и это длинное-длинное «безумно» с таким зудящим, ноющим средним слогом было почти единственной ее интонацией, которую сын запомнил. И уехала она все-таки нехотя, — да и сама не знала, ехать ли, или оставаться. Уже давно началось у нее странное отчуждение от сына, как будто он уплыл куда-то, и любила она не этого взрослого мальчика, шахматного вундеркинда, о котором уже писали газеты, а того маленького, теплого, невыносимого ребенка, который, чуть что, кидался плашмя на пол и кричал, стуча ногами. И все было так грустно и так ненужно, — эта жидкая, нерусская сирень на станции, и тюльпанообразные лампочки в спальном купэ норд-экспресса, и эти замирания в груди, чувство удушья, — быть может, грудная жаба или просто нервы, как говорит муж. Она уехала, не писала, отец повеселел и переехал в комнату поменьше, а потом, как-то в июле, маленький Лужин, возвращаясь домой из другой гостиницы — где жил один из тех сосредоточенных пожилых людей, которые с ним играли, заменяли ему сверстников, — случайно увидел на косогоре, у деревянных перил, в блеске вечернего солнца, отца с дамой. И так как эта дама была несомненно его петербургская рыжеволосая тетя, он очень удивился, и стало ему почему-то стыдно, и он ничего не сказал отцу. А через несколько дней после этого, рано утром, он услышал — отец быстро приближается к его спальне по коридору и как будто громко хохочет. Дверь с размаху открылась, и отец вошел, протягивая, словно отстраняя от себя, бумажку — телеграмму. Слезы лились у него по щекам, вдоль носа, как будто он обрызгал лицо водой, и он повторял, всхлипывая, задыхаясь: «Что это такое? Что это такое? Это ошибка, переврали», — и все отстранял от себя бумажку.

5

Он играл в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Киеве, в Одессе. Появился некий Валентинов, что-то среднее между воспитателем и антрепренером. Отец носил на рукаве черную повязку — траур по жене — и говорил провинциальным журналистам, что никогда бы так основательно не осмотрел родной земли, если б его сын не был вундеркиндом.

Он сражался на турнирах с лучшими русскими шахматистами, играл вслепую, часто играл один против человек двадцати любителей. Лужин-старший, много лет спустя (в те годы, когда каждый его фельетон в эмигрантской газете казался ему самому его лебединой песней, и Бог знает, сколько было этих лебединых песен, полных лирики и опечаток), задумал повесть как раз о таком мальчике-шахматисте, которого отец (по книжке — приемный) возит из города в город. Начал он книгу в двадцать восьмом году, — вернувшись домой с заседания, на которое он пришел один. Так неожиданно, так живо явился ему замысел этой книги, пока он сидел и ждал в отдельной комнате берлинской кофейни. Пришел он, как всегда, очень точно, удивился, что еще столики не составлены, велел лакею немедленно это сделать, спросил чаю и рюмку коньяку. Комнатка была чистая, ярко освещенная, с натюрмортом на стене: аппетитные персики вокруг разрезанного арбуза. На составленные столики, плавно взлетев, легла чистая скатерть. Он положил в чай кусочек сахару и, грея бескровные, всегда зябкие руки о стекло, смотрел, как поднимаются пузырьки. Рядом, в общем зале, скрипка и рояль играли из «Травиаты», — и от сладкой музыки, от коньяку, от вида белой скатерти старику Лужину стало так грустно, и грусть была такая приятная, что он боялся двинуться, сидел, облокотясь на одну руку и прижав палец к виску, — жилистый, красноглазый старик, в вязаном жилете и коричневом пиджаке. Играла музыка, пустая комнатка была налита светом, алела арбузная рана, — и никто на заседание не шел. Несколько раз он смотрел на часы, но потом так разомлел от музыки и чаю, что забыл о времени и стал потихоньку думать о том о сем, — о приобретенной по случаю пишущей машинке, о Мариинском театре, о сыне, так редко приезжающем в Берлин. А затем он спохватился, что сидит уже час, что скатерть все так же пуста и бела... И в этой светлой, показавшейся ему мистической пустоте, сидя за столом, предназначенным для несостоявшегося заседания, он вдруг решил, что давно не являвшееся писательское вдохновение теперь посетило его.

«Пора подвести некоторые итоги», — подумал он и оглядел пустую комнату, — скатерть, синие обои, натюрморт, — как оглядывают комнату, где родился известный человек. И фабула повести, которую старик Лужин давно лелеял,

показалась ему в этот миг только что созданной, и он пригласил мысленно будущего биографа (парадоксальным образом становившегося, по мере приближения к нему во времени, все призрачнее, все отдаленнее) повнимательнее осмотреть эту случайную комнату, где родилась повесть «Гамбит». Он залпом выпил остаток чаю, надел пальто и шляпу, узнал от лакея, что нынче не среда, а вторник, улыбнулся, не без удовольствия отмечая свою рассеянность, и, вернувшись домой, сразу снял черную металлическую крышу с пишущей машинки.

Ярче всего перед его глазами стояло вот это, писательским воображением слегка ретушированное, воспоминание: светлый зал, два ряда столиков, на столиках шахматные доски. За каждым столиком сидит человек, за спиной каждого сидящего стоит кучка зрителей, вытянувших шеи. И вот, по проходу между столиками, ни на кого не глядя, спешит мальчик, — одетый, как Цесаревич, в нарядную белую матроску, — и останавливается поочередно у каждой доски, быстро делает ход или на миг задумывается, наклонив золотисто-русую голову. Если глядеть со стороны, совершенно непонятно, что происходит: пожилые люди в черном сумрачно сидят за досками, густо уставленными вычурными куклами, а легкий, нарядный мальчик, Бог весть зачем пришедший сюда, в странной, напряженной тишине легко переходит от столика к столику, один движется среди этих оцепеневших людей...

Стилизованности воспоминания писатель Лужин сам не заметил. Не заметил он и того, что придал сыну черты скорее «музыкального», нежели шахматного вундеркинда, — что-то болезненное, что-то ангельское, — и глаза, подернутые странной поволокой, и вьющиеся волосы, и прозрачную белизну лица. Но теперь было некоторое затруднение: этот очищенный от всякой примеси, доведенный до предельной нежности, образ его сына надобно было окружить известным бытом. Одно он решил твердо, — что не даст этому ребенку вырасти, не сделает из него того угрюмого человека, который иногда навещал его в Берлине, односложно отвечал на вопросы, сидел прикрыв глаза и уходил, оставив конверт с деньгами на подоконнике.

«Он умрет молодым», — проговорил он вслух, беспокойно расхаживая по комнате, вокруг открытой машинки, следившей за ним всеми бликами своих кнопок. «Да, он умрет

молодым, его смерть будет неизбежна и очень трогательна. Умрет, играя в постели последнюю свою партию». Эта мысль ему так понравилась, что он пожалел о невозможности начать писать книгу с конца. Почему, собственно говоря, невозможно? Можно попробовать... Он повел было мысль обратным ходом — от этой трогательной, такой отчетливой смерти назад, к туманному рождению героя, но вдруг встряхнулся, сел за стол и стал думать наново.

Прежде, когда он мечтал о такой книге, он чувствовал, что ему две вещи мешают: война и революция. Дар сына по-настоящему развился только после войны, когда он из вундеркинда превратился в маэстро. Как раз накануне этой войны, которая так мешала воспоминанию работать на стройную литературную фабулу, он, с сыном и с Валентиновым, уехал опять за границу. Приглашали играть в Вену, в Будапешт, в Рим. Слава русского мальчика, уже побившего кое-кого из тех игроков, имена которых попадают в шахматные учебники, так росла, что об его собственной скромной писательской славе тоже вскользь упоминалось в иностранных газетах. Они были все трое в Швейцарии, когда был убит австрийский эрцгерцог. По соображениям совершенно случайным (полезный сыну горный воздух, слова Валентинова, что теперь России не до шахмат, а сын только шахматами жив, да еще мысль, что война не надолго) он вернулся в Петербург один. Через несколько месяцев он не вытерпел и вызвал сына. В странном витиеватом письме, которому как-то соответствовал медленный кружной путь, этим письмом проделанный, Валентинов сообщил, что сын приехать не хочет. Лужин написал снова, и ответ, такой же витиеватый и вежливый, пришел уже не из Тараспа, а из Неаполя. Валентинова он возненавидел. Были дни необыкновенной тоски. Впрочем, Валентинов в очередном письме предложил, что все расходы по содержанию сына возьмет на себя, что свои — сочтемся (так и написал). Шло время. В неожиданной роли военного корреспондента он попал на Кавказ. За днями тоски и острой ненависти по отношению к Валентинову (писавшему, впрочем, прилежно) пошли дни душевного успокоения, основанного на том, что сыну за границей хорошо, лучше, чем было бы в России (что и утверждал Валентинов).

Теперь, почти через пятнадцать лет, эти годы войны оказались раздражительной помехой, это было какое-то

посягательство на свободу творчества, ибо во всякой книге, где описывалось постепенное развитие определенной человеческой личности, следовало как-нибудь упомянуть о войне, и даже смерть героя в юных летах не могла быть выходом из положения. Были лица и обстоятельства вокруг образа сына, которые, к сожалению, были мыслимы только на фоне войны, не могли бы существовать без этого фона. С революцией было и того хуже. По общему мнению, она повлияла на ход жизни всякого русского; через нее нельзя было пропустить героя, не обжигая его, избежать ее было невозможно. Это уже было подлинное насилие над волей писателя. Меж тем как могла революция задеть его сына? В долгожданный день осенью тысяча девятьсот семнадцатого года явился Валентинов, такой же веселый, громкий, великолепно одетый, и за ним пухлый молодой человек с усиками. Была минута печали и замешательства и странного разочарования. Сын был молчалив и все посматривал в окно («Боится возможной стрельбы», — вполголоса пояснил Валентинов). Сначала все это было похоже на дурной сон, — но потом обошлось. Валентинов продолжал уверять, что «свои — сочтемся», — оказалось, что у него большие, таинственные дела, и деньги рассованы по всем банкам союзной Европы. Сын стал посещать тишайший шахматный клуб, доверчиво расцветший в самую пору гражданской сумятицы, а весной исчез вместе с Валентиновым — опять за границу. Дальше следовали воспоминания только личные, воспоминания непривлекательные. Бог с ними, голод, арест. Бог с ними, и вдруг — благословенная высылка, законное изгнание, чистая, желтая палуба, балтийский ветер, спор с профессором Василенко о бессмертии души.

Из всего этого, из всей этой грубой мешанины, — так и липнущей, так и прущей из всех углов памяти, принижающей всякое воспоминание, загораживающей путь свободной мысли, — непременно следовало осторожно, по кусочкам, выскрести и целиком впустить в книгу — Валентинова. Человек несомненно талантливый, как определяли его те, кто собирался тут же сказать о нем что-нибудь скверное; чудак, на все руки мастер, незаменимый человек при устройстве любительского спектакля, инженер, превосходный математик, любитель шахмат и шашек, «амюзантнейший господин», как он сам рекомендовал себя. У него были чудесные карие глаза и чрезвычайно привлё-

кательная манера смеяться. Он носил на указательном пальце перстень с адамовой головой и давал понять, что у него были в жизни дуэли. Одно время он преподавал гимнастику в школе, где учился маленький Лужин, и большое впечатление производило на учеников и учителей то, что за ним приезжает таинственная дама в лимузине. Он изобрел походя удивительную металлическую мостовую, которая была испробована в Петербурге, на Невском, близ Казанского собора. Он же сочинил несколько остроумных шахматных задач и был первым экспонентом так называемой «русской» темы. Ему было двадцать восемь лет в год объявления войны, и никакой болезнью он не страдал. Анемическое слово «дезертир» как-то не подходило к этому веселому, крепкому, ловкому человеку, — другого слова, однако, не подберешь. Чем он занимался за границей во время войны — так и осталось неизвестным.

Итак, было решено полностью им воспользоваться, благодаря ему любая фабула приобретала необыкновенную живость, привкус авантюры. Но самое главное еще оставалось придумать. Ведь все это до сих пор были только краски, правда теплые, живые, но плывшие отдельными пятнами; требовалось еще найти определенный рисунок, резкую линию. Впервые писатель Лужин, задумав книгу, невольно начинал с красок.

И чем ярче становились в его воображении эти краски, тем труднее ему было засесть за пишущую машинку. Прошел месяц, другой, началось лето, и он все продолжал одевать в наряднейшие цвета незримую еще тему. Ему казалось иногда, что вот, книга написана, и он ясно видел набор, полосы гранок с красными иероглифами по краям, а потом свеженькую, брошюрованную книгу, хрустящую в руках, а дальше был чудесный розовый туман, сладостные награды за все неудачи, за все обманы славы. Он ходил в гости к многочисленным своим знакомым и подолгу, с удовольствием рассказывал о своей книге. В одной эмигрантской газете появилась заметка о том, что он, после долгого молчания, работает над новой повестью. И эту заметку, им же составленную и посланную, он с волнением перечел раза три, вырезал, положил в бумажник. Он стал чаще появляться на литературных вечерах, устраиваемых адвокатами и дамами, и предполагал, что, должно быть, все на него смотрят с любопытством и уважением. Как-то,

в неверный летний день, он поехал за город, промок под внезапным ливнем, пока тщетно искал белых грибов, и на следующий день слег. Болел он одиноко и кратко, и смерть его была неспокойна. Правление союза эмигрантских писателей почтило его память вставанием.

6

«Непременно все высыплется», — сказал Лужин, опять завладев сумкой.

Она быстро протянула руку, отложила сумку подальше, хлопнув ею об столик, — как бы подчеркивая этим запрет. «Вечно вам нужно теребить что-нибудь», — проговорила она ласково.

Лужин посмотрел на свою руку, топыря и снова сдвигая пальцы. Ногти были желтые от курения, с грубыми заусеницами, на суставах тянулись толстые поперечные морщинки, пониже росли редкие волоски. Он положил руку на стол, рядом с ее рукой, молочно-бледной, мягкой на вид, с коротко и аккуратно подстриженными ногтями.

«Я жалею, что не знала вашего отца, — сказала она погодя. — Он, должно быть, был очень добрым, очень серьезным, очень любил вас».

Лужин промолчал.

«Расскажите мне еще что-нибудь, — как вы тут жили? Неужели вы были когда-нибудь маленьким, бегали, возились?»

Он опять положил обе руки на трость, — и по выражению его лица, по сонному опусканию тяжелых век, по чуть раскрывшемуся рту, словно он собирался зевнуть, она заключила, что ему стало скучно, что вспоминать надоело. Да и вспоминал-то он равнодушно, — ей было странно, что вот, он месяц тому назад потерял отца и сейчас без слез может смотреть на дом, где он в детстве жил с ним вместе. Но даже в этом равнодушии, в его неуклюжих словах, в тяжелых движениях его души, как бы поворачивавшейся спросонья и засыпавшей снова, ей мерещилось что-то трогательное, трудноопределимая прелесть, которую она в нем почувствовала с первого дня их знакомства. И как таинственно было то, что, несмотря на очевидную вялость его отношения к отцу, он все-таки выбрал именно этот курорт,

именно эту гостиницу, как будто ждал от когда-то уже виденных предметов и пейзажей того содрогания, которого он без чужой помощи испытать не мог. А приехал он чудесно, в зеленый и серый день, под моросящим дождем, в безобразной, черной, мохнатой шляпе, в огромных галошах, — и, глядя из окна на его фигуру, грузно вылезавшую из отельного автобуса, она почувствовала, что этот неизвестный приезжий — кто-то совсем особенный, непохожий на всех других жителей курорта. В тот же вечер она узнала, кто он. Все в столовой смотрели на этого полного, мрачного человека, который жадно и неряшливо ел и иногда задумывался, водя пальцем по скатерти. Она в шахматы не играла, никогда шахматными турнирами не интересовалась, но каким-то образом его имя было ей знакомо, бессознательно въелось в память, и она не могла вспомнить, когда впервые услышала его. Фабрикант, страдавший давним запором, о котором охотно говорил, человек об одной мысли, но добродушный, приятный, не без вкуса одетый, — вдруг забыл о запоре и в галерее, где пили целебную воду, сообщил ей несколько удивительных вещей о мрачном господине, который, переменив мохнатую шляпу на старое канотье, стоял перед витринкой, вделанной в колонну, и разглядывал кустарные вещицы, выставленные для продажи. «Ваш соотечественник, — сказал фабрикант, указывая на него бровью, — знаменитый шахматный игрок. Приехал из Франции на турнир. Турнир будет в Берлине, через два месяца. Если выиграет, то вызовет чемпиона мира. Отец у него недавно умер. Вот тут в газете все это сказано».

Ей захотелось познакомиться с ним, поговорить по-русски, — столь привлекательным он ей показался своей неповоротливостью, сумрачностью, низким отложным воротником, который его делал почему-то похожим на музыканта, — и ей нравилось, что он на нее не смотрит, не ищет повода с ней заговорить, как это делали все неженатые мужчины в гостинице. Была она собой не очень хороша, чего-то недоставало ее мелким, правильным чертам. Как будто последний, решительный толчок, который бы сделал ее прекрасной, оставив те же черты, но придав им неизъяснимую значительность, не был сделан. Но ей было двадцать пять лет, по моде остриженные волосы лежали прелестно, и был у нее один поворот головы, в котором

сказывался намек на возможную гармонию, обещание подлинной красоты, в последний миг не сдержанное. Она носила очень простые, очень хорошо сшитые платья, обнажала руки и шею, немного щеголяя их нежной свежестью. Она была богата, — ее отец, потеряв одно состояние в России, нажил другое в Германии. Ее мать должна была скоро приехать на этот курорт, и с тех пор, как возник Лужин, ожидание ее шумливого появления стало чем-то неприятно.

Она познакомилась с ним на третий день его приезда, так, как знакомятся в старых романах или в кинематографических картинах: она роняет платок, он его поднимает, — с той только разницей, что она оказалась в роли героя. Лужин шел по тропинке перед ней и последовательно ронял: большой клетчатый носовой платок, необыкновенно грязный, с приставшим к нему карманным сором, сломанную, смятую папиросу, потерявшую половину своего нутра, орех и французский франк. Она подобрала только платок и монету и медленно догоняла его, с любопытством ожидая новой потери. Лужин шел, держа в правой руке трость, которой он трогал каждый ствол, каждую скамью, а левой рукой все шарил в кармане и наконец остановился, вывернул карман и стал разглядывать в нем дырку. При этом выпала еще монета. «Насквозь», — сказал он по-немецки, взяв из ее руки платок («Еще вот это», — сказала она по-русски). «Скверная материя», — продолжал он, не поднимая головы, не переходя на русский язык, ничему не удивляясь, словно возвращение вещей было вполне естественным. «Да не суйте опять туда же», — сказала она и покатилась со смеху. Только тогда он поднял голову и хмуро на нее посмотрел. Его полное, серое лицо, с плохо выбритыми, израненными бритвой щеками, приобрело растерянное и странное выражение. У него были удивительные глаза, узкие, слегка раскосые, полуприкрытые тяжелыми веками и как бы запыленные чем-то. Но сквозь эту пушистую пыль пробивался синеватый, влажный блеск, в котором было что-то безумное и привлекательное. «Не роняйте больше», — сказала она и пошла от него прочь, чувствуя его взгляд у себя на спине. Вечером, входя в столовую, она невольно издали улыбнулась ему, и он ответил той угрюмой, кривой полуулыбкой, с которой иногда смотрел на черную отельную кошку, бесшумно проскользавшую

от столика к столику. А на следующий день, в саду, где были гроты, фонтаны и глиняные карлы, он подошел к ней и густым, грустным голосом стал благодарить за платок, за монету (и с той поры он смутно, почти бессознательно все следил, не роняет ли она чего-нибудь, — как будто стараясь восстановить какую-то тайную симметрию). «Не за что, не за что», — ответила она и много еще произнесла таких слов, — бедные родственники настоящих слов, — и сколько их, этих маленьких сорных слов, произносимых скороговоркой, временно заполняющих пустоту. Употребляя такие слова и чувствуя их мелкую суетность, она спросила, нравится ли ему курорт, надолго ли он тут, пьет ли воду. Он отвечал, что нравится, что надолго, что воду пьет. Потом она спросила, сознавая глупость вопроса, но не в силах остановиться, — давно ли он играет в шахматы. Он ничего не ответил, отвернулся, и она так смутилась, что стала быстро перечислять все метеорологические приметы вчерашнего, сегодняшнего, завтрашнего дня. Он продолжал молчать, и она замолчала тоже, и стала рыться в сумке, мучительно ища в ней тему для разговора и находя только сломанный гребешок. Он вдруг повернул к ней лицо и сказал: «Восемнадцать лет, три месяца и четыре дня». Для нее это было восхитительным облегчением, а к тому же изысканная обстоятельность его ответа чем-то польстила ей. Впрочем, ее вскоре начало немного сердить, что он, в свой черед, не задает ей никаких вопросов, принимает ее как бы на веру.

«Артист, большой артист», — часто думала она, глядя на его тяжелый профиль, на тучное, сгорбленное тело, на темную прядь, приставшую ко всегда мокрому лбу. И может быть, именно потому, что она о шахматах не знала ровно ничего, шахматы не были для нее просто домашней игрой, приятным времяпровождением, а были таинственным искусством, равным всем признанным искусствам. Никогда она еще не встречала близко таких людей — не с кем было его сравнить, кроме как с гениальными чудаками, музыкантами и поэтами, образ которых знаешь так же определенно и так же смутно, как образ римского императора, инквизитора, скупца из комедии. В памяти у нее была недлинная темноватая галерея, череда всех лиц, чем-либо задевших ее воображение. Тут были школьные воспоминания, — женская гимназия в Петербурге с необычным

плющом по фасаду на короткой, пыльной, бестрамвайной улице, и был некий учитель географии, преподававший также в мужском училище, — большеглазый белолобый человек со всклокоченными волосами, больной — говорили — чахоткой, побывавший — говорили — в гостях у Далай-ламы, влюбленный — говорили — в одну из старших учениц, племянницу седой, голубоглазой инспектрисы, чей опрятный кабинетик был уютен своими синими обоями и белой печкой. Географ остался у нее в памяти именно на синем фоне, окруженный синим воздухом, и быстро приближался, по привычке своей торопливо и шумно влетая в класс, и вдруг таял, пропадал, уступая место другому лицу, показавшемуся ей тоже непохожим на все прочие. Появлению этого лица предшествовало долгое внушение со стороны инспектрисы, что не надо смеяться, ни в коем случае не надо смеяться. Это было в первый советский год, из сорока учениц в классе осталось семнадцать, ежедневно встречали учителей вопросом: «Будем ли мы сегодня учиться?», и неизменно те отвечали: «Мы еще не получили окончательных инструкций». Инспектриса велела, чтобы никаких смешков не было, когда приедет сейчас человек из комиссариата народного просвещения, что бы он ни говорил, как бы он себя ни вел. И он приехал, и поселился в ее памяти, как человек чрезвычайно забавный, пришедший из другого, нелепого мира. Он был хромой, но очень живой и вертлявый, с быстрыми, прыгающими глазами. Девицы столпились в притихшей зале, и он ходил перед ними взад и вперед, проворно хромая и с обезьяньей ловкостью поворачиваясь. И, хромая мимо них, ловко таща ногу на двойном каблуке, правой рукой разрезая воздух на правильные ломти или разглаживая его, как сукно, он пространно и быстро говорил о лекциях по социологии, которые он будет читать, о скором слиянии с мужской школой, — и неудержимо, до боли в скулах, до судорог в горле, хотелось смеяться. И затем, в Финляндии, оставшейся у нее в душе как что-то более русское, чем сама Россия, оттого, может быть, что деревянная дача и елки, и белая лодка на черном от хвойных отражений озере особенно замечались как русское, особенно ценились, как что-то запретное по ту сторону Белоострова, — в этой еще дачной, еще петербургской Финляндии она несколько раз издали видела знаменитого писателя, очень бледного, с отчетли-

вой бородкой, все посматривавшего на небо, где начинали водиться вражеские аэропланы. И он остался странным образом рядом с русским офицером, впоследствии потерявшим руку в Крыму, — тишайшим, застенчивым человеком, с которым она летом играла в теннис, зимой бегала на лыжах, и при этом снежном воспоминании всплывала вдруг опять на фоне ночи дача знаменитого писателя, где он и умер, расчищенная дорожка, сугробы, освещенные электричеством, призрачные полоски на темном снегу. После этих по-разному занятных людей, каждый из которых окрашивал воспоминание в свой определенный цвет (голубой географ, защитного цвета комиссар, черное пальто писателя и человек, весь в белом, подбрасывающий ракеткой еловую шишку), была расплывчатость и мелькание, жизнь в Берлине, случайные балы, монархические собрания, много одинаковых людей — и все это было еще так близко, что память не могла найти фокуса и разобраться в том, что ценно, а что сор, да и разбираться было теперь некогда, слишком много места занял угрюмый, небывалый, таинственный человек, самый привлекательный из всех ей известных. Таинственно было самое его искусство, все проявления, все признаки этого искусства. Она вскоре узнала, что по вечерам, после ужина, до поздней ночи, он работает. Но эту работу она представить себе не могла, так как не к чему было прицепиться, ни к мольберту, ни к роялю, а именно к такой, определенной эмблеме искусства тянулась ее мысль. Комната его была в первом этаже, гуляющие с сигарами в темноте по саду иногда видели его лампу, его склоненное лицо. Кто-то ей наконец сообщил, что он сидит за пустой шахматной доской. Ей захотелось самой посмотреть, и как-то, через несколько дней после их первого разговора, она пробралась по тропинке между олеандровыми кустами к его окну. Но, почувствовав вдруг неловкость, она прошла мимо, не посмотрев, вышла в аллею, куда доносилась музыка из курзала, и, не совладев с любопытством, вернулась опять к окну, причем нарочно скрипела гравием, чтобы убедить себя, что она не подглядывает. Его окно было открыто, штора не спущена, и в ярком провале она увидела, как он снимает пиджак и, надув шею, зевает. И в тяжелом, медленном движении его плеча, которое все повторялось перед ее глазами, пока она поспешно уходила сквозь темноту к освещенной площадке

перед гостиницей, ей померещилась какая-то могучая усталость после неведомых и чудных трудов.

Лужин действительно устал. Последнее время он играл много и беспорядочно, а особенно его утомила игра вслепую, довольно дорого оплачиваемое представление, которое он охотно давал. Он находил в этом глубокое наслаждение: не нужно было иметь дела со зримыми, слышимыми, осязаемыми фигурами, которые своей вычурной резьбой, деревянной своей вещественностью, всегда мешали ему, всегда ему казались грубой, земной оболочкой прелестных, незримых шахматных сил. Играя вслепую, он ощущал эти разнообразные силы в первоначальной их чистоте. Он не видел тогда ни крутой гривы коня, ни лоснящихся головок пешек, — но отчетливо чувствовал, что тот или другой воображаемый квадрат занят определенной сосредоточенной силой, так что движение фигуры представлялось ему как разряд, как удар, как молния, — и все шахматное поле трепетало от напряжения, и над этим напряжением он властвовал, тут собирая, там освобождая электрическую силу. Так он играл против пятнадцати, двадцати, тридцати противников, и, конечно, его утомляло количество досок, оттого что больше уходило времени на игру, но эта физическая усталость была ничто перед усталостью мысли — возмездием за напряжение и блаженство, связанные с самой игрой, которую он вел в неземном измерении, орудуя бесплотными величинами. Кроме всего, в слепой игре и в победах, которые она ему давала, он находил некоторое утешение. Дело в том, что последние годы ему не везло на турнирах, возникла призрачная преграда, которая ему все мешала прийти первым. Валентинов это как-то предсказал, несколько лет тому назад, незадолго до исчезновения. «Блещи, пока блещется», — сказал он, после того незабвенного турнира в Лондоне, первого после войны, когда двадцатилетний русский игрок оказался победителем. «Пока блещется, — лукаво повторил Валентинов, — а то ведь скоро конец вундеркиндству». И это было очень важно для Валентинова. Лужиным он занимался только поскольку это был феномен — явление странное, несколько уродливое, но обаятельное, как кривые ноги таксы. За все время совместной жизни с Лужиным он безостановочно поощрял, развивал его дар, ни минуты не заботясь о Лужине-человеке, которого, казалось, не только

Валентинов, но и сама жизнь проглядела. Он показывал его, как забавного монстра, богатым людям, приобретал через него выгодные знакомства, устраивал бесчисленные турниры, и только когда ему начало сдаваться, что вундеркинд превращается просто в молодого шахматиста, он привез его в Россию обратно к отцу, а потом, как некоторую ценность, увез снова, когда ему показалось, что все-таки он ошибся, что еще годика два-три осталось жить феномену. Когда и эти сроки прошли, он подарил Лужину денег, как дарят опостылевшей любовнице, и исчез, найдя новое развлечение в кинематографическом деле, в этом таинственном, как астрология, деле, где читают манускрипты и ищут звезд. И, уйдя в среду бойких, речистых, жуликовато-важных людей, говорящих о философии экрана, о вкусах масс, об интимности в фильмовом преломлении и зарабатывающих при этом недурно, он выпал из мира Лужина, что для Лужина было облегчением, тем странным облегчением, которое бывает в разрешении несчастной любви. К Валентинову он привязался сразу — еще в годы шахматных путешествий по России, а потом относился к нему так, как может сын относиться к беспечному, ускользающему, холодноватому отцу, которому никогда не скажешь, как его любишь. Валентинов занимался им только как шахматистом. Иногда в нем было что-то от тренера, вьющегося вокруг атлета, с беспощадной строгостью устанавливающего определенный режим. Так, Валентинов утверждал, что шахматисту можно курить (оттого что и в шахматах и в курении есть что-то восточное), но ни в коем случае нельзя пить, и, во время их совместного житья, в столовых больших гостиниц, огромных, пустынных в военные дни гостиниц, в случайных ресторанах, в швейцарских харчевнях и итальянских тратториях он заказывал для юноши Лужина неизменно минеральную воду. Пищу для него он выбирал легкую, чтобы мысль могла двигаться свободно, но почему-то (быть может, тоже в туманной связи с «востоком») очень поощрял Лужина в его любви к сладостям. Наконец, у него была своеобразная теория, что развитие шахматного дара связано у Лужина с развитием чувства пола, что шахматы являются особым преломлением этого чувства, и, боясь, чтобы Лужин не израсходовал драгоценную силу, не разрешил бы естественным образом благодейственное напряжение души, он держал его в стороне от

женщин и радовался его целомудренной сумрачности. Было что-то унизительное во всем этом; Лужин, вспоминая то время, с удивлением отмечал, что между ним и Валентиновым не прошло ни одного доброго человеческого слова. И все же, когда, через три года после окончательного выезда из России, ставшей такой неприятной, — Валентинов исчез, он почувствовал пустоту, отсутствие поддержки, а потом признал неизбежность случившегося, вздохнул, повернулся, задумался опять над шахматной доской. Турниры после войны стали учащаться. Он играл в Манчестере, где дряхлый чемпион Англии, после двух дней борьбы, форсировал ничью, в Амстердаме, где решающую партию проиграл, оттого что просрочил время, и противник, взволнованно крякнув, ударил по его часам, в Риме, где Турати победоносно пустил в ход свой знаменитый дебют, и во многих других городах, которые все для него были одинаковы — гостиница, таксомотор, зал в кафе или клубе. Эти города, эти ровные ряды желтых фонарей, проходивших мимо, вдруг выступавших вперед и окружавших каменного коня на площади, — были той же привычной и ненужной оболочкой, как деревянные фигуры и черно-белая доска, и он эту внешнюю жизнь принимал как нечто неизбежное, но совершенно не занимательное. Точно так же и в одежде своей, в образе обиходного бытия, он следовал побуждениям очень смутным, ни над чем не задумываясь, редко меняя белье, машинально заводя на ночь часы, бреясь тем же лезвием, пока оно не переставало брать волос, питаясь случайно и просто, — и по какой-то печальной инерции заказывая к обеду все ту же минеральную воду, которая слегка била в нос, вызывая щекотку в углах глаз, словно слезы об исчезнувшем Валентинове. Он замечал только изредка, что существует, — когда одышка, месть тяжелого тела, заставляла его с открытым ртом остановиться на лестнице, или когда болели зубы, или когда в поздний час шахматных раздумий протянутая рука, тряся спичечный коробок, не вызывала в нем дребезжания спичек, и папироса, словно кем-то другим незаметно сунутая ему в рот, сразу вырастала, утверждалась, плотная, бездушная, косная, и вся жизнь сосредоточивалась в одно желание курить, хотя Бог весть, сколько папирос было уже бессознательно выкурено. Вообще же так мутна была вокруг него жизнь, и так мало усилий от него требовала, что ему казалось

иногда, что некто — таинственный, невидимый антрепренер — продолжает его возить с турнира на турнир, но были иногда странные часы, такая тишина вокруг, а выглянешь в коридор — у всех дверей стоят сапоги, сапоги, сапоги, и в ушах шум одиночества. Когда был еще жив отец, Лужин с тоской думал о его прибытии в Берлин, о том, что нужно повидать его, помочь, говорить о чем-то, — и этот веселенький на вид старик в вязаном жилете, неловко хлопавший его по плечу, был ему невыносим, как постыдное воспоминание, от которого стараешься отделаться, щурясь и мыча сквозь зубы. Он не приехал из Парижа на похороны отца, боясь пуще всего мертвецов, гробов, венков и ответственности, связанной со всем этим, — но приехал погодя, отправился на кладбище, потоптался под дождем между могил в отяжелевших от грязи галошах, могилы отца не нашел, увидел за деревьями человека, вероятно сторожа, но странная лень и робость помешали спросить; он поднял воротник и поплелся по пустырю к ожидавшему таксомотору. Смерть отца не прервала его работы. Он готовился к берлинскому турниру с определенной мыслью найти лучшую защиту против сложного дебюта итальянца Турати, самого страшного из будущих участников турнира. Этот игрок, представитель новейшего течения в шахматах, открывал партию фланговыми выступлениями, не занимая пешками середины доски, но опаснейшим образом влияя на центр с боков. Брезгуя благоразумным уютом рокировки, он стремился создать самые неожиданные, самые причудливые соотношения фигур. Уже однажды Лужин с ним встретился и проиграл, и этот проигрыш был ему особенно неприятен потому, что Турати, по темпераменту своему, по манере игры, по склонности к фантастической дислокации, был игрок ему родственного склада, но только пошедший дальше. Игра Лужина, в ранней его юности так поражавшая знатоков невиданной дерзостью и пренебрежением основными как будто законами шахмат, казалась теперь чуть-чуть старомодной перед блистательной крайностью Турати. Лужин попал в то положение, в каком бывает художник, который, в начале поприща усвоив новейшее в искусстве и временно поразив оригинальностью приемов, вдруг замечает, что незаметно произошла перемена вокруг него, что другие, неведомо откуда взявшись, оставили его позади в тех приемах, в которых он недавно был первым,

и тогда он чувствует себя обокраденным, видит в обогнавших его смельчаках только неблагодарных подражателей и редко понимает, что он сам виноват, он, застывший в своем искусстве, бывшем новым когда-то, но с тех пор не пошедшем вперед.

Оглядываясь на восемнадцать с лишним лет шахматной жизни, Лужин видел нагромождение побед вначале, а затем странное затишье, вспышки побед там и сям, но в общем — игру вничью, раздражительную и безнадежную, благодаря которой он незаметно прослыл за осторожного, непроницаемого, сухого игрока. И это было странно. Чем смелее играло его воображение, чем ярче был вымысел во время тайной работы между турнирами, тем ужасней он чувствовал свое бессилие, когда начиналось состязание, тем боязливее и осмотрительнее он играл. Давно вошедший в разряд лучших международных игроков, очень известный, цитируемый во всех шахматных учебниках, кандидат, среди пяти-шести других, на звание чемпиона мира, он этой благожелательной молвой был обязан ранним своим выступлениям, оставившим вокруг него какой-то смутный свет, венчик избранности, поволоку славы. Смерть отца явилась ему как вешка, по которой он мог определить пройденный путь. И, на минуту оглянувшись, он с некоторым содроганием увидел, как медленно он последнее время шел, и, увидев это, с угрюмой страстью погрузился в новые вычисления, придумывая и уже смутно предчувствуя гармонию нужных ходов, ослепительную защиту. Ему стало дурно ночью, в берлинской гостинице, после поездки на кладбище: сердцебиение, и странные мысли, и такое чувство, будто мозг одеревенел и покрыт лаком. Доктор, которого он в то утро повидал, посоветовал отдохнуть, уехать в тихое место, «...чтобы было кругом зелено», — сказал доктор. И Лужин, отказавшись дать обещанный сеанс игры вслепую, уехал в то очевидное место, которое ему сразу представилось, когда врач упомянул о зелени, и даже был смутно благодарен угодливому воспоминанию, которое так кстати назвало нужный курорт, взяло на себя все заботы, поместило его в уже созданную, уже готовую гостиницу.

Он действительно почувствовал себя лучше среди этой зеленой декорации, в меру красивой, дающей чувство сохранности и покоя. И вдруг, как бывает в балагане, когда расписная бумажная завеса прорывается звездообразно,

пропуская живое, улыбающееся лицо, появился, невесть откуда, человек, такой неожиданный и такой знакомый, заговорил голос, как будто всю жизнь звучавший под сурдинку и вдруг прорвавшийся сквозь привычную муть. Стараясь уяснить себе это впечатление чего-то очень знакомого, он совершенно некстати, но с потрясающей ясностью вспомнил лицо молоденькой проститутки с голыми плечами, в черных чулках, стоявшей в освещенной пройме двери, в темном переулке, в безымянном городе. И нелепым образом ему показалось, что вот это — она, что вот, она явилась теперь, надев приличное платье, слегка подурнев, словно она смыла какие-то обольстительные румяна, но через это стала более доступной. Таково было первое впечатление, когда он увидел ее, когда заметил с удивлением, что с ней говорит. И ему было немного досадно, что она не совсем так хороша, как могла быть, как мерещилась по странным признакам, рассеянным в его прошлом. Он примирился и с этим и постепенно стал забывать ее смутные прообразы, но зато почувствовал успокоение и гордость, что вот, с ним говорит, занимается им, улыбается ему настоящий, живой человек. И в тот день, на площадке сада, где ярко-желтые осы садились на железные столики, поводя опущенными сяжками, — когда он вдруг заговорил о том, как некогда, мальчиком, жил в этой гостинице, Лужин начал тихими ходами, смысл которых он чувствовал очень смутно, своеобразное объяснение в любви. «Ну, расскажите что-нибудь еще», — повторила она, несмотря на то что заметила, как хмуро и скучно он замолчал.

Он сидел, опираясь на трость, и думал о том, что этой липой, стоящей на озаренном скате, можно, ходом коня, взять вон тот телеграфный столб, и одновременно старался вспомнить, о чем именно он сейчас говорил. Лакей с дюжиной пустых пивных кружек, висящих на скрюченных пальцах, пробежал вдоль крыла дома, и Лужин с облегчением вспомнил, что говорил о турнире, некогда происходившем как раз в этом крыле. Он взволновался, ему стало жарко, и круг шляпы давил виски, и это волнение было еще не совсем понятно. «Пойдемте, — сказал он. — Я вам покажу. Там теперь должно быть пусто. И прохладно». Тяжело ступая и таща за собой трость, которая шуршала по гравию и подпрыгнула на пороге, он вошел в дверь первым. «Какой неотесанный», — подумала она и поймала себя на

том, что качает головой и что это чуть-чуть фальшиво, — дело совсем не в его неотесанности. «Вот, кажется, сюда», — сказал Лужин и толкнул боковую дверь. Горел огонь, толстый человек в белом кричал что-то, и бежала башня тарелок на человеческих ногах. «Нет, дальше», — сказал Лужин и пошел по коридору. Он открыл другую дверь и чуть не упал: шли вниз ступеньки, а там — кусты и куча сору, и опасливо, дрыгающей походкой, отходящая курица. «Я ошибся, — сказал Лужин, — вероятно, вот сюда, направо». Он снял шляпу, почувствовав, как на лбу горячим бисером собирается пот. Ах, как ясен был образ просторной, пустой, прохладной залы, — и как трудно было ее найти! «Вот эту дверь попробуем», — сказал он. Дверь оказалась запертой. Он несколько раз нажал ручку. «Кто там?» — вдруг сказал хриплый голос, и скрипнула постель. «Ошибка, ошибка», — забормотал Лужин и пошел дальше, потом оглянулся и остановился: он был один. «Где же она?» — сказал он вслух, топчась и озираясь. Коридор, окно в сад, на стене аппарат с квадратными оконцами для номеров. Где-то пролетел звонок. В одном из оконец криво выскочил номер. Ему стало беспокойно и смутно, точно он заблудился в дурном сне, — и он быстро пошел назад, повторяя вполголоса: «Странные шутки, странные шутки». Вышел он неожиданно в сад, и там двое сидели на скамейке и с любопытством смотрели на него. Вдруг он услышал сверху смех, поднял лицо. Она стояла на балкончике своей комнаты и смеялась, положив локти на перила, ладони прижав к щекам и укоризненно-лукаво кивая. Она видела его большое лицо, шляпу набекрень и ждала, что он будет теперь делать. «Я не могла за вами поспеть», — крикнула она, выпрямившись и открыв руки в каком-то объяснительном жесте. Лужин опустил голову и вошел в дом. Она полагала, что он сейчас постучится к ней, и думала о том, что не впустит его, скажет, что в комнате беспорядок. Но он не постучался. Когда она спустилась ужинать, его в столовой не было. «Обиделся», — решила она и пошла спать раньше обыкновенного. Утром она вышла гулять и смотрела, не ждет ли он в саду, на скамейке, с газетой, как всегда. Его не было ни в саду, ни в галерее, и она пошла гулять без него. Когда он и к обеду не явился, и за его столиком оказалась престарелая чета, давно на этот столик метившая, она спросила в конторе, не болен ли

господин Лужин. «Господин Лужин сегодня утром уехал в Берлин», — ответила барышня.

Через час вернулся в гостиницу его багаж. Швейцар и мальчишка деловито и равнодушно внесли обратно чемоданы, которые утром вынесли. Лужин возвращался со станции пешком, — полный, унылый господин, придавленный жарой, в белых от пыли башмаках. Он отдыхал на всех скамейках, раза два сорвал ягоду ежевики и сморщился от кислятины. Идя по шоссе, он вдруг заметил, что мелкими шажками следует за ним белокурый мальчик, с пустой бутылкой из-под пива в руке, и, нарочно его не обгоняя, смотрит на него в упор с невыносимой детской внимательностью. Лужин остановился. Мальчик остановился тоже. Лужин двинулся, мальчик тоже двинулся. Тогда он рассердился и, обернувшись, погрозил тростью. Тот замер, удивленно и радостно ухмыляясь. «Я тебя...» — густым голосом сказал Лужин и пошел на него, подняв трость. Мальчик прыгнул на месте и отбежал. Лужин, бурча и сопя, продолжал свой путь. Внезапно камушек, очень ловко пущенный, попал ему в левую лопатку. Он ахнул и обернулся. Никого, — пустая дорога, лес, вереск. «Я его убью», — громко сказал он по-немецки и пошел быстрее, стараясь вилять, как это делают (он читал где-то) люди, боящиеся выстрела в спину, и повторяя вслух свою беспомощную угрозу. Он тяжело дышал, ослабел, чуть не плакал, когда добрался до гостиницы. «Раздумал, — сказал он мимоходом, обращаясь к решетке конторы. — Остаюсь, раздумал». «Наверное, у себя в комнате», — произнес он, поднимаясь по лестнице. Он вошел к ней с размаху, словно бухнул в дверь головой, и, смутно увидев ее, лежащую в розовом платье на кушетке, сказал торопливо: «Здрасте-здрасте», и кругами зашагал по комнате, предполагая, что это все выходит очень остроумно, легко, забавно, и вместе с тем задыхаясь от волнения. «Итак, продолжая вышесказанное, должен вам объявить, что вы будете моей супругой, я вас умоляю согласиться на это, абсолютно было невозможно уехать, теперь будет все иначе и превосходно», — и тут, присев на стул у парового отопления, он разрыдался, закрыв лицо руками; потом, стараясь одну руку так растопырить, чтобы она закрывала ему лицо, другою стал искать платок, и в дрожащие от слез просветы между пальцев видел двоящееся, расплывающееся розовое платье, которое с шумом надвигалось на него.

«Ну, будет, будет, — повторяла она успокаивающим голосом, — взрослый мужчина, и так плачет». Он схватил ее за локоть, поцеловал что-то холодное и твердое (часики на кисти). Она сняла с него соломенную шляпу и погладила по лбу, — и быстро отодвинулась, избегая его неловких, хватающих движений. Лужин затрубил в платок, раз, еще раз, громко и сочно; затем вытер глаза, щеки, рот и облегченно вздохнул, облокотившись на паровое отопление и глядя перед собой светлыми, влажными глазами. Ей тогда же стало ясно, что этого человека, нравится ли он тебе или нет, уже невозможно вытолкнуть из жизни, что уселся он твердо, плотно, по-видимому надолго. И вместе с тем она думала о том, как же она покажет этого человека отцу, матери, как это он будет сидеть у них в гостиной, — человек другого измерения, особой формы и окраски, несовместимый ни с кем и ни с чем.

Она сначала примеряла его так и этак к родным, к их окружению, даже к обстановке квартиры, заставляла воображаемого Лужина входить в комнаты, говорить с ее матерью, есть домашнюю кулебяку, отражаться в роскошном, купленном за границей самоваре, — и эти воображаемые посещения кончались чудовищной катастрофой, Лужин неуклюжим движением плеча сшибал дом, как валкий кусок декорации, испускающий вздох пыли. Квартира же была дорогая, благоустроенная, в бэль-этаже огромного берлинского дома. Ее родители, снова разбогатев, решили зажить в строгом русском вкусе, как-то сопряженном со славянской вязью, с открытками, изображающими пригорюнившихся боярышень, с лакированными шкатулками, на которых красочно выжжена тройка или жар-птица, и с тем, прекрасно издававшимся, давно опочившим журналом, где бывали такие превосходные фотографии старых усадеб и фарфора. Отец говорил друзьям, что ему особенно приятно, после деловых свиданий и разговоров с людьми подозрительного происхождения, окунуться в настоящий русский уют, есть настоящую русскую пищу. Одно время прислуживал настоящий денщик, солдат, взятый из русского барака под Берлином, но ни с того ни с сего он стал необыкновенно груб и был замещен немецкой полькой. Мать, статная, полнорукая дама, называвшая самое себя бой-бабой или казаком (след смутных и извращенных реминисценций из «Войны и Мира»), превосходно играла

русскую хозяйку, имела склонность к теософии и порицала радио, как еврейскую выдумку. Была она очень добра и очень бестактна, искренно любила ту размалеванную, искусственную Россию, которую вокруг себя понастроила, но иногда скучала невыносимо, в точности не зная, чего ей недостает, ибо, как говорила она, свою-то Россию она вывезла. Дочь же была совершенно равнодушна к этой лубочной квартире, столь непохожей на их тихий петербургский дом, где у мебели, у вещей была своя душа, где в киоте был незабвенный гранатовый блеск и таинственные апельсиновые цветы, где по шелку на спинке кресла была вышита толстая, умная кошка, где была тысяча мелочей, запахов, оттенков, которые все вместе составляли что-то упоительное, и раздирающее, и ничем незаменимое.

Молодые люди, бывавшие у них, считали ее очень милой, но скучноватой барышней, а мать про нее говорила (низким голосом, с усмешечкой), что она в доме представительница интеллигенции и декадентства, — потому ли, что знала наизусть стихи Бальмонта, найденные в «Чтеце-Декламаторе», или по какой другой причине — неизвестно. Отцу нравилась ее самостоятельность, тишина и особая манера опускать глаза, когда она улыбалась. Но до самого пленительного в ней никто еще не мог докопаться: это была таинственная способность души воспринимать в жизни только то, что когда-то привлекало и мучило в детстве, в ту пору, когда нюх у души безошибочен; выискивать забавное и трогательное; постоянно ощущать нестерпимую, нежную жалость к существу, живущему беспомощно и несчастно, чувствовать за тысячу верст, как в какой-нибудь Сицилии грубо колотят тонконогого осленка с мохнатым брюхом. Когда же и в самом деле она встречала обижаемое существо, то было чувство легендарного затмения, когда наступает необъяснимая ночь, и летит пепел, и на стенах выступает кровь, — и казалось, что если сейчас — вот сейчас — не помочь, не пресечь чужой муки, объяснить существование которой в таком располагающем к счастью мире нет никакой возможности, сама она задохнется, умрет, не выдержит сердце. И потому жила она в постоянном тайном волнении, постоянно предчувствуя новое увлечение или новую жалость, и про нее говорили, что она обожает собак и всегда готова одолжить денег, — и, слушая мелкую молву, она чувствовала себя как в детстве,

во время той игры, когда уходишь из комнаты, а другие выдумывают про тебя разнообразные мнения. И среди играющих, среди тех, к которым она выходила после пребывания в соседней комнате (где сидишь, ожидая, что тебя позовут, и честно напеваешь что-нибудь, чтобы только не подслушать, или открываешь случайную книгу, и, как освобожденная пружина, выскакивает кусочек романа, конец непонятного разговора), среди этих людей, мнение которых требовалось угадать, был теперь человек, довольно молчаливый, тяжелый на подъем, совершенно неизвестно, что о ней думающий. Она подозревала, что вообще никакого мнения у него нет и что он не представляет себе вовсе ее среду, обстановку ее жизни и потому может ляпнуть что-нибудь ужасное.

Решив, что она отсутствовала достаточно, она легонько провела рукой по затылку, приглаживая волосы, и улыбаясь вошла в холл. Лужин и ее мать, которых она только что познакомила, сидели в плетеных креслах под пальмой, и Лужин, насупившись, рассматривал свою неприличную соломенную шляпу, которую он держал на коленях, и в эту минуту ей было одинаково страшно подумать о том, какими словами о ней говорил Лужин (если вообще говорил), как и о том, какое впечатление сам Лужин произвел на ее мать. Накануне, как только мать приехала и стала пенять на то, что окно на север и не горит лампочка на ночном столике, она рассказала, стараясь держать слова на том же уровне, как и все предыдущие, что очень подружилась со знаменитым шахматистом Лужиным. «Наверное, псевдоним, — сказала мать, копаясь в несессере, — какой-нибудь Рубинштейн или Абрамсон». — «Очень, очень знаменитый, — продолжала дочь, — и очень милый». — «Помоги-ка мне лучше найти мое мыло», — сказала мать. И теперь, познакомив их, оставя их наедине под предлогом заказать лимонаду, она ощущала, возвращаясь в холл, такой страх, такую непоправимость уже происшедших катастроф, что еще издали стала громко говорить, и споткнулась о край ковра, и рассмеялась, балансируя руками. Бессмысленная игра с соломенной шляпой, молчание, удивленные, блестящие глаза матери, неожиданное воспоминание о том, как он на днях плакал, обняв паровое отопление, — все это было очень тяжело вынести. Но вдруг Лужин поднял голову, его рот скривился знакомой хмурой улыбкой, — и сразу

ее страх исчез, и возможная беда показалась чем-то удивительно забавным, ничего не меняющим. Лужин, как будто ожидавший ее прихода, чтобы ретироваться, крякнул, встал и, замечательным образом кивнув («по-хамски», — весело подумала она, переводя этот кивок на язык матери), направился к лестнице. По дороге он встретил лакея, несшего на подносе три стакана лимонаду. Он остановил его, взял один из стаканов и, осторожно держа его перед собой, бровями вторя колеблющемуся уровню жидкости, стал медленно подниматься по лестнице. Когда он исчез за поворотом, она стала преувеличенно внимательно сдирать тонкую бумажку с соломинки. «Хам», — довольно громко сказала мать, и дочь почувствовала то удовольствие, которое бывает, когда угаданное значение иностранного слова находишь в словаре. «Это же не человек, — продолжала с сердитым изумлением мать. — Что это такое? Ведь это же не человек. Он меня называл мадам, просто мадам, как приказчик. Не человек, а Бог знает что. И у него, наверное, советский паспорт. Большевик, просто большевик. Я сидела как дура. Ну и разговорчики. Совершенно грязные манжеты. Ты заметила? Совершенно грязные и обдрипанные».

«О чем были разговорчики?» — спросила она, улыбаясь исподлобья.

«Да, мадам, нет, мадам. Тут приятная атмосфера. Атмосфера, а? Словцо-то? Я его спросила, давно ли он из России, чтоб как-нибудь разговориться. Он просто молчит. Просто молчит. Потом он сказал про тебя, что ты любишь прохладительные напитки. Прохладительные! А морда какая, морда-то. Нет, нет, подальше от таких...»

Продолжая игру в мнения, она поспешила к Лужину. За время его неудачного отъезда успели сдать его комнату, и он был помещен в другую, повыше. Он сидел, облокотившись о стол, как будто пораженный горем, и в пепельнице мучительно дымилась недобитая папироса. На столе и на полу рассыпаны были листки, исписанные карандашом. Ей показалось мельком, что это счета, и она удивилась их количеству. Ветер, дувший в открытое окно, рванулся, когда она открыла дверь, и Лужин, выйдя из раздумья, поднял с полу листки, аккуратно сложил их, улыбаясь ей и моргая. «Ну что? Как?» — спросила она. «Оформится во время игры, — сказал Лужин. — Просто-напросто намечаю некоторые возможности». У нее было чувство, что она ошиблась

дверью, попала не туда, куда метила, но в этом неожиданном мире было хорошо и не хотелось переходить в тот, где играют в мнения. Но вместо того, чтобы продолжать говорить о шахматах, Лужин, подъехав к ней вместе со стулом, взял ее за талию трясущимися от нежности руками и, не зная, что предпринять, попытался ее посадить к себе на колени. Она уперлась ему в плечи, отстраняя лицо, будто глядит на листки. «Это что?» — спросила она. «Ничего, ничего, — сказал Лужин, — запись различных партий». — «Пустите», — попросила она тонким голосом. «Запись различных партий, запись...» — повторял Лужин, прижимая ее к себе и прищуренными глазами глядя снизу вверх на ее шею. Лицо его вдруг исказилось, глаза на миг потеряли выражение; потом черты его как-то обмякли, руки разжались сами собой, и она отошла от него, сердясь, не совсем точно зная, почему сердится, и удивленная тем, что он ее отпустил. Лужин откашлялся, жадно закурил, с непонятным лукавством следя за ней. «Я жалею, что пришла, — сказала она. — Во-первых, я вам помешала в работе...» — «Ничуть», — с неожиданной веселостью ответил Лужин и хлопнул себя по коленкам.

«Во-вторых, я, собственно, хотела узнать ваши впечатления». — «Дама большого света, — сказал Лужин, — это сразу видно».

«Послушайте, — воскликнула она, продолжая сердиться, — вы где-нибудь воспитывались? Вы где-нибудь учились? Вы вообще встречались когда-нибудь с людьми, говорили с людьми?»

«Я много вояжировал, — сказал Лужин. — Там и сям. Повсюду понемножку».

«Где я? Кто он? Что же дальше будет?» — мысленно спросила она себя и оглядела номер, стол, покрытый бумажками, смятую постель, умывальник, где валялось ржавое лезвие «жиллет», полуоткрытый шкаф, откуда, как змея, выползал зеленый в красных пятнах галстук. И среди этого холодного беспорядка сидел замысловатейший человек, человек, занимавшийся призрачным искусством, и она старалась остановиться, ухватиться за все его недостатки и странности, сказать себе раз навсегда, что этот человек ей не пара, — и в то же время совершенно отчетливо беспокоилась о том, как это он будет держаться в церкви, как он будет выглядеть во фраке.

7

Встречи, конечно, продолжались. Бедная дама стала со страхом замечать, что ее дочь и подозрительный господин Лужин неразлучны, — были какие-то между ними разговоры, и взгляды, и флюиды, которые она в точности не могла уловить; это показалось ей так опасно, что, преодолев отвращение, она решила Лужина держать как можно больше при себе, отчасти чтобы его хорошенько раскусить, но главное, чтобы дочь не пропадала так часто. Профессия Лужина была ничтожной, нелепой... Существование таких профессий могло быть только объяснимо проклятой современностью, современным тяготением к бессмысленному рекорду (эти аэропланы, которые хотят долететь до солнца, марафонская беготня, олимпийские игры...). Ей казалось, что в прежние времена, в России ее молодости, человек, исключительно занимавшийся шахматной игрой, был бы явлением немыслимым. Впрочем, даже и в нынешние дни такой человек был настолько странен, что у нее возникло смутное подозрение, не есть ли шахматная игра прикрытие, обман, не занимается ли Лужин чем-то совсем другим, — и она замирала, представляя себе ту темную, преступную, — быть может, масонскую, — деятельность, которую хитрый негодяй скрывает за пристрастием к невинной игре. Мало-помалу, однако, это подозрение отпало. Как ждать каверзы от такого олуха? Кроме того, он действительно был знаменит. Ее поразило и несколько раздражило, что многим хорошо знакомо имя, ей совершенно неизвестное (кроме разве как случайный звук в прошлом, связанный с дальним родственником, у которого когда-то бывал некий Лужин, петербургский помещик). Немцы, жившие в курортной гостинице, героически преодолевая трудность чуждой им шипящей, произносили это имя с уважением. Дочь показала ей последний номер берлинского иллюстрированного журнала, где в отделе загадок и крестословиц была приведена чем-то замечательная партия, недавно выигранная Лужиным. «Но разве можно увлекаться такими пустяками? — воскликнула она, растерянно глядя на дочь. — Всю жизнь ухлопать на такие пустяки... Вот, у тебя был дядя, он тоже хорошо играл во всякие игры — в шахматы, в карты, на биллиарде, — но у него была и служба, и карьера, и все». — «У него тоже

карьера, — ответила дочь, — и право же, он очень известен. Никто не виноват, что ты шахматами никогда не интересовалась». — «Фокусники тоже бывают известные», — ворчливо проговорила она, но все же призадумалась и решила про себя, что известность Лужина отчасти оправдывает его существование. Существовал он, впрочем, тяжко. Особенно ее сердило, что он постоянно ухитрялся сидеть к ней спиной. «Он спиной и говорит, спиной, — жаловалась она дочери. — Ведь у него не человеческий разговор. Уверяю тебя, тут есть что-то прямо ненормальное». Ни разу Лужин не обратился к ней с вопросом, ни разу не попытался поддержать разваливавшуюся беседу. Были незабвенные прогулки по испещренным солнцем тропинкам, где, там и сям, в приятной тени, некий заботливый гений расставил скамейки, — незабвенные прогулки, во время которых каждый шаг Лужина казался ей оскорблением. Несмотря на полноту и одышку, он вдруг развивал необычайную скорость, его спутницы отставали, мать, поджимая губы, смотрела на дочь и свистящим шепотом клялась, что, если этот рекордный бег будет продолжаться, она тотчас же, — понимаешь, тотчас же, — вернется домой. «Лужин, — звала дочь, — а, Лужин? Передохните, вы устанете». (И то, что дочь звала его по фамилии, тоже было неприятно, — но на ее замечание та отвечала со смехом: «Так делали тургеневские девушки. Чем я хуже?») Лужин вдруг оборачивался, криво усмехался и присаживался на скамейку. Рядом стояла проволочная корзина. Он неизменно рылся в карманах, находил какую-нибудь бумажку, аккуратно ее рвал на части и бросал в корзину, после чего отрывисто смеялся. Образец его шуточек.

Все же, несмотря на совместные прогулки, ее дочь и Лужин находили время уединяться; и после таких уединений она с некоторой злобой спрашивала дочь: «Что, целуешься с ним? Целуешься? Я уверена, что целуешься». Но та только вздыхала и с притворной тоской отвечала: «Ах, мама, как ты можешь говорить такие вещи...» «Взасос», — решила она и мужу написала, что несчастна, беспокойна, что у дочери невозможный флирт, — опасный угрюмец. Муж посоветовал вернуться в Берлин или переехать на другой курорт. «Ничего он не понимает, — подумала она. — Ну, все равно. Скоро все это кончится. Наш голубчик отбудет».

И вдруг, за три дня до отъезда Лужина в Берлин, случилась одна маленькая вещь, которая не то чтобы изменила ее отношение к Лужину, но смутно ее тронула. Они втроем вышли пройтись. Был неподвижный августовский вечер, великолепный закат, как до конца выжатый, до конца истерзанный апельсин-королек. «А мне что-то холодно, — сказала она. — Принеси-ка мне что-нибудь». И дочь кивнула, сказала «у-хум», посасывая стебелек травы, и быстро пошла, слегка размахивая руками, обратно к гостинице.

«Хорошенькая у меня девочка, правда? Ножки стройные».

Лужин поклонился.

«Значит, вы в понедельник отбываете? А потом, после вашей игры, обратно в Париж?»

Лужин поклонился снова.

«Но в Париже вы останетесь недолго? Опять куда-нибудь пригласят выступить?»

Тут-то и произошло. Лужин огляделся и протянул трость.

«Дорожка, — сказал он. — Смотрите. Дорожка. Я шел. И вы представьте себе, кого я встретил. Кого же я встретил? Из мифов. Амура. Но не со стрелой, а с камушком. Я был поражен».

«О чем вы?» — спросила она с тревогой.

«Нет, позвольте, позвольте, — воскликнул Лужин, подняв палец. — Мне нужна аудиенция».

Он подошел к ней близко, странно приоткрыл рот, отчего необыкновенное выражение какой-то страдальческой нежности появилось на его лице.

«Вы добрая, отзывчивая женщина, — протяжно сказал Лужин. — Честь имею просить дать мне ее руку».

Он отвернулся, как будто окончив театральную реплику, и стал тростью выдалбливать узорчик в песке.

«Вот тебе шаль», — сказал сзади нее запыхавшийся голос дочери, и шаль легла ей на плечи.

«Да нет, мне жарко, не надо, какая там шаль...»

Прогулка в тот вечер была особенно молчалива. В уме у нее пробегали все те слова, которые придется сказать Лужину, — намекнуть на финансовую сторону, — он, вероятно, небогат, занимает самую дешевую комнату в гостинице. И очень серьезно поговорить с дочерью. Немыслимый брак, глупейшая затея. Но, несмотря на все это, ей было

лестно, что Лужин так взволнованно, так по-старомодному, обратился первым делом к ней.

«Произошло, поздравляю, — сказала она в тот же вечер дочери. — Не делай невинное лицо, ты отлично понимаешь. Мы желаем жениться».

«Напрасно он с тобой говорил, — ответила дочь. — Это касается только его и меня».

«Выйти замуж за первого встречного прохвоста...» — обиженно начала она.

«Не смей, — спокойно сказала дочь. — Это не твое дело».

И то, что казалось немыслимой затеей, стало развиваться с удивительной быстротой. Накануне отъезда Лужин в длинной ночной рубашке стоял на балкончике своей комнаты, глядел на луну, которая, дрожа, выпутывалась из черной листвы, и, думая о неожиданном обороте, принимаемом его защитой против Турати, слушал, сквозь эти шахматные мысли, голос, который все продолжал звенеть в ушах, длинными линиями пересекал его существо, занимая все главные пункты. Это был отзвук разговора, который у него только что был с ней, — она опять сидела у него на коленях и обещала, обещала, что через два-три дня вернется в Берлин, поедет одна, если мать захочет остаться. И держать ее у себя на коленях было ничто перед уверенностью, что она последует за ним, не исчезнет, как некоторые сны, которые вдруг лопаются, разбегаются, оттого что сквозь них всплывает блестящий куполок будильника. Прижавшись плечом к его груди, она старалась осторожным пальцем повыше поднять его веки, и от легкого нажима на глазное яблоко прыгал странный черный свет, прыгал, словно его черный конь, который просто брал пешку, если Турати ее выдвигал на седьмом ходу, как он сделал при последней встрече. Конь, конечно, погибал, но эта потеря вознаграждалась замысловатой атакой черных, и тут шансы были на их стороне. Была, правда, некоторая слабость на ферзевом фланге, скорее не слабость, а легкое сомнение, не есть ли все это фантазия, фейерверк, и выдержит ли он, выдержит ли сердце, или голос в ушах все-таки обманывает и не будет ему сопутствовать. Но луна вышла из-за угловатых черных веток — круглая, полновесная луна — яркое подтверждение победы, и когда наконец

Лужин повернулся и шагнул в свою комнату, там уже лежал на полу огромный прямоугольник лунного света, и в этом свете — его собственная тень.

8

То, к чему была так равнодушна его невеста, произвело на него впечатление, которое никак нельзя было предвидеть. Пресловутую квартиру, в которой самый воздух был сарафанный, Лужин посетил сразу после того, как добыл свой первый пункт, разделавшись с очень цепким венгром; партию, правда, прервали на сороковом ходу, но дальнейшее было Лужину совершенно ясно. Он вслух прочел безликому шоферу адрес на открытке («Приехали. Ждем вас вечером») и, незаметно преодолев туманное, случайное расстояние, осторожно попробовал вытянуть кольцо из львиной пасти. Звонок подействовал сразу: дверь бурно открылась. «Как, без пальто? Не впущу...» Но он уже перешагнул через порог и махал рукой, тряс головой, стараясь справиться с одышкой. «Пфуф, пфуф», — выдохнул он, приготовившись к чудесному объятью, и вдруг заметил, что в левой, уже протянутой вбок, руке — ненужная трость, а в правой — бумажник, который он, по-видимому, нес с тех пор, как расплатился с автомобилем. «Опять в этой черной шляпище... Ну, что ж вы застыли? Вот сюда». Трость благополучно нырнула в вазоподобную штуку; бумажник, после второго совка, попал в нужный карман; шляпа повисла на крючке. «Вот и я, — сказал Лужин, — пфуф, пфуф». Она уже была далеко, в глубине прихожей; толкнула боком дверь, протянув по ней голую руку и весело исподлобья глядя на Лужина. А над дверью, сразу над косяком, била в глаза большая, яркая, масляными красками писанная картина. Лужин, обыкновенно не примечавший таких вещей, обратил на нее внимание, потому что электрический свет жирно ее обливал, и краски поразили его, как солнечный удар. Баба в кумачовом платке до бровей ела яблоко, и ее черная тень на заборе ела яблоко побольше. «Баба», — вкусно сказал Лужин и рассмеялся. «Ну, входите, входите. Не распистоньте этот столик». Он вошел в гостиную и как-то весь обмяк от удовольствия, и его живот под бархатным жилетом, который он почему-то

всегда носил во время турниров, трогательно вздрагивал от смеха. Люстра с матовыми, как леденцы, подвесками отвечала ему странно знакомым дрожанием; перед роялем, на желтом паркете, в котором отражались ножки ампирных кресел, лежала белая медвежья шкура, раскинув лапы, словно летя в блестящую пропасть пола. На многочисленных столиках, полочках, поставцах были всякие нарядные вещицы, что-то вроде увесистых рублей серебрилось в горке, и павлинье перо торчало из-за рамы зеркала. И было много картин на стенах, — опять бабы в цветных платках, золотой богатырь на белом битюге, избы под синими пуховиками снега... Для Лужина все это слилось в умилительный красочный блеск, из которого на мгновение выскакивал отдельный предмет — фарфоровый лось или темноокая икона, — и опять весело рябило в глазах, и полярная шкура, о которую он споткнулся, отчего завернулся край, оказалась на красной подкладке с фестонами. Больше десяти лет он не был в русском доме, и, попав теперь в дом, где, как на выставке, бойко подавалась цветистая Россия, он ощутил детскую радость, желание захлопать в ладоши, — никогда в жизни ему не было так легко и уютно. «От Пасхи осталось», — убежденно сказал он, указав пятым пальцем на большое деревянное яйцо в золотых разводах (томбольный выигрыш на благотворительном балу). В эту минуту белые двери распахнулись, и быстро вошел, уже протягивая на ходу руку, господин в пенснэ, очень прямой, остриженный бобриком. «Милости просим, — сказал он. — Рад познакомиться». Тут же он, как фокусник, открыл кустарный портсигар с александровским орлом на крышке. «С мундштучками, — сказал Лужин, покосившись на папиросы. — Этих не курю. А вот...» Он стал рыться в карманах, извлекая толстые папиросы, высыпавшиеся из бумажного мешочка; несколько штук он уронил, и господин ловко их поднял. «Душенька, — сказал он, — дай нам пепельницу. Садитесь, пожалуйста. Виноват... ваше имя-отчество?» Хрустальная пепельница опустилась между ними, и, одновременно макнув в нее папиросы, они сшиблись кончиками. «Жадуб», — добродушно сказал Лужин, выправляя согнувшуюся папиросу. «Ничего, ничего, — быстро сказал господин и выпустил две тонких струи дыма из ноздрей вдруг сузившегося носа. — Ну вот, вы в нашем богоспасаемом Берлине. Моя дочь мне рассказала, что вы приехали на

состязание». Он высвободил крахмальную манжету, подбоченился и продолжал: «Я, между прочим, всегда интересовался, нет ли в шахматной игре такого хода, благодаря которому всегда выиграешь. Я не знаю, понимаете ли вы меня, но я хочу сказать... простите, ваше имя-отчество?» — «Нет, я понимаю, — сказал Лужин, прилежно пораздумав. — Мы имеем ходы тихие и ходы сильные. Сильный ход...» — «Так, так, вот оно что», — закивал господин. «Сильный ход, это который, — громко и радостно продолжал Лужин, — который сразу дает нам несомненное преимущество. Двойной шах, примерно, со взятием фигуры тяжелого веса или пешка возводится в степень ферзя. И так далее. И так далее. А тихий ход...» — «Так, так, — сказал господин. — Сколько же дней приблизительно будет продолжаться состязание?» — «Тихий ход — это значит подвох, подкоп, компликация, — стараясь быть любезным и сам входя во вкус, говорил Лужин. — Возьмем какое-нибудь положение. Белые...» Он задумался, глядя на пепельницу. «К сожалению, — нервно сказал господин, — я в шахматах ничего не смыслю. Я только вас спрашивал... Но это пустяк, пустяк. Мы сейчас пройдем в столовую. Что, душенька, чай готов?» — «Да! — воскликнул Лужин. — Мы просто возьмем положение, на котором сегодня был прерван эндшпиль. Белые: король сэ-три, ладья а-один, конь дэ-пять, пешки бэ-три, сэ-четыре. Черные же...» — «Сложная штука шахматы», — проворно вставил господин и пружинисто вскочил на ноги, стараясь пресечь поток букв и цифр, которые имели какое-то отношение к черным. «Предположим теперь, — веско сказал Лужин, — что черные сделают лучший в этом положении ход, — э-шесть жэ-пять. На это я и отвечаю следующим тихим ходом...» Лужин прищурился и почти шепотом, выпятив губы, как для осторожного поцелуя, испустил не слова, не простое обозначение хода, а что-то нежнейшее, бесконечно хрупкое. У него было то же выражение на лице — выражение человека, который сдувает перышко с лица младенца, — когда, на следующий день, он этот ход воплотил на доске. Венгр, совершенно желтый после бессонной ночи, за которую он успел проверить все варианты (приводившие к ничьей), не заметив только вот этой скрытой комбинации, крепко задумался над доской, пока Лужин, жеманно покашливая, любовно отмечал сделанный ход на листочке. Венгр скоро сдался,

и Лужин сел играть с компатриотом. Партия началась интересно, и вскоре вокруг их стола образовалось плотное кольцо зрителей. Любопытство, напор, хруст суставов, чужое дыхание и, главное, шепот — шепот, прерываемый еще более громким и раздражительным «цыс!», — часто мучили Лужина: он живо чувствовал этот хруст, и шелест, и отвратительное тепло, если не слишком глубоко уходил в шахматные бездны. Краем глаза он видел ноги столпившихся, и его почему-то особенно раздражала, среди всех этих темных штанов, пара дамских ног в блестящих серых чулках. Эти ноги явно ничего не понимали в игре, непонятно, зачем они пришли... Сизые, заостренные туфли с какими-то перехватцами лучше бы цокали по панели — подальше, подальше отсюда. Останавливая свои часы, записывая ход или отставляя взятую фигуру, он искоса посматривал на эти неподвижные ноги, и только через полтора часа, когда он выиграл партию и встал, оттягивая вниз жилет, Лужин увидел, что эти ноги принадлежат его невесте. Он ощутил острое счастье оттого, что она присутствовала при его победе, и жадно ждал исчезновения шахматных досок и всех этих шумных людей, чтобы поскорей ее погладить. Но шахматы не сразу исчезли, и даже когда появилась светлая столовая и огромный, медью сияющий самовар, сквозь белую скатерть проступали смутные, ровные квадраты, и такие же квадраты, шоколадные и кремовые, несомненно были на пироге. Мать невесты встретила его с тем же снисходительным, слегка насмешливым благодушием, с каким встретила его накануне, когда появлением своим прервала шахматный разговор, — а вчерашний господин, по-видимому ее муж, подробно рассказывал, какое у него было образцовое имение в России. «Пойдем к вам в комнату», — хрипло шепнул Лужин невесте, и она прикусила губу и сделала большие глаза. «Пойдем же», — повторил он. Но она ловко положила ему на стеклянную тарелочку чудесного малинового варенья, и сразу подействовала эта клейкая, ослепительно-красная сладость, которая зернистым огнем переливалась на языке, душистым сахаром облипала зубы. «Мерси, мерси», — кланялся Лужин, пока ему накладывали вторую порцию, и среди гробового молчания зачмокал опять, облизывая еще горячую от чаю ложечку, боясь растерять хоть каплю упоительного сока. И когда наконец он добился своего и оказался с ней наедине, правда, не у нее

в комнате, а в цветистой гостиной, он привлек ее к себе, грузно сел, держа ее за кисти, но она молча вывернулась и, закружившись, опустилась на пуф. «Я вовсе еще не решила, выйду ли я за вас замуж, — сказала она. — Помните это». — «Все решено, — сказал Лужин. — Если они не захотят, мы их заставим силой, чтоб они подписали». — «Подписали что?» — спросила она удивленно. «А я не знаю... Ведь нужны, кажется, какие-то подписи». — «Глупый, глупый, — несколько раз повторила она. — Непроницаемая и неисправимая глупость. Ну что мне с вами делать, как мне с вами быть... И какой у вас усталый вид. Я уверена, что вам вредно так много играть». — «Ach wo[1], — сказал Лужин, — пара партишек». — «А по ночам думаете. Нельзя так. Уже поздно, знаете. Идите домой. Спать вам нужно, вот что». Он, однако, оставался сидеть на полосатом диванчике, и она подумала, что какие же это они разговоры ведут — все тяп да ляп, случайные словечки. И ни разу еще он ее не поцеловал по-настоящему, а все выходит криво, странно, и ни одно движение, которым он до нее дотрагивается, не похоже на простое человеческое объятье. Но эта сирая преданность в его глазах, этот таинственный свет, который озарял его, когда он давеча наклонялся над шахматами... И на следующий день ее опять потянуло в совершенно безмолвное помещение во втором этаже большого кафе, на узкой, шумной улице. На этот раз Лужин сразу ее заметил: он тихо разговаривал с широкоплечим, бритым господином, у которого коротко остриженные волосы казались плотно надетыми на голову и мыском находили на лоб, а толстые губы облепляли, всасывали потухшую сигару. Художник, посланный газетой, поднимая и опуская лицо, как китайский болванчик, быстро рисовал этот профиль с сигарой. Мимоходом заглянув в его альбомчик, она увидела рядом с начатым Турати уже вполне готового Лужина, преувеличенно унылый нос, двойной подбородок в черных точечках и на виске знакомую прядь, которую она называла кудрей. Турати сел играть с немецким мастером, а Лужин к ней подошел и хмуро, с виноватой усмешечкой, сказал что-то длинное и несуразное. Она с удивлением поняла, что он просит ее уйти. «Я рад, я очень рад постфактум, — умоляющим тоном пояснил Лужин, — но пока...

[1] Вот еще *(нем.)*.

пока это как-то мешательно». Он проследил глазами, как она покорно удаляется между шахматными столиками, и, деловито кивнув самому себе, направился к доске, за которую уже усаживался его новый противник, седой англичанин, игравший с неизменным хладнокровием и неизменно проигрывавший. Ему и на этот раз не повезло, и Лужин опять победил, а на следующий день сделал ничью, а потом снова выиграл, — и уже перестал отчетливо чувствовать грань между шахматами и невестиным домом, как будто движение ускорилось, и то, что сперва казалось чередой полос, было теперь мельканием.

Он шел, не отставая от Турати. Турати делал пункт, и он делал пункт; Турати делал половинку, и он делал половинку. Так они двигались, словно взбираясь по сторонам равнобедренного треугольника, и в решительную минуту должны были сойтись на вершине.

Ночи были какие-то ухабистые. Никак нельзя было себя заставить не думать о шахматах, хотя клонило ко сну, а потом сон никак не мог войти к нему в мозг, искал лазейки, но у каждого входа стоял шахматный часовой, и это было ужасно мучительное чувство, — что вот, сон тут как тут, но по ту сторону мозга: Лужин, томно рассеянный по комнате, спит, а Лужин, представляющий собой шахматную доску, бодрствует и не может слиться со счастливым двойником. Но что было еще хуже, — он после каждого турнирного сеанса все с большим и большим трудом вылезал из мира шахматных представлений, так что и днем намечалось неприятное раздвоение. После трехчасовой партии странно болела голова, не вся, а частями, черными квадратами боли, и не сразу он находил дверь, заслоненную черным пятном, и не мог вспомнить адрес заветного дома: по счастью, в кармане хранилась старая, сложенная вдвое и уже рвущаяся по сгибу открытка («Приехали. Ждем вас вечером»). Он еще продолжал ощущать радость, когда входил в дом, полный русских игрушек, но радость тоже была пятнами. И как-то, в день передышки, он пришел раньше обыкновенного, и дома была только сама хозяйка. Она решила продолжить разговор, бывший на закате в буковой роще, и, преувеличивая свою, весьма ценимую ею самой, способность резать правду-матку (за что молодые люди, посещавшие ее дом, считали ее большой умницей и очень ее боялись), она насела на Лужина, первым делом

отчитала его за окурки, находимые во всех вазочках и даже в пасти распластанного медведя, а затем предложила ему нынче же, в субботний вечер, принять у них ванну, после того как выкупается муж. «Редко, наверное, моетесь, — сказала она без обиняков. — Редко? Признайтесь-ка». Лужин мрачно пожал плечами, глядя на пол, где происходило легкое, ему одному приметное движение, недобрая дифференциация теней. «И вообще, — продолжала она, — надо подтянуться». И, таким образом создав необходимое настроение у слушателя, она перешла к самому главному. «Скажите, — спросила она, — я думаю, вы успели очень развратить мою девочку? Такие, как вы, большие развратники. А она у меня чистая, не то что нынешние. Скажите, ведь вы развратник, развратник?» — «Нет, мадам», — со вздохом ответил Лужин и затем поморщился, быстро провел подошвой по полу, стирая некоторое, уже совсем определенное, сгущение. «Я ведь вас вовсе не знаю, — продолжал быстрый, звучный голос. — Мне придется навести справки, — да-да, справки, — не больны ли вы какой-нибудь такой болезнью». — «Одышка, — сказал Лужин. — И еще — маленький ревматизм». — «Я не про то говорю, — сухо перебила она. — Дело серьезное. Вы, по-видимому, считаете себя женихом, бываете у нас, уединяетесь. Но я не думаю, чтобы скоро могла быть речь о свадьбе». — «А в прошлом году был геморрой», — скучно сказал Лужин. «Послушайте, я с вами говорю об очень важных вещах. Вы, вероятно, хотели бы жениться уже сегодня, сейчас. Знаю я вас. Потом будет она ходить с брюхом, замучите ее сразу». Лужин, вытоптав в одном месте тень, с тоской увидел, что далеко от того места, где он сидит, происходит на полу новая комбинация. «Если вы хоть немножко интересуетесь моим мнением, то должна вам сказать, что считаю этот брак чепухой. Кроме того, вы, вероятно, думаете, что мой муж будет вас содержать. Признайтесь: думаете?» — «Я испытываю стеснение в капиталах, — сказал Лужин. — Я бы совсем немножко брал. И мне предлагали вести шахматный отдел в одном журнале...» Тут неприятности на полу так обнаглели, что Лужин невольно протянул руку, чтобы увести теневого короля из-под угрозы световой пешки. И вообще, с этого дня он стал избегать сидеть в гостиной, где было слишком много всяких деревянных вещиц, принимавших, если долго смотреть на них, очень определенные

очертания. Его невеста замечала, как, с каждым турнирным днем, он все хуже и хуже выглядит. Мутно-фиолетовые оттенки появились у него вокруг глаз, а тяжелые веки были воспалены. Он был так бледен, что всегда казался плохо выбритым, хотя, по настоянию невесты, брился каждое утро. Окончание турнира ожидалось ею с большим нетерпением, и ей было больно думать, какие страшные, вредные для него усилия должен он делать, добывая каждое очко. Бедный Лужин, таинственный Лужин... Играя утром в теннис с приятельницей немкой, слушая давно приевшиеся лекции по истории искусства, перелистывая у себя в комнате потрепанные, разношерстные книжки: андреевский «Океан», роман Краснова, брошюру «Как сделаться иогом», она все время сознавала, что вот сейчас Лужин погружен в шахматные вычисления, борется, мучится, и ей было немного обидно, что она не может разделить муки его искусства. В его гениальность она верила безусловно, а кроме того, была убеждена, что эта гениальность не может исчерпываться только шахматной игрой, как бы чудесна она ни была, и что, когда пройдет турнирная горячка и Лужин успокоится, отдохнет, в нем заиграют какие-то еще неведомые силы, он расцветет, проснется, проявит свой дар и в других областях жизни. Ее отец называл Лужина узким фанатиком, но добавлял, что это несомненно очень наивный и очень порядочный человек. Мать же утверждала, что Лужин не по дням, а по часам сходит с ума, что умалишенным по закону запрещено жениться, и первые дни скрывала невероятного жениха от всех своих знакомых, что было сначала легко, — думали, что она с дочерью на курорте, — но потом, очень скоро, появились опять все те люди, которые обыкновенно у них в доме бывали, — как например: очаровательный старенький генерал, всегда доказывавший, что не России нам жаль, а молодости, молодости; двое русских немцев; Олег Сергеевич Смирновский, теософ и хозяин ликерной фабрики; несколько бывших офицеров; несколько барышень; певица Воздвиженская; чета Алферовых; а также престарелая княгиня Уманова, которую называли пиковой дамой (по известной опере). Она-то первая и увидала Лужина и заключила из поспешного и невразумительного разъяснения хозяйки дома, что он имеет какое-то отношение к литературе, к журналам, — сочинитель, одним словом. «А вот это вы

знаете? — спросила она, учтиво завязав литературный разговор. — Из новой поэзии... немного декадентское... что-то о васильках, “все васильки, васильки”...» Олег Сергеевич немедленно попросил его сыграть с ним партию в шахматы, но, к сожалению, шахмат в доме не оказалось. Молодые люди между собой прозвали его шляпой, и только старенький генерал отнесся к нему с сердечнейшей простотой и долго увещевал его пойти посмотреть на маленького жирафа, только что родившегося в зоологическом саду. Лужин, с тех пор как стали приходить гости, появлявшиеся теперь каждый вечер в различных комбинациях, ни минуты не мог остаться один с невестой, и борьба с ними, стремление проникнуть через их гущу к невесте, немедленно приобрело шахматный оттенок. Однако побороть их оказалось невозможно, появлялись все новые и новые, и ему мерещилось, что они же, эти бесчисленные, безликие гости, плотно и жарко окружают его в часы турнира.

Объяснение всему происходившему пришло как-то утром, когда он сидел на стуле посреди номера и старался сосредоточить мысль только на одном: вчера сделан десятый пункт, сегодня предстоит выиграть у Мозера. Вдруг к нему вошла невеста. «Прямо какой-то божок, — рассмеялась она. — Сидит посередке, и к нему приходят с жертвоприношениями». Она протянула ему коробку шоколадных конфет, и внезапно смех с ее лица исчез. «Лужин, — крикнула она, — Лужин, проснитесь! Что с вами?» — «Реальность?» — тихо и недоверчиво спросил Лужин. «Конечно, реальность. Что за манера поставить стул посреди комнаты и усесться. Если вы сейчас не встряхнетесь, я уйду». Лужин покорно встряхнулся, поводя головой и плечами, потом пересел на кушетку, и еще не совсем утвердившееся, не совсем верное счастье заскользило в его глазах. «Скажите, когда это кончится? — спросила она. — Сколько еще партий?» — «Штучки три», — ответил Лужин. «Я сегодня читала в газете, что вы должны выиграть турнир, что вы этот раз играете необычайно». — «Но есть Турати», — сказал Лужин и поднял палец. «Меня тошнит», — добавил он грустно. «Тогда никаких конфет», — быстро сказала она и взяла квадратный пакет опять под мышку. «Лужин, я позову к вам доктора. Вы же просто умрете, если будет так продолжаться». — «Нет-нет, — сказал он сонно. — Уже прошло. Не надо доктора». — «Меня это волнует. Еще,

значит, до пятницы, до субботы... этот ад. А у нас дома довольно мрачно. Все согласны с мамой, что нельзя мне за вас выйти. Почему же вас тошнило, съели что-нибудь такое?» — «Прошло же, абсолютно», — протянул Лужин и опустил голову к ней на плечо. «Вы просто очень устали, бедный. Неужели вы сегодня будете играть?» — «В три часа. Против Мозера. Я вообще играю... как было сказано?» — «Необычайно», — улыбнулась она. Голова, лежавшая у нее на плече, была большая, тяжелая, — драгоценный аппарат со сложным, таинственным механизмом. И через минуту она заметила, что он уснул, и стала думать, как теперь переложить его голову на какую-нибудь подушку. Очень осторожными движениями ей удалось это сделать; он теперь полулежал на кушетке, неудобно согнувшись, и голова на подушке была как восковая. На мгновение ее охватил ужас, не умер ли он внезапно, она даже тронула его кисть, мягкую и теплую. Когда она разогнулась, то почувствовала боль в плече. «Тяжелая голова», — шепнула она, глядя на спящего, и тихо вышла из комнаты, унося неудачный свой подарок. Горничную, встреченную в коридоре, она просила Лужина разбудить через час и, беззвучно спустившись по лестнице, направилась по солнечным улицам в теннисный клуб, — и поймала себя на том, что все еще старается не шуметь, не делать резких движений. Горничной будить Лужина не пришлось, — он проснулся сам и сразу начал усиленно вспоминать прелестный сон, который ему приснился, — зная по опыту, что если сразу не начнешь вспоминать, то уже потом будет поздно. А видел он во сне, будто странно сидит, — посредине комнаты, — и вдруг, с нелепой и блаженной внезапностью, присущей снам, входит его невеста, протягивая коробку, перевязанную красной ленточкой. Одета она тоже по моде сновидений — белое платье, беззвучные белые туфли. Он хотел обнять ее, но вдруг затошнило, закружилась голова, невеста тем временем рассказывала, что необычайно пишут о нем в газетах, но что мать все-таки не хочет, чтобы они поженились. Вероятно, было еще много, много чего, но память не успела догнать уплывавшее, — и, стараясь по крайней мере не растерять того, что ему удалось вырвать у сновидения, Лужин осторожно задвигался, пригладил волосы, позвонил, чтобы принесли ему обед. После обеда пришлось засесть за игру, и в этот день мир шахматных представлений проявил

ужасную власть. Он играл без передышки четыре часа и победил, но когда уже сел в таксомотор, то по пути забыл, куда отправляется, забыл, какой адрес дал прочесть шоферу («...вас вечером»), и с интересом ждал, где автомобиль остановится.

Дом он, впрочем, узнал, — и опять были гости, гости, — но вдруг Лужин понял, что он просто вернулся в недавний сон, ибо невеста шепотом спросила его: «Ну что, не тошнит больше?» — и как же она могла об этом знать наяву? «В хорошем сне мы живем, — сказал он ей тихо. — Я ведь все понял». Он посмотрел вокруг себя, увидел стол и лица сидящих, отражение их в самоваре — в особой самоварной перспективе — и с большим облегчением добавил: «Значит, и это тоже сон? Эти господа — сон? Ну-ну...» — «Тише, тише, что вы лопочете», — беспокойно зашептала она, и Лужин подумал, что она права, не надо спугивать сновидение, пусть они посидят, эти люди, до поры до времени. Но самым замечательным в этом сне было то, что кругом, по-видимому, Россия, из которой сам спящий давненько выехал. Жители сна, веселые люди, пившие чай, разговаривали по-русски, и сахарница была точь-в-точь такая же, как та, из которой он черпал сахарную пудру на веранде, в летний малиновый вечер, много лет тому назад. Это возвращение в Россию Лужин отметил с интересом, с удовольствием. Оно его забавляло, главным образом, как остроумное повторение известной идеи, что бывает, например, когда в живой игре на доске повторяется в своеобразном преломлении чисто задачная комбинация, давно открытая теорией.

Все время, однако, то слабее, то резче, проступали в этом сне тени его подлинной шахматной жизни, и она наконец прорвалась наружу, и уже была просто ночь в гостинице, шахматные мысли, шахматная бессонница, размышления над острой защитой, придуманной им против дебюта Турати. Он ясно бодрствовал, ясно работал ум, очищенный от всякого сора, понявший, что все, кроме шахмат, только очаровательный сон, в котором млеет и тает, как золотой дым луны, образ милой, ясноглазой барышни с голыми руками. Лучи его сознания, которые, бывало, рассеивались, ощупывая окружавший его не совсем понятный мир, и потому теряли половину своей силы, теперь окрепли, сосредоточились, когда этот мир расплылся

в мираж, и уже не было надобности о нем беспокоиться. Стройна, отчетлива и богата приключениями была подлинная жизнь, шахматная жизнь, и с гордостью Лужин замечал, как легко ему в этой жизни властвовать, как все в ней слушается его воли и покорно его замыслам. Некоторые партии, им сыгранные на берлинском турнире, были знатоками тогда же названы бессмертными. Одну он выиграл, пожертвовав последовательно ферзем, ладьей, конем; в другой занял такую динамическую позицию одной своей пешкой, что она приобрела совершенно чудовищную силу и все росла, вздувалась, тлетворная для противника, как злокачественный нарыв в самом нежном месте доски; в третьей, наконец, партии Лужин, сделав бессмысленный на вид ход, возбудивший ропот среди зрителей, построил противнику сложную ловушку, которую тот разгадал слишком поздно. В этих партиях и во всех остальных, сыгранных им на этом незабываемом турнире, чувствовалась поразительная ясность мысли, беспощадная логика. Но и Турати играл превосходно, Турати тоже делал пункт за пунктом, несколько гипнотизируя противника дерзостью воображения и слишком, быть может, доверяясь шахматной фортуне, не покидавшей его до сих пор. Его встреча с Лужиным решала, кому достанется первый приз, и были те, которые говорили, что прозрачность и легкость лужинской мысли одержат верх над мятежной фантазией итальянца, и были те, которые предсказывали, что огненный, нахрапом берущий Турати победит дальнозоркого русского игрока. И день этой встречи настал.

Лужин проснулся, полностью одетый, даже в пальто, посмотрел на часы, поспешно встал и надел шляпу, валявшуюся посреди комнаты. Тут он спохватился и оглядел комнату, стараясь понять, на чем же он, собственно говоря, спал? Постель его не смята, и бархат кушетки совершенно гладок. Единственное, что он знал достоверно, это то, что спокон века играет в шахматы, — и в темноте памяти, как в двух зеркалах, отражающих свечу, была только суживающаяся, светлая перспектива: Лужин за шахматной доской, и опять Лужин за шахматной доской, только поменьше, и потом еще меньше, и так далее, бесконечное число раз. Но он опоздал, опоздал, надо торопиться. Он быстро отпер дверь и в недоумении остановился. По его представлению, тут сразу должен был находиться шахматный зал, и его

столик, и ожидающий Турати. Вместо этого был пустой коридор, и дальше — лестница. Вдруг оттуда, со стороны лестницы, появился быстро несущийся человечек и, увидев Лужина, развел руками. «Маэстро, — воскликнул он, — что ж это такое! Вас ждут, вас ждут, маэстро... Я три раза вам телефонил, и все говорят, что вы не отвечаете на стук. Синьор Турати давно на месте». — «Убрали, — кисло сказал Лужин, указав тростью на пустой коридор. — Я не мог знать, что все передвинулось». — «Если вы себя плохо чувствуете...» — начал человечек, с тоской глядя на бледное, лоснящееся лицо Лужина. «Ну, ведите меня!» — тонким голосом крикнул Лужин и стукнул тростью об пол. «Пожалуйста, пожалуйста», — растерянно забормотал тот. Глядя только на пальтишко с поднятым воротником, бегущее перед ним, Лужин стал преодолевать непонятное пространство. «Пешком, — говорил вожатый, — это же ровно минута ходьбы». Он узнал с облегчением стеклянные, вращающиеся двери кафе и потом лестницу и наконец увидел то, чего искал в коридоре гостиницы. Войдя, он сразу почувствовал полноту жизни, покой, ясность, уверенность. «Ну и победа будет», — громко сказал он, и толпа туманных людей расступилась, пропуская его. «Тар, тар, третар»[1], — затараторил, качая головой, внезапно возникший Турати. «Аванти»[2], — сказал Лужин и засмеялся. Между ними оказался столик, на столе доска с фигурами, расставленными для боя. Лужин вынул из жилетного кармана папиросу и бессознательно закурил.

Тут произошла странная вещь. Турати хотя и получил белые, однако не пустил в ход своего громкого дебюта, и защита, выработанная Лужиным, пропала даром. Предугадал ли Турати возможное осложнение или просто решил играть осторожно, зная спокойную силу, проявляемую Лужиным на этом турнире, но начал он трафаретнейшим образом. Лужин мельком пожалел о напрасной своей работе, однако и обрадовался: так выходило свободнее. Кроме того, Турати, по-видимому, боялся его. С другой же стороны, в невинном, вялом начале, предложенном Турати, несомненно скрывался какой-то подвох, и Лужин принялся играть особенно осмотрительно. Сперва шло тихо, тихо, словно скрипки под сурдинку. Игроки осторожно занимали

[1] Поздно, поздно, очень поздно *(фр.)*.
[2] Вперед *(ит.)*.

позиции, кое-что выдвигали вперед, но вежливо, без всякого признака угрозы, — а если угроза и была, то вполне условная, — скорее намек противнику, что вон там хорошо бы устроить прикрытие, и противник, с улыбкой, словно это было все незначительной шуткой, укреплял где нужно и сам чуть-чуть выступал. Затем, ни с того ни с сего, нежно запела струна. Это одна из сил Турати заняла диагональную линию. Но сразу и у Лужина тихохонько наметилась какая-то мелодия. На мгновение протрепетали таинственные возможности, и потом опять — тишина: Турати отошел, втянулся. И снова некоторое время оба противника, будто и не думая наступать, занялись прихорашиванием собственных квадратов, — что-то у себя пестовали, переставляли, приглаживали, — и вдруг опять неожиданная вспышка, быстрое сочетание звуков: сшиблись две мелкие силы, и обе сразу были сметены: мгновенное виртуозное движение пальцев, и Лужин снял и поставил рядом на стол уже не бесплотную силу, а тяжелую желтую пешку; сверкнули в воздухе пальцы Турати, и в свою очередь опустилась на стол косная черная пешка с бликом на голове. И, отделавшись от этих двух внезапно одеревеневших шахматных величин, игроки как будто успокоились, забыли мгновенную вспышку: на этом месте доски, однако, еще не совсем остыл трепет, что-то все еще пыталось оформиться... Но этим звукам не удалось войти в желанное сочетание, — какая-то другая, густая, низкая нота загудела в стороне, и оба игрока, покинув еще дрожавший квадрат, заинтересовались другим краем доски. Но и тут все кончилось впустую. Трубными голосами перекликнулись несколько раз крупнейшие на доске силы, — и опять был размен, опять преображение двух шахматных сил в резные, блестящие лаком куклы. И потом было долгое, долгое раздумье, во время которого Лужин из одной точки на доске вывел и проиграл последовательно десяток мнимых партий, и вдруг нащупал очаровательную, хрустально-хрупкую комбинацию, — и с легким звоном она рассыпалась после первого же ответа Турати. Но и Турати ничего не мог дальше сделать, и, выигрывая время, — ибо время в шахматной вселенной беспощадно, — оба противника несколько раз повторили одни и те же два хода, угроза и защита, угроза и защита, — но при этом оба думали о сложнейшей комбинации, ничего общего не имевшей с этими механическими

ходами. И Турати наконец на эту комбинацию решился, — и сразу какая-то музыкальная буря охватила доску, и Лужин упорно в ней искал нужный ему отчетливый маленький звук, чтобы в свою очередь раздуть его в громовую гармонию. Теперь все на доске дышало жизнью, все сосредоточилось на одном, туже и туже сматывалось; на мгновение полегчало от исчезновения двух фигур, и опять — фуриозо. В упоительных и ужасных дебрях бродила мысль Лужина, встречая в них изредка тревожную мысль Турати, искавшую того же, что и он. И оба одновременно поняли, что белые не должны дальше развивать свой замысел, вот-вот сейчас потеряют ритм. Турати поспешил предложить размен, и число сил на доске снова уменьшилось. Новые наметились возможности, но еще никто не мог сказать, на чьей стороне перевес. Лужин, подготовляя нападение, для которого требовалось сперва исследовать лабиринт вариантов, где каждый его шаг будил опасное эхо, надолго задумался: казалось, еще одно последнее неимоверное усилие, и он найдет тайный ход победы. Вдруг что-то произошло вне его существа, жгучая боль, — и он громко вскрикнул, тряся рукой, ужаленной огнем спички, которую он зажег, но забыл поднести к папиросе. Боль сразу прошла, но в огненном просвете он увидел что-то нестерпимо страшное, он понял ужас шахматных бездн, в которые погружался, и невольно взглянул опять на доску, и мысль его поникла от еще никогда не испытанной усталости. Но шахматы были безжалостны, они держали и втягивали его. В этом был ужас, но в этом была и единственная гармония, ибо что есть в мире, кроме шахмат? Туман, неизвестность, небытие... Он заметил вдруг, что Турати уже не сидит, а стоит, заломив руки. «Перерыв, маэстро, — сказал голос сзади. — Запишите ход». — «Нет, нет, еще», — умоляюще сказал Лужин, ища глазами говорившего. «Перерыв», — повторил тот же голос, опять сзади, такой вертлявый голос. Лужин хотел встать и не мог. Он увидел, что куда-то назад отъехал со своим стулом, а что на доску, на шахматную доску, где была только что вся его жизнь, хищно накинулись какие-то люди и, ссорясь и галдя, быстро переставляют так и этак фигуры. Он опять попытался встать и опять не мог. «Зачем, зачем?» — жалобно проговорил он, стараясь разглядеть доску меж склоненных над ней черных, узких спин. Они сузились совсем и исчезли. На доске были

спутаны фигуры, валялись кое-как, безобразными кучками. Прошла тень и, остановившись, начала быстро убирать фигуры в маленький гроб. «Кончено», — сказал Лужин и со стоном усилия оторвался от стула. Кое-какие призраки еще стояли там и тут, обсуждая что-то. Было холодно и темновато. Призраки уносили доски, стулья. В воздухе, куда ни посмотришь, бродили извилистые, прозрачные шахматные образы, — и Лужин, поняв, что завяз, запутал в одной из комбинаций, которые только что продумывал, сделал отчаянную попытку высвободиться, куда-нибудь вылезти, — хотя бы в небытие. «Идемте, идемте», — крикнул ему кто-то и со звоном исчез. Он остался один. Становилось все темней в глазах, и по отношению к каждому смутному предмету в зале он стоял под шахом, — надо было спасаться. Он двинулся, трясясь всем своим полным телом, и никак не мог сообразить, как делают, чтобы выйти из комнаты, — а ведь есть какой-то простой метод... Черная тень с белой грудью вдруг стала увиваться вокруг него, подавая пальто и шляпу. «Зачем это нужно?» — забормотал он, влезая в рукава и кружась вместе с услужливой тенью. «Сюда», — бодро сказала тень, и Лужин шагнул вперед и вышел из страшного зала. Увидев лестницу, он стал ползти вверх, но потом передумал и пошел вниз, так как было легче спускаться, чем карабкаться. Он попал в дымное помещение, где сидели шумные призраки. В каждом углу зрела атака, — и, толкая столики, ведро, откуда торчала стеклянная пешка с золотым горлом, барабан, в который бил, изогнувшись, гривастый шахматный конь, он добрался до стеклянного, тихо вращающегося сияния и остановился, не зная, куда дальше идти. Его окружили, что-то хотели с ним делать. «Уходите, уходите», — повторял сердитый голос. «Куда же?» — рыдая, проговорил Лужин. «Идите домой», — вкрадчиво шепнул другой голос, и что-то толкнуло Лужина в плечо. «Как вы сказали?» — переспросил он, вдруг перестав всхлипывать. «Домой, домой», — повторил голос, и стеклянное сияние, захватив Лужина, выбросило его в прохладную полутьму. Лужин улыбался. «Домой, — сказал он тихо. — Вот, значит, где ключ комбинации».

И надо было поторапливаться. С минуты на минуту шахматные заросли могли его снова оцепить. Пока же была кругом сумеречная муть, глухой ватный воздух. У призрака,

шмыгнувшего мимо, он спросил дорогу на мызу. Призрак ничего не понял, прошел. «Один момент», — сказал Лужин, но было уже поздно. Тогда, покачивая короткими своими руками, он ускорил шаг. Проплыл бледный огонь и рассыпался с печальным шелестом. Трудно, трудно было найти дорогу домой в этом мягком тумане. Лужин чувствовал, что нужно взять налево и там будет большой лес, а уж в лесу он легко найдет тропинку. Опять шмыгнула мимо тень. «Где лес, лес? — настойчиво спросил Лужин и, так как это слово не вызвало ответа, попробовал найти синоним: — Бор? Вальд? — пробормотал он. — Парк?» — добавил он снисходительно. Тогда тень указала налево и скрылась. Лужин, коря себя за медлительность, ежеминутно предчувствуя погоню, зашагал по указанному направлению. И точно: деревья неожиданно обступили его, шуршал папоротник под ногами, было сыро и тихо. Он тяжело опустился, присел, очень уж запыхался, и слезы лились по лицу. Погодя он встал, снял с колена мокрый лист и, побродив между стволами, нашел знакомую тропинку. «Марш, марш», — подгонял себя Лужин, шагая по вязкой земле. Полпути было уже сделано. Сейчас появится река и лесопильный завод, и через голые кусты глянет усадьба. Он спрячется там, будет питаться из больших и малых стеклянных банок. Таинственная погоня далеко позади. Теперь уж его не поймаешь. Нет-нет. Если б только легче было дышать и прошла бы эта боль в висках, одуряющая боль... Тропинка, поюлив в лесу, вылилась в поперечную дорогу, а дальше, в темноте, поблескивала река. Увидел он и мост, и на том берегу смутное нагромождение, и сперва, на один миг, ему показалось, что вон там, на темном небе, знакомая треугольная крыша усадьбы, черный громоотвод. Но сразу он понял, что это какая-то тонкая уловка со стороны шахматных богов, ибо на перилах моста выросли мокрые от дождя, дрожащие голые великанши, и невиданный отблеск запрыгал в реке. Он пошел берегом, стараясь найти другой мост, тот мост, где по щиколку утопаешь в опилках. Искал он долго и наконец, совсем в стороне, нашел мостик, узенький и тихий, и подумал, что тут можно по крайней мере спокойно перейти. Но на том берегу все было незнакомо, пробегали огни, скользили тени. Он знал, что усадьба где-то тут, под боком, но подходил-то он к ней с незнакомой стороны, и так это было все трудно... Ноги от пяток

до бедер были плотно налиты свинцом, как налито свинцом основание шахматной фигуры. Понемногу исчезали огни, редели призраки, и волна тяжкой черноты поминутно его заливала. При каком-то последнем отблеске он разглядел палисадник, круглые кусты, и ему показалось, что он узнает дачу мельника. Он потянулся к решетке, но тут торжествующая боль стала одолевать его, давила, давила сверху на темя, и он как будто сплющивался, сплющивался, сплющивался, и потом беззвучно рассеялся.

9

Панель скользнула, поднялась под прямым углом и качнулась обратно. Он разогнулся, тяжело дыша, а его товарищ, поддерживая его и тоже качаясь, повторял: «Гюнтер, Гюнтер, попробуй же идти». Гюнтер выпрямился совсем, и после этой короткой, уже не первой остановки они оба пошли дальше по ночной пустынной улице, которая то плавно поднималась к звездам, то уходила вниз. Гюнтер, крепкий и крупный, выпил больше товарища: тот, по имени Курт, поддерживал спутника как мог, хотя пиво громовым дактилем звучало в голове. «Где дру... где дру... — тоскливо силился спросить Гюнтер. — Где дру...гие?» Еще так недавно они все сидели вокруг дубового стола, празднуя пятую годовщину окончания школы, хорошо так пели и с густым звоном чокались, человек тридцать, пожалуй, и все счастливые, трезвые, весь год прекрасно работавшие, а теперь, как только стали расходиться по домам, так сразу — тошнота, и темнота, и безнадежно валкая панель. «Другие там», — сказал Курт с широким жестом, который неприятно призвал к жизни ближайшую стену: она наклонилась и медленно выпрямилась опять. «Разъехались, разошлись», — грустно пояснил Курт. «А впереди нас Карл», — медленно и отчетливо произнес Гюнтер, и упругим пивным ветром обоих качнуло в сторону: они остановились, отступили на шаг и опять пошли дальше. «Я тебе говорю, что там Карл», — обиженно повторил Гюнтер. И действительно, на краю панели сидел с опущенной головой человек. Они не рассчитали шага, и их пронесло мимо. Когда же им удалось подойти, то человек зачмокал губами и медленно повернулся к ним. Да, это был Карл, но какой

Карл, — лицо без выражения, большие, опустевшие глаза. «Я просто отдыхаю, — тусклым голосом сказал он. — Сейчас буду продолжать». Вдруг по пустынному асфальту медленно прокатил таксомотор с поднятым флажком. «Остановите его, — сказал Карл. — Пускай он меня отвезет». Автомобиль подъехал. Гюнтер валился на Карла, стараясь ему помочь подняться, Курт тянул чью-то ногу в сером гетре. Шофер все это поощрял добродушными словами, потом слез и тоже стал помогать. Вяло барахтавшееся тело было втиснуто в пройму дверцы, и автомобиль сразу отъехал. «А нам близко», — сказал Курт. Стоявший с ним рядом вздохнул, и Курт, посмотрев на него, увидел, что это Карл, а увезли то, значит, Гюнтера. «Я помогу тебе, — сказал он виновато. — Пойдем». Карл, глядя перед собой пустыми, детскими глазами, склонился к нему, и оба двинулись, стали переходить на ту сторону по волнующемуся асфальту. «А вот еще», — сказал Курт. На панели, у решетки палисадника, лежал согнувшись толстый человек без шляпы. «Это, вероятно, Пульвермахер, — пробормотал Курт. — Ты знаешь, он очень за эти годы изменился». — «Это не Пульвермахер, — ответил Карл, садясь на панель рядом. — Пульвермахер лысый». — «Все равно, — сказал Курт. — Его тоже надо отвезти». Они попытались приподнять человека за плечи и потеряли равновесие. «Не сломай решетку», — предупредил Карл. «Надо отвезти, — повторил Курт. — Это, может быть, брат Пульвермахера. Он тоже там был».

Человек, по-видимому, спал, и спал крепко. Он был в черном пальто с бархатными полосками на отворотах. Полное лицо с тяжелым подбородком и выпуклыми веками лоснилось при свете уличного фонаря. «Подождем таксомотора», — сказал Курт и последовал примеру Карла, который присел на край панели. «Эта ночь кончится, — уверенно сказал он и добавил, взглянув на небо: — Как они кружатся». — «Звезды», — объяснил Карл, и оба некоторое время неподвижно глядели ввысь, где в чудесной бледно-сизой бездне дугообразно текли звезды. «Пульвермахер тоже смотрит», — после молчания сказал Курт. «Нет, спит», — возразил Карл, взглянув на полное, неподвижное лицо. «Спит», — согласился Курт.

Скользнул по асфальту свет, и тот же добродушный таксомотор, отвезший Гюнтера куда-то, мягко пристал к панели.

«Еще один? — засмеялся шофер. — Можно было и сразу». — «Куда же?» — сонно спросил Карл у Курта. «Какой-нибудь адрес... в кармане», — туманно ответил тот. Пошатываясь и непроизвольно кивая, они нагнулись над неподвижным человеком, и то, что пальто его было расстегнуто, облегчило им дальнейшие изыскания. «Бархатный жилет, — сказал Курт. — Бедняга, бедняга...» В правом же кармане они нашли сложенную вдвое открытку, которая расползлась у них в руках, и одна половинка с адресом получателя выскользнула и бесследно пропала. На оставшейся половинке нашелся, однако, еще другой адрес, написанный поперек открытки и жирно подчеркнутый. На обороте была всего одна ровная строчка, слева прерванная, но даже если б и удалось приставить отвалившуюся и потерянную половинку, то вряд ли смысл этой строчки стал бы яснее. «Бак берепом», — прочел Курт по системе «реникса», что было простительно. Адрес, найденный на открытке, был сказан шоферу, и затем пришлось втаскивать безжизненное, тяжелое тело в автомобиль, и опять шофер пришел на помощь. На дверце, при свете фонаря, мелькнули крупные шахматные квадраты — гербовые цвета таксомоторов. Наконец плотно наполненный автомобиль двинулся.

Карл по дороге уснул. Тело его, и тело неизвестного, и тело Курта, сидевшего на полу, приходили в мягкие, безвольные соприкосновения при каждом повороте, и затем Курт оказался на сиденье, а Карл и большая часть неизвестного на полу. Когда автомобиль остановился и шофер открыл дверцу, то не мог первое время разобрать, сколько людей в автомобиле. Карл проснулся сразу, но человек без шляпы был по-прежнему неподвижен. «Интересно, что вы теперь будете делать с вашим другом», — сказал шофер. «Его, вероятно, ждут», — сказал Курт. Шофер, полагая, что свое дело он выполнил и достаточно за ночь поносил всяких тяжестей, поднял флажок и объявил сумму. «Я заплачу», — сказал Карл. «Нет, я, — сказал Курт. — Я его первый нашел». Этот довод Карла убедил. С трудом опорожненный автомобиль отъехал. Трое людей остались на панели: один из них лежал, приставленный затылком к каменной ступени.

Пошатываясь и вздыхая, Курт и Карл стали посреди мостовой и затем, обратившись к единственному освещен-

ному в доме окну, хрипло крикнули, и тотчас, с неожиданной отзывчивостью, жалюзи, прорезанное светом, дрогнуло и взвилось. Из окна выглянула молодая дама. Не зная, как начать, Курт ухмыльнулся, потом, собравшись с силами, бодро и громко сказал: «Сударыня, мы привезли Пульвермахера». Дама ничего не ответила, и жалюзи с треском опустилось. Было видно, однако, что она осталась у окна. «Мы его нашли на улице», — неуверенно сказал Карл, обращаясь к окну. Жалюзи опять поднялось. «Бархатный жилет», — счел нужным пояснить Курт. Окно опустело, но через минуту темнота за парадной дверью распалась, сквозь стекло появилась освещенная лестница, мраморная до первой площадки, и не успела эта новорожденная лестница полностью окаменеть, как уже на ступенях появились быстрые женские ноги. Ключ заиграл в замке, дверь открылась. На панели, спиной к ступеням, лежал полный человек в черном.

Между тем лестница продолжала рожать людей... Появился господин в ночных туфлях, в черных штанах и крахмальной рубашке без воротничка, за ним коренастая бледная горничная в шлепанцах на босу ногу. Все наклонились над Лужиным, и виновато улыбавшиеся, совершенно пьяные незнакомцы что-то объясняли, и один из них все совал, как визитную карточку, половинку почтовой открытки. Лужина впятером понесли вверх по лестнице, и его невеста, поддерживавшая тяжелую, драгоценную голову, ахнула, когда внезапно свет на лестнице потух. В темноте все качнулось куда-то, был стук, и шаркание, и пыхтение, кто-то оступился и помянул по-немецки Бога, и когда свет зажегся опять, один из незнакомцев сидел на ступеньке, другой был придавлен телом Лужина, а повыше, на площадке, стояла мать в ярко расшитом капоте и, выпучив блестящие глаза, смотрела на бездыханное тело, которое, кряхтя и приговаривая, подпирал ее муж, на большую страшную голову, которая лежала на плече у дочери. Лужина внесли в гостиную. Молодые незнакомцы щелкали каблуками, пытаясь кому-то представиться, и шарахались от столиков, уставленных фарфором. Их видели сразу во всех комнатах. Они, вероятно, хотели уйти и не могли дорваться до передней. Находили их на всех диванах, и в ванной комнате, и на сундуке в коридоре, и не было возможности от них отделаться. Число их было неизвестно, —

колеблющееся, туманное число. А через некоторое время они исчезли, и горничная сказала, что двоих выпустила, и что остальные, должно быть, еще где-нибудь валяются, и что пьянство губит мужчин, и что жених ее сестры тоже пьет.

«Поздравляю, налимонился, — сказала хозяйка дома, глядя на Лужина, который, полураздетый и прикрытый пледом, лежал как мертвый на кушетке в гостиной. — Поздравляю. До положения риз». И странное дело: то, что Лужин напился до положения риз, понравилось ей, возбудило в ней по отношению к Лужину теплое чувство. В таком дебоше она усматривала что-то человеческое, естественное, и, пожалуй, некоторую удаль, размах души. В подобном положении бывали люди, которых она знала, хорошие люди, веселые люди. (И то сказать, рассуждала она, наше лихолетье сбивает с панталыку, и понятно, что время от времени русопят обращается к зеленому утешителю...) Когда же оказалось, что от Лужина и не пахнет вином и что спит-то он странно, вовсе не как пьяный, она испытала разочарование и обиделась на самое себя, что могла в Лужине предположить хоть одну естественную наклонность.

Пока врач, приехавший на рассвете, осматривал его, в лице у Лужина произошла перемена, веки поднялись, и из-под них выглянули мутные глаза. И только тогда его невеста вышла из того душевного оцепенения, в котором находилась с тех пор, как увидела тело, лежавшее у подъезда. Правда, она с вечера ожидала чего-то страшного, но такого именно ужаса представить себе не могла. Когда вечером Лужин не явился, она позвонила в шахматное кафе, и ей сказали, что уже давно игра кончилась. Тогда она позвонила в гостиницу, и оттуда ей ответили, что Лужин еще не вернулся. Она выходила на улицу, думая, что, быть может, Лужин ждет у запертой двери, и опять звонила в гостиницу, и советовалась с отцом, не известить ли полицию. «Ерунда, — решительно сказал отец. — Мало ли какие у него есть знакомые. Пошел в гости человек». Но она отлично знала, что никаких знакомых у Лужина нет и что чем-то бессмысленно его отсутствие.

И теперь, глядя на большое, бледное лицо Лужина, она так вся исполнилась мучительной, нежной жалости, что, казалось, не будь в ней этой жалости, не было бы и жизни.

Невозможно было думать о том, как валялся на улице этот безобидный человек, как тискали его мягкое тело пьяные люди; невозможно было думать о том, что все приняли его таинственный обморок за рыхлый и грубый сон бражника и что ждали бравурного храпа от его беспомощной тишины. Такая жалость, такая мука. И этот старенький, чудаковатый жилет, на который нельзя смотреть без слез, и бедная кудря, и белая, голая шея, вся в детских складках... И все это произошло по ее вине — недосмотрела, недосмотрела. Надо было все время быть рядом с ним, не давать ему слишком много играть, — и как это он до сих пор не попал под автомобиль, и как она не догадалась, что вот он может от шахматной усталости так грохнуться, так онеметь? «Лужин, — сказала она улыбаясь, словно он мог видеть ее улыбку, — Лужин, все хорошо. Лужин, вы слышите?»

Как только его перевезли в больницу, она поехала в гостиницу за его вещами, и сначала ее не пускали в его номер, и пришлось долго объяснять, и вместе с довольно наглым отельным служащим звонить в санаторию, и потом платить за последнюю неделю пребывания Лужина в номере, и не хватило денег, и надо было опять объяснять, и при этом ей все казалось, что продолжается измывание над Лужиным, и трудно было сдерживать слезы. Когда же, отказавшись от грубой помощи отельной горничной, она стала собирать лужинские вещи, то чувство жалости дошло до крайней остроты. Среди его вещей были такие, которые он, должно быть, возил с собой давно-давно, не замечая их и не выбрасывая, — ненужные, неожиданные вещи: холщовый кушак с металлической пряжкой в виде буквы S и с кожаным карманчиком сбоку, ножичек-брелок, отделанный перламутром, пачка итальянских открыток, — все синева да мадонны, да сиреневый дымок над Везувием; и несомненно петербургские вещи: маленькие счеты с красными и белыми костяшками, настольный календарь с перекидными листочками от совершенно некалендарного года — 1918. Все это почему-то валялось в шкафу, среди чистых, но смятых рубашек, цветные полосы и крахмальные манжеты которых вызывали представление о каких-то давно минувших годах. Там же нашелся шапо-кляк, купленный в Лондоне, и в нем визитная карточка какого-то Валентинова... Туалетные принадлежности были в таком

виде, что она решила их оставить, — купить ему резиновую губку взамен невероятной мочалки. Шахматы, картонную коробку, полную записей и диаграмм, кипу шахматных журналов она завернула в отдельный пакет: это ему было теперь не нужно. Когда чемодан и сундучок были наполнены и заперты, она еще раз заглянула во все углы и достала из-под постели пару удивительно старых, рваных, потерявших шнурки желтых башмаков, которые Лужину служили вместо ночных туфель. Она осторожно сунула их обратно под постель.

Из гостиницы она поехала в шахматное кафе, вспомнив, что Лужин был без трости и шляпы, и думая, что, быть может, он их там оставил. В турнирном зале было много народу, и, стоя у вешалки, бодро снимал пальто итальянец Турати. Она сообразила, что попала как раз к началу шахматного сеанса и что, по-видимому, никто не знает о болезни Лужина. «Будь что будет, — подумала она с некоторым злорадством. — Пусть ждут». Трость она нашла, но шляпы не было. И, с ненавистью посмотрев на столик, где уже были расставлены фигуры, и на широкоплечего Турати, который потирал руки и, как бас перед выступлением, густо прочищал голос, она быстро вышла из кафе, села опять в таксомотор, на котором трогательно зеленел клетчатый лужинский сундучок, и вернулась в санаторию.

Ее не было дома, когда явились вчерашние молодые люди. Они пришли извиниться за бурное ночное вторжение. Были они прекрасно одеты, всё кланялись и шаркали, и спрашивали, как себя чувствует господин, которого ночью привезли. Их благодарили за доставку, и было им для приличия сказано, что господин прекрасно выспался после дружеской пирушки, на которой его чествовали сослуживцы по случаю его обручения. Посидев десять минут, молодые люди встали и, очень довольные, ушли. Приблизительно в это же время явился в санаторию растерянный маленький человек, имевший отношение к устройству турнира. К Лужину его не пустили; спокойная молодая дама, говорившая с ним, холодно ему сказала, что Лужин переутомился и неизвестно когда возобновит шахматную деятельность. «Это ужасно, неслыханно, — несколько раз жалобно повторил маленький человек. — Неоконченная партия! И такая хорошая партия! Передайте маэстро...»

Передайте маэстро мое волнение, мои пожелания...» Он безнадежно махнул ручкой и поплелся к выходу, качая головой.

И в газетах появилось сообщение, что Лужин заболел нервным переутомлением, недоиграв решительной партии, и что, по словам Турати, черные, несомненно, проигрывали, вследствие слабости пешки на эф-четыре. И во всех шахматных клубах знатоки долго изучали положение фигур, прослеживая возможные продолжения, отмечали слабый пункт у белых на дэ-три, но никто не мог найти ключ к бесспорной победе.

10

В один из ближайших вечеров произошел давно назревший, давно рокотавший и наконец тяжело грянувший, — напрасный, безобразно громкий, но неизбежный, — разговор. Она только что вернулась из санатории, жадно ела гречневую кашу и рассказывала, что Лужину лучше. Родители переглянулись, и тут-то и началось.

«Я надеюсь, — звучно сказала мать, — что ты отказалась от своего безумного намерения». — «Еще, пожалуйста», — попросила она, протягивая тарелку. «Из известного чувства деликатности...» — продолжала мать, и тут отец быстро перехватил эстафету. «Да, — сказал он, — из деликатности твоя мать ничего тебе не говорила эти дни, — пока не выяснилось положение твоего знакомого. Но теперь ты должна нас выслушать. Ты знаешь сама: главное наше желание, и забота, и цель, и вообще... желание — это то, чтоб тебе было хорошо, чтоб ты была счастлива и так далее. А для этого...» — «В мое время просто бы запретили, — вставила мать, — и все тут». — «Нет, нет, при чем тут запрет. Ты вот послушай, душенька. Тебе не восемнадцать лет, а двадцать пять, и вообще я не вижу во всем, что случилось, какого-нибудь увлечения, поэзии». — «Ей просто нравится делать все наперекор, — опять перебила мать. — Это такой сплошной кошмар...» — «О чем вы, собственно, говорите?» — наконец спросила дочь и улыбнулась исподлобья, мягко облокотившись на стол и переводя глаза с отца на мать. «О том, что пора выбросить дурь из головы, — крикнула мать. — О том, что брак с полунормальным

нищим совершенная ересь». — «Ох», — сказала дочь и, протянув по столу руку, опустила на нее голову. «Вот что, — снова заговорил отец. — Мы тебе предлагаем поехать на Итальянские озера. Поехать с мамой на Итальянские озера. Ты не можешь себе представить, какие там райские места. Я помню, что когда я впервые увидел Изола Белла...» У нее запрыгали плечи от мелкого смеха; затем она подняла голову и продолжала тихо смеяться, не открывая глаз. «Объясни, чего же ты хочешь», — спросила мать и хлопнула по столу. «Во-первых, — ответила она, — чтобы не было такого крика. Во-вторых, чтобы Лужин совсем поправился». — «Изола Белла это значит Прекрасный Остров, — торопливо продолжал отец, стараясь многозначительной ужимкой показать жене, что он один справится. — Ты не можешь себе представить... Синяя лазурь, и жара, и магнолии, и превосходные гостиницы в Стрезе, — ну конечно, теннис, танцы... И особенно я помню, — как это называется, — такие светящиеся мухи...» — «Ну а потом что? — с хищным любопытством спросила мать. — Ну а потом, когда твой друг, — если не окочурится...» — «Это зависит от него, — по возможности спокойно сказала дочь. — Я этого человека не могу бросить на произвол судьбы. И не брошу. Точка». — «Будешь с ним в желтом доме, — живи, живи, матушка!» — «В желтом или синем...» — начала с дрожащей улыбкой дочь. «Не соблазняет Италия?» — бодро крикнул отец. «Сумасшедшая... Я поседела из-за тебя! Ты не выйдешь за этого шахматного обормота!» — «Сама обормот. Если захочу, выйду. Ограниченная и нехорошая женщина...» — «Ну-ну-ну, будет, будет», — бубнил отец. «Я его больше сюда не впущу, — задыхалась мать. — Вот тебе крест». Дочь беззвучно расплакалась и вышла из столовой, стукнувшись мимоходом об угол буфета и жалобно сказав: «Чорт возьми!» Буфет долго и обиженно звенел.

«Не надо было так», — шепотом сказал отец. «Заступайся, заступайся, голубчик...» — «Да нет, я ничего. Только мало ли что бывает. Человек переутомился, сдал, как говорится. Может быть, — Бог его знает! — может быть, действительно после такой встряски он изменится к лучшему... Я, знаешь, пойду посмотреть, что она делает».

А на следующий день он долго беседовал со знаменитым психиатром, в санатории которого лежал Лужин. У психиатра была черная ассирийская борода и влажные, нежные

глаза, которые чудесно переливались, пока он слушал собеседника. Он сказал, что Лужин не эпилептик и не страдает прогрессивным параличом, что его состояние есть последствие длительного напряжения и что, как только с Лужиным можно будет столковаться, придется ему внушить, что слепая страсть к шахматам для него гибельна и что на долгое время ему нужно от своей профессии отказаться и вести совершенно нормальный образ жизни. «Ну а жениться такому человеку можно?» — «Что же, — если он не импотент... — нежно улыбнулся профессор. — Да и в супружестве есть для него плюс. Нашему пациенту нужен уход, внимание, развлечения. Это временное помутнение сознания, которое теперь постепенно проходит. Насколько можно судить, — наступает полное прояснение».

Слова психиатра произвели дома легкую сенсацию. «Значит, шахматам капут? — с удовлетворением отметила мать. — Что же это от него останется, — одно голое сумасшествие?» — «Нет-нет, — сказал отец. — О сумасшествии нет никакой речи. Человек будет здоров. Не так страшен чорт, как его малютки. Я сказал "малютки", — ты слышишь, душенька?» Но дочь не улыбнулась, только вздохнула. По правде сказать, она чувствовала себя очень усталой. Большую часть дня она проводила в санатории, и было что-то невероятно утомительное в преувеличенной белизне всего окружающего и в бесшумных белых движениях сестер. Все еще очень бледный, обросший щетиной, в чистой рубашке, Лужин лежал неподвижно. Правда, бывали минуты, когда он поднимал под простыней колено или мягко двигал рукой, да и в лице проходили легкие теневые перемены, и в раскрытых глазах бывал иногда почти осмысленный свет, — но все же только и можно было о нем сказать, что он неподвижен, — тягостная неподвижность, изнурительная для взгляда, искавшего в ней намека на сознательную жизнь. И взгляд нельзя было отвести, — так хотелось проникнуть под этот желтовато-бледный лоб, который изредка сморщивался от неведомого внутреннего движения, проникнуть в неведомый туман, трудно шевелящийся, пытающийся, быть может, распутаться, сгуститься в отдельные земные мысли. Да, было движение, было. Безóбразный туман жаждал очертаний, воплощений, и однажды во мраке появилось как бы зеркальное пятнышко, и в этом тусклом луче явилось Лужину лицо с черной курчавой

бородой, знакомый образ, обитатель детских кошмаров. Лицо в тусклом зеркальце наклонилось, и сразу просвет затянулся, опять был туманный мрак и медленно рассеивавшийся ужас. И по истечении многих темных веков — одной земной ночи — опять зародился свет, и вдруг что-то лучисто лопнуло, мрак разорвался, и остался только в виде тающей теневой рамы, посреди которой было сияющее голубое окно. В этой голубизне блестела мелкая, желтая листва, бросая пятнистую тень на белый ствол, скрытый пониже темно-зеленой лапищей елки; и сразу это видение наполнилось жизнью, затрепетали листья, поползли пятна по стволу, колыхнулась зеленая лапа, и Лужин, не выдержав, прикрыл глаза, но светлое колыхание осталось под веками. «Там, в роще, я что-то зарыл», — блаженно подумал он. И только хотел вспомнить, что именно, как услышал над собой шелест и два спокойных голоса. Он стал вслушиваться, стараясь понять, где он и почему на лоб легло что-то мягкое и холодное. Погодя он снова открыл глаза. Толстая белая женщина держала ладонь у него на лбу, — а там, в окне, было все то же счастливое сияние. Он подумал, что сказать, и, увидев на ее груди приколотые часики, облизал губы и спросил, который час. Сразу кругом произошло движение, женщины зашептались, и с удивлением Лужин заметил, что понимает их язык, сам может на нем говорить. «Который час?» — повторил он. «Девять часов утра, — сказала одна из женщин. — Как вы себя чувствуете?» В окно, если чуть приподняться, был виден забор, тоже в пятнах теней. «По-видимому, я попал домой», — в раздумии проговорил Лужин и опять опустил пустую, легкую голову на подушку. Он слышал некоторое время шепот, легкий звон стекла... Ему показалось, что нелепость всего происходящего чем-то приятна и что удивительно хорошо лежать, не двигаясь. Так он незаметно заснул и, когда проснулся, увидел опять голубой блеск русской осени. Но что-то изменилось, кто-то незнакомый появился рядом с его постелью. Лужин повернул голову: на стуле справа сидел господин в белом, с черной бородой, и внимательно смотрел улыбающимися глазами. Лужин смутно подумал, что он похож на мужика с мельницы, но сходство сразу пропало, когда господин заговорил: «Карашо?» — дружелюбно осведомился он. «Кто вы?» — спросил Лужин по-немецки. «Друг, — ответил господин, — верный друг.

Вы были больны, но теперь здоровы. Слышите, — совершенно здоровы». Лужин стал думать над этими словами, но господин не дал ему додуматься и ласково сказал: «Вы должны лежать тихо. Отдыхайте. Побольше спите».

Так Лужин вернулся обратно из долгого путешествия, растеряв по дороге большую часть багажа, и лень было восстанавливать пропажу. Эти первые дни выздоровления были тихи и плавны; женщины в белом вкусно кормили его; приходил обворожительный бородач, и говорил приятные вещи, и смотрел агатовым взглядом, который теплом разливался по телу. Вскоре Лужин стал замечать, что в комнате бывает еще кто-то, — трепетное, неуловимое присутствие. Раз, когда он проснулся, кто-то беззвучно и торопливо уходил, как бы знакомый шепот возник рядом и сразу погас. И в разговоре бородатого друга стали мелькать намеки на что-то таинственное и счастливое; оно было в воздухе вокруг него, и в осенней прелести окна, и дрожало где-то за дверью, — загадочное, увертливое счастье. И Лужин постепенно начал понимать, что райская пустота, в которой витают его прозрачные мысли, со всех сторон заполняется. Но ему повезло: первым явилось наиболее счастливое видение его жизни.

Предупрежденный о близости прекрасного события, он смотрел сквозь решетку изголовья на белую дверь и ждал, что вот сейчас она откроется и сбудется наконец предсказание. Но дверь не открывалась. Вдруг сбоку, вне поля его зрения, что-то шелохнулось. Под прикрытием большой ширмы кто-то стоял и смеялся. «Иду, иду, один момент», — забормотал Лужин, высвобождая ноги из-под простыни и вытаращенными глазами ища под стулом, рядом с постелью, какой-нибудь обуви. «Никуда вы не пойдете», — сказал голос, и розовое платье мгновенно заполнило пустоту.

То, что его жизнь прежде всего озарилась именно с этой стороны, облегчило его возвращение. Некоторое еще время оставались в тени жестокие громады, боги его бытия. Произошел нежный оптический обман: он вернулся в жизнь не с той стороны, откуда вышел, и работу по распределению его воспоминаний взяло на себя то удивительное счастье, которое первым встретило его. И когда наконец эта область жизни была полностью восстановлена, и вдруг, с грохотом обрушившейся стены, появился Турати, турнир и все предыдущие турниры, — этому же счастью удалось увести

сопротивлявшийся образ Турати и положить обратно в ящик зашевелившиеся было шахматные фигуры. Как только они опять оживали, их твердо захлопывали снова, — и борьба продолжалась недолго. Помогал доктор, дорогие каменья его глаз переливались и таяли; он говорил о том, что кругом свободный и светлый мир, что игра в шахматы — холодная забава, которая сушит и развращает мысль, и что страстный шахматист так же нелеп, как сумасшедший, изобретающий перпетуум мобиле или считающий камушки на пустынном берегу океана. «Я вас перестану любить, — говорила невеста, — если вы будете вспоминать о шахматах, — а я вижу каждую мысль, так что держитесь». «Ужас, страдание, уныние, — тихо говорил доктор, — вот что порождает эта изнурительная игра». И он доказывал Лужину, что сам Лужин хорошо это знает, что Лужин не может подумать о шахматах без отвращения, и, таинственным образом тая, переливаясь и блаженно успокаиваясь, Лужин соглашался с его доводами. И по огромному, прекрасно пахнувшему санаторскому саду Лужин прогуливался в новеньких ночных туфлях из мягкой кожи и одобрительно отзывался о георгинах, и рядом шла его невеста и почему-то думала о читанной в детстве книжке, где все неприятности в жизни одного гимназиста, бежавшего из дома со спасенной им собакой, разрешались удобной для автора горячкой (не тифом, не скарлатиной, а просто горячкой), и нелюбимая дотоле молодая мачеха так ухаживала за ним, что он ее вдруг начинал ценить и звать мамой, и теплая слезинка скатывалась по щеке, и все было очень хорошо. «Лужин здоров», — сказала она, с улыбкой глядя на его тяжелый профиль (профиль обрюзгшего Наполеона), опасливо склоненный над цветком, который — Бог его знает — мог укусить. «Лужин здоров. Лужин гуляет. Лужин очень милый». — «Не пахнет», — баском сказал Лужин. «И не должно пахнуть, — ответила она, взяв его под руку. — Это у георгин не принято. А вон тот белый господин — табак. Он здорово пахнет ночью. Когда я была маленькая, я всегда высасывала сок из серединки. Теперь уже невкусно». — «У нас в саду... — начал Лужин и задумался, щурясь на клумбы. — Имелись вот эти цветочки, — сказал он. — Сад был вполне презентабельный». — «Астры, — пояснила она. — Я их не люблю. Они жесткие. А в нашем саду...»

Вообще много говорилось о детстве. Говорил и профессор, расспрашивал Лужина: «У вашего отца была земля? Не правда ли?» Лужин кивал. «Земля, деревня, — это превосходно, — продолжал профессор. — У вас были, верно, лошади, коровы?» Кивок. «Дайте мне представить себе ваш дом... Кругом вековые деревья... Дом большой, светлый. Ваш отец возвращается с охоты...» Лужин вспомнил, как однажды отец принес толстого, неприятного птенчика, найденного в канаве. «Да», — неуверенно ответил Лужин. «Какие-нибудь подробности, — мягко попросил профессор. — Пожалуйста. Прошу вас. Меня интересует, чем вы занимались в детстве, как играли. У вас были, наверное, солдатики...»

Но Лужин при этих беседах оживлялся редко. Зато мысль его, беспрестанно подталкиваемая такими расспросами, возвращалась снова и снова к области его детства. То, что он вспоминал, невозможно было выразить в словах, — просто не было взрослых слов для его детских впечатлений, — а если он и рассказывал что-нибудь, то отрывисто и неохотно, — бегло намечая очертания, буквой и цифрой обозначая сложный, богатый возможностями ход. Дошкольное, дошахматное детство, о котором он прежде никогда не думал, отстраняя его с легким содроганием, чтобы не найти в нем дремлющих ужасов, унизительных обид, оказывалось ныне удивительно безопасным местом, где можно было совершать приятные, не лишенные пронзительной прелести экскурсии. Лужин сам не мог понять, откуда волнение, — почему образ толстой француженки с тремя костяными пуговицами сбоку, на юбке, которые сближались, когда ее огромный круп опускался в кресло, — почему образ, так его раздражавший в то время, теперь вызывает чувство нежного ущемления в груди. Он вспоминал, как в петербургском доме ее астматическая тучность предпочитала лестнице старомодный, водой движимый лифт, который швейцар пускал в ход при помощи рычага на стене вестибюля. «В путь-дорогу», — неизменно говорил швейцар, закрывая за ней дверные половинки, и тяжкий, отдувающийся, вздрагивающий лифт медленно полз вверх по толстому бархатному шнуру, и мимо лифта, по облупленной стене, видной сквозь стекло, медленно спускались темные географические пятна, те пятна сырости и старости, среди которых, как и среди небесных облаков,

господствует мода на очертания Черного моря и Австралии. Иногда маленький Лужин поднимался вместе с ней, но чаще оставался внизу и слушал, как в вышине, за стеной, трудно взбирается лифт, — и он всегда надеялся, маленький Лужин, что лифт на полпути застрянет. Частенько так и случалось. Шум прекращался, из неизвестного междустенного пространства доносился вопль о помощи; швейцар внизу двигал, гакая, рычагом и открывал дверь в черноту, и, глядя вверх, деловито спрашивал: «Поехали?» Наконец что-то содрогалось, приходило в движение, и через некоторый срок спускался лифт — уже пустой. Пустой. Бог весть, что случилось с ней, — быть может, доехала она уже до небес и там осталась, со своей астмой, лакричными конфетами и пенснэ на черном шнурке. Пустым вернулось воспоминание, и в первый раз, быть может, за всю свою жизнь Лужин задался вопросом — куда же, собственно говоря, все это девается, что сталось с его детством, куда уплыла веранда, куда уползли, шелестя в кустах, знакомые тропинки?

Непроизвольным движением души он этих тропинок искал в санаторском саду, но у клумб был другой очерк, и березы были размещены иначе, и просветы в их рыжей листве, налитые осенней синевой, никак не соответствовали рисунку тех памятных березовых просветов, на которые он эти вырезанные части лазури так и этак накладывал. Неповторим как будто был тот далекий мир, в нем бродили уже вполне терпимые, смягченные дымкой расстояния образы его родителей, и заводной поезд с жестяным вагоном, выкрашенным под фанеру, уходил жужжа под воланы кресла, и Бог знает, что думал при этом кукольный машинист, слишком большой для паровоза и потому помещенный в тендер.

Таково было детство, охотно посещаемое теперь мыслью Лужина. Затем шла другая пора, долгая шахматная пора, о которой и доктор и невеста говорили, что это были потерянные годы, темная пора духовной слепоты, опасное заблуждение, — потерянные, потерянные годы. О них не следовало вспоминать. Там таился, как злой дух, чем-то страшный образ Валентинова. Ладно, согласимся, довольно, — потерянные годы, — долой их, — забыто, — вычеркнуто из жизни. И если так исключить их, свет детства непосредственно соединялся с нынешним светом, выливался

в образ его невесты. Она выражала собой все то ласковое и обольстительное, что можно было извлечь из воспоминаний детства, — словно пятна света, рассеянные по тропинкам сада на мызе, срослись теперь в одно теплое, цельное сияние.

«Радуешься? — уныло спросила мать, глядя на ее оживленное лицо. — Скоро сыграем свадьбу?» — «Скоро, — ответила она и бросила свою кругленькую серую шляпу на диван. — Во всяком случае, он на днях оставит санаторию». — «Здорово твоему отцу влетит — марок тысяча». — «Я сейчас по всем книжным магазинам рыскала, — вздохнула дочь. — Он непременно требовал Жюль Верна и Шерлока Хольмса. И оказывается, что он никогда не читал Толстого». — «Конечно, он мужик, — пробормотала мать. — Я всегда говорила». — «Слушай, мама, — сказала она, слегка хлопая перчаткой по пакету с книгами, — давай условимся. С сегодняшнего дня больше никаких таких милых замечаний. Это глупо, унизительно для тебя и, главное, совершенно ни к чему». — «Не выходи ты за него замуж, — изменившись в лице, проговорила мать. — Не выходи. Умоляю тебя. Ну, хочешь, — я бухнусь перед тобой на колени...» И, опираясь одной рукой о кресло, она стала с трудом сгибать ногу, медленно опуская свое большое, слегка похрустывавшее тело. «Пол продавишь», — сказала дочь и, захватив книги, вышла из комнаты.

Путешествие Фогга и мемуары Хольмса Лужин прочел в два дня и, прочитав, сказал, что это не то, что он хотел, — неполное, что ли, издание. Из других книг ему понравилась «Анна Каренина» — особенно страницы о земских выборах и обед, заказанный Облонским. Некоторое впечатление произвели на него и «Мертвые Души», причем он в одном месте неожиданно узнал целый кусок, однажды в детстве долго и мучительно писанный им под диктовку. Кроме так называемых классиков, невеста ему приносила и всякие случайные книжонки легкого поведения, — труды галльских новеллистов. Все, что только могло развлечь Лужина, было хорошо, — даже эти сомнительные новеллы, которые он со смущением, но с интересом читал. Зато стихи (например, томик Рильке, который она купила по совету приказчика) приводили его в состояние тяжелого недоумения и печали. Соответственно с этим профессор запретил давать Лужину читать Достоевского, который,

по словам профессора, производит гнетущее действие на психику современного человека, ибо, как в страшном зеркале, — — —

«Ах, господин Лужин не задумывается над книгой, — весело сказала она. — А стихи он плохо понимает из-за рифм, рифмы ему в тягость».

И странная вещь: несмотря на то, что Лужин прочел в жизни еще меньше книг, чем она, гимназии не кончил, ничем другим не интересовался, кроме шахмат, — она чувствовала в нем призрак какой-то просвещенности, недостающей ей самой. Были заглавия книг и имена героев, которые почему-то были Лужину по-домашнему знакомы, хотя самых книг он никогда не читал. Речь его была неуклюжа, полна безобразных, нелепых слов, — но иногда вздрагивала в ней интонация неведомая, намекающая на какие-то другие слова, живые, насыщенные тонким смыслом, которые он выговорить не мог. Несмотря на невежественность, несмотря на скудость слов, Лужин таил в себе едва уловимую вибрацию, тень звуков, когда-то слышанных им.

Ни об его некультурности, ни о прочих его недостатках мать больше не говорила, после того дня, когда, оставшись одна в коленопреклоненном положении, она всласть нарыдалась, щекой приложившись к ручке кресла. «Я бы все поняла, — сказала она потом мужу, — все поняла и простила бы, если бы она действительно любила его. Но в том-то и ужас...» — «Нет, это не совсем так, — прервал муж. — Мне тоже сперва казалось, что все это чисто головное. Но ее отношение к его болезни меня убеждает в обратном. Конечно, такой союз опасен, да и она могла бы лучше выбрать... Хотя он из старой дворянской семьи, но его узкая профессия наложила на него некоторый отпечаток. Вспомни Ирину, которая стала актрисой, — вспомни, какой она потом приехала к нам. Все же, невзирая на эти все дефекты, я считаю, что он человек хороший. Вот ты увидишь, он займется теперь каким-нибудь полезным делом. Я не знаю, как ты, но я просто не решаюсь больше ее отговаривать. По-моему, если уж хочешь знать мое мнение, — следует скрепя сердце принять неизбежное».

Он говорил долго и бодро, держась очень прямо и стуча крышечкой портсигара.

«Я только одно чувствую, — повторяла жена, — она его не любит».

11

В зачаточном пиджаке без одного рукава стоял обновляемый Лужин боком к трюмо, и лысый портной то проводил мелом по его плечам и спине, то втыкал в него булавки, с поразительной ловкостью вынимая их изо рта, где, повидимому, они естественно росли. Из всех образцов сукна, аккуратно, по тонам, расположенных в альбоме, Лужин выбрал квадрат темно-серый, и невеста долго щипала соответствующее сукно, которое портной бросил с глухим стуком на прилавок, молниеносно развернул и, выпятившись, прижал к груди, словно прикрывая наготу. Она нашла, что сукно склонно мяться, и тогда лавина плотных свертков стала заносить прилавок, и портной, моча палец о нижнюю губу, разворачивал, разворачивал. Выбрано было наконец сукно, тоже темно-серое, но гибкое и нежное, даже как будто чуть мохнатое, и теперь Лужин, распределенный в трюмо по частям, по разрезам, словно для наглядного обучения (...вот чисто выбритое, полное лицо, вот то же лицо в профиль, а вот редко самим субъектом видаемый затылок, довольно коротко подстриженный, со складочками на шее и слегка оттопыренными, розовым светом пронизанными ушами...), посматривал на себя и на материю, не узнавая в ней прежней гладкой и щедрой целины. «Я думаю, что нужно спереди чуточку у́же», — сказала невеста, и портной, отойдя на шаг, прищурился на лужинскую фигуру, промурлыкал с вежливым смешком, что господин несколько в теле, а потом взялся за новорожденные отвороты, что-то подтянул, что-то подколол, меж тем как Лужин, с жестом, свойственным всем людям в его положении, слегка отводил руку или сгибал ее в локте, глядя себе на кисть и стараясь свыкнуться с рукавом. Мимоходом портной полоснул его мелом по сердцу, намечая карманчик, после чего безжалостно сорвал уже как будто готовый рукав и стал проворно вынимать булавки из лужинского живота.

Кроме хорошего костюма, Лужину был сделан и фрак; старомодный же смокинг, найденный на дне его сундучка, был тем же портным изменен к лучшему. Его невеста не смела спросить, боясь возбудить шахматные воспоминания, зачем нужны были Лужину в прежние дни смокинг и шапо-кляк, и поэтому никогда не узнала о некоем большом

обеде в Бирмингаме, на котором, между прочим, Валентинов... Ну да Бог с ним.

Обновление лужинской оболочки этим не ограничилось. Появились рубашки, галстуки, носки, — и Лужин все это принимал с беззаботным интересом. Из санатории он переехал в небольшую, с веселыми обоями, комнату, снятую во втором этаже невестиного дома, и, когда он переезжал, у него было точь-в-точь такое же чувство, как когда в детстве возвращался из деревни в город. Всегда странно это городское новоселье. Спать ляжешь, и все так ново: в тишине плетущимся цоканием оживают на несколько мгновений ночные торцы, окна завешены плотнее и пышнее, чем в усадьбе; во мраке, едва облегченном светлой чертой неплотно закрытой двери, выжидательно застыли предметы, еще не совсем потеплевшие, но до конца возобновившие знакомство после долгого летнего перерыва. А проснешься, — трезвый серый свет за окнами, в молочной мути неба скользит солнце, похожее на луну, и вдруг в отдалении — наплыв военной музыки: она приближается оранжевыми волнами, прерывается торопливой дробью барабана, и вскоре все смолкает, и, вместо щекастых трубных звуков, опять невозмутимый стук копыт, легкое дребезжание петербургского утра.

«Вы забываете тушить свет в коридоре, — с улыбкой сказала пожилая немка, сдававшая ему комнату. — Вы забываете закрывать вашу дверь на ночь». И невесте его она тоже пожаловалась, — рассеян, мол, как старый профессор.

«Вам уютно, Лужин? — спрашивала невеста. — Вы спите хорошо, Лужин? Нет, я знаю, что неуютно, но ведь это скоро все изменится». — «Не надо больше откладывать, — бормотал Лужин, обняв ее и скрестив пальцы у нее на бедре. — Садитесь, садитесь, не надо откладывать. Давайте завтра вступим. Завтра. В самый законный брак». — «Да, скоро, скоро, — отвечала она. — Но нельзя же в один день. Есть еще одно учреждение. Там мы с вами будем висеть на стене в продолжение двух недель, и ваша жена тем временем приедет из Палермо, посмотрит на имена и скажет: нельзя, Лужин — мой».

«Затеряла, — ответила мать, когда она к ней обратилась за своей метрикой. — Засунула и затеряла. Не знаю, ничего не знаю». Бумага, однако, быстрехонько нашлась. Да и поздно было теперь предупреждать, запрещать, придумы-

вать трудности. С роковой гладкостью подкатывала свадьба, которую было невозможно задержать, словно стоишь на льду, скользко, нет упора. Ей пришлось смириться и подумать о том, чем украсить и как подать дочернего жениха, чтобы не стыдно было перед людьми, и как собраться с силами, чтобы на свадьбе улыбаться, играть довольную мать, хвалить честность и доброту Лужина. Думала она и о том, сколько уже ушло денег на Лужина и сколько еще уйдет, и старалась изгнать из воображения страшную картину: Лужин в дезабилье, пышущий макаковой страстью, и ее из упрямства покорная, холодная, холодная дочь. Меж тем и рама для этой картины была готова. Была снята поблизости не очень дорогая, но недурно обставленная квартира, правда — в пятом этаже, но что же делать, для лужинской одышки есть лифт, да и лестница не крута, со стульчиком на каждой площадке, под расписным окном. Из просторной прихожей, условно оживленной силуэтными рисунками в черных рамочках, дверь налево открывалась в спальню, а дверь направо — в кабинет. Далее, по правой же стороне прихожей, находилась дверь в гостиную; смежная с нею столовая была несколько длиннее, за счет прихожей, которая в этом месте благополучно превращалась в коридор, — превращение, целомудренно скрытое плюшевой портьерой на кольцах. Налево от коридора была ванная, за нею людская, а в конце — дверь в кухню.

Будущей обитательнице этой квартиры понравилось расположение комнат; их обстановка пришлась ей менее по вкусу. В кабинете стояли коричневые бархатные кресла, книжный шкаф, увенчанный плечистым востролицым Данте в купальном шлеме, и большой, пустоватый письменный стол с неизвестным прошлым и неизвестным будущим. Валкая лампа на черном витом столбе под оранжевым абажуром высилась подле оттоманки, на которой были забыты светлошерстый медвежонок и толстомордая собака с широкими розовыми подошвами и пятном на глазу. Над оттоманкой висел фальшивый гобелен, изображавший пляшущих поселян.

Из кабинета — ежели легонько толкнуть раздвижные двери — открывался сквозной вид: паркет гостиной и дальше столовая с буфетом, уменьшенным перспективой. В гостиной зеленым лоском отливала пальма, по паркету были рассеяны коврики. Наконец, — столовая, с выросшим

теперь до естественной величины буфетом и с тарелками по стенам. Над столом одинокий пушистый чортик повисал с низкой лампы. Окно было фонарем, и оттуда можно было видеть сквер с фонтаном в конце улицы. Вернувшись к столу, она поглядела через гостиную в даль кабинета, на гобелен, в свою очередь уменьшившийся, затем вышла из столовой в коридор и направилась через прихожую в спальню. Там стояли, тесно прижавшись друг к дружке, две пухлые постели. Лампа оказалась в мавританском стиле, занавески на окнах были желтые, что сулило по утрам обманный солнечный свет, — и в простенке висела гравюра: вундеркинд в ночной рубашонке до пят играет на огромном рояле, и отец, в сером халате, со свечой в руке, замер, приоткрыв дверь.

Кое-что пришлось добавить, кое-что изъять. Из гостиной был убран портрет хозяйского дедушки, а из кабинета поспешно изгнали восточного вида столик с перламутровой шахматной доской. Окно в ванной комнате, снизу голубовато-искристое, будто подернутое морозом, оказалось надтреснутым в своей верхней прозрачной части, и пришлось вставить новое стекло. В кухне и в людской побелили потолки. Под сенью салонной пальмы вырос граммофон. Вообще же говоря, осматривая и подправляя эту «квартиру на барскую ногу, снятую на скорую руку», — как шутил отец, — она не могла отделаться от мысли, что все это только временное, придется, вероятно, увезти Лужина из Берлина, развлекать его другими странами. Всякое будущее неизвестно, — но иногда оно приобретает особую туманность, словно на подмогу естественной скрытности судьбы приходит какая-то другая сила, распространяющая этот упругий туман, от которого отскакивает мысль.

Но как Лужин был мягок и мил в эти дни... Как он уютно сидел, одетый в новый костюм и украшенный дымчатым галстуком, за чайным столом и вежливо, если и не совсем впопад, поддакивал собеседнику. Его будущая теща рассказала знакомым, что Лужин решил бросить шахматную игру, которая слишком много отнимала времени, но что он об этом не любит говорить, — и теперь Олег Сергеевич Смирновский уже не требовал партии, а с огоньком в глазах раскрывал ему таинственные махинации масонов и даже обещал дать прочесть замечательную брошюру.

В учреждениях, куда они ходили сообщать чиновникам о намерении вступить в брак, Лужин вел себя как взрослый, все бумаги нес сам, благоговейно, бережно, и заполнял бланки с любовью, отчетливо выводя каждую букву. Почерк у него был кругленький, необыкновенно аккуратный, и немало времени уходило на осторожное развинчивание новой самопишущей ручки, которую он несколько жеманно отряхивал в сторону, прежде чем приступить к писанию, а потом, насладившись скольжением золотого пера, так же осторожно совал обратно в сердечный карманчик, блестящей зацепкой наружу. И с удовольствием он сопровождал невесту по магазинам и ждал, как интересного сюрприза, квартиры, которой она решила до свадьбы ему не показывать.

В течение тех двух недель, пока их имена были вывешены напоказ, — то на адрес жениха, то на адрес невесты стали приходить предложения разных недремлющих фирм: экипажи для свадеб и похорон (с изображением кареты, запряженной парой галопирующих лошадей), фраки напрокат, цилиндры, мебель, вино, наемные залы, аптекарские принадлежности. Лужин добросовестно рассматривал иллюстрированные прейскуранты и складывал их у себя, удивляясь, почему невеста так презрительно относится ко всем этим любопытным предложениям. Были предложения другого рода. Было то, что Лужин называл «небольшое апарте», с будущим тестем, приятный разговор, во время которого тот предложил устроить его в коммерческое предприятие, — конечно, погодя, не сейчас, пускай поживут спокойно несколько месяцев. «Жизнь, мой друг, так устроена, — говорилось в этой беседе, — что за каждую секунду человек должен платить, по самому минимальному расчету, 1/432 часть пфеннига, и это будет жизнь нищенская; вам же нужно содержать жену, привыкшую к известной роскоши». — «Да-да», — сказал Лужин, радостно улыбаясь и стараясь вывернуть в уме сложное вычисление, проделанное с такой нежной ловкостью его собеседником. «Для этого требуется несколько больше денег», — продолжал тот, и Лужин затаил дыхание в ожидании нового фокуса. «Секунда будет обходиться... дороже. Повторяю, я готов первое время — первый год, скажем, — щедро приходить вам на помощь... Но со временем... Вот вы побываете у меня как-нибудь в конторе, я вам покажу интересные вещи».

Так приятнейшим образом все кругом старалось расцветить пустоту лужинской жизни. Он давал себя укачивать, баловать, щекотать, принимал с зажмуренной душой ласковую жизнь, обволакивавшую его со всех сторон. Будущее смутно представлялось ему как молчаливое объятие, длящееся без конца, в счастливой полутемноте, где проходят, попадают в луч и скрываются опять, смеясь и покачиваясь, разнообразные игрушки мира сего. Но в неизбежные минуты жениховского одиночества, поздним вечером, ранним утром, бывало ощущение странной пустоты, как будто в красочной складной картине, составленной на скатерти, оказались не заполненные, вычурного очерка, пробелы. И однажды во сне он увидел Турати, сидящего к нему спиной. Турати глубоко задумался, опираясь на руку, но из-за его широкой спины не видать было того, над чем он в раздумии поник. Лужин не хотел это увидеть, боялся увидеть, но все же осторожно стал заглядывать через черное плечо. И тогда он увидел, что перед Турати стоит тарелка супа и что не опирается он на руку, а просто затыкает за воротник салфетку. И в ноябрьский день, которому этот сон предшествовал, Лужин женился.

Олег Сергеевич Смирновский и некий балтийский барон были свидетелями того, как Лужина и его невесту провели в большую комнату и усадили за длинный стол, покрытый сукном. Чиновник переменил пиджак на поношенный сюртук и прочел брачный приговор. При этом все встали. После чего, с профессиональной улыбкой, чиновник почтил новобрачных сырым рукопожатием, и все было кончено. У выхода толстый швейцар, мечтая о полтиннике, поклонился, поздравляя, и Лужин добродушно сунул ему руку, которую тот принял на ладонь, не сразу сообразив, что это человеческая рука, а не подачка.

В тот же день было и церковное венчание. Последний раз Лужин побывал в церкви много лет назад, на панихиде по матери. Пятясь дальше в глубину прошлого, он помнил ночные вербные возвращения со свечечкой, метавшейся в руках, ошалевшей от того, что вынесли ее из теплой церкви в неизвестную ночь, и наконец умиравшей от разрыва сердца, когда на углу улицы налетал ветер с Невы. Были исповеди в домовой церкви на Почтамтской, и особенно стучали сапоги в ее темноватой пустыне, передвигались, словно откашливаясь, стулья, на которых друг за

другом сидели ожидавшие, и порой из таинственно завешенного угла вырывался шепот. И пасхальные ночи он помнил: дьякон читал рыдающим басом и, все еще всхлипывая, широким движением закрывал огромное Евангелие... И он помнил, как легко и пронзительно, вызывая сосущее чувство под ложечкой, звучало натощак слово «фасха» в устах изможденного священника; и помнил, как было всегда трудно уловить то мгновение, когда кадило плавно метит в тебя, именно в тебя, а не в соседа, и так поклониться, чтобы в точности поклон пришелся на кадильный взмах. Был запах ладана, и горячее падение восковой капли на костяшки руки, и темный, медовый лоск образа, ожидавшего лобзания. Томные воспоминания, смуглота, поблескивания, вкусный церковный воздух и мурашки в ногах. И ко всему этому теперь прибавилась дымчатая невеста, и венец, который вздрагивал в воздухе, над самой головой, и мог, того и гляди, упасть. Он осторожно косился на него, и ему показалось раза два, что чья-то незримая рука, державшая венец, передает его другой, тоже незримой руке. «Да-да», — поспешно ответил он на вопрос священника и еще хотел прибавить, как все это хорошо, и странно, и мягко для души, но только взволнованно прочистил горло, и свет в глазах стал расплывчато лучиться.

А затем, когда все сидели за большим столом, у него было такое же чувство, как когда приходишь домой после заутрени, и ждет тебя масляный баран с золотыми рогами, окорок, девственно ровная пасха, за которую хочется приняться раньше всего, минуя ветчину и яйца. Было жарко и шумно, за столом сидело много людей, бывших, вероятно, и в церкви, — ничего, ничего, пусть побудут до поры, до времени... Лужина глядела на мужа, на кудрю, на прекрасно сшитый фрак, на кривую полуулыбку, с которой он приветствовал блюда. Ее мать, щедро напудренная, в очень открытом спереди платье, показывавшем, как в старые времена, тесную выемку между ее приподнятых, екатерининских грудей, держалась молодцом и даже говорила зятю «ты», так что Лужин некоторое время не понимал, к кому она обращается. Он выпил всего два бокала шампанского, и волнами стала находить на него приятная сонливость. Вышли на улицу. Черная, ветреная ночь мягко ударила его в грудь, не защищенную недоразвитым фрачным жилетом,

и жена попросила запахнуть пальто. Ее отец, весь вечер улыбавшийся и поднимавший бокал каким-то особенным образом — молча, до уровня глаз, — манера, перенятая у одного дипломата, говорившего очень изящно «скоуль», — теперь, все так же улыбаясь одними глазами, поднимал в знак прощания блестящую при свете фонаря связку дверных ключей. Мать, придерживая на плече горностаевую накидку, старалась не смотреть на спину Лужина, влезавшего в автомобиль. Гости, все немного пьяные, прощались с хозяевами и друг с другом и, деликатно посмеиваясь, окружали автомобиль, который наконец тронулся, и тогда кто-то заорал «ура», и поздний прохожий, обратившись к спутнице, одобрительно заметил: «Землячки шумят».

Лужин в автомобиле тотчас уснул, и при случайных, веером раскрывавшихся отблесках белесым светом оживало его лицо, и мягкая тень от носа совершала медленный круг по щеке и затем над губой, и опять было в автомобиле темно, пока не проходил новый свет, мимоходом поглаживая лужинскую руку, которая словно скользила в темный карман, как только опять наплывал сумрак. И потом пошла череда ярких огней, и каждый выгонял из-под белого галстука теневую бабочку, и тогда жена осторожно поправила ему кашнэ, так как даже в закрытый автомобиль проникал холод ноябрьской ночи. Он очнулся и прищурился от взмаха уличного луча, и не сразу понял, где он, но в это мгновение автомобиль остановился, и жена тихо сказала: «Лужин, мы дома».

В лифте он стоял, улыбаясь и мигая, несколько осовевший, но ничуть не пьяный, и глядел на ряд кнопок, одну из которых нажала жена. «На известной вышине», — сказал он и посмотрел на потолок лифта, точно ожидая там увидеть вершину пути. Лифт остановился. «Ёк», — сказал Лужин и тихо рассыпался смехом.

Их встретила в прихожей новая прислуга — кругленькая девица, сразу протянувшая им красную, непропорционально большую руку. «Ах, зачем вы нас ждали», — сказала жена. Горничная поздравляла, что-то быстро говорила и с благоговением приняла лужинский шапо-кляк. Лужин с тонкой улыбкой показал, как он захлопывается. «Удивительно», — воскликнула горничная. «Идите, идите спать, — беспокойно повторяла жена. — Мы сами все запрем».

Чередой озарился кабинет, гостиная, столовая. «Открывается телескопом», — сонно пробормотал Лужин. Ничего

он толком не рассмотрел — слишком слипались глаза. Уже входя в столовую, он заметил, что несет в руках большую плюшевую собаку с розовыми подошвами. Он ее положил на стол, и сразу к ней спустился, как паук, пушистый чортик, повисший с лампы. Комнаты потухли, словно сдвинулись части телескопа, и Лужин оказался в светлом коридоре. «Идите спать», — кому-то опять крикнула жена, и что-то в глубине шуркнуло и пожелало доброй ночи. «Вон там людская, — сказала жена. — А тут, слева, ванная». — «Где уединение? — шепнул Лужин. — Где самая маленькая комната?» — «В ванной, все в ванной», — ответила она, и Лужин осторожно приоткрыл дверь и, убедившись в чем-то, проворно заперся. Его жена прошла в спальню и села в кресло, оглядывая упоительно пухлые постели. «Ох, я устала», — улыбнулась она и долго следила глазами за крупной, вялой мухой, которая, безнадежно жужжа, летала вокруг мавританской лампы, а потом куда-то исчезла. «Сюда, сюда», — крикнула она, услышав в коридоре неуверенно шаркающий шаг Лужина. «Спальня», — сказал он одобрительно и, заложив руки за спину, некоторое время посматривал по сторонам. Она открыла шкаф, куда накануне сложила вещи, подумала и обернулась к мужу. «Я ванну приму, — сказала она. — Все ваши вещи вот здесь».

«Подождите минуточку», — проговорил Лужин и вдруг во весь рот зевнул. «Подождите», — нёбным голосом повторил он, запихивая между слогами упругие части зевка. Но, захватив пижаму и ночные туфли, она быстро вышла из комнаты.

Голубой толстой струей полилась из крана вода и стала заполнять белую ванну, нежно дымясь и меняя тон журчания по мере того, как поднимался ее уровень. Глядя на льющийся блеск, она с некоторой тревогой думала о том, что наступает предел ее женской расторопности и что есть область, в которой не ей путеводительствовать. Сидя затем в ванне, она смотрела, как собираются мелкие водяные пузыри на коже и на погружающейся пористой губке. Опустившись в воду по шею, она видела себя сквозь уже слегка помутившуюся от мыльной пены воду тонкотелой, почти прозрачной, и когда колено чуть-чуть поднималось из воды, этот круглый, блестящий розовый остров был как-то неожиданен своей несомненной телесностью. «В конце

концов, это вовсе не мое дело», — сказала она, высвободив из воды сверкающую руку и отодвигая волосы со лба. Она напустила еще горячей воды, наслаждаясь тугими волнами тепла, проходившими по животу, и наконец, вызвав легкую бурю в ванне, вышла и не спеша принялась вытираться. «Прекрасная турчанка», — сказала она, стоя в одних шелковистых пижамных штанах перед зеркалом, слегка запотевшим от пара. «В общем, довольно благоустроенно», — сказала она погодя. Продолжая смотреться в зеркало, она стала медленно натягивать пижамную кофточку. «Бока полноваты», — сказала она. Вода в ванне, стекавшая с легким урчанием, вдруг пискнула, и все смолкло: ванна была пуста, и только в дырке еще был маленький мыльный водоворот. И вдруг она поняла, что нарочно медлит, стоя в пижаме перед зеркалом, — и холодок прошел в груди, как когда перелистываешь прошлогодний журнал, зная, что сейчас, сейчас дверь откроется и встанет дантист на пороге.

Громко посвистывая, она пошла в спальню, и сразу свист осекся. Лужин, прикрытый до пояса пуховиком, в расстегнутой, топорщившейся крахмальной рубашке, лежал в постели, подогнув руки под голову, и с мурлыкающим звуком храпел. Воротничок висел на изножье, штаны валялись на полу, раскинув помочи, фрак, криво надетый на плечики вешалки, лежал на кушетке, подвернув под себя один хвост. Все это она тихо собрала, сложила. Перед тем как лечь, она отодвинула штору окна, чтоб посмотреть, спущено ли жалюзи. Оно не было спущено. В темной глубине двора ночной ветер трепал какие-то кусты, и при тусклом свете, неведомо откуда лившемся, что-то блестело, быть может — лужа на каменной панели вдоль газона, и в другом месте то появлялась, то скрывалась тень какой-то решетки. И вдруг все погасло, и была только черная пропасть.

Она думала, что уснет, как только бухнет в постель, но вышло иначе. Воркующий храп подле нее, и странная грусть, и эта темнота в незнакомой комнате держали ее на весу, не давали соскользнуть в сон. И почему-то слово «партия» все проплывало в мозгу, — «хорошая партия», «найти себе хорошую партию», «партия», «партия», «недоигранная, прерванная партия», «такая хорошая партия». «Передайте маэстро мое волнение, волнение...» «Она могла бы сделать блестящую партию», — отчетливо сказала мать,

проплывая во мраке. «Чокнемся», — шепнул нежный голос, и отцовские глаза показались из-за края бокала, и пена поднималась, поднималась, и новые туфли слегка жали, и в церкви было так жарко...

12

Большая поездка куда-нибудь за границу была отложена до весны, — единственная уступка, которую Лужина сделала родителям, желавшим хоть первые несколько месяцев быть поблизости. Сама Лужина немного боялась для мужа жизни в Берлине, опутанном шахматными воспоминаниями; впрочем, оказалось, что Лужина и в Берлине нетрудно развлекать.

Большая поездка куда-нибудь за границу, разговоры о ней, путевые замыслы. В кабинете, очень Лужину полюбившемся, нашелся в книжном шкафу великолепный атлас. Мир, сперва показываемый, как плотный шар, туго обтянутый сеткой долгот и широт, развертывался плоско, разрезался на две половины и затем подавался по частям. Когда он развертывался, какая-нибудь Гренландия, бывшая сначала небольшим придатком, простым аппендиксом, внезапно разбухала почти до размеров ближайшего материка. На полюсах были белые проплешины. Ровной лазурью простирались океаны. Даже на этой карте было бы достаточно воды, чтобы, скажем, вымыть руки, — что же это такое на самом деле, — сколько воды, глубина, ширина... Лужин показал жене все очертания, которые любил в детстве, — Балтийское море, похожее на коленопреклоненную женщину, ботфорту Италии, каплю Цейлона, упавшую с носа Индии. Он считал, что экватору не везет, — все больше идет по морю, — правда, перерезает два континента, но не поладил с Азией, подтянувшейся вверх: слишком нажал и раздавил то, что ему перепало, — кой-какие кончики, неаккуратные острова. Он знал самую высокую гору и самое маленькое государство и, глядя на взаимное расположение обеих Америк, находил в их позе что-то акробатическое. «Но в общем все это можно было бы устроить пикантнее, — говорил он, показывая на карту мира. — Нет тут идеи, нет пуанты». И он даже немного сердился, что не может найти значения всех этих сложных очертаний,

и долго искал возможность, как искал ее в детстве, пройти из Северного моря в Средиземное по лабиринтам рек или проследить какой-нибудь разумный узор в распределении горных цепей.

«Куда же мы поедем?» — говорила жена и слегка причмокивала, как делают взрослые, когда, начиная игру с ребенком, изображают приятное предвкушение. И затем она громко называла романтические страны. «...Вот сперва на Ривьеру, — предлагала она. — Монте-Карло, Ницца. Или, скажем, Альпы». — «А потом немножко сюда, — сказал Лужин. — В Крыму есть очень дешевый виноград». — «Что вы, Лужин, Господь с вами, в Россию нам нельзя». — «Почему? — спросил Лужин. — Меня туда звали». — «Глупости, замолчите, пожалуйста», — сказала она, рассердившись не столько на то, что Лужин говорит о невозможном, сколько на то, что косвенно вспомнил нечто, связанное с шахматами. «Смотрите сюда, — сказала она, и Лужин покорно перевел глаза на другое место карты. — Вот тут, например, Египет, пирамиды. А вот Испания, где делают ужасные вещи с бычками...»

Она знала, что во многих городах, которые они могли бы посетить, Лужин, вероятно, не раз уже побывал, и потому, во избежание вредных реминисценций, больших городов не называла. Напрасная предосторожность. Тот мир, по которому Лужин в свое время разъезжал, не был изображен на карте, и если бы она назвала ему Рим или Лондон, то, по звуку этих названий в ее устах и по полной ноте на карте, он представил бы себе что-то совсем новое, невиданное, а ни в коем случае не смутное шахматное кафе, которое всегда было одинаково, находись оно в Риме, Лондоне или в той же невинной Ницце, доверчиво названной ею. Когда же она принесла из железнодорожного бюро многочисленные проспекты, то еще резче как будто отделился мир шахматных путешествий от этого нового мира, где прогуливается турист в белом костюме, с биноклем на перевязи. Были черные силуэты пальм на розовом закате, и опрокинутые силуэты этих же пальм в розовом, как закат, Ниле. Было до непристойности синее море, сахарно-белая гостиница с пестрым флагом, веющим в другую сторону, чем дымок парохода на горизонте, были снеговые вершины и висячие мосты, и лагуны с гондолами, и в бесконечном количестве старинные церкви, и какой-нибудь

узенький переулок, и ослик с двумя толстыми тюками на боках... Все было красиво, все было забавно, перед всем неведомый автор проспектов приходил в восторг, захлебывался похвалами... Звонкие названия, миллион святых, воды, излечивающие от всех болезней, возраст городского вала, гостиницы первого, второго, третьего разряда, — от всего этого рябило в глазах, и все было хорошо, всюду ждали Лужина, звали громовыми голосами, безумели от собственного радушия и, не спрашивая хозяина, раздаривали солнце.

В эти же первые дни супружества Лужин посетил контору тестя. Тесть что-то диктовал, а пишущая машинка твердила свое, — скороговоркой повторяла слово «то», приблизительно со следующей интонацией: «То ты пишешь не то, Тото, то — то то, то это мешает писать вообще», — и что-то с треском передвигалось. Тесть ему показал стопки бланков, бухгалтерские книги с зетоподобными линиями на страницах, книги с оконцами на корешках, чудовищно толстые тома коммерческой Германии, счетную машину, очень умную, совершенно ручную. Однако больше всего Лужину понравился Тото, пишущий не то, слова, быстро посыпавшиеся на бумагу, чудесная ровность лиловых строк и сразу несколько копий. «Я бы тоже... Надо знать», — сказал он, и тесть одобрительно кивнул, и пишущая машинка появилась у Лужина в кабинете. Ему было предложено, что один из конторских служащих придет и ему все объяснит, но он отказался, ответив, что научится сам. И точно: он довольно быстро разобрался в устройстве, научился вставлять ленту, вкатывать листы, подружился со всеми рычажками. Труднее оказалось запомнить расположение букв, стукание шло чрезвычайно медленно; никакой тотовой скороговорки не получалось, и почему-то — с первого же дня — пристал восклицательный знак, — выскакивал в самых неожиданных местах. Сперва он переписал полстолбца из немецкой газеты, а потом сам кое-что сочинил. Вышло короткое письмецо такого содержания: «Вы требуетесь по обвинению в убийстве. Сегодня 27 ноября. Убийство и поджог. Здравствуйте, милостивая государыня. Теперь, когда ты нужен, восклицательный знак, где ты? Тело найдено. Милостивая государыня!! Сегодня придет полиция!!!» Лужин перечел это несколько раз и, вставив обратно лист, подписал довольно криво, мучительно ища

букв: «Аббат Бузони». Тут ему стало скучно, дело шло слишком медленно. И как-нибудь нужно было приспособить написанное письмо. Порывшись в телефонной книге, он выискал некую Луизу Альтман, рантьершу, написал от руки адрес и послал ей свое сочинение.

Некоторым развлечением служил и граммофон. Бархатным голосом пел шоколадного цвета шкафчик под пальмой, и Лужин, обняв жену, сидел на диване, и слушал, и думал о том, что скоро ночь. Она вставала, меняла пластинку, держа диск к свету, и на нем был зыбкий сектор шелкового блеска, как лунная гралица на море. И снова шкафчик источал музыку, и опять садилась рядом жена, опускала подбородок на скрещенные пальцы и слушала, моргая. Лужин запоминал мотивы и даже пытался их напевать. Были стонущие, трескучие, улюлюкающие танцы и нежнейший американец, поющий шепотом, и была целая опера в пятнадцать пластинок — «Борис Годунов» — с колокольным звоном в одном месте и с жутковатыми паузами.

Часто заходили родители жены, и было заведено, что три раза в неделю Лужины у них обедают. Мать не раз пробовала узнать у дочери кое-какие подробности брака и пытливо спрашивала: «Ты беременна? Я уверена, что уже беременна». — «Да что ты, — отвечала дочь, — я давно родила». Была она все так же спокойна, и так же улыбалась исподлобья, и так же звала Лужина по фамилии и на вы. «Мой бедный Лужин, — говорила она, нежно выдвигая губы, — мой бедный, бедный». И Лужин щекой терся об ее плечо, и она смутно думала, что, вероятно, бывают еще блаженства, кроме блаженства сострадания, но что до этого ей нет дела. Единственной ее заботой в жизни было ежеминутное старание возбуждать в Лужине любопытство к вещам, поддерживать его голову над темной водой, чтоб он мог спокойно дышать. Она спрашивала Лужина по утрам, что он видел во сне, веселила его утренний аппетит то котлеткой, то английским мармеладом, водила его гулять, подолгу останавливалась с ним перед витринами, читала ему вслух после обеда «Войну и Мир», занималась с ним веселой географией, под ее диктовку он стучал на машинке. Несколько раз она повела его в музей, показала ему любимые свои картины и объяснила, что во Фландрии, где туманы и дождь, художники пишут ярко, а в Испании, стране солнца, родился самый сумрачный мастер. Говорила

она еще, что вон у того есть чувство стеклянных вещей, а этот любит лилии и нежные лица, слегка припухшие от небесной простуды, и обращала его внимание на двух собак, по-домашнему ищущих крошек под узким, бедно убранным столом «Тайной Вечери». Лужин кивал и прилежно щурился, и очень долго рассматривал огромное полотно, где художник изобразил все мучение грешников в аду, — очень подробно, очень любопытно. Побывали они и в театре, и в Зоологическом саду, и в кинематографе, причем оказалось, что Лужин никогда раньше в кинематографе не бывал. Белым блеском бежала картина, и наконец, после многих приключений, дочь вернулась в родной дом знаменитой актрисой и остановилась в дверях, а в комнате, не видя ее, поседевший отец играет в шахматы с совершенно не изменившимся за эти годы доктором, верным другом семьи. В темноте раздался отрывистый смех Лужина. «Абсолютно невозможное положение фигур», — сказал он, но тут, к великому облегчению его жены, — все переменилось, и отец, увеличиваясь, шел на зрительный зал и вовсю разыгрался, сперва расширились глаза, потом легкое дрожание, ресницы хлопнули, еще некоторое дрожание, и медленно размякли, подобрели морщины, медленная улыбка бесконечной нежности появилась на его лице, продолжавшем дрожать, — а ведь старик-то, господа, в свое время проклял дочь... Но доктор — доктор стоит в стороне, он помнит, — бедный, скромный доктор, — как она, молоденькой девочкой, в самом начале картины, бросала в него цветами через изгородь, пока он, лежа на траве, читал книгу: он тогда поднял голову: просто — изгородь, но вдруг из-за нее вырастает девический пробор, а потом пара большущих глаз, — ах ты, Господи Боже мой, какое лукавство, какая игривость! Вали, доктор, через изгородь, — вон бежит милая шалунья, прячется за стволы, — лови, лови, доктор! Но теперь все это прошло. Склонив голову, безвольно опустив руки, в одной — шляпа, стоит знаменитая актриса, — (ведь она падшая, падшая...). А отец, продолжая дрожание, принимается медленно открывать объятья, и вдруг она опускается на колени перед ним. Лужин стал сморкаться. Когда же они вышли из кинематографа, у него были красные глаза и он покашливал и отрицал, что плакал. И на следующий день, за утренним кофе, он вдруг облокотился на стол и задумчиво сказал: «Очень, очень хорошо». Он подумал еще и добавил: «Но играть они

не умеют». — «Как не умеют? — удивилась жена. — Это же первоклассные актеры». Лужин искоса взглянул на нее и сразу отвел глаза, и что-то ей не понравилось в этом. Внезапно она поняла, в чем дело, стала решать про себя вопрос, как заставить Лужина забыть эту несчастную игру в шахматы, которую дурак режиссер счел нужным ввести для настроения. Но Лужин, по-видимому, тотчас сам забыл, — увлекся настоящим русским калачом, который прислала теща, и глаза у него были опять совсем ясные.

Так прошел месяц, другой. Зима была в тот год белая, петербургская. Лужину сшили ватное пальто. Нищим русским были выданы некоторые старые лужинские вещи, — между прочим зеленое шерстяное кашнэ швейцарского происхождения. Нафталинные шарики источали грустный, шероховатый запах. В прихожей висел обреченный пиджак. «Он такой комфортабельный, — взмолился Лужин, — такой чрезвычайно комфортабельный». — «Оставьте, — сказала жена из спальни. — Я его еще не осмотрела. Он, вероятно, кишит молью». Лужин снял смокинг, который примерял, чтобы посмотреть, не очень ли он располнел за последний месяц (располнел, располнел, — а завтра большой русский бал, благотворительное веселье), и с любовью влез в рукава обреченного. Милейший пиджак, никаких молей нет и в помине. Вот только в кармане дырка, но не насквозь, как иногда бывало. «Чудно», — крикнул он тонким голосом. Жена, с носком в руке, выглянула в прихожую. «Снимите, Лужин. Он же рваный, пыльный. Бог знает сколько лежал». — «Нет, нет», — сказал Лужин. Она осмотрела его со всех сторон; Лужин стоял и хлопал себя по бедрам, и, между прочим, почувствовал, что как будто есть что-то в кармане, сунул руку — нет, ничего, только дыра. «Он очень дряхлый, — проговорила жена, поморщившись, — но, может быть, как рабочая куртка...» — «Умоляю», — сказал Лужин. — «Ну, Бог с вами, — только дайте потом горничной хорошенько выколотить». «Нет, он чистый», — сказал про себя Лужин и решил его вешать где-нибудь в кабинете, в какой-нибудь шкафчик, снимать и вешать, как это делают чиновники. Снимая его, он опять почувствовал, что как будто пиджак с левой стороны чуть тяжелее, но вспомнил, что карманы пусты, и причины тяжести не исследовал. А вот смокинг стал тесноват, прямо тесноват. «Бал», — произнес Лужин и представил себе много, много кружащихся пар.

Оказалось, что бал происходит в залах одной из лучших берлинских гостиниц. У вешалок было много народа, гардеробщицы принимали и уносили вещи, как спящих детей. Лужину выдали ладный металлический номерок. Он хватился жены, но сразу нашел ее: стояла перед зеркалом. Он приложил металлический кружок к нежной впадине ее гладкой напудренной спины. «Брр, холодно», — воскликнула она, поводя лопаткой. «Под руку, под руку, — сказал Лужин. — Мы должны войти под руку». Так они и вошли. Первое, что увидел Лужин, была его теща, помолодевшая, румяная, в великолепном, сверкающем кокошнике. Она продавала крюшон, и пожилой англичанин (просто спустившийся из своего номера) быстро пьянел, облокотясь на ее стол. На другом столе, около разноцветно освещенной елки, было лотерейное нагромождение: представительный самовар в красно-синих бликах со стороны елки, куклы в сарафанах, граммофон, ликеры (дар Смирновского). На третьем были сандвичи, итальянский салат, икра, — и прекрасная белокурая дама кричала кому-то: «Марья Васильевна, Марья Васильевна, почему опять унесли... я же просила...» «Здравия желаю», — сказал кто-то рядом, и жена подняла выгнутую по-лебединому руку. А дальше, в другом зале, была уже музыка, и в пространстве между столиками топтались и кружились танцующие; чья-то спина с размаху налетела на Лужина, и он крякнул и отступил. Жена его исчезла, и он, ища ее глазами, направился обратно, в первый зал. Тут томбола привлекла опять его внимание. Выплачивая каждый раз марку, он погружал руку в ящик и вытаскивал трубочкой свернутый билетик. Сопя носом и вытягивая губы, он долго разворачивал трубочку и, не найдя никакой цифры снутри, смотрел, нет ли ее на другой, внешней стороне, — бесполезное, но очень обычное искание. В конце концов он выиграл детскую книжку, какого-то «Кота-Мурлыку», и, не зная, что с ней делать, оставил ее на чьем-то столике, где два полных бокала ждали возвращения танцовавшей четы. Ему стало вдруг неприятно от тесноты и движения, от взрывов музыки, и некуда было деться, и все, вероятно, смотрели на него и удивлялись, почему он не пляшет. Жена в перерывах между танцами искала его в другом зале, и на каждом шагу ее останавливали знакомые. Было очень много народу на этом балу, — был с трудом добытый иностранный посланник,

и знаменитый русский певец, и две кинематографических актрисы. Ей указали на их столик: дамы напоказ улыбались, и кавалеры их — трое раскормленных мужчин режиссерско-купеческого образца — цыкали, щелкали пальцами и ругали бледного, потного лакея за медлительность и нерасторопность. Один из этих мужчин показался ей особенно противным: белозубый, с сияющими карими глазами; покончив с лакеем, он громко стал рассказывать что-то, вставляя в русскую речь самые истасканные немецкие словечки. И вдруг, ни с того ни с сего, ей стало грустно, что все смотрят на этих кинематографических дам, на певца, на посланника, и никто как будто не знает, что на балу присутствует шахматный гений, чье имя было в миллионах газет, чьи партии уже названы бессмертными. «С вами удивительно легко танцуется. Паркет тут хороший. Извините. Ужасно тесно. Сбор будет отличный. Вот этот — из французского посольства. С вами танцуется удивительно легко». На этом обыкновенно разговор и прекращался, с ней любили танцовать, но не знали, о чем, собственно, разговаривать. Довольно красивая, но скучная молодая дама. И этот странный брак с каким-то неудачным музыкантом или что-то вроде этого. «Как вы сказали — бывший социалист? Игрок? Вы у них бываете, Олег Сергеевич?»

Тем временем Лужин нашел глубокое кресло недалеко от лестницы и глядел из-за колонны на толпу, куря тринадцатую папиросу. В другое кресло, рядом, предварительно осведомившись, не занято ли оно, сел смуглый господин с тончайшими усиками. Мимо все проходили люди, и Лужину постепенно становилось страшно. Некуда было взглянуть, чтобы не встретить любопытствующих глаз, и по проклятой необходимости глядеть куда-нибудь он уставился на усики соседа, который, по-видимому, тоже был поражен и озадачен всем этим шумным и ненужным кавардаком. Господин, почувствовав взгляд Лужина, повернул к нему лицо. «Давно я не был на балу», — сказал он дружелюбно и усмехнулся, покачивая головой. «Главное, не надо смотреть», — глухо произнес Лужин, устроив из ладоней подобие шор. «Я издалека приехал, — деловито сказал господин. — Меня сюда затащил приятель. Я, по правде говоря, устал». — «Усталость и тяжесть, — кивнул Лужин. — Неизвестно, что все это значит. Превосходит мою концепцию». — «В особенности если, как я, работаешь на бразиль-

ской плантации», — сказал господин. «Плантации», — как эхо, повторил за ним Лужин. «Странно у вас тут живут, — продолжал господин. — Мир открыт со всех четырех сторон, а тут отбиваются чарльстончики на весьма ограниченном кусочке паркета». — «Я тоже уеду, — сказал Лужин. — Я достал проспекты». — «Чего моя нога хочет, — воскликнул господин. — Вольному страннику — попутный ветер. И какие чудесные страны... Я встретил немецкого ботаника в лесах за Рио Негро и жил с женою французского инженера на Мадагаскаре». — «Нужно будет достать, — сказал Лужин. — Очень вообще привлекательная вещь — проспекты. Все крайне подробно».

«Лужин, вот вы где», — вдруг окликнул его голос жены; она быстро проходила мимо под руку с отцом. «Я сейчас вернусь, только достану для нас столик», — крикнула она, оглядываясь, и исчезла. «Ваша фамилия — Лужин?» — с любопытством спросил господин. «Да-да, — сказал Лужин, — но это не играет значения». — «Лужина я одного знал, — медленно произнес господин, щурясь (ибо память человека близорука). — Я знал одного. Вы не учились случайно в Балашовском училище?» — «Предположим», — ответил Лужин и, охваченный неприятным подозрением, стал вглядываться в лицо собеседника. «В таком случае мы одноклассники! — воскликнул тот. — Моя фамилия Петрищев. Помните меня? Ну конечно, помните! Вот так случай. По лицу я вас никогда бы не узнал. Нет, не вас, — тебя. Позволь, Лужин... Твое имя-отчество... Ах, кажется, помню, — Антон... Антон... Как дальше?» — «Ошибка, ошибка», — содрогнувшись, сказал Лужин. «Да, у меня память плоха, — продолжал Петрищев. — Я забыл многие имена. Вот, например, помните, — был у нас такой тихий мальчик. Потом он потерял руку в бою у Врангеля, как раз перед эвакуацией. Я видел его в церкви в Париже. Ну, как его имя?» — «Зачем это нужно? — сказал Лужин. — Зачем о нем столько говорить?» — «Нет, не помню, — вздохнул Петрищев, оторвав ладонь ото лба. — Но вот, например, был у нас Громов: он тоже теперь в Париже; кажется, хорошо устроился. Но где другие? Где они все? Рассеялись, испарились. Странно об этом думать. Ну, а вы как живете, ты как живешь, Лужин?» — «Благополучно», — сказал Лужин и отвел глаза от лица разошедшегося Петрищева, увидев его вдруг таким, как оно было тогда: маленькое, розовое,

невыносимо насмешливое. «Прекрасные были времена, — крикнул Петрищев. — Помните, помнишь, Лужин, Валентина Иваныча? Как он с картой мира ураганом влетал в класс? А тот, старичок, — ах, опять забыл фамилию, — помните, как он, трясясь, говорил: "Ну-те, тьфу, пустая голова... Позолотить бы, да и только!" Прекрасные времена. А как мы по лестнице шпарили вниз, во двор, помните? А как на вечеринке оказалось, что Арбузов умеет играть на рояле? Помните, как у него никогда опыты не выходили? И какую мы на "опыты" придумали рифму?» «...просто не реагировать», — быстро сказал про себя Лужин. «И все это рассеялось, — продолжал Петрищев. — Вот мы здесь на балу... Ах, кстати, я как будто помню... Ты чем-то таким занимался, когда ушел из школы. Что это было? Да, конечно, — шахматы!» — «Нет-нет, — сказал Лужин. — Ради Бога, зачем это вы...» — «Ну, простите, — добродушно проговорил Петрищев. — Значит, я путаю. Да-да, дела... Бал в полном разгаре. А мы тут беседуем о прошлом. Я, знаете, объездил весь мир... Какие женщины на Кубе! Или вот, например, однажды в джунглях...»

«Он все врет, — раздался ленивый голос сзади. — Никогда он ни в каких джунглях не бывал».

«Ну зачем ты все портишь», — протянул Петрищев, оборачиваясь. «Вы его не слушайте, — продолжал лысый долговязый господин, обладатель ленивого голоса. — Он как попал из России в Париж, так с тех пор только третьего дня и выехал». — «Позволь, Лужин, тебе представить», — со смехом начал Петрищев; но Лужин поспешно удалялся, вобрав голову в плечи и от скорой ходьбы странно виляя и вздрагивая.

«Отваливает, — удивленно сказал Петрищев и добавил раздумчиво: — В конце концов, я, может быть, принял его за другого».

Лужин, натыкаясь на людей и с плачущим звуком восклицая: «Пардон, пардон!», все натыкаясь на людей и стараясь не смотреть на их лица, искал жену, и когда внезапно увидел, схватил ее сзади за локоть, так что она, вздрогнув, обернулась; но сперва он ничего не мог сказать, слишком запыхался. «В чем дело?» — спросила она со страхом. «Уйдем, уйдем», — забормотал он, не отпуская ее локтя. «Успокойтесь, пожалуйста, Лужин, не надо так, — сказала она, слегка оттесняя его в сторону, чтобы не слышали

посторонние. — Почему вы хотите уехать?» — «Там один человек, — проговорил Лужин, прерывисто дыша. — И такие неприятные разговоры». — «...которого вы прежде знали?» — спросила она тихо. «Да-да, — закивал Лужин. — Уедем. Я прошу».

Жмурясь, чтобы Петрищев не заметил его, он протиснулся в переднюю, стал шарить в карманах, отыскивая номер, нашел его, после нескольких огромных секунд переполоха и отчаяния; топтался на месте от нетерпения, пока гардеробщица, как сомнамбула, искала вещи... Он первым оделся и первым вышел, и жена быстро следовала за ним, запахивая на ходу кротовую шубу. Только в автомобиле Лужин задышал спокойно, и выражение растерянной хмурости сменилось виноватой полуулыбочкой. «Милому Лужину было неприятно», — сказала жена, гладя его по руке. «Школьный товарищ, подозрительный субъект», — пояснил Лужин. «Но теперь милому Лужину хорошо», — прошептала жена и поцеловала его мягкую руку. «Теперь все прошло», — сказал Лужин.

Но это было не совсем так. Что-то осталось, — загадка, заноза. По ночам он стал задумываться над тем, почему так жутка была эта встреча. Конечно, были всякие отдельные неприятности, — то, что Петрищев когда-то мучил его в школе, а теперь вспомнил косвенным образом некую растерзанную книжку, и то, что целый мир, полный экзотических соблазнов, оказался обманом хлыща, и уже нельзя было впредь доверять проспектам. Но не сама встреча была страшна, а что-то другое, — тайный смысл этой встречи, который следовало разгадать. Он стал по ночам напряженно думать, как, бывало, думал Шерлок над сигарным пеплом, — и постепенно ему стало казаться, что комбинация еще сложнее, чем он думал сперва, что встреча с Петрищевым только продолжение чего-то и что нужно искать глубже, вернуться назад, переиграть все ходы жизни от болезни до бала.

13

На сизом катке (там, где летом площадки для тенниса), слегка припудренном сухим снежком, опасливо резвились горожане, и в ту минуту, как мимо, по тротуару, проходили

Лужины, совершавшие утреннюю прогулку, самый бойкий из конькобежцев, молодец в свэтере, изящно раскатился голландским шагом и с размаху сел на лед. Дальше, в небольшом сквере, трехлетний ребенок, весь в красном, шатко ступая шерстяными ножками, поплелся к тумбе, беспалой ладошкой загреб снег, лежавший аппетитной горкой, и поднес его ко рту, за что сразу был схвачен сзади и огрет. «Ах ты, бедненький», — оглянувшись, сказала Лужина. По убеленной мостовой проехал автобус, оставив за собой две толстых, черных полосы. Из магазина говорящих и играющих аппаратов раздалась зябкая музыка, и кто-то прикрыл дверь, чтобы музыка не простудилась. Такса в заплатанном синем пальтишке, с низко болтающимися ушами, остановилась, обнюхивая снег, и Лужина успела ее погладить. Что-то легкое, острое, белесое било в лицо, и, если посмотреть на пустое небо, светленькие точки плясали в глазах. Лужина поскользнулась и укоризненно взглянула на свои серые ботики. Около русского гастрономического магазина встретили знакомых, чету Алферовых. «Холодина какая», — воскликнул Алферов, тряся желтой своей бородкой. «Не целуйте, перчатка грязная», — сказала Лужина и спросила у Алферовой, с улыбкой глядя на ее прелестное, всегда оживленное лицо, почему она никогда не зайдет. «А вы полнеете, сударь», — буркнул Алферов, игриво косясь на лужинский живот, преувеличенный ватным пальто. Лужин умоляюще посмотрел на жену. «Так что, милости просим», — закивала она. «Постой, Машенька, телефон ты их знаешь? — спросил Алферов. — Знаешь? Ладно. Ну-с, пока, — как говорят по-советски. Нижайший поклон вашей матушке».

«Он какой-то несчастненький, — сказала Лужина, взяв мужа под руку и меняя шаг, чтобы идти с ним в ногу. — Но Машенька... Какая душенька, какие глаза... Не идите так скоро, милый Лужин, — скользко».

Снег сеять перестал, небо в одном месте бледно посветлело, и там проплыл плоский, бескровный солнечный диск. «А знаете, мы сегодня пойдем так, направо, — предложила Лужина. — Мы, кажется, еще там не проходили». — «Апельсины», — сказал Лужин, указывая тростью на лоток. «Хотите купить? — спросила жена. — Смотрите, мелом на доске: сладкие, как сахар». — «Апельсины», — повторил со вкусом Лужин и вспомнил при этом, как его отец утверж-

дал, что, когда произносишь «лимон», делаешь поневоле длинное лицо, а когда говоришь «апельсин» — широко улыбаешься. Торговка ловко расправила отверстие бумажного мешочка и насовала в него холодных, щербато-красных шаров. Лужин на ходу стал чистить апельсин, морщась в предвидении того, что сок брызнет в глаза. Корки он положил в карман, так как они выглядели бы слишком ярко на снегу, да и, пожалуй, можно сделать из них варенье. «Вкусно?» — спросила жена. Он просмаковал последнюю дольку и с довольной улыбкой взял было жену опять под руку, но вдруг остановился, озираясь. Подумав, он пошел обратно к углу и посмотрел на название улицы. Потом быстро догнал жену и ткнул тростью по направлению ближайшего дома, обыкновенного серо-каменного дома, отделенного от улицы небольшим палисадником за чугунной решеткой. «Тут мой папаша обитал, — сказал Лужин. — Тридцать пять А». — «Тридцать пять А», — повторила за ним жена, не зная, что сказать, и глядя вверх, на окна. Лужин тронулся, срезая тростью снег с решетки. Немного дальше он замер перед писчебумажным магазином, где в окне бюст воскового мужчины с двумя лицами, одним печальным, другим радостным, поочередно отпахивал то слева, то справа пиджак: самопишущее перо, воткнутое в левый карманчик белого жилета, окропило белизну чернилами, справа же было перо, которое не течет никогда. Лужину двуликий мужчина очень понравился, и он даже подумал, не купить ли его. «Послушайте, Лужин, — сказала жена, когда он насытился витриной. — Я давно хотела вас спросить, — ведь после смерти вашего отца остались, должно быть, какие-нибудь вещи. Где все это?» Лужин пожал плечами. «Был такой Хрущенко», — пробормотал он погодя. «Не понимаю», — вопросительно сказала жена. «В Париж мне написал, — нехотя пояснил Лужин, — что вот, смерть и похороны и все такое, и что у него сохраняются вещи, оставшиеся после покойника». — «Ах, Лужин, — вздохнула жена. — Что вы делаете с русским языком». Она подумала и добавила: «Мне-то все равно, мне только казалось, что вам было бы приятно иметь эти вещи, — ну, как память». Лужин промолчал. Она представила себе эти никому не нужные вещи, — быть может, писательское перо старика Лужина, какие-нибудь бумаги, фотографии, — и ей стало грустно, она мысленно упрекнула

мужа в жестокосердии. «Но одно нужно сделать непременно, — сказала она решительно. — Мы должны поехать на кладбище, посмотреть на могилу, посмотреть, не запущено ли». — «Холодно и далеко», — сказал Лужин. «Мы это сделаем на днях, — решила она. — Погода должна перемениться. Пожалуйста, осторожно, — автомобиль».

Погода ухудшилась, и Лужин, помня унылый пустырь и кладбищенский ветер, просил отложить поездку до будущей недели. Мороз, кстати сказать, был необыкновенный. Закрылся каток, которому вообще не везло: в прошлую зиму все оттепель да оттепель, и лужа вместо льда, а в нынешнем такой холод, что и школьникам не до коньков. В парках, на снегу, лежали маленькие, крутогрудые птицы с поднятыми лапками. Безвольная ртуть под влиянием среды падала все ниже. И даже полярные медведи в Зоологическом саду поеживались, находя, что дирекция переборщила.

Квартира Лужиных оказалась одной из тех благополучных квартир с героическим центральным отоплением, в которых не приходилось сидеть в шубах и пледах. Родители жены, обезумев от холода, чрезвычайно охотно приходили к центральному отоплению в гости. Лужин, в старом пиджаке, спасенном от гибели, сидел у письменного стола и старательно срисовывал белый куб, стоявший перед ним. Тесть ходил по кабинету и рассказывал длинные, совершенно приличные анекдоты или читал на диване газету, изредка набирая воздух и откашливаясь. Теща и жена оставались за чайным столом, и из кабинета, через темную гостиную, был виден яркий, желтый абажур в столовой, освещенный профиль жены на буром фоне буфета, ее голые руки, которые, далеко облокотившись на скатерть, она загнула к одному плечу, скрестив пальцы, или вдруг плавно вытягивала руку и трогала какой-нибудь блестящий предмет на скатерти. Лужин отставлял куб и, взяв чистый лист бумаги, приготовив жестяной ящик с пуговицами акварельной краски, спешил зарисовать эту даль, но, покамест тщательно, при помощи линейки, он выводил линии перспективы, в глубине что-то менялось, жена исчезала из яркой проймы столовой, свет потухал и зажигался поближе, в гостиной, и уже никакой перспективы не было. До красок вообще доходило редко, да и, по правде сказать, Лужин предпочитал карандаш. От сырости акварели непри-

ятно коробилась бумага, мокрые краски сливались; порой нельзя было отвязаться от какой-нибудь чрезвычайно живучей берлинской лазури, — наберешь ее только на самый кончик кисточки, а она уже расползается по эмали, пожирая приготовленный тон, и вода в стаканчике ядовито-синяя. Были плотные трубочки с китайской тушью и белилами, но неизменно терялись колпачки, подсыхало горлышко, и при нажатии трубочка лопалась снизу, и оттуда вылезал, виясь, толстый червячок краски. Бесплодная выходила пачкотня, и самые простые вещи — ваза с цветами или закат, скопированный из проспекта Ривьеры, — получались пятнистые, болезненные, ужасные. Рисовать же было приятно. Он нарисовал тещу, и она обиделась; нарисовал в профиль жену, и она сказала, что если она такая, то нечего было на ней жениться; зато очень хорошо вышел высокий крахмальный воротник тестя. С удовольствием Лужин чинил карандаш, мерил что-то, прищурив глаз и подняв карандаш с прижатым к нему большим пальцем, и осторожно двигал по бумаге резинкой, придерживая лист ладонью, так как по опыту знал, что иначе лист с треском даст складку. И очень деликатно он сдувал атомы резины, боясь прикосновением руки загрязнить рисунок. Больше всего он любил то, с чего начал по совету жены, то, к чему постоянно возвращался, — белые кубы, пирамиды, цилиндры и кусок гипсового орнамента, напоминавший ему урок рисования в школе, — единственный приемлемый урок. Успокоительны были тонкие линии, которые он по сто раз перечерчивал, добиваясь предельной тонкости, точности, чистоты. И замечательно хорошо было тушевать, нежно и ровно, не слишком нажимая, правильно ложащимися штрихами.

«Готово», — сказал он, отстраняя от себя лист и сквозь ресницы глядя на дорисованный куб. Тесть надел пенснэ и долго смотрел, кивая головой. Из гостиной пришли теща и жена и стали смотреть тоже. «Он даже маленькую тень отбрасывает, — сказала жена. — Очень, очень симпатичный куб». — «Здорово, прямо футуристика», — проговорила теща. Лужин, улыбаясь одной стороной рта, взял рисунок и оглядел стены кабинета. Около двери уже висело одно его произведение: поезд на мосту, перекинутом через пропасть. В гостиной тоже было кое-что: череп на телефонной книжке. В столовой были очень круглые апельсины,

которые все почему-то принимали за томаты. А спальню украшал углем сделанный барельеф и конфиденциальный разговор конуса с пирамидой. Он ушел из кабинета, блуждая по стенам глазами, и жена сказала со вздохом: «Интересно, куда милый Лужин это повесит».

«Меня еще не сочли нужным уведомить», — начала мать, указывая подбородком на груду пестрых проспектов, лежавших на столе. «А я сама не знаю, — сказала Лужина. — Очень трудно решить, всюду красиво. Я думаю, мы сперва поедем в Ниццу». — «Я бы посоветовал Итальянские озера», — заговорил отец, сложив газету и сняв пенснэ, и стал рассказывать, как эти озера прекрасны. «Я боюсь, ему немного надоели разговоры о путешествии, — сказала Лужина. — Мы в один прекрасный день просто сядем в поезд и покатим». — «Не раньше апреля, — умоляюще протянула мать. — Ты же мне обещала...»

Лужин вернулся в кабинет. «У меня значилась коробочка с кнопками», — сказал он, глядя на письменный стол и хлопая себя по карманам (при этом он опять, в третий или четвертый раз, почувствовал, что в левом кармане что-то есть, — но не коробочка, — и некогда было расследовать). Кнопки нашлись в столе. Лужин взял их и поспешно вышел.

«Да, я совсем забыла тебе рассказать. Представь себе, вчера утром...» И она стала рассказывать дочери, что звонила ей одна дама, неожиданно приехавшая из России. Эта дама барышней часто бывала у них в Петербурге. Оказалось, что несколько лет тому назад она вышла замуж за советского купца или чиновника — точно нельзя было разобрать — и по пути на курорт, куда муж ехал набираться новых сил, остановилась недельки на две в Берлине. «Мне, знаешь, как-то неловко, чтобы она бывала у меня, но она такая навязчивая. Удивляюсь, что она не боится звонить ко мне. Ведь если у нее там, в Совдепии, узнают, что она ко мне звонила...» — «Ах, мама, это, вероятно, очень несчастная женщина, — вырвалась временно на свободу, хочется повидать кого-нибудь». — «Ну, так я тебе ее передам, — облегченно сказала мать, — благо у тебя теплее».

И как-то, через несколько дней, в полдень появилась приезжая. Лужин еще почивал, так как ночью плохо выспался. Дважды с гортанным криком просыпался, душимый кошмаром, и сейчас Лужиной было как-то не до

гостей. Приезжая оказалась худощавой, живой, удачно накрашенной и остриженной дамой, одетой, как одевалась Лужина, с недешевой простотой. Громко, вперебивку, убеждая друг друга, что обе они ничуть не изменились, а разве только похорошели, они прошли в кабинет, где было уютней, чем в гостиной. Приезжая про себя отметила, что Лужина десять-двенадцать лет тому назад была довольно изящной, подвижной девочкой, а теперь пополнела, побледнела, притихла, а Лужина нашла, что скромная, молчаливая барышня, некогда бывавшая у них и влюбленная в студента, впоследствии расстрелянного, превратилась в очень интересную, уверенную даму. «Ну и ваш Берлин... благодарю покорно. Я чуть не сдохла от холода. У нас в Ленинграде теплее, ей-Богу теплее». — «Какой он, Петербург? Наверно, очень изменился?» — спросила Лужина. «Конечно, изменился», — бойко ответила приезжая. «И тяжелая, тяжелая жизнь», — вдумчиво кивая, сказала Лужина. «Ах, глупости какие! Ничего подобного. Работают у нас, строят. Даже мой мальчуган, — как, вы не знали, что у меня есть мальчуган? — ну как же, как же, очаровательный карапуз, — так вот, даже мой Митька говорит, что у нас в Ленингляде ляботают, а в Беллине бульзуи ничего не делают. И вообще, он находит, что в Берлине куда хуже, ни на что даже не желает смотреть. Он такой, знаете, наблюдательный, чуткий... Нет, серьезно говоря, ребенок прав. Я сама чувствую, как мы опередили Европу. Возьмите наш театр. Ведь у вас, в Европе, театра нет, просто нет. Я, понимаете, ничуть, ничуть не хвалю коммунистов. Но приходится признать одно: они смотрят вперед, они строят. Интенсивное строительство». — «Я ничего в политике не понимаю, — жалобно протянула Лужина. — Но только мне кажется...» — «Я только говорю, что нужно широко мыслить, — поспешно продолжала приезжая. — Вот, например, я сразу, как приехала, купила эмигрантскую газетку. И еще муж говорит, так, в шутку, — зачем ты, матушка, деньги тратишь на такое дерьмо, — он хуже выразился, но скажем так для приличия, — а я вот: нет, говорю, все нужно посмотреть, все узнать, совершенно беспристрастно. И представьте, — открываю газету, читаю, и такая там напечатана клевета, такая ложь, так все плоско». — «Я русские газеты редко вижу, — виновато сказала Лужина. — Вот мама получает русскую газету, из Сербии, кажется...» — «Круговая

порука, — продолжала с разбегу приезжая. — Только ругать, и никто не смеет пикнуть что-нибудь за». — «Право же, будем говорить о другом, — растерянно сказала Лужина. — Я не могу это выразить, я плохо умею об этом говорить, но я чувствую, что вы ошибаетесь. Вот, если хотите поговорить об этом с моими родителями как-нибудь...» — (и, говоря это, Лужина, не без некоторого удовольствия, представила себе выкаченные глаза матери и ее павлиньи возгласы). «Ну, вы еще маленькая, — снисходительно улыбнулась приезжая. — Расскажите мне, что вы делаете, чем занимается ваш муж, какой он». — «Он играл в шахматы, — ответила Лужина. — Замечательно играл. Но потом переутомился и теперь отдыхает, и, пожалуйста, не нужно с ним говорить о шахматах». — «Да-да, я знаю, что он шахматист, — сказала приезжая. — Но какой он? Реакционер? Белогвардеец?» — «Право, не знаю», — рассмеялась Лужина. «Я о нем вообще кое-что слышала, — продолжала приезжая. — Когда мне ваша maman сказала, что вы вышли за Лужина, я сразу и подумала почему-то, что это он и есть. У меня была хорошая знакомая в Ленинграде, она и рассказывала мне, — с такой, знаете, наивной гордостью, — как научила своего маленького племянника играть в шахматы, и как он потом стал чрезвычайно...»

На этом месте разговора произошел в соседней гостиной странный шум, словно там кто-то ушибся и вскрикнул. «Одну минуточку», — сказала Лужина и, вскочив с дивана, хотела было раздвинуть дверь в гостиную, но, передумав, прошла в гостиную через прихожую. Там она увидела совершенно неожиданного Лужина. Он был в халате, в ночных туфлях, держал в одной руке кусок булки, — но, конечно, не это было удивительно, — удивительно было дрожащее волнение, искажавшее его лицо, широко открытые, блестящие глаза, и лоб у него словно разбух, жила вздулась, и, увидев жену, он как бы сразу не обратил на нее внимания, а продолжал стоять, глядя с разинутым ртом в сторону кабинета. В следующее мгновение оказалось, что волнение его радостно. Он как-то радостно щелкнул зубами на жену и потом тяжело закружился, чуть не опрокинул пальму, потерял одну туфлю, которая скользнула, как живая, в столовую, где дымилось какао, и он проворно последовал за ней. «Я ничего, ничего», — лукаво сказал Лужин и, как человек, наслаждающийся тайной находкой, хлоп-

нул себя по коленям и, жмурясь, замотал головой. «Эта дама из России, — пытливо сказала жена. — Она знает вашу тетку, которая, — ну, одним словом, одну вашу тетку». — «Отлично, отлично», — проговорил Лужин и вдруг захлебнулся смехом. «Чего я пугаюсь? — подумала она. — Ему просто весело, он проснулся в хорошем настроении, хотел, может быть...» — «Есть какая-нибудь шуточка, Лужин?» — «Да-да, — сказал Лужин и добавил, найдя выход: — Я хотел представиться в халате». — «Ну вот, нам весело, это хорошо, — сказала она с улыбкой. — Вы покушайте, а потом одевайтесь. Сегодня как будто теплее». И Лужина, оставив мужа в столовой, быстро вернулась в кабинет. Гостья сидела на диване и рассматривала виды Швейцарии на страницах путеводительной брошюрки. «Послушайте, — сказала она, увидя Лужину, — а я вас возьму в оборот. Мне нужно кое-что купить, и я абсолютно не знаю, где тут лучшие магазины. Вчера битый час простояла перед витриной, стою и думаю: может быть, есть магазины еще лучше. Да и по-немецки я что-то неважно...»

Лужин остался сидеть в столовой и продолжал изредка хлопать себя по коленям. Да и было чему радоваться. Комбинация, которую он со времени бала мучительно разгадывал, неожиданно ему открылась, благодаря случайной фразе, долетевшей из другой комнаты. В эти первые минуты он еще только успел почувствовать острую радость шахматного игрока, и гордость, и облегчение, и то физиологическое ощущение гармонии, которое так хорошо знакомо творцам. Он еще проделал много мелких движений, прежде чем понял сущность необыкновенного своего открытия, — допил какао, побрился, переставил запонки в свежую рубашку. И вдруг радость пропала, и нахлынул на него мутный и тяжкий ужас. Как в живой игре на доске бывает, что неясно повторяется какая-нибудь задачная комбинация, теоретически известная, — так намечалось в его теперешней жизни последовательное повторение известной ему схемы. И как только прошла первая радость, — что вот, он установил самый факт повторения, — как только он стал тщательно проверять свое открытие, Лужин содрогнулся. Смутно любуясь и смутно ужасаясь, он прослеживал, как страшно, как изощренно, как гибко повторялись за это время, ход за ходом, образы его детства (и усадьба, и город, и школа, и петербургская тетя), но еще не совсем понимал,

чем это комбинационное повторение так для его души ужасно. Одно он живо чувствовал: некоторую досаду, что так долго не замечал хитрого сочетания ходов, и теперь, вспоминая какую-нибудь мелочь, — а их было так много, и иногда так искусно поданных, что почти скрывалось повторение, — Лужин негодовал на себя, что не спохватился, не взял инициативы, а в доверчивой слепоте позволил комбинации развиваться. Теперь же он решил быть осмотрительнее, следить за дальнейшим развитием ходов, если таковое будет, — и конечно, конечно, держать открытие свое в непроницаемой тайне, быть веселым, чрезвычайно веселым. Но с этого дня покоя для него не было, — нужно было придумать, пожалуй, защиту против этой коварной комбинации, освободиться от нее, а для этого следовало предугадать ее конечную цель, роковое ее направление, но это еще не представлялось возможным. И мысль, что повторение будет, вероятно, продолжаться, была так страшна, что ему хотелось остановить часы жизни, прервать вообще игру, застыть, и при этом он замечал, что продолжает существовать, что-то подготовляется, ползет, развивается, и он не властен прекратить движение.

Быть может, жена скорее бы заметила перемену в Лужине, его деревянную веселость в перерывах хмурости, если бы в эти дни больше бывала с ним. Но так случилось, что именно в эти дни ее взяла в оборот, как и обещала сделать, неотвязная дама из России — часами заставляла себя возить по магазинам, неторопливо примеряла шляпы, платья, туфли и подолгу засиживалась у Лужиных. Она по-прежнему говорила о том, что в Европе нет театра, и с холодной легкостью произносила «Ленинград», и Лужина почему-то жалела ее, сопровождала ее в кафе, покупала ее сынку, мрачному, толстому мальчику, лишенному при чужих дара речи, игрушки, которые он нехотя и боязливо брал, причем его мать утверждала, что ничто ему тут не нравится и что он мечтает вернуться к своим маленьким пионерам. Встретилась она и с родителями Лужиной, но разговора о политике, к сожалению, не произошло, вспоминали прежних знакомых, а Лужин молча и сосредоточенно кормил Митьку шоколадными конфетами, и Митька их молча и сосредоточенно поглощал, и потом сильно покраснел, и был поспешно уведен из комнаты. Погода меж тем потеплела, и раза два Лужина говорила мужу, что вот, когда уедет

наконец эта несчастная женщина с несчастным своим ребенком и неудобопоказуемым мужем, надо будет в первый же день, не откладывая, побывать на кладбище, и Лужин кивал, старательно улыбаясь. Пишущую машинку, географию, рисование он забросил, зная теперь, что все это входило в комбинацию, было замысловатым повторением зафиксированных в детстве ходов. Нелепые дни: Лужина чувствовала, что недостаточно внимательна к настроениям мужа, ускользало что-то, но все же она продолжала вежливо слушать болтовню приезжей, переводить приказчикам ее требования, и особенно было неприятно, когда какие-нибудь туфли, уже раз ношенные, оказывались почему-либо негодными, и нужно было с ней идти в магазин, и раскрасневшаяся дама по-русски распекала фирму, требовала, чтобы переменили туфли, и нужно было ее успокаивать и очень вуалировать в немецкой передаче хлесткие ее словечки. Вечером, накануне своего отъезда, она пришла вместе с Митькой прощаться. Митьку она оставила в кабинете, а сама пошла в спальню с Лужиной, и та в сотый раз показывала ей свой гардероб. Митька сидел на диване и почесывал колено, стараясь не смотреть на Лужина, который тоже не знал, куда смотреть, и придумывал, чем занять рыхлое дитя. «Телефон!» — наконец тонким голосом воскликнул Лужин и, указывая пальцем на аппарат, с нарочитым удивлением захохотал. Но Митька, хмуро посмотрев по направлению лужинского пальца, отвел глаза, и нижняя губа у него чуть-чуть отвисла. «Поезд и пропасть!» — попробовал опять Лужин и простер другую руку, указывая на собственную картину на стене. У Митьки блестящей капелькой наполнилась левая ноздря, и он потянул носом, безучастно глядя перед собой. «Автор одной божественной комедии!» — рявкнул Лужин, подняв руку к бюсту Данте. Молчание, легкое сопение. Лужин устал от своих гимнастических движений и тоже замер. Он стал соображать, нет ли в столовой конфет, подумал, не пустить ли в гостиной граммофон, но мальчик на диване его гипнотизировал одним своим присутствием, и невозможно было выйти из комнаты. «Игрушку бы», — сказал он про себя, посмотрел на стол, примерил разрезательный нож к любопытству ребенка, нашел, что любопытство возбуждено им не будет, и в отчаянии стал рыться у себя в карманах. И тут снова, в который уже раз, он почувствовал, что левый карман хоть

и пуст, но каким-то таинственным образом хранит в себе некоторое неосязаемое содержание. Лужин подумал, что такой феномен способен заинтересовать Митьку. Он сел с ним рядом на край дивана, хитро подмигнул. «Фокус, — сказал он и стал показывать, что карман пуст. — Эта дырка не имеет отношения к фокусу», — пояснил он. Вяло и недоброжелательно Митька смотрел на его движения. «А все ж таки тут что-то имеется», — восторженно сказал Лужин и опять подмигнул. «За подкладкой», — выцедил из себя Митька и, пожав плечом, отвернулся. «Правильно!» — изображая восхищение, крикнул Лужин и стал совать руку в дырку, придерживая другой рукой полу пиджака. Сперва показался какой-то красный угол, потом и вся вещь — нечто вроде плоской кожаной записной книжки. Лужин посмотрел на нее, подняв брови, повертел в руках и, вынув клапанчик сбоку, осторожно ее открыл. Не книжечка, а маленькая складная шахматная доска из сафьяна. Лужин тотчас вспомнил, что ему подарили ее в парижском клубе, — всем участникам тамошнего турнира роздали по такой вещице, — в виде рекламы, что ли, какой-то фирмы, а не то просто на память от клуба. В отделениях, по сторонам самой доски, были целлулоидовые штучки, похожие на ноготки, и на каждой — изображение шахматной фигуры. Эти штучки вставлялись так, что острая часть въезжала в тонкую щелку на нижнем крае каждого квадрата, а округленная часть с нарисованной фигурой ложилась плоско на квадрат. Получалось очень изящно и аккуратно, — эта маленькая красно-белая доска, ладные целлулоидовые ноготки, да еще тисненные золотом буквы вдоль горизонтального края доски и золотые цифры вдоль вертикального. Лужин, разинув рот от удовольствия, стал всовывать ноготки, — сперва просто ряд пешек на второй линии, — но потом передумал и, осторожно, кончиками пальцев, беря вдвижные изображеньица, расставил то положение в его партии с Турати, на котором ее прервали. Эта расстановка произошла почти мгновенно, и сразу вся вещественная сторона дела отпала: маленькая доска, раскрытая у него на ладони, стала неосязаемой и невесомой, сафьян растаял розовой мутью, все исчезло, кроме самого шахматного положения, сложного, острого, насыщенного необыкновенными возможностями. Лужин, приложив палец к виску, так задумался, что не заметил, как Митька, от нечего делать,

сполз с дивана и принялся раскачивать черный ствол стоячей лампы. Вдруг она накренилась, и потух свет. Лужин очнулся в полной темноте и в первое мгновение не понял, где он и что кругом происходит. Невидимое существо ерзало и покрякивало где-то рядом, и внезапно оранжевый абажур опять засиял прозрачным светом, и бледный, с обритой головой, мальчик стоял на коленях и поправлял шнур. Лужин вздрогнул и захлопнул доску. Маленький, страшный его двойник, маленький Лужин, для которого расставлялись шахматы, прополз на коленках по ковру... Все это уже было раз... И опять он попался, не понял, как произойдет в живой игре повторение знакомой темы. И в следующий миг все пришло в равновесие: Митька, посапывая, всполз на диван; в легком сумраке вокруг оранжевой лампы плавал, покачиваясь, лужинский кабинет; красная сафьяновая книжечка невинно лежала на ковре, — но Лужин знал, что это все обман, комбинация еще не вся развилась и вскоре наметится новое роковое повторение. Быстро нагнувшись, он схватил и сунул в карман вещественный символ того, что так сладостно и ужасно завладело опять его воображением, и подумал, куда бы еще вернее спрятать, но тут послышались голоса, вошли жена и гостья, обе поплыли на него, как бы сквозь папиросный дым. «Митька, вставай, пора. Да-да, милая, мне еще столько нужно уложить», — говорила дама и потом подошла к Лужину и стала с ним прощаться. «Очень была рада познакомиться», — сказала она и промеж слов успела подумать, что уже думала не раз: «Ну и балда, ну и типчик!» «Очень была рада. Вот расскажу вашей тетушке, что видела ее маленького шахматиста, ставшего большим, известным...» — «Вы должны непременно навестить нас на обратном пути», — поспешно и громко прервала Лужина, впервые взглянув с ненавистью на улыбающиеся, красные, как сургуч, губы и беспощадно глупые глаза. «Ну, еще бы, само собой разумеется. Митька, встань и попрощайся!» Митька с легким отвращением это исполнил, и все вышли в прихожую. «У вас тут в Берлине всегда возня с выпусканиями», — насмешливо сказала она, глядя, как Лужина берет с подзеркальника ключи. «Нет, у нас лифт», — невпопад ответила Лужина, в неистовом нетерпении мечтая об уходе дамы, и бровью сделала знак мужу, чтобы он подал котиковое пальто. Лужин снял с вешалки детское пальтишко... но

в это мгновение, к счастью, подоспела горничная. «До свидания, до свидания», — кланялась Лужина, стоя в дверях, пока гости, сопровождаемые горничной, располагались в лифте. Из-за жениного плеча Лужин видел, как Митька взлезает на лавочку, а затем дверные половинки закрылись и лифт в своей железной клетке погрузился и исчез. Лужина побежала в кабинет и упала ничком на диван. Он сел с ней рядом и стал в недрах своих с трудом вырабатывать, склеивать, сшивать улыбку, готовя ее для того мгновения, когда жена к нему повернется. Жена повернулась. Улыбка вышла вполне удачная. «Ух, — вздохнула Лужина, — наконец-то избавились», — и, быстро обняв мужа, стала целовать его — в правый глаз, потом в подбородок, потом в левое ухо, — соблюдая строгую череду, им когда-то одобренную. «Ну, прояснитесь, прояснитесь, — повторяла она. — Ведь эта мадам уехала, исчезла». — «Исчезла», — покорно сказал Лужин и, вздохнув, поцеловал руку, трепавшую его за шею. «Нежности-то какие, — шепнула жена, — ах, какие милые нежности...»

Пора было ложиться спать, она ушла раздеваться, а Лужин ходил по всем трем комнатам, отыскивая место, где бы спрятать карманные шахматы. Всюду было небезопасно. В самые неожиданные места совался по утрам хобот хищного пылесоса. Трудно, трудно спрятать вещь, — ревнивы и нерадушны другие вещи, крепко держащиеся своих мест, и не примут они ни в какую щель бездомного, спасающегося от погони предмета. В этот вечер он так и не спрятал сафьяновой книжечки, а затем решил ее не прятать вовсе, а просто отделаться от нее, но это тоже оказалось нелегко; так и осталась она у него за подкладкой, и только через несколько месяцев, когда всякая опасность давно, давно миновала, только тогда сафьяновая книжечка опять нашлась, и уже темно было ее происхождение.

14

Лужина призналась самой себе, что для нее не прошло бесследно трехнедельное пребывание дамы из России. В суждениях дамы была ложь и глупость, — но как это докажешь? Она ужаснулась тому, что в продолжение последних лет так мало занималась наукой изгнания, равно-

душно принимая лаком и золотой вязью блещущие воззрения своих родителей и без внимания слушая речи на собраниях, которые одно время полагалось посещать. Ей пришло в голову, что и Лужин, быть может, найдет вкус в гражданственных изысканиях, быть может, увлечется, как, по-видимому, увлекаются этим миллионы умных людей. А новое занятие для Лужина было необходимо. Он стал странен, появилась знакомая ей хмурость, и бывало у него часто такое скользящее выражение глаз, будто он что-то от нее скрывает. Ее волновало, что еще ни к чему он по-настоящему не пристрастился, и она корила себя, что, по узости умственного зрения, не может найти ту область, ту идею, тот предмет, которые дали бы работу и пищу бездействующим талантам Лужина. Она знала, что нужно спешить, что каждая пустующая минута лужинской жизни — лазейка для призраков. До отъезда в живописные страны надобно было найти для Лужина занимательную игру, а уж потом обратиться к бальзаму путешествий, решительному средству, которым лечатся от хандры романтические миллионеры.

Началось с газет. Она стала выписывать «Знамя», «Россиянина», «Зарубежный Голос», «Объединение», «Клич», купила последние номера эмигрантских журналов и, для сравнения, несколько советских журналов и газет. Было решено, что ежедневно после обеда они будут друг другу читать вслух. Заметив, что в некоторых газетах попадается шахматный отдел, она сперва подумала, не вырезать ли эти места, но побоялась этим обидеть Лужина. Раза два, как пример интересной игры, мелькнули старые лужинские партии. Это было неприятно и опасно. Прятать номера с шахматным отделом не удавалось, так как Лужин копил газеты, желая впоследствии их переплести в виде больших книг. Когда в газете, им открытой, оказывалась темная шахматная диаграмма, она следила за выражением его лица, но ее взгляд он чувствовал и на диаграмму смотрел только мимоходом. И она не знала, с каким грешным нетерпением он ожидал тех четвергов или понедельников, когда бывал шахматный отдел, и не знала, с каким любопытством он просматривал в ее отсутствие напечатанные партии. Задачи же он запоминал сразу, искоса взглянув на рисунок и схватив этим взглядом распределение фигур, и потом решал про себя, пока жена вслух читала ему передовую. «...Вся

деятельность исчерпывается коренным изменением и дополнением, которые должны обеспечить...» — ровным голосом читала жена. «Построение любопытное, — думал Лужин. — Ферзь черных совершенно свободен». «...проводит четкую грань между жизненными интересами, причем нелишним было бы отметить, что ахиллесова пята этой карающей длани...» «Против угрозы на аш-семь у черных есть очевидная защита», — думал Лужин и механически улыбнулся оттого, что жена, прервав на миг чтение, вдруг сказала вполголоса: «Не понимаю». «Если в этом плане, — продолжала она, — рассматривать их дальнейшие планы...» «Ах, какая роскошь», — мысленно воскликнул Лужин, найдя ключ к задаче — очаровательно изящную жертву. «...и катастрофа не за горами», — докончила статью жена и, окончив, вздохнула. Дело в том, что чем внимательнее она читала газеты, тем ей становилось скучнее, и туманом слов и метафор, предположений и выводов заслонялась ясная истина, которую она всегда чувствовала и никогда не могла выразить. Когда же она обращалась к газетам потусторонним, советским, то уже скуке не было границ. От них веяло холодом гробовой бухгалтерии, мушиной канцелярской тоской, и чем-то они ей напоминали образ маленького чиновника с мертвым лицом в одном учреждении, куда пришлось зайти в те дни, когда ее и Лужина гнали из канцелярии в канцелярию ради какой-то бумажки. Чиновник был обидчивый и замученный, и ел диабетический хлебец, и, вероятно, получал мизерное жалованье, был женат, и у ребенка была сыпь по всему телу. Бумажке, которой у них не было и которую следовало достать, он придавал значение космическое, весь мир держался на этой бумажке и безнадежно рассыпался в прах, если человек был ее лишен. Мало того: оказывалось, что Лужины получить ее не могли, прежде чем не истекут чудовищные сроки, тысячелетия отчаяния и пустоты, и одним только писанием прошений было позволено облегчать себе эту мировую скорбь. Чиновник огрызнулся на бедного Лужина за курение в присутственном месте, и Лужин, вздрогнув, сунул окурок в карман. В окно был виден строящийся дом в лесах, косой дождь; в углу комнаты висел черный пиджачок, который чиновник в часы работы менял на люстриновый, и от его стола было общее впечатление лиловых чернил и все того же трансцендентального уныния. Они ушли,

ничего не получив, и Лужина чувствовала словно ей пришлось повоевать с серой и слепой вечностью, которая и победила ее, брезгливо оттолкнув робкую земную мзду — три сигары. Бумажку они получили в другом учреждении мгновенно. Лужина потом с ужасом думала, что маленький чиновник, уславший их, представляет себе, вероятно, как они безутешными призраками бродят в безвоздушных пространствах, и, быть может, все ждет их покорного, рыдающего возвращения. Ей было неясно, почему именно его образ мерещился ей, как только она принималась за московскую газету. Скука и жалость были, что ли, такого же свойства, но ей было мало этого, ум не был удовлетворен, — и вдруг она понимала, что тоже ищет формулу, официальное воплощение чувства, а дело совсем не в том. Уму была непостижима сложная борьба туманных мнений, высказываемых различными газетами изгнания; это разнообразие мнений особенно поразило ее, привыкшую равнодушно думать, что все, которые не мыслят так, как ее родители, мыслят так, как хромой забавник, говоривший о социологии толпе смешливых девиц. Оказывалось, что были тончайшие оттенки мнений и ехиднейшая вражда, — и если все это было слишком сложно для ума, то душа одно начинала постигать совершенно отчетливо: и тут, и там мучат или хотят мучить, но там муки и хотение причинить муку в стократ больше, чем тут, и потому тут лучше.

Когда приходила Лужину очередь читать вслух, она выбирала для него фельетон с шутливым названием или коротенький, прочувствованный рассказ. Он читал, смешно запинаясь, странно произнося некоторые слова, переезжая иногда за точку или не доезжая до нее и бессмысленно повышая и понижая голос. Ей нетрудно было понять, что газеты его не занимают; когда же она затевала разговор, соответствовавший только что прочитанной статье, он поспешно соглашался со всеми ее заключениями, и когда, чтобы проверить его, она нарочно сказала, что эмигрантские газеты все врут, он согласился тоже.

Газеты одно, люди другое; хорошо бы послушать этих людей. Она представила себе, как у нее в квартире будут собираться люди разного толка — «всякая интеллигентщина», по выражению матери, — и как, слушая живые споры и беседы на новые темы, Лужин если не расцветет, то по крайней мере найдет временное развлечение. Из всех

знакомых ее матери наиболее просвещенным и даже «левым», как с некоторым кокетством утверждала мать, считался Олег Сергеевич Смирновский, — но когда Лужина к нему обратилась с просьбой привести к ней несколько интересных, свободомыслящих людей, читающих не только «Знамя», но и «Объединение» и «Зарубежный Голос», — Смирновский ответил, что он, мол, не вращается в таких кругах, и стал порицать подобное вращение и быстро объяснил, что вращается в других кругах, где вращение необходимо, и у Лужиной неприятно закружилась голова, как в Луна-парке на вращающемся диске. После этой неудачи она из разных келеек памяти стала извлекать людей, которых случайно встречала и которые могли ей теперь пособить. Она вспомнила русскую девицу, которая сидела с ней рядом в школе прикладных искусств, дочь политического деятеля из демократов; вспомнила и Алферова, который бывал всюду и охотно рассказывал, что однажды у него на руках умер старый поэт; вспомнила мало ценимого родственника, служившего в конторе русской газеты, название которой с гортанными руладами выкрикивала под вечер толстая газетчица на углу. Выбрала еще кое-кого и, кроме того, подумала, что многие, вероятно, помнят Лужина-писателя и знают о Лужине-шахматисте и с удовольствием будут посещать его дом.

И что было Лужину до всего этого? Единственное, что по-настоящему занимало его, была сложная, лукавая игра, в которую он — непонятно как — был замешан. Беспомощно и хмуро он выискивал приметы шахматного повторения, продолжая недоумевать, куда оно клонится. Но всегда быть начеку, всегда напрягать внимание он тоже не мог: что-то временно ослабевало в нем, он беззаботно наслаждался партией, напечатанной в газете, и, вдруг спохватившись, с тоской отмечал, что опять недосмотрел и в его жизни только что был сделан тонкий ход, беспощадно продолжавший роковую комбинацию. Тогда он решал удвоить бдительность, следить за каждой секундой жизни, ибо всюду мог быть подвох. И больше всего его томила невозможность придумать разумную защиту, ибо цель противника была еще скрыта.

Слишком полный и дряблый для своих лет, он ходил между людей, придуманных его женой, старался найти тихое место и все время смотрел и слушал, не проскользнул

ли где намек на следующий ход, не продолжается ли игра, не им затеянная, но с ужасной силой направленная против него. Случалось, что намек такой бывал, что-то подвигалось вперед, но общее значение комбинации от этого не становилось яснее. И тихое место трудно было отыскать, — к нему обращались с вопросами, которые ему приходилось несколько раз про себя повторить, прежде чем понять их простой смысл и найти простой ответ. Во всех трех, телескопом раскрывшихся, комнатах было очень светло, — ни одной не пощадили лампочки, — люди сидели в столовой, и на неудобных стульях в гостиной, и в кабинете на оттоманке, а один, в бледных фланелевых штанах, все норовил устроиться на письменном столе, отстраняя для удобства коробку с красками и кучку нераспечатанных газет. Пожилой актер, с лицом, перещупанным многими ролями, весь мягкий, мягкоголосый, почему-то производивший впечатление, что лучше всего он играет в ночных туфлях, там, где требуется кряхтение, охание, ужимчивое похмелье, заковыристые, сдобные словечки, — сидел на оттоманке, рядом с добротной, черноглазой женой журналиста Барса, бывшей актрисой, и вспоминал с ней, как они когда-то в Самаре вместе играли в «Мечте Любви». «Помните, какой вышел конфуз с цилиндром? И как я ловко нашелся?» — мягко говорил актер. «Бесконечные овации, — говорила черноглазая дама, — мне были устроены такие овации, что никогда не забуду...» Так они перебивали друг друга, вспоминая каждый свое, а человек в бледных штанах уже третий раз просил у замечтавшегося Лужина «папиросу, папиросочку». Был он начинающий поэт, читал свои стихи с пафосом, с подпеванием, слегка вздрагивая головой и глядя в пространство. Вообще же держал он голову высоко, отчего был очень заметен крупный, подвижный кадык. Папиросы он так и не получил, ибо Лужин задумчиво перешел в гостиную, и, глядя с благоговением на его толстый затылок, поэт думал о том, какой это чудесный шахматист, и предвкушал время, когда с отдохнувшим, поправившимся Лужиным можно будет поговорить о шахматах, до которых был большой охотник, а потом увидел в пройму двери жену Лужина и некоторое время решал про себя вопрос, стоит ли за ней поволочиться. Лужина, улыбаясь, слушала, что говорит высокого роста, со щербатым лицом, журналист Барс, а сама думала,

как трудно усаживать этих гостей за общий чайный стол и не лучше ли в будущем просто разносить чай по углам. Барс говорил с необычайной быстротой и всегда так, словно ему необходимо в кратчайший срок выразить очень извилистую мысль со всеми ее придатками, ускользающими хвостиками, захватить, подправить все это, и если слушатель попадался внимательный, то мало-помалу начинал понимать, что в лабиринте этой спешащей речи постепенно проступает удивительная гармония, и самая эта речь, с неправильными подчас ударениями и газетными словами, внезапно преображалась, как бы перенимая от высказанной мысли ее стройность и благородство. Лужина, увидев мужа, сунула ему в руку тарелочку с красиво очищенным апельсином и прошла мимо него в кабинет. «И заметьте, — сказал невзрачного вида человек, выслушав и оценив мысль журналиста, — заметьте, что тютчевская ночь прохладна, и звезды там круглые, влажные, с отливом, а не просто светлые точки». Он больше ничего не сказал, так как говорил вообще мало, не столько из скромности, сколько, казалось, из боязни расплескать что-то драгоценное, не ему принадлежащее, но порученное ему. Лужиной, кстати сказать, он очень нравился, именно невзрачностью, неприметностью черт, словно он был сам по себе только некий сосуд, наполненный чем-то таким священным и редким, что было бы даже кощунственно внешность сосуда расцветить. Его звали Петров, он ничем в жизни не был замечателен, ничего не писал, жил, кажется, по-нищенски, но об этом никогда не рассказывал. Единственным его назначением в жизни было сосредоточенно и благоговейно нести то, что было ему поручено, то, что нужно было сохранить непременно, во всех подробностях, во всей чистоте, а потому и ходил он мелкими, осторожными шажками, стараясь никого не толкнуть, и только очень редко, только когда улавливал в собеседнике родственную бережность, показывал на миг — из всего того огромного и таинственного, что он в себе нес, — какую-нибудь нежную, бесценную мелочь, строку из Пушкина или простонародное название полевого цветка. «Я вспоминаю его отца, — сказал журналист, когда спина Лужина удалилась в столовую. — Лицом не похож, но есть что-то аналогичное в наклоне плеч. Милый, хороший был человек, но как писатель... Что? Вы разве находите, что эти олеографичес-

кие повести для юношества...» «Пожалуйста, пожалуйста, в столовую, — заговорила Лужина, возвращаясь из кабинета с найденными там тремя гостями. — Чай подан. Ну, я прошу вас». Те, которые уже были за столом, сидели в одном конце, — в другом же одиноко сидел Лужин, мрачно нагнув голову, жевал апельсин и мешал чай в стакане. Был тут Алферов с женой, смуглая, ярко накрашенная барышня, чудесно рисовавшая жар-птиц, лысый молодой человек, с юмором называвший себя газетным работником, но втайне мечтавший быть коноводом в политике, две дамы — жены адвокатов... И еще сидел за столом милейший Василий Васильевич, застенчивый, благообразный, светлобородый, в старческих штиблетах, кристальной души человек. В свое время его ссылали в Сибирь, потом за границу, оттуда он вернулся, успел одним глазком повидать революцию и был сослан опять. Он задушевно рассказывал о подпольной работе, о Каутском, о Женеве и не мог без умиления смотреть на Лужину, в которой находил сходство с какими-то ясноглазыми идеальными барышнями, работавшими вместе с ним на благо народа. И в этот раз, как и в предыдущие разы, Лужина заметила, что, когда наконец все гости были собраны и посажены все вместе за стол, наступило молчание. Молчание было такое, что ясно слышно было дыхание горничной, разносившей чай. Лужина несколько раз ловила себя на невозможной мысли, что хорошо бы спросить у горничной, почему она так громко дышит и не может ли она это делать тише. Была она вообще не очень расторопна, эта пухленькая девица, особенно — беда с телефонами. Лужина, прислушиваясь к дыханию, мельком вспомнила, что на днях горничная ей со смехом доложила: «Звонил господин Фа... Фа... Фати. Вот, я записала номер». Лужина по номеру позвонила, но резкий голос ответил, что тут кинематографическая контора и никакого Фати нет. Какая-то безнадежная путаница. Она собралась было попенять на немецких горничных, чтобы вывести из молчания соседа, но тут заметила, что разговор уже вспыхнул, говорят о новой книге. Барс утверждал, что она написана изощренно и замысловато и в каждом слове чувствуется бессонная ночь; дамский голос сказал, что «ах нет, она так легко читается»; Петров нагнулся к Лужиной и шепнул ей цитату из Жуковского: «Лишь то, что писано с трудом, читать легко»; а поэт, кого-то перебив

на полслове, запальчиво картавя, крикнул, что автор дурак; на что Василий Васильевич, не читавший книги, укоризненно покачал головой. Только уже в передней, когда все друг с другом прощались в виде пробного испытания, ибо потом все опять прощались друг с другом на улице, хотя всем было идти в одну сторону, — актер с перещупанным лицом вдруг хватил себя по лбу ладонью: «Чуть не забыл, голубушка, — сказал он, при каждом слове почему-то пожимая Лужиной руку. — На днях у меня спрашивал ваш телефон один человек из кинематографического королевства. — Тут он сделал удивленные глаза и отпустил руку Лужиной. — Как, вы не знаете, что я теперь снимаюсь? Как же, как же. Большие роли, и во всю морду». На этом месте его оттеснил поэт, и Лужина так и не узнала, о каком человеке хотел сказать актер.

Гости ушли. Лужин сидел боком к столу, на котором замерли в разных позах, как персонажи в заключительной сцене «Ревизора», остатки угощения, пустые и недопитые стаканы. Одна его рука была тяжело растопырена на скатерти. Из-под полуопущенных, снова распухших век он смотрел на черный, свившийся от боли кончик спички, которая только что погасла у него в пальцах. Его большое лицо, с вялыми складками у носа и рта, слегка лоснилось, и на щеках, золотистой от света щетиной, уже успел за день наметиться вечно сбриваемый и вечно всходящий волос. Темно-серый, мохнатый на ощупь костюм облегал его теснее, чем прежде, хотя был задуман просторным. Так сидел Лужин не шевелясь, и блестели стеклянные вазочки с конфетами; и какая-то ложечка застыла на скатерти, далеко от всякого прибора, и в полной неприкосновенности почему-то остался маленький, не прельщавший взгляда, но очень, очень вкусный пирог. «Что же это такое, — думала Лужина, глядя на мужа, — Господи, что же это такое?» И она почувствовала бессилие, безнадежность, мутную тоску, словно взялась за дело, слишком для нее трудное. И все пропадало зря, как этот пирог, все пропадало зря, — незачем было стараться, придумывать развлечения, созывать занятных гостей. Она попробовала представить себе, как вот этого, опять слепого, опять хмурого, Лужина станет возить по Ривьере, и всего только и увидела: Лужин сидит в номере гостиницы, уставившись в пол. С неприятным чувством, что подглядывает сквозь замочную скважину судьбы, она

на миг нагнулась и увидела будущее, — десять, двадцать, тридцать лет, — и все было то же самое, никакой перемены, все тот же хмурый, согбенный Лужин, и молчание, и безнадежность. Дурная, недостойная мысль. Ее душа сразу разогнулась опять, и кругом были знакомые образы и заботы: пора спать, песочного пирога в следующий раз не нужно, какой милый Петров, завтра утром придется ехать насчет паспортных дел, опять откладывается кладбище. Казалось, чего проще — сесть им в таксомотор и покатить туда, за город, на маленькое, окруженное пустырем кладбище. Но все случалось так, что ехать нельзя было: то зубы у Лужина болели, то вот паспортные хлопоты, то еще что-нибудь, — мелкие, незаметные помехи. И сколько теперь будет разных дел... Непременно нужно будет Лужина повести к дантисту. «Опять болит?» — спросила она и опустила ладонь на руку Лужина. «Да-да», — сказал он и, скривив лицо, вобрал одну щеку с чмокающим звуком. Зубную боль он придумал на днях, чтобы объяснить как-нибудь свою подавленность и молчание. «Завтра же позвоню дантисту», — решительно сказала она. «Не надо, — протяжно проговорил Лужин, — пожалуйста, не надо». Губы у него задрожали. Он почувствовал, что сейчас разрыдается, слишком уж становилось все это страшно. «Чего не надо?» — спросила она ласково и вопросительный знак выразила маленьким звуком, вроде «ым?» с закрытыми губами. Он потряс головой и на всякий случай опять пососал зуб. «К дантисту не надо? Нет, Лужина к дантисту поведут. Это нельзя запускать». Лужин встал со стула и, держась за щеку, ушел в спальню. «Я ему дам облатку, — сказала она. — Вот что».

Облатка не подействовала. Лужин долго еще бодрствовал после того, как заснула жена. По правде сказать, ночные часы, часы бессонницы в темной, запертой комнате, были единственные, когда можно спокойно думать и не бояться пропустить новый ход в чудовищной комбинации. Ночью, особенно если лежать неподвижно, с закрытыми глазами, ничего произойти не могло. Тщательно и по возможности хладнокровно Лужин проверял уже сделанные против него ходы, но, как только он начинал гадать, какие формы примет дальнейшее повторение схемы его прошлого, ему становилось смутно и страшно, будто надвигалась на него с беспощадной точностью неизбежная

и немыслимая беда. В эту ночь он особенно остро почувствовал свое бессилие перед этой медленной, изощренной атакой, и ему захотелось не спать вовсе, продлить как можно больше эту ночь, эту тихую темноту, остановить время на полночи. Жена спала совершенно безмолвно; вернее всего — ее не было вовсе. Только тиканье часов на ночном столике доказывало, что время продолжает жить. Лужин вслушивался в это мелкое сердцебиение и задумывался опять, и вдруг вздрогнул, заметив, что тиканье часов прекратилось. Ему показалось, что ночь застыла навсегда, теперь уже не было ни единого звука, который бы отмечал ее прохождение, время умерло, все было хорошо, бархатная тишь. Этим счастьем и успокоением незаметно воспользовался сон, и уже во сне покоя не было, а простирались все те же шестьдесят четыре квадрата, великая доска, посреди которой, дрожащий и совершенно голый, стоял Лужин, ростом с пешку, и вглядывался в неясное расположение огромных фигур, горбатых, головастых, венценосных.

Он проснулся оттого, что жена, уже одетая, наклонилась над ним и поцеловала в переносицу. «Здравствуйте, милый Лужин, — сказала она. — Уже десять часов. Что мы сегодня делаем, — дантист или виза?» Лужин посмотрел на нее светлыми, растерянными глазами и сразу прикрыл веки опять. «А кто забыл на ночь часы завести? — засмеялась жена, слегка тормоша его за полную белую шею. — Так можно проспать всю жизнь». Она наклонила голову набок, глядя на профиль мужа, окруженный вздутием подушки, и, заметив, что он снова заснул, улыбнулась и вышла из комнаты. В кабинете она постояла перед окном, глядя на зеленовато-голубое небо, по-зимнему безоблачное, и подумала, что сегодня, должно быть, очень холодно и Лужину надо приготовить шерстяной жилет. На письменном столе зазвонил телефон, это, очевидно, мать спрашивала, будут ли они сегодня у нее обедать. «Алло?» — сказала Лужина, присев на край стола. «Аллё, аллё», — взволнованно и сердито закричал в телефон неизвестный голос. «Да-да, я слушаю», — сказала Лужина и пересела в кресло. «Кто там?» — по-немецки, но с русской растяжкой, спросил недовольный голос. «А кто говорит?» — понаведалась Лужина. «Господин Лужин дома?» — спросил голос по-русски. «Кто говорит?» — с улыбкой повторила Лужина. Молчание. Голос как будто решал про себя вопрос, открыться или нет.

«Я хочу говорить с господином Лужиным, — начал он опять, вернувшись к немецкому языку. — Очень спешное и важное дело». — «Минуточку», — сказала Лужина и прошлась раза два по комнате. Нет, Лужина будить не стоило. Она вернулась к телефону. «Еще спит, — сказала она. — Но если хотите ему что-нибудь передать...» — «Ах, это очень досадно, — заговорил голос, окончательно усвоив русскую речь. — Я звоню уже второй раз. Я прошлый раз оставил свой телефон. Дело для него крайне важное и не терпящее отлагательств». — «Я — его жена, — сказала Лужина. — Если что нужно...» — «Очень рад познакомиться, — деловито перебил голос. — Моя фамилия — Валентинов. Ваш супруг, конечно, рассказывал вам обо мне. Так вот: скажите ему, как только он проснется, чтобы он садился в автомобиль и ехал бы ко мне. Кино-концерн “Веритас”, Рабенштрассе, 82. Дело очень спешное и для него очень важное!» — продолжал голос, опять перейдя на немецкий язык, потому ли, что этого требовала важность дела, или потому просто, что немецкий адрес увлек его в соответствующую речь, — неизвестно. Лужина сделала вид, что записывает адрес, и потом сказала: «Может быть, вы мне все-таки скажете сперва, в чем дело». Голос неприятно взволновался: «Я старый друг вашего мужа. Каждая секунда дорога. Я его жду сегодня ровно в двенадцать. Пожалуйста, передайте ему. Каждая секунда...» — «Хорошо, — сказала Лужина. — Я ему передам, но только не знаю, — может быть, ему сегодня неудобно». — «Шепните ему одно: Валентинов тебя ждет», — засмеялся голос и, пропев немецкое «до свидания», провалился в щелкнувший люк. Несколько мгновений Лужина просидела в раздумье, потом она назвала себя дурой. Надо было прежде всего объяснить, что Лужин перестал заниматься шахматами. Валентинов... Тут только она вспомнила визитную карточку, найденную в шапо-кляке. Валентинов, конечно, знакомый Лужина по шахматным делам. Других знакомых у него не было. Ни о каком старом друге он никогда не рассказывал. Тон у этого господина совершенно невозможный. Нужно было потребовать, чтобы он объяснил, в чем дело. Дура. Что же теперь делать? Спросить у Лужина? — нет. Кто такой Валентинов? Старый друг... Граальский говорил, что у него справлялись... Ага, очень просто. Она пошла в спальню, убедилась, что Лужин еще спит, — а спал он по утрам удивительно крепко, —

и вернулась к телефону. Актер, к счастью, оказался дома и сразу принялся рассказывать длинную историю о легкомысленных и подловатых поступках, совершенных когда-то его вчерашней собеседницей. Лужина, нетерпеливо дослушав, спросила, кто такой Валентинов. Актер ахнул и стал говорить, что «представьте себе, вот я какой забывчивый, без суфлера не могу жить»; и наконец, подробно рассказав о своих отношениях с Валентиновым, мельком упомянул, что Валентинов, по его, валентиновским, словам, был шахматным опекуном Лужина и сделал из него великого игрока. Затем актер вернулся ко вчерашней даме и, рассказав еще одну ее подлость, стал многоречиво с Лужиной прощаться, причем последние его слова были: «Целую в ладошку».

«Вот оно что, — проговорила Лужина, повесив трубку. — Ну, хорошо». Тут она спохватилась, что в разговоре раза два произнесла фамилию Валентинова и что муж мог случайно слышать, если выходил из спальни в прихожую. У нее екнуло сердце, и она побежала проверить, спит ли он еще. Он проснулся и курил в постели. «Мы сегодня никуда не поедем, — сказала она. — Очень все поздно вышло. А обедать будем у мамы. Полежите еще, вам полезно, вы толстый». Крепко прикрыв дверь спальни и затем дверь кабинета, она торопливо выискала в телефонной книге номер «Веритаса» и, прислушивавшись, не ходит ли поблизости Лужин, позвонила. Оказалось, что Валентинова не так-то легко добиться. Трое разных людей, сменяясь, подходили к телефону, отвечали, что сейчас позовут, а потом барышня разъединяла, и надо было начинать сызнова. При этом она старалась говорить по возможности тише, и приходилось повторять, и это было очень неприятно. Наконец желтенький, худенький голос уныло сообщил ей, что Валентинова нет, но что он непременно будет в половине первого. Она попросила передать, что Лужин не может приехать, так как болен, будет болеть долго и убедительно просит, чтобы его больше не беспокоили. Опустив трубку на вилку, она опять прислушалась, услышала только стук своего сердца и тогда вздохнула и с безмерным облегчением сказала: «Уф!». С Валентиновым было покончено. Слава Богу, что она оказалась одна у телефона. Теперь это миновало. А скоро отъезд. Еще нужно позвонить матери и дантисту. А с Валентиновым покончено. Какое слащавое имя. И на минуту она задумалась, совершив за эту одну минуту,

как это иногда бывает, долгое и неторопливое путешествие: направилась она в лужинское прошлое, таща за собой Валентинова, которого по голосу представила себе в черепаховых очках, длинноногого, и, путешествуя в легком тумане, она искала место, где бы опустить наземь Валентинова, скользкого, отвратительно ерзавшего, но места она не находила, так как о юности Лужина не знала почти ничего. Пробираясь еще дальше, вглубь, она, через призрачный курорт с призрачной гостиницей, где жил четырнадцатилетний вундеркинд, попала в детство Лужина, где было как-то светлее, — но и тут Валентинова не удалось пристроить. Тогда она вернулась вспять со своей все мерзостнее становившейся ношей, и кое-где, в тумане лужинской юности, были острова: он уезжает за границу играть в шахматы, покупает открытки в Палермо, держит в руках визитную карточку с таинственной фамилией... Пришлось возвратиться восвояси с пыхтящим, торжествующим Валентиновым и вернуть его фирме «Веритас», как заказной пакет, посланный по не найденному адресу. Пускай же он и останется там, неведомый, но несомненно вредный, со страшным своим прозвищем: шахматный опекун.

По дороге к родителям она, идя под руку с Лужиным по солнечной, морозцем тронутой улице, стала говорить о том, что через неделю, самое позднее, они должны уехать, а до этого непременно посетить всеми забытую могилу. Тут же она наметила план этой недели, — паспорта, дантист, покупки, прощальный прием и — в пятницу — поездка на кладбище. В квартире у матери было холодно, не так, как месяц тому назад, но все-таки холодно, и мать куталась в замечательную шаль с пионами по зелени, и, кутаясь, зябко поводила плечами. Отец приехал во время обеда, и требовал водочки, и с сухим шелестом потирал руки. И Лужина в первый раз заметила, как грустно и пусто в этих звонких комнатах, и заметила, что веселость отца такая же притворная, как улыбка матери, и что оба они уже старые и очень одинокие, и бедного Лужина не любят, и стараются не упоминать о предстоящем отъезде. Она вспомнила все то ужасное, что о женихе говорилось, зловещие предостережения и крик матери: «На куски разрубит, в печке тебя сожжет...» А из всего этого вышло теперь что-то очень мирное и невеселое, и все улыбалось мертвой улыбкой, фальшиво разудалые бабы на картинах, овальные зеркала, берлинский самовар, четверо людей за столом.

«Затишье, — думал Лужин в этот день. — Затишье, но скрытые препарации. Оно желает меня взять врасплох. Внимание, внимание. Концентрироваться и наблюдать».

Все мысли его за последнее время были шахматного порядка, но он еще держался, — о прерванной партии с Турати запрещал себе думать, заветных номеров газет не раскрывал — и все-таки мог мыслить только шахматными образами, и мысли его работали так, словно он сидит за доской. Иногда, во сне, он клялся доктору с агатовыми глазами, что в шахматы не играет, — вот только однажды расставил фигуры на карманной доске да просмотрел две-три партии, приведенные в газете, — просто так, от нечего делать. Да и эти падения случались не по его вине, а являлись серией ходов в общей комбинации, которая искусно повторяла некую загадочную тему. Трудно, очень трудно заранее предвидеть следующее повторение, но еще немного — и все станет ясным, и, быть может, найдется защита...

Но следующий ход подготовлялся очень медленно. Два-три дня продолжалось затишье; Лужин снимался для паспорта, и фотограф брал его за подбородок, поворачивал ему чуть-чуть лицо, просил открыть рот пошире и сверлил ему зуб с напряженным жужжанием. Жужжание прекращалось, дантист искал на стеклянной полочке что-то, и, найдя, ставил штемпель на паспорте, и писал, быстро-быстро двигая пером. «Пожалуйста», — говорил он, подавая бумагу, где были нарисованы зубы в два ряда, и на двух зубах стояли чернилом сделанные крестики. Во всем этом ничего подозрительного не было, и это лукавое затишье продолжалось до четверга. И в четверг Лужин все понял.

Еще накануне ему пришел в голову любопытный прием, которым, пожалуй, можно было обмануть козни таинственного противника. Прием состоял в том, чтобы по своей воле совершить какое-нибудь нелепое, но неожиданное действие, которое бы выпадало из общей планомерности жизни и таким образом путало бы дальнейшее сочетание ходов, задуманных противником. Защита была пробная, защита, так сказать, наудачу, — но Лужин, шалея от ужаса перед неизбежностью следующего повторения, ничего не мог найти лучшего. В четверг днем, сопровождая жену и тещу по магазинам, он вдруг остановился и воскликнул: «Дантист. Я забыл дантиста». — «Какие глупости, Лужин, — сказала жена. — Ведь вчера же он сказал, что все сделано». — «Нажимать, — проговорил Лужин и поднял палец. —

Если будет нажимать пломба. Говорилось, что если будет нажимать, чтобы я приехал пунктуально в четыре. Нажимает. Без десяти четыре». — «Вы что-то спутали, — улыбнулась жена. — Но конечно, если болит, поезжайте. А потом возвращайтесь домой, я буду дома к шести». — «Поужинайте у нас», — сказала с мольбой в голосе мать. «Нет, у нас вечером гости, — гости, которых ты не любишь». Лужин махнул тростью в знак прощания и влез в таксомотор, кругло согнув спину. «Маленький маневр», — усмехнулся он и, почувствовав, что ему жарко, расстегнул пальто. После первого же поворота он остановил таксомотор, заплатил и не торопясь пошел домой. И тут ему вдруг показалось, что когда-то он все это уже раз проделал, и он так испугался, что завернул в первый попавшийся магазин, решив новой неожиданностью перехитрить противника. Магазин оказался парикмахерской, да притом дамской. Лужин, озираясь, остановился, и улыбающаяся женщина спросила у него, что ему надо. «Купить...» — сказал Лужин, продолжая озираться. Тут он увидел восковой бюст и указал на него тростью (неожиданный ход, великолепный ход). «Это не для продажи», — сказала женщина. «Двадцать марок», — сказал Лужин и вынул бумажник. «Вы хотите купить эту куклу?» — недоверчиво спросила женщина, и подошел еще кто-то. «Да», — сказал Лужин и стал разглядывать восковое лицо. «Осторожно, — шепнул он вдруг самому себе, — я, кажется, попадаюсь». Взгляд восковой дамы, ее розовые ноздри, — это тоже было когда-то. «Шутка», — сказал Лужин и поспешно вышел из парикмахерской. Ему стало отвратительно неприятно, он прибавил шагу, хотя некуда было спешить. «Домой, домой, — бормотал он, — там хорошенько все скомбинирую». Подходя к дому, он заметил, что у подъезда остановился большой, зеркально-черный автомобиль. Господин в котелке что-то спрашивал у швейцара. Швейцар, увидав Лужина, вдруг протянул палец и крикнул: «Вот он!» Господин обернулся.

...Слегка посмуглевший, отчего белки глаз казались светлее, все такой же нарядный, в пальто с котиковым воротником шалью, в большом белом шелковом кашнэ, Валентинов шагнул к Лужину с обаятельной улыбкой, — озарил Лужина, словно из прожектора, и при свете, которым он обдал его, увидел полное, бледное лужинское лицо, моргающие веки, и в следующий миг это бледное лицо потеряло всякое выражение, и рука, которую Валентинов

сжимал в обеих ладонях, была совершенно безвольная. «Дорогой мой, — просиял словами Валентинов, — счастлив тебя увидеть. Мне говорили, что ты в постели, болен, дорогой. Но ведь это какая-то путаница...» И, при ударении на «путаница», Валентинов выпятил красные, мокрые губы и сладко сузил глаза. «Однако нежности отложим на потом, — перебил он себя и со стуком надел котелок. — Едем. Дело исключительной важности, и промедление было бы... губительно», — докончил он, отпахнув дверцу автомобиля; после чего, обняв Лужина за спину, как будто поднял его с земли, и увлек, и усадил, упав с ним рядом на низкое, мягкое сиденье. На стульчике, спереди, сидел боком небольшой, востроносый человечек, с поднятым воротником пальто. Валентинов, как только откинулся и скрестил ноги, стал продолжать разговор с этим человечком, разговор, прерванный на запятой и теперь ускоряющийся по мере того, как расходился автомобиль. Язвительно и чрезвычайно обстоятельно он распекал его, не обращая никакого внимания на Лужина, который сидел, как бережно прислоненная к чему-то статуя, совершенно оцепеневший и слышавший, как бы сквозь тяжелую завесу, смутное, отдаленное рокотание Валентинова. Для востроносого это было не рокотание, а очень хлесткие, обидные слова, — но сила была на стороне Валентинова, и обижаемый только вздыхал да ковырял с несчастным видом сальное пятно на черном своем пальтишке, а иногда, при особенно метком словце, поднимал брови и смотрел на Валентинова, но, не выдержав этого сверкания, сразу жмурился и тихо мотал головой. Распекание продолжалось до самого конца поездки, и когда Валентинов мягко вытолкнул Лужина на панель и захлопнул за собой дверцу, добитый человечек продолжал сидеть внутри, и автомобиль сразу повез его дальше, и, хотя места было теперь много, он остался, уныло сгорбленный, на переднем стульчике. Лужин меж тем уставился неподвижным и бессмысленным взглядом на белую, как яичная скорлупа, дощечку с черной надписью «Веритас», но Валентинов сразу увлек его дальше и опустил в кожаное кресло из породы клубных, которое было еще более цепким и вязким, чем сиденье автомобиля. В этот миг кто-то взволнованным голосом позвал Валентинова, и он, вдвинув в ограниченное поле лужинского зрения открытую коробку сигар, извинился и исчез. Звук его голоса остался дрожать

в комнате, и для Лужина, медленно выходившего из оцепенения, он стал постепенно и вкрадчиво превращаться в некий обольстительный образ. При звуке этого голоса, при музыке шахматного соблазна, Лужин вспомнил с восхитительной, влажной печалью, свойственной воспоминаниям любви, тысячу партий, сыгранных им когда-то. Он не знал, какую выбрать, чтобы со слезами насладиться ею, все привлекало и ласкало воображение, и он летал от одной к другой, перебирая на миг раздирающие душу комбинации. Были комбинации чистые и стройные, где мысль всходила к победе по мраморным ступеням; были нежные содрогания в уголке доски, и страстный взрыв, и фанфара ферзя, идущего на жертвенную гибель... Все было прекрасно, все переливы любви, все излучины и таинственные тропы, избранные ею. И эта любовь была гибельна.

Ключ найден. Цель атаки ясна. Неумолимым повторением ходов она приводит опять к той же страсти, разрушающей жизненный сон. Опустошение, ужас, безумие.

«Ах, не надо», — громко сказал Лужин и попробовал встать. Но он был слаб и тучен, и вязкое кресло не отпустило его. Да и что он мог предпринять теперь? Его защита оказалась ошибочной. Эту ошибку предвидел противник, и неумолимый ход, подготавливаемый давно, был теперь сделан. Лужин застонал и откашлялся, растерянно озираясь. Спереди был круглый стол, на нем альбомы, журналы, отдельные листы, фотографии испуганных женщин и хищно прищуренных мужчин. А на одной был бледный человек с безжизненным лицом в больших американских очках, который на руках повис с карниза небоскреба — вот-вот сорвется в пропасть. И опять раздался невыносимо знакомый голос: Валентинов, чтобы не терять времени, заговорил с Лужиным, еще только подходя к двери, и когда дверь открыл, то продолжал начатую фразу: «...крутить новый фильм. Манускрипт сочинен мной. Представь себе, дорогой, молодую девушку, красивую, страстную, в купэ экспресса. На одной из станций входит молодой мужчина. Из хорошей семьи. И вот, ночь в вагоне. Она засыпает и во сне раскинулась. Роскошная молодая девушка. Мужчина, — знаешь, такой, полный соку, — совершенно чистый, неискушенный юнец, начинает буквально терять голову. Он в каком-то трансе набрасывается на нее (...и Валентинов, вскочив, сделал вид, что тяжело дышит

и набрасывается...). Он чувствует запах духов, кружевное белье, роскошное молодое тело... Она просыпается, отбрасывает его, кричит (...Валентинов прижал кулак ко рту и закатил глаза...), вбегает кондуктор, пассажиры. Его судят, посылают на каторгу. Старуха мать приходит к молодой девушке умолять, чтобы спасли сына. Драма девушки. Дело в том, что с первого же момента — там, в экспрессе, — она им увлеклась, увлеклась, увлекла-ась, вся дышит страстью, а он, из-за нее, — понимаешь, вот в чем напряжение, — из-за нее отправлен на каторгу». Валентинов передохнул и продолжал более спокойно: «Дальше следует его бегство. Приключения. Он меняет фамилию и становится знаменитым шахматистом, и вот тут-то, мой дорогой, мне нужно твое содействие. У меня явилась блестящая мысль. Я хочу заснять как бы настоящий турнир, чтобы с моим героем играли настоящие, живые шахматисты. Турати уже согласился, Мозер тоже. Необходим еще гроссмейстер Лужин...»

«Я полагаю, — продолжал Валентинов после некоторой паузы, во время которой он глядел на совершенно бесстрастное лицо Лужина, — я полагаю, что он согласится. Он многим обязан мне. Он получит некоторую сумму за это коротенькое выступление. Он вспомнит при этом, что, когда отец бросил его на произвол судьбы, я щедро раскошелился. Я думал тогда, что ничего — свои, сочтемся. Я продолжаю так думать».

В это мгновение дверь с размаху открылась, и кудрявый господин без пиджака крикнул по-немецки, с тревожной мольбой в голосе: «Ах, пожалуйста, господин Валентинов, на одну минуточку!» — «Прости, дорогой», — сказал Валентинов и пошел к двери, но, не доходя, круто повернулся, порылся в бумажнике и выбросил на стол перед Лужиным какой-то листок. «Недавно сочинил, — сказал он. — Ты реши покамест. Я через десять минут вернусь».

Он исчез. Лужин осторожно поднял веки. Машинально взял листок. Вырезка из шахматного журнала, диаграмма задачи. В три хода мат. Композиция доктора Валентинова. Задача была холодна и хитра, и, зная Валентинова, Лужин мгновенно нашел ключ. В этом замысловатом шахматном фокусе он, как воочию, увидел все коварство его автора. Из темных слов, только что в таком обилии сказанных Валентиновым, он понял одно: никакого кинематографа нет, кинематограф только предлог... ловушка, ловушка...

Вовлечение в шахматную игру, и затем следующий ход ясен. Но этот ход сделан не будет.

Лужин рванулся и, мучительно оскалившись, вылез из кресла. Им овладела жажда движений. Играя тростью, щелкая пальцами свободной руки, он вышел в коридор, зашагал наугад, попал в какой-то двор и оттуда на улицу. Трамвай со знакомым номером остановился перед ним. Он вошел, сел, но тотчас встал опять и, преувеличенно двигая плечами, хватаясь за кожаные ремни, перешел на другое место, около окна. Вагон был пустой. Кондуктору он дал марку и сильно затряс головой, отказываясь от сдачи. Невозможно было сидеть на месте. Он вскочил снова, чуть не упал, оттого что трамвай заворачивал, и пересел поближе к двери. Но и тут он не усидел, — и когда вдруг, ни с того ни с сего, вагон наполнился оравой школьников, десятью старухами, пятьюдесятью толстяками, Лужин продолжал двигаться, наступая на чужие ноги, и потом протиснулся к площадке. Увидев свой дом, он покинул трамвай на ходу, асфальт промчался под левым каблуком и, обернувшись, ударил его в спину, и трость, запутавшись в ногах, вдруг выскочила, как освобожденная пружина, взлетела к небу и упала рядом с ним. Две дамы подбежали к нему и помогли ему встать. Он ладонью стал сбивать пыль с пальто, надел шляпу и, не оглядываясь, зашагал к дому. Лифт оказался испорченным, и Лужин на это не попенял. Жажда движений еще не была утолена. Он стал подниматься по лестнице, а так как жил он очень высоко, это восхождение продолжалось долго, ему казалось, что он влезает на небоскреб. Наконец он добрался до последней площадки, передохнул и, хрустнув ключом в замке, вошел в прихожую. Из кабинета вышла ему навстречу жена. Она была очень красная, глаза блестели. «Лужин, — сказала она, — где вы были?» Он снял пальто, повесил его, перевесил на другой крюк, хотел еще повозиться; но жена подошла к нему вплотную, и, дугообразно ее миновав, он вошел в кабинет, и она за ним. «Я хочу, чтобы вы сказали, где вы были. Отчего у вас руки в таком виде? Лужин!» Он зашагал по кабинету, а потом кашлянул и через прихожую пошел в спальню, где принялся тщательно мыть руки в большой бело-зеленой чашке, облепленной фарфоровым плющом. «Лужин, — растерянно крикнула жена, — я же знаю, что вы не были у дантиста. Я только что звонила к нему.

Ну ответьте мне что-нибудь». Вытирая руки полотенцем, он обошел спальню и, все по-прежнему неподвижно глядя перед собой, вернулся в кабинет. Она схватила его за плечо, но он не остановился, подошел к окну, отстранил штору, увидел в синей вечерней бездне бегущие огни и, пожевав губами, пошел дальше. И тут началась странная прогулка, — по трем смежным комнатам взад и вперед ходил Лужин, словно с определенной целью, и жена то шла рядом с ним, то садилась куда-нибудь, растерянно на него глядя, и иногда Лужин направлялся в коридор, заглядывал в комнаты, выходившие окнами во двор, и опять появлялся в кабинете. Минутами ей казалось, что, может быть, все это одна из тяжеленьких лужинских шуток, но было в лице у Лужина выражение, которого она не видела никогда, выражение... торжественное, что ли... трудно было определить словами, но почему-то, глядя на это лицо, она чувствовала наплыв неизъяснимого страха. И он все продолжал, откашливаясь и с трудом переводя дыхание, ровной поступью ходить по комнатам. «Ради Христа, садитесь, Лужин, — тихо говорила она, не сводя с него глаз. — Ну, поговорим о чем-нибудь. Лужин! Я купила вам несессер. Ах, садитесь, пожалуйста! Вы умрете, если будете так много гулять. Завтра мы поедем на кладбище. Завтра еще нужно многое сделать. Несессер из крокодиловой кожи. Лужин, пожалуйста!»

Но он не останавливался и только изредка замедлял шаг у окон, поднимал руку, но, пораздумав, шел дальше. В столовой было накрыто на восемь человек. Она спохватилась, что вот, сейчас-сейчас, придут гости, — поздно уже отзванивать, — а тут... этот ужас. «Лужин, — крикнула она, — ведь сейчас будут люди. Я не знаю, что делать... Скажите мне что-нибудь. Может быть, у вас несчастье, может быть, вы кого-нибудь встретили из неприятных знакомых? Скажите мне. Я так вас прошу, больше не могу просить...»

И вдруг Лужин остановился. Это было так, словно остановился весь мир. Случилось же это в гостиной, около граммофона.

«Стоп-машина», — тихо сказала она и вдруг расплакалась. Лужин стал вынимать вещи из карманов — сперва самопишущую ручку, потом смятый платок, еще платок, аккуратно сложенный, выданный ему утром; после этого

он вынул портсигар с тройкой на крышке, подарок тещи, затем пустую красную коробочку из-под папирос, две отдельных папиросы, слегка подшибленных; бумажник и золотые часы — подарок тестя — были вынуты особенно бережно. Кроме всего этого, оказалась еще крупная персиковая косточка. Все эти предметы он положил на граммофонный шкафчик, проверил, нет ли еще чего-нибудь.

«Кажется, все», — сказал он и застегнул на животе пиджак. Его жена подняла мокрое от слез лицо и с удивлением уставилась на маленькую коллекцию вещей, разложенных Лужиным.

Он подошел к жене и слегка поклонился.

Она перевела взгляд на его лицо, смутно надеясь, что увидит знакомую кривую полуулыбку, — и точно: Лужин улыбался.

«Единственный выход, — сказал он. — Нужно выпасть из игры».

«Игра? Мы будем играть?» — ласково спросила она и одновременно подумала, что нужно напудриться, сейчас гости придут.

Лужин протянул руки. Она уронила платок на колени и поспешно подала ему пальцы.

«Было хорошо», — сказал Лужин и поцеловал ей одну руку, потом другую, как она его учила.

«Вы что, Лужин, как будто прощаетесь?»

«Да-да», — сказал он, притворяясь рассеянным. Потом повернулся и, кашлянув, вышел в коридор. В это мгновение раздался звонок из прихожей — простосердечный звонок аккуратного гостя. Она поймала мужа в коридоре, схватила его за рукав. Лужин обернулся и, не зная, что сказать, смотрел ей на ноги. Из глубины выбежала горничная, и, так как коридор был довольно узкий, произошло легкое, торопливое столкновение: Лужин слегка отступил, потом шагнул вперед, его жена тоже двинулась туда-сюда, бессознательно приглаживая волосы, а горничная, приговаривая что-то и нагибая голову, старалась найти лазейку, где бы проскочить. Когда она наконец проскочила и исчезла за портьерой, отделявшей от коридора прихожую, Лужин, как давеча, поклонился и быстро открыл дверь, у которой стоял. Сама не зная почему — его жена схватилась за ручку двери, которую он уже закрывал за собой; Лужин нажал, она схватилась крепче и стала судорожно смеяться, пытаясь

просунуть колено в еще довольно широкую щель, — но тут Лужин навалился всем телом, и дверь закрылась, щелкнула задвижка, да еще ключ повернулся дважды в замке. Меж тем в прихожей уже были голоса, кто-то отдувался, кто-то с кем-то здоровался.

Лужин, заперев дверь, первым делом включил свет. Белым блеском раскрылась эмалевая ванна у левой стены. На правой висел рисунок карандашом: куб, отбрасывающий тень. В глубине, у окна, стоял невысокий комод. Нижняя часть окна была как будто подернута ровным морозом, искристо-голубая, непрозрачная. В верхней части чернела квадратная ночь с зеркальным отливом. Лужин дернул за ручку нижнюю раму, но что-то прилипло или зацепилось, она не хотела открыться. Он на мгновение задумался, потом взялся за спинку стула, стоявшего подле ванны, и перевел взгляд с этого крепкого, белого стула на плотный мороз стекла. Решившись наконец, он поднял стул за ножки и краем спинки, как тараном, ударил. Что-то хрустнуло, он двинул еще раз, и вдруг в морозном стекле появилась черная, звездообразная дыра. Был миг выжидательной тишины. Затем глубоко-глубоко внизу что-то нежно зазвенело и рассыпалось. Стараясь расширить дыру, он ударил еще раз, и клинообразный кусок стекла разбился у его ног. Тут он замер. За дверью были голоса. Кто-то постучал. Кто-то громко позвал его по имени. Потом тишина, и совершенно ясно голос жены: «Милый Лужин, отоприте, пожалуйста». С трудом сдерживая тяжкое свое дыхание, Лужин опустил на пол стул и попробовал высунуться в окно. Большие клинья и углы еще торчали в раме. Что-то полоснуло его по шее, он быстро втянул голову обратно, — нет, не пролезть. В дверь забухал кулак. Два мужских голоса спорили, и среди этого грома извивался шепот жены. Лужин решил больше не бить стекла, слишком оно звонко. Он поднял глаза. Верхняя оконница. Но как до нее дотянуться? Стараясь не шуметь и ничего не разбить, он стал снимать с комода предметы: зеркало, какую-то бутылочку, стакан. Делал он все медленно и хорошо, напрасно его так торопил грохот за дверью. Сняв также и скатерть, он попытался влезть на комод, приходившийся ему по пояс, и это удалось не сразу. Стало душно, он скинул пиджак и тут заметил, что и руки у него в крови, и перед рубашки в красных пятнах. Наконец он оказался

на комоде, комод трещал под его тяжестью. Он быстро потянулся к верхней раме и уже чувствовал, что буханье и голоса подталкивают его и он не может не торопиться. Подняв руку, он рванул раму, и она отпахнулась. Черное небо. Оттуда, из этой холодной тьмы, донесся голос жены, тихо сказал: «Лужин, Лужин». Он вспомнил, что подальше, полевее, находится окно спальни, из него-то и высунулся этот шепот. За дверью меж тем голоса и грохот росли, было там человек двадцать, должно быть, — Валентинов, Турати, старик с цветами, сопевший, крякавший, и еще, и еще, и все вместе чем-то били в дрожащую дверь. Квадратная ночь, однако, была еще слишком высоко. Пригнув колено, Лужин втянул стул на комод. Стул стоял нетвердо, трудно было балансировать, все же Лужин долез. Теперь можно было свободно облокотиться о нижний край черной ночи. Он дышал так громко, что себя самого оглушал, и уже далеко, далеко были крики за дверью, но зато яснее был пронзительный голос, вырывавшийся из окна спальни. После многих усилий он оказался в странном и мучительном положении: одна нога висела снаружи, где была другая — неизвестно, а тело никак не хотело протиснуться. Рубашка на плече порвалась, все лицо было мокрое. Уцепившись рукой за что-то вверху, он боком пролез в пройму окна. Теперь обе ноги висели наружу, и надо было только отпустить то, за что он держался, — и спасен. Прежде чем отпустить, он глянул вниз. Там шло какое-то торопливое подготовление: собирались, выравнивались отражения окон, вся бездна распадалась на бледные и темные квадраты, и в тот миг, что Лужин разжал руки, в тот миг, что хлынул в рот стремительный ледяной воздух, он увидел, какая именно вечность угодливо и неумолимо раскинулась перед ним.

Дверь выбили. «Александр Иванович, Александр Иванович!» — заревело несколько голосов.

Но никакого Александра Ивановича не было.

измучила
РУЛЬ
20 Pfennig
Выходитъ ежедневно въ Берлинѣ
Пятница, 19 февраля 1926 г.
Швейцарія и СССР.
Сегодня въ номерѣ
БРИТВА.
тся впало
ы. И вл
В. Сиринъ
Возвращеніе Чорба
Разсказы и стихи
Книгоиздательство „Слово"
В. СИРИНЪ
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА
СЛОВО
БЕРЛИНЪ
1930
Боже мой, к
веселость, ла

Рассказы

1926—1930

РАССКАЗЫ ИЗ СБОРНИКА

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА. РАССКАЗЫ И СТИХИ

СКАЗКА

Фантазия, трепет, восторг фантазии... Эрвин хорошо это знал. В трамвае он садился всегда по правую руку — чтобы ближе быть к тротуару. Ежедневно, дважды в день, в трамвае, который вез его на службу и со службы обратно, Эрвин смотрел в окно и набирал гарем.

Один тротуар он разрабатывал утром, когда ехал на службу, другой — под вечер, когда возвращался, — и сперва один, потом другой купался в солнце, так как солнце тоже ехало и возвращалось. Нужно иметь в виду, что только раз за свою жизнь Эрвин подошел на улице к женщине, — и эта женщина тихо сказала: «Как вам не стыдно... Подите прочь». С тех пор он избегал разговоров с ними. Зато, отделенный от тротуара стеклом, прижав к ребрам черный портфель и вытянув ногу в задрипанной полосатой штанине под супротивную лавку, — Эрвин смело, свободно смотрел на проходивших женщин, — и вдруг закусывал губу; это значило — новая пленница; и тотчас он оставлял ее, и его быстрый взгляд, прыгавший, как компасная стрелка, уже отыскивал следующую. Они были далеко от него, и потому хмурая робость не примешивалась к наслаждению выбора. Если же случалось, что миловидная женщина садилась против него, он втягивал ногу из-под лавки со всеми признаками досады — не свойственной, впрочем, его очень юным летам, — и потом не мог решиться посмотреть в лицо этой женщины, — вот тут, в лобных костях, над бровями, так и ломило от робости — словно сжимал голову железный шлем, не давал поднять глаза, — и какое это было облегчение, когда она поднималась и шла к выходу. Тогда, в притворном рассеянии, он оборачивался, хапал взглядом ее прелестный затылок, шелковые икры — и приобщал ее к своему несуществующему гарему. И потом снова лился мимо окон солнечный тротуар, и Эрвин, вытянув одну

ногу, повернув к стеклу тонкий, бледный нос, с заметной выемкой на кончике, выбирал невольниц, — и вот что такое фантазия, трепет, восторг фантазии.

Однажды в субботу, легким майским вечером, Эрвин сидел в открытом кафе и глядел, изредка захватывая резцом нижнюю губу, на вечерних, прохлаждавшихся прохожих. Небо было сплошь розоватое, и в сумерках каким-то неземным огнем горели фонари, лампочки вывесок. Высокая пожилая дама в темно-сером костюме, тяжело играя бедрами, пройдя меж столиков и не найдя ни одного свободного, положила большую руку в блестящей черной перчатке на спинку пустого стула против Эрвина.

— Да, пожалуйста, — с легким нырком сказал Эрвин. Таких крупных пожилых дам он не очень боялся.

Она молча села, положила на стол свою сумку — прямоугольную, скорее похожую на небольшой черный чемоданчик, и заказала порцию кофе с яблочным тортом. Голос у нее был густой, хрипловатый, но приятный.

Огромное небо, налитое розоватой мутью, темнело, мигали огни, промахнул трамвай и разрыдался райским блеском в асфальте. И проходили женщины.

«Хорошо бы вот эту, — кусал губу Эрвин. И затем, через несколько минут: — И вот эту».

— Что же, это можно устроить, — сказала дама тем же спокойным тускловатым голосом, каким говорила с лакеем.

Эрвин от изумления привстал. Дама смотрела на него в упор, медленно расстегивая и стягивая с руки перчатку. Ее подтушеванные глаза, как яркие поддельные камни, блестели равнодушно и твердо, под ними взбухали темные мешочки, снятая перчатка обнаружила большую морщинистую руку с миндалевидными, выпуклыми, очень острыми ногтями.

— Не удивляйтесь, — усмехнулась дама — и затем, с глухим зевком, добавила: — Дело в том, что я — чорт.

Оробевший Эрвин принял было это за иносказание, но дама, понизив голос, продолжала так:

— Очень напрасно меня воображают в виде мужчины с рогами да хвостом. Я только раз появилась в этом образе и, право, не знаю, чем именно этот образ заслужил такой длительный успех. Я рождаюсь три раза в два столетия. Последний раз была корольком в африканском захолустье.

Это был отдых от более ответственных воплощений. А ныне я госпожа Отт, три раза была замужем, довела до самоубийства нескольких молодых людей, заставила известного художника срисовать с фунта Вестминстерское аббатство, подговорила добродетельного семьянина... впрочем, я не буду хвастать. Как бы то ни было, я этим воплощением насытилась вполне...

Эрвин пробормотал что-то и потянулся за шляпой, упавшей под стол.

— Нет, погодите, — сказала госпожа Отт, ввертывая в эмалевый мундштук толстую папиросу. — Я же вам предлагаю гарем. А если вы еще не верите в мою силу... Видите, вон там через улицу переходит господин в черепаховых очках. Пускай на него наскочит трамвай.

Эрвин, мигая, посмотрел на улицу. Господин в очках, дойдя до рельс, вынул на ходу носовой платок, хотел в него чихнуть — и в это мгновение блеснуло, грянуло, прокатило. Люди в кафе ахнули, повскочили с мест. Некоторые побежали через улицу. Господин, уже без очков, сидел на асфальте. Ему помогли встать, он качал головой, тер ладони, виновато озирался.

— Я сказала: наскочит, — могла сказать: раздавит, — холодно проговорила госпожа Отт. — Во всяком случае, это пример.

Она выпустила сквозь ноздри два серых клыка дыма и опять в упор уставилась на Эрвина.

— Вы мне сразу понравились. Эта робость... Это смелое воображение... Нынче мой предпоследний вечер. Положение стареющей женщины мне порядком надоело. Да кроме того, я так накудесила на днях, что лучше поскорее из жизни выбраться. В понедельник на рассвете предполагаю родиться в другом месте...

— Итак, милый Эрвин, — продолжала госпожа Отт, принимаясь за кусок яблочного торта, — я решила невинно поразвлечься, и вот что я вам предлагаю: завтра, с полудня до полночи, вы можете отмечать взглядом тех женщин, которые вам нравятся, и ровно в полночь я их всех соберу для вас в полное ваше распоряжение. Как вы смотрите на это?

Эрвин опустил глаза и тихо произнес:

— Если все это правда, то это большое счастье...

— Ну вот и ладно, — сказала госпожа Отт.

— Однако я должна поставить вам одно условие, — продолжала она, слизывая крем с ложечки. — Нет, не то, что вы думаете. Я в свое время уже запаслась очаровательной душой для следующего моего воплощения. Вашей души мне не нужно. А условие вот какое: число ваших избранниц должно быть нечетное. Это — непременно. Иначе я вам ничего устроить не могу.

Эрвин кашлянул и почти шепотом спросил:

— А... как же мне знать... Ну, например, я отметил, — что дальше?

— Ничего, — сказала госпожа Отт. — Ваше чувство, ваше желание — уже приказ. Впрочем, для того чтобы вы знали, что сделка совершена, что я согласна на тот или другой выбор ваш, я всякий раз вам дам знак: случайную улыбку самой женщины или просто слово, сказанное в толпе, — вы уж поймете.

— Да, вот еще, — сказал Эрвин, шаркая под столом подошвами. — Где же это будет — ну — происходить? У меня комната маленькая.

— Об этом не беспокойтесь, — сказала госпожа Отт и, скрипнув корсетом, встала. — Теперь вам пора домой. Не мешает хорошо выспаться. Я вас подвезу.

И в открытом таксомоторе, в налетающих струях темного ветра, между звездным небом и звездным асфальтом, Эрвин почувствовал, что счастлив чрезвычайно. Госпожа Отт сидела очень прямо, острым углом перекинув ногу на ногу, — и в ее твердых блестящих глазах мелькали ночные огни города.

Ветер остановился.

— Ну вот и ваш дом, — сказала она, тронув Эрвина за локоть. — До свидания.

Мало ли какие мечты нагонит кружка черного густого пива, проколотого молнией коньяка? Проснувшись на следующее утро, Эрвин так и подумал — что был пьян, что сам вообразил разговор с пожилой странной дамой в кафе. Но, постепенно припоминая всякие мелочи вчерашней встречи, — он понял, что одним воображением всего этого не объяснишь.

Вышел он на улицу около половины первого. И оттого, что было воскресенье, и оттого, что вокруг шалаша убор-

ной на углу лиловой бурей кипела персидская сирень, Эрвин чувствовал замечательную легкость, — а ведь легкость это почти полет. Посредине сквера в квадратной ямине дети, подняв маленькие фланелевые зады, лепили чудеса из песку. Глянцевитые листья лип трепетали, темные сердечки их теней трепетали на гравии, поднимались легкой стаей по штанам и юбкам гуляющих, взбегали, рассыпались по лицу и плечам — и всею стаей соскальзывали опять на землю, где, чуть шевелясь, ожидали следующего прохожего. И, проходя по скверу, Эрвин увидел девушку в белом платье, сидевшую на корточках и двумя пальцами теребившую толстого мохнатого щенка со смешными бородавками на брюхе. Она нагибала голову — сзади оголялась шея — перелив хребта, светлый пушок, круглота плеч, разделенных нежной выемкой, — и солнце находило жаркие золотистые пряди в ее каштановых волосах. Продолжая игру со щенком, она встала с корточек и, глядя вниз на него, хлопнула в ладоши, — и щенок перевернулся на земле, отбежал в сторону, мягко упал на бок. Эрвин присел на скамейку и мгновенным, робким и жадным взглядом окинул ее лицо. Он увидел его так ясно, так пронзительно, с такой совершенной полнотой восприятия, что, быть может, долгие годы близости ничего не могли бы открыть ему нового в этих чертах. Ее неяркие губы чуть вздрагивали, словно повторяя все маленькие, мягкие движения щенка, вздрагивали ее ресницы — такие сверкающие, что казались тонкими лучами ее играющих глаз, — но, быть может, прелестнее всего был изгиб щеки — слегка в профиль, — этого изгиба, конечно, никакими словами не изобразишь. Она побежала; замелькали ее гладкие ноги, — за ней покатился мохнатым шариком щенок. И вдруг Эрвин вспомнил, какая власть ему дана, — и затаив дыхание стал ждать знака, и в это мгновение девушка на бегу обернулась и сверкнула улыбкой на живой шарик, едва поспевавший за ней.

«Первая», — мысленно сказал Эрвин и встал со скамейки.

Пошаркивая по гравию ярко-желтыми, почти оранжевыми башмаками, Эрвин вышел из сквера. Его взгляд постреливал по сторонам, — но потому ли, что девушка со щенком оставила в его душе солнечную впадину, — он все не мог найти женское лицо, которое бы ему понравилось. Вскоре, однако, эта солнечная щель затянулась, и вот,

у стеклянного столба с расписанием трамваев, Эрвин заметил двух молодых дам — судя по сходству, сестер, — звонко обсуждавших маршрут. Обе были худенькие, в черном шелку, слегка подкрашенные, с живыми глазами.

— Тебе нужно сесть вот в этот номер, именно вот в этот, — говорила одна.

— Обеих, пожалуйста, — быстро попросил Эрвин.

— Ну да, как же иначе...— ответила вторая на слова сестры.

Эрвин сошел с тротуара, пересек площадь. Он знал все места, где понаряднее, где больше возможностей.

«Три, — сказал он про себя. — Нечет. Пока, значит, все хорошо. И если бы сейчас была полночь...»

Она сходила по ступенькам подъезда, раскачивая в руке сумку. За нею вышел, закуривая сигару, высокий господин, с синими от бритья щеками и крепким, как пятка, подбородком. Дама была без шляпы, ее темные волосы, остриженные по-мальчишески, ровной каймой закрывали лоб. На отвороте жакетки пунцовела большая поддельная роза. Когда она прошла, Эрвин заметил, от двери слева, папиросную рекламу — светлоусый турок в феске и крупное слово: «Да!» — а под ним помельче: «Я курю только “Розу Востока”».

Почувствовав приятный холодок, он отправился в дешевый ресторан, сел в глубине, у телефонного аппарата, оглядел обедающих. Ни одна из дам не прельщала его. «Может быть, эта. Нет, обернулась — стара... Никогда не нужно судить по спине».

Лакей принес обед. К телефону рядом подошел мужчина в котелке, вызвал номер и стал взволнованно кричать, как пес, попавший на свежий след зайца. Блуждающий взгляд Эрвина пополз к стойке и нашел там деловитую девицу, ставившую на поднос только что вымытые пивные кружки. Он скользнул по ее оголенным рукам, по бледному, рябоватому, но чрезвычайно миловидному лицу и подумал: «Ну что ж — и вот эту».

— Да! Да! Да! — взволнованно лаял мужчина в телефонную воронку.

Пообедав, Эрвин отяжелел, — решил, что хорошо бы соснуть часок. По правде сказать, оранжевые башмаки жали пребольно. Было душновато. Огромные жаркие облака белыми куполами вздымались и теснили друг друга. Народ

на улицах поредел, — зато так и чувствовалось, что дома наполнены до краев густым послеобеденным храпом. Эрвин сел в трамвай.

Вагон рванулся и, покрякивая, покатил. Эрвин, повернув к стеклу бледный запотевший нос, ловил взглядом мелькавшие женские лица. Платя за билет, он заметил, что слева от прохода сидит, обернувшись к нему черной бархатной шляпой, дама в легком платье, разрисованном желтыми цветами, переплетающимися по лиловатому полупрозрачному фону, сквозь который проступали светлые перехваты лифа, — и крупная стройность этой дамы возбудила в нем желание взглянуть и на ее лицо. Когда ее шляпа нагнулась, черным кораблем стала поворачиваться — он, по своему обыкновению, отвел глаза, в притворном рассеянии поглядел на сидевшего против него мальчика, на краснощекого старичка, дремавшего в глубине, — и, получив, таким образом, точку опоры, оправдания для дальнейшего исследования — поглядываю, мол, по сторонам, — Эрвин, все так же небрежно, перевел взгляд на даму. Это была госпожа Отт. От жары кирпичные пятна расплылись по ее несвежему лицу, черные, густые брови шевелились над светлыми, острыми глазами, улыбка поднимала уголки сжатых губ.

— Здравствуйте, — сказала госпожа Отт своим мягким хрипловатым голосом. — Пересядьте сюда. Так. Теперь мы можем поболтать. Как ваши дела?

— Всего пять, — смущенно ответил Эрвин.

— Превосходно. Нечетное число. Я вам посоветовала бы на этом и остановиться. А в полночь... Да, я, кажется, вам еще не сказала... В полночь придете на улицу Гофмана — знаете, где это? Там отыщете номер тринадцатый. Небольшая вилла с садиком. Там вас будут ждать ваши избранницы. Я же встречу вас у калитки, — но, разумеется, — добавила она с тонкой улыбкой, — я мешать вам не буду... Адрес запомните?

— Вот что, — сказал Эрвин, набравшись храбрости, — пожалуйста, пускай они будут в тех же платьях, и пускай они будут сразу очень веселые, очень ласковые...

— Ну разумеется, — ответила госпожа Отт. — Все будет именно так, как вы желаете. Иначе не стоило затевать эту историю, не правда ли? А признайтесь, милый Эрвин, что вы чуть-чуть и меня не отметили для вашего гарема?

Ах, нет, не бойтесь, — я же отлично знаю... Я просто шучу... Вам нужно выходить? Домой? Да, это правильно. Пять — число нечетное. Лучше держитесь за него. Итак, — до полночи.

Эрвин, не глядя по сторонам, вернулся к себе, разулся и со вздохом удовлетворения растянулся на постели. Проснулся он под вечер. Свет на дворе был ровнее; невдалеке медовым тенором заливался соседский граммофон.

— Первая — девушка со щенком, — стал вспоминать Эрвин, — это самая простенькая. Я, кажется, поспешил. Ну, все равно. Затем — две сестры у трамвайного столба. Веселые, подкрашенные. С ними будет приятно. Затем — четвертая — с розой, похожая на мальчишку. Это совсем хорошо. И наконец: девица в ресторане. Тоже ничего. Но всего только пять — маловато.

Он полежал, закинув руки под затылок, послушал граммофонный тенор.

— Пять... Нет, маловато. Ах, всякие еще бывают... Удивительные...

И Эрвин вдруг не выдержал. Он, торопясь, привел свой костюм в порядок, прилизал волосы и, волнуясь, вышел на улицу.

Часам к девяти он набрал еще двух. Одну он заметил в кафе: она говорила со своим спутником на незнакомом языке — по-польски или по-русски, — и глаза у нее были серые, чуть раскосые, нос тонкий, с горбинкой, морщился, когда она смеялась, стройные нарядные ноги были видны до колен. Пока Эрвин искоса смотрел на нее, она в свою шелестящую речь вставила случайную немецкую фразу, — и Эрвин понял, что это знак. Другую женщину, седьмую по счету, он встретил у китайских ворот увеселительного парка. На ней была красная кофточка и зеленая юбка, ее голая шея вздувалась от игривого визга. Двое грубых, жизнерадостных юношей хватали ее за бока, и она локтями от них отбивалась.

— Хорошо, — я согласна! — крикнула она наконец.

В увеселительном парке разноцветным огнем играли слоеные фонарики. Вагонетка с воплем мчалась вниз по извилистому желобу, пропадала меж кривых средневековых декораций и опять ныряла в бездну с тем же истошным воплем. В небольшом сарае, на четырех велосипедных седлах — колес не было, только рама, педали и руль, — сидели

верхом четыре женщины в коротких штанах — красная, синяя, зеленая, желтая — и вовсю работали голыми ногами. Над ними был большой циферблат, по нему двигались четыре стрелки — красная, синяя, зеленая, желтая, — и сперва эти стрелки шли тесным разноцветным пучком, потом одна подалась вперед, другая обогнала ее, третья тугими толчками перегнала обеих. Рядом стоял человек со свистком.

Эрвин поглядел на сильные голые ноги женщин, на гибко согнутые спины, на разгоряченные лица с яркими губами, с синими крашеными ресницами. Одна из стрелок уже кончила круг... еще толчок... еще...

«Они, наверно, хорошо пляшут, — покусывая губу, подумал Эрвин. — Мне бы всех четырех».

— Есть! — крикнул человек со свистком, — и женщины разогнулись, посмотрели на циферблат, на стрелку, пришедшую первой.

Эрвин выпил пива в расписном павильоне, поглядел на часы и медленно направился к выходу.

— Одиннадцать часов, и одиннадцать женщин. Пора остановиться.

Он прищурился, воображая предстоящее наслаждение, и с удовольствием подумал, что нынче белье на нем — чистое.

«Моя госпожа Отт, небось, будет подглядывать, — усмехнулся он про себя. — Ну что ж, ничего. Это будет, так сказать, перец...»

Он шел, глядя себе под ноги, изредка только проверяя названия улиц. Он знал, что улица Гофмана далеко, за Кайзердаммом, но оставалось около часу, можно было не очень торопиться. Опять, как вчера, небо кишело звездами, и блестел асфальт, как гладкая вода, отражая, удлиняя, впитывая в себя волшебные огни города. На углу, где свет кинематографа обливал тротуар, Эрвин услышал короткий раскат детского смеха и, подняв глаза, увидел перед собой высокого старика в смокинге и девочку, шедшую рядом, — девочку лет четырнадцати в темном нарядном платье, очень открытом на груди. Старика весь город знал по портретам. Это был знаменитый поэт, дряхлый лебедь, одиноко живший на окраине. Он ступал с какой-то тяжкой грацией, волосы, цвета грязной ваты, спадали на уши из-под мягкой шляпы, играл огонек

посреди крахмального выреза на груди, и от длинного костистого носа теневое пятно косо падало на тонкие губы. И взгляд Эрвина, дрогнув, перешел на лицо девочки, семенившей рядом, — что-то было в этом лице странное, странно скользнули ее слишком блестящие глаза, — и если б это была не девочка — внучка, верно, старика, — можно было подумать, что губы ее тронуты кармином. Она шла, едва-едва поводя бедрами, тесно передвигая ноги, она что-то звонко спрашивала у своего спутника, — и Эрвин ничего мысленно не приказал, но вдруг почувствовал, что его тайное мгновенное желание исполнено.

— Ну конечно, конечно, — вкрадчиво отвечал старик, наклоняясь к девочке.

Они прошли. Пахнуло духами. Эрвин обернулся, затем продолжал свой путь.

— Однако, — вдруг спохватился он. — Двенадцать — число четное. Нужно еще одну, и нужно успеть до полночи...

Ему было досадно, что приходится еще искать, — и вместе с тем приятно, что есть еще одна возможность.

«По дороге найду, — успокаивал он себя. — Несомненно найду...»

— Может быть, это будет лучшая из всех, — вслух сказал он и стал зорко всматриваться в блестящую темноту.

И вскоре он ощутил знакомое сладкое сжатие, холодок под ложечкой. Перед ним быстро и легко шла женщина. Он видел ее только со спины, — он не мог бы объяснить, что именно так взволновало его, отчего с такой мучительной жадностью ему захотелось ее обогнать, заглянуть ей в лицо. Можно было бы, конечно, случайными словами описать ее походку, движение плеч, очерк шляпы — но стоит ли? Что-то вне зримых очертаний, какой-то особый воздух, воздушное волнение, — влекло за собой Эрвина. Он шел быстро, но все же не мог поравняться с ней, в глазах мелькал влажный блеск ночных отражений, женщина шла ровно и легко, и ее черная тень вдруг взмахивала, попав в царство фонаря, и, взмахнув, скользила по стене, перегибалась на выступе, пропадала на перекрестке.

«Боже мой, но ведь мне нужно видеть ее лицо, — волновался Эрвин. — И время идет».

Но потом он о времени забыл. Эта странная, молчаливая погоня по ночным улицам опьянила его. Он ускорил шаг, обогнал, далеко перегнал женщину, но из робости не посмел оглянуться — только опять замедлил шаг, и она, в свой черед, его перегнала, да так быстро, что он не успел разглядеть. Снова он шел в десяти шагах за ней, — и уже знал, несмотря на то что лица ее не видел, что это есть лучшая его избранница. Улица горела, прерывалась темнотой, снова горела, разливалась блестящей черной площадью, — и снова женщина легким толчком каблука ступала на панель, — и Эрвин за ней, растерянный, бесплотный, опьяненный туманом огней, ночной прохладой, погоней...

И опять он перегнал ее, и, опять оробев, не сразу повернул голову, и она прошла дальше, и он, отделившись от стены, понесся следом, держа шляпу в левой руке и взволнованно болтая правой.

Не походка, не облик ее... Что-то другое, очаровательное и властное, какое-то напряженное мерцание воздуха вокруг нее — быть может, только фантазия, трепет, восторг фантазии, — а быть может, то, что меняет одним божественным взмахом всю жизнь человека, — Эрвин ничего не знал, — только шел по тротуару, ставшему тоже как бы бесплотным в ночной блестящей темноте, только смотрел на ту, которая быстро, легко и ровно шла перед ним.

И вдруг деревья, весенние липы, присоединились к погоне, — они шли и шушукались, с боков, сверху, повсюду; черные сердечки их теней переплетались у подножия фонаря; их нежный липкий запах подбодрял, подталкивал.

В третий раз Эрвин стал приближаться. Еще шаг... Еще. Сейчас обгонит. Он был уже совсем близко, когда внезапно женщина остановилась у чугунной калитки и звякнула связкой ключей. Эрвин, с разбега, едва не наскочил на нее. Она повернула к нему лицо, и при свете фонаря он узнал ту, которая утром, в солнечном сквере, играла со щенком, — и сразу вспомнил, сразу понял всю ее прелесть, теплоту, драгоценное сияние.

Он стоял и смотрел на нее, страдальчески улыбаясь.

— Как вам не стыдно...— сказала она тихо. — Подите прочь.

Калитка открылась и с грохотом хлопнула. Эрвин остался один под умолкшими липами. Постоял, затем надел

шляпу и медленно отошел. Пройдя несколько шагов, он увидел два огненных пузыря — открытый автомобиль, стоящий у панели. Он подошел, тронул за плечо неподвижного шофера.

— Скажите, какая это улица, — я заблудился.

— Улица Гофмана, — сухо ответил шофер.

И тогда знакомый, мягкий, хрипловатый голос раздался из глубины автомобиля:

— Здравствуйте, это я.

Эрвин оперся ладонью о край дверцы, вяло ответил:

— Здравствуйте.

— Я скучаю, — сказал голос. — Жду здесь моего приятеля. Мы с ним должны отравиться на рассвете. Как вы поживаете?

— Чет, — усмехнулся Эрвин, поводя пальцем по пыльной дверце.

— Знаю, знаю, — равнодушно ответила госпожа Отт. — Тринадцатая оказалась первой. Да, у вас это дело не вышло.

— Жалко, — сказал Эрвин.

— Жалко, — отозвалась госпожа Отт.

— Впрочем, все равно, — сказал Эрвин.

— Все равно, — подтвердила она и зевнула.

Эрвин поклонился, поцеловал ее большую черную перчатку, набитую пятью растопыренными пальцами, и, кашлянув, повернул в темноту. Он шагал тяжело, ныли уставшие ноги, угнетала мысль, что завтра понедельник и что вставать будет трудно.

ПАССАЖИР

— Да, жизнь талантливее нас, — вздохнул писатель, постукивая картонным концом папиросы о крышку портсигара. — Иногда она придумывает такие темы... Куда нам до нее! Ее произведения непереводимы, непередаваемы...

— Все права закреплены за автором, — улыбнувшись, подсказал критик, скромный, близорукий человек с тонкими, подвижными пальцами.

— Нам остается только жулить, — продолжал писатель, рассеянно бросив спичку в пустую рюмку критика. — Нам

остается делать с ее творениями то, что делает фильмовый режиссер с известным романом. Режиссеру нужно, чтобы горничным в субботний вечер было нескучно, и потому он этот роман меняет до неузнаваемости, крошит его, выворачивает, выбрасывает тысячу эпизодов, вводит придуманные им самим происшествия, новых персонажей, — и все для того, чтобы получился занимательный фильм, развивающийся без всяких помех, карающий в начале добродетель, а в конце — порок, совершенно естественный в своей условности и, главное, снабженный неожиданной, но все разрешающей развязкой. Вот точно так же и темы жизни мы меняем по-своему, стремясь к какой-то условной гармонии, к художественной сжатости. Приправляем наш пресный плагиат собственными выдумками. Нам кажется, что жизнь творит слишком размашисто и неровно, что ее гений слишком неряшлив, мы в угоду нашим читателям выкраиваем из ее свободных романов наши аккуратные рассказики, — ad usum delphini[1]. Позвольте же по этому поводу вам сообщить следующий случай.

Ехал я в экспрессе, в спальном вагоне. Я очень люблю дорожное новоселье, — холодноватое белье на койке, фонари станции, которые, тронувшись, медленно проходят за черным стеклом окна. Было мне приятно, помнится, что надо мной, на верхней койке, никого нет. Раздевшись, я лег навзничь, подложил под затылок руки, — и легкость узкого казенного одеяла была прямо-таки сладостна после пухлости отельных перин. Помечтав кое о чем, — мне о ту пору хотелось писать повесть из жизни вагонных уборщиц, — я выключил свет и очень скоро уснул. И тут разрешите мне употребить прием, частенько встречающийся в таких именно рассказах, каким обещает быть мой. Вот он — этот старый, хорошо вам известный прием. «Среди ночи я внезапно проснулся». Впрочем, дальше следует коечто посвежее. Я проснулся и увидел ногу.

— Виноват? — переспросил скромный критик, подавшись вперед и подняв указательный палец.

— Я увидел ногу, — повторил писатель. — Отделение было освещено, и поезд стоял на какой-то станции. Нога была мужская, крупная, в грубом пестром носке,

[1] Для наследника престола *(лат.)*. Здесь: «для детского чтения».

продырявленном синеватым ногтем большого пальца. Она плотно стояла на лесенке у самого моего лица, и ее обладатель, скрытый от меня навесом верхней койки, как раз собирался сделать последнее усилие, чтобы взобраться на свою галерку. Я успел хорошенько рассмотреть эту ногу, серый в черную клетку носок, фиолетовую ижицу подвязки сбоку на толстой икре. Сквозь трико длинного подштанника неприятно торчали волоски. Вообще нога была препротивная. Пока я на нее смотрел, она напряглась, пошевелила раза два цепким большим пальцем, наконец сильно оттолкнулась и взвилась наверх. Там, наверху, послышалось кряхтение, посапывание, — все звуки, по которым я мог судить о том, что человек укладывается спать. Затем свет погас, и через несколько мгновений поезд тронулся.

Я не знаю, как вам объяснить, — эта нога произвела на меня впечатление гнетущее. Пестрая, мягкая гадина. И меня тревожило то, что из всего человека я знал только эту недобрую ногу, а фигуры, лица так и не увидал. Его койка, которая образовывала надо мной низкий, темный потолок, теперь казалась ниже, я словно ощущал ее тяжесть. Как я ни старался представить себе облик моего ночного спутника, все у меня торчал перед глазами этот крупный ноготь, блестевший синеватым перламутром сквозь дырку шерстяного носка. Вообще странно, конечно, что такие пустяки могли меня волновать, — но ведь, с другой стороны, не есть ли всякий писатель именно человек, волнующийся по пустякам? Как бы то ни было, сон ко мне не шел. Я прислушивался — не храпит ли мой неведомый пассажир? Мне показалось, что он не храпит, а стонет, — но, как известно, ночной колесный стук поощряет галлюцинации слуха. Однако я не мог отделаться от впечатления, что там, надо мной, раздаются какие-то необыкновенные звуки. Я слегка приподнялся. Звуки стали яснее. Человек на верхней койке рыдал.

— Как вы сказали? — прервал критик. — Рыдал? Так, так. Простите, я не расслышал. — И, снова уронив руки на колени и склонив набок голову, он продолжал слушать рассказчика.

— Да, он рыдал, — и его рыдания были ужасны. Рыдания душили его, он шумно выпускал воздух, как будто выпив залпом литр воды, и за этим следовало быстрое

всхлипывание с закрытым ртом, какая-то страшная пародия на кудахтание, — и опять вдыхание, и опять мелкие рыдающие выдохи, но уже с открытым ртом, — судя по хахакающему звуку. И все это на шатком фоне колесной стукотни, ставшей тем самым как бы движущейся лестницей, по которой всходили и спускались его рыдания. Я лежал не шевелясь и слушал, — и при этом чувствовал, что у меня в темноте преглупое лицо: всегда становится неловко, когда рыдает чужой человек. А тут еще я был невольно связан с ним тем, что мы лежим на двух полках, в одном и том же отделении, в одном и том же безучастно мчавшемся поезде. И он не унимался, — это ужасное трудное всхлипывание не отставало от меня: мы оба, я — внизу — слушающий, — он — наверху — рыдающий, летели боком в ночную даль со скоростью восьмидесяти километров в час, и только железнодорожная катастрофа могла бы рассечь нашу невольную связь. Потом он как будто перестал, — но только я собрался уснуть, снова заклокотали его рыдания, и мне казалось даже, что вперемежку со всхлипывающими вздохами он произносит какие-то слова, нутряным голосом, животом. Он снова замолк, только посапывал; и я лежал с закрытыми глазами и видел в воображении его отвратительную ногу в клетчатом носке. Я все-таки уснул, а в половине шестого утра проводник рванул дверь, разбудил меня, и, сидя на койке, поминутно стукаясь головой о край верхней койки, я стал поспешно одеваться. Перед тем как выйти с чемоданами в коридор, я оглянулся на верхнюю койку, но он лежал ко мне спиной, накрывшись с головой одеялом. В коридоре было светло, солнце только что встало, синяя, свежая тень поезда бежала по траве, по кустам, изгибаясь, взлетала на скаты, рябила по стволам мелькающих берез, — и ослепительно просиял удлиненный прудок посредине поля, медленно сузился, превратился в серебряную щель, и с быстрым грохотом проскочил домик, шлагбаум, хлестнула хвостом дорога, — и опять замелькали пятнистым частоколом, от которого кружилась голова, бесчисленные, солнцем испещренные березы. Кроме меня, в коридоре стояли две заспанные, наскоро покрашенные дамы и старичок в замшевых перчатках и дорожном картузе. Я ненавижу вставать рано, — упоительнейший рассвет в мире не может мне заменить часы сладкого утреннего сна, — и поэтому я только хмуро

кивнул, когда старичок обратился ко мне: «Вы тоже вылезаете в...?» И он назвал большой город, куда мы должны были приехать через десять—пятнадцать минут.

Березы вдруг рассеялись, полдюжины домишек посыпали с холма, едва второпях не попав под поезд, затем прошагала, блистая стеклами, огромная багровая фабрика, чей-то шоколад окликнул нас с пятисаженного объявления, опять фабричный корпус, стекла, трубы, одним словом, происходило все то, что происходит, когда подъезжаешь к большому городу. Но вот, к нашему удивлению, поезд судорожно затормозил и остановился на пустынном полустанке, где, казалось бы, экспрессу нечего делать. Меня удивило и то, что на платформе стоят несколько полицейских. Я опустил оконную раму и высунулся. «Закройте окно», — вежливо сказал один из них. Люди в коридоре заволновались. Прошел кондуктор; я спросил, в чем дело. «В поезде находится преступник», — ответил он и кратко объяснил на ходу, что в городе, через который мы проезжали ночью, случилось накануне убийство — муж застрелил жену и ее любовника. Дамы ахнули, старичок покачал головой. В коридор вошли двое полицейских и краснощекий кругленький сыщик в котелке, похожий на букмэкера. Меня попросили вернуться в купэ. Полицейские остались стоять в коридоре, а сыщик принялся обходить отделения. Я показал ему паспорт. Он скользнул рыжими глазами по моему лицу и отдал мне бумаги. Мы стояли в тесном купэ, на верхней койке неподвижно лежала темная, завернутая с головой фигура. «Вы можете выйти», — сказал мне сыщик и протянул руку наверх на койку. «Ваши бумаги, пожалуйста». Фигура в одеяле храпела. Стоя у открытой двери, я слушал этот храп, и мне казалось, что в нем еще просвистывают отзвуки ночных рыданий. «Пожалуйста, проснитесь», — громче сказал сыщик и каким-то профессиональным жестом дернул за край серого одеяла, у шеи спящего. Тот шевельнулся, но продолжал храпеть. Сыщик потряс его за плечо. Мне стало не по себе, я отвернулся и принялся глядеть в коридорное окно, но ничего не видел, а всем существом слушал, что происходит в купэ.

И представьте себе, я не услышал ровно ничего особенного. Сонно заворчал человек на верхней койке, сыщик отчетливо потребовал документы, отчетливо поблагодарил,

вышел из купэ, вошел в следующее. Вот и все. А ведь казалось, как вышло бы великолепно — с точки зрения писателя, конечно, — если бы рыдающий пассажир с недобрыми ногами оказался убийцей, как великолепно можно было бы объяснить его ночные слезы, — и, главное, как великолепно все бы это уложилось в рамки моего ночного путешествия, в рамки короткого рассказа. Но, по-видимому, замысел автора, замысел жизни, был и в этом случае, как и всегда, стократ великолепнее.

Писатель вздохнул и замолк, посасывая давно потухшую, вконец разжеванную и замусленную папиросу. Критик глядел на него добрыми глазами.

— Признайтесь, — опять заговорил писатель, — вы были уверены, начиная с той минуты, когда я упомянул о полицейских на полустанке, что мой рыдающий пассажир — преступник?

— Я знаю вашу манеру, — сказал критик, кончиками пальцев коснувшись плеча собеседника и, свойственным ему жестом, сразу отдернув руку... — Если бы вы писали детективный рассказ, вы бы сделали искомым злодеем не того, кого никто из героев не подозревает, а того, кого с самого начала подозревают все, и тем самым провели бы опытного читателя, привыкшего к тому, что ларчик открывается непросто. Я знаю, что впечатление неожиданности вы любите давать путем самой естественной развязки. Но не слишком увлекайтесь этим. В жизни много случайного, но и много необычайного. Слову дано высокое право из случайности создавать необычайность, необычайное делать не случайным. Из данного случая, из данных случайностей вы могли бы сделать вполне завершенный рассказ, если бы превратили вашего пассажира в убийцу.

Писатель опять вздохнул:

— Да-да, я об этом думал. Я прибавил бы несколько деталей. Я намекнул бы на то, что убийца страстно любил жену. Мало ли что можно придумать. Но горе в том, что неизвестно, может быть, жизнь имела в виду нечто совсем другое, нечто куда более тонкое, глубокое. Горе в том, что я не узнал, почему рыдал пассажир, и никогда этого не узнаю...

— Я заступаюсь за слово, — мягко сказал критик. — Вы, писатель, по крайней мере создали бы яркое разрешение. Ваш герой, может статься, плакал потому, что потерял

бумажник на вокзале. У меня был знакомый — взрослый мужчина необычайно воинственной наружности, — который плакал в голос, когда у него болели зубы. Нет-нет, спасибо. Больше мне не наливайте. Достаточно, вполне достаточно.

УЖАС

Со мной бывало следующее: просидев за письменным столом первую часть ночи, когда ночь тяжело идет еще в гору, — и очнувшись от работы как раз в то мгновенье, когда ночь дошла до вершины и вот-вот скатится, перевалит в легкий туман рассвета, — я вставал со стула, озябший, опустошенный, зажигал в спальне свет — и вдруг видел себя в зеркале. И было так: за время глубокой работы я отвык от себя, — и, как после разлуки, при встрече с очень знакомым человеком, в течение нескольких пустых, ясных, бесчувственных минут видишь его совсем по-новому, хотя знаешь, что сейчас пройдет холодок этой таинственной анестезии и облик человека, на которого смотришь, снова оживет, потеплеет, займет свое обычное место и снова станет таким знакомым, что уже никаким усилием воли не вернешь мимолетного чувства чуждости, — вот точно так я глядел на свое отражение в зеркале и не узнавал себя. И чем пристальнее я рассматривал свое лицо — чужие, немигающие глаза, блеск волосков на скуле, тень вдоль носа, — чем настойчивее я говорил себе: вот это я, имярек, — тем непонятнее мне становилось, почему именно это — я, и тем труднее мне было отождествить с каким-то непонятным «я» лицо, отраженное в зеркале. Когда я рассказывал об этом, мне справедливо замечали, что так можно дойти до чортиков. Действительно, раза два я так долго всматривался поздно ночью в свое отражение, что мне становилось жутко и я поспешно тушил свет. А наутро, пока брился, мне уже в голову не приходило удивляться своему отражению.

Бывало со мной и другое: ночью, лежа в постели, я вдруг вспоминал, что смертен. Тогда в моей душе происходило то же, что происходит в огромном театре, когда внезапно потухает свет, и в налетевшей тьме кто-то резко

вскрикивает, и затем вскрикивает несколько голосов сразу, — слепая буря, темный панический шум растет, — и вдруг свет вспыхивает снова, и беспечно продолжается представление. Так, бывало, душа моя задохнется на миг, лежу навзничь, широко открыв глаза, и стараюсь изо всех сил побороть страх, осмыслить смерть, понять ее по-житейски, без помощи религий и философий. И потом говоришь себе, что смерть еще далека, что успеешь ее продумать, — а сам знаешь, что все равно никогда не продумаешь, и опять в темноте, на галерке сознания, где мечутся живые, теплые мысли о милых земных мелочах, проносится крик, — и внезапно стихает, когда наконец, повернувшись на бок, начинаешь думать о другом.

Полагаю, что все это — и недоумение перед ночным зеркалом, и внезапное паническое предвкушение смерти, — ощущения, знакомые многим, и если я так останавливаюсь на них, то потому только, что в этих ощущениях есть частица того высшего ужаса, который мне однажды довелось испытать. Высший ужас... особенный ужас... я ищу точного определения, но на складе готовых слов нет ничего подходящего. Напрасно примеряю слова, ни одно из них мне не впору.

Жил я счастливо. Была у меня подруга. Помню, как меня измучила первая наша разлука, — я по делу уезжал за границу, — и как потом она встречала меня на вокзале — стояла на перроне, как раз в клетке желтого света, в пыльном снопе солнца, пробившего стеклянный свод, и медленно поворачивала лицо по мере того, как проползали окна вагонов. С нею мне было всегда легко и покойно. Только однажды... Да, вот тут я опять чувствую, какое неуклюжее орудие — слово. А хочется мне объяснить... Это такой пустяк, это так мимолетно: вот мы с нею одни в ее комнате, я пишу, она штопает на ложке шелковый чулок, низко наклонив голову, и розовеет ухо, наполовину прикрытое светлой прядью, и трогательно блестит мелкий жемчуг вокруг шеи, и нежная щека кажется впалой, оттого что она так старательно пучит губы. И вдруг, ни с того ни с сего, мне делается страшно от ее присутствия. Это куда страшнее того, что я не сразу почувствовал ее на вокзале. Мне страшно, что со мной в комнате другой человек, мне страшно самое понятие: другой человек. Я понимаю, отчего сумасшедшие не узнают своих близких... Но она поднимает

голову, быстро, всеми чертами лица, улыбается мне, — и вот, от моего странного страха уже нет и следа. Повторяю, это случилось всего только раз, — это тогда мне показалось глупостью нервов, — я забыл, что в одинокую ночь, перед зеркалом, мне приходилось испытывать нечто очень похожее.

Прожили мы вместе около трех лет. Я знаю, что многие не могли понять нашу связь. Недоумевали, чем могла привлечь и удержать меня эта простенькая женщина, но, Боже мой, как я любил ее неприметную миловидность, веселость, ласковость, птичье трепыхание ее души... Ведь дело в том, что как раз ее тихая простота меня охраняла: все в мире было ей по-житейски ясно, и мне даже иногда казалось, что она совершенно точно знает, что ждет нас после смерти, — и мы о смерти никогда не говорили. В конце третьего года я опять принужден был уехать на довольно долгий срок. Накануне моего отъезда мы почему-то пошли в оперу. Когда, сидя на малиновом диванчике в темноватой, таинственной аванложе, она снимала огромные, серые ботики, вытаскивала из них тонкие, шелковые ноги, я подумал о тех, очень легких бабочках, которые вылупляются из громоздких, мохнатых коконов. И было весело, когда мы с ней нагибались над розовой бездной залы и ждали, чтоб поднялся плотный, выцветший занавес в бледных, золотистых изображениях различных оперных сцен. И голым локтем она чуть не скинула вниз с барьера свой маленький перламутровый бинокль.

И вот, когда уже все расселись и оркестр, вобрав воздух, приготовился грянуть, — вдруг в огромном розовом театре потухли сразу все лампочки, — и налетела такая густая тьма, что мне показалось — я ослеп. И в этой тьме все сразу задвигалось, зашумело, и панический трепет перешел в женские восклицания, и оттого что отдельные мужские голоса очень громко требовали спокойствия — крики становились взволнованнее. Я рассмеялся, начал ей что-то говорить, — и почувствовал, что она вцепилась мне в руку, молча мнет мне манжету. И когда свет снова наполнил театр, я увидел, что она сидит вся бледная, стиснув зубы. Я помог ей выйти из ложи, — она качала головой, с виноватой улыбкой порицая свой ребяческий испуг, — и потом расплакалась, попросилась домой. И только в карете она успокоилась и, прижимая комочком платок к сияющим глазам,

стала мне объяснять, как ей грустно, что завтра я уезжаю, и как было бы нехорошо этот последний вечер провести на людях, в опере.

А через двенадцать часов я уже сидел в вагоне, глядел в окно на туманное, зимнее небо, на воспаленный глазок солнца, не отстающий от поезда, на белые поля, которые без конца раскрывались, как исполинский лебяжий веер. В большом нерусском городе, куда я через сутки приехал, и довелось мне высший ужас испытать.

Началось с того, что я дурно спал три ночи сряду, а четвертую не спал вовсе. За последние годы я отвык от одиночества, и теперь эти одинокие ночи были для меня острым, безвыходным страданием. В первую ночь я видел ее во сне: было много солнца, и она сидела на постели в одной кружевной сорочке и до упаду хохотала, не могла остановиться. И вспомнил я этот сон совсем случайно, проходя мимо бельевого магазина, — и когда вспомнил, то почувствовал, как все то, что было во сне весело, — ее кружева, закинутое лицо, смех, — теперь, наяву, страшно, — я никак не мог себе объяснить, почему мне так неприятен, так отвратителен этот кружевной, хохочущий сон. Я много работал и много курил, и все у меня было чувство, что мне нужно, как говорится, держать себя в руках. Ночью, раздеваясь, я нарочно посвистывал и напевал, но вдруг, как трусливый ребенок, вздрагивал от легкого шума за спиной, от шума пиджака, соскользнувшего со стула.

На пятый день, рано утром, после бессонной ночи, я вышел пройтись. То, что буду рассказывать дальше, мне хотелось бы напечатать курсивом, — даже нет, не курсивом, а каким-то новым, невиданным шрифтом. Оттого, что я ночью не спал, во мне была какая-то необыкновенно восприимчивая пустота. Мне казалось, что голова у меня стеклянная, и легкая ломота в ногах тоже казалась стеклянной. И сразу, как только я вышел на улицу... Да, вот теперь я нашел слова. Я спешу их записать, пока они не потускнели. Когда я вышел на улицу, я внезапно увидел мир таким, каков он есть на самом деле. Ведь мы утешаем себя, что мир не может без нас существовать, что он существует, поскольку мы существуем, поскольку мы можем себе представить его. Смерть, бесконечность, планеты, — все это страшно именно потому, что это вне нашего представления. И вот, в тот страшный день, когда, опустошенный

бессонницей, я вышел на улицу, в случайном городе, и увидел дома, деревья, автомобили, людей, — душа моя внезапно отказалась воспринимать их как нечто привычное, человеческое. Моя связь с миром порвалась, я был сам по себе, и мир был сам по себе, — и в этом мире смысла не было. Я увидел его таким, каков он есть на самом деле: я глядел на дома, и они утратили для меня свой привычный смысл; все то, о чем мы можем думать, глядя на дом... архитектура... такой-то стиль... внутри комнаты такие-то... некрасивый дом... удобный дом... — все это скользнуло прочь, как сон, и остался только бессмысленный облик, — как получается бессмысленный звук, если долго повторять, вникая в него, одно и то же обыкновеннейшее слово. И с деревьями было то же самое, и то же самое было с людьми. Я понял, как страшно человеческое лицо. Все — анатомия, разность полов, понятие ног, рук, одежды, — полетело к чорту, и передо мной было нечто, — даже не существо, ибо существо тоже человеческое понятие, — а именно нечто, движущееся мимо. Напрасно я старался пересилить ужас, напрасно вспоминал, как однажды, в детстве, я проснулся и, прижав затылок к низкой подушке, поднял глаза и увидал спросонья, что над решеткой изголовья наклоняется ко мне непонятное лицо, безносое, с черными, гусарскими усиками под самыми глазами, с зубами на лбу, — и, вскрикнув, привстал, и мгновенно черные усики оказались бровями, а все лицо — лицом моей матери, которое я сперва увидал в перевернутом, непривычном виде. И теперь я тоже старался привстать, дабы зримое приняло вновь свое обычное положение, и это не удавалось мне.

Напротив, чем пристальнее я вглядывался в людей, тем бессмысленнее становился их облик. Охваченный ужасом, я искал какой-нибудь точки опоры, исходной мысли, чтобы, начав с нее, построить снова простой, естественный, привычный мир, который мы знаем. Я, кажется, сидел на скамейке в каком-то парке. Действий моих в точности не помню. Как человеку, с которым случился на улице сердечный припадок, нет дела до прохожих, до солнца, до красоты старинного собора, — а есть в нем только всепоглощающее желание дышать, — так и у меня было только одно желание: не сойти с ума. Думаю, что никто никогда так не видел мира, как я видел его в те минуты. Страшная

нагота, страшная бессмыслица. Рядом какая-то собака обнюхивала снег. Я мучительно старался понять, что такое «собака», — и оттого, что я так пристально на нее смотрел, она доверчиво подползла ко мне, — и стало мне до того тошно, что я встал со скамьи и пошел прочь. И тогда ужас достиг высшей точки. Я уже не боролся. Я уже был не человек, а голое зрение, бесцельный взгляд, движущийся в бессмысленном мире. Вид человеческого лица возбуждал во мне желание кричать.

Каким-то образом я оказался опять у входа моей гостиницы. И тут ко мне подошел кто-то и назвал меня по имени. Он тыкал мне в руку свернутый лоскуток. Бумажку эту я машинально развернул. И сразу весь мой ужас прошел, я мгновенно о нем забыл, все стало опять обыкновенным и незаметным: гостиница, переменные отблески в стеклах вращающихся дверей, знакомое лицо швейцара, подавшего мне телеграмму. Я стоял посредине широкой прихожей. Прошел господин, с трубкой, в клетчатом картузе, толкнул меня и важно извинился. Я чувствовал удивление и большую, невыносимую, но совсем естественную, совсем человеческую боль. В телеграмме сообщалось, что она находится при смерти.

И пока я ехал к ней, и пока сидел у ее кровати, мне и в голову не приходило рассуждать о том, что такое жизнь, что такое смерть; ужасаться жизни и смерти. Женщина, которую я любил больше всего на свете, умирала. Я видел и чувствовал только это.

Она меня не узнала, когда я толкнулся коленом о край постели, на которой она лежала, под огромными одеялами, на огромных подушках, — сама маленькая, с волосами, откинутыми со лба, отчего стал заметен по окату виска тонкий шрам, который она всегда скрывала под низкой волной прически. Она меня не узнала, но я чувствовал по улыбке, раза два легко приподнявшей уголок ее губ, что она в своем тихом бреду, в предсмертном воображении видит меня, так что перед нею стояли двое — я сам, которого она не видела, и двойник мой, который был невидим мне. И потом я остался один, — мой двойник умер вместе с нею.

Ее смерть спасла меня от безумия. Простое человеческое горе так наполнило мою жизнь, что для других чувств места больше не было. Но время идет, ее образ становится

в моей душе все совершеннее и все безжизненнее, — и мелочи прошлого, живые, маленькие воспоминания незаметно для меня потухают, как потухают, один за другим, иногда по два, по три сразу, то здесь, то там, огоньки в окнах засыпающего дома. И я знаю, что обречен, что пережитый однажды ужас, беспомощная боязнь существования когда-нибудь снова охватит меня, и тогда мне спасения не будет.

ЗВОНОК

Семь лет прошло с тех пор, как он с нею расстался. Господи, какая сутолока на Николаевском вокзале! Не стой так близко, сейчас поезд тронется. Ну вот — прощай, моя хорошая... Она пошла рядом, высокая, худощавая, в макинтоше, с черно-белым шарфом вокруг шеи, — и медленным течением ее уносило назад. Затем он повоевал, нехотя и беспорядочно. Затем, в одну прекрасную ночь, под восторженное стрекотание кузнечиков, перешел к белым. Затем — уже через год — незадолго до выхода на чужбину — на крутой и каменистой Чайной улице в Ялте он встретил своего дядю, московского адвоката. Как же, как же, сведения есть, — два письма. Собирается в Германию и разрешение уже получила. А ты — молодцом. И наконец Россия дала ему отпуск, — по мнению иных — бессрочный. Россия долго держала его, он медленно соскальзывал вниз с севера на юг, и Россия все старалась удержать его — Тверью, Харьковом, Белгородом — всякими занимательными деревушками... не помогло. Был у нее в запасе еще один соблазн, еще один последний подарок — Таврида, — но и это не помогло. Уехал. И на пароходе он познакомился с молодым англичанином, весельчаком и спортсменом, который отправлялся в Африку.

Николай Степаныч побывал и в Африке, и в Италии, и почему-то на Канарских островах, и опять в Африке, где некоторое время служил в иностранном легионе. Он сперва вспоминал ее часто, потом — редко, потом снова — все чаще и чаще. Ее второй муж, немец, умер во время войны. Ему принадлежали в Берлине два дома. Николай Степаныч рассчитывал, что она в Берлине бедствовать не будет.

Но как время идет! Прямо поразительно... Неужто целых семь лет?

За эти годы он окреп, огрубел, лишился указательного пальца, изучил два языка — итальянский и английский. Его глаза стали еще простодушнее и светлее, оттого что ровным, мужицким загаром покрылось лицо. Он курил трубку. Походка его, — крепкая, как у большинства коротконогих людей, — стала удивительно мерною. Одно совершенно не изменилось в нем: его смех — с прищуринкой, с прибауткой.

Он долго посмеивался, качал головой, когда наконец решил все бросить и потихоньку перебраться в Берлин. Как-то раз — в Италии, кажется, — он заметил на лотке русскую газету, издававшуюся в Берлине. Он написал туда, просил поместить объявление, что он, мол, разыскивает... Вскоре после этого он покатил дальше, так и не узнав ничего. Из Каира уезжал в Берлин старичок журналист Грушевский. Вы там наведите справки. Может быть, найдете. Скажите, что я жив, здоров... Но и тут никаких вестей он не получил. А теперь пора... Нагрянуть. Там, на месте, уже легче будет разыскать. Возня с визами, денег не ахти как много. Ну да уж как-нибудь доедем...

И он доехал. В желтом пальто с большими пуговицами, в клетчатом картузе, короткий и широкоплечий, с трубкой в зубах и с чемоданом в руке, он вышел на площадь перед вокзалом, усмехнулся, полюбовался бриллиантовой рекламой, проедающей темноту. Ночь в затхлом номере дешевой гостиницы он провел плохо, — все придумывал, как начать розыски. Адресный стол, редакция русской газеты... Семь лет. Она, должно быть, здорово постарела. Свинство было так долго ждать, — мог раньше приехать. Но эти годы, это великолепное шатание по свету, волнение свободы, свобода, о которой мечталось в детстве!.. Сплошной Майн-Рид... И вот опять — новый город, подозрительная перина и скрежет трамвая. Он нащупал спички, обрубком пальца привычным движением стал вдавливать в трубку мягкий табачок.

Во время путешествия забываешь названия дней: их заменяют города. Когда утром Николай Степаныч вышел на улицу с намерением отправиться в полицию, то увидел на всех лавках решетки. Оказалось — воскресенье. Адресный стол, редакция полетели к чорту (не дай Бог попасть

в воскресенье в чужой город!). Дело было осенью: ветер, астры в скверах, сплошь белое небо, желтые трамваи, трубный рев простуженных таксомоторов. Его несколько знобило от волнения, от мысли, что вот, он в том же городе, как и она. За германский полтинник ему дали стакан портвейна в шоферском кабаке, и вино натощак подействовало приятно. На улицах там и сям накрапывала русская речь: «...Сколько раз я тебя просила...» И через несколько туземных прохожих: «...Он мне предлагает их купить, но я, по правде сказать...» От волнения он посмеивался и гораздо скорее, чем обычно, выкуривал трубку. «...Казалось, прошло, — а теперь и Гриша слег...» Опять русские! Он подумал, не подойти ли к ним, не спросить ли поучтивее: «Вы, может быть, знаете такую-то?» В этой заблудившейся русской провинции, наверное, все друг друга знают.

Уже вечерело, и очаровательным мандариновым светом налились в сумерках стеклянные ярусы огромного универсального магазина, — когда Николай Степаныч, проходя мимо какого-то дома, случайно заметил на плоской серой колонке фронтона, у дверей, небольшую белую вывеску: «Зубной врач И. С. Вайнер. Из Петрограда». Неожиданное воспоминание так и ошпарило его. «Этот милостивый государь подгнил, придется удалить». В окне — прямо против кресла пыток — стеклянные снимки, швейцарские виды... Окно выходило на Мойку. «Теперь прополощите». И доктор Вайнер, толстый, спокойный старик в белом халате, в проницательных очках, перебирал инструментики. Она ходила к нему, и двоюродные братья ходили, — и еще говорили, когда случалась между ними какая-нибудь обида: а хочешь Вайнера (т. е. в зубы)? Николай Степаныч постоял перед дверью, хотел было позвонить, — да вспомнил, что нынче воскресенье, подумал — и все-таки позвонил. Что-то зажужжало в замке, и дверь поддалась. Он поднялся на первый этаж. Открыла горничная. «Нет, господин доктор сегодня не принимает». — «У меня зубы не болят, — возразил Николай Степаныч на прескверном немецком языке. — Доктор Вайнер — мой старый знакомый... Моя фамилия — Галатов, он, вероятно, помнит...» — «Я доложу», — сказала горничная.

Через минуту вышел в прихожую пожилой человек, в домашней куртке с бранденбургами, рыжеватый, удивительно с виду приветливый, и, весело отрекомендовавшись,

добавил: «Я вас, однако, не помню, — тут, вероятно, произошла ошибочка». Николай Степаныч посмотрел на него и извинился: «Да. И я вас тоже не помню. Я думал найти того доктора Вайнера, который жил до революции на Мойке. Промахнулся, — простите». — «Ах, это однофамилец, — сказал дантист. — Однофамилец. Это однофамилец. Я жил на Загородном». — «Мы у него все лечились, — пояснил Николай Степаныч. — Вот я и думал... Дело в том, что я разыскиваю одну даму — госпожу Неллис...» Вайнер прикусил губу, напряженно посмотрел в сторону, потом снова обратился к нему: «Позвольте... Если я не ошибаюсь... По-моему... По-моему, какая-то госпожа Неллис была у меня не так давно... Это мы сейчас установим. Будьте любезны пройти ко мне в кабинет». В кабинете Николай Степаныч ничего не разглядел. Он не сводил глаз с безукоризненной лысины Вайнера, который наклонился над своим журналом. «Это мы сейчас установим, — говорил Вайнер, водя пальцем по страницам. — Это мы сейчас установим. Это мы сейчас... Вот, пожалуйте, — Неллис. Золотая пломба и еще что-то, — не вижу, тут клякса». — «А как имя и отчество?» — спросил Николай Степаныч, подойдя к столу, и обшлагом чуть не сбил пепельницу.

«И это отмечено. Ольга Кирилловна». — «Да, правильно», — облегченно вздохнул Николай Степаныч. «Адрес: Планнерштрассе 59, бай Баб, — чмокнул Вайнер и быстро переписал адрес на отдельный листок. — Вторая улица отсюда. Пожалуйста. Очень рад услужить. Это ваша родственница?» — «Моя мать», — сказал Николай Степаныч.

Выйдя от дантиста, он пошел несколько ускоренным шагом. То, что он так скоро ее отыскал, поразило его, как карточный фокус. Едучи в Берлин, он ни минуты не думал о том, что, может быть, она давно умерла или переехала в другой город, в другую страну, — и все-таки фокус удался. Вайнер оказался не тем Вайнером, — и все-таки судьба вышла из положения. Прекрасный город, прекрасный дождь! (Бисерный осенний дождь моросил как бы шепотом, и на улицах было темно.) Как она встретит его? Нежно? Или грустно? Или совсем спокойно? Она не баловала его в детстве. «Ты не смеешь тут бегать, когда я играю на рояле». Потом, когда он вырос, ему часто казалось, что он мало нужен ей. Теперь он старался вообразить ее лицо, но мысли упорно не окрашивались, и он никак

не мог собрать в живой зрительный образ то, что знал умом: ее худую, высокую, как бы некрепко свинченную фигуру, темные волосы с налетом седины у висков, большой бледный рот, потрепанный макинтош, в котором она была в последний раз, и усталое, горькое, уже старческое выражение, которое появилось на ее увядшем лице в те бедственные годы. Пятьдесят первый номер. Еще восемь домов.

Он спохватился вдруг, что волнуется нестерпимо, до неприличия, — куда больше, чем в тот миг, например, когда лежал, страшно потея, уткнувшись боком в скалу, и целился в налетающий вихрь, — в белое чучело на чудесной арабской лошади. Не доходя до пятьдесят девятого номера, он остановился, вынул трубку и резиновый мешочек с табаком, набил трубку медленно, тщательно, не выронив ни одной табачной стружки, — поднес спичку, потянул, посмотрел, как взбухает огненный холмик, набрал полный рот сладковатого, щиплющего язык дыма, осторожно выпустил его — и не спеша, крепкими шагами, подошел к дому.

На лестнице было так темно, что раза два он споткнулся. Добравшись в густом мраке до первой площадки, он чиркнул спичкой и осветил золотистую дощечку подле двери. Не та фамилия. Странное имя «Баб» он нашел только гораздо выше. Огонек обжег ему пальцы и потух. Фу ты, как сердце стучит... Он в темноте нащупал кнопку и позвонил. Затем вынул трубку из зубов и стал ждать, чувствуя, как мучительная улыбка разрывает ему рот.

И вот — что-то звякнуло за дверью, раз, еще раз — и, как ветер, качнулась дверь. В передней было так же темно, как на лестнице, и из этой темноты к нему вылетел звучный и веселый голос. «У нас во всем доме погасло электричество — прямо ужас», — и он мгновенно узнал это долгое, тягучее «у» в «ужасе» и мгновенно по этому звуку восстановил до малейших черт ту, которая, скрытая тьмой, стала в дверях.

— Правда, — ни зги не видать, — усмехнулся он и шагнул к ней.

Она так ахнула, будто кто-то с размаху ударил ее. Он отыскал в темноте ее руки, плечи, толкнул что-то (вероятно, подставку для зонтиков). «Нет-нет-нет — это невозможно, это невозможно...» — быстро-быстро повторяла она

и куда-то пятилась. «Да постой же, мама, постой же», — сказал он, — и опять стукнулся (на этот раз о полуоткрытую дверь, которая со звоном захлопнулась). «Это с ума можно сойти... Коленька, Коль — — —» Он целовал ее в щеки, в волосы, куда попало, — ничего не видя в темноте, но каким-то внутренним взором узнавая ее всю, с головы до пят, — и только одно было в ней новое (но и это новое неожиданно напомнило самую глубину детства, — когда она играла на рояле) — сильный, нарядный запах духов, — словно не было тех промежуточных лет, когда он мужал, а она старела, и не душилась больше, и потом так горько увядала — в те бедственные годы, — словно всего этого не было, и он из далекого изгнания попал прямо в детство... «Вот — ты. Это — ты. Ну вот — ты... — лепетала она, мягкими губами прижимаясь к нему. — Это хорошо... Это так надо...»

— Да неужели нигде нет света? — рассмеялся Николай Степаныч.

Она толкнула какую-то дверь и проговорила взволнованным голосом:

— Да. Пойдем. У меня там свечи горят.

— Ну, покажись... — сказал он, входя в оранжевое мерцание свеч, и жадно взглянул на мать. У нее волосы были совсем светлые, выкрашенные в цвет соломы.

— Ну что же, узнаешь? — сказала она, тяжело дыша, и поспешно добавила: — Да не смотри так. Рассказывай, рассказывай! Как ты загорел... Боже мой! Да ну же, рассказывай!

Белокурые, подстриженные волосы... А лицо было раскрашено с какой-то мучительной тщательностью. Но мокрая полоска слезы разъела розовый слой, но дрожали густые от краски ресницы, но полиловела пудра на крыльях носа... Она была в синем лоснящемся платье с высоким воротником. И все было в ней чужое, и беспокойное, и страшное.

— У тебя, мама, вероятно, сегодня визиты, — заметил Николай Степаныч, не зная, что сказать, и энергично скинул пальто.

Она пошла от него к столу, где что-то было нагромождено и блестело, — потом к нему опять, посмотрелась в зеркало, — словно не знала, что делать.

— Сколько лет... Боже мой! Я прямо не верю глазам. Да-да, у меня должны быть гости. Я их отменю. Я позвоню. Я что-нибудь сделаю. Надо отменить... Ах ты, Боже мой...

Она прижалась к нему, теребила ему рукава.

— Да успокойся, мама, что с тобой, нельзя же так. Сядем куда-нибудь. Скажи, как у тебя все? Как ты поживаешь?.. — И, почему-то боясь ответов на свои вопросы, он стал рассказывать о себе, ладно прищелкивая слово к слову, попыхивая трубкой, стараясь заговорить, обкурить свое изумление. Оказалось, что и объявление она видела, и со старепьким журналистом встретилась, и несколько раз писала сыну в Италию, в Каир... Теперь, после того как он рассмотрел ее искаженное краской лицо, ее искусственно желтые волосы, — ему казалось, что и голос ее уже не тот. И, рассказывая о своих приключениях, не останавливаясь ни на мгновение, он оглядывал наполовину освещенную, дрожащую комнату, с плюшевой кошкой на камине, с ширмой, из-за которой выступало изножье кровати, с Фридрихом, играющим на флейте, с вазочками на полке, в которых прыгало, как ртуть, отражение огней... Странствуя глазами по комнате, он рассмотрел и то, что раньше мельком заметил, — накрытый на двоих стол, пузатую бутыль ликера, две высокие рюмки и огромный розовый пирог в разноцветном кольце еще не зажженных восковых свечек.

— ...Я, конечно, сразу выскочил, — и что же, ты думаешь, оказалось? Ну-ка, угадай! — Она как бы очнулась, испуганно посмотрела на него (а сидела она рядом, на диване, слегка откинувшись, сжав руками виски, — и ее ноги отливали незнакомым блеском). — Да ты разве не слушаешь, мама?

— Нет, что ты, — я слушаю, я слушаю...

И теперь он подметил еще одно: она была странно рассеянна, словно прислушивалась не к его словам, а к чему-то постороннему, грозящему и неизбежному... Он продолжал свой рассказ, — но опять остановился, спросил:

— Это в честь кого же — пирог? Очень аппетитный.

Его мать растерянно улыбнулась:

— Ах, это просто так... Я говорю же тебе, что у меня сегодня визиты.

— Мне ужасно напомнило Петербург, — сказал Николай Степаныч. — И, помнишь, ты раз ошиблась, забыла одну свечу. Мне стукнуло десять, а свеч было только

девять. Фукнула мой день рождения. Вот был рев. А тут сколько штук?

— Да не все ли равно!.. — крикнула она и встала, будто хотела ему загородить стол. — Скажи мне лучше, который час? Мне нужно отменить, позвонить, что-нибудь сделать.

— Четверть восьмого, — сказал Николай Степаныч.

— Ах, это слишком поздно! — снова крикнула она. — Все равно! Теперь уж все равно...

Оба замолчали. Она опять села. А Николай Степаныч старался себя заставить обнять ее, приласкаться к ней, спросить: «Послушай мама, — да что с тобой случилось? Да расскажи мне наконец...» Он опять посмотрел на блестящий стол, сосчитал свечки вокруг пирога. Их было двадцать пять штук. Двадцать пять! А ему-то уж двадцать восемь...

— Да не осматривай так мою комнату! — сказала мать. — Прямо сыщик! Ужасающая комната, я хочу переехать, — быстро продолжала она — и вдруг легко ахнула: — Постой... Что это такое? Это ты стукнул?

— Да, — ответил Николай Степаныч, — трубку выбиваю. А скажи мне, — у тебя есть деньги? Ты не нуждаешься?

Она стала поправлять какую-то ленточку на рукаве и заговорила, на него не глядя:

— Да... Ведь ты знаешь, кое-что после Генриха осталось... Но я должна тебя предупредить, — мне только как раз хватает на жизнь. Ради Бога, не стучи трубкой. Я должна тебя предупредить, что я... Что тебя... Ну, ты понимаешь, Коля, мне будет трудно тебя содержать...

— Эх, мамахен, куда ты загнула, — воскликнул Николай Степаныч (и в это мгновение, как солнце из-за облака, ударил с потолка электрический свет). — Ну вот, можно свечи тушить, — а то сидим прямо как в склепе. Видишь ли, у меня небольшой запасец деньжат есть, — да и вообще я — вольная птица... Садись же, что ты бегаешь по комнате?

Высокая, худая, ярко-синяя, она остановилась перед ним, и теперь, при полном свете, он увидел, как она постарела, как упорно выступают сквозь восковой слой красок морщины на щеках и на лбу. И эти ужасные желтые волосы!..

— Ты так нагрянул, — сказала она и, кусая губы, заглянула в лицо маленьким часам, стоявшим на полке. — Как снег на голову... Они спешат. Нет, остановились. У меня сегодня визиты, — а вот ты приехал... С ума сойти...

— Глупости, мама. Придут, увидят, что сын приехал, и очень скоро испарятся. А мы еще с тобой сегодня вечерком в какой-нибудь мюзик-холл махнем, где-нибудь поужинаем... Я вот, помню, видал африканский театр — удивительная штука, прямо номер! Представь себе, человек пятьдесят негров, и такое, довольно большое, ну, примерно, как...

Громкий звонок затрещал с парадной. Ольга Кирилловна, присевшая было на ручку кресла, встрепенулась и выпрямилась.

— Постой, я открою, — сказал Николай Степаныч и поднялся.

Она поймала его за рукав. Лицо у нее дергалось. Звонок осекся — ждал.

— Это же, вероятно, твои визиты, — сказал Николай Степаныч. — Надо открыть.

Его мать резко мотнула головой, прислушиваясь.

— Как же так... — начал Николай Степаныч.

Она потянула его за рукав, шепотом проговорила:

— Не смей! Я не хочу... Не смей...

Звонок засверлил опять, на этот раз настойчиво и раздраженно. И сверлил долго.

— Пусти меня, — сказал Николай Степаныч. — Это глупо... Если звонят, надо открыть. Чего ты боишься?

— Не смей... Слышишь, не смей... — повторяла она, судорожно ловя его руки. — Я тебя умоляю... Коля, Коля, Коля!.. Не надо!

Звонок опять осекся. Его сменил крепкий стук — производимый набалдашником трости, что ли.

Николай Степаныч решительно направился в переднюю. Но на пороге комнаты мать поймала его за плечи — изо всех сил старалась оттащить его и все шептала: «Не смей... Не смей... Ради Бога!..»

Еще раз грянул звонок, коротко и гневно.

— Твое дело, — усмехнулся Николай Степаныч и, заложив руки в карманы, прошелся вдоль комнаты. «Кошмар — да и только», — подумал он и усмехнулся опять.

Звон прекратился. Все было тихо. Звонившему, видно, надоело, и он ушел. Николай Степаныч приблизился к столу, осмотрел великолепный, облитый блестящим кремом пирог, двадцать пять праздничных свечечек, две тоненьких рюмки. Рядом, словно притаясь в тени бутылки, лежала белая картонная коробочка. Он поднял ее, снял крышку. Внутри был новенький, довольно безвкусный серебряный портсигар.

— Так, — сказал Николай Степаныч.

Он обернулся — и только тогда заметил, что его мать, полулежа на кушетке и уткнувшись лицом в подушку, вздрагивает от рыданий. В прежние годы он часто видал ее плачущей, — но тогда она плакала совсем иначе — сидела за столом, что ли, и, плача, не отворачивала лица, громко сморкалась и говорила, говорила, — а тут она рыдала так молодо, так свободно лежала... и было что-то изящное в повороте ее спины, в том, что одна нога в бархатном башмачке касается пола... Прямо можно было подумать, что это плачет молодая белокурая женщина... И платочек ее, как полагается, лежал комочком на ковре.

Николай Степаныч, крякнув, подошел, сел рядом на край кушетки. Крякнул опять. Его мать, скрывая лицо, заговорила в подушку:

— Ах, зачем ты не приехал раньше! Ну хотя бы на год раньше... Только на год...

— Сам не знаю, — сказал Николай Степаныч.

— Теперь все кончено... — всхлипнула она, и ее светлые волосы дрогнули. — Все кончено. Мне в мае будет пятьдесят лет. Взрослый сын приехал к старушке матери. И зачем ты приехал... именно теперь... именно сегодня...

Николай Степаныч надел пальто (которое, не по-европейски, бросил просто в угол), вынул из кармана картуз и опять присел рядом.

— Завтра утром я покачу дальше, — сказал он, поглаживая мать по плечу, по синему блестящему шелку. — Мне хочется теперь на север — в Норвегию, что ли. А то на море, китов бить. Я тебе буду писать. Так, через годок, снова встретимся, тогда, может быть, дольше останусь. Уж ты не пеняй на меня, — кататься хочется!

Она быстро обхватила его, прижалась мокрой щекой к его шее. Потом сжала ему руку и вдруг удивленно вскрикнула.

— Пуля оттяпала, — рассмеялся Николай Степаныч. — Прощай, моя хорошая.

Она потрогала гладкий обрубок пальца и осторожно его поцеловала. Потом обняла сына, проводила его до дверей.

— Пиши, пожалуйста, почаще... Что ты смеешься? У меня, верно, вся пудра сошла.

И как только дверь за ним захлопнулась, она, шумя синим платьем, кинулась к телефону.

ПОДЛЕЦ

1

Проклятый день, в который Антон Петрович познакомился с Бергом, существовал только теоретически: память не прилепила к нему вовремя календарной наклейки, и теперь найти этот день было невозможно. Грубо говоря, случилось это прошлой зимой: Берг поднялся из небытия, поклонился и опустился опять, — но уже не в прежнее небытие, а в кресло. Было это у Курдюмовых, и жили они на улице Св. Марка, чорт знает где, в Моабите, что ли. Курдюмовы так и остались бедняками, а он и Берг с тех пор несколько разбогатели; теперь, когда в витрине магазина мужских вещей появлялся галстук, дымно-цветистый — скажем, как закатное облако, — сразу в дюжине экземпляров, и точь-в-точь таких же цветов платки — тоже в дюжине экземпляров, — то Антон Петрович покупал этот модный галстук и модный платок, и каждое утро, по дороге в банк, имел удовольствие встречать тот же галстук и тот же платок у двух-трех господ, как и он, спешащих на службу. С Бергом одно время у него были дела, Берг был необходим, Берг звонил ему по телефону раз пять в день, Берг стал бывать у них — и острил, острил, — Боже мой, как он любил острить. При первом его посещении Таня, жена Антона Петровича, нашла, что он похож на англичанина и очень забавен. «Антон, здравствуй!» — рявкал Берг, топыря пальцы и сверху, с размаху, по русскому обычаю, коршуном налетая на его руку и крепко пожимая ее. Был Берг плечист, строен, чисто выбрит, и сам про себя говорил, что похож на мускулистого ангела. Антону Петровичу он

однажды показал старую, черную записную книжку: страницы были сплошь покрыты крестиками, и таких крестиков было ровным счетом пятьсот двадцать три. «Времен Деникина и покоренья Крыма», — усмехнулся Берг и спокойно добавил: «Я считал, конечно, только тех, которых бил наповал». И то, что Берг — бывший офицер, вызывало в Антоне Петровиче зависть, и он не любил, когда Берг при Тане рассказывал о конных разведках и ночных атаках. Сам он был коротконог, кругловат и носил монокль, который в свободное время, когда не был ввинчен в глазницу, висел на черной ленточке, а когда Антон Петрович сидел развалясь, блестел, как глупый глаз, у него на брюшке. Фурункул, вырезанный два года тому назад, оставил на левой щеке шрам, и этот шрам, и жесткие подстриженные усы, и пухлый расейский нос напряженно шевелились, когда Антон Петрович вдавливал стеклышко себе под бровь. «Напрасно ты пыжишься, — говорил Берг, — краше не станешь».

В стаканах легкий пар млел над поверхностью чая; жирный шоколадный эклер, раздавленный ложкой, выпускал свое кремовое нутро; Таня, положив голые локти на стол и упирая подбородок в скрещенные пальцы, смотрела вверх на то, как плывет дымок ее папиросы, и Берг ей доказывал, что надо остричь волосы, что все женщины спокон веков стригли волосы, что Венера Милосская стриженая, и Антон Петрович жарко и обстоятельно возражал, а Таня только пожимала плечом, ударом ногтя стряхивая пепел.

И все это прошло. В конце июля, в среду, Антон Петрович уехал по делу в Кассель и оттуда послал жене телеграмму, что возвращается в пятницу. В пятницу оказалось, что ему придется остаться по крайней мере еще неделю, и он послал новую телеграмму. Но на следующий день утром дело провалилось, и Антон Петрович, уже не предупреждая жены, покатил обратно в Берлин. Он приехал около десяти, усталый и раздраженный. С улицы он увидел, что окна спальни освещены. Приятно, что жена дома. Он поднялся на пятый этаж, привычным движением повернул ключ в трех замках и вошел. Проходя по передней, он услышал, как в ванной комнате ровно шумит вода. «Танька моется», — с любовью подумал Антон Петрович и прошел в спальню. В спальне, перед зеркалом, стоял Берг и завязывал галстук.

Антон Петрович машинально опустил на пол свой чемоданчик, не отводя глаз от Берга, который, чуть откинув свое бесстрастное лицо, перебросил пеструю лопасть галстука и пропустил ее сквозь узел.

— Главное, не волнуйся, — сказал Берг, осторожно затягивая узел, — пожалуйста, не волнуйся. Будь совершенно спокоен.

Как поступить? Скорей... По ногам проходит дрожь. Ног уже нет, есть только холодная, ноющая дрожь. Скорей... Он стал стаскивать с руки перчатку. Перчатки были новые и сидели плотно. Он дергал головой и сам не замечал, как бормочет:

— Уходите немедленно прочь. Какое безобразие. Уходите прочь...

— Ухожу, Антон, ухожу, — сказал Берг и, широко и покойно двигая плечами, надел пиджак.

«Если я его ударю, он меня ударит тоже», — быстро подумал Антон Петрович. Последним рывком он стянул перчатку и неловко бросил ее в Берга. Перчатка хлопнулась об стену и упала в кувшин с водой.

— Метко, — сказал Берг.

Он взял шляпу, трость и направился мимо Антона Петровича к двери.

— Однако тебе придется меня выпустить, — обернулся он на ходу, — дверь внизу заперта.

Антон Петрович, едва соображая, что делает, за ним последовал. Когда они начали спускаться по лестнице, Берг, шедший впереди, вдруг стал смеяться.

— Прости, — сказал он, не оглядываясь, — но это ужасно смешно: выгоняют со всеми удобствами.

Через несколько ступеней он засмеялся опять и пошел быстрее. Антон Петрович тоже ускорил шаг. Эта поспешность безобразна. Берг нарочно заставляет его сбегать вприпрыжку. Какая пытка... Третий этаж... второй... Когда эта лестница кончится? Берг взял махом последние ступени и, постукивая об пол тростью, ждал Антона Петровича. Антон Петрович тяжело дышал, не мог попасть в замок, руки тряслись. Наконец дверь открылась.

— Не поминай лихом, — сказал Берг, уже стоя на панели, — будь ты на моем месте...

Антон Петрович захлопнул дверь. У него с самого начала зрела потребность хлопнуть какой-нибудь дверью. От

грохота зазвенело в ушах. Только теперь, поднимаясь по лестнице, он заметил, что лицо мокро от слез и что остановить слезы нет никакой возможности, но нужно было торопиться. Он бегом добрался до верху и, проходя через переднюю, опять услышал шум воды. Вместе с этим шумом доносился голос Тани. Она в ванной громко пела. Она еще ничего не знала. Антон Петрович выпустил дыхание и вернулся в спальню. Обе постели были открыты, и на жениной розовела ночная сорочка, а на диване были разложены вечернее платье и шелковые чулки, — она, очевидно, собралась идти танцовать с Бергом. Антон Петрович вынул из грудного карманчика великолепное самопишущее перо. «Я не могу тебя видеть. Если я тебя увижу, то не ручаюсь за себя». Он писал стоя, неловко согнувшись над туалетным столом. Монокль помутился от крупной слезы... буквы плясали... «Пожалуйста, уходи. Я тебе оставляю пока сто марок. Переговорю завтра с Наташей. Переночуй у нее сегодня или в гостинице, — только, пожалуйста, не оставайся больше здесь». Он кончил писать и приставил лист к зеркалу, на видном месте. Рядом положил стомарковый билет. И снова, проходя через переднюю, он услышал голос жены. Она в ванной пела, — голос у нее был цыганского пошиба, милый голос, счастье, летний вечер, гитара... она поет, щурясь, на подушке посреди комнаты... и Антон Петрович со вчерашнего дня жених, счастье, летний вечер, ночная бабочка на потолке, я тебя бесконечно люблю, для тебя я отдам свою душу... «Какое безобразие! Какое безобразие!» — все повторял он, идя по улице. Было очень тепло и звездисто. Все равно, куда идти. Теперь, вероятно, она уже вышла из ванной и все поняла. Антона Петровича передернуло: перчатка. В кувшине плавает коричневым комочком совсем новая перчатка. Он пошел быстрее и на ходу крикнул, так что вздрогнул прохожий. Увидев огромные смутные тополя и площадь, он подумал: где-то тут живет Митюшин. Антон Петрович позвонил ему по телефону из кабака, который обступил его, как сон, и снова отошел, удаляясь, как задний огонь поезда. Митюшин впустил его, но, так как был сильно навеселе, сначала не обратил внимания на его искаженное лицо. В туманной комнатке находился неизвестный Антону Петровичу господин, а на диване, спиной к столу, лежала черноволосая дама в красном платье и, по-видимому, спала. На столе

блестели бутылки. Антон Петрович попал на именины, но он так и не понял, чьи это были именины — Митюшина ли, спящей дамы или неизвестного господина, оказавшегося русским немцем со странной фамилией Гнушке. Митюшин, сияя необыкновенно розовым лицом, познакомил его с Гнушке и, указав кивком на полную спину спящей дамы, сказал в воздух: «Позвольте, Анна Никаноровна, вам представить моего большого друга». Дама не шелохнулась, чему, впрочем, Митюшин ничуть не удивился, словно он и не ожидал, что она проснется. Вообще все это было слегка нелепо, как бывает во сне: пустая бутылка из-под водки с воткнутой в горлышко розой, доска с начатой шахматной партией, спящая дама, пьяный Митюшин, пьяный, но совершенно спокойный Гнушке...

— Пей, — сказал Митюшин и вдруг поднял брови. — Что с тобой, Антон Петрович? Морда у тебя как мел.

— Да, пейте, — с какой-то глупой серьезностью проговорил Гнушке, длиннолицый человек в высоком воротнике, похожий на черную таксу.

Антон Петрович залпом выпил полчашки водки и сел.

— Теперь рассказывай, что случилось, — сказал Митюшин. — Не стесняйся Генриха — он самый честный человек на свете. Мой ход, Генрих, и знай, что, если ты сейчас хлопнешь моего слона, я тебе дам мат в три хода. Ну, валяй, Антон Петрович.

— Это мы сейчас посмотрим, — сказал Гнушке, выправляя манжету. — Ты забыл пешку на аш-пять.

— Сам ты аш-пять, — сказал Митюшин. — Антон Петрович сейчас будет рассказывать.

От водки все вокруг заходило ходуном: шахматная доска тихо полезла на бутылки, бутылки поехали вместе со столом по направлению к дивану, диван со спящей дамой двинулся к окну, окно тоже куда-то поехало. И это проклятое движение было как-то связано с Бергом, и нужно было положить этому конец, покончить с этим безобразием, растоптать, разорвать, убить.

— Я пришел к тебе, чтобы ты был моим секундантом, — начал Антон Петрович и смутно почувствовал, что в его словах есть безграмотность, но не был в силах это поправить.

— Понимаю, — сказал Митюшин, косясь на шахматную доску, над которой нависла, шевеля пальцами, рука Гнушке.

— Нет, ты слушай меня, — с тоской воскликнул Антон Петрович, — нет, ты слушай! Не будем больше пить. Это серьезно, серьезно.

Митюшин уставился на него блестящими голубыми глазами.

— Брось шахматы, Генрих, — сказал он, не глядя на Гнушке, — тут идет серьезный разговор.

— Я собираюсь драться, — прошептал Антон Петрович, стараясь взглядом удержать стол, который все плыл, все плыл куда-то. — Я хочу убить одного человека. Его зовут Берг, ты, кажется, встречал его у меня. Не стану объяснять причину...

— Секунданту можно, — сказал Митюшин.

— Простите, что вмешиваюсь, — заговорил вдруг Гнушке и поднял указательный палец. — Вспомните, что сказано: не убий!

— Этого человека зовут Берг, — произнес Антон Петрович. — Ты, кажется, знаешь его. И вот, мне нужно двух секундантов.

— Дуэль, — сказал Гнушке.

Митюшин толкнул его локтем:

— Не перебивай, Генрих.

— Вот и все, — шепотом докончил Антон Петрович и, опустив глаза, слабо потеребил ленточку монокля.

Молчание. Ровно посапывала дама на диване. По улице пронесся гудок автомобиля.

— Я пьян, и Генрих пьян, — пробормотал Митюшин, — но, по-ви́димому, случилось что-то серьезное. — Он покусал костяшки руки и оглянулся на Гнушке: — Как ты считаешь, Генрих?

Гнушке вздохнул.

— Вот вы оба завтра пойдете к нему, — заговорил опять Антон Петрович. — Условьтесь о месте и так дальше. Он мне не дал своей карточки. По закону он должен был мне дать свою карточку. Я ему бросил перчатку.

— Вы поступаете как благородный и смелый человек, — вдруг оживился Гнушке. — По странному совпадению, я несколько знаком с этим делом. Один мой кузен был тоже убит на дуэли.

«Почему — тоже? — тоскливо подумал Антон Петрович. — Неужели это предзнаменование?»

Митюшин отпил из чашки и бодро сказал:

— Как другу — не могу отказать. Утром пойдем к господину Бергу.

— Насчет германских законов, — сказал Гнушке. — Если вы его убьете, то вас посадят на несколько лет в тюрьму; если же вы будете убиты, то вас не тронут.

— Я все это учел, — кивнул Антон Петрович.

И потом появилась опять прекрасная самопишущая ручка, черная блестящая ручка с золотым нежным пером, которое в обычное время как бархатное скользило по бумаге, но теперь рука у Антона Петровича дрожала, теперь, как палуба, ходил стол... На листе почтовой бумаги, данном ему Митюшиным, Антон Петрович написал Бергу письмо, трижды назвал Берга подлецом и кончил бессильной фразой: «Один из нас должен погибнуть».

И потом он зарыдал, и Гнушке, цокая языком, вытирал ему лицо большим платком в красных квадратах, и Митюшин показывал на шахматную доску, глубокомысленно повторяя: «Вот ты его как этого короля — мат в три хода, и никаких гвоздей». И Антон Петрович всхлипывал, слабо отклоняясь от дружеских Гнушкиных рук, и повторял с детскими интонациями: «Я ее так любил, так любил».

И рассветало.

— Значит, в девять часов вы будете у него, — сказал Антон Петрович и пошатываясь встал со стула.

— Через пять часов мы будем у него, — как эхо, отозвался Гнушке.

— Успеем выспаться, — сказал Митюшин.

Антон Петрович разгладил свою шляпу, на которой все время сидел, поймал руку Митюшина, подержал ее, поднял и почему-то прижал ее к своей щеке.

— Ну что ты, ну что ты, — забормотал Митюшин и, как давеча, обратился к спящей даме: — Наш друг уходит, Анна Никаноровна.

На этот раз она шелохнулась, вздрогнула спросонья, тяжеловато повернулась. У нее было полное мятое лицо с раскосыми, чересчур подведенными глазами.

— Вы бы, господа, больше не пили, — спокойно сказала она и опять повернулась к стене.

Антон Петрович нашел на углу сонный таксомотор, который, как дух, понес его через пустыни светающего города и уснул у его двери. В передней он встретил горничную Эльсбет: она, разинув рот, недобрыми глазами посмотрела

на него, хотела что-то сказать, но раздумала и, шлепая ночными туфлями, пошла по коридору.

— Постойте, — сказал Антон Петрович. — Моя жена уехала?

— Это стыд, — внушительно проговорила горничная, — это сумасшедший дом. Тащить ночью сундуки, все перевернуть...

— Я вас спрашиваю, уехала ли моя жена? — тонким голосом закричал Антон Петрович.

— Уехала, — угрюмо ответила Эльсбет.

Антон Петрович прошел в гостиную. Он решил спать там. В спальне, конечно, нельзя. Он зажег свет, лег на кушетку и накрылся пальто. Почему-то было неуютно кисти левой руки. Ах, конечно, часы. Он снял их, завел да еще при этом подумал: «Удивительная вещь, этот человек сохраняет полное хладнокровие. Он даже не забывает завести часы. Это хорошо». И сразу, так как он был еще пьян, огромные ровные волны закачали его, ухнуло, поднялось, ухнуло, поднялось и стало сильно тошнить. Он привстал... большая медная пепельница... скорей... И так скинуло с души, что в паху закололо... и все мимо, мимо. Он заснул тотчас: одна нога в сером гетре свисала с кушетки, и свет (который он совсем забыл выключить) бледным лоском обливал его потный лоб.

2

Митюшин был скандалист и пьяница. Он чорт знает что мог натворить — этак с бухты-барахты. Бесстрашный человек. И, помнится, рассказывали о каком-то его приятеле, что он, в пику почтовому ведомству, бросал зажженные спички в почтовый ящик. И говорили, что у этого приятеля прегнусная фамилия. Так что вполне возможно, что это был Гнушке. А собственно говоря, Антон Петрович зашел к Митюшину просто так, чтобы спокойно посидеть, может быть, даже поспать у него, а то дома было слишком тошно. И ни с того ни с сего... Нет, конечно, Берга полагается убить, но сначала нужно было хорошенько все продумать, и если выбирать секундантов, то уж во всяком случае порядочных людей. В общем, вышло безобразие. Все вышло безобразно. Начиная с перчатки и кончая пепельницей.

Но теперь, конечно, ничего не поделаешь, нужно эту чашу испить до дна...

Он пошарил под диваном, куда закатились часы. Одиннадцать. Митюшин и Гнушке уже побывали у Берга. Вдруг какая-то приятная мысль проскользнула среди других, расталкала их, пропала опять. Что это было? Ага, конечно! Ведь они были пьяны вчера, и он был пьян. Они, вероятно, проспали, а потом очухались, подумали: вздор, так, спьяну болтал. Но приятная мысль скользнула и исчезла. Все равно, дело начато, вчерашнее придется им повторить. Странно все же, что они до сих пор не показались. Дуэль. Здорово это звучит: дуэль. У меня дуэль. Я стреляюсь. Поединок. Дуэль. «Дуэль» — лучше. Он встал, заметил, что штаны страшно измяты. Пепельница была убрана. Очевидно, Эльсбет заходила, пока он спал. Как это неловко. Нужно пойти посмотреть, что делается в спальне. О жене он забыл, он должен забыть. Жены нет. Жены никогда не было. Все это прошло. Антон Петрович глубоко вздохнул и открыл дверь спальни. В углу стояла горничная и совала мятую газетную бумагу в мусорную корзину.

— Принесите мне, пожалуйста, кофе, — сказал он и подошел к туалетному столу. На нем лежал конверт: его имя, почерк Тани. Рядом валялись его щетка, гребенка, кисточка для бритья, безобразная жохлая перчатка. Антон Петрович вскрыл конверт. Сто марок, и больше ничего. Он повертел бумажку в руке, не зная, что с ней делать.

— Эльсбет...

Горничная подошла, подозрительно на него поглядывая.

— Вот возьмите. Вас так беспокоили ночью, и потом всякие другие неприятности... Возьмите же.

— Сто марок? — шепнула горничная и вдруг побагровела. Бог весть, что пронеслось у нее в голове, но она грохнула корзиной об пол и крикнула: — Нет! Меня подкупить нельзя, я честная. Подождите, я еще всем скажу, что вы хотели меня подкупить. Нет! В этом сумасшедшем доме...— И она вышла, стукнув дверью.

— Что с ней? Господи, что с ней? — растерянно залепетал Антон Петрович и, быстро шагнув к двери, завопил горничной вслед: — Убирайтесь вон сию минуту, убирайтесь из дому!..

«Третьего человека выгоняю, — подумал он, дрожа всем телом. — И кофе теперь никто мне не даст».

Затем он долго мылся, переодевался, долго сидел в кафе напротив, посматривая в окно, не идут ли Митюшин и Гнушке. В городе у него была уйма дел, но делами он не мог заниматься. Дуэль. Красивое слово.

Около четырех к нему зашла Наташа, Танина сестра. Она едва могла говорить от волненья, и Антон Петрович похаживал туда-сюда и поглаживал мебель. Таня к ней ночью приехала в страшном состоянии. В невообразимом состоянии. Антону Петровичу вдруг показалось странным, что он с Наташей на «ты». Ведь он больше теперь не женат на ее сестре. «Я буду выдавать ей столько-то и столько-то», — говорил он, стараясь так, чтобы голос не срывался. «Дело не в деньгах, — отвечала Наташа, сидя в кресле и раскачивая ногою в блестящем чулке. — Дело в том, что это все сплошной ужас. Это ад какой-то». — «Спасибо, что зашла, как-нибудь еще поговорим, но сейчас я очень занят», — сказал Антон Петрович. Провожая ее до двери, он уронил (ему казалось, по крайней мере, что он «уронил»): «У меня с ним дуэль». Наташины губы задрожали, она быстро поцеловала его в щеку и вышла. Странно, что она не стала его умолять не драться. Собственно говоря, она должна была бы умолять его не драться. В наши дни никто не дерется. У нее те же духи, как... У кого? Нет, нет, он никогда не был женат.

А еще через некоторое время, так около семи, явились Митюшин и Гнушке. Они были мрачны. Гнушке сдержанно поклонился и протянул запечатанный конверт конторского вида. «Я получил твое глупейшее и грубейшее послание...» У Антона Петровича выпал монокль, он вдавил его снова. «Мне тебя очень жаль, но раз уже ты взял такой тон, то я не могу не принять вызова. Секунданты у тебя довольно дрянные. Берг».

У Антона Петровича появилась неприятная сухость во рту, — и опять эта дурацкая дрожь в ногах...

— Ах, садитесь же, — сказал он и сам сел первый.

Гнушке утонул в кресле, спохватился и сел на кончик.

— Он пренахальный господин, — с чувством проговорил Митюшин. — Представь себе, он все время смеялся, так что я ему чуть не заехал в зубы.

Гнушке кашлянул и сказал:

— Одно могу вам посоветовать: цельтесь хорошо, потому что он тоже будет хорошо целиться.

Перед глазами у Антона Петровича мелькнула страничка в записной книжке, исписанная крестиками, а еще кроме этого: картонная фигура, которая вырывает у другой картонной фигуры зуб.

— Он опасная личность, — сказал Гнушке и откинулся в кресле, и опять утонул, и опять сел на кончик.

— Кто будет докладывать, Генрих, ты или я? — спросил Митюшин, жуя папиросу и большим пальцем дергая колесико зажигалки.

— Лучше уж ты, — сказал Гнушке.

— У нас был очень оживленный день, — начал Митюшин, таращa голубые свои глаза на Антона Петровича. — Ровно в половину девятого мы с Генрихом, который был еще вдрызг пьян...

— Я протестую, — сказал Гнушке.

— ...направились к господину Бергу. Он попивал кофе. Мы ему — раз! — всучили твое письмецо. Которое он прочел. И что он тут сделал, Генрих? Да, рассмеялся. Мы подождали, пока он кончит ржать, и Генрих спросил, какие у него планы.

— Нет, не планы, а как он намерен реагировать, — поправил Гнушке.

— ...реагировать. На это господин Берг ответил, что он согласен драться и что выбирает пистолет. Дальнейшие условия такие: двадцать шагов, никакого барьера, и просто стреляют по команде: раз, два, три. Засим... Что еще, Генрих?

— Если нельзя достать дуэльные пистолеты, то стреляют из браунингов, — сказал Гнушке.

— Из браунингов. Выяснив это, мы спросили у господина Берга, как снестись с его секундантами. Он вышел телефонировать. Потом написал вот это письмо. Между прочим, он все время острил. Далее было вот что: мы пошли в кафе встретиться с его господами. Я купил Гнушке гвоздику в петлицу. По гвоздике они и узнали нас. Представились, ну, одним словом, все честь честью. Зовут их Малинин и Буренин.

— Не совсем точно, — вставил Гнушке. — Буренин и полковник Магеровский.

— Это неважно, — сказал Митюшин и продолжал: — Тут начинается эпопея. С этими господами мы поехали за город отыскивать место. Знаешь Вайсдорф — это за Ваннзе.

Ну вот. Мы там погуляли по лесу и нашли прогалину, где, оказывается, эти господа со своими дамами устраивали на днях пикничок. Прогалина небольшая, кругом лес да лес. Словом, место идеальное. Видишь, какие у меня сапоги — совсем белые от пыли.

— У меня тоже, — сказал Гнушке. — Вообще прогулка была утомительная.

— Сегодня жарко, — сказал Митюшин. — Еще жарче, чем вчера.

— Значительно жарче, — сказал Гнушке.

Митюшин с чрезмерной тщательностью стал давить папиросу в пепельнице. Молчание. У Антона Петровича сердце билось в пищеводе. Он попробовал его проглотить, но оно застучало еще сильнее. Когда же дуэль? Завтра? Почему они не говорят? Может быть, послезавтра? Лучше было бы послезавтра...

Митюшин и Гнушке переглянулись и встали.

— Завтра в половину седьмого мы будем у тебя, — сказал Митюшин. — Раньше ехать незачем. Все равно там ни пса нет.

Антон Петрович тоже встал. Что сделать? Поблагодарить?

— Ну вот, спасибо, господа... Спасибо, господа... Значит, все устроено. Значит, так.

Те поклонились.

— Мы еще должны найти доктора и пистолеты, — сказал Гнушке.

В передней Антон Петрович взял Митюшина за локоть и пробормотал:

— Ужасно, знаешь, глупо, — но дело в том, что я, так сказать, не умею стрелять. То есть умею, но очень плохо...

Митюшин хмыкнул:

— Н-да. Не повезло. Сегодня воскресенье, а то можно было бы тебе взять урок. Не повезло.

— Полковник Магеровский дает частные уроки стрельбы, — вставил Гнушке.

— Да, — сказал Митюшин, — ты у меня умный. Но все-таки, как же нам быть, Антон Петрович? Знаешь что — новичкам везет. Положись на Господа Бога и ахни.

Они ушли. Вечерело. Никто не спустил штор. В буфете есть, кажется, сыр и грахамский хлеб. Пусто в комнатах и неподвижно, как будто было время, что вся мебель

дышала, двигалась, — а теперь замерла. Картонный зубной врач с хищным лицом склонялся над обезумевшим пациентом: это было так недавно, в синий, разноцветный фейерверочный вечер, в Луна-парке. Берг долго целился, хлопало духовое ружье, и пулька, попав в цель, освобождала пружину, и картонный дантист выдергивал огромный зуб о четырех корнях. Таня била в ладоши, Антон Петрович улыбался, и Берг стрелял снова, и с треском вращались картонные диски, разлетались на осколки трубки, исчезал шарик, плясавший на тонкой струе фонтана. Ужасно... И ужасней всего, что Таня тогда сказала так, в шутку: «А с вами неприятно было бы драться на дуэли». Эта дуэль будет без барьера. Антон Петрович твердо был убежден, что барьер — это ограда — из досок, что ли, — стоя за которой палит дуэлянт. А теперь барьера не будет, — никакой защиты. Двадцать шагов. Антон Петрович, считая шаги, прошел от двери до окна. Одиннадцать. Он вставил монокль, прикинул на глаз расстояние: две такие, совсем небольшие комнаты. Ах, если б удалось сразу пальнуть, сразу повалить Берга. Но он же не умеет целиться. Промах неизбежен. Вот, скажем, разрезательный нож. Или нет, возьмем лучше это пресс-папье. Нужно его держать так и целиться. А может быть, так, у самого лица, этак как будто лучше видно. И в это мгновенье, держа перед собой пресс-папье, изображавшее попугая, и поводя им туда-сюда, в это мгновенье Антон Петрович понял, что будет убит.

Около десяти он решил лечь. Но спальня была табу. С большим трудом он отыскал в комоде чистое постельное белье, переодел подушку, обтянул простыней кожаную кушетку в гостиной. Раздеваясь, он подумал: «Я в последний раз в жизни ложусь спать». «Пустяки!» — слабо пискнула какая-то маленькая часть души Антона Петровича, та часть его души, которая заставила его бросить перчатку, хлопнуть дверью, назвать Берга подлецом. «Пустяки!» — тонким голосом сказал Антон Петрович и спохватился: нехорошо так говорить. Если я буду думать, что со мной ничего не случится, то со мной случится самое худшее. Все в жизни всегда случается наоборот. Хорошо бы что-нибудь на ночь почитать, — в последний раз.

«Вот опять, — застонал он мысленно. — Почему последний раз? Я в ужасном состоянии. Нужно взять себя в руки. Ах, если б какие-нибудь были приметы. Карты».

На столике рядом с кушеткой лежала колода карт, Антон Петрович взял верхнюю: тройка бубен. Что значит тройка бубен? Неизвестно. Дальше он вытащил по порядку: даму бубен, восьмерку треф, туз пик. А! Вот это нехорошо. Туз пик — это, кажется, смерть. Но впрочем, глупости, суеверные глупости... Полночь. Пять минут первого. Завтра стало сегодня. У меня сегодня дуэль.

Он вновь и вновь пробовал успокоиться. Но происходили странные вещи: книга, которую он держал, называлась «Волшебная гора», а гора по-немецки — Берг; он решил, что, если досчитает до трех и на три пройдет трамвай, он будет убит, — и так оно и случилось: прошел трамвай. И тогда Антон Петрович сделал самое скверное, что мог сделать человек в его положении: он решил уяснить себе, что такое смерть. Спустя минуту такого раздумья все потеряло смысл. Ему стало трудно дышать. Он встал, прошелся по комнате, поглядел в окно на чистое, страшное ночное небо. «Надо завещанье написать», — подумал Антон Петрович. Но писать завещанье было, так сказать, играть с огнем; это значило мысленно похоронить себя. «Лучше всего выспаться», — сказал он вслух. Но как только он опускал веки, перед ним являлось злое, веселое лицо Берга и щурило один глаз. Тогда он опять зажигал свет, пытался читать, курил, хотя курильщиком не был. Мгновениями он вспоминал мелочь из прошлой жизни — детский пистолетик, тропинку в парке или что-нибудь такое — и сразу пресекал свои воспоминания, подумав: умирающие всегда вспоминают мелочи прошлой жизни. Этого не нужно делать. И тогда обратное пугало его: он замечал, что о Тане не думал, что он как бы охлажден наркотиком, нечувствителен к ее отсутствию. И сама собой являлась мысль: я бессознательно уже простился с жизнью, мне теперь все безразлично, раз я буду убит... И ночь уже шла на убыль.

Около четырех он прошаркал в столовую и выпил стакан сельтерской воды. Проходя мимо зеркала, он поглядел на свою полосатую пижаму, на жидкие, растрепанные волосы. «У меня будет безобразный вид, стыдно...— подумал он. — Но как выспаться, как выспаться?»

Он завернулся в плед, так как заметил, что у него говорят зубы, и сел в кресло посреди смутной, медленно бледневшей комнаты. Как это все будет? Нужно надеть что-нибудь строгое, но элегантное. Может быть, смокинг? Нет,

это глупо. Тогда — черный костюм... и, пожалуй, черный галстук. Черный костюм совсем новый. Но если будет рана — скажем, рана в плечо. Костюм будет испорчен... Кровь, дырка, будут еще резать рукав. Пустяки, ничего не будет. Надо надеть новый черный костюм. И когда начнется дуэль, он поднимет воротник пиджака, так, кажется, полагается, — чтобы не белела рубашка, что ли, или просто потому, что по утрам сыро. Так было в одном фильме. Затем нужно будет сохранять полное хладнокровие, говорить со всеми вежливо и спокойно. Спасибо, я уже стрелял. Теперь ваша очередь. Если вы не вынете папиросу изо рта, то я стрелять не стану. Я готов продолжать. Спасибо, я уже стрелял. «Спасибо, я уже смеялся», — анекдот какой-то. Чепуха, не то... Значит, все-таки, как же будет? Они приедут — он, Митюшин и Гнушке — на автомобиле, оставят автомобиль на шоссе, пройдут в лес. Там уже, вероятно, будет ждать Берг и его секунданты. Вот тут неизвестно — нужно ли поклониться, или нет. Может быть, хорошо выйдет, если так, издали, сдержанно, приподнять шляпу. Потом, вероятно, будут мерить шаги и заряжать пистолеты — как в «Евгении Онегине». Что он будет делать тем временем? Да, конечно, он где-нибудь в стороне поставит ногу на пень и будет так — непринужденно — ждать. Но что, если Берг станет тоже так — ногой на пень? Берг на это способен... Передразнить его. И выйдет опять безобразие. Еще можно прислониться к стволу или просто на траву сесть. Ну, там видно будет. Что-нибудь достойное и небрежное. Теперь дальше: они оба станут на отмеченные места. Тут-то он поднимет воротник. Пистолет возьмет так. Секунданты начнут считать. И тогда вдруг произойдет самое страшное, самое дикое, то, что представить себе нельзя, — хоть думай об этом ночи напролет, хоть живи до ста лет... Какое это чувство, когда пуля попадает в сердце или в лоб? Боль? Тошнота? Или просто — бац! — и полная тьма? А что, если какая-нибудь отвратительная рана — в глаз, в живот? Нет, Берг убьет его наповал. «Тут, конечно, сосчитаны только те, которых я бил наповал». Еще один крестик в записной книжке. Немыслимо...

В столовой часы прозвонили пять раз. Антон Петрович с огромным трудом, дрожа и кутаясь в клетчатый плед, поднялся — и опять задумался, и вдруг топнул ногой, как топнул Людовик, когда сказали ему, что пора ехать на

эшафот. Ничего не поделаешь. Казнь неизбежна. Нужно пойти мыться, одеваться. Чистое белье и новый черный костюм. И, вставляя запонки в манжеты рубашки, Антон Петрович подумал, что вот, через два-три часа, эта рубашка будет вся в крови, и вот тут будет дырка. Он погладил себя по блестящим волоскам, которые спускались тропинкой по теплой груди, и стало так страшно, что он прикрыл ладонью глаза. С какой-то трогательной самостоятельностью все сейчас в нем движется, пульсирует сердце, надуваются легкие, бежит кровь, сокращаются кишки, — и это внутреннее, мягкое, беззащитное существо, живущее так слепо, так доверчиво, это нежное анатомическое существо он ведет на убой... На убой! Он крякнул, влезая в холодную, белую темноту рубашки, — и потом уже старался не думать ни о чем, выбирал носки, галстук, замшевым лоскутком неловко чистил башмаки. Ища чистый платок, он набрел на палочку румян. И, взглянув в зеркало на свое ужасное, бледное лицо, он осторожно повел липкой этой палочкой по щеке. Вышло сперва еще гаже. Он лизнул палец, потер щеку, пожалел, что никогда не посмотрел хорошенько, как мажутся дамы. На щеках появился легкий кирпичный налет, — ему показалось, что так хорошо... «Ну вот, я и готов», — сказал он, обращаясь к зеркалу, и мучительно зевнул: зеркало залилось слезами. Быстро двигая руками, он надушился, разложил по карманам бумаги, платок, ключи, самопишущее перо, нацепил монокль. Жалко, что нет хороших перчаток. Такая была новенькая пара, но левая овдовела. Он сел в гостиной, перед письменным столом, положил локти на стол и стал ждать, глядя то в окно, то на часы в складной кожаной раме.

А утро было чудесное. В высокой липе, под окном, бесновались воробьи. Голубая бархатная тень сплошь покрывала улицу, а крыши там и сям загорались серебром. Антону Петровичу было холодно, и невыносимо болела голова. Хорошо бы хватить коньяку. Коньяку в доме нет. Дом уже нежилой, хозяин уезжает навеки. Ах, пустяки. Мы требуем спокойствия. Сейчас раздастся с парадной звонок. Нужно быть совершенно спокойным. Вот-вот — сейчас грянет звонок. Они уже опоздали на три минуты. Может быть, не придут? Такое дивное летнее утро... Да, они не придут. Это хорошо. Он подождет еще полчаса, а потом завалится спать. Антон Петрович широко разинул рот, приготовился

выдавить цельный ком зевоты — хрустнуло в ушах, вздулось под нёбом, — и в этот миг загремел звонок. И, судорожно проглотив недовершенный зевок, Антон Петрович прошел в переднюю, отпер дверь, и Митюшин и Гнушке переступили порог.

— Пора ехать, — сказал Митюшин, глядя в упор на Антона Петровича. Он был в своем всегдашнем фисташкового цвета костюме, а Гнушке надел сюртук.

— Да, я готов, — сказал Антон Петрович, — я сейчас...

Он оставил их стоять в передней, метнулся в спальню и, чтобы выиграть время, стал мыть руки, и все повторял про себя: «Что же это такое, Боже мой, что же это такое?» Еще только пять минут тому назад была надежда, что случится землетрясение, что Берг умрет от разрыва сердца, что судьба вмешается, приостановит, спасет.

— Антон Петрович, поторопись, — позвал Митюшин из передней.

Он быстро вытер руки и вышел к ним:

— Да-да, я готов, идемте.

— Нам придется поездом ехать, — сказал Митюшин, когда они вышли на улицу. — А то прикатим на такси в глухой лес, да еще в такую рань, — может показаться подозрительным, шофер донесет. Антон Петрович, пожалуйста, не трусь.

— Я не трушу, какие пустяки, — ответил Антон Петрович и беспомощно улыбнулся.

Гнушке, который до тех пор все молчал, шумно высморкался и деловито проговорил:

— Доктора привезет наш противник. А дуэльных пистолетов мы не нашли. Зато достали два одинаковых браунинга.

В таксомоторе, который должен был их везти на вокзал, они сели так: Антон Петрович и Митюшин сзади, Гнушке спереди на стульчике, поджав ноги. Антона Петровича одолела нервная зевота. Ему, вероятно, мстил тот зевок, который был им проглочен. Вот опять — до слез. Митюшин и Гнушке были очень серьезны, но вместе с тем казались чрезвычайно довольны собой.

— А я превосходно выспался, — вдруг сказал Антон Петрович, сжав зубы и зевнув только ноздрями. Он подумал, что бы еще сказать — что-нибудь непринужденное, небрежное...

— На улицах уже много народу, — сказал он и добавил: — Хотя еще так рано.

Митюшин и Гнушке молчали. Опять зевота. Господи...

На вокзал они прикатили скоро, Антону Петровичу показалось, что никогда он так скоро не ездил. Гнушке взял билеты и, держа их веером, пошел вперед. Вдруг он оглянулся на Митюшина и значительно кашлянул. У будки, где продаются папиросы и пиво, стоял Берг. Он доставал мелочь из кармана штанов, левую руку глубоко запустив в карман, а правой рукой карман придерживая, как это делают англичане. Он выбрал монету на ладони и, передавая ее продавщице, сказал что-то, от чего та засмеялась. Берг засмеялся тоже. Он стоял, слегка расставя ноги, покачиваясь с каблуков на носки. Он был в сером фланелевом костюме.

— Пройдем так, — сказал Митюшин, — а то неловко проходить рядом.

Какое-то оцепенение нашло на Антона Петровича. Ничего не сознавая, он влез в вагон, сел у окна, снял шляпу, надел ее опять. Только когда поезд дернул и двинулся, он пришел в себя, — и в это мгновение его охватило то чувство, какое бывает во сне, когда, летя в поезде легкого кошмара, вдруг замечаешь, что уехал в одном нижнем белье.

— Они сели в следующий вагон, — сказал Митюшин и вынул портсигар. — Да что это ты все зеваешь, Антон Петрович? Прямо жутко смотреть.

— Это я всегда по утрам, — машинально ответил Антон Петрович.

Сосны, сосны, сосны. Песчаный склон. Опять сосны. Такое дивное утро...

— Тебе сюртук не идет, Генрих, — опять заговорил Митюшин. — Прямо скажу: не идет.

— Это мое дело, — сказал Гнушке.

Прелестные сосны. А вот сверкнула вода. Опять лес. Какая жалость, какая слабость... Только бы опять не зевнуть, ноют челюсти. Если удерживаться, выступают слезы. Он сидел, повернувшись лицом к окну, и слушал, как колеса выстукивают: на у-бой, на у-бой, на у-бой...

— Советую вам вот что, — вдруг обратился к нему Гнушке. — Стреляйте сразу. Целиться я вам советую в центр его фигуры, — больше шансов.

— Все дело в счастии, — сказал Митюшин. — Попадешь — хорошо, не попадешь — ничего, он тоже может промахнуться. Настоящая дуэль, собственно говоря, начинается после первого обмена. Тут уже, так сказать, начинается самый интерес.

Станция. Опять тронулись. Почему они его так мучат? Сегодня немыслимо умереть. Совершенно немыслимо. Что, если упасть в обморок? Нужно быть хорошим актером... Что предпринять? Что делать? Такое дивное утро...

— Антон Петрович, прости, что я спрашиваю, — сказал Митюшин, — но это важно. У тебя ничего нет нам передать? В смысле бумаг? Письма, что ли, завещания? Это всегда так делается.

Антон Петрович покачал головой.

— Напрасно, — сказал Митюшин. — Мало ли что может быть. Вот мы с Генрихом уже приготовились к тому, чтобы пожить в тюрьме. Дела у тебя в порядке?

Антон Петрович кивнул. Он говорить больше не мог. Единственный способ удержаться от крика было смотреть на мелькающие сосны.

— Нам сейчас вылезать, — сказал Гнушке и встал. Митюшин встал тоже. Антон Петрович, стиснув зубы, наполовину поднялся, но от толчка поезда снова присел.

— Выходить, — сказал Митюшин и повернул рукоятку двери.

Только тогда Антону Петровичу удалось отделиться от лавки. Вдавив в глазницу монокль, он осторожно сошел на платформу. Солнце, теплынь...

— Они идут сзади, — сказал Гнушке.

Антон Петрович слегка согнулся, как будто что-то ему напирало в спину. Нет, это немыслимо, надо проснуться.

Оставив вокзал, они пошли по шоссе мимо крохотных кирпичных домов с петуньями в окнах. На углу шоссе и мягкой белой дороги, уходящей в лес, был трактир. Антон Петрович вдруг остановился.

— Ужасно пить хочется, — сказал он глухо. — Я бы чего-нибудь такого выпил.

— Да, не мешает, — протянул Митюшин.

Гнушке оглянулся и сказал:

— Они уже свернули в лес.

— Успеем, — сказал Митюшин.

Втроем они вошли в трактир. Тучная женщина тряпкой вытирала стойку. Она хмуро поглядела на них и налила им три кружки пива.

Антон Петрович глотнул, как бы немножко задохнулся и сказал:

— Подождите минуточку. Я сейчас.

— Только поторопись, — сказал Митюшин, ставя кружку обратно на стойку.

Антон Петрович прошел в коридор, куда метила стрелка, быстро прошел мимо уборной, мимо кухни, вздрогнул оттого, что кошка шмыгнула под ногами, ускорил шаг, дошел до конца коридора, толкнул дверь, и в лицо брызнуло солнце. Он оказался в зеленом дворике, где прогуливались куры и сидел на полене мальчик в полинялом купальном костюме. Антон Петрович быстро махнул мимо него, мимо кустов бузины, сбежал по каким-то деревянным ступеням, опять попал в кусты и вдруг поскользнулся, так как почва шла под уклон. Кусты хлестали по лицу, он неловко раздвигал их, нырял, скользил, — склон, густо заросший бузиной, спускался все круче. Наконец стремление его стало неудержимо. Он съезжал вниз на напряженных, растопыренных ногах, отбиваясь от гибких веток. Потом он на полном ходу обнял неожиданный ствол дерева и стал продвигаться наискось. Кусты поредели. Впереди высокий забор. В заборе он сразу нашел лазейку, прошуршал сквозь крапиву и оказался в сосновой роще, где между стволами развешено было пестрое от теней белье и стояли какие-то дощатые строения. Все так же решительно он прошел рощу и опять заметил, что скользит вниз по склону. Впереди между деревьев засияла вода. Он споткнулся, чуть не упал, увидел справа тропинку и перешел на нее. Тропинка привела его к озеру.

Загорелый, цвета копченой камбалы, старик рыболов в соломенной шляпе указал ему дорогу на станцию Ваннзе. Дорога шла сперва вдоль озера, потом свернула в лес, и около двух часов он плутал в лесу, пока наконец не вышел на полотно. Он добрел до ближайшей станции, и в это мгновение подошел поезд. С опаской он влез в вагон, втиснулся между двух пассажиров, которые не без удивления взглянули на этого странного, не то подкрашенного, не то запыленного человека, теребящего ленту монокля.

И только в Берлине, на площади, он остановился: по крайней мере у него было такое чувство, точно он до сих пор беспрерывно бежал и вот только сейчас остановился, передохнул, огляделся. Рядом старая цветочница с огромной шерстяной грудью продавала гвоздики. Человек в панцире из газет выкрикивал название берлинского листка. Чистильщик сапог подобострастно посмотрел на Антона Петровича. И, облегченно вздохнув, Антон Петрович твердо опустил ногу на подставку, и чистильщик сразу стал быстро-быстро работать локтями.

«Все, конечно, ужасно, — думал он, глядя, как постепенно разгорается носок башмака. — Но я жив, а это пока главное». Митюшин и Гнушке, вероятно, сторожат у дома, так что нужно переждать. С ними нельзя встретиться ни в каком случае. Ночью он зайдет за вещами. Нужно будет в эту же ночь покинуть Берлин. Он еще обдумает, как это сделать...

— Здравствуйте, Антон Петрович, — раздался мягкий голос над самым его ухом.

Он так вздрогнул, что нога соскользнула с подставки. Нет, ничего, ложная тревога. Это был некий Леонтьев, человек, которого он встречал раза три-четыре, журналист, кажется, или что-то вроде этого. Болтливый, но безобидный человек. Говорят, что ему жена изменяет с кем попало.

— Гуляете? — спросил Леонтьев, меланхолично пожимая ему руку.

— Да. Нет, у меня всякие дела, — ответил Антон Петрович и подумал: если он сейчас не поклонится и не уйдет, это будет безобразно.

Леонтьев посмотрел в одну сторону, потом в другую и сказал, просияв, словно сделал счастливое открытие:

— Прекрасная погода!

Вообще же он был пессимист и, как всякий пессимист, человек до смешного ненаблюдательный. Лицо у него было плохо выбритое, желтоватое, длинное, и весь он был какой-то неладный, тощий и унылый, словно у природы ныли зубы, когда она создавала его.

Чистильщик с молодецким стуком сложил щетки. Антон Петрович посмотрел на повеселевшие свои башмаки.

— Вам в какую сторону? — спросил Леонтьев.

— А вам? — спросил Антон Петрович.

— Да мне все равно. Я сейчас свободен. Могу вас немного проводить. — Он кашлянул и вкрадчиво добавил: — Конечно, если вы разрешите.

— Ну что вы, пожалуйста, — пробурчал Антон Петрович. Прилип. Нужно пойти по каким-нибудь другим улицам. А то наберутся еще знакомые. Только не встретить тех двоих. Ради Бога.

— Ну, как вы живете? — спросил Леонтьев. Он был из породы тех людей, которые спрашивают, как вы живете, только для того, чтобы обстоятельно рассказать, как они сами живут.

— Хм... Так... Ничего, — невнятно ответил Антон Петрович. А потом он, конечно, все узнает. Господи, какая ерунда. — Мне направо, — сказал он вслух и резко повернул.

Леонтьев, грустно улыбаясь своим мыслям, длинными ногами въехал в него и легко откачнулся.

— Направо так направо, мне все равно.

«Что делать? — подумал Антон Петрович. — Не могу же я с ним просто так гулять. Нужно так много обдумать, решить... И я страшно устал, мозоли болят».

А Леонтьев уже рассказывал. Он рассказывал пространно. Он рассказывал о том, сколько он платит за комнату, как трудно платить, как трудно вообще жить, как редко бывает, что попадается хорошая квартирная хозяйка, что у них хозяйка так себе.

— Моя жена, Анна Никаноровна, с ней не ладит, — рассказывал Леонтьев и вкрадчиво усмехался.

Они шли по совершенно незнакомой улице, где двое потных рабочих, один с татуированной грудью, чинили мостовую. Антон Петрович вытер платком лоб и сказал:

— У меня тут поблизости есть дело. Меня ждут. Деловое свиданье.

— Да я вас провожу, — грустно улыбнулся Леонтьев.

Антон Петрович окинул улицу отчаянным взглядом. Вывеска: отель. Убогий отель. Дом черноватый, плоский.

— Мне сюда, — сказал Антон Петрович. — Да, в эту гостиницу. Деловое свиданье.

Леонтьев снял рваную перчатку, мягко пожал ему руку.

— А знаете что, — я вас, пожалуй, немного подожду. Вы ведь будете недолго?

— Нет, долго, — сказал Антон Петрович.

— Жаль. А то мне хотелось кое о чем с вами потолковать, совета у вас попросить. Ну, всего хорошего. Я на всякий случай еще послоняюсь тут. Может быть, вы освободитесь раньше.

Антон Петрович вошел в отель. Ничего не поделаешь. Было пусто и темновато. Из-за какого-то прилавка выросла взъерошенная личность и спросила, что ему нужно. «Комнату», — тихо сказал Антон Петрович. Личность задумалась, почесала себя за ухом и потребовала задаток. Антон Петрович дал десять марок. Рыжая горничная, быстро виляя задом, провела его по длинному коридору, отперла дверь. Он вошел, глубоко вздохнул и сел в низкое плюшевое кресло. Он был один. Мебель, постель, умывальник проснулись, посмотрели на него исподлобья и задремали опять. В этом сонном, ничем не приметном номере Антон Петрович был наконец один.

И, сгорбившись, прикрыв ладонью глаза, он задумался, и перед ним поскакало что-то зеленое, желтое, мальчишка на полене, рыболов, Леонтьев, Берг, Таня. И, подумав о Тане, он застонал и сгорбился еще напряженнее. Ее голос, ее милый голос. Быстроглазая, легкая, прыгала на диван и сразу поджимала ноги, и юбка кругом вздымалась шелковым куполом и спадала опять. А не то сидела у стола, так неподвижно, только изредка мигала и, подняв лицо, выпускала папиросный дым. Бессмысленно... Зачем ты врала? Ведь ты врала. Что я буду без тебя делать? Танька!.. Понимаешь, — ты врала. Моя радость, — ну почему? Почему? Танька!

И, постанывая и хрустя пальцами, он зашагал по номеру, стукаясь о мебель, не замечая, что стукается. Случайно он остановился у окна, взглянул на улицу. Сперва улицы не было видно из-за тумана в глазах, но туман рассеялся. Появилась улица, какой-то фургон, велосипедист, старушка, осторожно покидающая тротуар. И по тротуару медленно брел Леонтьев, читая на ходу газету; прошел, свернул за угол. И почему-то при виде Леонтьева Антон Петрович осознал всю безнадежность — да, именно безнадежность, другого слова нет, — всю безнадежность своего положения. Еще вчера он был совершенно порядочным человеком, уважаем друзьями, знакомыми, сослуживцами. Служба! Какая там служба! Теперь все изменилось: он сбежал по скользкому склону — и теперь он внизу.

— Но как же так? Нужно на что-то решиться, — тонким голосом сказал Антон Петрович. Может быть, есть какой-нибудь выход? Помучили его, и довольно. Да, нужно решиться. Подозрительный взгляд взъерошенной личности. Что сказать ей? Ну да, ясно: я иду за вещами, они остались на вокзале. Так. С этой гостиницей он рассчитался навеки. Улица, слава Богу, свободна — Леонтьев подождал и ушел. Как мне пройти на ближайшую остановку трамвая? Ах, идите прямо, и вы дойдете до ближайшей остановки трамвая. Нет, лучше автомобиль. Поехали. Улицы становятся опять знакомыми. Спокойно, совсем спокойно он вылез из автомобиля. Он — дома. Пять этажей. Спокойно, совсем спокойно он вошел в переднюю. Но все-таки страшно. Он быстро открыл дверь в гостиную. Ах, какое удивление!

В гостиной, у круглого стола, сидят Митюшин, Гнушке... Таня. На столе — бутылки, чашки. Митюшин, весь мокрый и розовый, глаза блестят, пьян как стелька. Гнушке тоже пьян, улыбается и потирает руки. Таня сидит, положив голые локти на стол, неподвижно на него уставилась...

Митюшин ахнул, подбежал к нему, схватил за руку. «Наконец-то объявился!» И шепотом, лукаво подмигнув: «Ну и фрукт».

Антон Петрович сел, выпил водки. Митюшин и Гнушке все так же лукаво, но добродушно поглядывают на него. Таня говорит: «Ты, вероятно, голоден. Я принесу тебе бутерброд». Да, большой бутерброд с ветчиной, так, чтобы торчало сальце. И вот, как только она вышла, Митюшин и Гнушке бросились к нему, заговорили, перебивая друг друга: «Ну и повезло тебе, Антон Петрович! Представь себе, — господин Берг тоже струсил. Нет, не тоже струсил, а просто: струсил. Пока мы ждали тебя в трактире, вошли его секунданты, сообщили, что Берг передумал. Эти широкоплечие нахалы всегда оказываются трусами. "Мы просим вас, господа, извинить нас, что мы согласились быть секундантами этого подлеца". Вот как тебе повезло, Антон Петрович! Все, значит, шито-крыто. И ты вышел с честью, а он опозорен навсегда. А главное — твоя жена, узнав об этом, сразу бросила Берга и вернулась к тебе. И ты должен простить ее».

Антон Петрович, широко улыбнувшись, встал, заиграл ленточкой монокля. И медленно исчезла улыбка. Таких вещей в жизни не бывает.

Он посмотрел на плюшевое кресло, на пухлую постель, на умывальник, и этот жалкий номер в этом жалком отеле показался ему той комнатой, где отныне ему придется жить всегда. Присев на постель, он снял башмаки, облегченно пошевелил пальцами ног, заметил, что натер пятку и что левый носок порвался. Потом он позвонил, заказал бутерброд с ветчиной. И когда горничная поставила на стол тарелку, он замер и, как только закрылась дверь, обеими руками схватил хлеб, засопел, сразу измазал пальцы и подбородок в сале и стал жадно жевать.

РАССКАЗЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

БРИТВА

Недаром в полку звали его: Бритва. У этого человека лицо было лишено анфаса. Когда его знакомые думали о нем, то могли его представить себе только в профиль, — и этот профиль был замечательный: нос острый, как угол чертежного треугольника, крепкий, как локоть, подбородок, длинные нежные ресницы, какие бывают у очень упрямых и жестоких людей. Прозывался он Иванов.

В той кличке, которую ему некогда дали, было странное ясновидение. Нередко бывает, что человек по фамилии Штейн становится превосходным минералогом. И капитан Иванов, попав после одного эпического побега и многих пресных мытарств в Берлин, занялся именно тем, на что его давняя кличка намекала, — цирюльным делом.

Служил он в небольшой, но чистой парикмахерской, где кроме него стригли и брили двое подмастерий, относившихся с веселым уважением к «русскому капитану», и был еще сам хозяин — кислый толстяк, с серебряным грохотом поворачивавший ручку кассы, — и еще малокровная, прозрачная маникюрша, которая, казалось, высохла от прикосновений к бесчисленным человеческим пальцам, ложившимся, по пяти штук сразу, на бархатную подушечку перед ней. Иванов работал отлично, но некоторой помехой было то, что плохо он говорил по-немецки. Впрочем, он скоро понял, как нужно поступать, а именно: ставить после одной фразы вопросительное «нихт?» [1], а после следующей вопросительное «вас?» [2], — и потом опять «нихт?» и так далее, вперемежку. И замечательно, что, хотя он научился стричь только в Берлине, ухватки у него были точно такие же, как у российских стригунов, которые, как известно,

---

[1] «Нет?» *(Нем.)*
[2] «Что?» *(Нем.)*

много стрекочут ножницами впустую, — пострекочут, нацелятся, отхватят клок, другой, и опять быстро, быстро, словно по инерции, продолжают хлопотать лезвиями в воздухе. Его коллеги уважали его как раз за этот щегольский звон.

Ножницы да бритва, несомненно, холодные оружия, и этот постоянный металлический трепет был чем-то приятен воинственной душе Иванова. Человек он был злопамятный и неглупый. Его большую, благородную, великолепную отчизну какой-то скучный шут погубил ради красного словца, — и это он простить не мог. В душе у него, как туго свернутая пружина, сжималась до поры до времени месть.

Однажды, в очень жаркое, сизое летнее утро, оба коллеги Иванова, пользуясь тем, что в это рабочее время посетителей почти не бывает, отпросились на часок, а сам хозяин, умирая от жары и давно зреющего желания, молча увел в заднюю комнату бледненькую, на все согласную маникюршу. Иванов, оставшись один в светлой парикмахерской, просмотрел газету и потом, закурив, вышел, весь белый, на порог и стал глядеть на прохожих.

Мимо мелькали люди в сопровождении своих синих теней, которые ломались по краю панели и бесстрашно скользили под сверкавшие колеса автомобилей, оставлявших на жарком асфальте ленточные отпечатки, подобные узорчатым шнуркам змей. И вдруг прямо на белого Иванова свернул с тротуара плотный, низенького роста господин в черном костюме, котелке и с черным портфелем под мышкой. Иванов, мигая от солнца, посторонился, пропустил его в парикмахерскую.

Тогда вошедший отразился во всех зеркалах сразу, — в профиль, вполоборота, потом восковой лысиной, с которой поднялся, чтобы зацепиться за крюк, черный котелок. И когда господин повернулся лицом к зеркалам, сиявшим над мраморными подставками, на которых золотом и зеленью отливали флаконы, Иванов мгновенно узнал это подвижное, пухлявое лицо, с пронзительными глазками и толстым родимым прыщом у правого крыла носа.

Господин молча сел перед зеркалом и, промычав что-то, постучал тупым пальцем по неопрятной щеке, что значило: бриться. Иванов, в каком-то тумане изумления, завернул его в простыню, взбил тепловатую пену в фарфоровой

чашечке, кисточкой стал мазать господину щеки, круглый подбородок, надгубье, осторожно обошел родимый прыщ, указательным пальцем стал втирать пену, — все это делал машинально — так он был потрясен встретить опять этого человека.

Теперь лицо господина оказалось в белой рыхлой маске пены до глаз, а глаза были маленькие, блестящие, как мерцательные колесики часового механизма. Иванов открыл бритву и, когда стал точить ее о ремень, вдруг оправился от своего изумления и почувствовал, что этот человек в его власти.

И, наклонившись через восковую лысину, он приблизил синее лезвие бритвы к мыльной маске и очень тихо сказал:

— Мое почтение, товарищ. Давно ли вы из наших мест? Нет, прошу вас не двигаться, а то я могу вас уже сейчас порезать.

Мерцательные колесики заходили быстрее, взглянули на острый профиль Иванова, остановились.

Иванов тупым краем бритвы снял лишнее хлопье пены и продолжал:

— Я вас очень хорошо помню, товарищ... Простите, вашу фамилию мне неприятно произнести. Помню, как вы допрашивали меня, в Харькове, лет шесть тому назад. Помню вашу подпись, дорогой мой... Но, как видите, — я жив.

И тогда случилось следующее: глазки забегали и вдруг плотно закрылись. Человек зажмурился, как жмурился тот дикарь, который полагал, что с закрытыми глазами он невидим.

Иванов нежно водил бритвой по шуршащей, холодной щеке.

— Мы совершенно одни, товарищ. Понимаете? Вот, не так скользнет бритва — и сразу будет много крови. Тут вот бьется сонная артерия. Много крови, очень даже много. Но до этого я хочу, чтобы лицо у вас было прилично выбритое, и кроме того, хочу вам кое-что рассказать.

Иванов осторожно приподнял двумя пальцами мясистый кончик его носа и все так же нежно стал брить пространство над губой.

— Дело вот в чем, товарищ: я все помню, отлично помню и хочу, чтобы и вы вспомнили...

И тихим голосом Иванов стал рассказывать, неторопливо брея неподвижное, откинутое назад лицо. И этот рассказ, должно быть, был очень страшен, ибо изредка его

рука останавливалась и он совсем близко наклонялся к господину, который в белом саване простыни сидел, как мертвый, прикрыв выпуклые веки.

— Вот и все, — вздохнул Иванов. — Вот и весь рассказ. Как вы думаете, чем можно искупить все это? С чем сравнивают острую шашку? И еще подумайте: мы совершенно одни, совершенно одни.

— Покойников всегда бреют, — продолжал Иванов, снизу вверх проводя лезвием по его натянутой шее. — Бреют и приговоренных к смертной казни. И теперь я брею вас. Вы понимаете, что сейчас будет?

Человек сидел не шевелясь, не раскрывая глаз. Теперь с его лица сошла мыльная маска, следы пены оставались только на скулах и около ушей. Это напряженное, безглазое, полное лицо было так бледно, что Иванов подумал было — не хватил ли его паралич, но когда он плашмя приложил бритву к его шее, человек вздрогнул всем корпусом. Глаз, впрочем, он не открыл.

Иванов поспешно отер ему лицо, плюнул пудрой в него из выдувного флакона.

— Будет с вас, — сказал он спокойно. — Я доволен, можете идти.

С брезгливой поспешностью он сдернул с его плеч простыню. Человек остался сидеть.

— Вставай, дура! — крикнул Иванов и поднял его за рукав. Тот застыл, с плотно закрытыми глазами, посредине зальца. Иванов напялил на него котелок, сунул ему портфель под руку — и повернул его к двери. Только тогда человек двинулся, его лицо с закрытыми глазами мелькнуло во всех зеркалах, как автомат он переступил порог двери, которую Иванов держал открытой, — и все той же механической походкой, сжимая вытянутой одеревеневшей рукой портфель и глядя в солнечную муть улицы как у греческих статуй глазами, — ушел.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РАССКАЗ

Наступило молчанье. Антон Голый, безжалостно освещенный лампой, молодой, толстолицый, в косоворотке под черным пиджаком, напряженно потупясь, стал собирать листы рукописи, которые он во время чтенья откладывал,

как попало. Его пестун, критик из «Красной Яви», смотрел в пол, хлопая себя по карманам в поисках спичек. Писатель Новодворцев молчал тоже, но его молчанье было другое — маститое. В крупном пенснэ, чрезвычайно лобастый, с двумя полосками редких темных волос, натянутых поперек лысины, и с сединой на подстриженных висках, он сидел прикрыв глаза, словно продолжал слушать, скрестив толстые ноги, защемив руку между коленом одной ноги и подколенной косточкой другой. Уже не в первый раз к нему приводили вот таких угрюмых истовых сочинителей из крестьян. И уже не в первый раз ему брезжил в их неопытных повестях отсвет — до сих пор критикой не отмеченный — его собственного двадцатипятилетнего творчества; ибо в рассказе Голого неловко повторялась его же тема, тема его повести «Грань», написанной с волнением и надеждой, напечатанной в прошлом году и ничего не прибавившей к его прочной, но тусклой славе.

Критик закурил, Голый, не поднимая глаз, совал рукопись в портфель, — но хозяин продолжал молчать, — не потому, что не знал, как оценить рассказ, а потому, что робко и тоскливо ждал, что критик, быть может, скажет те слова, которые ему, Новодворцеву, неудобно сказать: тема, мол, взята новодворцевская, Новодворцевым внушен этот образ молчаливого, бескорыстно преданного своему делу рабочего, который не образованьем, а какой-то нутряной, спокойной мощью одерживает психологическую победу над злобным интеллигентом. Но критик, сгорбившись на краю кожаного дивана, как большая печальная птица, — безнадежно молчал.

Тогда Новодворцев, поняв, что и нынче желанных слов не услышит, и стараясь сосредоточить мысль на том, что все-таки к нему, а не к Неверову привели начинающего писателя на суд, переменил положение ног, подсунул другую руку и, деловито сказав «так-с», глядя на жилу, вздувшуюся у Голого на лбу, стал тихо и гладко говорить. Он говорил, что рассказ крепко сделан, что чувствуется сила коллектива в том месте, где мужики на свои средства начинают строить школу, что в описании любви Петра к Анюте есть какие-то промахи слога, но слышится зов весны, зов здоровой похоти, — и все время, пока он говорил, ему почему-то вспоминалось, как недавно он послал тому же критику письмо, в котором напоминал, что в январе исполняется двадцать пять лет его писательской деятельности, но

что он убедительно просит никаких чествований не устраивать, ввиду того что еще продолжаются для Союза годы интенсивной работы...

— А вот интеллигент у вас не удался, — говорил он. — Не чувствуется настоящей обреченности...

Но критик молчал. Это был костлявый, расхлябанный, рыжий человек, страдающий, по слухам, чахоткой, но на самом деле, вероятно, здоровый как бык. Он ответил, письмом же, что одобряет такое решение, и на этом дело и кончилось. Должно быть, в виде тайной компенсации привел Голого... И Новодворцеву стало вдруг так грустно — не обидно, а просто грустно, — что он осекся и начал платком протирать стекла, и глаза у него оказались совсем добрыми.

Критик встал.

— Куда же вы, еще рано... — сказал Новодворцев, но встал тоже.

Антон Голый кашлянул и прижал портфель к боку.

— Писатель из него выйдет, это так, — равнодушно сказал критик, блуждая по комнате и тыкая в воздухе потухшей папиросой. Напевая вполголоса, сквозь зубы, с зыкающим звуком, он повис над письменным столом, затем постоял у этажерки, где добротный «Капитал» жил между потрепанным Леонидом Андреевым и безымянной книгой без корешка; наконец, все той же склоняющейся походкой подошел к окну, отодвинул синюю штору.

— Заходите, заходите, — говорил Новодворцев Антону Голому, который отрывисто кланялся и потом браво расправлял плечи. — Вот напишете еще что-нибудь — принесите.

— Масса снегу навалило, — сказал критик, отпустив штору. — Сегодня, кстати, сочельник.

Он стал вяло искать пальто и шапку.

— Во время оно, в сей день, ваша братия строчила рождественские фельетончики...

— Со мной не случалось, — сказал Новодворцев.

Критик усмехнулся:

— Напрасно. Вот бы написал рождественский рассказ. По-новому.

Антон Голый кашлянул в кулак.

— А у нас, — начал он хриплым басом и опять прочистил горло.

— Я серьезно говорю, — продолжал критик, влезая в пальто. — Можно очень ловко построить. Спасибо... Уже...

— А у нас, — сказал Антон Голый, — был такой случай. Учитель. Вздумал на праздниках ребятам елку. Устроить. Нацепил сверху. Красную звезду.

— Нет, это не совсем годится, — сказал критик. — В рассказике это выйдет грубовато. Можно острее поставить. Борьба двух миров. Все это на фоне снега.

— Вообще с символами нужно осторожнее обращаться, — хмуро сказал Новодворцев. — Вот у меня есть сосед — препорядочный человек, партийный, активный... А все-таки так выражается: «Голгофа пролетариата»...

Когда гости ушли, он сел к письменному столу, подпер ухо толстой белой рукой. Около чернильницы стояло нечто вроде квадратного стакана с тремя вставками, воткнутыми в синюю стеклянную икру. Этой вещи было лет десять—пятнадцать, — она прошла через все бури, миры вокруг нее растряхивались, — но ни одна стеклянная дробинка не потерялась. Он выбрал перо, придвинул лист бумаги, подложил еще несколько листов, чтобы было пухлее писать...

— Но о чем? — громко сказал Новодворцев и ляжкой отодвинул стул, зашагал по комнате. В левом ухе нестерпимо звенело.

«А ведь этот скот нарочно сказал», — подумал он и, словно проделывая в свой черед недавний путь критика по комнате, пошел к окну.

«Советует... Издевательский тон... Вероятно, думает, что оригинальности у меня больше нет... Вот закачу в самом деле рождественский рассказ... Потом будет сам вспоминать, печатно: захожу я к нему однажды и так, между прочим, говорю: “Изобразили бы вы, Дмитрий Дмитриевич, борьбу старого и нового на фоне рождественского, в кавычках, снега. Продолжали бы до конца ту линию, которую вы так замечательно провели в ‘Грани’, — помните сон Туманова? Вот эту линию... И в эту ночь родилось то произведение, которое...”».

Окно выходило во двор. Луны не было видно... нет, впрочем, вон там сияние из-за темной трубы. Во дворе были сложены дрова, покрытые светящимся ковром снега. В одном окне горел зеленый колпак лампы, кто-то работал у стола; как бисер, блестели счеты. С краю крыши вдруг упали, совершенно беззвучно, несколько снежных комьев. И опять — оцепенение.

Он почувствовал ту щекочущую пустоту, которая всегда у него сопровождала желание писать. В этой пустоте

что-то принимало образ, росло. Рождество, новое, особое. Этот старый снег и новый конфликт...

За стеной он услышал осторожный стук шагов. Это вернулся к себе сосед, скромный, вежливый, — коммунист до мозга костей. С чувством беспредельного упоения, сладкого ожидания, Новодворцев снова присел к столу. Настроение, краски зреющего произведения уже были. Оставалось только создать остов, — тему. Елка — вот с чего следовало начать. Он подумал о том, что, вероятно, в некоторых домах бывшие люди, запуганные, злобные, обреченные (он их представил себе так ясно...) украшают бумажками тайно срубленную в лесу елку. Этой мишуры теперь негде купить, елок не сваливают больше под тенью Исакия...

Мягкий, словно в суконце обернутый стук. Дверь открылась на вершок. Деликатно, не просовывая головы, сосед сказал:

— Попрошу у вас перышко. Лучше тупое, если есть...

Новодворцев дал.

— Бладасте, — сказал сосед и бесшумно затворил дверь.

Этот незначительный перерыв как-то ослабил образ, который уже созревал. Он вспомнил, что в «Грани» Туманов жалеет о пышности прежних праздников. Плохо, если получится только повторение. Некстати пронеслось и другое воспоминание. Недавно, на одном вечере, какая-то дамочка сказала своему мужу: «Ты во многом очень похож на Туманова». Несколько дней он был очень счастлив. А потом с этой дамочкой познакомился, и оказалось, что Туманов — жених ее сестры. И это был не первый обман. Критик один сказал ему, что напишет статью о «тумановщине». Что-то было бесконечно лестное в этом слове, начинающемся с маленькой буквы. Но критик уехал на Кавказ изучать грузинских поэтов. А все же бывало и приятное. Такой перечень, например: Горький, Новодворцев, Чириков...

В автобиографии, приложенной к Полному собранию сочинений (шесть томов, с портретом), он описал, с каким трудом он, сын простых родителей, пробился в люди. На самом деле юность у него была счастливая. Хорошая такая бодрость, вера, успехи. Двадцать пять лет тому назад в толстом журнале появилась его первая повесть. Его любил Короленко. Он бывал арестован. Из-за него закрыли одну газету. Теперь гражданские его надежды сбылись. Среди молодых, среди новых он чувствовал себя легко, вольно.

Новая жизнь была душе его впрок и впору. Шесть томов. Его имя известно. Но тусклая слава, тусклая...

Он скользнул обратно к образу елки — и вдруг, ни с того ни с сего, вспомнил гостиную в одном купеческом доме, большую книгу статей и стихов с золотым обрезом (в пользу голодающих), как-то связанную с этим домом, и елку в гостиной, и женщину, которую он тогда любил, и то, как все огни елки хрустальным дрожанием отражались в ее широко раскрытых глазах, когда она с высокой ветки отрывала мандарин. Это было лет двадцать, а то и больше тому назад, — но как мелочи запоминаются...

С досадой отвернулся он от этого воспоминания и опять, как всегда, вообразил убогие елки, которые, верно, сейчас украшают... Из этого не сделаешь рассказа, — но, впрочем, можно обострить... Эмигранты плачут вокруг елки, напялили мундиры, пахнущие нафталином, смотрят на елку и плачут. Где-нибудь в Париже. Старый генерал вспоминает, как бил по зубам, и вырезает ангела из золотого картона... Он подумал о генерале, которого действительно знал, который действительно был теперь за границей, — и никак не мог его представить себе плачущим, коленопреклоненным перед елкой...

— Но я на верном пути, — вслух произнес Новодворцев, нетерпеливо преследуя какую-то ускользающую мысль. И что-то новое, неожиданное стало грезиться ему. Европейский город, сытые люди в шубах. Озаренная витрина. За стеклом огромная елка, обложенная понизу окороками; и на ветках дорогие фрукты. Символ довольствия. А перед витриной, на ледяном тротуаре...

И, с торжественным волнением, чувствуя, что он нашел нужное, единственное, — что напишет нечто изумительное, изобразит, как никто, столкновение двух классов, двух миров, он принялся писать. Он писал о дородной елке в бесстыдно освещенной витрине и о голодном рабочем, жертве локаута, который на елку смотрит суровым и тяжелым взглядом.

«Наглая елка, — писал Новодворцев, — переливалась всеми огнями радуги».

Итак, в… навыка…
…ые, слепые… любите, я…

ОСА.

Твой панцырь, желтый и блестящій,
булавкой я проткнулъ,
слушалъ плачь твой восходящій,
прозрачнѣйшій твой гулъ.

Тупыми ножницами жало
я защемилъ — и вотъ
утрѣзалъ… Какъ ты задрожала!
какъ выгнула животъ!

Теперь гудѣнье было густеромъ…
и крылья посорѣй
я откватилъ, почти безъ хр…
у самыхъ ихъ корней.

И обеззвученное тѣло
шесть вытянуло ногъ,
глазастой головой вертѣло..
И спичку я зажегъ, —

— чтобъ видѣть, какъ всю…
лишь пламя поднесу…
Такъ мучитъ отрокъ терпѣл…
чудесную осу;

…сіяя гримасой, душевно присматривая… …рованіемъ. Она сидитъ за хо… бѣгаетъ за табакомъ, чиститъ… …ромъ идетъ со своимъ Эрнестомъ

Что знаешь…
Я полюби…
Пусть…

…своей жизни.
Такъ красочно отразились…
…вставленныхъ картинокъ…

IN MEMORIAM

(Изъ Теннисона)

Вотъ лунный лучъ блеснулъ на одѣялѣ,
И вижу: тамъ, гдѣ преданъ ты землѣ,
Надъ западными водами, во мглѣ,
Блѣдно и дивно стѣны засіяли.

Такъ имя твое читаетъ лунный свѣтъ:
Какъ персты скользнетъ серебряное пламя
По мраморной доскѣ твоей, во храмѣ,
По буквамъ имени и числамъ лѣтъ.

И вотъ сіянье яркое слабѣетъ;
Вотъ на твоей постели лучъ погасъ.
Смежаю очи утомленныхъ глазъ
И сплю, пока окно не посвѣтлѣетъ.

Тогда заря туманомъ зарево…
Наполнитъ отъ края и до края,—
И также, во храмѣ сумрачномъ, я…
Чуть брезжитъ мраморъ съ…

Первая любовь

Въ листвѣ березовой, осиновой,
въ концѣ аллеи у мостка,
вдругъ падалъ свѣтъ отъ платья синяго
отъ василькового вѣнка.

Твой образъ легкій и блистающій
какъ на ладони я держу,
и бабочкой неулетающей
благоговѣйно дорожу.

И много лѣтъ прошло, и счастливо
я прожилъ безъ тебя, — а все жъ
порой я думаю опасливо:
жива ли ты, и гдѣ живешь?

Но если встрѣтиться нежданная
судьба заставила бы насъ,
меня бы, какъ уродство странное,
…

Разговоръ

Писатель. Критикъ. Издатель.

Писатель.
Легко мнѣ въ чудесной жизнь;
…трудненько, — вотъ въ чемъ искусъ.
Вы … а живу?

Критикъ.
Скука.

Издатель.
Нѣтъ книгъ… Могу вамъ одолжить
…, — двѣсти изданій
…

…и фабричная стѣна.
Гдѣ прихоть вольная разлуки
Гдѣ живой полный разговоръ
Мучитель мужъ, спутникъ парнасскій,
такъ торжествуетъ…

Издатель.
Да мы, какъ погляжу, …
…, всего …
Что-жъ надо дѣлать?

Критикъ.
Ничего.

Издатель.
Случай. Что думаетъ писатель?
… — быть можетъ суждено
…

Стихотворения

1926—1930

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ СБОРНИКА

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА. РАССКАЗЫ И СТИХИ

ТИХИЙ ШУМ

Когда в приморском городке,
средь ночи пасмурной, со скуки
окно откроешь, — вдалеке
прольются шепчущие звуки.

Прислушайся и различи
шум моря, дышащий на сушу,
оберегающий в ночи
ему внимающую душу.

Весь день невнятен шум морской,
но вот проходит день незваный,
позванивая, как пустой
стакан на полочке стеклянной, —

и вновь в бессонной тишине
открой окно свое пошире,
и с морем ты наедине
в огромном и спокойном мире.

Не моря шум, — в часы ночей
иное слышно мне гуденье:
шум тихий родины моей,
ее дыханье и биенье.

В нем все оттенки голосов,
мне милых, прерванных так скоро, —
и пенье пушкинских стихов,
и ропот памятного бора.

Отдохновенье, счастье в нем,
благословенье над изгнаньем...
Но тихий шум не слышен днем
за суетой и дребезжаньем.

Зато — в полночной тишине
внимает долго слух неспящий
стране родной, ее шумящей,
ее бессмертной глубине...

(Около 8 июня 1926)

КОМНАТА

Вот комната. Еще полуживая,
но оживет до завтрашнего дня.
Зеркальный шкаф глядит, не узнавая,
как ясное безумье, на меня.

В который раз выкладываю вещи,
знакомлюсь вновь с причудами ключей;
и медленно вся комната трепещет,
и медленно становится моей.

Совершено. Все призвано к участью
в моем существованье, — каждый звук:
скрип ящика, своею доброй пастью
пласты белья берущего из рук,

и рамы, запирающейся плохо,
стук по ночам, отмщенье за сквозняк;
возня мышей, их карликовый грохот;
и чей-то приближающийся шаг:

он никогда не подойдет вплотную;
как на воде за кругом круг, идет
и пропадает, — и опять я чую,
как он вздохнул и двинулся вперед...

Включаю свет. Все тихо. На перину
свет падает малиновым холмом.
Все хорошо. И скоро я покину
вот эту комнату и этот дом.

Я много знал таких покорных комнат, —
но пригляжусь, и грустно станет мне:
никто здесь не полюбит, не запомнит
старательных узоров на стене.

Сухую акварельную картину
и лампу в старом платьице сквозном
забуду сам, когда и я покину
вот эту комнату и этот дом.

В другой войду: опять однообразность
обоев, то же кресло у окна...
Но грустно мне: чем незаметней разность,
тем, может быть, божественней она.

И может быть, — когда похолодеем
и в голый рай из жизни перейдем, —
забывчивость земную пожалеем,
не зная, чем обставить новый дом.

АЭРОПЛАН

Как поет он, как нежданно
вспыхнул искрою стеклянной,
вспыхнул и поет,
там, над крышами, в глубоком
небе, где блестящим боком
облако встает!

В этот мирный день воскресный
чуден блеск его небесный,
бархат громовой...
И у парковой решетки,
на обычном месте, кроткий
слушает слепой:

губы слушают и плечи, —
тихий сумрак человечий,
обращенный в слух.
Неземные реют звуки...
Рядом пес его со скуки
щелкает на мух.

И прохожий, деньги вынув,
замер, — голову закинув,
смотрит, как скользят

крылья сизые, сквозные
по лазури, где большие
облака блестят...

(Не позже 10 июля 1926)

СНЫ

Странствуя, ночуя у чужих,
я гляжу на спутников моих,
я ловлю их говор тусклый...
Роковых я требую примет:
кто увидит родину, кто — нет,
кто уснет в земле нерусской?..

Если б знать... Ведь странникам даны
только сны о родине, — а сны
ничего не переменят...
Что таить, — случается и мне
видеть сны счастливые: во сне
я со станции в именье

еду, — не могу сидеть, — стою
в тарантасе тряском, — узнаю
все толчки весенних рытвин, —
еду, с непокрытой головой,
белый, что платок твой, — и с душой,
слишком полной для молитвы.

Господи, я требую примет:
кто увидит родину, кто — нет,
кто уснет в земле нерусской?
Если б знать... За годом валит год.
Даже тем, кто верует и ждет, —
даже мне, — бывает грустно...

Только сон утешит иногда...
Не на области и города,
не на волости и села, —
вся Россия делится на сны,
что несметным странникам даны
на чужбине, ночью долгой.

22 июля 1926

ПРЕЛЕСТНАЯ ПОРА

В осенний день, блистая как стекло,
потрескивая крыльями, стрекозы
над лугом вьются. В Оредежь глядится
сосновый лес, и тот, что отражен, —
яснее настоящего. Опавшим
листом шурша, брожу я по тропам,
где быстрым, шелковистым поцелуем
луч паутины по лицу пройдет
и вспыхнет радугой. А небо, — небо
сплошь синее, насыщенное светом,
и нежит землю, и земли не видит.

Задумчиво в усадьбу возвращаюсь.
В гостиной печь затоплена, и в вазах
мясистые теснятся георгины.
Пишу стихи, валяясь на диване, —
и все слова без цвета и без веса,
не те слова, что в будущем найдет
воспоминанье. В комнате соседней
играют в бикс: прерывисто, по капле,
по капельке сбегает тонкий звон.

Как перед тем, чтоб на зиму уехать,
в гербарий, на шершавую страницу,
кладешь очаровательно-увядший
кленовый лист, полоскою бумаги
приклеиваешь стебель, пишешь дату,
чтоб вновь раскрыть альбом благоуханный
да вспомнить деревенский сад, найдя
багряный лист, оранжевый по краю, —
так, некогда, осенний ясный день
я сохранил и ныне им любуюсь.

ГОДОВЩИНА

В те дни, дай Бог, от краю и до краю
гражданская повеет благодать:
все сбудется, о чем за чашкой чаю
мы на чужбине любим помечтать.

И вот — последний человек на свете,
кто будет помнить наши времена,
в те дни, на оглушительном банкете,
шалея от волненья и вина,

дрожащий, слабый, в дряхлом умиленье
поднимется... Но нет, он слишком стар:
черта изгнанья тает в отдаленье,
и ничего не помнит юбиляр.

Мы будем спать, минутные поэты;
я, в частности, прекрасно буду спать, —
в бою случайном ангелом задетый,
в родимый прах вернувшийся опять.

Библиофил какой-нибудь, я чую,
найдет в былых, не нужных никому,
журналах, отпечатанных вслепую
нерусскими наборщиками, тьму

статей, стихов, чувствительных романов, —
о том, как Русь была нам дорога,
как жил Петров, как странствовал Иванов
и как любил покорный ваш слуга.

Но подписи моей он не отметит:
забыто все... И, Муза, не беда!
Давай блуждать, давай глазеть, как дети,
на проносящиеся поезда,

на всякий блеск, на всякое движенье, —
предоставляя выспренним глупцам
бранить наш век, пенять на сновиденье,
единый раз дарованное нам.

ПАЛОМНИК

Ю. И. Айхенвальду

Хозяин звезд, и ветра зычного,
и вьющихся дорог,
бог-виноградарь, бог коричневый,
смеющийся мой бог,

позволь зарю в стакан мой выдавить,
чтобы небесный хмель
понес, умчал меня за тридевять
синеющих земель.

Я возвращусь в усадьбу отчую
средь клеверных полей;
дом обойду, зерном попотчую
знакомых голубей.

Дни медленные, деревенские...
Ложится жаркий свет
на скатерть и под стулья венские —
решеткой на паркет.

Там, в доме с радужной верандою,
с березой у дверей,
в халате старом проваландаю
остаток жизни сей.

Но часто, ночью, гул бессонницы
нахлынет на постель,
тряхнет, замрет и снова тронется, —
как поезд сквозь метель.

И я тогда услышу: вспомни-ка
рыдающий вагон
и счастье странного паломника,
чья Мекка там, где он.

Он рад бывал, скитаясь по миру,
озерам под луной,
вокзалам громовым и номеру
в гостинице ночной.

О, как потянет вдруг на яркую
чужбину, в дальний путь...
Как тяжело к окну прошаркаю,
как захочу вернуть

все то, дрожащее, весеннее,
что плакало во мне,
и — всякой яви совершеннее —
сон о родной стране.

4 февраля 1927

СНОВИДЕНЬЕ

Будильнику на утро задаю
урок, и в сумрак отпускаю,
как шар воздушный, комнату мою,
и облегченно в сон вступаю.

Меня берет — уже во сне самом —
как бы вторичная дремота.
Туманный стол. Сидящих за столом
не вижу. Все мы ждем кого-то.

Фонарь карманный кто-то из гостей
на дверь, как пистолет, наводит, —
и, ростом выше и лицом светлей,
убитый друг со смехом входит.

Я говорю без удивленья с ним —
живым, и знаю: нет обмана.
Со лба его сошла, как легкий грим,
смертельная когда-то рана.

Мы говорим. Мне весело. Но вдруг —
заминка, странное стесненье...
Меня отводит в сторону мой друг
и что-то шепчет в объясненье.

Но я не слышу... Длительный звонок
на представленье созывает:
будильник повторяет свой урок,
и день мне веки прорывает.

Лишь миг один неправильный на вид
мир падает, как кошка, сразу
на все четыре лапы, и стоит,
знакомый разуму и глазу.

Но, Боже мой, — когда припомнишь сон,
случайно, днем, в чужой гостиной,
или, сверкнув, придет на память он
пред оружейною витриной, —

как благодарен силам неземным,
    что могут мертвые нам сниться!
Как этим сном, событием ночным,
    душа смятенная гордится!

22 мая 1927

СНИМОК

На пляже, в полдень лиловатый,
в морском, каникульном раю
снимал купальщик полосатый
свою счастливую семью.

И замирает мальчик голый,
и улыбается жена,
в горячий свет, в песок веселый,
как в серебро, погружена.

И полосатым человеком
направлен в солнечный песок,
мигнул и щелкнул черным веком
фотографический глазок.

Запечатлела эта пленка
все, что могла она поймать:
оцепеневшего ребенка,
его сияющую мать,

и ведерцо, и две лопаты,
и в стороне песчаный скат, —
и я, случайный соглядатай,
на заднем плане тоже снят.

Зимой, в неведомом мне доме,
покажут бабушке альбом,
и будет снимок в том альбоме,
и буду я на снимке том:

мой облик меж людьми чужими,
один мой августовский день,
моя не знаемая ими,
вотще украденная тень.

20 августа 1927
Бинц

В РАЮ

Моя душа, — за смертью дальной
твой образ виден мне вот так:
натуралист провинциальный,
в раю потерянный чудак.

Там в роще дремлет ангел дикий, —
полупавлинье существо...
Ты любознательно потыкай
зеленым зонтиком в него,

соображая, как сначала
о нем напишешь ты статью,
потом... Но только нет журнала,
и нет читателей в раю.

И ты стоишь, еще не веря
немому горю своему...
Об этом синем, сонном звере
кому расскажешь ты, кому?

Где мир и названные розы,
музей и птичьи чучела?
И смотришь, смотришь ты сквозь слезы
на безымянные крыла...

25 сентября 1927
Берлин

КИРПИЧИ

Ища сокровищ позабытых
и фараоновых мощей,
ученый, в тайниках разрытых,
набрел на груду кирпичей,
среди которых был десяток
совсем особенных: они
хранили беглый отпечаток
босой младенческой ступни,
собачьей лапы и копытца
газели. Многое за них
лихому времени простится —

безрукий мрамор, темный стих,
обезображенные фрески...

Как это было? В синем блеске
я вижу красноту песков.
Жара. Полуденное время.
Еще одиннадцать веков
до звездной ночи в Вифлееме...

Кирпичик спит, пока лучи
пекут, работают беззвучно;
он спит, пока благополучно
на солнце сохнут кирпичи.
Но вот по ним дитя ступает,
отцовский позабыв запрет;
то скачет, то перебегает,
невольный вдавливая след, —
меж тем как, вкруг него играя,
собака и газель ручная
пускаются вперегонки.
Внезапно — окрик, тень руки:
конец летучему веселью!
Дитя с собакой и газелью
скрывается. Все горячей
синеет небо. Сохнут чинно
ряды румяных кирпичей.

Улыбка вечности невинна.
Мир для слепцов необъясним,
но зрячим все понятно в мире,
и ни одна звезда в эфире,
быть может, не сравнится с ним.

СИРЕНЬ

Ночь в саду, послушная волненью,
нарастающему в тишине,
потянулась, дрогнула сиренью,
серой и пушистой при луне.

Смешанная с жимолостью темной,
всколыхнулась молодость моя,
и скользнула, при луне огромной,
белизной решетчатой скамья.

И опять на листья, без дыханья,
пали грозди смутной чередой...
Безымянное воспоминанье,
не засни, откройся мне, постой!

Но едва пришедшая в движенье
ночь моя, туманна и светла,
как в стеклянной двери отраженье,
повернулась плавно и ушла.

7 мая 1928

* * *

От счастия влюбленному не спится;
стучат часы; купцу седому снится
в червонном небе вычерченный кран,
спускающийся медленно над трюмом;
мерещится изгнанникам угрюмым
в цвет юности окрашенный туман.

В волненьях повседневности прекрасной,
где б ни был я, одним я обуян,
одно зовет и мучит ежечасно:

на освещенном острове стола
граненый мрак чернильницы открытой,
и белый лист, и лампы свет, забытый
под куполом зеленого стекла.

И поперек листа полупустого
мое перо, как черная стрела,
и недописанное слово...

18 мая 1928
Берлин

РАССТРЕЛ

Бывают ночи: только лягу, —
в Россию поплывет кровать;
и вот, ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.

Проснусь, — и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею, —
вот-вот, сейчас, пальнет в меня! —
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.

Оцепенелого сознанья
коснется тиканье часов:
благополучного изгнанья
я снова чувствую покров.

Но, сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так, —
Россия, звезды, ночь расстрела —
и весь в черемухе овраг!

20 декабря 1927
Берлин

ИЗ СБОРНИКА

СТИХОТВОРЕНИЯ 1929–1951

* * *

Я помню твой приход: растущий звон,
волнение, неведомое миру.
Луна сквозь ветки тронула балкон,
и пала тень, похожая на лиру.

Мне, юному, для неги плеч твоих
казался ямб одеждой слишком грубой.
Но был певуч неправильный мой стих
и улыбался рифмой красногубой.

Я счастлив был. Над гаснувшим столом
огонь дрожал, вылущивал огарок;
и снилось мне: страница под стеклом
бессмертная, вся в молниях помарок.

Теперь не то. Для утренней звезды
не откажусь от утренней дремоты.
Мне не под силу многие труды,
особенно тщеславия заботы.

Я опытен, я скуп и нетерпим.
Натертый стих блистает чище меди.
Мы изредка с тобою говорим
через забор, как старые соседи.

Да, зрелость живописна, спору нет:
лист виноградный, груша, пол-арбуза,
и — мастерства предел — прозрачный свет.
Мне холодно. Ведь это осень, муза.

13 сентября 1929
Берлин

ИЗ СБОРНИКА

POEMS AND PROBLEMS

СНЕГ

О, этот звук! По снегу —
скрип, скрип, скрип —
в валенках кто-то идет.

Толстый крученый лед
остриями вниз с крыши повис.
Снег скрипуч и блестящ.
(О, этот звук!)

Салазки сзади не тащатся —
сами бегут, в пятки бьют.

Сяду и съеду
по крутому, по ровному:
валенки врозь,
держусь за веревочку.

Отходя ко сну,
всякий раз думаю:
может быть, удосужится
меня посетить
тепло одетое, неуклюжее
детство мое.

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ,
НЕ ВОШЕДШИХ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

ЛЫЖНЫЙ ПРЫЖОК

Для состязаний быстролетных
на том белеющем холму
вчера был скат на сваях плотных
сколочен. Лыжник по нему

съезжал со свистом; а пониже
скат обрывался: это был
уступ, где становились лыжи
четою ясеневых крыл.

Люблю я встать над бездной снежной,
потуже затянуть ремни...
Бери меня, наклон разбежный,
и в дивной пустоте — распни.

Дай прыгнуть, под гуденье ветра,
под трубы ангельских высот,
не семьдесят четыре метра,
а миль, пожалуй, девятьсот...

И небо звездное качнется,
легко под лыжами скользя,
и над Россией пресечется
моя воздушная стезя.

Увижу инистый Исакий,
огни мохнатые на льду, —
и, вольно прозвенев во мраке,
как жаворонок, упаду.

25 декабря 1925 — 7 января 1926
Riesengebirge

UT PICTURA POESIS[1]

М. В. Добужинскому

Воспоминанье, острый луч,
преобрази мое изгнанье,
пронзи меня, воспоминанье
о баржах петербургских туч
в небесных ветреных просторах,
о закоулочных заборах,
о добрых лицах фонарей...
Я помню, над Невой моей
бывали сумерки, как шорох
тушующих карандашей.

Все это живописец плавный
передо мною развернул,
и, кажется, совсем недавно
в лицо мне этот ветер дул,
изображенный им в летучих
осенних листьях, зыбких тучах,
и плыл по набережной гул, —
во мгле колокола гудели —
собора медные качели...

Какой там двор знакомый есть,
какие тумбы! Хорошо бы
туда перешагнуть, пролезть,
там постоять, где спят сугробы
и плотно сложены дрова, —
или под аркой, на канале,
где нежно в каменном овале
синеют крепость и Нева.

Апрель 1926

---

[1] Поэзия как живопись *(лат.)*.

* * *

Пустяк, — названье, мачты, план — и следом
за чайкою взмывает жизнь моя, —
и человек на палубе, под пледом,
вдыхающий сиянье, — это я.

Я вижу на открытке глянцевитой
развратную залива синеву,
и белозубый городок со свитой
несметных пальм, и дом, где я живу.

И в этот миг я с криком покажу вам
себя, себя — но в городе другом:
как попугай пощелкивает клювом,
так тереблю с открытками альбом.

Вот это — я и призрак чемодана;
вот это — я, по улице сырой
идущий в вас, как будто бы с экрана,
и расплывающийся слепотой.

Ах, чувствую в ногах отяжелевших,
как без меня уходят поезда, —
и сколько стран, еще меня не гревших,
где мне не жить, не греться никогда!

И в кресле — путешественник из рая
описывает, руки заломив,
дымок из трубки с присвистом вбирая,
свою любовь — тропический залив.

РОДИНА

Бессмертное счастие наше
Россией зовется в веках.
Мы края не видели краше,
а были во многих краях.

Но где бы стезя ни бежала,
нам русская снилась земля.

Изгнание, где твое жало,
Чужбина, где сила твоя?

Мы знаем молитвы такие,
что сердцу легко по ночам;
и гордые музы России
незримо сопутствуют нам.

Спасибо дремучему шуму,
лесам на равнинах родных
за ими внушенную думу,
за каждую песню о них.

Наш дом на чужбине случайной,
где мирен изгнанника сон,
как ветром, как морем, как тайной,
Россией всегда окружен.

4 июня 1927

БИЛЕТ

На фабрике немецкой, вот сейчас, —
дай рассказать мне, муза, без волненья! —
на фабрике немецкой, вот сейчас,
все в честь мою, идут приготовленья.

Уже машина говорит: «Жую;
бумажную выглаживаю кашу;
уже пласты другой передаю».
Та говорит: «Нарежу и подкрашу».

Уже найдя свой правильный размах,
стальное, многорукое созданье
печатает на розовых листах
невероятной станции названье.

И человек бесстрастно рассует
те лепестки по ящикам в конторе,
где на стене — глазастый пароход,
и роща пальм, и северное море.

И есть уже на свете много лет
тот равнодушный, медленный приказчик,
который выдвинет заветный ящик
и выдаст мне на родину билет!

14 мая 1927

ШАХМАТНЫЙ КОНЬ

Круглогривый, тяжелый, суконцем подбитый,
шахматный конь в коробке уснул, —
а давно ли, давно ли в пивной знаменитой
стоял живой человеческий гул?
Гул живописцев, ребят бородатых,
и крики поэтов, и стон скрипачей...
Лампа сияла, а пол под ней
был весь в очень ровных квадратах.

Он сидел с друзьями в любимом углу,
по привычке слегка пригнувшись к столу,
и друзья вспоминали турниры былые,
говорили о тонком его мастерстве...
Бархатный стук в голове:
это ходят фигуры резные.

Старый маэстро пивцо попивал,
слушал друзей, сигару жевал,
кивал головой седовато-кудластой,
и ворот осыпан был перхотью частой —
скорлупками шахматных мыслей.

И друзья вспоминали, как, матом грозя,
Кизерицкому в Вене он отдал ферзя.
Кругом над столами нависли
табачные тучи; а плиточный пол
был в темных и светлых квадратах.
Друзья вспоминали, какой изобрел
он дерзостный гамбит когда-то.

Старый маэстро пивцо попивал,
слушал друзей, сигару жевал
и думал с улыбкою хмурой:

«Кто-то, а кто — я понять не могу,
    переставляет в мозгу,
как тяжелую мебель, фигуры,
и пешка одна со вчерашнего дня
черною куклой идет на меня».

Старый маэстро сидел согнувшись,
пепел ронял на пикейный жилет —
и нападал, пузырями раздувшись,
неудержимый шахматный бред.
Пили друзья за здоровье маэстро,
вспоминали, как с этой сигарой в зубах
управлял он вслепую огромным оркестром
незримых фигур на незримых досках.

Вдруг черный король, подкрепив проходную
пешку свою, подошел вплотную.

Тогда он встал, отстранил друзей,
и смеющихся, и оробелых.
Лампа сияла, а пол под ней
был в квадратах черных и белых.

На лице его старом, растерянном, добром
    деревянный отблеск лежал.
Он сгорбился, шею надул, прижал
    напряженные локти к ребрам
и прыгать пошел по квадратам большим,
    через один, то влево, то вправо, —
и это была не пустая забава,
    и недолго смеялись над ним.

И потом, в молчании чистой палаты,
    куда черный король его увел,
на шестьдесят четыре квадрата
    необъяснимо делился пол.
И эдак, и так — до последнего часа —
в бредовых комбинациях, ночью и днем,
прыгал маэстро, старик седовласый,
    белым конем.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПОЭМА

1

«Итак, вы русский? Я впервые
встречаю русского...» Живые,
слегка навыкате, глаза
меня разглядывают: «К чаю
лимон вы любите, я знаю;
у вас бывают образа
и самовары, знаю тоже!»
Она мила. По нежной коже
румянец Англии разлит.
Смеется, быстро говорит:
«Наш город скучен, между нами, —
но речка — прелесть!.. Вы гребец?»
Крупна, с покатыми плечами,
большие руки без колец.

2

Так у викария за чаем
мы, познакомившись, болтаем,
и я старательно острю,
и не без сладостной тревоги
на эти скрещенные ноги
и губы яркие смотрю,
и снова отвожу поспешно
нескромный взгляд. Она, конечно,
явилась с теткою, но та
социализмом занята, —
и, возражая ей, викарий —
мужчина кроткий, с кадыком —
скосил по-песьи глаз свой карий
и нервным давится смешком.

3

Чай крепче мюнхенского пива.
Туманно в комнате. Лениво

в камине слабый огонек
блестит, как бабочка на камне.
Но засиделся я, — пора мне...
Встаю; кивок, еще кивок,
прощаюсь я, руки не тыча, —
так здешний требует обычай, —
сбегаю вниз через ступень
и выхожу. Февральский день,
и с неба вот уж две недели
непрекращающийся ток.
Неужто скучен в самом деле
студентов древний городок?

4

Дома — один другого краше, —
чью старость розовую наши
велосипеды веселят;
ворота колледжей, где в нише
епископ каменный, а выше —
как солнце, черный циферблат;
фонтаны, гулкие прохлады,
и переулки, и ограды
в чугунных розах и шипах,
через которые впотьмах
перелезать совсем не просто;
кабак — и тут же антиквар,
и рядом с плитами погоста
живой на площади базар.

5

Там мяса розовые глыбы;
сырая вонь блестящей рыбы;
ножи; кастрюли; пиджаки
из гардеробов безымянных;
отдельно, в положеньях странных,
кривые книжные лотки
застыли, ждут, как будто спрятав
тьму алхимических трактатов;

однажды, эту дребедень
перебирая, — в зимний день,
когда, изгнанника печаля,
шел снег, как в русском городке, —
нашел я Пушкина и Даля
на заколдованном лотке.

6

За этой площадью щербатой
кинематограф; и туда-то
по вечерам мы в глубину
туманной залы заходили, —
где мчались кони в клубах пыли
по световому полотну,
волшебно зрителя волнуя;
где силуэтом поцелуя
все завершалось в должный срок;
где добродетельный урок
всегда в трагедию был вкраплен;
где семенил, носками врозь,
смешной и трогательный Чаплин;
где и зевать нам довелось.

7

И снова — улочки кривые,
ворот громады вековые, —
и в самом сердце городка
цирюльня есть, где брился Ньютон,
и, древней тайною окутан,
трактирчик «Синего Быка».
А там, за речкой, за домами,
дерн, утрамбованный веками,
темно-зеленые ковры
для человеческой игры,
и звук удара деревянный
в холодном воздухе. Таков
был мир, в который я нежданно
упал из русских облаков.

8

Я по утрам, вскочив с постели,
летел на лекцию; свистели
концы плаща; — и наконец
стихало все в холодноватом
амфитеатре, и анатом
всходил на кафедру, — мудрец
с пустыми детскими глазами, —
и разноцветными мелками
узор японский он чертил
переплетающихся жил
или коробку черепную;
чертил — и шуточку нет-нет
да и отпустит озорную, —
и все мы топали в ответ.

9

Обедать. В царственной столовой
портрет был Генриха Восьмого —
тугие икры, борода —
работы пышного Гольбайна;
в столовой той, необычайно
высокой, с хóрами, всегда
бывало темновато, даром
что фиолетовым пожаром
от окон веяло цветных.
Нагие скáмьи вдоль нагих
столов тянулись. Там сидели
мы в черных конусах плащей
и переперченные ели
супы из вялых овощей.

10

А жил я в комнатке старинной,
но в тишине ее пустынной
тенями мало дорожил.
Держа московского медведя,
боксеров жалуя и бредя

красой Италии, — тут жил
студентом Байрон хромоногий.
Я вспоминал его тревоги, —
как Геллеспонт он переплыл,
чтоб похудеть. Но я остыл
к его твореньям... Да простится
неромантичности моей, —
мне розы мраморные Китса
всех бутафорских бурь милей.

11

Но о стихах мне было вредно
в те годы думать. Винтик медный
вращать, чтоб в капельке воды,
сияя, мир явился малый, —
вот это день мой занимало.
Люблю я мирные ряды
лабораторных ламп зеленых,
и пестроту таблиц мудреных,
и блеск приборов колдовской.
И углубляться день-деньской
в колодезь светлый микроскопа
ты не мешала мне совсем,
тоскующая Каллиопа,
тоска неконченых поэм.

12

Зато другое отвлекало:
вдруг что-то в памяти мелькало,
как бы не в фокусе, потом —
ясней, и снова пропадало.
Тогда мне вдруг надоедало
иглой работать и винтом,
мерцанье наблюдать в узоре
однообразных инфузорий,
кишки разматывать в уже;
лаборатория уже

мне больше не казалась раем;
я начинал воображать,
как у викария за чаем
мы с нею встретимся опять.

13

Так! Фокус найден. Вижу ясно.
Вот он, каштаново-атласный
переливающийся лоск
прически, и немного грубый
рисунок губ, и эти губы,
как будто ярко-красный воск
в мельчайших трещинках. Прикрыла
глаза от дыма, докурила
и, жмурясь, тычет золотым
окурком в пепельницу... Дым
сейчас рассеется, и станут
мигать ресницы, и в упор
глаза играющие глянут,
и, первый, опущу я взор.

14

Не шло ей имя Виолета
(вернее: Вайолет, — но это
едва ли мы произнесем).
С фиалкой не было в ней сходства,
напротив: ярко, до уродства,
глаза блестели, и на всем
подолгу, радостно и важно
взор останавливался влажный,
и странно ширились зрачки...
Но речи, быстры и легки,
не соответствовали взору, —
и доверять не знал я сам
чему? — пустому разговору
или значительным глазам...

15

Но знал: предельного расцвета
в тот год достигла Виолета, —
а что могла ей принести
британской барышни свобода?
Осталось ей всего три года
до тридцати, до тридцати...
А сколько тщетных увлечений, —
и все они прошли, как тени, —
и Джим, футбольный чемпион,
и Джо мечтательный, и Джон,
герой угрюмый интеграла...
Она лукавила, влекла,
в любовь воздушную играла,
а сердцем большего ждала.

16

Но день приходит неминучий;
он уезжает, друг летучий:
оплачен счет, экзамен сдан,
ракета теннисная в раме, —
и вот блестящими замками
набитый щелкнул чемодан.
Он уезжает. Из передней
выносят вещи. Стук последний, —
и тронулся автомобиль.
Она вослед глядит на пыль:
ну что ж — опять фаты венчальной
напрасно призрак снился ей...
Пустая улочка, и дальний
звук перебора скоростей...

17

От инфлюэнции презренной
ее отец, судья почтенный,
знаток портвейна, балагур,
недавно умер. Виолета
жила у тетки. Дама эта —

одна из тех ученых дур,
какими Англия богата, —
была в отличие от брата
высокомерна и худа,
ходила с тросточкой всегда,
читала лекции рабочим,
культуры чтила идеал
и полагала, между прочим,
что Харьков — русский генерал.

18

С ней Виолета не бранилась, —
порой могла бы, но ленилась, —
в благополучной тишине
жила, — о мире мало зная,
отца все реже вспоминая,
не помня матери (но мне
о ней альбомы рассказали, —
о временах осиных талий,
горизонтальных канотье.
Последний снимок: на скамье
она сидит; по юбке длинной
стекают тени на песок;
скромна горжетка, взор невинный,
в руке крокетный молоток).

19

Я приглашен был раза два-три
в их дом радушный, да в театре
раз очутилась невзначай
со мною рядом Виолета.
(Студенты ставили «Гамлета»,
и в этот день был рай не в рай
великой тени барда.) Чаще
мы с ней встречались на кричащей
вечерней улице, когда
снует газетчиков орда,
гортанно вести выкликая.
Она гуляла в этот час.

Два слова, шуточка пустая,
великолепье темных глаз.

20

Но вот однажды, помню живо,
в начале марта, в день дождливый,
мы на футбольном были с ней
соревнованье. Понемногу
росла толпа, — отдавит ногу,
пихнет в плечо, — и все тесней
многоголовое кишенье.
С самим собою в соглашенье
я молчаливое вошел:
как только грянет первый гол,
я трону руку Виолеты.
Меж тем, в короткие портки,
в фуфайки пестрые одеты,
уж побежали игроки.

21

Обычный зритель: из-под кепки
губа брезгливая и крепкий
дымок Виргинии. Но вдруг
разжал он губы, трубку вынул,
еще минута — рот разинул,
еще — и воет. Сотни рук
взвились, победу понукая:
игрок искусный, мяч толкая,
вдоль поля ласточкой стрельнул, —
навстречу двое — он вильнул,
прорвался, — чистая работа, —
и на бегу издалека
дубленый мяч кладет в ворота
ударом меткого носка.

22

И тихо протянул я руку,
доверясь внутреннему стуку,
мне повторяющему: тронь...

Я тронул. Я собрался даже
пригнуться, зашептать... Она же
непотеплевшую ладонь
освободила молчаливо,
и прозвучал ее шутливый,
всегдашний голос, легкий смех:
«Вон тот играет хуже всех —
все время падает, бедняга...»
Дождь моросил едва-едва;
мы возвращались вдоль оврага,
где прела черная листва.

23

Домой. С гербами на фронтонах
большое здание, в зеленых
просветах внутренних дворов.
Там тихо было. Там в суровой
(уже описанной) столовой
был штат лакеев-стариков.
Там у ворот швейцар был зоркий.
Существовала для уборки
глухой студенческой норы
там с незапамятной поры
старушек мелкая порода;
одна ходила и ко мне
сбивать метелкой пыль с комода
и с этажерок на стене.

24

И с этим образом расстаться
мне трудно. В памяти хранятся
ее мышиные шажки,
смешная траурная шляпка —
в какой, быть может, и прабабка
ее ходила, — волоски
на подбородке... Утром рано
из желтоватого тумана

она беззвучно, в черном вся,
придет и, щепки принеся,
согнется куклою тряпичной
перед голодным очагом,
наложит кокс рукой привычной
и снизу чиркнет огоньком.

25

И этот образ так тревожит,
так бередит меня... Быть может,
в табачной лавочке отца
во дни Виктории, бывало,
она румянцем волновала
в жилетах клетчатых сердца —
сердца студентов долговязых...
Когда играет в темных вязах
звук драгоценный соловья,
ее встречал такой, как я,
и с этой девочкой веселой
сирень персидскую ломал;
к ее склоненной шее голой
в смятенье губы прижимал.

26

Воображенье дальше мчится:
ночь... лампа на столе... не спится
больному старику... застыл,
ночной подслушивает шепот:
отменно важный начат опыт
в лаборатории... нет сил...
Она приходит в час урочный,
поднимет с полу сор полночный —
окурки, ржавое перо;
из спальни вынесет ведро.
Профессор стар. Он очень скоро
умрет, — и он давно забыл
душистый табачок, который
во дни Виктории курил.

27

Ушла. Прикрыла дверь без стука...
Пылают угли. Вечер. Скука.
И, оглушенный тишиной,
я с кексом в родинках изюма
пью чай, бездействуя угрюмо.
В камине ласковый, ручной
огонь стоит на задних лапах,
и от тепла шершавый запах
увядшей мебели слышней
в старинной комнатке моей.
Горячей кочергою ямки
в шипящей выжигать стене,
играть с самим собою в дамки,
читать, писать, — что делать мне?

28

Отставя чайничек кургузый,
родной словарь беру — и с музой,
моею вялой госпожой,
читаю в тягостной истоме
и нахожу в последнем томе
меж «хананыгой» и «ханжой»:
«Хандра: тоска, уныньe, скука;
сплин, ипохондрия». А ну-ка, —
стихотворенье сочиню...
Так час-другой, лицом к огню,
сижу я, рифмы подбирая,
о Виолете позабыв, —
и вот, как музыка из рая,
звучит курантов перелив.

29

Открыв окно, курантам внемлю:
перекрестили на ночь землю
святые ноты четвертей,
и бьют часы на башне дальней,

считает башня, и печальней
вдали другая вторит ей.
На тяжелеющие зданья
по складкам мантия молчанья
спадает. Вслушиваюсь я, —
умолкло все. Душа моя
уже к безмолвию привыкла, —
как вдруг со смехом громовым
взмывает ветер мотоцикла
по переулкам неживым!

30

С тех пор душой живу я шире:
в те годы понял я, что в мире
пред Богом звуки все равны.
В том городке, под сенью башен
был грохот жизни бесшабашен,
и смесь хмельная старины
и настоящего живого
мне впрок пошла: душа готова
всем любоваться под луной —
и стариной, и новизной.
Но я в разладе с лунным светом,
я избегаю тосковать...
Не дай мне, Боже, стать поэтом,
земное сдуру прозевать!

31

Нет! я за книгой в кресле сонном
перед камином озаренным
не пропустил, тоскуя зря,
весны прелестного вступленья.
Довольно угли и поленья
совать в камин — до октября.
Вот настежь небеса открыты,
вот первый крокус глянцевитый,
как гриб, сквозь мураву пророс,
и завтра, без обильных слез,

без сумасшедшего напева,
придет, усядется она —
совсем воспитанная дева,
совсем не русская весна.

32

И вот пришла. Прозрачней, выше
курантов музыка, и в нише
епископ каменный сдает
квартиры ласточкам. И, гулко
дудя в пролете переулка,
машина всякая снует.
Шумит фонтан, цветет ограда.
Лоун-теннис — белая отрада —
сменяет буйственный футбол:
в штанах фланелевых пошел
весь мир играть. В те дни кончался
последний курс — девятый вал,
и с Виолетой я встречался,
и Виолету целовал.

33

Как в первый раз она метнулась
в моих объятьях, — ужаснулась,
мне в плечи руки уперев,
и как безумно и уныло
глаза глядели! Это было
не удивленье и не гнев,
не девичий испуг условный...
Но я не понял... Помню ровный,
остриженный по моде сад,
шесть белых мячиков и ряд
больших кустов рододендрона;
я помню, пламенный игрок,
площадку твердого газона
в чертах и с сеткой поперек.

34

Она лениво — значит, скверно —
играла; не летала серной,
как легконогая Ленглен.
Ах, признаюсь, люблю я, други,
на всем разбеге взмах упругий
богини в платье до колен!
Подбросить мяч, назад согнуться,
молниеносно развернуться,
и струнной плоскостью сплеча
скользнуть по темени мяча,
и, ринувшись, ответ свистящий
уничтожительно прервать, —
на свете нет забавы слаще...
В раю мы будем в мяч играть.

35

Стоял у речки дом кирпичный:
плющом, глицинией обычной
стена меж окон обвита.
Но кроме плюшевой гостиной,
где я запомнил три картины:
одна — Мария у Креста,
другая — ловчий в красном фраке,
и третья — спящие собаки, —
я комнат дома не видал.
Камин и бронзовый шандал
еще, пожалуй, я отмечу,
и пианолу под чехлом,
и ног нечаянную встречу
под чайным чопорным столом.

36

Она смирилась очень скоро...
Уж я не чувствовал укора
в ее послушности. Весну
сменило незаметно лето.

В полях блуждаем с Виолетой:
под черной тучей глубину
закат, бывало, разрумянит —
и так в Россию вдруг потянет,
обдаст всю душу тошный жар, —
особенно когда комар
над ухом пропоет, в безмолвный
вечерний час, — и ноет грудь
от запаха черемух. Полно,
я возвращусь когда-нибудь.

37

В такие дни, с такою ленью —
не до науки. К сожаленью,
экзамен нудит, хошь не хошь.
Мы поработаем, пожалуй...
Но книга — словно хлеб лежалый:
суха, тверда — не разгрызешь.
Мы и не то одолевали...
И вот верчусь средь вакханалий
названий, в оргиях систем
и вспоминаю вместе с тем,
какую лодочник знакомый
мне шлюпку обещал вчера,
и недочитанные томы —
хлоп, и на полочку. Пора!

38

К реке воскресной, многолюдной
местами сходит изумрудный,
геометрический газон,
а то нависнет арка: тесен
под нею путь — потемки, плесень.
В густую воду с двух сторон
вросли готические стены.
Как неземные гобелены,
цветут каштаны над мостом,
и плющ на камне вековом

тузами пиковыми жмется, —
и дальше, узкой полосой,
река вдоль стен и башен вьется
с венецианскою ленцой.

39

Плоты, пироги да байдарки;
там граммофон, тут зонтик яркий;
и осыпаются цветы
на зеленеющую воду.
Любовь, дремота, тьма народу;
и под старинные мосты,
сквозь их прохладные овалы,
как сон блестящий и усталый,
все это медленно течет,
переливается — и вот
уводит тайная излука
в затон черемухи глухой,
где нет ни отсвета, ни звука,
где двое в лодке под ольхой.

40

Вино, холодные котлеты,
подушки, лепет Виолеты;
легко дышал ленивый стан,
охвачен шелковою вязкой;
лицо, не тронутое краской,
пылало. Розовый каштан
цвел над ольшаником высоко,
и ветерок играл осокой,
по лодке шарил, чуть трепал
юмористический журнал;
и в шею трепетную, в душку
я целовал ее, смеясь.
Смотрю: на яркую подушку
она в раздумье оперлась.

41

Перевернула лист журнала
и взгляд как будто задержала,
но взгляд был темен и тягуч:
она не видела страницы...
Вдруг из-под дрогнувшей ресницы
блестящий вылупился луч
и по щеке румяно-смуглой,
играя, покатился круглый
алмаз... «О чем же вы, о чем,
скажите мне?» Она плечом
пожала и небрежно стерла
блистанье той слезы немой,
и тихим смехом вздулось горло:
«Сама не знаю, милый мой...»

42

Текли часы. Туман закатный
спустился. Вдалеке невнятно
пропел на пастбище рожок.
Налетом сумеречно-мглистым
покрылся мир, и я в слоистом,
цветном фонарике зажег
свечу, и тихо мы поплыли
в туман, — где плакала не ты ли,
Офелия, — иль то была
лишь граммофонная игла?
В тумане звук неизъяснимый
все ближе, и, плеснув слегка,
тень лодки проходила мимо,
алела капля огонька.

43

И может быть, не Виолета —
другая и в другое лето,
в другую ночь плывет со мной...
Ты здесь, и не было разлуки,
ты здесь, и протянула руки,

и в смутной тишине ночной
меня ты полюбила снова,
с тобой средь марева речного
я счастья наконец достиг...
Но, слава Богу, в этот миг
стремленье грезы невозможной
звук речи английской прервал:
«Вот пристань, милый. Осторожно».
Я затабанил и пристал.

44

Там на скамье мы посидели...
«Ах, Виолета, неужели
вам спать пора?» И, заблистав
преувеличенно глазами,
она в ответ: «Судите сами —
одиннадцать часов», — и, встав,
в последний раз мне позволяет
себя обнять. И поправляет
прическу: «Я дойду одна.
Прощайте». Снова — холодна,
печальна, чем-то недовольна, —
не разберешь... Но счастлив я:
меня подхватывает вольно
восторг ночного бытия.

45

Я шел домой, пьянея в тесных
объятьях улочек прелестных, —
и так душа была полна,
и слов была такая скудность!
Кругом — безмолвие, безлюдность
и, разумеется, луна.
И блики на панели гладкой
давя резиновою пяткой,
я шел и пел «Алла верды»,
не чуя близости беды...
Предупредительно и хмуро
из-под невидимых ворот

внезапно выросли фигуры
трех неприятнейших господ.

46

Глава их — ментор наш упорный:
осанка, мантия и черный
квадрат покрышки головной, —
весь вид его — укор мне строгий.
Два молодца — его бульдоги —
с боков стоят, следят за мной.
Они на сыщиков похожи,
но и на факельщиков тоже:
крепки, мордасты, в сюртуках,
в цилиндрах. Если же впотьмах
их жертва в бегство обратится,
спасет едва ли темнота —
такая злая в них таится
выносливость и быстрота.

47

И тихо помянул я чорта...
Увы, я был одет для спорта,
а ночью требуется тут
(смотри такой-то пункт статута)
ходить в плаще. Еще минута,
ко мне все трое подойдут,
и средний взгляд мой взглядом встретит,
и спросит имя, и отметит,
«спасибо» вежливо сказав;
а завтра — выговор и штраф.
Я замер. Свет белесый падал
на их бесстрастные черты.
Надвинулись... И тут я задал,
как говорится, лататы.

48

Луна... Погоня... Сон безумный...
Бегу, шарахаюсь бесшумно:

то на меня из тупика
цилиндра призрак выбегает,
то тьма плащом меня пугает,
то словно тянется рука
в перчатке черной... *Мимо, мимо...*
И все луною одержимо,
все исковеркано кругом...
И вот стремительным прыжком
окончил я побег бесславный,
во двор коллегии пролез,
куда не вхож ни ангел плавный,
ни изворотливейший бес.

49

Я запыхался... Сердце бьется...
И ночь томит, лениво льется...
И в холодок моих простынь
вступаю только в час рассвета, —
и ты мне снишься, Виолета, —
что просишь будто: «Плащ накинь...
не тот, не тот... он слишком узкий...»
Мне снится, что с тобой по-русски
мы говорим, и я во сне
с тобой на «ты», — и снится мне,
что будто принесла ты щепки,
ломаешь их, в камин кладешь...
Ползи, ползи, огонь нецепкий, —
ужели дымом изойдешь?

50

Я поздно встал, проспал занятья...
Старушка чистила мне платье:
под щеткой — пуговицы стук.
Оделся, покурил немного;
зевая, в клуб Единорога
пошел позавтракать, — и вдруг
встречаю Джонсона у входа!
Мы не видались с ним полгода —

с тех пор как он экзамен сдал.
«С приездом, вот не ожидал!» —
«Я ненадолго, до субботы:
мне нужно только разный хлам —
мои последние работы —
представить здешним мудрецам».

51

За столик сели мы. Закуски
и разговор о том, что русский
прожить не может без икры;
потом — изгиб форели синей,
и разговор о том, кто ныне
стал мастер теннисной игры;
за этим — спор довольно скучный
о стачке, и пирог воздушный.
Когда же, мигом разыграв
бутылку дружеского «Грав»,
за обольстительное «Асти»
мы деловито принялись —
о пустоте сердечной страсти
пустые толки начались.

52

«Любовь...— И он вздохнул протяжно: —
Да, я любил... Кого — неважно;
но только минула весна,
я замечаю — плохо дело;
воображенье охладело,
мне опостылела она».
Со мной он чокнулся уныло
и продолжал: «Ужасно было...
Вы к ней нагнетесь, например,
и глаз, как, скажем, Гулливер,
гуляющий по великанше,
увидит борозды, бугры
на том, что нравилось вам раньше,
что отвращает с той поры...»

53

Он замолчал. Мы вышли вместе
из клуба. Говоря по чести,
я был чуть с мухой, и домой
хотелось. Солнце жгло. Сверкали
деревья. Молча мы шагали,
как вдруг угрюмый спутник мой —
на улице Святого Духа —
мне локоть сжал и молвил сухо:
«Я вам рассказывал сейчас...
Смотрите, вот она, как раз...»
И шла навстречу Виолета,
великолепна, весела,
в потоке солнечного света,
и улыбнулась, и прошла.

54

В каком-то раздраженье тайном
с моим приятелем случайным
я распрощался. Хмель пропал.
Так: поваландался — и баста!
Я стал работать — как не часто
работал, днями утопал,
ероша волосы, в науке,
и с Виолетою разлуки
не замечал; и наконец
(как напрягается гребец
у приближающейся цели)
уже я ночи напролет
зубрил учебники в постели,
к вискам прикладывая лед.

55

И началось. Экзамен длился
пять жарких дней. Так накалился
от солнца тягостного зал,
что даже обморока случай
произошел, и вид падучей
сосед мой справа показал
во избежание провала.

И кончилось. Поцеловала
счастливцев Альма Матер в лоб;
убрал я книги, микроскоп —
и вспомнил вдруг о Виолете,
и удивился я тогда:
как бы таинственных столетий
нас разделила череда.

56

И я уже, шатун свободный,
душою легкой и голодной
в другие улетал края —
в знакомый порт, и там в конторе
вербует равнодушно море
простых бродяг, таких как я.
Уже я прожил все богатства:
портрет известного аббатства
всего в двух копиях упас.
И в ночь последнюю — у нас
был на газоне, посредине
венецианского двора,
обычный бал, и в серпантине
мы проскользили до утра.

57

Двор окружает галерея.
Во мраке синем розовея,
горят гирлянды фонарей —
Эола легкие качели.
Вот музыканты загремели —
пять черных яростных теней
в румяной раковине света.
Однако где же Виолета?
Вдруг вижу: вот стоит она,
вся фонарем озарена,
меж двух колонн, как на подмостках.
И что-то подошло к концу...
Ей это платье в черных блестках,
быть может, не было к лицу.

58

Прикосновеньем не волнуем,
я к ней прильнул, и вот танцуем:
она безмолвна и строга,
лицом сверкает недвижимым,
и поддается под нажимом
ноги упругая нога.
Послушны грохоту и стону,
ступают пары по газону,
и серпантин со всех сторон.
То плачет в голос саксофон,
то молоточки и трещотки,
то восклицание цимбал,
то длинный шаг, то шаг короткий, —
и ночь любуется на бал.

59

Живой душой не правит мода,
но иногда моя свобода
случайно с нею совпадет:
мне мил фокс-трот, простой и нежный...
Иной мыслитель неизбежно
симптомы века в нем найдет, —
разврат под музыку бедлама;
иная пишущая дама
или копеечный пиит
о прежних танцах возопит;
но для меня, скажу открыто,
особой прелести в том нет,
что грубоватый и немытый
маркиз танцует менуэт.

60

Оркестр умолк. Под колоннаду
мы с ней прошли, и лимонаду
она глотнула, лепеча.
Потом мы сели на ступени.
Смотрю: смешные наши тени
плечом касаются плеча.

«Я завтра еду, Виолета».
И было выговорить это
так просто... Бровь подняв, она
мне улыбнулась, и ясна
была улыбка: «После бала
легко все поезда проспать».
И снова музыка стонала,
и танцовали мы опять.

61

Прервись, прервись, мой бал прощальный!
Пока роняет ветер бальный
цветные ленты на газон
и апельсиновые корки —
должно быть, где-нибудь в каморке
старушка спит, и мирен сон.
К ней пятна лунные прильнули;
чернеет платьице на стуле,
чернеет шляпка на крюке;
будильник с искрой в куполке
прилежно тикает; под шкапом
мышь пошуршит и шуркнет прочь;
и в тишине смиренным храпом
исходит нищенская ночь.

62

Моя старушка в полдень ровно
меня проводит. Я любовно
ракету в раму завинтил,
нажал на чемодан коленом,
захлопнул. По углам, по стенам
душой и взглядом побродил:
да, взято все... Прощай, берлога!
Стоит старушка у порога...
Мотора громовая дрожь, —
колеса тронулись... Ну что ж,
еще один уехал... Свежий
сюда вселится в октябре, —
и разговоры будут те же,
и тот же мусор на ковре...

63

И это всё. Довольно, звуки,
довольно, муза. До разлуки
прошу я только вот о чем:
летя, как ласточка, то ниже,
то в вышине, найди, найди же
простое слово в мире сем,
всегда понять тебя готовом;
и да не будет этим словом
ни моль бичуема, ни ржа;
мгновеньем всяким дорожа,
благослови его движенье,
ему застыть не повели;
почувствуй нежное вращенье
чуть накренившейся земли.

РАССТРЕЛ

Небритый, смеющийся, бледный,
в чистом пиджаке,
без галстука, с маленькой, медной
запонкой на кадыке;

он ждет; и все зримое в мире
только — высокий забор,
жестянка в траве и четыре
дула, смотрящих в упор.

Так ждал он, смеясь и мигая,
на именинах не раз,
чтоб магний блеснул, озаряя
белые лица без глаз.

Все. Молния боли железной...
Неумолимая тьма.
И, воя, кружится над бездной
ангел, сошедший с ума.

Конец 1927

ОСТРОВА

В книге сказок помню я картину:
ты да я на башне угловой.
Стань сюда, и снова я застыну
на ветру, с протянутой рукой.

Там, вдали, где волны завитые
переходят в дымку, различи
острова блаженства, как большие,
фиолетовые куличи.

Не могу в осмысленное пенье
(слово умирает на лету)
обратить их смуглое томленье,
и таинственность, и круглоту.

Ибо золотистыми перстами
из особой сладостной земли
пекаря с кудрявыми крылами
их на грани неба испекли.

И, должно быть, легче там и краше,
и, пожалуй, мы б пустились вдаль,
если б наших книг, собаки нашей
и любви нам не было так жаль.

Конец февраля 1928

РАЗГОВОР

Писатель. Критик. Издатель

Писатель

Легко мне на чужбине жить;
писать трудненько, — вот в чем штука.
Вы морщитесь, я вижу?

Критик

Скука.
Нет книг.

Издатель

Могу вам одолжить
два-три журнала, — цвет изданий
московских, — «Алую Зарю»,
«Кряж», «Маховик»...

Критик

Благодарю.
Не надо. Тошно мне заране.
У музы тамошней губа
отвисла, взгляд блуждает тупо;
разгульна хочет быть, груба;
все было б ничего, — да глупо.

Издатель

Однако хвалят. Новизну,
и быт, и пафос там находят.
Иного — глядь — и переводят.
Я знаю книжицу одну...

Критик

Какое! Грамотеи эти,
Цементов, Молотов, Серпов,
сосредоточенно, как дети,
рвут крылья у жужжащих слов.
Мне их убожество знакомо:
был Писарев, была точь-в-точь
такая ж серенькая ночь.
Добро еще, что пишут дома, —
а то какой-нибудь Лидняк,
как путешествующий купчик,
на мир глядит и пучит зрак,
и ужасается, голубчик:
куда бы ни поехал он,
в Бордо ли, Токио, — все то же:
матросов бронзовые рожи
и в переулочке притон.

Издатель

Так вы довольны музой здешней,
изгнанницей немолодой?
Неужто по сравненью с той
она вам кажется...

Критик

Безгрешней.
Но, впрочем, и она скучна...
А там, — нет, все-таки там хуже!
Отражены там в серой луже
штык и фабричная стена.
Где прихоть вольная развязки?
Где жизни полный разговор?
Мучитель муз, евнух парнасский,
там торжествует резонер.

Издатель

Да вы, как погляжу, каратель
былого, нового, всего!
Что ж надо делать?

Критик

Ничего.
Скучать.

Издатель

Что думает писатель?
Как знать, — быть может, суждено
ему негаданно, нежданно
так развернуться...

Писатель

Мудрено.
Года идут. Язык, мне данный,
скудеет, жара не храня,
вдали живительной стихии.

Слова, как берега России,
в туман уходят от меня.
Бывало, поздно возвращаюсь,
иду, не поднимая глаз,
неизъяснимым насыщаюсь
и знаю: где-то вот сейчас
любовь земная ждет ответа
иль человек родился; где-то
в ночи блуждают налегке
умерших мыслящие тени;
бормочет где-то русский гений
на иностранном чердаке.
И оглушительное счастье
в меня врывается... Во всем
к себе я чувствую участье —
в звездах и в камне городском.
И остываю я словами
на ожидающем листе...
Очнусь, — и кроткими друзьями
я брошен, и слова — не те.

Издатель

Я б, господа, на вашем месте
Парнас и прочее — забыл.
Поймите, мир не тот, что был.
Сто лет назад целковых двести
вам дал бы Греч за разговор,
такой по-новому проворный,
за ямб искусно-разговорный...
Увы: он устарел с тех пор.

ОСА

Твой панцирь, желтый и блестящий,
булавкой я проткнул
и слушал плач твой восходящий,
прозрачнейший твой гул.

Тупыми ножницами жало
я защемил — и вот
отрезал... Как ты зажужжала,
как выгнула живот!

Теперь гуденье было густо,
и крылья поскорей
я отхватил, почти без хруста,
у самых их корней.

И обеззвученное тело
шесть вытянуло ног,
глазастой головой вертело...
И спичку я зажег, —

чтоб видеть, как вскипишь бурливо,
лишь пламя поднесу...
Так мучит отрок терпеливый
чудесную осу;

так, изощряя слух и зренье,
взрезая, теребя, —
мое живое вдохновенье,
замучил я тебя!

К РОССИИ

Мою ладонь географ строгий
разрисовал: тут все твои
большие, малые дороги,
а жилы — реки и ручьи.

Слепец, я руки простираю
и все земное осязаю
через тебя, страна моя.
Вот почему так счастлив я.

И если правда, что намедни
мне померещилось во сне,
что час беспечный, час последний
меня найдет в чужой стране,

как на покатой школьной парте,
совьешься ты подобно карте,
как только отпущу края,
и ляжешь там, где лягу я.

23 июня 1928

ТОЛСТОЙ

Картина в хрестоматии: босой
старик. Я поворачивал страницу;
мое воображенье оставалось
холодным. То ли дело — Пушкин: плащ,
скала, морская пена... Слово «Пушкин»
стихами обрастает, как плющом,
и муза повторяет имена,
вокруг него бряцающие: Дельвиг,
Данзас, Дантес, — и сладостно-звучна
вся жизнь его, — от Делии лицейской
до выстрела в морозный день дуэли.
К Толстому лучезарная легенда
еще не прикоснулась. Жизнь его
нас не волнует. Имена людей,
с ним связанных, звучат еще незрело:
им время даст таинственную знатность;
то время не пришло; назвав Черткова,
я только б сузил горизонт стиха.
И то сказать: должна людская память
утратить связь вещественную с прошлым,
чтобы создать из сплетни эпопею
и в музыку молчанье претворить.
А мы еще не можем отказаться
от слишком лестной близости к нему
во времени. Пожалуй, внуки наши
завидовать нам будут неразумно.

Коварная механика порой
искусственно поддерживает память.
Еще хранит на граммофонном диске
звук голоса его: он вслух читает,
однообразно, торопливо, глухо,
и запинается на слове «Бог»,
и повторяет: «Бог», и продолжает
чуть хриплым говорком, — как человек,
что кашляет в соседнем отделенье,
когда вагон на станции ночной,
бывало, остановится со вздохом.
Есть, говорят, в архиве фильмов ветхих,
теперь мигающих подслеповато,
яснополянский движущийся снимок:
старик невзрачный, роста небольшого,
с растрепанною ветром бородой,
проходит мимо скорыми шажками,
сердясь на оператора. И мы
довольны. Он нам близок и понятен.
Мы у него бывали, с ним сидели.
Совсем не страшен гений, говорящий
о браке или о крестьянских школах...
И, чувствуя в нем равного, с которым
поспорить можно, и зовя его
по имени и отчеству, с улыбкой
почтительной, мы вместе обсуждаем,
как смотрит он на то, на се... Шумят
витии за вечерним самоваром;
по чистой скатерти мелькают тени
религий, философий, государств, —
отрада малых сих... Но есть одно,
что мы никак вообразить не можем,
хоть рыщем мы с блокнотами, подобно
корреспондентам на пожаре, вкруг
его души. До некой тайной дрожи,
до главного добраться нам нельзя.
Почти нечеловеческая тайна!
Я говорю о тех ночах, когда
Толстой творил; я говорю о чуде,
об урагане образов, летящих
по черным небесам в час созиданья,
в час воплощенья... Ведь живые люди

родились в эти ночи... Так Господь
избраннику передает свое
старинное и благостное право
творить миры и в созданную плоть
вдыхать мгновенно дух неповторимый.
И вот они живут; все в них живет —
привычки, поговорки и повадка;
их родина — такая вот Россия,
какую носим мы в той глубине,
где смутный сон примет невыразимых, —
Россия запахов, оттенков, звуков,
огромных облаков над сенокосом,
Россия обольстительных болот,
богатых дичью... Это все мы любим.
Его созданья, тысячи людей,
сквозь нашу жизнь просвечивают чудно,
окрашивают даль воспоминаний, —
как будто впрямь мы жили с ними рядом.
Среди толпы Каренину не раз
по черным завиткам мы узнавали;
мы с маленькой Щербацкой танцовали
заветную мазурку на балу...
Я чувствую, что рифмой расцветаю,
я предаюсь незримому крылу...
Я знаю, смерть лишь некая граница:
мне зрима смерть лишь в образе одном;
последняя дописана страница,
и свет погас над письменным столом.
Еще виденье, отблеском продлившись,
дрожит, и вдруг — немыслимый конец...
И он ушел, разборчивый творец,
на голоса прозрачные деливший
гул бытия, ему понятный гул...
Однажды он со станции случайной
в неведомую сторону свернул,
и дальше — ночь, безмолвие и тайна...

КИНЕМАТОГРАФ

Люблю я световые балаганы
все безнадежнее и все нежней...
Там сложные вскрываются обманы
простым подслушиваньем у дверей.

Там для распутства символ есть единый —
бокал вина; а добродетель — шьет.
Между чертами матери и сына
острейший глаз там сходства не найдет.

Там, на руках, в автомобиль огромный
не чуждый состраданья богатей
усердно вносит барышень бездомных,
в тигровый плед закутанных детей.

Там письма спешно пишутся средь ночи:
опасность... трепет... поперек листа
рука бежит... И как разборчив почерк,
какая писарская чистота!

Вот спальня озаренная... Смотрите,
как эта шаль упала на ковер.
Не виден ослепительный юпитер,
не слышен раздраженный режиссер;

но ничего там жизнью не трепещет:
пытливый гость не может угадать
связь между вещью и владельцем вещи,
житейского особую печать.

О да! Прекрасны гонки, водопады,
вращение зеркальной темноты...
Но вымысел? Гармонии услады?
Ума полет? О Муза, где же ты?

Утопит злого, доброго поженит,
и снова, через веси и века,
спешит роскошное воображенье
самоуверенного пошляка.

И вот — конец... Рояль незримый умер,
темно и незначительно пожив.

Очнулся мир, прохладою и шумом
растаявшую выдумку сменив.

И со своей подругою приказчик,
встречая ветра влажного напор,
держа ладонь над спичкою горящей,
насмешливый выносит приговор.

10 ноября 1928

СТАНСЫ О КОНЕ

На полотнищах, озаренных
игрой малиновых лучей,
условный выгиб окрыленных
Наполеоновых коней.

И цирковое полнолунье,
огромный, снежный круп, — оплот
сосредоточенной плясуньи;
песок, и музыка, и пот.

И всадник, по лесу спешащий,
седла поскрипыванье, хруст;
волною счастия шуршащий
по голенищу влажный куст.

И ты, лирическое имя
в газете уличной, — скакун,
гнедым огнем летящий мимо
тобою вспыхнувших трибун.

И столь покорный конь манежный,
и Фальконетов конь живой...
Но самый жалостный и нежный,
невыносимый образ твой:

обросший шерстью с голодухи,
не чующий моей любви, —
и без конца щекочут мухи
ресницы длинные твои.

26 ноября 1928

* * *

Для странствия ночного мне не надо
ни кораблей, ни поездов.
Стоит луна над шашечницей сада.
Окно открыто. Я готов.

И прыгает с беззвучностью привычной —
как ночью кот через плетень —
на русский берег речки пограничной
моя беспаспортная тень.

Таинственно, легко, неуязвимо
ложусь на стены чередой, —
и в лунный свет, и в сон, бегущий мимо,
напрасно метит часовой.

Лечу лугами, по лесу танцую, —
и кто поймет, что есть один,
один живой на всю страну большую,
один счастливый гражданин?

Вот блеск Невы вдоль набережной длинной.
Все тихо. Поздний пешеход,
встречая тень средь площади пустынной,
воображение клянет.

Я подхожу к неведомому дому,
я только место узнаю...
Там, в темных комнатах, все по-другому
и все волнует тень мою.

Там дети спят. Над уголком подушки
я наклоняюсь, и тогда
им снятся прежние мои игрушки,
и корабли, и поезда...

19–20 июля 1929

ВОЗДУШНЫЙ ОСТРОВ

Средь пустоты, над полем дальним,
пласты закатных облаков
казались призраком зеркальным
океанических песков.

Как он блистает, берег гладкий,
необитаемый... Толчок,
дно поднимается под пяткой,
и выхожу я на песок.

Дрожа от свежести и счастья,
стою я — новый Робинзон —
на этой отмели блестящей,
пустой лазурью окружен.

И странно вспоминать минуту
недоумения, когда
нащупала мою каюту
и хищно хлынула вода;

когда она, вращаясь зыбко
в нетерпеливости слепой,
внесла футляр от чьей-то скрипки
и фляжку унесла с собой.

О том, как палуба трещала,
приняв смертельную волну,
о том, как музыка играла,
пока мы бурно шли ко дну,

пожалуй, будет и нетрудно
мне рассказать когда-нибудь...
Да что ж мечтать, — какое судно
на остров мой направит путь?

Он слишком призрачен, воздушен...
О нем не знают ничего.
К нему Создатель равнодушен...
Он меркнет, тает... нет его.

И я охвачен темнотою,
и, сладостно в ушах звеня
и вздрагивая под рукою,
проходят звезды сквозь меня.

Конец августа 1929

НЕРОДИВШЕМУСЯ ЧИТАТЕЛЮ

Ты, светлый житель будущих веков,
ты, старины любитель, в день урочный
откроешь антологию стихов,
забытых незаслуженно, но прочно.

И будешь ты, как шут, одет, — на вкус
моей эпохи, фрачной и сюртучной.
Облокотись. Прислушайся. Как звучно
былое время — раковина муз!

Шестнадцать строк, увенчанных овалом
с неясной фотографией... Посмей
побрезговать их слогом обветшалым,
опрятностью и бедностью моей.

Я здесь, с тобой. Укрыться ты не волен.
К тебе на грудь я прянул через мрак.
Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк
из прошлого... Прощай же. Я доволен.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

В листве березовой, осиновой,
в конце аллеи у мостка,
вдруг падал свет от платья синего,
от василькового венка.

Твой образ легкий и блистающий
как на ладони я держу
и бабочкой неулетающей
благоговейно дорожу.

И много лет прошло, и счастливо
я прожил без тебя, — а все ж
порой я думаю опасливо:
жива ли ты, и где живешь?

Но если встретиться нежданная
судьба заставила бы нас,

меня бы, как уродство странное,
твой образ нынешний потряс.

Обиды нет неизъяснимее:
ты чуждой жизнью обросла...
Ни платья синего, ни имени
ты для меня не сберегла.

И все давным-давно просрочено, —
и я молюсь, и ты молись,
чтоб на утоптанной обочине
мы в тусклый вечер не сошлись.

11–12 февраля 1930

УЛЬДАБОРГ

(перевод с зоорландского)

Смех и музыка изгнаны. Страшен
Ульдаборг, этот город немой...
Ни садов, ни базаров, ни башен,
и дворец обернулся тюрьмой:

математик там плачется кроткий,
там — великий бильярдный игрок.
Нет прикрас никаких у решетки...
О, хотя бы железный цветок!

Хоть бы кто-нибудь песней прославил,
как на площади, пачкая снег,
королевских детей обезглавил
из Торвальта силач-дровосек.

И какой-то назойливый нищий
в этом городе ранних смертей,
говорят, все танцмейстера ищет
для покойных своих дочерей.

Но последний давно удавился,
сжег последнюю скрипку палач,
и в Германию переселился
в опаленных лохмотьях скрипач.

И хоть праздники все под запретом
(на молу фейерверки весной
и балы перед ратушей летом),
будет праздник, — и праздник большой.

Справа горы и Воцберг алмазный,
слева сизое море горит,
а на площади шепот бессвязный:
Ульдаборг обо мне говорит.

Озираются, жмутся тревожно...
Что за странные лица у всех!
Дико слушают звук невозможный:
я вернулся, и это мой смех —

над запретами Голого Цеха,
над законами глухонемых,
над пустым отрицанием смеха,
над испугом сограждан моих...

Погляжу на знакомые дюны,
на алмазную в небе гряду,
глубже руки в карманы засуну
и со смехом на плаху взойду.

Апрель 1930

СТИХОТВОРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

IN MEMORIAM [1]

(*Из Теннисона*)

Вот лунный луч блеснул на одеяле,
И знаю: там, где предан ты земле,
Над западными водами, во мгле,
Бледно и дивно стены просияли.

Там жизнь твою читает лунный свет:
Как перст скользит серебряное пламя
По мраморной доске твоей, во храме,
По буквам имени и числам лет.

И вот сиянье плавное слабеет;
Вот на моей постели луч погас.
Смежаю веки утомленных глаз
И сплю, пока окно не посереет.

Тогда земля туманом заревым
Напоена от краю и до краю, —
И там, во храме сумрачном, я знаю,
Чуть брезжит мрамор с именем твоим.

---

[1] В память *(лат.)*.

СОНЕТ XVII

(*Из Шекспира*)

Сонет мой за обман века бы осудили,
когда б он показал твой образ неземной, —
но в песне, знает Бог, ты скрыта, как в могиле,
и жизнь твоих очей не выявлена мной.

Затем ли волшебство мной было бы воспето
и чистое число всех прелестей твоих, —
чтоб молвили века: «Не слушайте поэта;
божественности сей нет в обликах мирских»?

Так высмеют мой труд, поблекнувший и сирый,
так россказни смешны речистых стариков, —
и правду о тебе сочтут за прихоть лиры,
за древний образец напыщенных стихов...

Но если бы нашлось дитя твое на свете,
жила бы ты вдвойне, — в потомке и в сонете.

СОНЕТ XXVII

(*Из Шекспира*)

Спешу я, утомясь, к целительной постели,
где плоти суждено от странствий отдохнуть, —
но только все труды от тела отлетели,
пускается мой ум в паломнический путь.

Потоки дум моих, отсюда, издалека,
настойчиво к твоим стремятся чудесам, —
и держат, и влекут измученное око,
открытое во тьму, знакомую слепцам.

Зато моей души таинственное зренье
торопится помочь полночной слепоте:
окрашивая ночь, твое отображенье
дрожит, как самоцвет, в могильной темноте.

Так, ни тебе, ни мне покоя не давая,
днем тело трудится, а ночью — мысль живая.

МАЙСКАЯ НОЧЬ

(*Из Мюссе*)

Муза

Тронь лютню, о поэт, и поцелуй мне дай;
шиповник ждет цветка из каждой почки узкой.
В ночи грядет весна; он близок, знойный май;
и вот уж до зари — воздушной трясогузкой
зазеленевший куст разбужен невзначай.
Тронь лютню, о поэт, и поцелуй мне дай.

Поэт

Как почернела ночь в долине!
А мнилось — облик смутно-синий
вот там струился через лес.
Он облетел луга ночные;
едва задел цветы сырые;
неизъяснимы сны такие;
    и он погас, и он исчез.

Муза

Тронь лютню, о поэт; вуалью благовонной
ночь зыблет на лугах Эолову росу.
И роза чистая закрылась непреклонно,
замкнув и опьянив блестящую осу.
Послушай: все молчит; возлюбленную вспомни.
Сегодня, в темноте, под липами, укромней,
зари прощальный луч нежнее там затих.
Сегодня все цветет: вся ширь природы Божьей
любовью полнится и шепотом, как ложе
благоуханное супругов молодых.

Поэт

Как сердца трепетно биенье!
Как слушаю свое смятенье,
дыханье в страхе затая!
Кто там стучит, войти желает?
Меня, как солнце, ослепляет
свеча неяркая моя.

Откуда страх и слабость эта?
Кто там? Кто кличет? Нет ответа.
Обман: то полночь била где-то;
как я один! как беден я!

Муза

Тронь лютню, о поэт; хмель юности небесной
играет в эту ночь по жилам Божества.
Тревожно я дышу; мне сладостно, мне тесно,
мне ветер губы жжет; дышу, полужива.
Ленивое дитя! Прекрасна я, смотри же.
Наш первый поцелуй... О нет, не позабудь,
как я пришла к тебе, крылом скользя все ближе,
и, бледный, плачущий, ты пал ко мне на грудь.
О, я спасла тебя! Ты умирал, я знаю,
от горестной любви. Теперь тебя зову:
надеждою томлюсь, без песен умираю.
Спаси, — я до утра без них не доживу.

Поэт

Так это ты, твое дыханье?
Бедняжка муза, это ты?
Бессмертие, благоуханье,
одно мне верное созданье
среди враждебной темноты!
Друг белокурый, друг мой чистый,
моя любовь, сестра моя!
И в сердце мне, средь ночи мглистой,
с твоей одежды золотистой
скользит лучистая струя.

Муза

Тронь лютню. Это я. Увидела я, милый,
что ты один в ночи, унылый и немой.
К тревожному гнезду я птицей быстрокрылой
спустилась с облаков посетовать с тобой.
Так ты страдаешь, друг? Какую-то случайность,
какую-то любовь оплакиваешь ты;
измучила тебя земная обычайность, —
тень наслаждения, подобие мечты.

Так пой же! Внемлет Бог. Все песней будет взято —
минувшая печаль, сердечная утрата.
Давай в безвестный мир, обнявшись, улетим.
Разбудим наугад мы жизненное эхо.
Коснемся славы мы, безумия и смеха.
Забвения страну с тобою создадим.
Сон выберем любой, лишь был бы он бесцелен.
Умчимся. Мы одни. Вселенная нас ждет.
Италия смугла, и край Шотландский зелен,
Эллада, мать моя, хранит сладчайший мед.
Вот Аргос, Птелеон, как жертвенник огромный,
и Месса дивная, отрада голубей;
косматый Пелион, то солнечный, то темный,
и — чище серебра и неба голубей —
залив, где лебедь спит, один в зеркальном мире,
и снится белый сон белеющей Камире.
Поведай мне, над чем рыдания прольем?
Какие вымыслы напевом раскачнем?
Сегодня, только свет в твои ударил вежды,
не правда ль, серафим был над тобой склонен,
сирени просыпал на легкие одежды
и о любви шептал, которой грезил он?
Надежда, счастье, грусть — какое скажем слово?
Стальной ли батальон мы кровью заплеснем?
Любовника ль взовьем на лестнице шелковой?
Иль пену скакуна мы по ветру метнем?
Поведаем ли, кто в обитель ночи синей
приходит зажигать лампады без числа,
чтоб теплилась любовь, чтоб жизнь была светла?
Воскликнем ли: «Пора, вот сумрак, о Тарквиний!»?
Сберем ли жемчуга, где океан глубок?
Пойдем ли коз пасти, где горько пахнет дрок?
Укажем ли тоске небесные селенья?
Возьмет ли нас ловец в скалистый горный край?
Взирает на него, грустит душа оленья,
жалея оленят и вересковый рай;
но он вонзает нож и тот кусок добычи,
то сердце теплое бросает жадным псам.
Изобразим ли мы румяный жар девичий?
В сопутствии пажа вошла она во храм
и подле матери садится, но забыла
молитвы, замерла, уста полуоткрыла

и слушает, дрожа, как гулко меж колонн
проходит чей-то шаг и дерзкой шпоры звон.
Прикажем ли взойти на башни боевые
героям Франции, героям древних лет,
чтоб песни воскресить пленительно-простые,
что славе посвящал кочующий поэт?
Ленивую ли мы элегию напишем?
От Корсиканца ли про Ватерло услышим,
и сколько ковыля людского он скосил,
пока не налетел дух ночи безрассветной,
не сбил его крылом на холмик неприметный
и руки павшему на сердце не скрестил?
К столбу ли громовой сатиры в назиданье
прибьем продажное памфлетчика прозванье,
который с голоду из темного угла
выходит крадучись, от зависти трепещет,
на веру гения беспомощно клевещет
и к лаврам тянется венчанного чела?
Тронь лютню! Лютню тронь! Молчать мне нестерпимо.
Вздувают мне крыло весенние ветра.
Сейчас я улечу, покину мир любимый.
Дай мне одну слезу! Бог слушает, пора!

Поэт

О, если, милая, тоскуя,
ты просишь только поцелуя,
одной слезы из глаз моих,
я услужу тебе охотно;
и о любови мимолетной
ты вспомнишь в небесах родных.
Я не пою ни упованья,
ни славы, ни счастливых дней,
ни даже верного страданья.
Мои уста хранят молчанье,
чтоб шепот сердца был слышней.

Муза

Не думаешь ли ты, что я, как ветер грубый,
надгробных жажду слез осеннею порой,
что горе кажется мне каплей дождевой?
Поэт, ведь я сама тебя целую в губы.

Те плевелы, что рву, придя на твой порог,
то лень души твоей; а горем правит Бог.
Что ж, если молодость печалью обуяна?
Пусть разгорается божественная рана,
где черный серафим к душе твоей приник.
Чье горе велико, тот истинно велик.
Но если ты познал страдание, не думай,
что должен ты, поэт, немотствовать угрюмо.
Чем горестней напев, тем сладостнее он.
Есть песни вечные — рыданий чистый звон.
Как только пеликан спускается тяжелый,
из странствий возвратясь, к туманным тростникам,
голодные птенцы бегут на берег голый,
узнав его вдали по плещущим крылам.
Уже обильную добычу предвкушая,
на радостях крича и клювами качая,
зобастые птенцы торопятся к нему.
Но он, на берегу, застыв на камне высшем,
он покрывает их крылом своим повисшим,
как горестный рыбак, глядит в ночную тьму.
Сквозь жесткое перо сочится кровь из раны.
Бесцельно было ночь пучинную пытать:
безжизненны пески, безрыбны океаны,
и он своим птенцам лишь сердце может дать.
На камень опустясь, угрюмый, неуклюжий,
деля между детьми живую плоть свою же,
всей силою любви боль заглушает он
и, глядя, как бежит горячий ток багряный,
средь пира падает, шатается как пьяный,
блаженством, ужасом и нежностью пронзен.
Но иногда среди высокой этой казни,
наскуча смертию столь длительной, в боязни,
что сытые птенцы его оставят жить,
он поднимается, чтоб крылья распустить,
и, яростно себя по сердцу ударяя,
с такою дикою унылостью кричит,
что в трепете со скал взмывает птичья стая,
и путник, в поздний час по берегу блуждая,
почуя смерть вблизи, молитву вслух твердит.
Поэт, так делают великие поэты.
На время любо им, чтоб веселился мир;
но песнопенья их, парнасские банкеты,
похожи иногда на пеликаний пир.

Когда они твердят о ложном упованье,
поют забвение, любовь или печаль,
душа от песен их раскроется едва ль.
Как шпага быстрая, их звонкое взыванье
кольцеобразное сияние чертит,
но капля крови там дрожащая блестит.

Поэт

О Муза, многого не требуй,
о жадный призрак, полно звать!
Когда клубятся вихри к небу,
кто станет на песке писать!
Как птица, молодость, бывало,
у самых губ моих витала,
запеть готова каждый миг.
Но столько выстрадал я в мире,
что если первые четыре
стиха сложил бы я на лире,
она б сломалась, как тростник.

ДЕКАБРЬСКАЯ НОЧЬ

(*Из Мюссе*)

Однажды, в детстве, после школы,
я в нашей зале невеселой
один читал на склоне дня;
вошел и сел со мною рядом
ребенок в черном, с кротким взглядом,
как брат похожий на меня.

Склонясь, печальный и прекрасный,
к свече, пылающей неясно,
он в книгу стал глядеть со мной;
к моей руке челом прижался
и до рассвета так остался —
в мечтах, с улыбкою немой.

В мое пятнадцатое лето
по вереску в дубраве где-то
однажды брел я наугад;

прошел и сел в тени древесной
весь в черном юноша безвестный,
похожий на меня как брат.

Я у него спросил дорогу;
держал он лютню и немного
шиповника в пучок связал;
с очаровательным приветом,
слегка оборотясь, букетом
на ближний холм он показал.

Во дни слепой сердечной жажды
я у огня рыдал однажды,
измену первую кляня;
поближе к трепетному свету
сел кто-то, в черное одетый,
как брат похожий на меня.

Дышал он сумрачной тоскою;
он твердь указывал рукою,
в другой руке блестел кинжал,
он знал мои глухие думы,
но испустил лишь вздох угрюмый
и, как видение, пропал.

Во дни, когда, гуляка вольный,
подняв бокал, под гул застольный,
любому тосту был я рад, —
одетый в черное, нежданно,
сел рядом собутыльник странный,
похожий на меня как брат...

Он плащ стряхнул, на тощем теле
лохмотья пурпура висели,
и был он в миртовом венке, —
симво́л бесплодья; он склонился;
мы чокнулись; бокал разбился
в моей трепещущей руке.

А год спустя, порой ночною,
лежал недвижно предо мною
отец мой, вечностью объят;
у ложа смертного покорно
сел сирота в одежде черной,
похожий на меня как брат.

Глядел он влажными очами,
увит терновыми шипами,
как ангел, нежен и уныл;
и лютня на земле лежала,
и в грудь вошел клинок кинжала,
и пурпур цвета крови был.

Его запомнил я так ясно,
что после в жизни я всечасно,
повсюду — узнавал его;
поистине то — призрак странный,
друг пасмурный и безымянный,
не демон и не божество.

Когда же, не стерпев страданья,
задумав дальние скитанья,
чтоб смерть найти иль вновь расцвесть,
я вышел из родного края,
нетерпеливо настигая
надежды призрачную весть, —

на склонах Пизы, в Апеннинах,
на Рейне, в Кельне, и в долинах
пологих Ниццы, и в тиши
дворцов Флоренции священной;
в шалэ, стареющих смиренно
в альпийской горестной глуши,

и в Генуе, в садах лимонных,
в Вевэ, меж яблоней зеленых,
и в атлантическом порту,
и в Лидо, на траве могильной,
где Адриатика бессильно
лобзает хладную плиту, —

повсюду, где, среди простора,
оставил сердце я и взоры,
терзаясь раной роковой;
повсюду, где хандра хромая,
на посмеянье выставляя,
меня тащила за собой;

повсюду, где, тоской суровой
тоскуя по отчизне новой,
я шел за тенью снов моих;

повсюду, где, пожив так мало,
я видел все, что сердце знало, —
все ту же ложь личин людских;

повсюду, где в пустыне пыльной
я, словно женщина, бессильно
рыдал, закрывшись рукавом;
повсюду, где в лесу тернистом
душа цеплялась шелковистым,
легко теряемым руном;

повсюду, где дремá долила,
повсюду, где звала могила,
повсюду, где коснулся я
земли, — садился при дороге,
весь в черном, человек убогий,
как брат похожий на меня.

Откройся мне, ты, знающий все дали,
все колеи моих дорог!
Так скорбен ты, что я могу едва ли
в тебе признать мой злобный рок.
В твоей улыбке кротости так много,
так сердобольно слезы льешь...
Когда ты здесь, любовно чую Бога;
твоей тоске близка моя тревога;
на образ дружбы ты похож.

Но кто же ты? Не ангел, Богом данный.
Руководитель душ людских.
Вот мучусь я, но ты — и это странно! —
молчишь при виде слез моих.
Я двадцать лет знаком с твоею властью,
неведомое существо.
Меня жалеешь, но твое участье
не греет; улыбаешься, но счастья
не разделяешь моего.

Сегодня вновь явился ты ко сроку;
лилась ночная темнота;
крылом в окно бил ветер одиноко;
моя печаль была пуста:
но там остался отпечаток томный,
еще лобзанья жар тая;

и думал я о страсти вероломной,
и медленно, подобно ткани темной,
рвалась на части жизнь моя.

Собрал я письма, прядь волос — обломки
любви недавней, — все собрал;
и голос прошлого, не в меру громкий,
пустые клятвы повторял.
Прелестный прах, не смея с ним расстаться,
я гладил, трепетен и тих.
Плачь, сердце, плачь! Слезами напитаться
поторопись! Ведь завтра, может статься,
ты не узнаешь слез своих.

Я завернул остатки счастья эти
в обрывок бурого сукна.
Среди недолговечного на свете,
пожалуй, прядь волос вечна.
Как бы в подводный сумрак погруженный,
я глубь забвения пытал;
мой лот терялся в этой тьме бездонной;
я над моей любовью погребенной,
над бледным счастием рыдал.

И вот уже сургуч я выбрал черный,
чтоб запечатать нежный клад,
еще не веря, в скорби непокорной,
что я отдам его назад.
Ты, слабая, надменная, слепая,
былого не сорвешь с себя!
О Господи, зачем же ложь такая?
Как страстно задыхалась ты, рыдая,
зачем рыдала — не любя?

Да, ты грустишь, томишься, но меж нами —
преграда прихоти твоей.
Ну что ж, — прощай! Ты будешь со слезами
считать часы пустых ночей.
Уйди, уйди! В холодный сон гордыни
твоя душа погружена...
Моя же не стареет и не стынет,
и кроме горя, узнанного ныне,
немало мук вместит она.

Уйди, уйди! Не все от полновластной
природы получила ты.
Увы, дитя, ты хочешь быть прекрасной, —
что красота без доброты?
Пускай судьба тебя уносит мимо,
моей души ты не взяла...
Развей золу любви неповторимой...
Как я любил, и как непостижимо,
что ты любила и ушла!

Но вдруг в ночи как будто тень мелькнула,
затрепетала по стене,
по занавеске медленно скользнула
и села на постель ко мне.
О, кто ты, образ бледный и печальный,
одетый в черное двойник?
Чего ты ищешь здесь, паломник дальний?
Иль это сон, иль в глубине зеркальной
я отражением возник?

О, кто ты, спутник юности обманной,
упорный, призрачный ходок?
Зачем тебя я вижу постоянно
средь мрака, где мой путь пролег?
О, соглядатай скорби и заботы!
За что ты, горестная тень,
осуждена считать все повороты
моей стези? О, кто ты, брат мой, кто ты,
являющийся в черный день?

Видение отвечает:

Друг, мы — дети единого лона.
Я не ангел, к тебе благосклонный,
и не злая судьбина людей.
Я иду за любимыми следом,
но — увы — мне их выбор неведом,
мне чужда суета их путей.

Я не бог и не демон крылатый;
но ты дал мне название брата,
и название это верней.

Где ты будешь, там буду я рядом
до последнего дня — когда сяду
я на камень могилы твоей.

Небо сердце твое мне вручило.
Я хочу, чтоб ко мне приходила
без боязни кручина твоя.
Я с тобой не расстанусь. Но помни,
прикоснуться к тебе не дано мне:
о мой друг, одиночество я.

ПЬЯНЫЙ КОРАБЛЬ

(*Из Рембо*)

В стране бесстрастных рек спускаясь по теченью,
хватился я моих усердных бурлаков:
индейцы ярые избрали их мишенью,
нагими их сковав у радужных столбов.

Есть много кораблей, фламандский хлеб везущих
и хлопок а́нглийский, — но к ним я охладел.
Когда прикончили тех пленников орущих,
открыли реки мне свободнейший удел.

И я, — который был, зимой недавней, глуше
младенческих мозгов, — бежал на зов морской,
и полуостровам, оторванным от суши,
не знать таких боев и удали такой.

Был штормом освящен мой водный первопуток.
Средь волн, без устали влачащих жертв своих,
протанцовал и я, как пробка, десять суток,
не помня глупых глаз огней береговых.

Вкусней, чем мальчику плоть яблока сырая,
вошла в еловый трюм зеленая вода,
меня от пятен вин и рвоты очищая
и унося мой руль и якорь навсегда.

И вольно с этих пор купался я в поэме
кишащих звездами лучисто-млечных вод,
где, очарованный и безучастный, время
от времени ко дну утопленник идет,

где, в пламенные дни, лазурь сквозную влаги
окрашивая вдруг, кружатся в забытьи, —
просторней ваших лир, разымчивее браги, —
туманы рыжие и горькие любви.

Я знаю небеса в сполохах, и глубины,
и водоверть, и смерч; покой по вечерам;
рассвет восторженный, как вылет голубиный;
и видел я подчас, что мнится морякам;

я видел низких зорь пятнистые пожары,
в лиловых сгустках туч мистический провал;
как привидения из драмы очень старой,
волнуясь чередой, за валом веял вал;

я видел снежный свет ночей зеленооких,
лобзанья долгие медлительных морей,
и ваш круговорот, неслыханные соки,
и твой цветной огонь, о фосфор-чародей!

По целым месяцам внимал я истерии
скотоподобных волн при взятии скалы,
не думая о том, что светлые Марии
могли бы обуздать бодливые валы.

Уж я ль не приставал к немыслимой Флориде, —
где смешаны цветы с глазами, с пестротой
пантер и тел людских и с радугами, в виде
натянутых вожжей над зеленью морской!

Брожение болот я видел, — словно мрежи,
где в тине целиком гниет левиафан;
штиль и крушенье волн, когда всю даль прорежет
и опрокинется над бездной ураган.

Серебряные льды, и перламутр, и пламя;
коричневую мель у берегов гнилых,
где змеи тяжкие, едомые клопами,
с деревьев падают смолистых и кривых.

Я б детям показал огнистые созданья
морские, — золотых, певучих этих рыб.
Прелестной пеною цвели мои блужданья,
мне ветер придавал волшебных крыл изгиб.

Меж полюсов и зон устав бродить без цели,
порой качался я нежнее. Подходил

рой теневых цветов, присоски их желтели,
и я как женщина молящаяся был, —

пока, на палубе колыша нечистоты,
золотоглазых птиц, их клики, кутерьму,
я плыл, и сквозь меня, сквозь хрупкие пролеты,
дремотно пятился утопленник во тьму.

Но я, затерянный в кудрях травы летейской,
я, бурей брошенный в эфир глухонемой,
шатун, чьей скорлупы ни парусник ганзейский,
ни зоркий Монитор не сыщет под водой, —

я, вольный и живой, дымно-лиловым мраком
пробивший небеса, кирпичную их высь,
где б высмотрел поэт все, до чего он лаком, —
лазури лишаи и солнечную слизь, —

я, дикою доской в трескучих пятнах ярких
бежавший средь морских изогнутых коньков,
когда дубинами крушило солнце арки
ультрамариновых июльских облаков, —

я, трепетавший так, когда был слышен топот
Мальстромов вдалеке и Бегемотов бег,
паломник в синеве недвижной, — о, Европа,
твой древний парапет запомнил я навек!

Я видел звездные архипелаги! Земли,
приветные пловцу, и небеса, как бред.
Не там ли, в глубине, в изгнании ты дремлешь,
о стая райских птиц, о мощь грядущих лет?

Но право ж, нету слез... Так безнадежны зори,
так солнце солоно, так тягостна луна...
Любовью горькою меня раздуло море...
Пусть лопнет остов мой! Бери меня, волна!

Из европейских вод мне сладостна была бы
та лужа черная, где детская рука,
средь грустных сумерек, челнок пускает слабый,
напоминающий сквозного мотылька.

О волны, не могу, исполненный истомы,
пересекать волну купеческих судов,
победно проходить среди знамен и грома
и проплывать вблизи ужасных глаз мостов.

И опять изволь
искать, придумывать ч
семьдесять. И
ровичъ. Пожа
оградъ съ апе
петитно. Ош
евять. Я п
ъ. Все рав
ать ващ
ивенск
ибка
ва

...ржанинъ,
...мъ плѣну?

...чуду:
...взоръ! Душа покорна ...
...ла свѣтлая, тобою живъ ...варетъ.
...каждаго, въ всѣхъ, горя тоскою, буду
...проба вѣровать въ великій Новый Годъ...

Илья Британъ.

ЧЕЛОВѢКЪ ИЗЪ СССР.

Драма въ пяти дѣйствіяхъ.

Дѣйствіе I.

Кабачокъ-подвалъ. Въ глубинѣ — узкое продольное окно, полоса стекла, почти во всю длину помѣщенія. Такъ какъ это окно находится на уровнѣ троттуара, то видны ноги прохожихъ. Слѣва — дверь, завѣшанная синимъ сукномъ, ея порогъ на уровнѣ нижняго края окна, и посѣтитель сходитъ въ подвалъ по шести синимъ ступенькамъ. Справа отъ окна — наискось идущая стойка, за ней — по правой стѣнѣ — полки съ бутылками, и поближе къ авансценѣ — низкая дверь, ведущая въ погребъ. Хозяинъ видимо постарался придать кабачку русскій жанръ, который выражается въ синихъ бабахъ и павлинахъ, намалеванныхъ на задней стѣнѣ, надъ полосой окна, но дальше этого его фантазія не пошла. Время — около девяти часовъ весенняго вечера. Въ кабачкѣ еще не началась жизнь, — столы и стулья стоятъ какъ попало. Федоръ Федоровичъ, офиціантъ, наклонившись надъ стойкой, размѣщаетъ въ двухъ корзинахъ фрукты. Въ кабачкѣ по-вечернему тускловато, — и отъ этого ярко Федоръ Федоровича и его бѣлый китель кажутся особенно свѣтлыми. Ему лѣтъ двадцать пять, свѣтлые волосы очень гладко прилизаны, профиль — острый, движенья не лишены какой-то молодцеватой небрежности. Викторъ Ивановичъ Ошивенскій, хозяинъ кабачка, пухлоголый, тяжеловатый, опрятнаго вида, старикъ съ сѣдой бородкой и въ пенсне, прибиваетъ къ задней стѣнѣ справо отъ окна большущій бѣлый листъ, на которомъ можно разобрать надпись: «Цыганскій Хоръ». Справа ...окна слѣва направо, справа на... ...ноги. На желтоватомъ фонѣ ...выдѣляются съ плоской четкостью ...вырѣзанныя изъ черного картона. Ошивенскій нѣкоторое время приколачиваетъ ...тѣмъ судорожно роняетъ молотокъ.

Ошивенскій: — Чортъ!.. Прямо по но...

Федоръ Федор. — Что-же это вы такъ... Здо... осторожно. Викторъ Ивановичъ. Ноготь... должно быть, больно?

Ош. — Еще-бы: не больно... А на... вѣрно сойдетъ.

Ф. Ф. — Давайте, я прибью. Правда? Нужно... но довольно красиво, правда? Не бу... мѣтить, что я очень старался.

...эти п... а мечта.

Ош. — Въ концѣ концовъ, эти п... только лишній расходъ. Публика п... бавится. Не сегодня-завтра мой ка... ко... — какъ вы думаете, можетъ ... холодной водѣ подержать?

Ф. Ф. — Да, помогаетъ. Ну вотъ ... мѣстѣ. На самомъ видномъ ... эффектно.

Ош. — ...не сегодня-завтра м... ко лопнетъ. И опять изволь... этому проклятому Берлину, по... мывать что-то... А мнѣ какъ... семьдесятъ. И усталъ же я... устать...

Ф. Ф. — Пожалуй крас... ли такъ: бѣлый виноградъ... а черный съ бананами. ...титно.

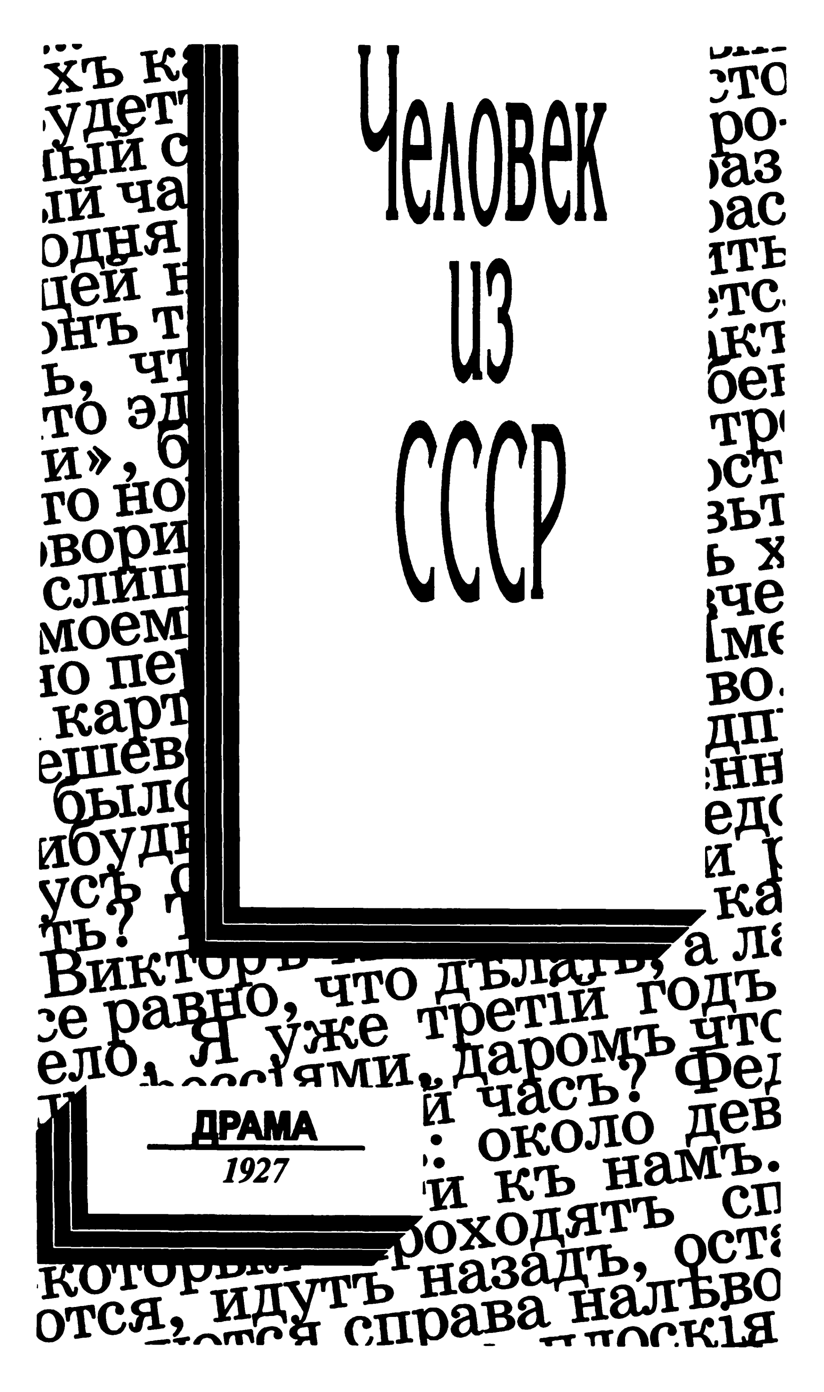
Ош. — Который часъ?

Ф. Ф. — Девять. Я ... годня иначе столики р... но, когда на будущей ... пѣвать ваши цыгане, ... мѣсто очистить.

Ош. — Я начинаю... просется ошибка. М... дакій почной ... «Бродячей Собак... ю привлекательн... меньшають по...

Ош
Да я же в
начнутъ собирать
появились
Коро
Федор
итан
лаж
мъ С
ибу
уск
ед
ы,
о
ТТ
Т
Л
L

ЭТ
Л
Б
бр
Ко
а
аси
ъ жо
ч


Человек
из
СССР
ДРАМА
1927

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Кабачок-подвал. В глубине — узкое продольное окно, полоса стекла, почти во всю длину помещения. Так как это окно находится на уровне тротуара, то видны ноги прохожих. Слева — дверь, завешенная синим сукном, ее порог на уровне нижнего края окна, и посетитель сходит в подвал по шести синим ступенькам. Справа от окна — наискось идущая стойка, за ней — по правой стене — полки с бутылками, и поближе к авансцене — низкая дверь, ведущая в погреб. Хозяин, видимо, постарался придать кабачку русский жанр, который выражается в синих бабах и павлинах, намалеванных на задней стене, над полосой окна, но дальше этого его фантазия не пошла. Время — около девяти часов весеннего вечера. В кабачке еще не началась жизнь — столы и стулья стоят как попало. Федор Федорович, официант, наклонившись над стойкой, размещает в двух корзинах фрукты. В кабачке по-вечернему тускловато, — и от этого лицо Федор Федоровича и его белый китель кажутся особенно бледными. Ему лет двадцать пять, светлые волосы очень гладко прилизаны, профиль — острый, движенья не лишены какой-то молодцеватой небрежности. Виктор Иванович Ошивенский, хозяин кабачка, пухловатый, тяжеловатый, опрятного вида старик с седой бородкой и в пенснэ, прибивает к задней стене справа от окна большущий белый лист, на котором можно различить надпись «Цыганский Хор». Изредка в полосе окна слева направо, справа налево проходят ноги. На желтоватом фоне вечера они выделяются с плоской четкостью, словно вырезанные из черного картона.

Ошивенский некоторое время прибивает, затем судорожно роняет молоток.

О ш и в е н с к и й. Чорт!.. Прямо по ногтю...

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Что же это вы так неосторожно, Виктор Иванович. Здорово, должно быть, больно?

О ш и в е н с к и й. Еще бы не больно... Ноготь, наверно, сойдет.

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Давайте я прибью. А написано довольно красиво, правда? Нужно заметить, что я очень старался. Не буквы, а мечта.

Ошивенский. В конце концов, эти цыгане только лишний расход. Публики не прибавится. Не сегодня завтра мой кабачишко... — как вы думаете, может быть, в холодной воде подержать?

Федор Федорович. Да, помогает. Ну вот, готово! На самом видном месте. Довольно эффектно.

Ошивенский. ...не сегодня завтра мой кабачишко лопнет. И опять изволь рыскать по этому проклятому Берлину, искать, придумывать что-то... А мне как-никак под семьдесят. И устал же я, ох как устал...

Федор Федорович. Пожалуй, красивей будет, если так: белый виноград с апельсинами, а черный с бананами. Просто и аппетитно.

Ошивенский. Который час?

Федор Федорович. Девять. Я предложил бы сегодня иначе столики расставить. Все равно, когда на будущей неделе начнут распевать ваши цыгане, придется вон там место очистить.

Ошивенский. Я начинаю думать, что в затее кроется ошибка. Мне сперва казалось, что эдакий ночной кабак, подвал вроде «Бродячей Собаки», будет чем-то особенно привлекательным. Вот то, что ноги мелькают по тротуару, и известная — как это говорится? — ну, интимность, и так далее. Вы все-таки не слишком тесно ставьте.

Федор Федорович. Нет, по-моему, так выходит хорошо. А вот эту скатерть нужно переменить. Вино вчера пролили. Прямо — географическая карта.

Ошивенский. Именно. И стирка обходится тоже недешево, весьма недешево. Я вот и говорю: пожалуй, лучше было соорудить не подвал, — а просто кафе, ресторанчик, что-нибудь очень обыкновенное. Вы, Федор Федорович, в ус себе не дуете.

Федор Федорович. А зачем мне дуть? Только сквозняки распускать. Вы не беспокойтесь, Виктор Иванович, как-нибудь вылезем. Мне лично все равно, что делать, а лакеем быть, по-моему, даже весело. Я уже третий год наслаждаюсь самыми низкими профессиями, — даром что капитан артиллерии.

Ошивенский. Который час?

Федор Федорович. Да я же вам уже сказал: около девяти. Скоро начнут собираться. Вот эти ноги к нам.

В полосе окна появились ноги, которые проходят сперва слева направо, останавливаются, идут назад, останавливаются опять, затем направляются справа налево. Это ноги Кузнецова, но в силуэтном виде, то есть плоские, черные, словно вырезанные из черного картона. Только их очертанья напоминают настоящие его ноги, которые (в серых штанах и плотных желтых башмаках) появятся на сцене вместе с их обладателем через две-три реплики.

Ошивенский. А в один прекрасный день и вовсе не соберутся. Знаете что, батюшка, спустите штору, включите свет. Да... В один прекрасный день... Мне рассказывал мой коллега по кабацким делам, этот, как его... Майер: все шло хорошо, ресторан работал отлично, — и вдруг нате вам: никого... Десять часов, одиннадцать, полночь — никого... Случайность, конечно.

Федор Федорович. Я говорил, что эти ноги к нам.

Синее сукно на двери запузырилось.

Ошивенский. Но случайность удивительная. Так никто и не пришел.

Раздвинув сукно, появляется Кузнецов и останавливается на верхней ступеньке. Он в сером дорожном костюме, без шапки, желтый макинтош перекинут через руку. Это человек среднего роста с бритым невзрачным лицом, с прищуренными близорукими глазами. Волосы темные, слегка поредевшие на висках, галстук в горошинку бантиком. С первого взгляда никак не определишь, иностранец ли он или русский.

Федор Федорович *(бодро)*. Гутенабенд[1]. *(Он включает свет, спускает синие шторы. Проходящих ног уже не видно.)*

Ошивенский *(низко и протяжно)*. Гутенабенд.

Кузнецов *(осторожно сходит в подвал)*. Здравствуйте. Скверно, что прямо от двери вниз — ступени.

Ошивенский. Виноват?

Кузнецов. Коварная штука, — особенно если посетитель уже нетрезв. Загремит. Вы бы устроили как-нибудь иначе.

Ошивенский. Да, знаете, ничего не поделаешь, — подвал. А если тут помост приладить...

[1] Добрый вечер *(нем.)*.

Кузнецов. Мне сказали, что у вас в официантах служит барон Таубендорф. Я бы хотел его видеть.

Ошивенский. Совершенно справедливо: он у меня уже две недели. Вы, может быть, присядете, — он должен прийти с минуты на минуту. Федор Федорович, который час?

Кузнецов. Я не склонен ждать. Вы лучше скажите мне, где он живет.

Федор Федорович. Барон приходит ровно в девять. К открытию сезона, так сказать. Он сию минутку будет здесь. Присядьте, пожалуйста. Извините, тут на стуле коробочка... гвозди...

Кузнецов *(сел, коробка упала)*. Не заметил.

Федор Федорович. Не беспокойтесь... подберу... *(Упал на одно колено перед Кузнецовым, подбирает рассыпанные гвозди.)*

Ошивенский. Некоторые как раз находят известную прелесть в том, что спускаешься сюда по ступенькам.

Кузнецов. Вся эта бутафория ни к чему. Как у вас идет дело? Вероятно, плохо?

Ошивенский. Да, знаете, так себе... Русских мало, — богатых то есть, бедняков, конечно, уйма. А у немцев свои кабачки, свои привычки. Так, перебиваемся, каля-маля. Мне казалось сперва, что идея подвала...

Кузнецов. Да, сейчас в нем пустовато. Сколько он вам стоит?

Ошивенский. Дороговато. Прямо скажу — дороговато. Мне сдают его. Ну — знаете, как сдают: если б там подвал мне нужен был под склад — то одна цена, а так — другая. А к этому еще прибавьте...

Кузнецов. Я у вас спрашиваю точную цифру.

Ошивенский. Сто двадцать марок. И еще налог, — да какой...

Федор Федорович *(он заглядывает под штору)*. А вот и барон!

Кузнецов. Где?

Федор Федорович. По ногам можно узнать. Удивительная вещь — ноги.

Ошивенский. И с вином не повезло. Мне навязали партию — будто по случаю. Оказывается...

Входит Таубендорф. Он в шляпе, без пальто, худой, с подстриженными усами, в очень потрепанном, но еще изящном смокинге. Он остановился на первой ступени, потом стремительно сбегает вниз.

Кузнецов *(встал)*. Здорово, Коля!

Таубендорф. Фу ты, как хорошо! Сколько зим, сколько лет! Больше зим, чем лет...

Кузнецов. Нет, всего только восемь месяцев. Здравствуй, душа, здравствуй.

Таубендорф. Постой же... Дай-ка на тебя посмотреть... Виктор Иванович, прошу жаловать: это мой большой друг.

Ошивенский. Айда в погреб, Федор Федорович.

Ошивенский и Федор Федорович уходят в дверь направо.

Таубендорф *(смеется)*. Мой шеф глуховат. Но он — золотой человек. Ну, Алеша, скорей — пока мы одни — рассказывай!

Кузнецов. Это неприятно: отчего ты волнуешься?

Таубендорф. Ну, рассказывай же!.. Ты надолго приехал?

Кузнецов. Погодя. Я только с вокзала и раньше всего хочу знать...

Таубендорф. Нет, это удивительно! Ты чорт знает что видел, что делал, — чорт знает какая была опасность... и вот опять появляешься — и как ни в чем не бывало!.. Тихоня...

Кузнецов *(садится)*. Ты бы, вероятно, хотел меня видеть с опереточной саблей, с золотыми бранденбургами? Не в этом дело. Где живет теперь моя жена?

Таубендорф *(стоит перед ним)*. Гегельштрассе, пятьдесят три, пансион Браун.

Кузнецов. А-ха. Я с вокзала катнул туда, где она жила в мой последний приезд. Там не знали ее адреса. Здорова?

Таубендорф. Да, вполне.

Кузнецов. Я ей дважды писал. Раз из Москвы и раз из Саратова. Получила?

Таубендорф. Так точно. Ей пересылала городская почта.

Кузнецов. А как у нее с деньгами? Я тебе что-нибудь должен?

Таубендорф. Нет, у нее хватило. Живет она очень скромно. Алеша, я больше не могу, — расскажи мне, как обстоит дело?

Кузнецов. Значит, так: адрес, здоровье, деньги... Что еще? Да. Любовника она не завела?

Таубендорф. Конечно, нет.

Кузнецов. Жаль.

Таубендорф. И вообще — это возмутительный вопрос. Она такая прелесть — твоя жена. Я никогда не пойму, как ты мог с ней разойтись...

Кузнецов. Пошевели мозгами, мое счастье, — и поймешь. Еще один вопрос: почему у тебя глаза подкрашены?

Таубендорф *(смеется)*. Ах, это грим. Он очень туго сходит.

Кузнецов. Да чем ты сегодня занимался?

Таубендорф. Статистикой.

Кузнецов. Не понимаю?

Таубендорф. По вечерам я здесь лакей, — а днем я статист на съемках. Сейчас снимают дурацкую картину из русской жизни.

Кузнецов. Теперь перейдем к делу. Все обстоит отлично. Товарищ Громов, которого я, кстати сказать, завтра увижу в полпредстве, намекает мне на повышение по службе — что, конечно, очень приятно. Но по-прежнему мало у меня монеты. Необходимо это поправить: я должен здесь встретиться с целым рядом лиц. Теперь слушай: послезавтра из Лондона приезжает сюда Вернер. Ты ему передашь вот это... и вот это... *(Дает два письма.)*

Таубендорф. Алеша, а помнишь, что ты мне обещал последний раз?

Кузнецов. Помню. Но этого пока не нужно.

Таубендорф. Но я только пешка. Мое дело сводится к таким пустякам. Я ничего не знаю. Ты мне ничего не хочешь рассказать. Я не желаю быть пешкой. Я не желаю заниматься передаваньем писем. Ты обещал мне, Алеша, что возьмешь меня с собой в Россию...

Кузнецов. Дурак. Значит, ты это передашь Вернеру и, кроме того, ему скажешь...

Ошивенский и Федор Федорович возвращаются с бутылками.

Таубендорф. Алеша, они идут обратно...

Кузнецов. ...что цены на гвозди устойчивы... Ты же будь у меня завтра в восемь часов. Я остановился в гостинице «Элизиум».

Таубендорф. Завтра что — вторник? Да — у меня как раз завтра выходной вечер.

Кузнецов. Отлично. Поговорим — а потом поищем каких-нибудь дамочек.

Ошивенский. Барон, вы бы тут помогли. Скоро начнут собираться. *(Кузнецову.)* Можно вам предложить коньяку?

Кузнецов. Благодарствуйте, не откажусь. Как отсюда пройти на улицу Гегеля?

Ошивенский. Близехонько: отсюда направо — и третий поворот: это она самая и есть.

Федор Федорович *(разливая коньяк).* Гегельянская.

Таубендорф. Да вы, Виктор Иванович, знакомы с женой господина Кузнецова.

Кузнецов. Позвольте представиться.

Ошивенский. Ошивенский. *(Пожатие рук.)* Ах! Простите, это я нынче молотком тяпнул по пальцу.

Кузнецов. Вы что — левша?

Ошивенский. Как же, как же, знаком. На Пасхе познакомились. Моя жена, Евгения Васильевна, с вашей супругой в большой дружбе.

Таубендорф. Послушай, как ты угадал, что Виктор Иванович левша?

Кузнецов. В какой руке держишь гвоздь? Умная головушка.

Ошивенский. Вы, кажется, были в отъезде?

Кузнецов. Да, был в отъезде.

Ошивенский. В Варшаве, кажется? Ольга Павловна что-то говорила...

Кузнецов. Побывал и в Варшаве. За ваше здоровье.

Входит Марианна. Она в светло-сером платье-таер, стриженая. По ногам и губам можно в ней сразу признать русскую. Походка с развальцем.

Таубендорф. Здравия желаю, Марианна Сергеевна.

Марианна. Вы ужасный свинтус, барон! Что это вы меня не подождали? Мозер меня привез обратно на автомобиле, — и для вас было бы место.

Таубендорф. Я, Марианночка, одурел от съемки, от юпитеров, от гвалта. И проголодался.

Марианна. Могли меня предупредить. Я вас там искала.

Таубендорф. Я прошу прощения. Мелкий статист просит прощения у фильмовой дивы.

Марианна. Нет, я очень на вас обижена. И не думайте, пожалуйста, что я зашла сюда только для того, чтобы вам это сказать. Мне нужно позвонить по телефону. Гутенабенд, Виктор Иванович.

Ошивенский. Пора вам перестать хорошеть, Марианна Сергеевна: это может принять размеры чудовищные. Господин Кузнецов, вот эта знаменитая актрисочка живет в том же скромном пансионе, как и ваша супруга.

Марианна. Здравствуйте. *(Кивает Кузнецову.)* Виктор Иванович, можно поговорить по телефону?

Ошивенский. Сколько вашей душе угодно.

Марианна подходит к двери направо, возле которой телефон.

Федор Федорович. А со мной никто не хочет поздороваться.

Марианна. Ах, простите, Федор Федорович. Кстати, покажите мне, как тут нужно соединить.

Федор Федорович. Сперва нажмите сосочек: вот эту красную кнопочку.

Кузнецов *(Таубендорфу)*. Коля, вот что называется: богатый бабец. Или еще так говорят: недурная канашка. *(Смеется.)* Артистка?

Таубендорф. Да, мы с ней участвуем в фильме. Только я играю толпу и получаю десять марок, а она играет соперницу и получает пятьдесят.

Марианна *(у телефона)*. Битте, драй унд драйсих, айнс нуль[1].

[1] Пожалуйста, тридцать три, один ноль *(нем.)*.

Кузнецов. Это, конечно, не главная роль?

Таубендорф. Нет. Соперница всегда получает меньше, чем сама героиня.

Кузнецов. Фамилия?

Таубендорф. Таль. Марианна Сергеевна Таль.

Кузнецов. Удобно, что она живет в том же пансионе. Она меня и проводит.

Марианна *(у телефона)*. Битте: фрейляйн Рубанская. Ах, это ты, Люля. Я не узнала твой голос. Отчего ты не была на съемке?

Федор Федорович. Пожалуй, уж можно дать полный свет, Виктор Иванович. Скоро десять.

Ошивенский. Как хотите... У меня такое чувство, что сегодня никто не придет.

Федор Федорович включает полный свет.

Марианна *(у телефона)*. Глупости. Откуда ты это взяла? Последняя съемка через неделю, они страшно торопят. Да.

Таубендорф. Алеша, прости, но я хочу тебя спросить: неужели ты все-таки — ну хоть чуть-чуть — не торопишься видеть жену?

Марианна *(у телефона)*. Ах, он так пристает... Что ты говоришь? Нет, — конечно, нет. Я не могу сказать, — я тут не одна. Спроси что-нибудь, — я отвечу. Ах, какая ты глупая, — ну конечно, нет. Да, он обыкновенно сам правит, но сегодня — нет. Что ты говоришь?

Кузнецов. А тебе, собственно, какое дело, тороплюсь ли я или нет? Она замужем?

Таубендорф. Кто?

Кузнецов. Да вот эта...

Таубендорф. Ах, эта... Да, кажется. Впрочем, она живет одна.

Марианна *(у телефона)*. Какая гадость! Неужели он это сказал? *(Смеется)* Что? Ты должна кончать? Кто тебе там мешает говорить? Ах, понимаю, понимаю... *(Певуче.)* Ауфвидерзээйн [1].

Кузнецов *(Марианне)*. А вы говорили недолго. Я думал — будет дольше.

---

[1] До свидания *(нем.)*.

Ошивенский *(Марианне)*. Двадцать копеечек в час. Спасибо. Это мой первый заработок сегодня.

Марианна *(Кузнецову)*. Почему же вы думали, что выйдет дольше?

Кузнецов. Хотите выпить что-нибудь?

Марианна. Вы что — принимаете меня за барышню при баре?

Федор Федорович. Барбарышня.

Кузнецов. Не хотите — не надо. *(Таубендорфу.)* Коля, значит, — до завтра. Не опаздывай.

Марианна *(Кузнецову)*. Погодите. Сядемте за тот столик. Так и быть.

Федор Федорович. Огромный зал не вмещал грандиозного наплыва публики.

Ошивенский. Знаете что, Федор Федорович, потушите, голубчик, большой свет. Только лишний расход. *(Он садится в плетеное кресло у стойки и без интереса просматривает газету. Потом задумывается, раза два зевает.)*

Таубендорф *(подходит к столику на авансцене, у которого сели Марианна и Кузнецов)*. Что прикажете? Вина, ликеру?

Кузнецов. Все равно. Ну, скажем, шерри-бренди.

Марианна. Странно: мне Ольга Павловна никогда ничего не рассказывала про вас.

Кузнецов. И хорошо делала. Вы завтра вечером свободны?

Марианна. А вам это очень интересно знать?

Кузнецов. В таком случае я вас встречу ровно в десять часов, в холле гостиницы «Элизиум». И Люлю притащите. Я буду с Таубендорфом.

Марианна. Вы с ума сошли.

Кузнецов. И мы вчетвером поедем в какое-нибудь резвое место.

Марианна. Нет, вы совершенно невероятный человек. Можно подумать, что вы меня и мою подругу знаете уже сто лет. Мне не нужно пить ликер. А я ужасно устала. Эти съемки... Моя роль — самая ответственная во всем фильме. Роль коммунистки. Адски трудная роль. Вы что, — давно в Берлине?

Кузнецов. Около двух часов.

Марианна. И вот представьте себе, — я должна была сегодня восемнадцать раз, восемнадцать раз подряд проделать одну и ту же сцену. Это была, конечно, не моя вина. Виновата Пиа Мора. Она, конечно, очень знаменитая, — но, между нами говоря, — если она играет героиню, то только потому, что... ну, одним словом, потому что она в хороших отношениях с Мозером. Я видела, как она злилась, что у меня выходит лучше...

Кузнецов *(Таубендорфу, через плечо).* Коля, мы завтра все вместе едем кутить. Ладно?

Таубендорф. Как хочешь, Алеша. Я всегда готов.

Кузнецов. Вот и хорошо. А теперь...

Марианна. Барон, найдите мою сумку, — я ее где-то у телефона посеяла.

Таубендорф. Слушаюсь.

Кузнецов. А теперь я хочу вам сказать: вы мне очень нравитесь, — особенно ваши ноги.

Таубендорф *(возвращается с сумкой).* Пожалуйте.

Марианна. Спасибо, милый барон. Пора идти. Здесь слишком романтическая атмосфера. Этот полусвет...

Кузнецов *(встает).* Я всегда любил полусвет. Пойдемте. Вы должны мне показать дорогу в пансион Браун.

Федор Федорович. А ваша шляпа, господин Кузнецов?

Кузнецов. Не употребляю. Эге, хозяин задрыхал. Не стану будить его. До свидания, Федор Федорович, — так вас, кажется, величать? Коля, с меня сколько?

Таубендорф. Полторы марки. Чаевые включены. До завтра, Марианночка, до завтра, Алеша. В половине девятого.

Кузнецов. А ты, солнце, не путай. Я сказал — в восемь.

Кузнецов и Марианна уходят.

Федор Федорович *(приподымает край оконной шторы, заглядывает).* Удивительная вещь — ноги.

Таубендорф. Тише, не разбудите старикана.

Федор Федорович. По-моему, можно совсем потушить. И снять этот плакат. Вот уж напрасно я постарался. Цы-ган-ский хор.

Таубендорф *(зевает).* Х-о-ор. Да, плохо дело. Никто, кажется, не придет. Давайте, что ли, в двадцать одно похлопаем...

Федор Федорович. Что ж — это можно...

Они садятся у того же столика, где сидели Кузнецов и Марианна, и начинают играть. Ошивенский спит. Темновато.

ЗАНАВЕС

Конец первого действия

1926

ЭССЕ. РЕЦЕНЗИИ

А. БУЛКИН. СТИХОТВОРЕНИЯ.
Париж. 1926

У этого поэта есть рифмы трех сортов:

1) рифмы, которые привели бы в умиление старого Тредьяковского:

Я знаю только эту землю и
как перейти высокую ограду,
освободить из заключенья дни.

За листьями сухими следом, и
при свете падающих звезд, приходят
элегии печальные стихи.

О тени тающей и о
надежде, вере и любви
словами счастья моего
пишу про радости твои.

2) рифмы, в которых чувствуется старинное пренебрежение к звуку «ё» и современное стремление к противоестественным ассонансам. Примеры: «железный» — «слезы», «сердце» — «спасется», «надоест» — «водоем». Последний пример особенно прелестен;

3) рифмы, которые подтверждают истину, что у некоторых поэтов есть непреодолимое влечение рифмовать дугу и колокольчик. Примеры: «перемен» — «котле» (я предложил бы «котлет» — «котле»), «дрова» — «жильцах», «землю» — «нельзя», «греха» — «воздуха», «нести» — «радости» и т. д.

Кроме удивительных рифм у автора имеются удивительные ударения: «пере́житый», «разли́чить», «забы́тие», — и такого рода курьезы: «как глубоки декабрьские (декаберьские?) ночи», «и жалко бодрствовать (бодрыствовать?) перестать».

Выписываю, наконец, и образы, которые меня больше всего озадачили: «один по ровному пути бегу в различных направленьях», «маячат рядом два лица: одно плывет, другое скачет», «тишайшая любовь направит сердце в деревни мыслей, в города идей» (обратить внимание на превосходную степень — дань Цеху), «меня стрижет моя Далила, доводит до потери сил».

Образ бедного Самсона, выходящего из роковой парикмахерской, принадлежит к разряду тех, которые углублять не следует: голова, остриженная под нулевой номер, голая, круглая, синеватая, едва ли производит поэтическое впечатление.

БЕНЕДИКТ ДУКЕЛЬСКИЙ. СОНЕТЫ

Мне приходилось видеть сонеты-сороконожки, состоящие из десяти строф: написанные гекзаметром; сонеты, лишенные рифм и размера (иначе говоря, «стихотворенье в прозе», — очень, кстати сказать, незамысловатая штука: вместо «твои руки» ставишь «руки твои» и вместо «весенняя ночь» — «ночь весенняя»). Авторами этих оригинальных произведений были обыкновенно дамы — или очень юные гимназисты. Я невольно пришел к заключенью, что неопытного поэта прельщает вовсе не форма сонета, а самое слово «сонет» — звонкое, «утонченное», как говорят в русской провинции. Будь оно покорявее, число людей, пишущих «сонеты», значительно бы уменьшилось. Все это, однако, не относится к Бенедикту Дукельскому. «Суровый Дант не презирал сонета». Не презирает его и Дукельский. Сонетная схема рифм, четырнадцать законных строк, ямбический размер — это у него есть. А всего сонетов в книге круглым счетом двести пятьдесят. Об общем настроеньице книги можно уже судить по названьям отделов: «К созвездиям», «Созвучья», «При грусти» («я читаю стихи при грусти». — *В. С.*) и тому подобные заклинательные жесты, ничего доброго не предвещающие. Раскрываю книгу наудачу и читаю: «За пережитым днем для лунствующих смен их явность прежняя светяще многолика. Постигнем грусть в словах у сонмов переклика. И круг угаснувший, межзвездный, вожделен... (пропускаю вторую строфу — все

равно понятнее не станет, — и цитирую дальше)... и мрачно веще там, как древний Аластор, видение, уж больше как-то сразу. Предчувствуемы лишь медлительные Азы». Будет? Да. Можно «как-то сразу» сказать, что ни «Аза» лунствующий автор в поэзии не смыслит. Все сонеты в книге такого же типа.

Безграмотный набор слов, неправильные ударенья, почти полное отсутствие смысла (и какие-то беспомощные клише, когда и есть проблеск мысли!), насилие над цезурой и женской рифмой, — и все это в ореоле какого-то наивнейшего провинциализма — вот что приходится сказать о творчестве Бенедикта Дукельского. Эпиграфом к «Сонетам» взят стих Пушкина «Прекрасное должно быть величаво». Но должна ли быть величава безграмотная чушь?

СЕРГЕЙ РАФАЛОВИЧ
«ТЕРПКИЕ БУДНИ». «СИМОН ВОЛХВ»
Изд. «Петрополис». Париж

Первая из этих двух книг — небольшой сборник приятных, гладких, мелких стихов. Их мягкость порою переходит в слабость, гладкость — в многословие. Для того чтобы сказать, например, что наступили сумерки, вряд ли нужна такая расточительность: «Но день бледнел, бледнел и гас, пока не наступил предсмертный час на склоне дня, на зыбкой грани мрака, тот час, который мы зовем не ночью и не днем, а часом между волком и собакой». Шесть строк вместо двух слов. Недостатком творчества Сергея Рафаловича нужно признать и склонность к тем общим идеям, которые спокон веков встречаются в стихах, не становясь от этого ни более верными, ни менее ветхими. Сравнивать город с «разодетой проституткой», утверждать, что люди — это маски, что земля «тупо вертится», что любовь — «сладчайший и мучительный грех», — все это — дешевый поэтический пессимизм и в смысле творческом — линия наименьшего сопротивленья. Зато там и сям меж двух вялых строк встречается у Рафаловича подлинно прекрасный стих, как, например, этот ответ души ее создателю: «Ненужной телу я была и, с ним не споря, завернулась, как в белый саван, в два крыла».

Вторая книжка поэта «Симон Волхв» начинается очень тонко, очень просто, но в дальнейшем — какая-то расплывчатость, слишком гладкая неяркость (такой стих, например, как «в часы тревоги и сомненья, когда грядущее темно», — просто пустое место, — и таких пустых мест в поэме многовато).

Мне хотелось бы попросить Сергея Рафаловича (да и не только его, а большинство современных поэтов) раз и навсегда отказаться от тех мужских «рифм», которые одинаково противны и слуху и глазу. «Рифма» «зари — говорит», или «судьба — зубах», или «глаза — сказал», — смехотворная хромота и больше ничего.

Сергея Рафаловича нельзя причислить к «молодым, подающим надежду» (его первый сборник вышел в 1901 г.). На кого же надеяться, кого выбрать, что отметить? Не безвкусие же Довида Кнута и не претенциозную прозаичность пресного Оцупа. Может быть, вдохновенную прохладу Ладинского или живость Берберовой? Не знаю. Дай Бог, чтобы годы эмиграции для русской музы не пропали зря.

ДМИТРИЙ КОБЯКОВ. «ГОРЕЧЬ» («Птицелов». Париж. 1927). «КЕРАМИКА» (Там же. 1925)

ЕВГЕНИЙ ШАХ. «СЕМЯ НА КАМНЕ» (Париж. 1927)

Есть в России довольно даровитый поэт Пастернак. Стих у него выпуклый, зобастый, таращащий глаза, словно его муза страдает базедовой болезнью. Он без ума от громоздких образов, звучных, но буквальных рифм, рокочущих размеров. Синтаксис у него какой-то развратный. Чем-то напоминает он Бенедиктова. Вот точно так же темно и пышно Бенедиктов писал о женском телосложенье, о чаше неба, об амазонке.

Восхищаться Пастернаком мудрено: плоховато он знает русский язык, неумело выражает свою мысль, а вовсе не глубиной и сложностью самой мысли объясняется непонятность многих его стихов. Не одно его стихотворенье вызывает у читателя восклицанье: «Экая, ей-Богу, чепуха!»

Такому поэту страшно подражать. Страшно, например, за Марину Цветаеву. Страшно и за молодого поэта Дм. Кобякова, выпустившего только что два небольших сборника. Книжка «Горечь» открывается посвящением Пастернаку: «Каким просторам открывал? Где намечают поцелуем». При чем тут дательный падеж, где подлежащее и прямое дополнение — вряд ли знает сам автор. Почти в каждом стихотворенье есть такого рода курьезы. «Когда копьем простая ложка ранит в предсмертном стоне увидавших глаз». Язык крайне неряшлив: «Не вспомню, зачем и куда я закинул письмо заказное и, кажется, мне». Мужские рифмы частенько нелепы: стен — тел, чешуи — ширь, любви — просил, еще — слет, саду — задув (последнее особенно мило). Оттого что в словах «стен» и «тем» совпадают буквы «т» и «е», еще не значит, что это совпадение улавливается слухом (а ведь как там ни верти, рифма создана для слуха, а не для глаза). Этак можно дойти до того, чтобы рифмовать «кровь» и, скажем, «ротмистр» (и тут и там «ро»). Несмотря, однако, на эту тягу к искалеченной рифме и к модной неуклюжести стиха, ничуть не лучшей, по своему существу, текучести-певучести бесчисленных маленьких Апухтинов прежних лет, — несмотря на манерную темноту выражений и на пастернаковское влияние, Кобякову не удается вконец вытравить поэзию из своих стихов. Хорош, например, пляж (9-е стихотворенье в сборнике «Керамика»), где у «кабинок коричневых черные рты» и «душно в бутылочной зелени вод». Чрезвычайно удачно третье стихотворенье в том же сборнике: поэт, сидя в таверне, рвется «через дым, через звуки туда, где медленно плыло норвежское судно — на плоских обоях — в пятнистую даль». Тут, по крайней мере, неясное выражение образно, т. е. ясно.

Евгений Шах выбрал себе другого учителя — Гумилева. О Гумилеве нельзя говорить без волненья. Еще придет время, когда Россия будет им гордиться. Читая его, понимаешь, между прочим, что стихотворенье не может быть просто «настроением», «лирическим нечто», подбором случайных образов, туманом и тупиком. Стихотворенье должно быть прежде всего интересным.

В нем должна быть своя завязка, своя развязка. Читатель должен с любопытством начать и с волненьем окончить. О лирическом переживанье, о пустяке необходимо

рассказать так же увлекательно, как о путешествии в Африку. Стихотворенье — занимательно, — вот ему лучшая похвала.

В некоторых стихотвореньях Евг. Шаха есть эта особая занимательность. Он, правда, очень молод, у него находишь ужасающие промахи (вроде «пусть ласков свет чужой культуры»), но как хорошо зато стихотворенье «Я видел сон: горячего коня и всадника прекрасного на диво» (и особенно хороша развязка: «И лишь на камнях и кустах остались лоскутья мяса и густая кровь, — и муравьи ручьями к ним стекались») или описанье городской весны: «И торцы, как зеркало блестящие, пахнут жарко нефтью и смолой; бабочки летают настоящие над коварной, липкой мостовой». Особенно удачен «Сентябрь» и «Бунт вещей» («Вещи каждое утро ожидают события, но высокая мачта Эйфелевой башни никогда не будет готова к отплытию»). Если и есть у Шаха наивность, подчас не совсем приятная (возмущенье по поводу «разврата» «Эжазе» и т. д.), то зато нет ни вывертов, ни абракадабры. Это настоящий поэт.

НОВЫЕ ПОЭТЫ

Владимир Диксон. «Листья». Изд. «Вол». Париж
Даниил Гусев. (Р-Х) «Грешный Цвет». Париж
Р. Аркадин (И. Ц.) «Современные колокола». Изд. «Зарницы», Брюссель
Лев Шлосберг «В дымке заката». Рига.
Юрий Галич. «Орхидея». Рига
Г. Пронин. «Узор теней». Изд. «Чешская беллетристика». Прага

Мне как-то приходилось писать о том, что, на мой взгляд, фабула так же необходима стихотворению, как и роману. Самые прекрасные лирические стихи в русской литературе обязаны своей силой и нежностью именно тому, что все в них согласно движется к неизбежной гармонической развязке. Стихи, в которых нет единства образа, своеобразной лирической фабулы, а есть только настроение, — случайны и недолговечны, как само это настроение. Если, скажем, стихотворец, решив описать свою грусть, не

имеет в виду единого определенного образа, в котором бы воплощалась эта грусть, то получается нечто расплывчатое и безответственное, стихотворение бесцельное, не рассказывающее и не показывающее ничего. Такое стихотворение скучно. Из него можно вычесть целую строфу, и оно не станет ни лучше, ни хуже. Читаешь его, доходишь до низа страницы, рассеянно думаешь: кончено, — перевертываешь страницу и находишь продолжение. Такими бесцельными, скучными, хотя вполне грамотными стихами наполнен сборник Владимира Диксона. Изредка скажешь: недурно («Земля, где я родился, земля, где я умру»... или «О том, как люди погибают, нельзя живущим говорить...»), но ни один стих не заставит улыбнуться от удовольствия, ни один не вызовет холодка восхищения. Погрешностей особых нет, но нет и прелести. Поэт жалуется, негодует, грустит, скучает, обращается к Богу — и в памяти у читателя не остается ничего. (Зато хороши три маленьких рассказа в том же сборнике. Прекрасный язык, образная простота.)

И Даниил Гусев навевает скуку. Во всей книге одно только стихотворенье стройно и занимательно: «Она мелькнула средь толпы на потухающем вокзале» (что значит его безобразный заголовок «Из Мгновений» и почему весь сборник назван «Грешный Цвет», — не знаю). Стихи Гусева скучны потому, что автор не пользуется даром зрения. Если он говорит «дверь», или «камень», или «заря», то это все символы чего-то, а не просто дверь, камень, заря. Гибельный путь! «Невольно в грудь мою стучат воспоминанья, я к ним влекусь всей пламенной душой, но прошлое кладет кровавое лобзанье на этот лик страдальчески-простой». Грудь, душа, лобзанье, лик — какой ужасный винегрет! Истинное значенье слов забывается, и символ начинает жить своей жизнью, с таким любопытным результатом: «...лучшие созвучья схоронены в моей заплаканной груди». А не то автора губят синонимы образа, — однозначащие символы. Так, например, начинает он с «колодца» (символ житейского прозябанья, что ли). Вскоре оказывается, что в его колодце находятся «раки, и жабы, и рыбы, и змеи». Далее этот аквариум превращается в «вертеп», а затем в «затон» (все тот же символ). И после этого заключительного превращенья автору, конечно, ничего другого не остается, как призвать на помощь добрый, испытанный образ «ладьи». Не все обстоит благополучно и с языком, а именно

с ударепьями: «предавший меня руль»... «твое тонкое лицо», «сердце твое чуткое». Вообще говоря, поэтам вроде Диксона и Гусева хорошо бы перестать описывать свои внутренние переживания и взяться за изображение чего-либо другого, ну, что ли, вида из окна или прогулки за город.

Что можно сказать об Аркадине? В его стихах есть пренеприятный гражданский оттенок. Автор страдает «приятием Февраля» в самой тяжелой форме — стихотворной. Он клянет Дзержинского, но вместе с тем признает «сдвиги» и, взглянув на «русского великана» (советскую Россию), не без удовлетворенья задает три вопроса: «Где алчный поп? Где тяжкие вериги? Где монастырский тягостный дурман?» В другом месте сияет следующее: «Вперед! Да здравствует свобода среди земель и средь морей!» (Свобода внешней торговли?) Есть у него и стихотворение, которое начинается довольно бесцеремонно так: «Россия, нищая Россия...» (Кое-кто однажды уже это сказал.) Автор считает, что его стих «ласкающе красивый», с чем, конечно, нельзя не согласиться при чтении таких, например, строк: «Россия, ты мочой и калом покрыта вся, покрыта сплошь».

Лев Шлосберг назвал свой сборник «В дымке заката», вероятно, оттого, что это «звучит изысканно». Он хотел бы, «чтобы вся жизнь бы была неизменной борьбой, чтоб в мой челн били волны прибоя, чтобы шел вечный бой между морем и мной, чтоб я все мог забыть в пылу боя». Этот старый прием: чтоб—чтоб—чтоб до одуренья, хорошо был известен еще Надсону, но изумительно у Шлосберга другое, а именно отсутствие слуха. Можно подумать, что дальше какофонии «жизнь бы была» и «пылубоя» трудно пойти, но автор все же пошел: «побежденный искал б в них могилы». Лбвн! Прелестно. Кроме приема «чтоб—чтоб—чтоб», Шлосберг знает и лирический прием «к чему—к чему—к чему»: «Окончен сон, мечты разбиты, к чему обманывать себя, к чему еще надежды скрыты, к чему надеждам верю я» и т. д. У Шлосберга есть также географически-исторические стихи — Инквизиция, Нил, Рим, Индия (традиция Надсона и Фруга). В стихотворении об Индии есть замечательный пария, который, бросаясь под колесницу, теряет один слог: «Мимо, гремя, пронеслась колесница, парья не тронут... Жестокий каприз»! — и дальше: «Что

было Богу до парьи кощунств?» Вообще автор нечувствителен к языку. Так, «клоака» рифмует у него с «сыпняка».

Раскрыв «Орхидею» (опять «изысканное» названье) Юрия Галича наобум, я сразу напал на хорошее стихотворение: «Давно, давно, лет шесть тому назад, с берданкою в руке, в поршнях, в кафтане рваном, в пригожий летний день, с рассветом, раним-раном, проселком пахотным идет со мной Игнат». Прочитав весь сборник, я пожалел, что автор не остановился только на одной теме, на теме о вот таких охотничьих рассветах. Все остальное в этом толстом сборнике, кроме двух-трех военных стихотворений, чрезвычайно слабо. Автор посвящает Гумилеву стихи об Африке, но как можно, любя Гумилева и зная *его* Африку, писать о «мотивах мимозной поэзы», об «одеждах солнечных и фейных» и о том, что на озере Чад — «фламинго и львиный галоп»! Скверной олеографией кажутся эти изображенья тропического мира, и неприятным ювелирным блеском отливают многие и многие строки Галича («в моей душе смарагдная поэма» и т. д.). Нелепостей в «Орхидее» хоть отбавляй: «...И за чарою смеемся мы шампанской, поздно ночью стукнувшись в отель»; «У тамила Бена опыт, где сноровкой, где рублем, пинта рома, тайный шепот, и тамил бежит вдвоем»... Или такие «смелые» рифмы: «Тихой лентой вьется Ворскла, небо нежит синий ворс стекла». Автор очень вольно обращается с именами собственными: в Тиргартене он любуется амазонкой, «как пламенный Дедал», Гейне, оказывается, «могучий меч и щит» Германии, «майский полдень на Шпрее» с мундирами, и шлемами, и капралами — «как картина Беклина», и т. д. Лирика автора, по существу, не выше лирики Ратгауза. В ней, правда, много «лиловых печалей», и «ароматностей», и «лунногрез», но от этого она лучше не становится. И я почему-то вспоминаю одну знакомую поэтессу, которая перед тем, как прочесть мне стихотворение, где встречаются слова «изломы», «фиолетовый», «экстазы», предупреждает: «Вот это несколько декадентское, в новом духе».

Отметив сразу в сборнике Г. Пронина две-три погрешности — ужасные слова «светотени» и «звонный» и такие созвучия, как «чаруют ласки — волшебной сказки», спешу сказать, что Пронин пишет простые, хорошие, русские стихи. Он не стремится перепевать чужое, его слова, даже самые обыкновенные слова, не звучат повторением, —

потому что он употребляет их только тогда, когда они действительно ему нужны, когда они действительно одевают его мысль. Пустым звоном он не тешится, его спокойный, тихий стих правдив и ясен. Как хорошо, например, стихотворение «Дорога»: «Дорога, пыль, лесок, поляна, опять поляна, вновь лесок» — и дальше ответ ямщика: «Эх, барин, притомились кони. Жара, дорога по песку. Слепней то страсть какая гонит, потом сойдут по холодку. По холодку покатим скоро, проедем Лысую межу, и к ночи, где дорога бором, я колокольчик отвяжу». Русским лесом, русским ветерком, ольхой да березой пахнет от книги Пронина. Вот береза, которая «прядь кудрявых ветвей уронила на луг до земли», вот «молодой, удалой мухомор», вот «дрожит на месте хищник смелый, — в тени трепещет стрекоза: зеленый узкий стебель — тело и бирюзовые глаза». Огромным достоинством стихов Пронина является то, что пресловутой революции, пресловутых сдвигов в них не чувствуется вовсе. Эти тихие скромные стихи как будто написаны не в эмиграции, а в ольховом глушняке, в той чудесной неизменной лесной России, где нет места коммунистическим болванам.

Е. А. ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ. «КАПАБЛАНКА И АЛЕХИН» Париж

Эта небольшая книжка явится для любителя шахматного искусства занимательнейшим романом, — или, вернее, первым томом романа, ибо герои его только теперь понастоящему сшиблись, и в будущем им предстоит еще немало восхитительных схваток. Зноско-Боровский, сам талантливейший игрок, пишет о шахматах мастерски. Книга начинается рассказом о том, как яркая, пьяная комбинационная игра прежних лет (Андерсен, Пильсбери и др.) перешла в позиционную игру под влиянием Стейница, Шлехтера, Рубинштейна, Ласкера, холодных мастеров, поклонников строгости и сухости в шахматах.

«Капабланка, — пишет автор, — вернул шахматы из области суровой науки в сферу веселого и радостного искусства», — и он описывает дальше чудесную его карьеру,

победу над Ласкером, триумфы, триумфы, неожиданный период вялости и опять триумфы. Есть «игра в пространстве», для которой характерна забота о целости и крепости каждой позиции, и есть «игра во времени», т. е. игра в движении, в развитии. И вот Капабланка является игроком динамическим, «рыцарем быстро бегущего времени». Не менее метко описывает Зноско-Боровский игру Алехина. Сравнивая его с Капабланкой, он называет последнего классиком и техником, а Алехина — романтиком и тактиком. Капабланка спокоен, и в его палитре есть гениальная гармония; Алехин горяч, воображение его не знает преград, комбинации его сказочны. «Его игра расходится словно веером, который будет сложен лишь в миг последнего удара».

Текст снабжен несколькими интересными диаграммами, а в конце книги даны четырнадцать избранных партий Капабланки и Алехина с прекрасными, хоть и краткими примечаниями.

Отмечаю необыкновенную живописность некоторых выражений автора и бодрый, крепкий темп всего изложения. Зноско-Боровский пишет о шахматах со смаком, сочно и ладно, как и должен писать дока о своем искусстве. Нижеподписавшийся, скромный, но пламенный поклонник Каиссы, приветствует появление этой волнующей книги.

ЮБИЛЕЙ

В эти дни, когда тянет оттуда трупным запашком юбилея, — отчего бы и наш юбилей не попраздновать? Десять лет презрения, десять лет верности, десять лет свободы, — неужели это не достойно хоть одной юбилейной речи?

Нужно уметь презирать. Мы изучили науку презрения до совершенства. Мы так насыщены им, что порою нам лень измываться над его предметом. Легкое дрожание ноздрей, на мгновение прищурившиеся глаза — и молчание. Но сегодня давайте говорить.

Десять лет презрения... Я презираю не человека, не рабочего Сидорова, честного члена какого-нибудь Ком-помпом, а ту уродливую, тупую идейку, которая превращает русских простаков в коммунистических простофиль, которая из людей делает муравьев, новую разновидность,

formica marxi var. lenini[1]. И мне невыносим тот приторный привкус мещанства, который я чувствую во всем большевицком. Мещанской скукой веет от серых страниц «Правды», мещанской злобой звучит политический выкрик большевика, мещанской дурью набухла бедная его головушка. Говорят, поглупела Россия; да и немудрено... Вся она расплылась провинциальной глушью, — с местным львом-бухгалтером, с барышнями, читающими Вербицкую и Сейфуллину, с убого затейливым театром, с пьяненьким мирным мужиком, расположившимся посредине пыльной улицы.

Я презираю коммунистическую веру, как идею низкого равенства, как скучную страницу в праздничной истории человечества, как отрицание земных и неземных красот, как нечто, глупо посягающее на мое свободное «я», как поощрительницу невежества, тупости и самодовольства. Сила моего презрения в том, что я, презирая, не разрешаю себе думать о пролитой крови. И еще в том его сила, что я не жалею, в буржуазном отчаянии, потери имения, дома, слитка золота, недостаточно ловко спрятанного в недрах ватерклозета. Убийство совершает не идея, а человек, — и с ним расчет особый; прощу ли я или не прощу — это вопрос другого порядка. Жажда мести не должна мешать чистоте презрения. Негодование всегда беспомощно.

И не только десять лет презрения... Десять лет верности празднуем мы. Мы верны России не только так, как бываешь верен воспоминанию, не только любим ее, как любишь убежавшее детство, улетевшую юность, — нет, мы верны той России, которой могли гордиться, России, создавшейся медленно и мерно и бывшей огромной державой среди других огромных держав. А что она теперь, куда ж ей теперь, советской вдове, бедной родственнице Европы?.. Мы верны ее прошлому, мы счастливы им, и чудесным чувством схвачены мы, когда в дальней стране слышим, как восхищенная молва повторяет нами сыздетства любимые имена. Мы волна России, вышедшей из берегов, мы разлились по всему миру, — но наши скитания не всегда бывают унылы, и мужественная тоска по родине не всегда мешает нам насладиться чужой страной, изощренным одиночеством в чужую электрическую ночь, на мосту, на пло-

[1] Муравей Маркса подвид Ленина *(лат.)*.

щади, на вокзале. И хотя нам сейчас ясно, сколь разны мы, и хотя нам кажется иногда, что блуждают по миру не одна, а тысяча тысяч Россий, подчас убогих и злобных, подчас враждующих между собой, — есть, однако, что-то связующее нас, какое-то общее стремление, общий дух, который поймет и оценит будущий историк.

И заодно мы празднуем десять лет свободы. Такой свободы, какую знаем мы, не знал, быть может, ни один народ. В той особенной России, которая невидимо нас окружает, живит и держит нас, пропитывает душу, окрашивает сны, — нет ни одного закона, кроме закона любви к ней, и нет власти, кроме нашей собственной совести. Мы о ней можем все сказать, все написать, скрывать нам нечего, и никакая цензура нам не ставит преграды, мы свободные граждане нашей мечты. Наше рассеянное государство, наша кочующая держава этой свободой сильна, и когда-нибудь мы благодарны будем слепой Клио за то, что она дала нам возможность вкусить этой свободы и в изгнании пронзительно понять и прочувствовать родную нашу страну.

В эти дни, когда празднуется серый, эсэсэсерный юбилей, мы празднуем десять лет презрения, верности и свободы. Не станем же пенять на изгнание. Повторим в эти дни слова того древнего воина, о котором пишет Плутарх: «Ночью, в пустынных полях, далече от Рима, я раскинул шатер, и мой шатер был мне Римом».

«ЗОДЧИЙ»
Книжный кружок. Белград

В этом сборнике представлено десять поэтов.

У В. С. Григоровича есть размах, но есть и промахи. Великолепно, например, следующее: «То я встаю громадной тенью и ясно вижу через окно свое мятежное движенье, и плащ мой улицу метет, шагаю прямо через крыши, но мой широкий вещий ход еще пока никто не слышит». Безграмотно и все-таки чем-то хорошо: «...созерцавшему в синей от молний дали Божество в ослепительный рост». Но зато совсем плохо: «под самумом, идущим теперь, устоять должен я на обеих ногах».

Среди стихов Евг. Кискевича есть одно очень занятное, безвкусное, но не лишенное какой-то грубой оригинальности. Действие происходит в церкви: «Угрюмый блондин у колонн прислонил ослабевшие плечи...» Оглушительная строка! Кроме того, принужден отметить, что первое стихотворение Кискевича начинается так: «Работай, работай, работай» (взято целиком у Блока), а последнее так: «Я говорю о нежности, о славе» (тоже вроде Блока).

К Ирине Кондратович грешно придираться. Большинство поэтесс любит писать «рот» вместо «губ» и воспевать колдуний, шелка и Пьеро с Коломбиной.

А у Екатерины Таубер есть также черта, присущая всем поэтессам. Это обращение не на «ты», а на «вы». Ее стихи не избежали губительного влияния Ахматовой, поэтессы прелестной, слов нет, но которой подражать не нужно. Меж тем Е. Таубер пишет: «На голове лежат так гладко волосы, одежды строг чернеющий (?) атлас, я никогда не повышаю голоса, я никогда не поднимаю глаз».

Александр Костюк дал три бледных, ничем не замечательных стихотворения. Одно из них — Аннамитская песня: «Плывет сампан по черной воде, и ночь вокруг, уснул банан» и т. д. Рецепт известен.

Среди стихотворений Леонида Кремлева восемь очень плохих и одно совершенно прекрасное: «Когда над мертвыми полями взойдет последняя звезда, когда как зверь завоет в яме душа в предчувствии Суда, — тогда заблещут в небе трубы, и ангел мстительной рукой в мои оскаленные зубы вонзит свой факел огневой. Но я, глотая месть и пламень, не уступлю, не отойду, и брошу мой последний камень в его последнюю звезду».

Л. И. Машковский пишет в стихотворении «Тигр» о «кавалькадах обезьяньих и птичьих». Позволю себе заметить, что птица все-таки не лошадь. Заинтересовала меня и другая строка: «Был органически слит в волевом напряжении...»

Гр. Наленч пишет об «игре закатных лучей», о «страстном надрыве», о том, что «весенние грезы трепещут», и о других таких вещах, которые можно найти в очень старых номерах «Нивы» за подписью Круглова, Порфирова, Коринфского и других.

У Дм. Сидорова есть две-три недурных строки: «и вместо белых роз весны блеск ослепительный кинжала, и вме-

сто синевзорых дев гул потрясающих сражений». Однако оказывается, что Дм. Сидоров «верен идеалу», а слово «идеал» в стихах — как глоток миндального молока.

У Юрия Сопоцько есть какая-то ребячливость в стихах, и это и хорошо, и плохо. Плохо, когда это переходит в сюсюканье. Хорошо, когда внушает такие стихи: «...и не страшно в засаде найти свою смерть, не узнав, чья была это месть. Но как страшно, как глупо, как смешно умереть, оттого что нечего есть».

АНДРЕЙ БЛОХ. СТИХОТВОРЕНИЯ
Париж

Очень хорошо, что этот маленький сборник никак не называется. Каталог парфюмерной фирмы — вот место звучным названиям. Муза обойдется без визитной карточки.

Стихи у Андрея Блоха легкие, ненапряженные. Напрасно он не брезгает «немой тревогой», «бесконечной далью», «нежным поцелуем» — словами, прочно и уныло сжившимися, как слепой и его собака. Нахожу на странице десятой превосходный образ: «мчались на мосту, словно ракеты во тьме, поезда», на странице одиннадцатой — хорошо составленное стихотворение, и недурную строфу на странице двадцать шестой: «Только, может быть, силе стихов пережить нас дано на мгновенье, и дрожать в перелете веков бледным светом мечтаний и снов на краю темноты и забвенья». Не всегда попадают в цель ударения: «крови́» (род. пад.), «ду́бы»; едва ли удачно сказать: «догорал заход» вместо доброго старого заката, и странно выглядит неологизм: «неземно́».

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ. СОБРАНИЕ СТИХОВ
К-во «Возрождение». Париж

«Адриатические волны! О, Брента!..» Как много в этом взволнованном восклицании... Но пушкинской Бренты нет. Брента — просто «рыжая речонка»... Такой увидел ее воочию Владислав Ходасевич и, поняв обман романтической

мечты, полюбил «в жизни и в стихах» прозу. Спешу, однако, отметить, что, во-первых: эта «рыжая речонка» Ходасевича не менее прекрасна в своем роде (а прекрасна она именно потому, что мутная и рыжая), чем та Брента, которая мерещилась Пушкину; и что, во-вторых: «Проза», о которой говорит Ходасевич, — совсем не обыкновенная проза. Если под *поэзией в стихах* понимать поэтические красоты, узкое традиционное поэтичество, то *проза в стихах* значит совершенную свободу поэта в выборе тем, образов и слов. Дерзкая, умная, бесстыдная свобода плюс правильный (т. е. в некотором смысле несвободный) ритм и составляет особое очарование стихов Ходасевича.

«Адриатические волны! О, Брента!..» Пушкинский певучий вопль (я говорю только о звуке — о лепете первой строки, о вздохе второй) является как бы лейтмотивом многих стихов Ходасевича. Его любимый ритм — ямбический, мерный и веский. Пусть он местами строг до сухости; неожиданно он захлебывается упоительным пэоном, острая певучесть перебивает холодноватый ход стиха. Трепетность его хорея удивительна. Поэт ахнул, проснулся в тот самый миг, как скользнул было в сон. «Сердце бьется невпопад» (что чудесно выражено хромой рифмой «только — столика»), и «только ощущением кручи ты еще трепещешь вся, легкая моя, падучая, милая душа моя!». Впечатление трепета нежности и падения достигнуто (с каким мастерством!) полуударением на второй стопе первой строки, щекочущим повторением буквы *щ* и легкостью, многогласностью двух последних строк. Замечательна музыка стихотворения «Мельница». Оно написано совершенно правильным и все же неожиданным, неслыханно-прекрасным размером. Каждая из шести строф состоит из пяти трехстопных ямбических строк, причем вторая строка и пятая рифмуют (простенькая мужская рифма), а остальные удлинены дактилическими окончаниями (с легчайшей тенью ассонанса в смежных). Описать певучий говорок этого стихотворения невозможно, привести же только выдержку — жалко. Наконец, в «Балладе», написанной трехстопным амфибрахием, Ходасевич достиг, по моему мнению, пределов поэтического мастерства. Поэт сидит у себя в комнате, в сухом блеске электричества, и вдруг начинает качаться и петь (причем в этом месте дактилическая рифма вдруг заменяет женскую): «и музыка, музыка, музыка вплетается в пенье мое».

И дальше: «И в плавный вращательный танец вся комната мерно идет, и кто-то тяжелую лиру мне в руки сквозь ветер дает».

Такова поразительная ритмика стихов Ходасевича. И странное дело: это мастерство и острая неожиданность образов производят какое-то гипнотическое действие на читателя и, околдовывая его слух, поражая его внимание, мешают ему «переживать» вместе с поэтом, по-человечески сочувствовать тому или другому его настроению. В последнем отделе сборника есть несколько стихотворений с «гражданским» оттенком. Так, в стихотворении «Окна во двор» (каждому окну уделено по строфе) изображается так называемая мещанская атмосфера. Однако так восхитительна стеклянная прелесть образов, что читатель просто не в состоянии проникнуться этой атмосферой, пожалеть этих убогих жителей, посетовать на их серую жизнь (и это хорошо). То же самое можно сказать по поводу и другого стихотворения (о том, как с беременной женой идет безрукий в синема). Поэт, охваченный негодованием и жалостью, восклицает: «Ременный бич я достаю с протяжным окриком тогда и ангелов наотмашь бью, и ангелы сквозь провода взлетают в городскую высь. Так с венетийских площадей пугливо голуби неслись от ног возлюбленной моей». Если поэт хотел возбудить в читателе жалость, сочувствие и т. д., то он этого не достиг. Упиваешься его образами, его музыкой, его мастерством, — и ровно никаких человеческих чувств по отношению к ушибленным судьбой не испытываешь.

Свобода Ходасевича в выборе тем не знает границ. Временами кажется, что он шалит, играет, холодно наслаждается своим даром воспевать невоспеваемое. Эта священная небрезгливость его музы особенно резко выразилась в стихотворении «Под землей». И вот я в странном затруднении: выписать все стихотворение нельзя — места нет, привести лишь цитату было бы нечестно по отношению к автору; меж тем рассказать тему его стихотворения не могу, и не могу по той причине, что, выраженная голой прозой, эта тема приобретает оттенок самой грубой и откровенной нечистоплотности. Достаточно, если скажу, что такого рода эпизоды можно найти в книгах по половым вопросам. И все же из описания жалкого порока Ходасевич сделал сильное и прекрасное стихотворение (на мгновение у меня

мелькнула мысль: а вдруг музе все-таки обидно? — но только на мгновение).

Очень интересен в творчестве Ходасевича некий оптическо-аптекарско-химическо-анатомический налет на многих его стихах. Обыкновенно у него это прием заключительный: «в душе и в мире есть пробелы, как бы от пролитых кислот» (так кончается стихотворение «Автомобиль»). Другое стихотворение кончается так: «...светлый космос возникает под зыбким пологом ресниц, он кружится и расцветает звездой велосипедных спиц». К той же оптической области относятся многочисленные упоминания отражений в зеркале, в оконном стекле и т. д. «Неузнанный проходит Каин с экземою между бровей» или «и так отрадно, что в аптеке есть кисленький пирамидон» — тоже хорошие примеры заключительных аккордов Ходасевича. Чем-то медицинским веет от таких образов, как «и на груди моей ты робко переменишь мешок со льдом» или «прорезываться начал дух, как зуб из-под припухших десен», и как характерно сравнение души с йодом, души, разъедающей тело, как йод пробку.

Не стоило бы говорить о мелких и очень немногочисленных промахах Ходасевича, если бы такому мастеру, как он, не предъявлялись требования совсем особые. Я имею в виду такие мешковатые строки, как «и чтоб мою к себе приблизить высь» или «и собственный сквозь сон я слышу бред»; такие неловкости, как «изнемогая в *истоме* тусклой, которая меня *томила*» и «что *значит знак* его спины мохнатой»; слабые строки вроде «и с улыбкой страшною немножко» или «много раз я это видел, а потом возненавидел»; наконец, употребление ужасного слова «зонт» вместо «зонтик».

Любопытно, что смутное влияние Блока чувствуется в белых стихах Ходасевича: «я поклонился низко Петру Иванычу, его работе, гробу и всей земле, и небу, что в стекле лазурью отражалось» — это совершенно блоковская интонация. В иных же стихах веет тютчевская струя: «ты скажешь, ангел там высокий ступил на воды тяжело» или «глаз отдыхает, слух не слышит, жизнь потаенно хороша, и небом невозбранно дышит почти свободная душа».

Ходасевич — огромный поэт, но думаю, что поэт — не для всех. Человека, ищущего в стихах отдохновения и лунных пейзажей, он оттолкнет. Для тех же, кто может

наслаждаться поэтом, не пошаривая в его «мировоззрении» и не требуя от него откликов, собрание стихов Ходасевича — восхитительное произведение искусства.

РАИСА БЛОХ. «МОЙ ГОРОД»
Изд. «Петрополис». Берлин

Солнце, годы, море, песня, рай — эти слова очень часто встречаются в книжечке стихов «Мой Город». Беда в том, что это только слова, игрушечки поэзии, ярлычки испарившихся символов, старые телефонные номера Господа Бога. «Синева зыбей», или «Солнце, желтое, как мед», или такие светленькие строфы, как: «Ты уйдешь, а я роптать не буду, только громко, громко запою о покорности великой чуду, о великой радости в раю», — ничего не вызывают, кроме сладковатых и смутных литературных реминисценций. Слово, вместо того чтобы быть полуоткрытой дверью, проблеском и сквозняком, от которого мысли и чувства читателя сразу приходят в движение, в волнение, слово вместо этого замкнуто в самом себе, — маленькое, мертвое и блестящее. Этим объясняется склонность Раисы Блох к благозвучным, но совершенно невыразительным прилагательным, например [«золотой», «золотистый»; все у нее золотое и золотистое] — огонь, звезда, сад, туман, путь, праздник, свет, город, — но от этого обилия золота поэзия ее не богата, а бедна. Впрочем, язык ее хоть беден, да чист, чист не только слог, но и все настроение ее книжечки. И когда она низводит музу из постылой светлицы на землю, то совсем хорошо: «напротив блещут стекла от невидимого солнца», и в отличном стихотворении «Воробей» живые воробьи сидят на заборе и поют о лужах. Так что в конце концов все это золотистое, светленькое и чуть-чуть пропитанное (что, увы, в женских стихах почти неизбежно) холодноватыми духами Ахматовой — может на непридирчивого читателя произвести впечатление чего-то легкого, простого, птичьего.

P. S. В последнем номере парижского «Звена» глубокомысленно обсуждается «лапсус», будто бы допущенный мной в одной критической заметке («Руль», 7 марта 1928 г.). Меркурий утверждает, что я называю «невыразительными

прилагательными» слова «огонь, звезда, сад» и т. д. Меркурий, ты не прав. Я просто писал о пристрастии поэтессы Раисы Блох к таким «невыразительным прилагательным, как, например, “золотой”, “золотистый”; все у нее золотое или золотистое — огонь, звезда, сад» и т. д. Но, увы, бывают опустошительные типографские катастрофы, массовое исчезновение слов, безымянный ужас опечатки...

МАРИАМ СТОЯН. «ХАМ»
Изд. «Птицелов». Париж

В этой книжечке пять страниц. «Хам» не поэма, а длинное стихотворение, состоящее из пятнадцати четверостиший, написанных судорожным размером. О Хаме говорится так: «Границы он уничтожит. Он уничтожит границы», «Он придет, властитель, Бог-пигмей, тиран» и учинит расправу «за достоинства обидные, за тонкие отличия». Хам, о котором говорится, очень похож на большевика, только покрупнее. Есть недочеты в этом стихотворении — прозаизм, безвкусицы, растянутость, но есть и кое-что привлекательное — ритмическая сила, стон, восточные отзвуки.

ТРИ КНИГИ СТИХОВ

БОРИС БОЖНЕВ. «ФОНТАН». Париж

Фонтану, игре фонтана, «стройному полету воды» и «меланхолической дуге» ее ниспадения, посвящена эта прохладная книга. Все восемнадцать восьмистиший в ней написаны четырехстопным ямбом, с женской рифмой на четной строке, что, как известно, придает строфе некую медлительность ритма. «Бежит в содружестве поток, в содружестве бушуют волны, и лишь один фонтанный ток журчит в уединенье полном». Таких хороших стихов немало у Божнева. Открываешь наугад, читаешь: «Смотря на хлопоты фонтана, лениво возлежит Восток», — и радуешься. В его стихах есть и мысль, и пение, и цельность. Некоторая извилистая неправильность фразы в ином восьмисти-

шии создает своеобразное очарование, как бы передавая музыкально-воздушные повороты воды. Порою же неуклюжесть слишком явная (первое стихотворение в книге, которое к тому же может показаться — игриво настроенному читателю — несколько двусмысленным). Но о недочетах не хочется писать — столь усладительны эти стихи. Вот, например, заключительное восьмистишие: «Не воздвигайте мне креста, воздвигните струю фонтана, и пусть струя лиется та... Ни вслушиваться не устану, ни зреть из мрачной темноты, из безотрадного бессмертья, как славословит с высоты, как воздух в ликованье чертит».

ДОВИД КНУТ. «ВТОРАЯ КНИГА СТИХОВ». Париж

Крепкий стих, слегка нарочитая библейская грубоватость, здоровая жадность до всего земного, и отсюда некоторое злоупотребление сдобными словами вроде «хлеб», «блуд», «мужество», — вот что отмечаешь, читая Кнута. Отмечаешь далее необыкновенную склонность Кнута ступать, посреди хорошего стихотворения, в глубокую лужу безвкусицы. Торжественно, полновесно и вдруг: «...от борьбы страдал еще альков...». Превосходно задуманное стихотворение: «Нужны были годы, огромные древние годы псалмов и проклятий...» — погублено двумя строками: «...затем, чтоб теперь на блестящем салонном паркете я мог поклониться тебе, улыбнувшись слегка» (слегка!). В стихотворении «Восточный танец» после нескольких прекрасных образов (напр., «В потоке арф нога искала брод») вдруг опять промах: «...и шел живот послушно, на трубу». И дальше: «Но женщина любила и хотела...» (чтец-декламатор!). А не то грубая какофония внезапно унижает мысль поэта: «...вину и хлебу, букве и жене» («хлебу — букве», «бу-бу»). Нет такта, нет слуха у Кнута. Как объяснить иначе, что он рифмует «легка — облакам» или «вода — следам» когда ухо давным-давно привыкло к «легка — облака», «вода — следа» и не может, да и не должно, от этой привычки отделаться? Находится у него и старая моя знакомая «сказал — глаза» (или «назад — глаза»). Слово «глаза» не виновато, что оно туго рифмуется (не всегда же возможно призвать на помощь грозу или козу), а силою ничего не добьешься.

Вообще беда с этими мужскими рифмами. Когда Кнут рифмует, например, «пастух — темноту» или «скал — облака», слух с разбегу повторяет «темнотух», «облакал», — и вся прелесть стиха пропадает. И еще есть кое-что неприятное в стихах Кнута. Дело в том, что недавно было поэтами открыто слово «невероятный»: зияние гласных, пэон, открываешь рот, почти поешь, — хорошо! Оказывается, что лишь стоит к любому слову приделать эпитет «невероятный», чтобы получилась прекрасная ритмическая строка. Кнут этим пользуется («в невероятной лени», «невероятной полнотой»). Кроме того, «невероятный» удовлетворяет другому требованию моды. Современные молодые поэты, особенно «парижские», почему-то чрезвычайно любят всякие отрицательные прилагательные, обманывая себя тем, что гораздо изысканнее и как-то воздушнее сказать, например, «нехолодный» вместо «теплый». В одном небольшом стихотворении у Кнута я насчитал целых шесть таких длинных прилагательных, начинающихся на «не». У него это выходит грубовато, но у иных отмеченный прием доведен прямо до виртуозности.

В заметке о стихах Довида Кнута (№ 2275 «Руля») приключилась опечатка. Вместо «от борьбы **страдал** еще альков» следует читать «от борьбы еще **дрожал** альков». Рецензент, приводивший эту строку, как образец безвкусия имел в виду именно «дрожание» алькова.

«СТИХОТВОРЕНИЕ», ПОЭЗИЯ И ПОЭТИЧЕСКАЯ КРИТИКА. Париж

Три небрежно-космических стихотворения А. Булкина. Такие рифмы, как «отыскать—рука» и «бирюза—слезам» (см. выше). «Неспокойное море» и «нехолодный ветр» (см. выше). Кроме того (тоже парижская мода), изысканные прозаизмы вроде «все, все по твоему распоряжению». Это, вероятно, то, что называется «пленительная сухость».

Два стихотворения Б. Божнева. Первое — совсем хорошее: «Что лира? Понял я — скелет. Но как любовницу младую, ее боготворит поэт, уродливую и худую. Касается ее костей неизменяющей рукою и скрежетом ее страстей он миру не дает покою» («неизменяющей» значит «верной»).

Одно стихотворение А. Гингера. Я его не понял. Что значит, например: «Лейся, лейся надо гробом самовольная луна с белым, белым гардеробом...» (!).

Одно стихотворение Анны Присмановой. Аллитерации и игра слов: «На канте мира муза Кантемира», «голенастый Галилей» и т. д.

Два стихотворения Вадима Андреева. Первое — прекрасное. «Не звучен свет, огонь не ярок, и труден лиры северной язык». Жаль, что нельзя его привести полностью.

Два стихотворения В. Познера. Поэт нам сообщает, что «если руку поднести к глазам, то каждый палец небо заслоняет». Правильно.

Одно стихотворение Бориса Поплавского — пестрое, бескостное. «Расцветает молчанья свинцовая роза». У современных молодых поэтов встречаются всяких видов розы, нет только садовых, и это нехорошо.

ОМАР ХАЙЯМ, В ПЕРЕВОДАХ ИВ. ТХОРЖЕВСКОГО

Париж

Омар Хайям, персидский поэт, звездочет, вольнодумец, мудрец, родился в 1040 году по Р. Х. и умер в 1123-м. Писал он «робай'и» (робай — четверостишие об одной рифме, причем чаще всего третья строка бессозвучна). Подлинника Хайямовых стихов не сохранилось; существуют только записи, сделанные спустя несколько веков после его смерти; и они пребывали в сумраке книгохранилищ, пока в XIX веке Англия не «открыла» Омар-Хайяма.

В 1859 году гениальный английский поэт Фиц-Джеральд издал сборник стихов, назвав их переводами из Омар-Хайяма. Несомненно, что Фиц-Джеральд в персидскую рукопись заглядывал — однако его книгу никак нельзя рассматривать как перевод. Несмотря на обилие «восточных» образов, эти чудесные стихи проникнуты духом английской поэзии; их мог написать только англичанин. Они имеют приблизительно такое же отношение к персидской поэзии, как, скажем, пушкинские переводы из поэзии западных славян — к подлинным песням последних.

Немного погодя появились и другие переводы из Омар-Хайяма (например, французский перевод Nicolas, желавшего во что бы то ни стало сделать из Хайяма мистика — над чем Фиц-Джеральд в свое время тонко поглумился). Каждый переводил по-своему, выбирая из персидских «робай'и» то, что ему больше по душе. Едва ли, однако, правильной является система русского переводчика Ив. Тхоржевского (издавшего двести «робай'и»): воспользовался он не только так называемым «Бодлеянским» текстом, но и работами различных переводчиков, упустив при этом из виду, что, берясь за стихи Фиц-Джеральда, он переводит, в сущности говоря, не персидского, а самобытнейшего английского поэта — и что переводить Фиц-Джеральда надо совсем по-особенному, не как других, и уж, во всяком случае, ничего не меняя, не затушевывая. Получилось что-то странное, — я бы сказал, неубедительное, — ибо нельзя же черпать из таких неравноценных источников и затем преподнести все это в качестве (какого-то сборного) Омар-Хайяма. Кроме того, автор не сделал никаких примечаний, не указал, откуда взято то или другое четверостишие, — из Фиц-Джеральда ли, из Nicolas или из Клода Анэ (ибо, увы, и бедный Клод Анэ, известный своими наивно-пошлыми изображениями «русской души», тоже, оказывается, «переводил» Омар-Хайяма...). Получалась, таким образом, сложнейшая комбинация скрещивающихся переводов, подражаний, собственных (порой удачных) изощрений, — в которой разобраться нелегко. Насколько я мог установить, из Фиц-Джеральда Тхоржевский перевел штук тридцать «робай'и» (не считая короткой поэмы о «глиняных изделиях», помещенной в конце книги). Переводы довольно неточные, а иногда просто неправильные. Так, например, Тхоржевский делает ошибку, попадающуюся у всех переводчиков с английского. Речь идет о пурпуре. У Фиц-Джеральда говорится о «flowing purple» моря; Тхоржевский переводит: «моря вздыхают, дрожью алою горя» (что, кроме того, напоминает Бальмонта), меж тем английское «purple» вовсе не есть русский (или французский) «пурпур», а значит «лиловый», «фиолетовый», иногда даже (в поэзии) — темно-синий. Другая неправильность: у Фиц-Джеральда говорится о розе, «которая вокруг нас цветет» (blows); «to blow» может означать также и «дуть», — и вот русский перевод-

чик впускает в свой стих совершенно ненужный «ветерок» («ветерок сорвал мой шелк», говорит у него роза), этим разбавив нежную строгость Фиц-Джеральдовых строк. Требование рифмы (а ведь действительно нелегко придумать звучную мужскую рифму на три строки!) часто заставляет переводчика прибегать к ненужной изысканности. У Фиц-Джеральда сказано просто: «утро бросило камень, который обращает звезды в бегство» (существует будто бы восточный обычай бросать камень в чашу, этим давая приказ садиться на коней); у Тхоржевского: «в путь, караваны звезд. Мрак изнемог». Образ расплылся, запутался. У Фиц-Джеральда: «О бодрая музыка далекого барабана»; у Тхоржевского барабанный бой — «под самым ухом». У Фиц-Джеральда чудесно сказано: «внутри и снаружи, вверху, вокруг, внизу, — все только представление волшебного фонаря, даваемое в коробке, где вместо свечки — солнце, вокруг которого мы, призрачные облики, движемся туда и сюда»; у Тхоржевского: «Там, в голубом небесном фонаре, пылает солнце: золото в костре (!?)» и т. д. Выразительная и вместе с тем воинственная музыка Фиц-Джеральда вовсе не передана в таких, например, строках: «И нас не спросят; в мир возьмут и бросят; решает небо — каждого куда»; меж тем у Фиц-Джеральда: «и тот, кто кинул тебя на поле, *он* знает об этом, *он* знает, *он* знает»; в примечании к этой строке Фиц-Джеральд приводит (будем надеяться, правильно) строку в оригинале: «О данад о данад о данад о —» (обрывается). Вообще при сравнении подлинника (Фиц-Джеральда) с переводом Тхоржевского можно найти много таких неточностей, общих мест, угождений рифме; постоянно бывает так, что две строки переведены точно, а две — приблизительно. «Две придут сами, третью приведут», — писал Пушкин о рифме; однако случается, что эта третья артачится.

Таинственность и душистость фиц-джеральдовских стихов испарились при попытке Тхоржевского превратить их в русские звуки. В переводах из Nicolas тоже есть странные неточности (напр., в стихотворении, начинающемся «ты налетел, Господь, на ураган»), но тут, конечно, труд переводчика менее ответственен: Nicolas — не Фиц-Джеральд. Что же качается третьего «источника» — пресловутого Клода Анэ, то, к сожалению, я установить не мог, какую он лепту внес, какой материал он дал нашему автору. Есть,

правда, два-три подозрительно «французских» четверостишия (любовных); подозрения того же рода вызывает во мне четверостишие, начинающееся: «монастыри, мечети, синагоги» — слишком как-то простое и отчетливое перечисление, которое едва ли мог сделать персидский поэт XI века. Оставляю это, однако, на совести проф. Минорского, давшего автору нужные указания.

Если же не обращать внимания на весь этот сумбур «источников», а просто читать эти робай'и как стихи хорошего русского поэта, то часто поражаешься их изящности, точности определений, приятному их говору. Пускай в них встречаются подчас выражения, слишком уж отдающие нашим ранним символизмом («голубая даль», «где-то вдалеке», «укрась вином мелькание страниц», «дан ненадолго лунный блеск лица» и др.), пускай попадаются изредка такие нехорошие слова, как «ореол», «невязка», «план», «климат», — все же не можешь не улыбнуться от удовольствия, читая иное четверостишие. Как прелестно, например, вот это: «Все царства мира — за стакан вина! Вся мудрость книг — за остроту вина! Все почести — за блеск и бархат винный! Всю музыку — за бульканье вина!» Полагаю, что добрый Омар-Хайям, хоть, может быть, вовсе и не писал этого, был бы все же польщен и обрадован.

АНТОЛОГИЯ ЛУННЫХ ПОЭТОВ
ПЕРЕВЕЛ С ЛУННЫХ НАРЕЧИЙ С. РЕВОКАТРАТ
Париж

Лунная литература чрезвычайно богата и разнообразна. В России ее знали плохо. Очень отрадно поэтому, что русскому читателю дано наконец несколько образцов поэзии, создаваемой на Луне.

Однако приходится пожалеть, что переводчик выбрал из всей лунной поэзии творенья бледные, отвлеченные и необычайно между собой схожие. В этой антологии представлены такие совершенно второстепенные авторы, как Логог, Никшуп, Арбокед, Кепач, Нинесе и др. Вот, например, из Кепача: «Сила не знает, кого сломить, слабость не знает, как сломить, хитрость не знает, зачем сломить»; а вот из Нинесе: «Я искал тебя повсюду, я нашел тебя

где-то, я потерял тебя в самом себе». Все образцы, данные Ревокатратом, — в таком же духе, словно это писало одно и то же лицо. Надобно поставить в вину переводчику, что он совершенно не привел образцов описательной поэзии Луны, лунного фольклора. (Можно ли было не включить такого перла, как, например, стихотворение поэта Нириса, помещенное во всех школьных хрестоматиях Луны и начинающееся так: «Кто при звездах и при земле так поздно едет на осле...»?) Кроме того, в переводах Ревокатрата есть много неточностей, неправильно переведенных оборотов. Так, например, переводчик пишет: «Твердой ногой уцепился за куст», меж тем как в подлиннике не «ногой», а «рукой» («огу» — на северном наречии Луны, — что означает буквально «большая мужская рука, держащая “гу”» — род посоха, употребляемый пастухами на склонах потухших вулканов). Далее, отмечаю странный пропуск в переводе из Фелрегала: «Терпи, но не думай, что это терпенье, пламеней, но не думай, что это страсть, верь, но не думай, что это истина, знай, но не думай, что это мысль». В подлиннике есть еще одна строка: «Пиши, но не думай, что это стихи».

ДВА СЛАВЯНСКИХ ПОЭТА

НИКОЛАЙ А. БЕСКИД. «ПОЭЗИЯ ПОПРАДОВА»; ЯН КАСПРОВИЧ. «КНИГА СМИРЕННЫХ». ПЕРЕВОД С ПОЛЬСКОГО К. Д. БАЛЬМОНТА

«Под именем Попрадова», говорит д-р Бескид в своем обстоятельном и интересном предисловии к стихам карпато-русского поэта Попрадова (1850—1899), «скрывался Юлий Иванович Ставровский, по положению приходский священник в Земплинском Чертиже, Пряшевской епархии». Книга издана бедно, но с большой любовью, и в самом ее появлении есть что-то глубоко трогательное, как и вообще трогателен этот образ карпатского поэта, пронзительно чувствующего свое родство с Россией и стремящегося в продолжение всей жизни это родство утвердить, выразить, защитить его от вражеских веяний, противных «русскости» его края. И в некотором смысле судьба поэта Попрадова

трагична. Язык его края, язык, на котором он писал, является как бы своеобразной излучиной русской речи. Русский слух не может им насладиться, нас смущают странные обороты и ударения, недостаточно резкая тонировка стиха, неожиданные архаизмы, диковинные эпитеты. Но часто, благодаря своему таланту, Попрадову удается достигнуть русской звучности, и чтобы вполне оценить это, надо поставить себя на место карпатского читателя. С такой точки зрения — и в данном случае это самая правильная точка, — иной стих Попрадова и вправду — поэтическое чудо. Почти державинским громом звучат некоторые его строфы: «На небе безмрачном струятся богато лучи светозарны, и весь небосклон распылался алмазом, оделся во злато, блистает красами монарших корон. Вдали раздается и гул водопада, шипенье, пруженье вспенившихся вод, купаются тамо проворны наяды, играя в пучине шальной хоровод. И ель вековечна, и бук закаленный, и клен благородный, и толпы грабин, качая главами, стоят изумленны и внемлют живому плесканью богинь».

О природе, о любви, но особенно много о своем тяготении к России пишет Попрадов, и через это глубокий смысл и прелесть приобретают такие его строки:

Моя отчизна здесь, в Карпатах,
среди лесистых синих гор,
где мой народ в старинных хатах
живет с неисследимых пор.
Вот здесь родился я и страстно
влюбился в родину свою,
ее, хоть бедну и несчастну,
но в простоте своей прекрасну,
всегда радушно воспою.

Дай Бог русским поэтам, вышедшим на чужбину, так лелеять, так любить русское слово, как это делал Попрадов в своей маленькой, нищей, зябнущей на западном ветру стране.

*

О другом славянском поэте, Яне Каспровиче, знаю мало, в подлиннике его не читал, но, судя по некоторым признакам, смутно мелькающим сквозь фантастический перевод Бальмонта, по темам его и настроениям, которых, по-видимому, переводчику не удалось вконец затуманить, приходится заключить, что Каспрович довольно слащавый,

очень многословный и чрезвычайно скучный поэт; принявшись читать эту прекрасно изданную книгу стихов, постепенно чувствуешь, что тупеешь; ни одной драгоценной мысли, ни одного запоминающегося образа, — какое-то монотонное, нудное, амфибрахическое спотыкание. Цитирую наудачу: «Боюсь, чтобы сон в миг тот праздный меня не окутал, как груда, и мне отрезал бы света он тьмою, плывущей оттуда. Хочу с той горы увидать я кровавое рденье заката, как юный на рдяность восхода смотрел с высоты я когда-то. Хочу посмотреть я...» и т. д. до бесконечности, до умственного обморока. Быть может, по-польски все это звучит иначе, быть может, форма подлинника безупречная и есть в нем особенные пленительные оттенки, искупающие бедность содержания. Не знаю. Переводчик замел следы.

ВЛАД. ПОЗНЕР. СТИХИ НА СЛУЧАЙ
Париж

Прилежный слух различит, как тютчевский «ветр», пробежав бурной зыбью по лире Блока и Анненского и последним своим дыханьем распушив крыло музе Ходасевича, — ныне, уже бессильным искусственным отголоском звучит в стихах некоторых современных молодых поэтов. Вот почему то, что хорошо в сборнике Познера, вызывает вместо удовольствия какое-то странное раздражение, словно в этой пэонистой бурно-вещественной поэзии знакомый нам «ветр» производится пропеллером в кинематографической мастерской. «Природы вражеского груза, — пишет Познер, — не выдержать душе. Лучом ночь пронзена. Вдруг вихрь. И муза-хранительница за плечом». Или: «Но нам не спится; — за окном, над сетью рельс, камней и будок, старинный сотрясая дом и потрясая наш рассудок, кровь отгоняя от лица и разрывая жизнь на части, несется ветр больших несчастий, опустошающий сердца». Оба приведенных отрывка несомненно хороши, — но назойливо вспоминается Ходасевич, и это воспоминание мешает ими наслаждаться. Мучительно знакомо и другое — то манерное злоупотребление средними в ямбическом стихе пэонами (отчего стих посредине как бы проваливается), которое могло бы заставить поверхностного читателя поверить в «насыщенность»

познерского стиха. Этот проваливающийся ямб такой же модный недуг, как уже однажды отмеченная мной любовь «парижских» молодых поэтов к длинным, якобы музыкальным, прилагательным, начинающимся с «не».

«Я одиночествую вечерами», «как останавливаются зрачки», «уже выветриваются духи» и т. д. — таких опошленных ритмов у Познера много. И с этим как-то связана его (тоже знакомое явление) манерная прозаичность. Такие строки, как «в действительности нужно лишь немного обыкновенной углекислоты» или «что я тебя сумею (!) разлюбить, но очень медленно и постепенно», — проза, да и дурная. Мало того: в своем стремленье к глубокому и потрясающему Познер иногда творит наивную нелепость. Что такое, например, «новорожденного лепет», слыхал ли когда-нибудь автор такой лепет? Или: «но были, кажется, полны мои черты такой пророческой тревогой, что черные шарахались коты, чтоб я им не перебежал дорогу». Можно ли так выворачивать наизнанку обиходную суеверную примету? В другом месте нахожу следующий образ (почему-то напоминающий смерть Марата): «Купающееся в крови, о сердце, лучше не зови». Или вот такая двусмысленность: «Карузо с Шаляпиным позорит граммофон» (кто кого?). Не везет Познеру с ударевьями (лифтá, суднá).

Поэтический дар у Познера есть; но поэтом он не станет, пока не поймет, что кроме всем известного шаблона «грез» и «роз» есть еще и другие, быть может более коварные, шаблоны.

НИНА СНЕСАРЕВА-КАЗАКОВА. «ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ» Прага

На современных молодых поэтесс Ахматова действует неотразимо и пагубно. От нее-то пошла эта смесь женской «греховности» и «богомольности», эти четверостишия, в которых первые два стиха отведены одной мысли, остальные два — другой, — отчего строфа напоминает футлярчик с двумя отделениями. Нина Снесарева-Казакова влияния этого не избежала: она тоже «приходит в рубище с глазами богомолки», у нее тоже строфа двухместная («Пусть месяц уже не светит и холоден купол сада, о только бы жил

на свете мой милый, моя отрада»), и она тоже «эротичка, грешница злая, за все годы, как правило, на вечерне свечу Николаю никогда не поставила». Многовато в этой книжечке слабых, безграмотных или безвкусных строк (нельзя «своей мечтой грустить», нехорошо, что судьба женская «плевок на Божью ризу», опасно рифмовать «утесы—слезы» и т. д.), но наряду с этим есть прелестные просветы. Хороши, например, строки о России, «благоухание России», «невозмутимая прозрачность ее лесов, ее полян, и в три оконца домик ветхий, и в землю вкопанный овин, и перепутанные ветки кудрявых яблонь и рябин». И очень образно сказано в другом стихотворенье: «роса как бусы-камушки на пальчиках швеи; пришиты к ветке рядышком помпоны-воробьи».

ВЫСТАВКА М. НАХМАН-АЧАРИЯ
Галерея Каспер

Человек, у которого есть чувство красок, счастлив в счастливом мире, где проливной дождь — не предвестник насморка, а прекрасный перелив на асфальте, и где на ничтожнейшем предмете обихода горит обольстительный блик. У г-жи Нахман-Ачария это чувство есть, и она умеет им воспользоваться полностью. Мне особенно понравились две натюр-морт: прозрачного стекла бутыль, вся пронизанная светом, и гроздь синего винограда, подернутого драгоценной поволокой. Превосходны также некоторые портреты, — женщина в черной косынке на фоне северного ландшафта, дымчато-зеленый толстолицый Будда, худой индус в профиль. Очень приятная выставка, лишний раз доказывающая, как высоко стоит русская живопись.

«ЗВЕЗДА НАДЗВЕЗДНАЯ»
YMCA. Париж

В сказке или сказании, как и в шахматной задаче, должно быть то, что называется pointe, иначе говоря, соль, изюминка. Читая сказания Ремизова, поражаешься их безнадежной

пресности, т. е. не находишь в них именно того, что одно может оправдать этот литературный жанр. Не оправданием является и то, что Ремизов, дескать, подражает древним апокрифам, сказаниям калик перехожих. В апокрифе, в легенде есть антикварное очарование, таинственные перспективы древнего мышления, пейзажи, облагороженные далью, символы, которые во время оно были полны благоухания и значения. Надобно какое-то особое вдохновенное воображение, необыкновенное мастерство, чтобы сочинить такие же бесхитростные сказки, какие сочинялись в старину.

Ни особого воображения, ни особого мастерства у Ремизова не найдешь. Сказки в этой книге производят впечатление чего-то неустойчивого, безответственного, случайного. Когда автор приводит ряд образов (а рядов, перечислений, описей — хоть отбавляй), не чувствует читатель того внутреннего закона, который, глубже ритма и вернее смысла, определяет количество и качество данных образов. «Иуда к речке прибежал — река ушла; в лес бежит — наклоняется лес» — и читатель одолеваем какой-то мысленной щекоткой и не знает, почему автор ограничился лесом, речкой и рекой и не прибавил еще чего-нибудь, скажем: «прибежал к горке — сгладилась гора» и т. д. Или вот, перечисляет Ремизов части, из которых Бог создал человека: «от земли — остов, от моря — кровь, от солнца — красота» и т. д. Можно и прибавить, и отсечь — впечатление от этого не изменится. А кроме того, автор злоупотребляет астрономией, хотя, правда, не против нее, а против вкуса грешит он, когда в одной сказке говорит о звезде, принесенной Богородицей, в другой утверждает, что солнце — «Божья слеза», в третьей заставляет Бога взять от того же солнца красоту, чтобы дать ее человеку. Страшно то, что опять-таки ничего бы не изменилось, если бы Богородица принесла «солнце надсолнечное» вместо «звезды надзвездной» и если бы не солнце, а звезда оказалась бы «Божьей слезой». «Гремит ад громом, бурит бурей» — внакидку вяжет автор, — и читатель автоматически прибавляет «огнит огнем». Автор играет в кубики. Автор играет в перечисления. Автор играет в очень скучную игру.

Добро еще, если бы слог Ремизова был безупречен. Но, увы, — какая небрежность, какой случайный подбор слов, какой подчас суконный язык... «Угрюмо жуткою ночью сменялись первые дни на земле» или: «жестокий сумрак

безлунный безмолвием облек город». Не лучше «подстреленное оскорбленное сердце» и «кровью обливалось сердце, искало выхода» (сердце Богородицы, которое «ищет выхода», — это, в смысле стиля, даже как-то кощунственно). И уже к области недопустимых курьезов относится следующее: «становились на колени, и змий с ними». Нет, это не простое неведение (автор знает, что у змия нет колен, на которые он мог бы становиться), но это и не святая непосредственность. Это есть признак той небрежности, отпечаток которой лежит на всей книге.

ПАМЯТИ Ю. И. АЙХЕНВАЛЬДА

Узнавать человека значит создавать человека: накапливаются в нашей душе его черты и приметы, растет, развивается, окрашивается его образ, каждая новая встреча с ним обогащает нам душу, и чем больше стройности и правды в этом творчестве, тем больше мы любим человека. И когда — все так же незаметно — мы с ним сближаемся, когда привыкаем к нему — то уже образ его столь жив в нас, столь трепетен и ярок, что кажется, будто труд окончен, человек нами создан, и годы идут, и человек этот уже часть нашей души. И бывает так, что этот человек, сам человек, образ которого кропотливо усвоила наша душа, внезапно умирает, и тогда... что же тогда? Недоумение, нелепость, чувство какого-то потрясающего внутреннего несовпадения, — ибо образ человека, которого мы любили, созданный упорным, счастливым трудом, продолжает, конечно, жить, его имя, как и вчера, полно жизни, губы произносят его, как живое, — и в заголовке некролога, уничтожающем все человеческое, житейское, привычно-звуковое, мерещится ложь.

Умер Юлий Исаевич Айхенвальд. Разбег его существования резко был пресечен, но в нас его отображенная жизнь продолжает стремиться, и ее замедление, ее застывание будет очень постепенно. Для меня, для многих, близко знавших его, он сегодня так же жив, как и в ту субботу, за полчаса до несчастия, когда, запирая парадную дверь, я видел сквозь стекло его удалявшуюся сутуловатую спину. В ушах звучит его голос, осторожная убедительность его

интонаций, особое ударение на частице «не», когда, назвав одно прекрасным, он называл другое не прекрасным. Я вижу его, как он скромно и близоруко пробирается через многолюдную комнату, слегка вобрав голову в плечи, прижав локти к бокам, и, подойдя к человеку, которого искал, вдруг вытягивает узкую руку и трогает его за рукав мгновенным, легчайшим прикосновением.

О да, есть земная возможность бессмертия. Умерший продолжает подробно и разнообразно жить в душах всех людей, знавших его; одни его знали близко, другие должны удовольствоваться внешним впечатлением, добычей двух-трех встреч, — есть и те, которые видели его только раз. И каждый по-своему воспринял человека, так что покойный остался на земле во многих образах, иногда гармонически дополняющих друг друга. Но лично знавшие его умрут; вот первая стадия этой продленной жизни окончена, вот люди уже знают о нем только понаслышке, по записям, его образ длится, но он скуп и холоден. И нам больно предчувствовать тот будущий холод, — когда только имя будет еще жить. Да и то сказать... Как ни философствуй, как ни утешай себя восприимчивостью пяти своих чувств, — все равно, все равно подлинного человека, того единственного образца, уже сейчас нет. Он ушел к себе домой поздно ночью, шел занятый своими мыслями, течение и суть которых никто, никто не может узнать. И с площадки трамвая только вагоновожатый да случайный немецкий студент одни видели, как сутулый человек доверчиво шагнул на рельсы. И так его жалко становится, так жалко этого нежного человека, что вдруг строка, которую пишешь, как бы уходит в туман.

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ». XXXVII

...«Выйдя на балкон, я каждый раз снова и снова, до недоумения, даже до некоторой муки, дивился на красоту ночи: что ж это такое и что с этим делать! Я и теперь испытываю нечто подобное в такие ночи. Что же было тогда, когда все это было внове, когда было такое обоняние, что отличался запах росистого лопуха от запаха сырой травы...»

Выписываю эти звучные, душистые слова, проникнутые такой жадностью до красоты, таким бунинским волнением, — и кажется, выписал бы, если б было можно, одну за другой, все эти потрясающе-прекрасные страницы «Жизни Арсеньева», не прицепляя к ним никаких похвал, ибо качество их, высокое их совершенство вызывает чувство, подобное чувству молодого Арсеньева перед совершенством лунной ночи: не выразить. О смерти и о соловьях, «о бархатно-фиолетовом ящике», где лежит «нечто, с покорно скрещенными и закаменевшими в черных сюртучных обшлагах руками», и о «весенней свежести, отовсюду веявшей в дом» равно прекрасно пишет Бунин; страшным великолепием, томным великолепием, но всегда великолепием полон его мир, — и читаешь Бунина, словно идешь «по росистой, радужной траве», чувствуя — от почти физического прикосновенья его слов — особое блаженство, особую свежесть.

Следующая вещь в книге — повесть «Анна» Зайцева. Ровный, тускловатый слог этого автора, его благородное дарованье лишены пленительности, его герои — латыш Матвей Мартыныч, помещик Аркадий Иваныч, умирающий от нефрита, докторша Марья Михайловна, сама Анна — не совсем живые, точно автор недодал им дыханья, был чем-то стеснен, создавая их. И если в его повести есть такие превосходные страницы, как, например, описанье того, как резали и палили свинью («...сквозь белесую щетину просвечивала розовая шкура»), то есть и такие, где чувствуется влияние шаблонов, литературных традиций. «Анна помолчала, вдруг сказала: “Любовь страшная вещь”», или дальше: «Всего съедает (любовь). Вот как эту спичечку, — тлеет, золотится...» В жизни бывает, что вслух сравнивают жизнь со спичкой, но не бывает, чтобы при этом так литературно описывали самый огонек спички («тлеет, золотится...»). Эта неестественность портит там и сям приятную зайцевскую повесть.

Засим — «Московские любимые легенды». Поклонников Ремизова эти легенды (о Николае и его чудесах), вероятно, приведут в восторг; обыкновенному же читателю будет скучновато. Нельзя безнаказанно писать о чудесах: чудесное испаряется. Механическое появление чудотворца Николая, особенно во время кораблекрушения (в новой книге Ремизова «Три серпа», изд. «Таир», Париж, — корабль тонет чуть ли не на каждой странице), утомляет и читателя и

чудотворца. Неутомим только сам Ремизов. Нарочитая наивность этих легенд так раздражает, что иное меткое слово автора как-то даром пропадает, теряется в общем докучном узоре. И что уже вовсе неприемлемо — это анахронизмы. Прелесть анахронизмов, встречающихся в древних апокрифах, заключается в том, что они естественны; там нехитрое воображение преломляет незнакомое в знакомые образы, превращает пальму в березу. Ремизов же щеголяет сознательными анахронизмами на фоне древнего быта, для изображенья которого потребовалось глубокое знание старины — я бы сказал, навык старины. Это несомненное знанье и делает его анахронизмы неприятными. Кроме того, в них чувствуется не столько московский быт (как, казалось, должно было быть, судя по заглавию), сколько русский Париж.

Минуя «Тезей» Марины Цветаевой, который вызывает только недоуменье, сильную головную боль да чувство досады за талантливую поэтессу, развлекающуюся темным рифмоплетством, читатель найдет немало хорошего в повести Евангулова «Четыре дня» (о том, как страдал от голода русский эмигрант в Париже) и в рассказе Темирязева «Домик на 5-й Рождественской» (о судьбе обитателей этого домика во дни революции). Повесть Евангулова очень проста, написана без всяких ухищрений, чистым слогом. Прекрасно передана слабость от голода, тошнота, головокруженье, хорош зеленый отсвет листьев в Булонском лесу на лице голодного человека. У автора были, вероятно, затруднения — как кончить повесть (она написана от первого лица), не мог же герой умереть голодной смертью. Последняя строка объясняет, как он был спасен: «две пары сильных рук хватают меня за плечи и за ноги и несут куда-то». Удачно ли это.

Рассказ Темирязева ярок и отчетлив, но автору хочется посоветовать отбросить некий прием, которым он пользуется. Вот образец этого приема: «“спокойствие, спокойствие, спокойствие”, твердит Петушков (обнищавший мещанин, которому прохожий бросил в шляпу окурок), продолжая неподвижно стоять... и если рука, державшая шляпу, иногда вздрагивала, то это происходило исключительно от холода или от мускульного напряжения». Вот это кокетливое «исключительно» — прием сомнительный, часто встречающийся, кстати сказать, у Эренбурга. Зачем эта маска, зачем не просто сказать (или показать), что человек был оскорблен, рассержен?

Литературный отдел завершается стихотворениями Ходасевича, Оцупа, Адамовича и Лебедева. Из трех стихотворений Ходасевича первое можно легко выписать целиком: «Лоб — мел. Бел гроб. Спел поп. Сноп стрел — день свят! Склеп слеп, тень — в ад». К поэзии оно отношения не имеет, но как шутка высокого мастера — забавно. Зато остальные два стихотворения прекрасны своей точностью и трепетностью. Изумительный поэт.

Все три стихотворения Оцупа пресно-прозаичны. Впрочем, во втором из них (где есть строки «уже не раз, не правда ли, ночами ты обрывался в сумрак ледяной») Оцуп пытается подражать Ходасевичу, — не очень успешно. О двух стихотворениях Адамовича — лучше умолчать. Этот тонкий, подчас блестящий литературный критик пишет стихи совершенно никчемные. Что бы сказал сам автор, если ему пришлось бы, как критику, оценить такие, например, строки: «Кто эта женщина? Зачем молчит она? Зачем лежит она сейчас со мною рядом?» Наконец, стихотворение Лебедева — «о крыльях» — умело написано, но ровно никакого следа в памяти не оставляет.

«ВОЛЯ РОССИИ» 1929, Кн. II
(Литературный отдел)

Вначале — чрезвычайно претенциозные «рассказы о несуществующем» Б. Сосинского. В них есть всякие типографские ухищренья в стиле Ремизова и такие образы, как: «...счастливый, как глаза Линдберга, увидевшего европейский берег». Эстетам эти рассказы понравятся.

В «Итальянских сонетах» К. Ирманцевой есть отдельные хорошие строки, но нет стройности, простоты и естественности, требуемых слухом от сонета. Чувствуется искусственность рифм, неправилен слог, некоторые ударенья не на месте (напр., «цветов минда́ля кожа розовей»). И все так «изысканно» и «изломанно»...

Далее — статья «Несколько писем Райнер Мариа Рильке» Марины Цветаевой и ее же переводы из этих писем. Статьи я не понял, да и, кажется, понимать ее не нужно: М. Цветаева пишет для себя, а не для читателя, и не нам разбираться в ее темной нелепой прозе. В переводах, к сожалению, тоже чувствуется ее слог. Есть и такие забавные

предложенья: «Вот строфы, сложенные для вас в субботу, гуляя по восхитительной аллее Холлингского замка». Совершенно непонятно, почему, кроме отрывков из писем Рильке, приведено еще некое письмо, о котором так говорит французский писатель Е. Жалу (автор книжки о Рильке): «Несколько дней спустя после смерти Райнер-Мариа я получил следующее письмо, подписанное просто “Неизвестная”. Даю его, не изменив ни слова. Это такое человеческое, такое голое свидетельство...» и т. д. Увы! не «голое свидетельство», а махровая пошлость. В нем «незнакомка» очень пространно и слащаво повествует, как, при ней, Рильке дал парижской нищей красную розу вместо денег, и как эта нищая схватила его руку и поцеловала ее и «в тот день уже больше не просила». Письмо настолько безвкусно, случай, в нем изложенный, настолько в стиле тех напыщенных писателей, к типу которых принадлежит сам Жалу, что хочется, из уваженья к Рильке, сомневаться в истинности всего происшествия.

Неплохи стихи Вячеслава Лебедева, хотя уж очень похожи на те, что ныне пишутся. Любопытны, живо написаны очерки Гл. Гонцова («Снова по родной земле»). Суконным языком излагает госпожа Мельникова-Папоушек свои не лишенные интереса взгляды на «открытие Европы», делаемое советскими писателями. Наконец, некий В. Р. пишет длинную обстоятельную статью («Интересное явленье») о журнале «Русский Архив» (выходящем в Югославии на сербохорватском языке). Приведены обширные хвалебные цитаты из местных газет, — и читатель недоумевает, пока не находит объявление в конце книги, из коего объявления оказывается, что в «Русском Архиве» и в «Воле России» одни и те же сотрудники. Впрочем, это уже относится к «политическому» отделу книги.

ИВ. БУНИН. ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

Издательство «Современные записки». Париж. 1929

Стихи Бунина — лучшее, что было создано русской музой за несколько десятилетий. Когда-то, в громкие петербургские годы, их заглушало блестящее бряцание модных лир; но бесследно прошла эта поэтическая шумиха — раз-

венчаны или забыты «слов кощунственные творцы», нам холодно от мертвых глыб брюсовских стихов, нестройным кажется нам тот бальмонтовский стих, что обманывал новой певучестью; и только дрожь одной лиры, особая дрожь, присущая бессмертной поэзии, волнует, как и прежде, волнует сильнее, чем прежде, — и странным кажется, что в те петербургские годы не всем был внятен, не всякую изумлял душу голос поэта, равного которому не было со времен Тютчева. Полагаю, впрочем, что и ныне среди так называемой «читающей публики» — особенно в той части ее, которая склонна видеть новое достижение в безграмотном бормотанье советского пиита, — стихи Бунина не в чести или, в лучшем случае, рассматриваются как не совсем законная забава человека, обреченного писать прозой. Оспаривать такой взгляд нет нужды.

Среди «избранных стихов» Бунина нет многих, которые хотелось бы перечесть. Они печатались вместе с рассказами автора, в тени его прозы, они есть в старых журналах, в приложениях к «Ниве», в отдельной книжке, бедно и неряшливо изданной той же «Нивой». Все это хотелось бы видеть собранным, всякая строка Бунина достойна быть сохраненной. Но спасибо и за этот сборник (кстати сказать, очень изящный по внешности), за эти двести бунинских стихотворений.

Легко громить стихотворца, легко выуживать из его виршей смешные ошибки, чудовищные ударенья, дурные рифмы. Но как говорить о творениях большого поэта, где все прекрасно, где все равномерно, как выразить прелесть и глубину его стиха, новизну и силу его образов, как выписывать цитаты, — когда за цитатой целиком тянется на бумагу и все стихотворение? И еще есть трудности: музыка и мысль в бунинских стихах настолько сливаются в одно, что невозможно говорить отдельно о теме и о ритме. Пьянеешь от этих стихов, и жаль нарушить очарование пустым восклицанием восторга.

Вот я прочел эту книгу, отложил ее и начинаю вслушиваться в тот дрожащий, блаженный отзвук, который она оставила. И постепенно различаю особый бунинский лейтмотив, наиболее простое выражение которого — повторение, томное повторение одного слова: «...пойте, пойте, сверчки, мои товарищи ночные...», «и зал плывет, плывет в протяжных напевах счастья и тоски...», «воркуя, ходят,

ходят турмана...», «звон бубенцов течет, течет...». И, найдя этот ритмический ключ, уловив этот звук, я уже чувствую его дальнейшее развитие — музыкальное перечисление действий или вещей, почти заклинательное восклицание, две строки, начинающиеся одинаково: «Только звон твой утренний, София, только голос Киева...»

Основное бунинское настроение, соответствующее этому основному ритму, — есть, быть может, самая сущность поэтического чувства творчества вообще, самое чистое, самое божественное чувство, которое может человек испытать, глядя на роспись мира, слушая его звуки, вдыхая его запахи, проникаясь его зноем, сыростью, холодом. Это есть до муки острое, до обморока томное желание выразить в словах то неизъяснимое, таинственное, гармоническое, что входит в широкое понятие красоты, прекрасного. «О мука мук, — сам говорит поэт, — чтó надо мне, ему (голому клену “на пустоте лазоревой и чистой”), щеглам, листве? И разве я пойму, зачем я должен радость этой муки, — вот этот небосклон, и этот звон, и темный смысл, которым полон он, вместить в созвучия и звуки?» Величие Бунина как поэта и заключается в том, что он эти звуки находит — и стих его не только дышит этой особой поэтической жаждой — все вместить, все выразить, все сберечь, — но жажду эту утоляет. Возвращаясь к понятию «прекрасного», можно отметить, что для Бунина «прекрасное» есть «преходящее», а «преходящее» он чувствует как «вечно повторяющееся». В его мире, как и в ритме его стиха, есть сладостные повторения. А мир этот неслыханно обширен. В стихотворении «Собака» (начинающемся так характерно: «Мечтай, мечтай...») сам поэт говорит, что он, «как Бог, обречен познать тоску всех стран и всех времен». Русскую усадьбу и русскую сказочную глушь — «Русь киевских князей, медведей, лосей, туров»; долины Иордана и «пыльную дорогу в Назарет»; итальянские глицинии и руины, и «огни и песни в Катанее...»; «Забытый портик Феба» на острове, в Эгейском море; Нил и «живой и четкий след ступни», сохранившийся на голубом и тонком слое пыли и на пять тысяч лет умноживший жизнь, данную поэту; Босфорский дым, смешанный с холодом воды, пахнущий медом и ванилью; Индийский океан, где «от звезды к звезде шатался великой тростью зыбкий фок...», и «окраина земли» — Цейлон, — все почувствовал Бунин, все пере-

дал. «Земля, земля! Несчетные следы я на тебе оставил... Но нет, вовек не утолю я муки — любви к тебе!» И бунинские стихи о чужих странах не просто «описательные стихи» и не те «восточные мелодии», которыми так беззвучно щеголяют второстепенные поэты. Никакой «экзотики» в них нет. Мечту чужого народа, чужую легенду и незаметную для туриста подробность пейзажа Бунин чувствует так же живо, так же пронзительно, как «скрип прогнивших половиц» в родной усадьбе, сырой сад, озаряемый ночной молнией, или простую, грубоватую русскую сказку, — которую он, как никто, умеет оживить творческим дыханием. Этому богатству тем соответствует богатство ритмов. Всеми размерами, всеми видами стиха Бунин владеет изумительно. Его сонеты — по блеску и естественности рифм, по той легкости и незаметности, с которыми его мысль облекается в эту столь сложную гармонию, — бунинские сонеты — лучшие в русской поэзии. Необыкновенное его зрение примечает грань черной тени на освещенной луной улице, особую густоту синевы сквозь листву, пятна солнца, скользящие кружевом по спинам лошадей, — и, уловляя световую гармонию в природе, поэт преображает ее в гармонию звуковую, как бы сохраняя тот же порядок, соблюдая ту же череду. «Мальчишка негр в турецкой грязной феске висит в бадье, по борту, красит бак, — и от воды на свежий красный лак зеркальные восходят арабески...»

Я говорил уже о том, что прекрасным для Бунина является «преходящее» (поэтому столько у него стихов, посвященных гробницам, развалинам, пустыням...). Воскликнув: «о миг счастливый!», он добавляет: «о миг обманный!» Петух на церковном кресте, который «плывет, течет, бежит ладьей» (чудесное бунинское повторение глаголов!), «поет о том, что все обман, что лишь на миг судьбою дан и отчий дом, и милый друг, и круг детей, и внуков круг...» На гробнице Рахили нет «ни имени, ни надписей, ни знаков...».

Казалось бы, что такое глубокое ощущение преходящего должно породить чувство безмерной печали. Но тоска больших поэтов — счастливая тоска. Ветром счастья веет от стихов Бунина, хотя не мало у него есть слов унылых, грозных, зловещих. Да, все проходит, — но: «Земля, земля! Весенний сладкий зов, ужель есть счастье даже и в утрате?» И Христос так говорит Матери (— скорбящей о том, что одни цветы сгубит зной, другие срежут косами): «Мать! не

солнце, — только землю тьма ночная кроет: смерть не семя губит, а срезает лишь цветы от семени земного. И земное семя не иссякнет. Скосит смерть — любовь опять посеет. Радуйся, любимая! Ты будешь утешаться до скончанья века!» Все повторяется, все в мире — повторение, изменение, которым «неизменно утешается» поэт. Этот блаженный трепет, этот томно повторяющийся ритм есть, быть может, главное очарование стихов Бунина. Да, — все в мире обман и утрата, где были храмы — ныне камни да мак, все живое угасает, все превращается в атласный прах на плитах склепа, — но не мнима ли сама утрата, если мимолетное в мире может быть заключено в бессмертный — и потому счастливый — стих?

А. ДАМАНСКАЯ. «ЖЕНЫ»
Париж

Татьяна Михайловна Мятлина, живущая в Париже, существующая уроками («Ужин, чай, выгладить носовые платки, подготовиться немного к первому утреннему уроку истории — с Ниночкой Еврошиной...»), посылает письмо французскому беллетристу Раймону де Марто («Я с большим волнением читала вашу книгу. О женской чуткости... так тонко не писал ни один мужчина...») и получает в ответ пышное и хлыщеватое послание, в котором много говорится о славянской душе, безбрежности русской степи и буйстве половецких танцев. Такова завязка первого из шестнадцати рассказов, составляющих новую книгу г-жи Даманской. Посмеяться над Раймондом (и в ком из французских писателей не сидит такой Раймонд) — задача для русского автора не трудная, и Даманская выполняет ее изящно, не перебарщивая. Вообще говоря, нашу писательницу привлекает тема франко-русских отношений: вот, например, русский бродяга, разговорившийся с благополучным парижским мещанином, который предлагает ему стакан вина, но особенно тщательно запирает дверь после его ухода; а вот французский следователь, допрашивающий по делу об убийстве певицу Ирен Заболъда, по паспорту Забольдину, дочь русского помещика, у которой, по ее словам (сказанным, по-видимому, в минуту волнения,

когда человек теряет власть над родным языком), «дом был полная чаша и всегда полон гостей».

Конечно, забавно, как француз ищет в глазах эмигрантской труженицы отражение половецких костров, — но впечатление от этой острой иронии несколько ослабляется тем, что сама г-жа Даманская склонна в иных рассказах обобщать жизненные явления с легковерностью иностранца. Было бы, например, вполне нормально, если б французский автор нашел пряную и занимательную фабулу в том, как в образцового гарсона образцового парижского кафе превращается по воле эмигрантской судьбы прежний русский барин («Красивым изящным барством дышала вся его большая фигура в летней серой паре, чистотой, довольством, умением жить», — как, к сожалению, пишет г-жа Даманская). Русскому же читателю такая метаморфоза кажется, именно вследствие своей литературной очевидности, несколько сомнительной и в некотором отношении даже вредной, ибо поощряет иностранцев в нахождении ладожских губернаторов под личиной парижских гарсонов. С тонким юмором вскрывая ошибочные представления французов, г-жа Даманская иногда впадает сама в аналогичные заблуждения. Так, в одном рассказе повествуется о собачке Мусташ, принадлежащей русской барышне, за которой ухаживает женатый норвежец; собачка с ним очень подружилась, но вот — норвежец умирает на скамье бульвара, получив телеграмму о финансовой беде. «Мусташ в этот день не вставал вовсе со своего коврика. Не скулил, не выл, а стонал по-человечески. К полудню его не стало: потом уже установили, что своего друга пережил он на каких-нибудь десять-пятнадцать минут». Мне почему-то кажется, что если бы собачки (не говоря уже о норвежцах!) умели читать по-русски, им было бы так же смешно узнать о «собачьей душе», как смешно г-же Даманской читать о «славянской душе». Конечно, это только предположение, иная бы собачка, быть может, прослезилась.

Впечатление чего-то неточного, непроверенного оставляют и некоторые другие образы в книге. Так, прочтя фразу о женщине, которая «с орошенным кровью лицом шагнула назад», или о женщине, у которой лицо «заливалось малиновым сиропом», бесхитростные могут подумать, что в первом случае речь об опасном ранении, а во втором о кухонной катастрофе. На самом же деле это только два изысканных способа сказать, что человек покраснел.

Надо, однако, признать, что не всегда г-жа Даманская следует по линии наименьшего сопротивления, не всегда заставляет человека с лицом, перекошенным таинственным страданием, оказываться скрывающимся от суда преступником... Когда автор описывает свой переход через русскую границу или любовь дворника-менестреля, который «министрелил» на балалайке и так «разминистрелился» с горничной Дашей, что жена насилу его отвоевала, — всюду попадается живописный штрих, меткое наблюдение, — и все это легко, без нажима пера. Простой описательный рассказ, основанный на действительной жизни, — вот настоящая область г-жи Даманской.

КУПРИН. «ЕЛАНЬ» (РАССКАЗЫ)
«Русская библиотека». Белград

«...В гнедых и рыжих надо верить. Не скажу дурного слова и про вороных. Только без нужды горячи и скоро взмыливаются. Относится это отчасти и к караковым и к игреневым...» Как прекрасно, когда у большого писателя есть страсть к чему-нибудь. Обо всем он пишет превосходно, но есть на свете нечто, о чем он особенно хорошо пишет. Зрение и нюх, всегда обостренные у писателя, доходят тогда до предельной проникновенности, и обычный уровень писательской наблюдательности сразу повышается, ибо тут постоянная творческая зоркость облагораживается опытом знатока. Сам Куприн отмечает, что, когда русский человек говорит о своем привычном и любимом деле, поражаешься точности и чистоте языка, сжатой свободе речи и легкой послушности необходимых слов. Когда же не просто русский человек, а русский писатель, получивший от Бога щедрый дар, говорит о том, что он знает и любит, о безысходном в своей нежности и странности увлечении, — тогда можете себе представить, какая у него точность и чистота выражений, как волнуют его слова. Так пишет Куприн о прелести лошади, о ее горячем сильном дыхании и чудесном запахе, и, читая этот первый рассказ в сборнике, так и ощущаешь все время под губами теплую, шелковую лошадиную кожу, нежную, ни с чем не сравни-

мую впадину над ноздрей. Чего стоит, например, вот это: «От множества причин еще может зависеть неуспех бега: лошади нездоровилось, а этого не успели доглядеть, проснулась в дурном настроении, видела, может быть, дурной сон». И сразу наше воображение зажжено упоминанием о сне, который, может быть, видела лошадь, и поневоле чувствуешь, что Куприн даже и это знает — сон лошади, и такое знание для него столь же легкое и естественное, как знание лошадиных мастей. Но безысходность... Куда деть и как писателю самому себе объяснить волнение, страсть... Ведь человек в данном случае создан как будто только для того, чтобы писать книги, и писать их прекрасно, а он «всю жизнь мечтает о тренировке породистых скаковых лошадей». Руссо мнил себя ботаником (кстати сказать, ботаником он был прескверным, но писал о растениях с большим подъемом); очень возможно, что Куприн, отказавшись от писания книг, был бы прекрасным тренировщиком лошадей, но потеря для русской литературы была бы огромная.

В этом небольшом сборнике есть рассказы не только о лошадях, но и о собаках, о цирке, о волшебной скрипке, о ковре-самолете. Все они, конечно, очень купринские. Талант автора так и прыщет из каждой, даже неряшливой, строки; однако почему-то сдается, что иные страницы являются просто быстрыми записями, просто материалом — живым и богатым материалом — для более гармонических и строгих трудов.

Но грех пенять, — очень все-таки хорошо, очень хорошо.

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА. «ИЗОЛЬДА»
Изд. «Москва»

Главные действующие лица этого романа: Лиза, брат ее Николай, их мать, двое материнских любовников (еврей Рохлин, по прозванию Кролик, и Борис) и двое Лизиных поклонников (англичанин Кромуэль и Андрей). Лизе четырнадцать лет, Андрею шестнадцать, Николаю, по-видимому, столько же, да и Кромуэлю не больше, так как он еще учится в среднеучебном заведении Итоне.

Знаменитый надлом нашей эпохи. Знаменитые дансинги, коктейли, косметика. Прибавьте к этому знаменитый эмигрантский надрыв, и фон готов.

На пляже в Биаррице молодой Кромуэль читает книгу «Тристан и Изольда». Вдруг... «Прямо на него шла Изольда... Большие, светлые, прозрачные глаза внимательно смотрели на море, будто ожидая чего-то» (знакомое, увы, читателю ожидание). Автор топит какую-то девочку и в общей суматохе очень ловко знакомит Кромуэля с «Изольдой», которую на самом деле зовут Лизой. Кромуэль знакомится и с братом Лизы, причем с бухты-барахты спрашивает его, играет ли он в поло, теннис, футбол, крикет. Такой англичанин пахнет клюквой. К тому же он итонец, а у итонцев спортивный наскок считается моветоном. Далее фабула развивается так: все возвращаются в Париж — Кромуэль, Лиза, Николай, мать, ее толстенький и несчастный Кролик, которого она разоряет и не любит. В Париже Кролик продает женины серьги, и на эти деньги Лизина мать уезжает с Борисом в Ниццу. Аналогичная история происходит и в детском мире. За счет Кромуэля кутят Лиза, Николай и Андрей, и в конце концов итонец остается без сантима. Но у него есть мать, у матери же есть драгоценности. Николай и Андрей, которым нужны деньги для «современного» разгула, убеждают Кромуэля мать ограбить: деньги, дескать, нужны для конспиративной поездки в Россию. Влюбленный в Лизу Кромуэль крадет драгоценности, после чего Николай и Андрей его убивают. Николая с жемчужным ожерельем ловят в Брюсселе, а Андрей и Лиза в течение первой ночи любви кончают самоубийством.

Все это написано, как говорится, «сухо», — что почему-то считается большим достоинством, — и «короткими фразами», — тоже, говорят, достоинство. Да, — я еще забыл сказать, что Лиза учится в парижском лицее, где у нее есть подруга Жаклин, которая наивно рассказывает о лунных ночах и лесбийских ласках. Этот легкий налет стилизованного любострастия (очень много о Лизиных коленках) и некоторая «мистика» (сны об ангелах и пр.) усугубляют общее неприятное впечатление от книги. И как странно герои говорят: «Лиза, ведь у тебя может родиться ребенок. Подумай, Лиза, ребенок, твой и мой. Ты обещай мне, обещай ничего не делать. Пусть он родится. Ты будешь смотреть ему в глаза и вспоминать меня. Наш ребенок».

НА КРАСНЫХ ЛАПКАХ

Пушкина немало насмешил тот злополучный критик, который по поводу строк «На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод...» глубокомысленно заметил, что на красных лапках далеко не уплывешь. Увы! С этим зоилом чрезвычайно схож по складу и направлению мыслей некий Алексей Эйснер, напечатавший в последнем номере журнала «Воля России» забавную своей молодой заносчивостью статью, в которой он силится доказать, что Бунин — не поэт, что стихи у него плохие, безграмотные, бедные по форме и по содержанию и никуда вообще не годные. Начинает Эйснер с того, что он удивляется, почему так хвалили бунинские стихи Степун, Ходасевич, Тэффи и нижеподписавшийся. Ничто не пропадает зря: особенно больно задело Эйснера именно место в моей рецензии, которое и было рассчитано, чтобы потревожить самодовольство любителей «современности», совершенно не способных понять вечную прелесть бунинских стихов. Посетовав на критиков, Эйснер переходит к разоблачениям. Это, оказывается, очень просто. Берется, скажем, бунинская строка «назад идет весь небосвод» и для большей наглядности подается в таком виде: «назад идет весне босвод». Не говоря уже о том, что нужно иметь уши Эйснера, чтобы расслышать эту «весну», могу ему предложить посетить со мной сады русской поэзии и нарвать у любого поэта таких же безобидных цветочков. Оттого, что в тютчевских строках (беру первый попавшийся пример) «с горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам» скрываются какое-то «рыбе» и какое-то «сунем», которые я и предоставляю отыскать читателю под руководством Эйснера, — эти строки все же не лишены поэзии (да и незачем так далеко идти: обратимся опять к стиху «задумав плыть по лону вод»... «ну вот»). Но особенно Эйснер обижается на то, что Бунин употребляет слова, ему, Эйснеру, неизвестные. К таковым, например, относится «дробный» («дробный ослик»), так отлично передающее и ход ослика, и робость, беззащитность его, — и какое кому дело, что, по неведению своему, Эйснер в «дробном» усматривает только дроби? Обижается Эйснер и на «астрагал» — растение очень распространенное; напрасно Эйснер, по завету Достоевского, плоховато знавшего природу, полагает, что «астрагала» ни в каком руководстве нет: найти его можно просто

в словаре русского языка; один из видов «астрагала» зовется розгой. Бьюсь об заклад, что Эйснер нетвердо знает, что такое и «гелиотроп», ибо, вместо того чтобы «увидеть» эти гелиотроповые бунинские молнии (замечательный оттенок лилового!) и услышать грозовой ритм стиха, он ни с того ни с сего вспоминает Игоря Северянина. Самые образные бунинские выражения, как, например, «сплошь темные глаза», которыми дедушка в молодости смотрелся в зеркала, эти «сплошь темные глаза», в которых особая прелесть старых портретов, с их внимательными, лишенными блеска глазами, почему-то навевают бедному Эйснеру какие-то анатомические кошмары. О бунинских рифмах он самого низкого мнения. Не из желания его смутить, а просто ради восстановления истины обращаю его внимание на то, что у Бунина рифма богаче, чем, скажем, у Гумилева (который, кстати, тоже рифмовал «гнезда» и «звезды», что Эйснер считает недопустимым).

Несколько раз Эйснер настолько невнимательно цитирует Бунина, что получается впечатление передержки. Ему не нравится бунинская чайка, с розовых лапок которой сбегает вода; но зачем же для объяснения своих чувств Эйснеру нужно сказать, что «розовая вода, сбегающая с лапок чайки, подробность невозможная»? Ведь никакой «розовой воды» у Бунина и нет. А вот другой, более хитрый, пример: Эйснер, приводя образцы бунинской «пошлости» (!), говорит, что Бунину все «радостно и ново», даже «уют алькова». Последние два слова, слепо вырванные из стихотворения, принимают как раз тот игривый смысл, который и хочет им навязать Эйснер. Насколько пошл этот прием, можно понять, обратившись к самому стихотворению, где просто изображается номер в хорошей гостинице, с видом на смуглый купол Исакия, который в заснеженные стекла смотрит «дивно и темно». Поэта радует это «финское утро», и яркий свет в номере, и уют алькова (альков значит углубление в стене для кровати), и «холодок сырых газет».

Далее Эйснер, явно презирающий животных, сердится на Бунина за то, что тот лучше знает и видит их, чем он сам. Ему не нравится, что поэт, «всматриваясь в апрельский день, отвлекается мелкой подробностью, описанием того, как пошла гулять в лес какая-то змея» (при этом вспоминается недоумение пушкинского зоила перед словами «жук жужжал» в описании сельского вечера: охота,

дескать, писать о каком-то жуке). Эйснеру не нравится, что Бунин как будто путает вола и быка (хотя можно же сказать, что у мерина конский хвост), что ослик у Бунина ушастый («ушастый осел» могло бы еще показаться плеоназмом, но «ушастый ослик» — это превосходный образ), что верблюд называется скотиной, и т. д.

Вся статья написана так, — с нелепым подбором цитат, с вульгарными кавычками. В ней чувствуется какая-то обида: Бунин Эйснеру не потрафил, Эйснеру неприятно, Эйснеру хотелось бы, чтобы не хвалили Бунина за стихи. К чести журнала «Воля России» нужно сказать, что произведение Эйснера снабжено примечанием: «Редакция не разделяет всех оценок автора настоящей статьи...». Еще лучше было бы ее совсем не помещать, ибо действительно... «на красных лапках далеко не уплывешь».

ТОРЖЕСТВО ДОБРОДЕТЕЛИ

Поверхностному уму может показаться, что автор этой статьи находится в более выгодном положении, чем любой советский критик, который, живо чувствуя классовую подоплеку литературы, проводит отчетливую черту между литературой буржуазной и пролетарской. Мое преимущество перед ним как будто заключается в том, что я совершенно несознательный элемент, не питаю никакой классовой ненависти к людям, живущим лучше меня, к золотозубому биржевику, хлещущему с утра шампанское, или к упитанному швейцару, состоящему, — как, впрочем, все берлинские швейцары, — в коммунистическом ордене, — а посему могу подходить к политике, философии, литературе без буржуазных или иных предрасположений. Однако проницательный и честный советский критик ответит, что человеческий, внеклассовый подход к вещам — абсурд или, точнее, что самая беспристрастность оценки есть уже скрытая форма буржуазности. Утверждение чрезвычайно важное, ибо из него следует, что выдержанный коммунист, потомственный пролетарий, и несдержанный помещик, потомственный дворянин, по-разному воспринимают простейшие в мире вещи — удовольствие от глотка холодной воды в жаркий день, боль от сильного удара по голове, раздражение от неудобной обуви и много других человеческих

ощущений, одинаково свойственных всем смертным. Напрасно я стал бы утверждать, что ответственный работник чихает и зевает так же, как безответственный буржуа; не я прав, а советский критик. Все дело в том, что классовое мышление — некая призрачная роскошь, нечто высокодуховное и идеальное, единственное, что может спасти от понятного отчаяния пролетарского человека, анатомически устроенного по буржуазному образцу и обреченного не только жить под буржуазной синевой неба и работать буржуазными пятипалыми руками, но и носить в себе до конца дней того костлявого персонажа, которого буржуазные ученые зовут буржуазным словом «скелет».

И вот получается любопытная вещь: как Марксово учение приобретает вдруг оттенок необычайной духовности при сопоставлении его с низкой буржуазной анатомией самого марксоведа, точно так же и советская литература по сравнению с литературой мировой проникнута высоким идеализмом, глубокой гуманностью, твердой моралью. Мало того: никогда ни в одной стране литература так не славила добро и знание, смирение и благочестие, так не ратовала за нравственность, как это делает с начала своего существования советская литература. Если уже искать слабую аналогию, то нужно обратиться к невинному младенчеству европейской литературы, к тому весьма отдаленному времени, когда разыгрывались бесхитростные мистерии и грубоватые басни. Черти с рогами, скупцы с мешками, сварливые жены, толстые мельники и пройдохи дьяки — все эти литературные типы были до крайности просты и отчетливы. Моралью кормили до отвала, суповой ложкой. Разглагольствовали звери — домашний скот и лесные твари, — и каждый из них изображал собой человеческий атрибут, был символом порока или добродетели. Но, увы, литература не удержалась на этой дидактической высоте, ее грехопадением была первая любовная песня.

К счастью, нет никаких оснований предполагать, что советская литература в скором времени свернет с пути истины. Все благополучно, добродетель торжествует. Совершенно неважно, что превозносимое добро и караемое зло — добро и зло классовые. В этом маленьком классовом мире соотношения нравственных сил и приемы борьбы те же, что и в большом мире, человеческом. Все знакомые литературные типы, выражающие собой резко и просто

хорошее или худое в человеке (или в обществе), светлые личности, никогда не темнеющие, и темные личности, обреченные на беспросветность, все эти старые наши знакомые, резонеры, злодеи, праведные грубияны и коварные льстецы, опять теснятся на страницах советской книги. Тут и отголосок «Хижины дяди Тома», и своеобразное повторение какой-нибудь темы из старых приложений к «Ниве» (молодая княжна увлекается отцовским секретарем, честным разночинцем с народническими наклонностями), и искание розы без шипов на торном пути от политического неведения к большевицкому откровению, и факел знания, и рыцарские приключения, где Красный Рыцарь разбивает один полчища врагов. То, что в общечеловеческой литературе до сих пор так или иначе еще держится в произведениях высоконравственных дам и писателей для юношества и будет, вероятно, держаться до конца мира, повторяется в советской литературе как нечто новое, с апломбом, с жаром, с упоением. Мы возвращаемся к самым истокам литературы, к простоте, еще не освященной вдохновением, и к нравоучительству, еще не лишенному пафоса. Советская литература несколько напоминает те отборные елейные библиотеки, которые бывают при тюрьмах и исправительных домах для просвещения и умиротворения заключенных.

Имена не запоминаются, имен нет. Матрос в изображении писателя второго сорта и матрос в изображении писателя сорта третьего ничем друг от друга не отличны, и только обезумевший от благонамеренности пролетарский критик может там и сям выскоблить ересь. В этой, в лучшем случае второсортной, литературе (первого сорта в продаже нет) тип матроса так же отчетлив, как, скажем, старинный тип простака. Этот матрос, очень любимый советскими писателями, говорит «амба», добродетельно матюгается и читает «разные книжки». Он женолюбив, как всякий хороший, здоровый парень, но иногда из-за этого попадает в сети буржуазной или партизанской сирены и на время сбивается с линии классового добра. На эту линию, впрочем, он неизбежно возвращается. Матрос — светлая личность, хотя и туповат. Несколько похож на него тип «солдата» — другой баловень советской литературы. Солдат тоже любит тискать налитых всякими соками деревенских девчат и ослеплять своей белозубой улыбкой сельских учительниц. Как и матрос, солдат часто попадает

из-за бабы впросак. Он всегда жизнерадостен, отлично знает политическую грамоту и щедр на бодрые восклицания, вроде «а ну, ребята!». Мужики избирают его председателем, причем какой-нибудь старый крестьянин неизменно ухмыляется в бороду и одобрительно говорит: «Здорово загнул парень» (т. е. старый крестьянин прозрел). Но популярность матроса и солдата ничто перед популярностью партийца. Партиец угрюм, мало спит, много курит, видит до поры до времени в женщине товарища и очень прост в обращении, так что всем делается хорошо на душе от его спокойствия, мрачности и деловитости. Партийная мрачность, впрочем, вдруг прорывается детской улыбкой, или же в трудном для чувств положении он кому-нибудь жмет руку, и у боевого товарища сразу слезы навертываются на глаза. Партиец редко бывает красив, но зато лицо у него точно высечено из камня. Светлее этого типа просто не сыскать. «Эх, брат», — говорит он в минуту откровенности, и читателю дано одним глазком увидеть жизнь, полную лишений, подвигов и страданий. Его литературная связь с графом Монтекристо или с каким-нибудь вождем краснокожих совершенно очевидна.

Такой ответственный работник не моется вовсе. Ответственная работница, о которой речь дальше, брызжет себе в лицо водой, и туалет окончен. Беспартийный обтирается холодной водой. Спец буржуазного происхождения обтирается не водой, а одеколоном, следуя воскресному роскошествованию Чичикова. Ни один из типов, излюбленных советскими писателями, не знаком с ванной, и этот аскетизм находится в связи с тем известным отвращением, которое стыдливая добродетель искони питает к мытью.

Прогуливаясь далее по галерее литературных образов, мы встречаем тип старшего рабочего (или иногда чиновника). Это человек с говорком, с лукавинкой. Писатель делает его беспартийным только для того, чтобы разоблачить мнимую или поверхностную партийность иных ребят — мошенников и хулиганов. «Зачем мне в партию, — говорит он, — я и так большевик. Дело не в обрядах, а в вере». Другой тип беспартийного (тот, который обтирается холодной водой) — личность подозрительная — из бывших интеллигентов, белая кость из него так и прет. Его изобличают и гонят в шею, или же, благодаря женщине, добродетельной коммунистке, он вдруг начинает понимать свое ничтожество. Он собой открывает серию злодеев. Вот, на-

пример, кулак (почему-то чаще всего мельник). У него толстый живот, он хитер и жаден, сперва эксплуатирует бедняков, а затем, когда, как гром Господень, настигает его революция, он примыкает к кадетской партии, довольно бесстрашно — в своей грешной слепоте — ругает в лицо большевиков, пришедших реквизировать у него муку и мельницу, и должным образом гибнет от удара штыка в его толстый живот. А вот птица покрупнее — спец или председатель треста, живущий в великосветской обстановке с женой, кричащей на прислугу, и с канарейкой, поющей на кухне. Опустившись еще ниже, находим старую графиню. Старая графиня говорит «мерси», жеманно кланяется и пьет чай, отставив мизинец. Изредка мелькают белогвардейские сангвиники, генералы, попы и т. д. Достоин внимания и тип интеллигента — профессор или музыкант. Он скучноват, страдает разными болезнями, слабоволен и с тайной завистью смотрит на своих детей, вступивших в коммунистический союз молодежи. Политически он в худшем случае меньшевик.

Еще проще обстоит дело с типами женскими. У советских писателей подлинный культ женщины. Появляется она в двух главных разновидностях: женщина буржуазная, любящая мягкую мебель и духи и подозрительных спецов, и женщина-коммунистка (ответственная работница или страстная неофитка), — и на изображение ее уходит добрая половина советской литературы. Эта популярная женщина обладает эластичной грудью, молода, бодра, участвует в процессиях, поразительно трудоспособна. Она — помесь революционерки, сестры милосердия и провинциальной барышни. Но кроме всего она святая. Ее случайные любовные увлечения и разочарования в счет не идут; у нее есть только один жених, классовый жених — Ленин.

Нетрудно представить себе, какая, при наличии данных типов, может получиться фабула. Если, говоря на метафизическом советском языке, установка в романе на пол, то вскрывается отношение героини к матросу, к солдату, к бедняку, к кулаку, к сомнительному специалисту и к ее надушенной сопернице — супруге специалиста. Как и простоватый, но все же святой матрос иногда невольно грешит против класса в своем здоровом, но неосмотрительном увлечении буржуазной женщиной, так и святая героиня — Катя или Наталья — бывает иногда введена в дьявольское заблуждение, и предмет ее нежных забот

оказывается еретиком. Но, как и матрос, героиня находит в себе силы разбить козни лукавого и вернуться в лоно класса. Партиец застреливает недостойную возлюбленную, комсомолка на другом углу застреливает недостойного поклонника. Другой тип романа — обличительный: проворовавшихся чиновников постигает суровая кара, или мрачный ответственный работник тонко вскрывает страшную ересь, сокрытую в соблазнительных речах и действиях беспартийного. Еще показывается молодежь — какою она должна быть и какою быть не должна, а не то сельский учитель прилежно ищет истину и находит ее в коммунизме. Писатели получше любят тему неверующего интеллигента на фоне радостной кумачовой советской жизни.

Торжество добродетели полное — по всему фронту, выражаясь опять на соответствующем языке. Если попадается ересь, то для мирянина это неощутимо, и нужно быть пролетарским критиком, искушенным в этих высоких материях, чтобы найти тайную печать дьявола. Я умышленно не касаюсь того, хорошо ли или плохо это служение добродетели. Меня только занимает вопрос — стоило ли человечеству в продолжение многих столетий углублять и утончать искусство писания книг, — и русские писатели работали над этим немало, — стоило ли и стоит ли трудиться, когда так просто вернуться к давным-давно забытым образцам, мистериям и басням, вызывающим, быть может, зевоту у простого народа, но зато с должной силой восхваляющим добродетель и бичующим порок? Давайте лучше, господа, захлопнем наши грешные, буржуазные книги, вытащим праведного советского цензора из его скромной кельи, ему тесно в его классовом мирке, он достоин большего простора... Давайте вытащим его, дадим ему всемирные полномочия, пускай он — с твердостью фильмового режиссера — направляет нас на путь добра, беспощадно карает зло, обличает взяточничество, лицемерие, гордыню человеческую и на фоне брезжущей зари соединяет в дивном поцелуе уста простой девушки и благочестивого парня. А вы, талантливые грешники, — молчок!

ПРИМЕЧАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, НАЗВАНИЯ КОТОРЫХ ДАЮТСЯ В СОКРАЩЕНИЯХ

Н97 В. В. Набоков: Pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей / Антология. СПб., РХГИ, 1997.

С96 Г. Струве. Русская литература в изгнании. Изд. 3. Париж: YMCA-Press. М.: Русский путь, 1996.

А95 The Garland Companion to Vladimir Nabokov. Ed. by Vladimir E. Alexandrov. New York and London: Garland, 1995.

В 90 B. Boyd. Vladimir Nabokov: The Russian Years. Princeton: Princeton UP, 1990.

G77 J. Grayson. Nabokov Translated: A Comparison of Nabokov's Russian and English Prose. Oxford: Oxford UP, 1977.

N-B93 The Small Alpine Form: Studies in Nabokov's Short Fiction. Ed. by Ch. Nicol and G. Barabtarlo. New York: Garland, 1993.

УПОМИНАЕМЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Возрождение. Париж, 1925–1940. Орган русской национальной мысли.

Воля России. Прага, 1922–1932. Жунал политики и культуры. Ред. В. И. Лебедев, М. Л. Слоним, В. В. Сухомлин; изд. Е. Лазарев.

Звено. Париж, 1923–1928. Еженедельник, затем ежемесячный журнал литературы и искусства. Основан М. М. Винавером и П. Н. Милюковым. Ред. М. Л. Кантор.

Иллюстрированная Россия. Париж, 1924–1939, № 1–746. Еженедельный литературно-иллюстрированный журнал. Ред. М. П. Миронов (ред. с № 323 (1931) А. И. Куприн).

Новое время. СПб., 1868–1916. Политико-литературная ежедневная газета под ред. М. Суворина.

Новый сатирикон. Пг., 1913–1918. Еженедельное издание.

Новь. Таллинн, 1928–1934. Сборник произведений и статей русской молодежи; четырехстраничная газета, выпуск которой приурочивался к т. н. «Ежегодным дням русской культуры» в Эстонии. Издавался одноименным Комитетом при Русской гимназии. Ред. 1928–1930 — Н. Е. Андреев, 1930–1934 — П. Иртель.

Последние новости. Париж, 1931–1940. Ежедневная газета. Ред. П. Н. Милюков.

Право. СПб., 1898–1916. Еженедельная юридическая газета.

Речь. СПб., 1906–1916. Ежедневная политическо-литературная газета.

Россия. Париж, 28 авг. 1927 — 26 мая 1928. Еженедельная газета под ред. П. Струве. Заглавие с 1 дек. 1928 сменилось на «Россия и славянство».

Россия и славянство. Париж, 1923–1933. Еженедельная газета. Ред. коллегия: К. И. Зайцев, Лоллий Львов, С. С. Ольденбург, Г. Струве, Н. А. Цуриков, при участии П. Струве.

Руль. Берлин, 16 ноября 1920 — 14 октября 1931. Ежедневная газета. Отв. ред. И. В. Гессен, при участии А. А. Аргунова, проф. А. И. Каминки, В. Д. Набокова.

Современные записки. Париж, 1920–1940 (Кн. 1–70). Ежемесячный общественно-политический и литературный журнал. Редколлегия: Н. Д. Авксентьев, И. И. Бунаков (Фондаминский), М. В. Вишняк, А. И. Гуковский, В. В. Руднев.

Числа. Париж, 1930–1934 (Кн. 1–10). Сборник. Ред. И. В. де Манциарли, Н. А. Оцуп.

МАШЕНЬКА

Первый роман Набокова был начат, по словам автора, «в Берлине, вскоре после женитьбы, весной 1925 года» (Предисловие Набокова к переводу романа на английский язык цитируется в переводе Г. Барабтарло и В. Набоковой по изд.: В. Набоков. Собр. соч. Анн Арбор: Ардис, 1986. Т. 1. С. 7–9), опубликован в 1926 г. (Берлин, изд. «Слово»). Печатается по этому изданию. Переиздан репринтным способом в 1974 г. (Ann Arbor / New York: Ardis / McGraw-Hill).

Первоначальное название романа — «Счастье». В 1928 г. в издательстве «Ульштейн» (Берлин) вышел перевод романа на немецкий под названием «Sie kommt — kommt sie?» («Она придет — придет ли она?»). Английский перевод М. Гленни и В. Набокова — V. Nabokov. Mary. New York, Toronto: McGraw-Hill, 1970, в нем уточнена хронология романа.

По словам Г. Струве, первый роман Сирина «был благосклонно, но без всяких “восклицаний” встречен критикой» (*С96*. С. 189). Ю. Айхенвальд оценил «приметливость» Сирина: «Микроскопия доступна ему, россыпь деталей, роскошь подробностей; он жизнью и смыслом и психологией напояет мелочи, одухотворяет вещи; он тонко подмечает краски и оттенки, запахи и звуки, и все приоб-

ретает под его взглядом и от его слова неожиданную значительность и важность» (Руль. 31 марта 1926). Многие критики интерпретировали роман как традиционный эмигрантский: «Машенька символизирует в повести Россию» (А. С. Изгоев. Мечта и бессилие // Руль. 14 апреля 1926), наблюдательность автора приняли за эмигрантское бытописание. Другие рецензенты уловили, что «простотой берлинских будней заретуширована необычность романа» (Н. Андреев. Сирин // Новь. Таллинн. 1930. Окт. № 3). Почти все рецензенты отметили следы ученичества у классической русской литературы, особенно характерен отзыв К. Мочульского, по мнению которого большая литературная культура автора мешает ему найти свой стиль: «Алферов — чеховский герой... Подтягин — кающийся интеллигент... скучные люди... банальные связи, утомительные бытовые мелочи — шуточки-с, настроеньице, немного бреда, немного выпивки. Ну и, конечно, споры о России и сознание обреченности», а в русском прошлом только «благоуханные туманы» Тургенева и Бунина (К. Мочульский. Роман В. Сирина // Звено (Париж). № 168. 18 апреля 1926). Образ Ганина был воспринят как неудачная попытка изобразить тип сильного человека — а получился «бродяга-эмигрант, бесцельно живущий, как и все другие обитатели пансиона» (М. Осоргин. Владимир Сирин. «Машенька». Роман. Изд-во «Слово». Берлин // Современные записки. 1926. Кн. XXVIII. С. 474–476), или герой, устремленный «в свой собственный особенный мир воображения» (Н. Андреев. Цит. соч.). Все критики отметили оригинальную структуру романа и богатый язык молодого автора.

В примечаниях использованы комментарий О. Дарка (в изд.: В. Набоков. Собр. соч. в 4 т. М.: Правда, 1990. Т. 1. С. 410–413) и работы Б. В. Аверина, Н. Букс, Д. Грейсон, А. А. Долинина, Ю. И. Левина, М. Медарич, П. Тамми, Л. Токер, А. Яновского.

С. 44. ...Воспомня прежних лет романы, / Воспомня прежнюю любовь... — А. Пушкин. «Евгений Онегин» (1, XLVII). В контексте произведения обыгрывается многозначность слова «роман»: любовный и литературный. Ситуации романа, образы и реплики персонажей восходят к классическим образцам — от «Евгения Онегина» до «Мелкого беса» Ф. Сологуба.

С. 45. Лев и Глеб — сложное, редкое соединение. Оно от вас требует сухости, твердости, оригинальности. — Глеб (из *скандин. яз.*) — «представленный богу, отданный под защиту бога», Лев (от *греч.* leon — «лев»). Возможна также аллюзия на Льва Мышкина из «Идиота» Ф. М. Достоевского (соединенного в имени Льва Ганина с Ганей Иволгиным). Некоторыми чертами Мышкина наделен сам Алферов — антагонист и двойник Ганина (см. прим. к с. 47) — пример характерного для зрелого Набокова мерцающего сходства-различия двойников-антагонистов.

...а жену зовут совсем просто: Мария. — Алферов не замечает, что, помимо очевидного евангельского (ср.: И. Северянин «Мария» (1923): «Серебристое имя Марии / Говорит о Христе, о кресте... / Серебристое имя Марии / О благой говорит красоте»), имя героини окружено литературным ореолом. Пристрастие Пушкина к имени Мария отмечено В. Ходасевичем (Поэтическое хозяйство Пушкина. Л., 1924. С. 77—78), оно встречается у А. Блока (драма «Незнакомка»), А. Фета (имя его возлюбленной Марии Лазич, анаграммы которого возникают в ряде его стихов). В уменьшительной форме, вынесенной в заглавие романа, это имя встречается в «Романе в письмах» Пушкина, поэме А. Н. Майкова «Машенька», «Заблудившемся трамвае» Н. Гумилева.

«Чорт...» — «Сядем-ка на лавку да подождем», — опять зазвучал над самым его ухом бойкий и докучливый голос. — Возможно, среди прототипов навязчивого пошляка Алферова — болтливый черт Ивана Карамазова, также «воплощение меня самого [Ивана], только одной, впрочем, моей стороны... моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых» (Ф. Достоевский. «Братья Карамазовы». Кн. 11, гл. IX).

С. 46. пти-жо — (от *фр.* petits jeux) игры: шарады, буриме, надписи к живым картинам, экспромты и проч.

С. 47. Светлые редкие волосы слегка растрепались, и было что-то лубочное, слащаво-евангельское в его чертах — в золотистой бородке, в повороте тощей шеи, с которой он стягивал пестренький шарф. — В облике Алферова соединяются «слащаво-евангельские» черты Льва Мышкина из «Идиота» и «неотвязного» черта из «Братьев Карамазовых» («...длинный галстук в виде шарфа 〈...〉 но белье, если вглядеться ближе, было грязноватое...» (11, IV)). Начальные сцены романа пародируют завязку «Идиота»: встреча героев-соперников (в лифте — и в поезде), Алферов (и Рогожин) говорит о героине, затем Ганин (и Мышкин) видит портрет.

С. 48. Лидия Николаевна Дорн. — Хозяйка пансиона носит фамилию одного из персонажей чеховской «Чайки».

С. 49. поставец — невысокий шкаф для посуды.

С. 50. Не брезговал он ничем: не раз даже продавал свою тень подобно многим из нас. — Литературный мотив тени восходит к повести А. Шамиссо «Удивительная история Петера Шлемиля», Набоков вводит его как символ кинематографа и изгнания (ср.: в пансионе «жило семь русских потерянных теней»). Сам автор также в молодости подрабатывал статистом и пробовал писать для кино.

С. 52. изображая... обиженную девочку, капризную маркизу. 〈...〉 орхидей каких-то, которые она будто бы страстно любит... — регулярно высмеиваемый Набоковым тип поэзии — «несколько декадентское, в новом духе» (В. Сирин. Новые поэты // Руль. 31 августа 1927), т. е. лирика Д. Ратгауза, раннего И. Северянина, К. Бальмонта (воздействие Людмилы на Ганина — ироническое

подражание «Орхидее» Бальмонта (1905): «Как будто чей-то нежный рот, / Нежней, чем рот влюбленной феи, / Вот этот запах орхидеи / Пьянит, пьянит и волю пьет»), — которому сам Сирин отдал дань в ранней молодости (ср. стих. «Маркиза маленькая знает...» из сб. «Горний путь», 1923; см. I том наст. издания).

С. 55. *Это, так сказать, прямая линия. (...) а Россия наша, та — просто загогулина.* — Подобные геометрические уподобления использует черт Ивана Карамазова, ср.: «Тут у вас все очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас все какие-то неопределенные уравнения» (11, IX).

С. 56. *«Сегодня — барашек» (...) Алферов почему-то поклонился...* — Реминисценция образа одного из персонажей романа Ф. Сологуба «Мелкий бес» (1905—1907) Володина, который многократно сравнивается и символически отождествляется с бараном.

С. 57. *Мавритания* — роскошный трансатлантический пассажирский лайнер британского производства, знаменитый тем, что в течение 22 лет удерживал приз за самое быстрое пересечение Атлантики.

С. 62. *Бруммель*, Георг-Бриан (1778—1840), по прозвищу «Beau Brummel» — известный английский денди, друг юности принца Уэльского, впоследствии короля Георга IV. В молодости богач, знаменитый острослов и законодатель мод. Послужил прототипом героя романа Э. Булвер-Литтона «Пелам» (1828).

С. 62—63. *Проклятая (...) занятный эпитет.* — Очевидно, реминисценция стихотворения А. Белого «Родина» (1908) с характерным сдвигом ударения на этом слове: «Роковая страна, ледяная, / Проклятáя железной судьбой —/ Мать Россия, о родина злая, / Кто же так подшутил над тобой?»

С. 63. *...«богоносец» оказался... серой сволочью...* — Русский народ называли «богоносцем» Шатов из «Бесов» и старец Зосима из «Братьев Карамазовых» Ф. Достоевского, это определение широко использовалось в русской эмиграции.

С. 70. *Я читал о «вечном возвращении»...* — Ницшеанская концепция «вечного возвращения» получила разнообразные истолкования в русской культуре рубежа веков, например у символистов.

С. 71. *«Остров мертвых»* — картина швейцарского живописца Арнольда Бёклина (1827—1901). Изображает мрачный остров, к которому приближается лодка, на ней Харон перевозит душу умершего. Ее репродукции были исключительно популярны в России на рубеже веков. Накануне Первой мировой войны картина стала восприниматься как устарелая и пошлая (ср. рассказ Тэффи «Остров мертвых»; 1912), упоминаться в сатирах на обывательский быт (Саша Черный. «Культурная работа»; 1910).

С. 72. *...жизнь проходит: в пятницу ей минет двадцать шесть лет.* — Образ Клары построен на парафразах двух-трех реплик Ирины из «Трех сестер» Чехова. («Ирина. (...) Мне уже двадцать четвертый год (...) и все кажется, что уходишь от настоящей,

прекрасной жизни, уходишь все дальше и дальше, в какую-то пропасть» (действие 3)).

С. 73. ...Ганин... уселся в старом зеленом кресле... — редкий у Набокова «предательский ляпсус» — ранее говорилось, что «чета зеленых кресел» была поделена между комнатами Ганина и хозяйки.

С. 74. «Всемирная Иллюстрация», «Живописное Обозрение». — «Всемирная иллюстрация» — богато иллюстрированный журнал, бесплатное приложение для подписчиков «Московского листка» (1891–1917, заглавие «Всемирная иллюстрация» — в 1912–1917 гг.), состоявший из разделов стихов (в последние годы — преимущественно стихи Р. Меча), рассказов, политических статей, страничек моды и спорта. «Живописное обозрение» — еженедельный иллюстрированный художественно-литературный журнал (СПб., 1872–1905), включал разделы стихов, прозы, научных новостей, библиографии, шахмат и репродукции картин. В нем печатались стихотворения К. Фофанова, Н. Познякова, Вл. Ленского, Аполлона Коринфского, К. Льдова, Ф. Сологуба, В. Мазуркевича и др. Добавив к ним имена любимых поэтов Тамары из «Других берегов» — Ю. Жадовская, В. Гофман, К. Р., Д. Мережковский, — получим обобщенный поэтический образец, который стилизует Набоков в приводимых ниже стихотворениях.

С. 75–76. ...я начал с горничной. А какая была прелесть, тихая, сероглазая. Глашей звали. — Реминисценция образов и интонации рассказов И. Бунина «Митина любовь» (1925), «Дело корнета Елагина» (1926).

С. 79. ...в тополях защелкал фетовский соловей... — Соловей — традиционный образ лирики А. Фета (ср., например, хрестоматийное «Шепот, робкое дыханье, трели соловья...») и романтической поэзии вообще (ср. у В. Мазуркевича в стихотворении «Письмо» («Дышала ночь восторгом сладострастья...»): «Вдруг соловей защелкал над куртиной...»).

...большое село Воскресенск, что лежит на реке Оредежь, воспетой Рылеевым. — В предисловии к английскому переводу Набоков подчеркивает автобиографичность топографии романа: «...тут те же дедовские парковые аллеи; через обе книги [«Машенька» и «Другие берега»] протекает та же Оредежь; и подлинная фотография Рождественского дома ⟨...⟩ могла бы служить отличной иллюстрацией перрона с колоннами в “Воскресенске” из романа». Набоков описывает имение своего дяди, унаследованное автором в 1916 г., Рождествено. Оно было воспето К. Ф. Рылеевым в думе «Царевич Алексей Петрович в Рожествене» (1823). Соседняя с Рождествено рукавишниковская усадьба Батово принадлежала матери Рылеева, как сообщает Набоков в английском варианте автобиографии «Память, говори» (гл. 3).

С. 87. Макароны растут в Италии. Когда они еще маленькие, их зовут вермишелью. Это значит: Мишины червяки. — Французский каламбур (ver — «червяк»).

...в своей синей кофточке, раскрытой на легкой, дышащей блузе. — Эфемерная Машенька уподобляется «дышащей» бабочке А. Фета («Бабочка», 1884): «Не спрашивай: откуда появилась? / Куда спешу? / Здесь на цветок я легкий опустилась / И вот — дышу» (эту строфу Набоков приводит в своем английском переводе в 6-й главе «Память, говори»).

...лет сорок тому назад... — В первом издании было «лет десять тому назад». По сообщению Д. В. Набокова, это единственное изменение было внесено в репринт «Ардиса» рукой В. В. Набокова.

С. 88. куртина — цветочная грядка, клумба.

С. 91. ...сам он думал, что похож на верлэновского «полу-пьерро, полу-гаврош»... — Очевидно, реминисценция стихотворения П.-М. Верлена «Pierrot-gamin» (gamin (*фр.*) — «уличный мальчишка») из сборника «Параллельное» (1889). Известно в русском переводе В. Я. Брюсова («Пьерро», 1906), в примечании переводчик поясняет: «Полагают, что под Пьерро Верлэн разумел Артюра Римбо».

С. 96. ...под той аркой, где — в опере Чайковского — гибнет Лиза. — В опере П. И. Чайковского (либретто М. И. Чайковского) «Пиковая дама» Лиза, вопреки пушкинскому финалу, кончает жизнь самоубийством, бросившись с моста через Зимнюю канавку. У Пушкина Лиза благополучно выходит замуж — реминисценция этого финала возникает в «Защите Лужина», где упоминается чета Алферовых.

С. 97. ...он жил на Английской набережной, она на Караванной... — Английская набережная — аристократический район Петербурга, традиционная у Набокова замена его реального адреса на соседней Б. Морской улице (дом 47). Караванная — улица «рангом ниже», через которую проходил регулярный путь Набокова в Тенишевское училище. Реальная Валентина Шульгина, прототип Машеньки, жила неподалеку, на Фурштадтской, дом 48.

С. 99. ...поступил в Михайловское юнкерское училище. — Артиллерийское училище имени Великого князя Михаила в Петербурге.

С. 100. ...нарочно забралась в синий вагон, хотя ездила всегда в желтом... — В дореволюционное время пассажирские вагоны I класса окрашивали в синий цвет, II — в желтый, III — в зеленый. Ср. у Блока: «Молчали желтые и синие; / В зеленых плакали и пели» («На железной дороге», 1910).

С. 101. ...так вот лежал, подперев руками затылок, в сквозной грохочущей тьме, и так вот мимо окон, шумно и широко, проплывал дымный закат. — В «Других берегах» (гл. 11) Набоков, почти дословно повторяя это описание, замечает: «Интересно, мог ли бы я доказать ссылкой на где-нибудь напечатанное свидетельство, что как раз в этот вечер Александр Блок отмечал в своем дневнике этот дым, эти краски. Всем известно, какие закаты стояли знаменьями в том году над дымной Россией, и впоследствии, в полуавтобиографической повести, я почувствовал себя вправе связать это с воспоминанием о Тамаре...». Речь идет, очевидно, о записи

в дневнике Блока от 16 июня 1917 г.: «За окнами — деревья и дымный закат».

С. 104 империал — верхняя часть конки или омнибуса с сиденьями для пассажиров.

С. 107. Облако в штанах... — обыгрывается название поэмы В. Маяковского, ср. выше: сон Подтягина — «сплошная футуристика».

С. 111. Вам, конечно, странно, что я пишу вам... — мотив письма Татьяны Онегину.

Сегодня же так скучно, скучно. Обидно, что дни уходят, и так бесцельно, глупо, — а ведь это самые хорошие, лучшие годы. — В Машенькин романтический словарь входит Лермонтов («И скучно, и грустно 〈...〉 а годы проходят, все лучшие годы») и Пушкин («...летят за днями дни...»).

С. 112. Над опушкою полная блещет луна, / Погляди, как речная сияет волна. — Ср. те же непритязательные рифмы у Н. Щербины: «На раздолье небес светит ярко луна, / И листки серебрятся олив, / Дикой воли полна, заходила волна, / Жемчугом убирая залив».

С. 114. Как цветок душистый... — Возможно, имеется в виду следующий романс:

Как цветок душистый
Аромат разносит,
Так бокал налитый
Тост заздравный просит.

Рефрен: Выпьем мы за друга,
Друга дорогого,
И пока не выпьем,
Не нальем другого.

Еще раз мы просим
И бокал подносим,
Чтобы без отказу
Выпивал все сразу.

Аромат душистый
Все сильней несется,
И бокал пенистый
Веселее пьется.

Без поливки цветик
Бедный засыхает,
Без вина дружочек
Бедный засыпает.

(Цит. по: Народные русские песни и романсы. В 2 частях. Сост. А. И. Чернов. Нью-Йорк, 1949. С. 90–91.)

С. 117. ...на склонах инкерманских высот, где некогда мелькали... алые мундиры солдат королевы Виктории... — Имеется в виду одно

из сражений Крымской войны, названное Инкерманским (24 октября (5 ноября) 1854. Инкерман — урочище восточнее Севастополя, бывшее древнее укрепление и пещерный город), во время которого закончился неудачей военный маневр русских под командованием А. С. Меншикова против соединенных англо-французских войск. Возможно, Ганину напомнили о нем английские интервенты, находившиеся в Крыму в 1919 г.

...и долго, без мысли об изгнанье, глядел на... блеск моря... — скрытая полемика с пушкинскими мотивами моря и изгнания, например стихотворение «К морю».

...площадь, где стоит серый Нахимов в долгом морском сюртуке... — памятник адмиралу П. С. Нахимову в Севастополе (1898, скульпторы Н. В. Томский, А. В. Арефьев).

...серо-голубую Панораму... — панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» (1902–1904, художник Ф. А. Рубо и др.).

С. 120. ...выбрал шоколадную конфету и тотчас же выплюнул ее. Коричневый комок шлепнулся об стену. — Плеванием в стену известен Передонов из «Мелкого беса» Ф. Сологуба.

КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ

Впервые: Берлин, «Слово», 1928. Печатается по этому изданию.

По словам Г. Струве, «второй роман Сирина — “Король, дама, валет” (1928) — действительно привлек недостаточно внимания, хотя это была вещь весьма замечательная и своеобразная, ни на что другое ни в тогдашней, ни в прежней русской литературе не похожая» (*С96*. С.189)

М. Осоргин отмечал «нерусскость» произведения: «...талантливый роман, который мог появиться на любом языке, естественнее всего на немецком, и который в переводах будет, вероятно, иметь успех не меньший, чем в подлиннике» (Последние новости. 4 октября 1928). М. Цетлин, усмотрев в романе связь с немецким экспрессионизмом, отметил: «...интерес романа не в фабуле. Механистичность, обездушенность, автоматизм современных людей хотел показать нам автор...», но «...как бы не доверяя пониманию читателя, автор поясняет замысел символикой...» (Рец. на: Сирин В. «Король, дама, валет», Дон Аминадо «Накинув плащ» // Современные записки. 1928. Кн. XXXVII. С. 537).

Крайне резко отозвался о романе Г. Иванов. Подводя в своей рецензии итог прочтения нескольких произведений Набокова, он счел, что в романе «старательно скопирован средний немецкий образец» (В. Сирин. «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Возвращение Чорба», рассказы // Числа. 1930. Кн. 1. С. 233–236). Одной из причин появления такой рецензии был

не менее резкий отзыв Набокова на роман жены Иванова И. Одоевцевой «Изольда», напечатанный в «Руле» 30 октября 1929 г. (см. с. 679).

Одиозная статья Иванова вызвала полемику вокруг «Короля, дамы, валета», в которой приняли участие многие эмигрантские критики. Так, Г. Иванову возражал Н. Андреев: Сирин сочетает «русскую литературную традицию со смелым новаторством», ему доступна «виртуозная стилизация под изображаемую среду», что и позволило «литературным верхоглядам» воспринять роман как кальку с немецкого (Н. Андреев. Сирин // Новь. Таллинн. 1930. Окт. № 3. С. 6; см. также в: *Н97.* С. 220–230).

В 1966 г. вышел перевод романа на английский язык, сделанный В. В. Набоковым совместно с сыном и снабженный предисловием Набокова, разъясняющим некоторые изменения в тексте. Сличение обоих вариантов текста см. в: *G77.* P. 222–224. В одной из глав последовательно выделены изменения и дополнения, внесенные Набоковым в английскую версию романа.

Биограф Набокова Б. Бойд считает, что роман построен на различении механического, внешнего, и творческого, внутреннего, восприятия мира, предложенном Анри Бергсоном (*В90.* P. 280); Дж. Коннолли предполагает, что роман написан на грани с пародией; именно этим объясняется наличие в тексте такого количества литературных штампов, открыто используемых автором (J. Connolly. King, Queen, Knave // *A95.* P. 203–214). М. Кутюрье рассматривает роман как «пародийную версию» «Госпожи Бовари» (M. Couturier. Nabokov and Flaubert // *A95.* P. 405–412). Н. Букс считает, что роман построен по «музыкальной модели» экстатического вальсового движения. Набоков назван продолжателем «симфоний» Андрея Белого. (Н. Букс. Роман-вальс // Н. Букс. Эшафот в хрустальном дворце. О русских романах В. Набокова. М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 40–57).

Карточные мотивы образуют стержень романа, и представляется целесообразным прокомментировать их с самого начала.

В ряде карточных игр комбинация трех карт одной масти (короля, дамы и валета) называется «трельяж». В преферансе игрок, у которого на руках оказался трельяж, рассчитывает на две взятки. Одну из трех карт (любую) он отдает на взятку «под туза» противнику, у которого на руках есть туз той же масти. Любая из карт может «попасть под туза», то есть, образно говоря, умереть, но до конца игры неясно, какая именно. Кроме того, три карты составляют сумму 2+1 (комбинация этих цифр неоднократно появляется в тексте романа), что, в свою очередь, связано с азартной игрой в 21, в очко. Комбинация «король-дама-валет» дает игроку 30 очков, что является перебором, то есть проигрышем.

Сочетание короля, дамы и валета порождает и ассоциацию с тремя роковыми картами из «Пиковой дамы» Пушкина. Эпиграф к этому произведению: «Пиковая дама означает тайную не-

доброжелательность» — напрямую соотносится с чувством Марты к мужу, на чем и строится фабула.

Карточный мотив был заметно усилен в английской версии романа. Так, например, помимо Драйера (Dreyer — *нем.* «тройной») значимую фамилию получил и Франц: Bubendorf (Bube — *нем.* «валет»).

Фамилия героя несет в себе не только «карточную» смысловую нагрузку. Карл Драйер (1889–1968) — известный в 20–30-х гг. датский кинорежиссер, испытывавший сильное влияние экспрессионистов. Для творческой манеры Драйера характерно стремление к «камерным фильмам», исключительное внимание к декорациям (он сам был художником нескольких своих фильмов), композиции кадра; впрочем, зачастую критики упрекали его в излишней статичности, обилии экспозиций, затянутости действия.

С. 134. помплимус — вид цитрусовых, одна из разновидностей которого — грейпфрут.

С. 137. В вагоне должно быть душно; это так принято и потому хорошо. Жизнь должна идти по плану, прямо и строго, без всяких оригинальных поворотиков. — Д. Коннолли находит здесь аллюзию на «Смерть Ивана Ильича» Л. Толстого, где главный герой всю свою жизнь живет по установленным правилам (J. Connolly. Указ. соч. P. 206).

С. 138. ...переход... из мерзостного ада, через пургаторий площадок... в подлинный рай. — От *лат.* purgatorium — «чистилище».

...актер переходит из пасти дьявола в ликующий парадиз. — Развернутая в нескольких предложениях метафора отталкивается от образов, восходящих к средневековой европейской мистерии. Сцена, на которой разыгрывались мистерии, как и кукольный вертеп, обычно состояла из трех частей: ад, пургаторий (чистилище) и парадиз (рай).

С. 139. Столица... В самом названии... в увесистом грохоте первого слога и в легком звоне второго... — Фраза построена как шарада, состоящая из фонетического описания слогов, составляющих подразумеваемое слово: «Берлин».

Экспресс уже как будто мчал его по знаменитому проспекту, обсаженному исполинскими древними липами ⟨...⟩ мимо этих лип, пышно выросших из названия проспекта... — Название одной из главных улиц Берлина – Unterdenlinden, т. е. «под липами». По-немецки «липа» — Linden.

...Франц... оголил плечи даме, только что сидевшей у окна... затем... переменил голову, подставил лицо той семнадцатилетней горничной... но и эту голову он затушевал и вместо нее приделал лицо одной из тех лихих столичных красавиц, которые встречаются главным образом на ликерных и папиросных рекламах... – Возможно, это отзвук рассуждения Агафьи Тихоновны о женихах во 2-м действии «Женитьбы» Гоголя: «Если бы губы Никанора Ивановича

да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к тому еще дородности Ивана Павловича...»

С. 140. И надо узнать, перелетел ли этот молодчик через океан? — Речь идет о трансатлантическом перелете английского летчика Чарльза Линдберга, совершенном 20–21 мая 1927 г. (успешный обратный перелет датируется сентябрем того же года).

С. 153. В бидермайеровской гостиной... — Бидермайер — стиль мебели первой трети XIX в., производившейся в основном в Вене, Берлине, Лондоне. Напоминает упрощенный вариант ампира. Для бидермайера характерны ансамблевая целостность, просторные светлые помещения, светлые тона в отделке.

С. 158. За оградой уже неумолимо стоял черный автомобиль, дорогой «Икар». — Автомобили с этим названием фигурируют также в романах «Отчаяние» и «Лолита».

С. 159. И потом, откуда ни возьмись, скользнул над террасой вялый облетевший адмирал, опустился на край столика, раскрыл бархатные крылья и медленно ими задвигал, как будто задышал. Малиновые полоски вылиняли, бахрома изорвалась, но он был еще так нежен, так наряден.... — Это описание почти дословно повторяет стихотворение А. Фета «Бабочка»:

Ты прав — одним воздушным очертаньем
Я так мила.
Весь бархат мой с его живым миганьем —
Лишь два крыла.

Не спрашивай: откуда появилась?
Куда спешу?
Здесь на цветок я легкий опустилась
И вот — дышу.

Надолго ли, без цели, без усилья,
Дышать хочу?
Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья
И улечу.

В 6-й главе «Других берегов» Набоков называет Фета и Бунина единственными русскими поэтами, «видевшими» бабочек.

В «Короле, даме, валете» речь идет о бабочке Pirameis atalanta. Она же пролетает в Песни второй «Бледного пламени»: «Дай мне ласкать тебя, о идол мой / Ванесса, мгла с багровою каймой, / Мой Адмирабль бесценный!..» (Перевод с англ. С. Ильина // В. В. Набоков. Собр. соч. в 5 томах. СПб., 1997. Т. 3. С. 319).

С. 180. ...с лицом, благоразумно остановившимся на полпути к кувшинному рылу... — Ср. в «Мертвых душах» Гоголя о заседателе Иване Антоновиче: «...вся середина лица выступала у него вперед и пошла в нос, словом, это было то лицо, которое называется в общежитии кувшинным рылом...» (ч. 1, гл. VII). Интересно, что

в английской версии романа Драйер в конце главы II читает немецкий перевод «Мертвых душ».

С. *187. На карточке, опередившей его минуты на две, было под фамилией отмечено: «изобретатель».* — «Изобретатель», «удивительный мастер» — одно из имен дьявола (в противоположность Творцу) (См.: А. Махов. Сад демонов. Словарь инфернальной мифологии Средневековья и Возрождения. М., 1998. С. 177). Дьявол-изобретатель пытается создать нечто живое в подражание Богу, поскольку не способен на оригинальное творение, но оказывается бессилен и несет наказание за свою дерзость; ему часто приписывались изобретения различных механизмов. Во многих произведениях Набокова автор, антропоморфное божество, карает своего неудачливого подражателя (например, в «Отчаянии», где Герман собирается показать рукопись знаменитому эмигрантскому писателю, в котором угадывается Сирин, считая, что талантливее его).

...месмерическим жестом... — Эпитет образован от фамилии доктора Ф. Месмера (1734—1815), автора учения о «животном магнетизме», лечении больных прикладыванием к их телу магнита, а также «психическим током», который излучают отдельные люди конденсируя в себе магнетизм планет. Под «месмерическим» подразумевается жест, которым магнетизер проводил над больным органом рукой или намагнетизированной пластинкой.

С. *191. Курица, бедные рыцари...* — бытовое название гренок, поджаренных на молоке. Точную этимологию, к сожалению, установить не удалось.

С. *193. вежеталь* — парикмахерский лосьон для волос (*фр.* vegetal — «растительность»).

С. *195. ...иллюзионист и фокусник, Менетекелфарес.* — «Мене, текел, фарес» — огненные слова, проступившие на стене во дворце последнего вавилонского царя Валтасара во время пира, устроенного в ночь взятия Вавилона персами (Ветхий Завет, Дан., 5). Вавилонские мудрецы не смогли истолковать текст, но призванный по совету царицы иудейский пророк Даниил объяснил значение слов как «сочтено, взвешено, разделено» и истолковал как грядущую гибель Вавилона и раздел царства между персами и мидянами. Предсказание сбылось.

С. *197. ...она носила, пока была у него, ночные туфельки с пунцовыми помпончиками... его скромный, но продуманный подарок...* — Одна из наиболее очевидных отсылок к «Госпоже Бовари» Г. Флобера. Ср. в романе: «Эмма даже говорила: “Мои ночные туфли”. Это был ее каприз, подарок Леона — домашние туфли из розового атласа, отороченные лебяжьим пухом. Когда она садилась на колени к любовнику... крохотные туфли без задников держались только на голых пальцах» (ч. 3, гл. V). В связи с этим флоберовским образом возникает и характерное для произведений Набокова предвидение будущего и постижения истины во сне, который потом забывается: ср. в главе I сон Франца, где соседка по купе,

мысленно соединенная с рекламными красотками, сидит, «покачивая ажурной ногой, с которой спадала красная туфелька без задника».

С. 205. В театре... они стеснились в одной из тех необыкновенно узких лож... — В английской версии романа параллель с «театральным» эпизодом из «Госпожи Бовари» подчеркнута тем, что оркестр играет увертюру из «Лючии де Ламермур».

С. 230. Но был магазин, где он, как веселая кукла, кланялся, вертелся... — отсылка к «Песочному человеку» Э. Т. А. Гофмана: обезумевший Натаниэль, влюбившийся в куклу, бормочет: «Куколка, куколка, кружись!»

С. 233. «Но все-таки... Например, прислуга...» — «Глупости. Спят мертвым сном ⟨...⟩ Покойник спал вон на той постели». Автомобильный рожок, гнусавый и яростный, заставил его отпрыгнуть. — В соединении с эпизодом напряженного ожидания Драйера в главе VII эти разрозненные образы выстраиваются в аллюзию на стихотворение Блока «Шаги Командора» (1910–1912): «Холодно и пусто в пышной спальне, / Слуги спят, и ночь глуха ⟨...⟩ И в ответ — победно и влюбленно — / В снежной мгле поет рожок... / Пролетает, брызнув в ночь огнями, / Черный, тихий, как сова, мотор».

С. 236. ...о ядах Локусты... — Локуста — известная при императоре Клавдии изготовительница ядов; служила Нерону и Агриппине. От составленного ею яда умер император Клавдий.

...и Борджиа. — Речь, видимо, идет о Чезаре Борджиа, римском князе и кардинале XV в., который завоевывал римские герцогства, «действуя мечом и ядом». Упоминание Борджиа вводит в текст намек на то, что орудие убийства может обернуться против убийцы: однажды за столом у кардинала Адриана Александр VI и Чезаре выпили из предназначавшихся другим лицам отравленных бокалов; впрочем, погиб только Александр, Чезаре Борджиа был убит позже.

Тоффана продавала свою водицу... — «Аква Тофана» — яд медленного и незаметного действия, названный по имени сицилианки, в конце XVII в. продававшей его женщинам, желавшим избавиться от своих мужей.

...почихивала жертва министра Лэстера. — Роберт Дадли Лэстер (1532–1588) — английский дипломат и полководец, фаворит королевы Елизаветы I. Красивый и амбициозный, он потерпел неудачу, пытаясь добиться руки королевы. По некоторым сведениям, он пытался отравить свою жену, Эми Роббсарт-Дадли.

венефиция — от *лат.* veneficium — «отравительство» (термин из области римского права).

...дойдя до каких-то плевритических экссудатов... — Экссудат — богатая белком жидкость с элементами плевры, выходящая из мелких вен и капилляров в окружающие ткани и полости при воспалении.

С. 237. ...«правдивую историю маркиза Бренвилье, знаменитого отравителя»... — Маркиз де Бренвилье не имел никакого отношения к преступлениям, прославившим его жену, Мари Мадлен Д'Орбе (1630—1676), которая ради огромного состояния отравила отца, брата и двух сестер, за что и была казнена. Образ маркизы неоднократно использовался в бульварной литературе (Сарду, Скриб и др.).

С. 247. В полночь она подойдет к окну... Франц, подошедший в эту минуту к ограде сада, увидит ее. — Возможно, первая из нескольких отсылок к Достоевскому: в эпизоде перед убийством в «Братьях Карамазовых» (кн. 8, ч. 3, гл. 4) Дмитрий пробирается ночью по саду к освещенному окну Федора Павловича: «Постояв минуту, он тихонько пошел по саду... Минут с пять добирался он до освещенного окна».

С. 254. Таухниц — одно из крупнейших в Германии издательств, носящее имя своего основателя Карла Таухница. Среди выпускавшейся литературы (массовой, учебной, немецкой и зарубежной) была, в частности, англоязычная серия «Students Tauchnitz Editions», в которую входили произведения английских и американских авторов, снабженные немецким комментарием.

С. 255. ...электрические ганглии... — Ганглия — нервный центр, скопление нервной ткани, содержащее нервные узлы.

С. 261. И внезапно Марта, с ужасным лицом, бледным, блестящим, широкоскулым, со старческой дряблостью складок у дрожащих губ... — Постепенный переход Марты от образа «мадоннообразной» дамы, какой она является Францу в главах I и II, к земной женщине и далее к вампиру и ведьме — отсылка к русским символистам и в первую очередь к «Стихам о Прекрасной Даме» Блока. Ср. в конце главы VIII: «Франц попробовал вспомнить, где он уже видел такое лицо. Да, конечно, давным-давно, в поезде ⟨...⟩ была ⟨...⟩ холодная, душистая, прелестная дама. Он попытался воскресить в памяти ее черты, но это ему не удалось». См. также прим. к с. 294.

С. 263. Пожилой Пигмалион и дюжина электрических Галатей. — Пигмалион — царь Кипра, изваявший из слоновой кости статую прекрасной женщины и влюбившийся в нее. Афродита, тронутая его мольбой, оживила статую; Галатея стала женой Пигмалиона (Ovid. Met. X, 243).

С. 276. Он... сел с ногами на подоконник ⟨...⟩ Может быть, еще не поздно — написать матери, чтобы она приехала, чтобы увезла его ⟨...⟩ Написать, или заболеть внезапно, — или вот, немножко нагнуться вперед, потерять равновесие и кинуться навстречу жадно подскочившей панели... — Продолжение аллюзии на «Песочного человека» Гофмана, где главный герой, влюбившись в прекрасную Олимпию, оказавшуюся манекеном, теряет рассудок и бросается с башни, а родные не успевают его спасти.

С. 278. Странное дело — вещи не любили Франца. — Ср. в романе Ю. Олеши «Зависть» (1927): «Меня не любят вещи. Мебель норовит подставить мне ножку. Какой-то лакированный угол однажды буквально укусил меня. С одеялом у меня всегда сложные взаимоотношения. Суп, поданный мне, никогда не остывает. Если какая-нибудь дрянь — монета или запонка — падает со стола, то обычно закатывается она под трудно отодвигаемую мебель. Я ползаю по полу и, поднимая голову, вижу, как буфет смеется». Знакомство Набокова с «Завистью» в период работы над «Королем, дамой, валетом» представляется вполне вероятным.

Посреди комнаты... на обычном своем месте сидела старушка, лица которой он не видал никогда... Никакой старушки не было: просто — седой паричок, надетый на палку, вязаный платок. Он с дрожью сбил всю эту махину на пол. — Двойная аллюзия. 1. Отсылка к «Песочному человеку» Гофмана: Менетекелфарес имитирует присутствие в квартире своей больной жены, пугая и дурача Франца, что сопоставимо с Коппелиусом-Спалланцани, обманувшим Натаниэля куклой-Олимпией, выдаваемой за живую девушку. 2. Аллюзия на сон Раскольникова и на описание старухи-процентщицы в самом начале «Преступления и наказания», где упоминаются ее белобрысые волосы, наверченное на шею тряпье и пожелтелая меховая кацавейка. Что касается сна Раскольникова, то здесь совпадает даже «ракурс» и движения героя: «Осторожно отвел он рукою салоп и увидал, что тут стоит стул, а на стуле в уголку сидит старушонка... Он... заглянул ей снизу в лицо и помертвел: старушонка сидела и смеялась... Вдруг ему показалось, что дверь из спальни чуть-чуть приотворилась и что там тоже как будто засмеялись и шепчутся». Ср. в гл. X: «Бог знает, что у них происходит в комнате, — вздохнул Франц. — Такой там бывает странный шум, не то смех, не то...»

С. 282. Драйер читал список курортных гостей, изредка произнося вслух смешную фамилию ⟨...⟩ «По-ро-кхов-штши-коф», — вслух прочел Драйер и рассмеялся. — Ср. в 1-й главе «Преступления и наказания» эпизод, где на Раскольникова, едва не выдавшего себя, в участке накричал поручик по прозвищу Порох, к которому в финале романа Раскольников идет сознаваться в убийстве. В данном случае перекличка с «Преступлением и наказанием» указывает читателю на близость кульминации.

С. 291. «Монтевидэо, Монтевидэо, пускай не едет в тот край мой Лэо...» — Также в главах II и V упоминается гостиница «Видэо», в которой останавливались и Франц, и изобретатель (от *лат.* video — «вижу»). Это одно из проявлений центрального мотива романа — мотива духовной слепоты.

Иностранка в синем платье и загорелый мужчина в старомодном смокинге ⟨...⟩ Они говорили на совершенно непонятном языке. — В английской версии романа сходство с четой Набоковых усилено: по дороге в аптеку Франц видит, что мужчина несет сачок для

ловли бабочек. Ср. в автопредисловии: «...мы с женой появляемся в двух последних главах только для инспекции...» (В. Набоков. Предисловие к английскому переводу романа «Король, дама, валет» // *Н97.* С. 63).

С. 294. ...похожая на большую белую жабу. — В фольклоре образ жабы обычно ассоциируется с атрибутами ведовства, а Марта на протяжении романа совершает множество действий, уподобляющих ее ведьме, наводящей порчу, и вампиру. Кроме того, в различных поверьях взгляду жабы приписывается такое же гипнотическое действие, что и взгляду василиска. То, что взглядом Марта полностью подчиняет себе Франца, неоднократно подчеркивается в тексте романа.

С. 295. ...тяжелый, золотой портсигар в виде двустворчатой раковины. — В предисловии к английской версии романа Набоков заметил: «...такой же предмет фигурирует и в книге моих воспоминаний “Другие берега”, да оно и понятно, ибо формой он напоминает знаменитое пирожное из “Поисков утраченного времени”». Речь идет о «Комбре», первой части эпопеи М. Пруста, и пирожном «мадлен». В английской версии романа эпизод был переписан заново, а портсигар заменен на изумрудные серьги, которые в бреду требовала Марта (*G77.* P. 92).

С. 298. Они умолкли, глядя на белую дверь с цифрой 21... — О роли карточно-числового мотива см. с. 698. Ср. в главе VII: «...таксомотор двинулся. Франц вяло отметил номер: 22221. Эта единица после стольких двоек была странная». Оба раза сочетание единицы и двойки появляется в тексте в непосредственной связи со смертью — первый раз как предупреждение: «Когда они вошли в пустой дом, у Франца было впечатление, будто они вернулись с похорон».

С. 298—299. Pneumonia cruposa... (...) У вашей супруги — странное сердце... — Pneumonia cruposa — «крупозное воспаление легких» *(лат.).* Б. Бойд приводит интересную подробность: «Книга потребовала некоторых своеобразных изысканий. Набоков заплатил за визит к врачу, специализировавшемуся на легочных заболеваниях, чтобы выяснить, каким способом можно избавиться от героини. Будучи неисправимым озорником, он не сказал и слова, чтобы разрушить подозрения доктора. „‘Я должен убить ее’, — сказал я ему. Он уставился на меня в немом изумлении“». (*В90.* P. 277 — Перевод комм.).

ЗАЩИТА ЛУЖИНА

Впервые: Современные записки. 1929—1930. Кн. XL (с. 163—210); Кн. XLI (с. 99—164); Кн. XLII (с. 127—210).

Отдельной книгой роман вышел в берлинском издательстве «Слово», 1930. Следующее издание на русском языке было

осуществлено в 1967 г. в Париже издательством «Editions de la Seine» (авторских поправок не было). Печатается по этой публикации с необходимой сверкой по журнальному изданию.

В предисловии к английскому переводу романа («The Defense». New York: G.P. Putnam's Sons, 1964. Перевод М. Скеммела в соавторстве с В. Набоковым) Набоков «рифмует» имя героя с «illusion», а русское название связывает с шахматной защитой, «возможно изобретенной» Лужиным. Словосочетание «защита Лужина» в кругу шахматистов в тридцатые годы становится расхожей формулой: говорят о необходимости «защиты от Лужина», «защиты против Лужина», то есть об опасности безумия, подстерегающей шахматных гениев (см.: Е. А. Зноско-Боровский. Магия и безумие шахмат (Сеанс вслепую А. А. Алехина в Париже) // Руль. 14 июня 1931). В интервью 1932 г. Набоков вспоминал, что Алехин видел в Лужине Савелия Григорьевича Тартаковера (1887–1954), известного шахматиста и литератора: «...но я его совсем не знаю. Мой Лужин — чистейший плод воображения (Сегодня. 4 ноября 1932. С. 3). В предисловии автор говорит о знаменитейшей партии (Лондон, 1851) Адольфа Андерсена (1818–1879), «с нежностью... вспоминающего свою жертву обеих ладей», с «невезучим и благородным» Лионелем Кизерицким (1806–1853). По мнению Д. Бартона Джонсона, соотнесение Лужина с Кизерицким важно для понимания шахматной темы романа. Играющий черными Кизерицкий, приняв от Андерсена жертву двух людей, все же терпит поражение. (Восемью годами раньше при тех же странных обстоятельствах он уступает победу Шварцу.) Жизнь шахматиста заканчивается в сумасшедшем доме. Принятие роковой жертвы создает на поле черных ситуацию отдаления королевы от короля, которая переносится в роман и становится губительной для жизни черного короля-Лужина (уход невесты с матча с Турати и разлука с Лужиной во время приезда советской дамы) (D. Barton Johnson. Worlds in Regression. Ardis: Ann Arbor, 1985. P. 89–91). По словам Э. Филда, Набоков одно время признавал, «что в Лужине есть что-то» от Акибы Кивелевича Рубинштейна, одного из сильнейших шахматистов начала XX в., страдавшего психическим расстройством. Впоследствии писатель подчеркивал, что сходство было случайным: «Мне было трудно доказать, что я не знал Рубинштейна, — так он походил на Лужина». (A. Field. The Life and Art of Vladimir Nabokov. New York, 1986. P. 131).

«Защита Лужина», по мнению современников (Г. Струве, А. Савельев, Ал. Новик и др.), ознаменовавшая наступление творческого расцвета автора, построена на множестве смысловых осей, насыщена подтекстами и аллюзиями. Жизнь героя отражается не только на шахматном поле, но и в сюжетах мифологии, литературы, живописи, кинематографа, истории. Тема творчества и бессмертия соединяет мотивные линии романа. В. Ходасевич, впервые давший глубокую, собственно эстетическую трактовку «Защиты Лужина»,

видит в герое творца, которому недостало гармонии, и он не смог удержаться на спасительной грани искусства и жизни (Возрождение. 30 октября 1930. С. 2). «Защита Лужина» положила начало полемике В. Ходасевича с Г. Адамовичем о творчестве Набокова. Ходасевич писал о необходимости «меры» и «благородной искусственности» для настоящего мастера, Адамович — о несовместимости «придуманности», сделанности, внешнего «блеска» с представлением о большой литературе, об отходе автора от традиций русского искусства.

С. 309. Тучная француженка... — Ср. в предисловии: «Могу также признаться, что подарил Лужину мою французскую гувернантку...» (с. 55). Набоков не раз воссоздает ее образ. Впервые — в рассказе «Пасхальный дождь» (1925), затем во французской новелле «Mademoiselle O» (1936). Английская и русская версии текста впоследствии превратились в пятую главу всех трех вариантов автобиографии: «Conclusive Evidence» (1951), «Другие берега» (1954), «Speak, Memory» (1966).

«Бедный, бедный Дантес!» — Эдмон Дантес — главный герой романа А. Дюма «Граф Монте-Кристо» (1845–1846).

С. 310. ...совершенно безликие Трувор и Синеус... — по русским летописным преданиям, наряду с Рюриком — предводители варяжских дружин, основавшие Древнерусское государство. Бытует мнение, что Синеуса и Трувора не существовало и что известие о них появилось в результате неправильного прочтения летописцем иностранного текста.

С. 312. плащ-лоден — длинное теплое мужское пальто болотного цвета, расклешенное книзу.

С. 000. Сначала он бежал прямо лесом... — 19 января 1930 г. в «Руле» под заголовком «Из романа “Бегство Болотина”, соч. автора повести “Тройка, семерка, туз”» была опубликована следующая пародия на «Защиту Лужина»:

> ...Маленький Болотин поставил левую ногу, согнув ее в колене, на плетеный, в квадратных дырочках, венский стул, чтобы зашнуровать ботинок; концы шнурка были неровны, правый конец был длиннее левого, — ясно было, что левый растрепанный волокнистый шнурок, с которого давно слетел металлический заостренный книзу блестящий наконечник, никак не удается втащить в последнюю дырочку, окаймленную вделанным в испод кожи металлическим же черным ободком. Несмотря на это, маленький Болотин с ожесточением тянул шнурок, мусоля его, картаво чертыхаясь и в то же время нащупывая языком луновидное дупло в верхнем с правой стороны гладком зубе. Извлек Eos.

Р. Д. Тименчик считает, что пародия принадлежала поэту и филологу Михаилу Горлину (Владимир Набоков. Рассказы. Приглашение на казнь. Роман. Эссе, интервью, рецензии. М., 1989. С. 453).

С. 313. ...нашел знакомую тропинку и побежал... — лейтмотив тропинки как спасительного возвращения, возможно, отсылает к началу первой книги цикла «В поисках утраченного времени» М. Пруста, где Марсель думает о спешащем на станцию путнике и тропинке, запечатлевшейся в памяти путника, который утешал себя «мыслью о скором возвращении».

С. 315. ...чернобородый мужик с мельницы, обитатель будущих кошмаров. Он-то... и понес его... — Мельник в мифологии — характерное воплощение черта. Лужин, или лужинская душа, уносимая дьяволом, — одна из важных версий судьбы героя, возникающая в романе.

...он не раз, в приятной мечте, похожей на литографию, спускался ночью со свечой в гостиную, где вундеркинд в белой рубашонке до пят играет на огромном, черном рояле. — «Мечта», по-видимому, имеет реальный прообраз: в фондах РГБ сохранилась открытка начала века, на которой изображен мальчик в длинной рубашке за клавесином, озирающийся на отца, который входит с лампадой в руках. На втором плане — мать и сестра. Открытка подписана: «Моцарт Диксе». Возможно, она сделана с картины английской художницы Маргарет Изабел Дикси (Margaret Isabel Dicksee; 1858–1903), которая писала сцены из жизни знаменитых музыкантов и писателей.

Школа, которую он для сына выбрал, особенно славилась внимательностью к так называемой «внутренней» жизни ученика... — Имеется в виду «подчеркнуто передовое» Тенишевское училище (Моховая ул., № 33–35, Санкт-Петербург), которое окончил сам автор. «...Классовые и религиозные различия в Тенишевском училище отсутствовали, ученики формы не носили, в старших семестрах преподавались такие штуки, как законоведение, и по мере сил поощрялся всякий спорт» («Другие берега». Нью-Йорк, 1954. С. 169). В это училище либерально-демократического толка были отданы также Василий Розанов (сын В. В. Розанова), Сергей Милюков, Осип Мандельштам (оставивший воспоминания о Тенишевском в автобиографической прозе «Шум времени»; 1925). Учителя много заботились о нравственном воспитании своих подопечных, в протоколах заседаний говорится о «создании ядра души ученика», о том, что дети не должны «расти деревяшками».

Классным воспитателем сына был учитель словесности, добрый знакомый писателя Лужина... недурной лирический поэт, выпустивший сборник подражаний Анакреону. — Прототип героя — Владимир Васильевич Гиппиус (1876–1941) — поэт, прозаик, критик, педагог. Гиппиус преподавал словесность в Тенишевском училище, был председателем гуманитарной комиссии, с 1917 г. — директором. Задолго до начала преподавательской деятельности он вступил в круг символистских поэтов и прошел путь от декадентства к признанию общественных и религиозных идеалов. В 1912 г. (под псевд. Вл. Бестужев) издает сборник стихов 1896–1906 гг. «Возвра-

щение», в 1915–1917 гг. (под псевд. Вл. Нелединский) — книгу стихов «Ночь в звездах», в 1916 г. — поэму «Влюбленность», сборник «вольных сонетов» «Томление духа». Возможно, делая лужинского словесника автором «сборника подражаний Анакреону», воспевающим любовные утехи, Набоков иронизирует по поводу звучащих в зрелой поэзии Гиппиуса мистико-эротических мотивов, характерных для символизма. В 1913 г. Гиппиус становится постоянным сотрудником газеты «Речь», издаваемой В. Д. Набоковым.

С. 319. ...в синих школьных тетрадках... он писал очередную повесть... — Набоков признавался: «Лет до тридцати я писал в школьных тетрадках...» (Интервью А. Аппелю, Монтре, 1966).

С. 320. Гусь шел на щенка... — Первая аллюзия на игру: в «Бледном пламени» упоминается «королевский гусек» — игра, в которой фишки передвигаются по разбитой на клетки доске. На одной из клеток изображен гусь.

«Слепой музыкант» или «Фрегат “Паллада”»... – «Слепой музыкант» (1886, 2-я ред. 1898) — повесть В. Г. Короленко. Мотивы физической слепоты и творческой зрячести, музыкального таланта, а также жертвенной любви героини, которая стремится уберечь ущербного гения от внешних невзгод, пародийно отзываются в «Защите Лужина». «Фрегат “Паллада”» (1855–1857) — книга путевых очерков И. А. Гончарова.

...впрыснув себе кокаину... долговязый сыщик... — Шерлок Холмс, по словам К. Дойля, «не был привержен ни к каким порокам, а если изредка и прибегал к кокаину, то разве что в порядке протеста против однообразия жизни...» (Артур Конан Дойль. Желтое лицо; 1892–1893).

...Филеас, манекен в цилиндре... — Филеас Фогг — главный герой романа Жюля Верна «Вокруг света в восемьдесят дней» (1872) — механически точный англичанин, сравниваемый его слугой Паспарту с восковой фигурой из музея Мадам Тюссо.

С. 321. ...составивший монографию о пепле всех видов сигар... — об этом – в рассказе Конан Дойля «Этюд в багровых тонах» (1887).

...приложение к «Ниве»... – «Нива» — иллюстрированный еженедельный журнал, издававшийся в Петербурге с 1870-го по сентябрь 1918 г. В 1894–1916 гг. выходили «Ежемесячные литературные приложения к журналу “Нива”», содержащие помимо беллетристики научно-популярные и критические статьи, а также отдел шахмат.

С. 323. ...«пузеля», как называли их у Пето... — от *англ.* puzzle, здесь: картина-головоломка. «Пето» упоминается в «Других берегах» как магазин игрушек на Караванной улице. В справочниках «Весь Петербург» за 1905–1912 гг. значится как магазин канцелярских принадлежностей по адресу: Караванная, 14–16.

С. 323–324. ...мимо копии с купающейся Фрины (...) «Опять вышла нагишом», — со вздохом сказал издатель художественного журнала... — Фрина — знаменитая гетера, по свидетельству античных

авторов, служила моделью Афродит всех живописцев и скульпторов. С нее писал свою «Афродиту Анадиомену», («выходящую, выплывающую из моря») древнегреческий художник Апеллес (вторая половина IV в. до н. э.). Картина вызвала много подражаний в искусстве эллинизма. Известно, что один из поклонников Фрины возбудил против нее процесс, обвинив ее в нечестивости. Защитником на суде выступил знаменитый оратор Гиперид, который к концу своей речи обнажил грудь обвиняемой. Пораженные красотой Фрины, судьи оправдали ее. Вероятно, имеется в виду копия картины Г. И. Семирадского (1843–1902) «Праздник Посейдона, или Фрина», хранящаяся в Русском музее. См. также прим. к с. 366.

С. 327. ...Латам... прокатит... на своей «Антуанете»... Вуазен летает... — Латам Губерт (1883–1912) — французский авиатор. В 1909 г. на моноплане «Антуанетта» он первым попытался пересечь Ла-Манш, но попытка оказалась неудачной. Подобно тому как Лужин уходит из шахматного мира, Латам оставляет авиацию и вскоре трагически погибает. Как уточнил А. Долинин, в апреле 1910 г. Латам демонстрировал свое искусство на Коломяжском ипподроме в Санкт-Петербурге. Среди многочисленных зрителей был А. Блок, который в письме к матери от 21 апреля 1910 г. замечает: «...миллионная толпа, весенний день и изящнейшая “Антуанетта” (имя его летучки)». («Письма А. Блока к родным» в 2 т. М.–Л., 1927–1932. Т. 2. С. 74). Братья Вуазен, Габриэль (1880–1973) и Шарль (1882–1912) — французские инженеры, промышленники, авиаторы.

С. 333. ...стихотворением Коринфского... — Коринфский Аполлон Аполлонович (1868–1937) — поэт, прозаик, критик, переводчик.

С. 334. ...покушение на испанского короля. — Речь идет о неудачном покушении на Альфонса XIII (1886–1941) — короля Испании с 1902-го по 1931 г.. В мае 1906 г. в Мадриде, во время торжеств в связи с вступлением в брак с принцессой Викторией Евгенией, в короля была брошена бомба.

С. 336. бульдегом — от *фр.* boule de gomme — круглый леденец.

С. 340. ...Чигорин советует брать пешку. — Чигорин Михаил Иванович (1850–1908) — шахматист и теоретик, основоположник русской шахматной школы, претендент на мировое первенство в 1889–1895 гг. Издавал журнал «Шахматный листок» (1876–1881), где печатал свой «Курс дебютов» и «Курс концов игр», а также «Шахматный вестник» (1891–1897). Вел шахматный отдел в еженедельнике «Всемирная иллюстрация» (1881–1890), газете «Новое время» (1890–1907), а также некоторое время в «Ниве». В 1898 г. вышли его «Приложения к “Руководству шахматной игры” Жана Дюбреня» (СПб.).

С. 341. ...в густой роще за садом... зарыл ящик с отцовскими шахматами... — См. прим. к с. 421–422.

С. 342. ...довольно фантастическом радже... — Вероятно, Набоков имеет в виду легенду, которую приводит А. И. Куприн в заметке «Шахматы» (Возрождение. 3 декабря 1927). Согласно этой легенде, богатый раджа, утративший вкус к жизни, неожиданно познает новую радость — удивительную игру, которой обучает его волшебный странник — изобретатель шахмат.

...великом Филидоре, знавшем толк и в музыке. — Даникан-Филидор Франсуа Андре (1726—1795) — французский композитор, один из создателей французской комической оперы, знаменитый шахматист, шахматный теоретик. Известна «защита Филидора». Судьба его также перекликается с судьбой Лужина: Филидор в 29 лет (примерно в том же возрасте, что и Лужин) оставляет шахматы и затем возвращается к ним вновь, в жизни обоих шахматная тема переплетается с музыкальной.

С. 349. ...когда был убит австрийский эрцгерцог... — Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, послужившее поводом к началу Первой мировой войны, произошло 28 июня 1914 г. в Сараево.

С. 351. Он носил на указательном пальце перстень с адамовой головой... — Адамова голова, т. е. череп — один из важнейших масонских символов (бренности бытия, осуждения земного). Ср. в «Войне и мире»: «Пьер... взглянув еще раз на руки нового знакомца, ближе рассмотрел перстень. Он увидал на нем Адамову голову, знак масонства». Подобно толстовскому масону Баздееву в отношении Пьера, Валентинов выполняет роль духовного наставника Лужина, руководящего героем в его закрытой, таинственной деятельности. Масон — одна из пародийных масок Лужина, которой его наделяет молва. Так, в дальнейшем «темная, преступная, — быть может, масонская, — деятельность» мерещится матери его невесты за «пристрастием к невинной игре». Комически подтвердится и приверженность героя масонским символам: Лужин — начинающий художник изобразит «череп на телефонной книжке» (с. 433).

Он изобрел походя удивительную металлическую мостовую, которая была испробована в Петербурге, на Невском, близ Казанского собора. — Набоков опирался на реальный факт, о чем свидетельствует следующее замечание в журнале «Городское дело» (Пг., 1915. № 13—14. С. 773): «Автор [инженер Н. Галяшкин] справедливо осуждает наше искание философского камня — поиски такой мостовой, которая соединяла бы все качества с дешевизной и прочностью; отсюда опыты с... глупыми доморощенными изобретениями, вроде железной рогожки у Казанского собора в Петрограде».

С. 356. ...в Финляндии... она... видела знаменитого писателя, очень бледного, с отчетливой бородкой... — Речь, по-видимому, идет о Леониде Николаевиче Андрееве (1871—1919), поселившемся в 1908 г. в финской деревне Ваммельсу.

С. 358. ...и все шахматное поле трепетало от напряжения, и над этим напряжением он властвовал, тут собирая, там освобождая электрическую силу. — Ср. описание игры А. Алехина (1892—1946), принадлежащее Е. А. Зноско-Боровскому: «...у него нет мертвых частей игры: все насыщено электричеством, каждая клетка дрожит в нервном напряжении. ‹...› Кажется, миллиарды электрических волн излучает из себя всякая фигура, которой касается Алехин, каждая клетка, в которую он метит» («Капабланка и Алехин». Париж, 1928. С. 83). Набоков благосклонно отозвался на эту книгу в рецензии 1927 г. (см. с. 644).

...после того незабвенного турнира в Лондоне, первого после войны... — Первый послевоенный международный шахматный турнир состоялся в Лондоне в 1922 г.

С. 361. ...гостиница ‹...› ему казалось иногда, что некто — таинственный, невидимый антрепренер — продолжает его возить с турнира на турнир, но были иногда странные часы, такая тишина вокруг, а выглянешь в коридор — у всех дверей стоят сапоги, сапоги, сапоги... — скрытая аллюзия на одну из любимых Набоковым «случайных» сцен из конца седьмой главы «Мертвых душ», «описание ночной тишины», названное им в книге «Николай Гоголь» «сапожной рапсодией», в которой никому не ведомый поручик, сосед Чичикова по гостинице, бесконечно, пару за парой, примеряет сапоги. Так, исподволь, вводится тема души Лужина, купленной Валентиновым-Чичиковым — «низко оплачиваемым агентом дьявола», «адским коммивояжером» («Николай Гоголь»).

Этот игрок, представитель новейшего течения в шахматах, открывал партию фланговыми выступлениями, не занимая пешками середины доски, но опаснейшим образом влияя на центр с боков. — Набоков, очевидно, говорит о направлении развития шахматной мысли 1910—1920 гг. — «гипермодернизме», или «неоромантизме», к которому примыкали А. Нимцович, Р. Рети, А. Алехин, Е. Боголюбов, С. Тартаковер и др. Гипермодернисты разрабатывали дебютные планы с отказом от немедленного продвижения центральных пешек и фланговым развитием слонов. Прототипом Турати мог явиться чешский шахматист Рихард Рети, теоретически обосновавший новую дебютную систему. Ср. «знаменитый дебют» Турати (с. 361), а также созвучие фамилий. (Об этом: D. B. Johnson. Указ. соч. P. 91)

С. 366. ...и с тем, прекрасно издававшимся, давно опочившим журналом, где бывали такие превосходные фотографии старых усадеб и фарфора. — Речь идет о «Столице и усадьбе. Журнале красивой жизни» (1913—1917, СПб.), выходившем под красочной обложкой, на меловой бумаге и привлекшем к сотрудничеству лучших петербургских фотографов (А. Н. Павлович, Я. В. Штейнберг). Набоков упоминает «Столицу и усадьбу» также в романе «Под знаком незаконнорожденных». Издателем-редактором журнала был Владимир Пименович Крымов (1878—1968), писатель

и журналист, в 20-е гг. живший в Берлине. Вероятно, именно он упоминается в салоне Лужиных как «издатель художественного журнала».

...статная... дама, называвшая самое себя бой-бабой или казаком (след смутных и извращенных реминисценций из «Войны и Мира»)... — Толстовская Мария Дмитриевна Ахросимова, «тучная», «знаменитая... откровенной простотой обращения», «ужасный драгун» звала «казаком» Наташу.

С. 367. ...стихи Бальмонта, найденные в «Чтеце-Декламаторе»... — В «Художественном сборнике стихотворений, рассказов и монологов для чтения в дивертисментах, на драматических курсах, литературных вечерах и т. п.», «Чтеце-Декламаторе», выходившем в 1900—1910 гг. в разных городах (Киев, Одесса, Варшава) К. Д. Бальмонт (1867—1942) был одним из самых печатаемых поэтов.

...чувство легендарного затмения, когда наступает необъяснимая ночь, и летит пепел, и на стенах выступает кровь... — аллюзия на описание апокалиптических событий в гл. 8 Откровения Святого Иоанна Богослова (7; 12): «...и сделались град и огонь, смешанные с кровью (...) и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была — так, как и ночи».

С. 368. ...какой-нибудь Рубинштейн... — Рубинштейн Акиба Кивелевич (1882—1962) — шахматист, претендент на мировое первенство.

С. 371. ...берлинского иллюстрированного журнала, где в отделе загадок и крестословиц была приведена... партия... — Возможно, имеется в виду воскресное приложение к газете «Руль» — иллюстрированный еженедельник «Наш мир», где публиковал шахматные задачи В. Набоков.

С. 372. Так делали тургеневские девушки. — А. Долинин высказал мнение, что, указывая на связь Лужиной с тургеневскими героинями, Набоков одновременно иронизирует над ее невосприимчивостью к изящной словесности, недостатком литературной эрудиции. Манерой называть знакомых мужчин по фамилии наделены в русской литературе не жертвенные и нежные «тургеневские девушки», а их антиподы — «эмансипе» Кукшина из «Отцов и детей» и жена Шатова из «Бесов» Ф. М. Достоевского.

С. 376. ...томбольный выигрыш... — Томбола (*ит.* tombola) — лотерея.

Жадуб — (*фр.* J'adoube) — я еще не хожу. Здесь: «поправляю». Шахматный термин; употребляется, когда игрок случайно прикасается к фигуре, поправляет ее на доске или временно перемещает, не делая хода.

С. 382. ...андреевский «Океан»... — «Океан» (1911) — пьеса Л. Андреева, символический сюжет которой образует ряд параллелей с мотивами «Защиты Лужина». Главная героиня Мариет

пытается спасти «морского волка» Хагтарта, над которым тяготеет его жестокое прошлое. Он остается в ее стране «снов» и бросает ремесло пирата. (Ср. слова Лужина о круге его невесты: «в хорошем сне мы живем».) Но губительный океан властно зовет его, подобно шахматам — страшной яви, не отпускающей Лужина.

...роман Краснова... — Краснов Петр Николаевич (1869—1947) — прозаик, автор мемуарных и историко-публицистических произведений, активный участник белого движения. С конца 1919 г. жил в Германии и являлся одним из лидеров антисоветского крыла эмиграции. В 1920-е гг. опубликовал множество романов, описывающих прошлое России, Дона, эпоху Гражданской войны: «От двуглавого орла к красному знамени» (1921), «Единая-неделимая» (1925), «С нами Бог» (1927) и др.

...княгиня Уманова, которую называли пиковой дамой (по известной опере). — Известно неприятие Набоковым либретто «Пиковой дамы» и «Евгения Онегина», «преступно» искажающих подлинник, и знакомства с Пушкиным по «нескольким популярным операм», которые «якобы заимствованы из его творчества» (В. Набоков. Пушкин, или Правда и правдоподобие; 1937).

С. 383. ...«все васильки, васильки»... — из городского романса («Все васильки, васильки, / Много их было во поле. / Вспомни, у самой реки / Я собирал их для Оли...»), литературным источником для которого послужило стихотворение А. Н. Апухтина «Сумасшедший» (1890) со слов «Да, васильки, васильки...», положенного на музыку Н. В. Кирщбаумом. В начале века романс часто исполнялся в любительском и профессиональном декламационном репертуаре.

С. 388—390. ...ибо время в шахматной вселенной беспощадно ‹...› но в огненном просвете он увидел что-то нестерпимо страшное, он понял ужас шахматных бездн, в которые погружался ‹...› тень... начала быстро убирать фигуры в маленький гроб. — По-видимому, первая аллюзия на заключительную сцену из «Фауста»: «Но время — царь; пришел последний миг» (И.-В. Гёте. Фауст. Перевод Н. Холодковского. М., 1954. С. 344). Время шахматной партии соотносится со временем жизни, герой пугается адского пламени; тень убирает в гроб шахматные фигуры (с которыми все чаще отождествляет себя герой), подобно лемурам, кладущим в могилу тело Фауста.

С. 394. «Бак берепом», — прочел Курт по системе «реникса»... — т. е. прочел русские слова: «Вас вечером» как латинские. Система «реникса» восходит к «Трем сестрам» А. П. Чехова: «...учитель написал на сочинении "чепуха", а ученик прочел "реникса", думал, что по-латыни написано». (Об этом: Б. В. Аверин. Поэтика ранних романов Набокова // Набоковский вестник. СПб., 1998. Вып. 1. С. 32)

С. 404. ...профиль обрюзгшего Наполеона... — Как отмечает Нора Букс, — аллюзия на «Пиковую даму»: Томский говорит о Гер-

манне: «...у него профиль Наполеона...» (Н. Букс. Двое игроков за одной доской: Вл. Набоков и Я. Кавабата // *Н97.* С. 536.)

С. 407. ...особенно страницы о земских выборах и обед, заказанный Облонским. — Имеются в виду эпизоды «Анны Карениной» Л. Н. Толстого: часть 6-я, гл. 27—31 и часть 1-я, гл. 10—11.

С. 411. ...увенчанный плечистым востролицым Данте в купальном шлеме... — копия бронзового бюста Данте (XV в. Национальный музей в Неаполе).

С. 421. Здравствуйте, милостивая государыня. Теперь, когда ты нужен, восклицательный знак, где ты? (...) Милостивая государыня!! — Лужин воспроизводит систему обозначений, принятую в комментариях к шахматным партиям: «!» — сильный ход, «!!» — очень сильный ход, «?» — слабый ход.

С. 421—422. Тело найдено. (...) «Аббат Бузони». — Аллюзия на одну из сюжетных линий «Графа Монте-Кристо»: Монте-Кристо (время от времени выступающий под именем аббат Бузони) указывает на место в саду, где был зарыт «ящичек» с новорожденным младенцем. Тема тайного захоронения в «Защите Лужина» начинается, когда маленький Лужин зарывает в роще за садом ящик с отцовскими шахматами. Теперь вместилище шахмат, «ящик», благодаря аллюзии на Дюма, вновь (ср. с. 390) сравнивается с гробом, а шахматы — с мертвым телом.

С. 422. гралица — отражение на море солнечного или лунного света столбом.

...и была целая опера... «Борис Годунов» — с колокольным звоном в одном месте и жутковатыми паузами. — Имеется в виду сцена смерти Бориса, в которой звучит погребальный колокол. После заключительной реплики Бориса: «Боже! Смерть... Прости меня! Вот, вот, царь ваш... царь... простите... простите...» — как в версии М. П. Мусоргского, так и в версии Н. А. Римского-Корсакова наступает тишина (два такта паузы в оркестре).

... музей... — видимо, Лужина повела супруга в главную картинную галерею Берлина, так называемую Картинную галерею Кайзера Фридриха, ныне не существующую. Большая часть ее коллекции сгорела в конце Второй мировой войны.

...а в Испании... родился самый сумрачный мастер. — Речь идет о Франсиско Хосе де Гойе (1746—1828). Ср. о нем у К. Д. Бальмонта: «Мне снился мучительный Гойя, художник чудовищных грез...»

С. 423. ...а этот любит лилии и нежные лица, слегка припухшие от небесной простуды... — Сандро Боттичелли (наст. имя Алессандро ди Мариано Филипепи; 1445—1510). В галерее Кайзера Фридриха находились его «Дева с младенцем и поющие ангелы» (нежность лица Мадонны оттеняют белые лилии), «Мадонна со св. Иоанном Крестителем и св. Иоанном Евангелистом» (также с лилиями) и др.

...огромное полотно, где художник изобразил все мучение грешников в аду, — очень подробно, очень любопытно. — Триптих Лукаса

Кранаха Старшего по Иерониму Босху «Страшный Суд» в галерее Кайзера Фридриха.

С. 425. ...какого-то «Кота-Мурлыку»... — «Сказки Кота Мурлыки» (1872) Николая Петровича Вагнера (псевд. Кот Мурлыка; 1829–1907), русского писателя и зоолога. Занимался, в частности, проблемами размножения насекомых, входившими в круг научных интересов Набокова.

С. 426. Игрок? — отсылка к двум текстам русской литературы, связанным темой «дьявольской, разрушительной игры»: «Игроку» Ф. М. Достоевского (об этой аллюзии: Н. Букс. Двое игроков за одной доской... // *Н97.* С. 536–537) и повести «Игрок» (1858) Н. Д. Ахшарумова (1820–1893). Действие «Игрока» Ахшарумова разворачивается в Берлине, герой повести, как и Лужин, становится жертвой шахматного наваждения и превращается в черного короля. Один из ключевых моментов сюжета, соединяющих шахматную тему с любовной, — жертва черной королевы. Ср. этот мотив у Набокова: в конце романа Лужин с нежностью вспоминает «страстный взрыв и фанфару ферзя, идущего на жертвенную гибель».

С. 427. Балашовское училище. — Набоков образует название училища от фамилии соученика-тенишевца Андрея Балашова, с которым они издали общий сборник стихов «Два пути» (1918).

С. 440. ...стал совать руку в дырку ⟨...⟩ показался какой-то красный угол, потом ⟨...⟩ маленькая ⟨...⟩ шахматная доска... — Как сообщил Д. Бартон Джонсон, это реминисценция одного из главных сюжетных ходов кинофильма В. И. Пудовкина «Шахматная горячка» (1925). Герои фильма постоянно извлекают отовсюду шахматные доски: «Грузчик... вынимает из валенка шахматную доску ⟨...⟩ Отец вынул из кармана шахматную доску ⟨...⟩ Галадрев... вынул из... кармана брюк шахматную доску и кинул в воду». (В. Пудовкин. Собрание сочинений в 3 т. Т. 1. М., 1974. С. 312–313). Отзываются в романе и многие другие мотивы «Шахматной горячки» — стремление главного героя избавиться от шахмат, доказать жене, что он свободен от их власти, и др.

С. 442. Трудно, трудно спрятать вещь, — ревнивы и нерадушны другие вещи... — И далее — до конца абзаца — воспроизведение интонации, ритма, лексики «Мертвых душ».

...и уже темно было ее происхождение. — неточная цитата из «Мертвых душ» Гоголя: «Темно и скромно происхождение нашего героя».

С. 446. ...русской газеты, название которой с гортанными руладами выкрикивала под вечер... — Возможно, имеется в виду газета «Руль».

С. 448. ...заметьте, что тютчевская ночь прохладна, и звезды там круглые, влажные, с отливом, а не просто светлые точки. — Имеется в виду стихотворение Ф. И. Тютчева «Летний вечер» (1829): «Уж звезды светлые взошли / И тяготеющий над нами / Небесный свод приподняли / Своими влажными главами...»

С. 449. ...цитату из Жуковского: «Лишь то, что писано с трудом, читать легко»... — из послания В. А. Жуковского князю Вяземскому и В. Л. Пушкину «На этой почте все в стихах» (1814).

С. 452. ...продлить как можно больше эту ночь, эту тихую темноту, остановить время на полночи. (См. также на с. 438: *ему хотелось остановить часы жизни.*) — Ср. в «Фаусте»: «Мефистофель: “Последнее он удержать хотел, / Бедняк, пустое, жалкое мгновенье! 〈...〉 Часы стоят!” Хор: “Стоят! Остановились! / Упала стрелка их. Как мрак ночной, они молчат”» (с. 344).

С. 459. А на одной был бледный человек с безжизненным лицом в больших американских очках, который на руках повис с карниза небоскреба — вот-вот сорвется в пропасть. — Аллюзия на американский кинофильм С. Тэйлера «Наконец в безопасности» (1923) с известным комиком Гарольдом Ллойдом, который пытается влезть на небоскреб. (Об этом: A. Appel. Nabokov's Dark Cinema. New York, 1974.)

И эта любовь была гибельна. — Т. е. «amor fati» — роковая любовь. Отзвук эпизода на с. 449: «Звонил господин Фа...Фати». Путаница с фамилией Валентинова («фати», т. е. фатум, рок) подчеркивает его роль в жизни Лужина.

С. 462—463. ...сперва самопишущую ручку, 〈...〉 после этого он вынул портсигар с тройкой на крышке, подарок тещи... бумажник и золотые часы — подарок тестя — были вынуты особенно бережно. — Медленное расставание Лужина с предметами, связывающими его с этим миром, перекликается с действиями героя неоконченной повести Л. Н. Толстого «Нет в мире виноватых» (1911) по фамилии Волжин: «...выложил 〈...〉 на столик золотые часы, серебряный портсигар 〈...〉, большой замшевый кошелек, щеточки и гребенки...» (Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в 20 т. Т. 14. М., 1964. С. 501) (A. Dolinin. Two Notes on Intertextuality of Nabokov's Russian Novels // The Nabokovian. № 33. Fall 1994).

РАССКАЗЫ

РАССКАЗЫ ИЗ СБОРНИКА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА. РАССКАЗЫ И СТИХИ

Книга «Возвращение Чорба» вышла в берлинском издательстве «Слово» в 1930 г. и состояла из двух частей: 15 рассказов и 24 стихотворений. Рассказы печатаются по тексту этого издания, но располагаются в порядке их первых публикаций в периодической печати.

М. Цетлин в рецензии на сборник выразил мнение, что «рассказы Сирина несколько слабее его романов. Автор как будто

делает в них опыты, экспериментирует 〈...〉 он как будто сначала ставит себе сознательно задачу, а потом уже ищет себе путей для ее разрешения» (Современные записки. 1930. Кн. XLII. С. 530). В заметке в пражском журнале «Воля России» Герман Хохлов проводит сравнение первых романов с короткой прозой Набокова: «В них та же заостренность языка и повествования, построенного по принципу обновления материала, в них та же намеренная случайность отправной точки 〈...〉 в них та же утонченная наблюдательность человека, любящего жизнь за то, что она единственный и прекрасный материал для творческого перевоплощения» (1930. № 2. С. 191). По мнению Н. Андреева, «книга Сирина “Возвращение Чорба” говорит об интимном круге писательских замыслов, вводит за кулисы его мастерства, и в небольших разноцветных рассказах нам открывается и метод сиринских построений... и его сокровенные пристрастия. Книга приближает к нам писателя, давая увидеть его человеческие симпатии, рассмотреть которые в романах трудно из-за их ослепляющего блеска» (Н. Андреев. Сирин // Новь. Таллинн. 1930. Окт. № 3). Напротив, Г. Иванов, откровенно враждебно настроенный по отношению к Набокову, писал, что рассказы в «Возвращении Чорба» «написаны до счастливо найденной Сириным идеи перелицовывать, на удивление соотечественникам, “наилучшие заграничные образцы”, и писательская его природа... обнажена... во всей своей отталкивающей непривлекательности», но даже рецензенту пришлось признать, что это — «пошлость не без виртуозности» (В. Сирин. «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Возвращение Чорба», рассказы // Числа. 1930. Кн. 1. С. 233–236).

При переводе рассказов на английский язык, осуществлявшемся совместно с сыном, Набоков, по своему обыкновению, внес в текст ряд изменений; ниже в примечаниях отклонения от оригиналов оговариваются в случаях, когда они носят смысловую нагрузку.

Сказка. Впервые: Руль. 27, 29 июня 1926. Сам Набоков в комментарии к переводу назвал «Сказку» «довольно искусственной историей, сочиненной немного поспешно, с большей заботой о хитром сюжете, чем о символике и хорошем вкусе». По признанию автора, не перечитывавшего рассказ с 1930-х гг., при переводе он был поражен жутковатым образом «хоть и дряхлого, но безошибочного Гумберта, сопровождающего свою нимфетку в рассказе, написанном почти полвека назад». Рассказ вызвал противоречивый отзыв М. Цетлина, посчитавшего, что «Сказку» «лучше было бы в книгу не включать» (Современные записки. 1930. Кн. XLII). Вожможно, что знакомство с сиринским рассказом М. Булгакова, братья которого жили за границей и держали его в курсе эмигрантской прессы и книжных новинок, отразилось в работе над «Мастером и Маргаритой» — в сцене смерти Берли-

оза под трамваем, подтверждавшей силу дьявола Воланда (см.: Omry and Irena Ronen. «Diabolically Evocative»: an Inquiry into the Meaning of a Metaphor // *Slavica Hierosolimytana*. 1978. Vol. 5–6; Вяч. Вс. Иванов. Черт у Набокова и Булгакова // Звезда. 1996. № 11. С. 146–149).

С. 470. ...горели фонари, лампочки вывесок. — В английском переводе Набоков усиливает фантастические мотивы немецкого романтизма, в русском тексте менее явные. Так, после этой фразы вводится гётевская тема: «Весьма кстати фонограф в кафе заиграл Цветочную арию из "Фауста"»[1]. В русском оригинале для обозначения проигрывателя используется «граммофон», возможно, как слово, кодирующее имя Э. Т. А. Гофмана (ГрАмМоФОН). Из других поздних добавлений отметим новый топоним — Бульвар Амадеуса: несуществующая в реальном Берлине улица (в отличие от имеющейся, к примеру, Hoffmannstraße) указывает на одно из имен писателя.

...дама... тяжело играя бедрами, пройдя меж столиков... — Сцена в кафе несет очевидное эхо стихотворения Блока «Незнакомка»: «А рядом у соседних столиков / Лакеи сонные торчат ⟨...⟩ И медленно, пройдя меж пьяными, / Всегда без спутников, одна...» и т. д. (Благодарю Р. Д. Тименчика за указанную параллель. — *Ю. Л.*)

...раз была корольком в африканском захолустье. — В переводе: «В 1870-е, лет пятьдесят назад, я была похоронена с живописными почестями и пребольшими потоками крови, на холме с видом на гроздь африканских деревушек, чьим правителем и являлась».

С. 471. А ныне я госпожа Отт... — По наблюдению О. Ронена, имя черта представляет собою «Готт без первой буквы и Отто без последней» (Пути Шкловского в «Путеводителе по Берлину» // Звезда. 1999. № 4. С. 169). Каламбур сохраняется и в английской версии, где госпожа Отт становится «фрау Монде» (анаграмма Демона). О семантике имени ОТТО у Набокова см.: М. Безродный. Имя черта // Новое литературное обозрение. 1998. № 31. С. 276–278.

...господин в черепаховых очках. — «Черепаховый лорнет» встречается у черта в «Братьях Карамазовых» Достоевского.

С. 476. ...в свою шелестящую речь вставила случайную немецкую фразу... — В переводе: «...немецкое слово, как окно, распахнулось в ее славянском говоре, и это случайное слово (*offenbar*) было "явным" знаком». Offenbar *(нем.)* — «очевидный, явный».

Пассажир. Впервые: Руль. 6 марта 1927. В английском переводе Г. П. Струве рассказ был опубликован в июне 1934 г. в «Lovat

---

[1] Все переводы, кроме специально оговоренных случаев, сделаны нами. — *Ю. Л.*

Dickson's Magazine» (London. Vol. 2, № 6) с опечаткой в имени автора — V. Nobokov-Sirin. Спустя сорок лет переведен Набоковым заново для сборника «Details of a Sunset and Other Stories» (1976), объяснившим это тем, что «даже если время неизменно, меняется художественная интерпретация» (21 апр. 1975, цит. по: Письма к Глебу Струве. Публикация Е. Б. Белодубровского // Звезда. 1999. № 4. С. 39). Набоков снабдил перевод комментарием: «"Писатель" в этой истории не автопортрет, а собирательный образ пошловатого писателя. "Критик" же является дружеским шаржем коллеги-эмигранта Юлия Айхенвальда... известного литературного критика. Читатели прежних времен узнавали его точные, изящные маленькие жесты и увлечение игрой благозвучно спаренными фразами в литературных комментариях. К концу рассказа все, кажется, уже забывают об обгоревшей спичке в рюмке — то, что сегодня я ни в коем случае не позволил бы».

С. 481. ...жизнь... мы в угоду нашим читателям выкраиваем из ее свободных романов наши аккуратные рассказики, — ad usum delphini... — Реминисценция пушкинского «И даль свободного романа / Я сквозь магический кристалл / Еще не ясно различал» («Евгений Онегин», 8, L).

...повесть из жизни вагонных уборщиц... — Главный герой рассказа Набокова «Случайность» служит лакеем в столовой германского экспресса (см. том I наст. издания).

С. 482. ...синеватым ногтем большого пальца. — При всей своей кажущейся фрагментарности деталь тела с литературной генеалогией: «И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акакию Акакиевичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп» («Шинель»). Также: «громадный черный ноготь с трещиной посередке» («Драка», см. том I наст. издания).

...фиолетовую ижицу подвязки... — т. е. конфигурации 42-й буквы церковной азбуки: ѵ. В стихотворении «Сам треугольный, двукрылый, безногий...» (1932) Набоков сравнивает с ижицей летящего ангела.

С. 484. «В поезде находится преступник»... муж застрелил жену и ее любовника. — Сюжет о «преступнике в поезде», человеке, убившем в припадке ревности жену, происходит из повести «Крейцерова соната» (1890). Правда, в отличие от набоковского героя рыдающий пассажир у Л. Толстого изливает свою душу соседу по купе. Набоков исполнил роль Позднышева на театрализованном суде над героями «Крейцеровой сонаты» в постановке Союза писателей в Шуберт-зале 13 июля 1926 года.

букмэкер — лицо, принимающее денежные ставки при игре в тотализатор, главным образом на скачках и бегах.

Ужас. Впервые: Современные записки. 1927. Кн. XXX. Первое прозаическое произведение Набокова, появившееся в ведущем

литературном журнале русской эмиграции. М. Осоргин положительно отозвался о дебюте в рецензии на 30-й номер журнала: «“Ужас” — маленький психологический очерк, хорошо сделанный» (Последние новости. 27 января 1927). Другой критик прямо сравнил рассказ с отрывком из учебника по психологии (Ю. Айхенвальд. Литературные заметки // Руль. 2 февраля 1927). Несмотря на попытки современных исследователей составить рассказу солидную родословную из произведений Достоевского, Бунина и Толстого (N. Tolstaia and M. Meilakh. Russian Short Stories // *A95.* P. 648), трудов Уильяма Джеймса, Декарта, Паскаля и Канта (D. B. Johnson. Terror: Pre-Texts and Post-Texts // *N-B93.* P. 39–64), очевидным прямым претекстом набоковского «очерка» является рассказ Льва Рубиновича «Ужас», опубликованный в 6-м номере журнала Тенишевского училища «Юная мысль» (1916). Набоков вместе с Рубиновичем был членом редакции школьного журнала, в указанном номере опубликовано его стихотворение «Осень». Рассказ Рубиновича, так же как и набоковский, лишен фабулы и в форме исповеди повествует от первого лица о пребывании рассказчика в больнице после перенесенной тяжелой операции. Большую часть истории занимает описание ночных диалогов о бренности бытия с другим больным, инженером Ловитским. Смерть любимой спасает от безумия героя набоковского рассказа; Ловитский, физический двойник повествователя, не преодолевший страха смерти, сходит с ума. Как позже считал Набоков, переведенный на немецкий язык в 1928 г. его рассказ повлиял на роман Ж.-П. Сартра «Тошнота».

С. 486. Со мной бывало следующее... — П. Тамми проводит параллель с первым предложением «Записок сумасшедшего» Гоголя: «Сегодняшнего дня случилось необыкновенное приключение» (*N-B93.* P. 60).

...идет еще в гору... — В первой, журнальной, публикации: «идет в гору».

...почему именно это — я... — В журнале: «почему это — я».

С. 487. ...душа моя задохнется на миг, лежу навзничь... и стараюсь изо всех сил побороть страх, осмыслить смерть... — Ср. с пассажем из «Ужаса» Л. Рубиновича (отчасти предвосхищающим позднюю метафору, которой открывается первая глава «Других берегов»): «...особый список дней, которые смотрят в грань между жизнью и смертью... Каждый из них это момент борьбы... ‹...› Я задыхаюсь. Сбрасываю подушку... Воздуху!»

...и опять в темноте... проносится крик, — и внезапно стихает ‹...› Высший ужас... особенный ужас... — «Воет человек, метаясь в постели... Это ужас души, это не только боль тела. Душа рвется. Мрак ее давит. Аахоа. Ааа-аооаа» (Л. Рубинович).

...вскрикивает несколько голосов... — В журнале: «вскрикивают несколько голосов».

С. 488. аванложа — небольшое помещение перед входом в театральную ложу.

...и налетела такая густая тьма... — В журнале: «и налетела сразу такая густая тьма».

С. 489. ...почему мне так неприятен, так отвратителен этот кружевной, хохочущий сон. — «И он захохотал. Ужасный был смех! Смех ужаса, смех смерти» (Л. Рубинович).

С. 490. ...наклоняется ко мне непонятное лицо, безносое, с черными, гусарскими усиками под самыми глазами, с зубами на лбу... — «Черные впадины, впадины глаз устремлены на меня. Брови приподняты, и одна из них растерянно сжата. Он открывает рот, и сверкают зубы» (Л. Рубинович).

...каков он есть на самом деле... — В журнале: «каков он и есть на самом деле».

...такой-то стиль... — В журнале: «какой-то стиль».

...вникая в него... — В журнале: «не вникая в него».

...я сперва увидал в... виде. — В журнале: «я сперва заметил в... виде».

...только одно желание... — В журнале: «одно только желание».

С. 491. И тогда ужас достиг высшей точки. ⟨...⟩ Вид человеческого лица возбуждал во мне желание кричать. — «Весь ужас, весь тот крик, что не мог вырваться раньше, вырвался теперь и слился с воем больного» (Л. Рубинович).

...посредине широкой прихожей. — В журнале: «посередине широкой прихожей».

И пока я ехал... — В журнале: «Пока я ехал».

...по окату виска... — В журнале: «по скату виска».

С. 492. ...когда-нибудь снова охватит меня... — В журнале: «когда-нибудь охватит и меня».

Звонок. Впервые: Руль. 22 мая 1927. Переведенный Д. Набоковым при участии отца, рассказ вошел в сборник «Details of a Sunset» (New York, McGraw-Hill, 1976). В названии английской версии рассказа (The Doorbell — *букв.* «дверной звонок») была снята многозначность, и лейтмотив телефонных звонков (позже перекочевавший в английский рассказ «Знаки и символы») отошел на второй план.

С. 492. Николаевский вокзал — дореволюционное название Московского вокзала в Петербурге.

...перешел к белым. — В газетной публикации: «переполз к белым».

Таврида — древнее название полуострова Крыма.

Николай Степаныч побывал и в Африке... — Подобно Галатову по Африке путешествовал другой Николай Степанович — Гумилев. В 1927 г. Набоков, по-видимому, вновь увлекся поэзией Гумилева (в 1923 г. памяти поэта он посвятил стихотворение. См. том I наст. издания). В рецензиях этого года он упоминает его по крайней

мере дважды: заявляет, что «о Гумилеве нельзя говорить без волненья» (Дмитрий Кобяков. Евгений Шах; см. с. 639), и в связи со стихами Ю. Галича на африканскую тематику вопрошает, «как можно, любя Гумилева и зная *его* Африку, писать о “мотивах мимозной поэзы”...» (Новые поэты; см. с. 643). Далекий от поэзии Галатов, чья фамилия через топоним несет экзотический оттенок (Галата — место на территории центральной Турции, древний район Малой Азии, граничивший с Фригией и Каппадокией, названный по имени обитателей — *галатов*), является прозаической изнанкой образа своего героического тезки.

С. 493. ...огрубел... — В газете: «огрудел».

...изучил два языка... — В газете: «выучил два языка».

Из Каира уезжал... журналист Грушевский. — Г. П. Струве поясняет, что для русского читателя второй половины 1920-х гг. Каир в данном контексте должен был ассоциироваться с репортажами Яблоновского, сотрудничавшего с «Рулем» (Marina T. Naumann. Blue Evenings in Berlin. Nabokov's Short Stories of the 1920s. N.Y. New Your University Press. 1978. P. 236). В английском переводе старичок с фруктовой фамилией уезжает с Корсики.

...с трубкой в зубах... — В газете: «в правых резцах».

...вышел на площадь перед вокзалом... полюбовался бриллиантовой рекламой, проедающей темноту. (...) Но эти годы, это... волнение свободы... И вот опять — новый город... скрежет трамвая. — Принимая во внимание присутствие гумилевских мотивов в рассказе, возможный подтекст пассажа — стихотворение «Заблудившийся трамвай». Ср.: «Шел я по улице незнакомой... / Передо мной летел трамвай... / В воздухе огненную дорожку / Он оставлял... 〈...〉 Понял теперь я: наша свобода — / Только оттуда бьющий свет...» В следующем абзаце сказано: «В этой *заблудившейся* [Курсив наш. — *Ю. Л.*] русской провинции...» Аллюзии на стихотворение встречаются у Набокова и сорок лет спустя («Смотри на арлекинов!», ч. 7, гл. 2).

Сплошной Майн-Рид... — В английской версии: «It was pure Jack London...» («Это был чистый Джек Лондон»). В газетной публикации: «Майнрид».

С. 494. бранденбурги — вышитые на одежде вензеля. В газете после этих слов следует: «лысый».

С. 495. Неллис — Фамилию матери героя (в переводе она становится урожденной княгиней Карской, Кинд по второму мужу) Набоков берет из близкого окружения: Карл Неллис звали его одноклассника по Тенишевскому училищу. Любопытно, что реальный Неллис так же неожиданно посетил автора «Звонка» в Берлине, примерно в описываемое время, о чем свидетельствует частное письмо В. Набокова, посланное их общему однокласснику Самуилу Розову, в Палестину в 1937 г.: «А как-то раз в 28 году вдруг *звонок* [Курсив наш. — *Ю. Л.*], и входит что-то очень знакомое — в первую минуту, в полутьме [ср. с темнотой в передней при

встрече Николая Степаныча с матерью. — *Ю. Л.*], мне показалось, что вообще никакой перемены нет: Неллис» (Цит. по: Ю. Левинг. Литературный подтекст палестинского письма Вл. Набокова // Новый журнал. 1999. № 214). В этом письме Набоков упоминает и другого одноклассника, посещавшего его в Берлине и действительно путешествовавшего по Африке: «Однажды, кажется в 25 году, ввалился ко мне Шмурло ⟨...⟩ В Берлине он жил у приятеля-гинеколога, спал на какой-то гинекологической мебели, и весь день пил водку, которую сам делал. Затем он преуспел в Африке, на Cote d'Ivoire, и вдруг снова появился, сперва позвонил по телефону, но я был уже не так глуп и, сославшись на грипп, избежал его». В «Защите Лужина» бывший одноклассник шахматиста по Балашовскому (!) училищу хвастается своими похождениями на Мадагаскаре и поминает их общего товарища, потерявшего руку в бою у Врангеля (ср. с пальцем Галатова).

Золотая пломба и еще что-то, — не вижу, тут клякса. — Ср. с записью пациентов в журнале дантиста в «Даре» (гл. 1): «la Princesse Toumanoff с кляксой в конце и Monsieur Danzas с кляксой в начале».

Планнерштрассе, 59, бай Баб — К адресу прибавлена фамилия хозяев квартиры, букв. «у Бабов»; по-немецки — bei Babb. В газете номер дома прописью: «пятьдесят девять».

С. 496. ...и усталое... выражение... — В газете: «и то усталое... выражение».

...в те бедственные годы. — После этих слов в английской версии: «...даже до смерти его отца, адмирала Галатова, который застрелился незадолго перед революцией».

Пятьдесят первый номер. Еще восемь домов. — В Берлине нумерация домов по порядковому принципу, а не согласно четной и нечетной сторонам.

...лошади. — В газете: «лошадке».

...стала в дверях. — В газете: «встала в дверях».

С. 497. ...розовый слой... — В газете: «розовый лак».

С. 498. ...с Фридрихом, играющим на флейте... — Набоков украшает стену квартиры персонажа картиной с изображением собственного предка, Карла-Генриха Грауна (1701–1759), автора оратории «Смерть Иисуса». См. в «Других берегах»: «...помощник Фридриха Великого в писании опер, изображен с другими приближенными (среди них Вольтер) слушающим королевскую флейту, на пресловутой картине Менцеля, которая преследовала меня, эмигранта, из одного берлинского пансиона в другой». «Пресловутая картина» Адольфа Менцеля — «Концерт Фридриха II в Сан-Суси» (1852). Бойд считает, что именно грауновские музыкальные гены передались оперному басу Д. В. Набокову, сыну писателя, и его кузену, композитору Николасу Набокову, к тому же внешне на Грауна похожему (*B90.* P. 16).

С. 499. ...сказала мать. — В газете: «сказала его мать».

...трубку выбиваю. — В газете: «трубку выбивая».

...хватает на жизнь. — В газете: «хватит на жизнь».

...не стучи трубкой. — В газете: «не стучи табуреткой».

...и в это мгновение, как солнце из-за облака, ударил с потолка электрический свет. — В английской версии: «В это мгновение, как глупое солнце из-за глупого облака, ударил с потолка электрический свет». Типичная набоковская игра: позднее уточнение ориентирует метафору сразу на два поэтических текста: «Как эта глупая луна / На этом глупом небосклоне» («Евгений Онегин», 3, V) и блоковское «Совсем я на зимнее солнце, / На глупое солнце похож» («Окна во двор»). (Благодарю О. Ронена за изящную догадку. — *Ю. Л.*)

...как в склепе. — В переводе: «как в мавзолее Мостага». Очевидно, Набоков намекает здесь на мавзолей в Москве, предлагая сокращение типа Моссовета, и на Мостаганем — город в провинции Оран, Алжир (осн. в XI в.), с надземными захоронениями. В 1927 г. город был частично разрушен наводнением. Учитывая присутствие в предыдущей строке Блока, отметим, что и склеп и мавзолей уже появлялись ранее вместе именно в диалоге сына и матери: «Я видел сон: мы в древнем склепе / схоронены 〈...〉 Над нами — красные каменья / И мавзолей из чугуна» (А. Блок. «Сон», с посвящением матери).

С. 499—500. «Четверть восьмого» 〈...〉 кусая губы, заглянула в лицо маленьким часам... — Ср. в докладе «Человек и вещи», написанном Набоковым спустя несколько месяцев: «...часы, стоящие на двадцать минут восьмого, напоминают лицо с усами, опущенными вниз по-китайски» (Цит. по: Владимир Набоков. Гоголь. Человек и вещи. Публикация и примечания А. Долинина // Звезда. 1999. № 4. С. 21).

...стоявшим на полке. — В газете: «стоящим на полке».

С. 500. Не смей... — В газете: «Не смей итти...».

С. 501. Звон прекратился. — В газете: «Звонок перестал».

Прямо можно... подумать... — В газете: «Впрямь можно... подумать».

Подлец. До включения в сборник в периодике не публиковался. Написан в 1927 г. Критик был озадачен бескровной развязкой рассказа: «В “Подлеце”, интересном не менее других вещей сборника, проскальзывает недобрая усмешка в финале, как-то не вяжущаяся с общим обликом книги...» (Н. Андреев. Сирин // Новь. 1930. Окт. № 3). В комментарии к рассказу Набоков писал, что «рассказ воспроизводит на фоне бесцветной эмигрантской обстановки позднюю вариацию на романтическую тему, чей упадок начался с изумительной чеховской новеллы “Дуэль”» (1891). «Наиболее чеховским из рассказов Набокова» называет его вслед за создателем С. Карлинский в работе «Nabokov and Chekhov»; чеховскую концовку «Подлеца» отмечает Максим Д. Шраер (The World

of Nabokov's Stories. Austin: University of Texas Press. 1999. C. 192). Героя чеховской «Дуэли» Лаевского Набоков упоминает в рецензии 1930 г. («О восставших ангелах»). Однако, как представляется, связь с «Дуэлью» ограничивается внешним сходством. Внутренние мотивы — биографические, связанные с перипетиями несостоявшейся отцовской дуэли (отразившейся в рассказе «Лебеда» и мемуарах «Другие берега», гл. 9). 16 октября 1911 г. в газете «Новое время» было напечатано письмо бывшего сотрудника этой газеты Н. Снессарева с непристойными намеками в адрес жены В. Д. Набокова. Последний обратился к редактору М. Суворину с требованием поместить в газете извинение от имени редакции. «Предвидя возможность отказа редактора исполнить мое требование, я усматривал в таком отказе выражение солидарности с г. Снессаревым и, не имея другого средства заставить редактора "НВ" понести ответственности за случившееся, просил доверенное лицо передать ему мой вызов. Г-н М. Суворин отказался и от исполнения моего требования, и от принятия моего вызова, отсылая меня к г. Снессареву. Мне остается только подчеркнуть, что редактор "НВ", очевидно, так же мало, как и его сотрудник, заслуживает того, чтобы кто-нибудь ожидал от него естественного проявления личной порядочности» (В. Набоков. Письмо в редакцию // Речь. 18 (31) октября 1911. № 286). Двумя годами ранее В. Д. Набоков писал: «Разве обольщенной или оскорбленной легче будет оттого, что близкий ее будет убит — что всегда возможно? Разве виновник обольщения или оскорбления, выйдя на дуэль, перестает быть негодяем?» (В. Д. Набоков. Дуэль и уголовный закон // Право. 13 декабря 1909. № 50).

С. 502. ...теперь найти этот день было невозможно. — С помощью английского перевода день устанавливается с некоторой приблизительностью: «прошлой зимой, около Рождества 1926 года».

Курдюмовы. — Супруги Курдюмовы фигурируют в рассказе С. Черного «Ракета» (Иллюстрированная Россия. 1925. № 17).

Моабит — район в Берлине.

С. 503. «Времен Деникина и покоренья Крыма»... — видоизмененная реплика Чацкого из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»: «Сужденья черпают из забытых газет / Времен Очаковских и покоренья Крыма» (д. 2, явл. 5). В переводе цитата снята, а также внесена ясность относительно жертв Берга: все они солдаты Красной Армии.

С. 505. ...я тебя бесконечно люблю, для тебя я отдам свою душу... — цитата из романса: «Я тебя бесконечно люблю, / За тебя я отдам мою душу, / Целый мир за тебя погублю, / Все обеты и клятвы нарушу. // Для меня ты на небе звезда, / Твоего только жду приговора, / Оторвать не могу никогда / От тебя восхищенного взора» и т. д. Сл. В. Мятлева. Муз. Н. В. Зубова, М. А. Гутхейль. Издан 17 ноября 1901 г. Упомянут также в Дневнике Блока (А. Блок. Собр. соч. в 8 т. 1963. Т. 7. С. 378).

С. 506. Анна Никаноровна — в английском варианте: Аделаида Альбертовна.

С. 507. ...сказано: не убий! — Евангелие от Марка (10: 19). Нелишне напомнить в связи с этим, что знакомство с Бергом происходит на ул. Св. Марка, а сама фамилия персонажа отсылает к Нагорной проповеди (Berg — *нем.* «гора»). Следующая после этой заповедь гласит: «Не прелюбодействуй».

С. 509. ...бросал зажженные спички в почтовый ящик. — Тип мелкого пакостника разовьется потом в Р. Горна в романе «Камера обскура» (гл. 16): «Войдя в лавку восточных тканей, он незаметно бросал тлеющий окурок на сложенный в углу шелковый товар...»

С. 512. ...страничка в записной книжке, исписанная крестиками... — Далее в переводе: «диаграмма кладбища».

...начал Митюшин, таращa голубые свои глаза... — Митюшин учился в одном классе с Набоковым в Тенишевском училище: «А разве лицо Митюшина с прищуренными глазками и в голубой рубашке не запомнилось тебе?..» (Из письма В. Набокова С. Розову. См. прим. к с. 495).

Малинин и Буренин — Помимо шуточной отсылки к соавторам общепринятого в дореволюционной России учебника арифметики имеется в виду В. П. Буренин (1841—1926), поэт и публицист, с середины 70-х гг. активно сотрудничавший с реакционной газетой «Новое время». В 1864 г. написал стихотворение «Памяти Н. Г. Чернышевского» (опубл. в 1920). Упоминается в «Даре» как «Буренин, травивший беднягу Надсона»; на него же намекает Набоков и в частном письме, когда пишет о Бунине, чьи заметки о Блоке показались писателю «оскорбительной пошлятиной»: «Он вставил “рс” в свое имя» («Как редко теперь пишу по-русски...» Из переписки В. В. Набокова и М. А. Алданова // Октябрь. 1996. № 1. С. 140). *Магеровский* (в «Дуэли» Чехова фамилия одного из секундантов Говоровский) — реальный эмигрантский деятель, игравший важную роль в Русском Историческом Архиве и с которым, по предположению Г. Струве, Набоков мог быть знаком по Праге. В английской версии пара комически обретает имена «Маркс и Энгельс», которые после уточнения оказываются «Марковым и полковником Архангельским». Механизм метаморфозы носит чисто набоковский каламбурный характер: *Engels* = *angels, M-arx-angels.*

С. 513. Словом, место идеальное. — В переводе после этих слов: «...хотя, конечно, и без роскошной горной обстановки, как в фатальном случае Лермонтова». Ср.: «Лермонтов под грозовой тучей улыбался Мартынову» («Другие берега», гл. 9 (4)).

...сапоги — совсем белые от пыли. — Название места, найденного для дуэли, буквально переводится как «Белая деревня» (*нем.* Вайсдорф).

Положись... и ахни. — Ахнуть — произвести выстрел, сопровождаемый глухим, отрывистым звуком.

грахамский хлеб — по имени составителя рецепта доктора Грахама (1794–1851) — готовится из цельной, грубого помола пшеницы с добавлением ржи или маиса.

С. 513–514. ...вся мебель дышала, двигалась... — Ср.: «Мебель норовит подставить мне ножку. Какой-то лакированный угол однажды буквально укусил меня» (Ю. Олеша. «Зависть»). Критик отмечал, что «предметы... с такой навязчивой силой врезываются в сознание Сирина, что, рассказывая о них, он не может просто назвать их, он силится воспроизвести их с той же отчетливостью и выпуклостью, с которой они запечатлены в его необыкновенной памяти ⟨...⟩ Сирин отнюдь не щеголяет "образностью" письма, он не может писать иначе, потому что так именно он видит мир» (М. Кантор. Бремя памяти. (О Сирине) // Встречи. 1934. № 3).

С. 515. ...книга... называлась «Волшебная гора»... — роман Томаса Манна (Der Zauberberg; 1924), в отношении которого Набоков не раз высказывался скептически. Гора и генерал по фамилии Берг появятся позже в пьесе «Изобретение Вальса» (1938).

С. 516. ...как в «Евгении Онегине». — Имеется в виду оперная адаптация. Ниже в этом пассаже в английской версии: «Тенор Собинов однажды грохнулся так реалистично, что его пистолет улетел в оркестр». Русский тенор Л. В. Собинов (1872–1934) исполнял роль онегинского противника в оперной постановке. В «Других берегах» Набоков вспоминает, как он «воображал, да простит... Бог, ту бездарнейшую картину бездарного Репина, на которой сорокалетний Онегин целится в кучерявого Собинова». Из набоковских комментариев к роману можно понять причины, по которым строгий к деталям писатель забраковал иллюстрацию И. Репина к 6-й главе «Евгения Онегина» для юбилейного издания (М., 1899): «Как и в опере, все в картине оскорбительно для пушкинского шедевра. Оба дуэлянта, два флегматичных манекена, стоят как вкопанные, с отставленной вперед ногой, *la taille cambree*, целя болванки своих пистолетов друг в друга» (*Eugene Onegin*. A Novel in Verse by A. Pushkin Transl. From the Russian, with a Commentary, by V. Nabokov. Bollingen Series. 1962. Vol. 3. P. 42).

...или просто на траву сесть. — В переводе вставка: «Кто-то (у Пушкина?) поедал вишни из бумажного кулька. Да, но нужно этот кулек принести на место дуэли — а это выглядит глупо». Набоковский герой путает, — в «Выстреле»: «Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня». Пушкинская тема задана ранее аллюзией на «Пиковую даму» — Антон Петрович достает из колоды бубновые тройку, даму и туза пик, а когда пытается заснуть, то лицо Берга «щури[т] один глаз» (ср. с галлюцинацией Германна: «В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом»).

...как топнул Людовик, когда сказали ему, что пора ехать на эшафот. — В утро своей казни французский король Людовик XVI попросил подождать три минуты пришедшего за ним посланника Конвента. Согласно легенде, когда срок истек и короля поторопили, Людовик топнул правой ногой и ответил: «Пошли!» Людовик XVI также упоминается в статье В. Д. Набокова «Дуэль и уголовный закон».

С. 518. ...фисташкового цвета костюме... — Светло-зеленого, цвета ядра фисташки.

С. 523. ...с татуированной грудью... — В переводе: «с вытатуированным драконом на груди».

С. 525. Представь себе, — господин Берг тоже струсил. — Ср. выдавание желаемого за действительное в финале с пассажем из статьи Суворина: «Казалось бы, положение нас обоих незавидное: оба мы перепугались вызова до смерти и отказались от честной встречи с противником на поле брани. Однако, по словам г. Набокова, выходит, что я, отказавшись от поединка, совершил что-то постыдное, а он, убежав от встречи с г. Снессаревым, совершил что-то в высшей степени благородное. Удивительно счастливый человек этот г. Набоков: даже идя по моим следам и повторяя мои презренные поступки, он все-таки ходит героем» (М. Суворин. Боевые реляции Набокова // Новое время. 21 октября 1911).

РАССКАЗЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

Бритва. Впервые: Руль. 19 февраля 1926. Печатается по этой публикации. Рассказ написан за неделю до публикации, 11–12 февраля. Случайной встрече палача и его жертвы посвящена ранняя пьеса Набокова «Дедушка» (1923). Бритва принадлежит к тому же классу режущих инструментов, что и гильотина. Мотив убийства бритвой прослеживается в русской литературе от Достоевского («Вечный муж», гл. 15) до Ильфа и Петрова в «Двенадцати стульях» и Ю. Олеши в пьесе «Заговор чувств» (1928). Когда Герман в «Отчаянии» бреет Феликса перед убийством, тот говорит: «Вы меня еще бритвой, того и гляди, зарежете». Участвуя в молодости в домашнем спектакле, Герман вместо короткой реплики, возвещающей приход «его сиятельства», на сцене произносит: «Его сиятельство прийти не могут-с, они зарезались бритвой». В «Истреблении тиранов» герой представляет, как бреют тирана, «с шорохом водя вниз по щекам и вверх по шее нестерпимо... соблазнительным лезвием». В прозе Набокова бритье имеет как положительные коннотации — функция омоложения («Кто бреется, тот каждое утро молодеет на день... Щетина на вытянутой коже, размягченная хлопьями пены, равномерно похрустывала

и сходила под стальным плужком бритвы». — «Машенька», гл. 4), так и отрицательные, сигнализируя о трагических поворотах в сюжете («Макс постоянно умудрялся порезаться — даже безопасной бритвой, — и сейчас у него на подбородке расплылось сквозь пену ярко-красное пятно». — «Камера обскура», гл. 18). К существующим интерпретациям «Бритвы» остается добавить, что, зная Набокова, нельзя сбрасывать со счетов вариант «ложного узнавания», когда в результате случайного совпадения произошло недоразумение, — и не проронивший ни слова за весь рассказ шокированный клиент Иванова не имеет никакого отношения к своему двойнику, возникшему в памяти брадобрея в изнуряюще жаркий полдень.

С. 527. ...в полку звали его: Бритва. — Распространенное прозвище; встречается, например, у артистки Бронзовой в рассказе А. Аверченко, чьи произведения в эмигрантский период писателя появлялись также в «Руле»: «Красивая. И острая как бритва ⟨...⟩ Помнишь, при первом знакомстве я назвала тебя киселем, а ты меня бритвой» («Бритва в киселе». Новый сатирикон. 1915. № 51).

Иванов. — Позже фамилия будет использована в рассказе «Совершенство» (1932).

Штейн — от Stein *(нем.)* — «камень».

С. 529. Иванов осторожно приподнял двумя пальцами мясистый кончик его носа и все так же нежно стал брить пространство над губой. — Ср. у Гоголя: «...Гофман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожнического ножа на самой его поверхности» («Невский проспект»).

С. 530. Будет с вас... Я доволен... — Аналогичный сценарий обыгран в бескровной мести Сильвио в финале «Выстрела»: «...я доволен: я видел твое смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить».

Рождественский рассказ. Впервые: Руль. 25 декабря 1928. Печатается по этой публикации. Тематически рассказ связан с эссе «Юбилей» (1927) и «Торжество добродетели» (1930). Как отмечает З. Кузманович, эмигрант Набоков в рождественские дни 1928 г. пишет рассказ о воображаемом советском писателе, который в свою очередь пытается представить Рождество эмигрантское; по тому же зеркальному принципу в рассказе «Рождество» (1925), своеобразном двойнике «Рождественского рассказа», Набоков после убийства отца предпочитает сфокусироваться на скорби Слепцова-старшего по погибшему сыну («A Christmas Story»: A Polemic With Ghosts // *N-B93.* P. 88, 95). В рассказе упомянуты писатели Неверов (псевд. Александра Скобелева, 1886–1923); Леонид Андреев (1871–1919); Максим Горький (1868–1936); Владимир Короленко (1853–1921); Евгений Чириков (1864–1932). Последний, эмигрировав, продолжал в произведениях черпать темы из провинциального быта, уделяя особое внимание интеллигенции (ср. у Набокова: «А вот интеллигент у вас не удался»).

С. 530. Антон Голый. — Псевдонимы типа «Горький» и «Бедный» были типичными для пролетарской литературы. Так, советский поэт Михаил Голодный (псевд. М. С. Эпштейна), член литературного объединения «Молодая гвардия», в сборниках стихов «Сваи» (1922) и «Земное» (1924) с комсомольским пафосом реагирует на нэпманские и мещанские нравы. Под псевдонимом «Антон Крайний» в печати выступала Зинаида Гиппиус, о пародировании которой Набоковым см.: А. Долинин. Три заметки о романе В. Набокова «Дар» // *Н97.* С. 717–721.

С. 531. «Красная Явь» — контаминация названий советских журналов «Красная Новь» (изд. с 1921) и «Красная Нива» (изд. с 1923).

С. 532. ...добротный «Капитал» жил между потрепанным Леонидом Андреевым и безымянной книгой... — Прием подробного перечисления названий книг на полке героя встречаем в рассказе Набокова «Тяжелый дым» (1935).

сочельник — канун Рождества, когда постятся и едят сочиво — кашу из протертых зерен пшеницы или риса с маковым или миндальным молочком и медом.

С. 534. ...статью о «тумановщине». — Ср. с термином «обломовщина», введенным в оборот с легкой руки Н. Добролюбова, и множеством производных.

С. 535. Эмигранты плачут вокруг елки... — Общее место в советской пропаганде. См. в рассказе Саши Черного «Берлинское Рождество»: «Я долго выбирал на перекрестке елку подешевле... Не зажигал свечей, не вешал пестрых хлопушек» (Иллюстрированная Россия. 1924. № 9).

Он писал о дородной елке в бесстыдно освещенной витрине и о голодном рабочем... — Ср. в «Даре» (гл. 2): «...в окнах тупо горели огни елок, кое-где на углах рекламный рождественский дед в красном зипуне, с голодными глазами, раздавал объявления».

локаут — от *англ.* lock-out — закрытие владельцем предприятия и массовое увольнение рабочих с целью заставить их отказаться от выдвигаемых ими требований.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Стихотворения расположены в порядке их первого появления в периодической печати. Под ними мы указываем, когда она известна, дату написания, опираясь на авторскую хронологию, данную в сборнике «Стихи» (Анн Арбор: Ардис, 1979), с уточнениями М. Джулиара (Nabokov: A Descriptive Bibliography. New York and London: Garland, 1986) и Б. Бойда (Nabokov's Russian Poems: A Chronology // The Nabokovian. № 21. Fall 1988. P. 13–28).

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ СБОРНИКА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА. РАССКАЗЫ И СТИХИ

Берлин, 1930. Печатаются по этому изданию.

Во второй раздел книги, озаглавленный «Стихи (1924–1928)», вошло одно стихотворение 1923 г., всего три 1924-го, менее трети опубликованного в 1926-м и около половины из появившихся в печати стихов в период с 1926-го по 1928-й. Несмотря на этот жесткий отбор, среди критиков установилось мнение, что «стихи Сирина менее интересны и своеобразны, чем его проза» (М. Цетлин. В. Сирин. Возвращение Чорба. // Современные записки. 1930. Кн. XLII). Более резко отозвался Г. Иванов: «Стихи просто пошлы» (Числа. 1930. Кн. 1. С. 233–236).

В репринтное издание сборника 1976 г., подготовленное американским издательством «Ардис», стихи включены не были, однако все за исключением одного вошли в посмертное издание «Стихи» (1979), подготовленное вдовой писателя Верой Набоковой. На английский язык было переведено девять стихотворений из «Возвращения Чорба» для книги «Poems and Problems» (1970).

С. 539. **Тихий шум**. Впервые: Руль. 10 июня 1926. Стихотворение накануне его газетной публикации было прочитано на праздновании Дня русской культуры в Берлине: «...ниже приводим стихотворение В. Сирина, прочитанное вчера автором. Стихотворение это имело огромный успех, и несмолкаемыми аплодисментами публика заставила талантливого поэта продекламировать свое произведение два раза». В газетной публикации: «в тиши ночей» вместо «в часы ночей» и «шепот... бора» вместо «ропот... бора».

С. 540. **Комната**. Впервые: Руль. 11 июля 1926. В общей сложности в течение 1926 г. Набокову пришлось менять место проживания шесть раз.

Зеркальный шкаф... — С переезда и инициации предметов в новой комнате открывается «Дар», чье начало хронологически совпадает с годом написания стихотворения; там же «зеркальный шкаф» выгружают из мебельного фургона.

...скрип ящика, своею доброй пастью / пласты белья берущего из рук... — Ср.: «...и выпадали на ковер разноцветные внутренности шкафа» («Подвиг», гл. 21).

...старательных узоров на стене. — Ср. с описанием обоев в романе «Машенька», опубликованном незадолго до стихотворения: «...странствуешь глазами вверх и вниз, стараясь не задеть по пути ни одного цветка, ни одного листика, находишь лазейки в узоре, проскакиваешь, возвращаешься вспять, попав в тупик, и сызнова начинаешь бродить по светлому лабиринту» (гл. 4).

С. 541. **Аэроплан**. Впервые: Руль. 25 июля 1926. Первое стихотворение под таким названием было опубликовано в сборнике «Горний путь».

...там, над крышами, в глубоком / небе... — Ср. у В. Брюсова: «Высоко над городом, / В перелете гордом, / Словно птицы странные, / Реют монопланы» («Монопланы», 1918).

...чуден блеск его небесный ⟨...⟩ *Неземные реют звуки...* — Ср. у А. Блока: «Его винты поют, как струны... ⟨...⟩ / Пропеллер продолжает петь...» («Авиатор», 1910–1912). В газетной публикации: «гул его небесный».

...крылья сизые, сквозные / по лазури... — Общее в поэзии на авиационную тематику место, см. например: «по *лазури* беспокойно мчится» (И. Эренбург. «Авиатор», 1911); «Как он, прорежем *лазурную пропасть,* / Чтоб на могиле сложил крестом / Разбитый пропеллер бурную лопасть» (М. Зенкевич. «Смерть авиатора», 1922). «В «Даре» (гл. 5) упоминается место, где на днях упал небольшой аэроплан («некто, катая свою даму по утренней *лазури,* перерезвился»), около которого архитектор с собакой (ср. с псом в стихотворении) объясняет подробности происшествия.

С. 542. **Сны**. Впервые: Руль. 8 августа 1926.

...я со станции в именье / еду... — Железнодорожная станция Сиверская Варшавской жел. дор. находится примерно в девяти верстах от имений Набоковых — Выры, Рождествено и Батово. В газетной публикации: вместо «кто верует» — «что верует».

С. 543. **Прелестная пора**. Впервые: Руль. 17 октября 1926.

Оредежь — река, около которой расположены фамильные поместья Набокова.

...играют в бикс... — В биксовый, или китайский, бильярд играют на маленькой наклонной доске, по которой шар после удара скатывается к исходной позиции.

С. 543. **Годовщина**. Впервые: Руль. 7 ноября 1926.

С. 544. **Паломник**. Впервые: Руль. 13 февраля 1927.

Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928) — критик, исследователь литературы, автор произведения «Силуэты русских писателей» (в 3 т., 1906–1910). Возвращаясь ночью с вечеринки, устроенной у Набоковых, погиб под трамваем в Берлине 15 декабря 1928 г. В сборнике «Стихи» (Анн Арбор: Ардис, 1979) посвящение было снято. Посвящение также отсутствовало в газетной публикации, и стихотворение не было разбито на четверостишия.

Бог-виноградарь — в античной мифологии Дионис (Бахус) — покровитель плодоносящих сил земли и виноделия.

...смеющийся мой бог... — В газете: «Бог».

Мекка — место рождения пророка Мухаммеда, основателя ислама.

С. 546. **Сновиденье**. Впервые: Руль. 1 мая 1927.

...в сон вступаю. — В газете: «в сон вникаю».

...убитый друг... — Смертельное ранение в лоб, возможно, отсылает к подобной гибели кузена и близкого друга юности Набокова, барона Юрия Рауша фон Траубенберга. 23 февраля (8 марта) 1919 г. во время атаки Рауш пустил коня впереди дивизии на пулеметное гнездо противника.

С. 547. **Снимок**. Впервые: Руль. 28 августа 1927. Написано в Бинце, на песочном восточном побережье острова Реген в Балтийском море, куда Владимир и Вера Набоковы в качестве воспитателей сопровождали детей семейства Бромберг. Пляжные впечатления и оставшийся о них на память снимок фигурируют в «Лолите» (ч. 1, гл. 3). В «Даре» (гл. 1) групповое изображение счастливой семьи на рекламном рисунке крышки служит Набокову образцом пошлости.

И я, случайный соглядатай, / на заднем плане тоже снят. — Ср. с перевернутой перспективой в «Путеводителе по Берлину»: «Там, в глубине, ребенок... он навсегда запомнит картину 〈...〉 я подглядел чье-то будущее воспоминание».

С. 548. **В раю**. Впервые: Руль. 18 марта 1928 под названием «К душе». «За смертью дальной» исправлено в сборнике 1979 г. на «за смертью дальней».

С. 548. **Кирпичи**. Впервые: Руль. 1 апреля 1928. Ранее попытка реконструкции древнеегипетского быта предпринималась О. Мандельштамом в стихотворении «Египтянин (Надпись на камне 18–19 династии)» (1913).

...ряды румяных кирпичей. — В сборнике 1979 г.: «лиловых».

С. 549. **Сирень**. Впервые: Руль. 13 мая 1928. С середины XIX в. в русской поэзии стало традицией обозначать словом «сирень» как русский пейзаж, так и ностальгию по России (А. Белоусов. Акклиматизация сирени в русской поэзии // Сб. статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту: ТГУ, 1992). В стихах русского периода поэт Сирин (в фамилии которого «сирень» присутствует в виде частичной анаграммы) придерживался этой традиции.

С. 550. **«От счастия влюбленному не спится...»** Впервые: Руль. 14 июня 1928. В сборники «Poems and Problems» (1970) и «Стихи» (1979) вошло под названием «От счастия влюбленному не спится».

С. 551. **Расстрел.** *(«Бывают ночи: только лягу...»).* Впервые опубликовано в этом сборнике. «В строках 17–20 фрейдисты усмотрели “жажду смерти“, а марксисты, не менее нелепо, “жажду искупления феодального греха”. Могу заверить и тех и других,

что возглас в этой строфе — чисто риторический, стилистический прием, нарочито подсунутый сюрприз, вроде возведения пешки в более низкий ранг, чем ожидаемый ранг ферзя» (прим. В. Набокова).

ИЗ СБОРНИКА «СТИХОТВОРЕНИЯ 1929–1951»

Париж: Рифма, 1952. Печатается по этому изданию. Сборник состоит из 12 стихотворений и 3 поэм. В заметке «От автора» говорится: «Стихотворения, отобранные для этого издания, были сочинены в Германии, Франции и Америке между 1929 и 1951 годами. Первым из них заканчивается период юношеского творчества. Представленные стихотворения печатались в эмигрантских журналах и газетах, причем девять из них вышли под псевдонимом: "В. Сирин" (первые семь) и "Василий Шишков" (следующие два)».

Все стихотворения из этой книги вошли в сборники «Poems and Problems» (1970) и «Стихи» (1979).

С. 552. **«Я помню твой приход: растущий звон...».** Впервые: Руль. 24 сентября 1929 под названием «К музе». В данный сборник стихотворение вошло без названия, а затем в сборники «Poems and Problems» (1970) и «Стихи» (1979) вновь под заглавием «К музе». Набоков считал это стихотворение итоговым, именно о нем упоминает он в заметке к сборнику. Стихотворение ориентировано сразу на несколько ключевых поэтических текстов русской литературы. В частности, строки Набокова: «Для утренней звезды / не откажусь от утренней дремоты ⟨...⟩ Мы изредка с тобою говорим / через забор, как старые соседи» в подтексте обращены к стихотворению «Выхожу один я на дорогу...» (1841) Лермонтова: «Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, / И звезда с звездою говорит ⟨...⟩ Я б хотел забыться и заснуть!» (ср. также у Ходасевича в «Балладе»: «Смотрю в штукатурное небо / На солнце в шестнадцать свечей ⟨...⟩ И вдруг начинаю стихами / С собой говорить в забытьи»). Кажется, сама поза Набокова («Я опытен, я скуп и нетерпим») продиктована лермонтовским «Уж не жду от жизни ничего я», тем более что строка из стихотворения («Что же мне так больно и так трудно?») отозвалась ранее в шуточном четверостишии Набокова, написанном на обороте фотографии, сделанной в Берлине в 1925 г.:

Это я, Владимир Сирин,
В шляпе, в шелковом кашне.
Жизнь прекрасна, мир обширен,
Отчего ж так грустно мне?

...волнение, неведомое миру. / Луна сквозь ветки тронула балкон, / и пала тень, похожая на лиру. — «Лиру» с «подлунным миром» рифмовал А. С. Пушкин в «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». По всей видимости, здесь также реминисценция из творчества «литературного потомка Пушкина» (определение Набокова) В. Ходасевича, у которого «Вкушает лира / Свой усыпительный покой / Во влажном сладострастье мира» («День», 1921) и отсылка к «тяжелой лире» из строфы («Баллада»), целиком процитированной Набоковым в рецензии на «Собрание стихов» Ходасевича 1927 г. (см. с. 649).

...казался ямб одеждой слишком грубой. / Но был певуч неправильный мой стих... — «Борясь с природной склонностью к ямбу, я волочился за трехдольником; а затем уклонения от метра увлекли меня» («Дар», гл. 3). В письме брату Кириллу, написанном приблизительно в 1930 г., Набоков так объяснял размер: «Ямб — / — / — / — / (когда в душе твои глаза). Каждое такое — / называется стопой, так что твой 4-стопный ямб» (В. Набоков. Переписка с сестрой. Анн Арбор: Ардис, 1985. С. 120).

...улыбался рифмой... — В газетной публикации: «раскрывался рифмой».

Я счастлив был. Над гаснувшим столом / огонь дрожал, вылущивал огарок... — Ср. у Е. А. Баратынского: «И отрываюсь, полный муки, / От музы, ласковой ко мне. / И говорю: до завтра, звуки, / Пусть день угаснет в тишине» («Люблю я вас, богини пенья...», 1844). Почти поэтический штамп, например см. у К. Бальмонта: «Усмирись, беспокойное сердце. Я костром до утра сгорю» («Ресницы», 1923); или приступ поэтического вдохновения в «Даре» (гл. 3): «...и вдруг — тронулось и побежало перо. Когда он опять взглянул на часы, был третий час утра, знобило, в комнате все было мутно от табачного дыма».

Натертый стих блистает чище меди. — Подведение любых поэтических итогов неизбежно связано с поэтической традицией противопоставления «нерукотворного памятника» «бронзе литой» (Гораций), «замшелому мрамору» (ср. набоковское: «страница... бессмертная, вся в молниях помарок» с сонетом LV Шекспира — «Но врезанные в память письмена / Бегущие столетья не сотрут». Перевод С. Маршака), «злату» и прочим овеществленным материям.

ИЗ СБОРНИКА «POEMS AND PROBLEMS»

New York — Toronto: McGraw-Hill, 1970. Печатается по этому изданию. Сборник содержит 39 русских стихотворений с 1917 г. по 1960-е гг. с параллельным авторским переводом, а также 14 английских стихотворений и 18 шахматных задач. Все стихотворения из этой книги вошли в сборник «Стихи» (1979).

С. 553. **Снег.** Впервые: Руль. 7 февраля 1930.

По снегу... — В газетной публикации: «По́-снегу».

Толстый крученый лед / остриями вниз с крыши повис. — Ср. с рассказом Набокова «Рождество» (1925): «...с выступа крыши, остриями вниз, свисали толстые сосули».

Салазки сзади не тащатся — / сами бегут, в пятки бьют. — «У меня и у Тани были увесистые брюшные санки от Сангалли ⟨...⟩ Их не надо было тащить за собой, они шли с такой нетерпеливой легкостью по зря усыпанному песком снегу, что ударялись сзади в ноги» («Дар», гл. 1).

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ, НЕ ВОШЕДШИХ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

Все стихотворения печатаются по тексту первых публикаций.

С. 554. **Лыжный прыжок.** Впервые: Руль. 24 января 1926. Будучи студентом Кембриджского университета, в зимние каникулы 1921 г. Набоков ездил с товарищем в Швейцарию заниматься лыжным спортом.

...а пониже / скат обрывался: это был / уступ... — Ср. с рассказом «Удар крыла» (1924): «Это был высокий крутой скат, переходивший посередине в снеговую площадку, которая отчетливо обрывалась, образуя прямоугольный уступ».

...лыжи / четою ясеневых крыл. — У ясеня ценится тяжелая упругая древесина; см. в «Подвиге» (гл. 19): «Эти же [лыжи] были настоящие, солидные, из гибкого ясеня, и сапоги тоже были настоящие, лыжные». Через много лет у Набокова снова будет подробно описана пара лыж, но то уже будут современные лыжи, сделанные «из металла и фибергласа» («Прозрачные вещи», гл. 14).

Бери меня, наклон разбежный, / и в дивной пустоте — распни. — Ср.: «С легким свистом она скользнула по трамплину, взлетела, повисла в воздухе — распятая» («Удар крыла»).

...легко под лыжами скользя, / и над Россией пресечется... — Катание на лыжах в зимней Европе вызывало у Набокова устойчивые ассоциации со снежной Россией: «Лыжи ему понравились; на мгновение всплыл занесенный снегом Крестовский остров...» («Подвиг», гл. 19).

С. 555. **Ut pictura poesis.** Впервые: Руль. 25 апреля 1926.

Ut pictura poesis — начало стиха из «Науки поэзии» римского поэта Горация (65—8 до н. э.).

Добужинский Мстислав Валерианович (1875—1957) — художник круга «Мир искусства», дававший уроки рисования Набокову в 1912—1914 гг. Посвященное художнику стихотворение написано

Набоковым после посещения выставки Добужинского с видами Санкт-Петербурга в апреле 1926 г. в Берлине.

С. 556. **«Пустяк, — названье, мачты, план — и следом...»** Впервые: Звено (Париж). 4 июля 1926.

И в кресле — путешественник из рая / описывает, руки заломив, / дымок из трубки с присвистом вбирая... — Ср.: «И долго надобно будет сыпать пепел под кресло и в его пахи, чтобы сделалось оно пригодным для путешествий» («Дар», гл. 1).

С. 556. **Родина** *(«Бессмертное счастие наше...»).* Впервые: Руль. 15 июня 1927, с указанием под заглавием: «Стихотворение В. Сирина».

Изгнание, где твое жало, / Чужбина, где сила твоя? — Парафраз из Нового Завета: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1-е Кор. 15: 55).

С. 557. **Билет**. Впервые: Руль. 26 июня 1927. Черновик датирован 14 мая. Через три недели после своего появления в «Руле» стихотворение с купюрами было перепечатано в газете «Правда» (15 июля, № 158) с пометой внизу: «Белогв. “Руль”». Далее следовал поэтический ответ Демьяна Бедного эмигранту под названием «Билет на тот свет», включавший строчки:

На фабрике немецкой — вот так утка! —
Билетики пекут «Берлин—Москва».
И уж в Москву — Рискни! Попробуй! Ну-тка!
Готова плыть вся белая плотва 〈...〉
Что ж, вы вольны в Берлине «фантазирен»,
Но чтоб разжать советские тиски,
Вам — и тебе, поэтик белый, Сирин,
Придется ждать... до гробовой доски.

По-видимому, это второе перепечатанное в СССР при жизни Набокова его стихотворение (о первом, появившемся в «Красной панораме» (1923. № 5), см. I том наст. издания, прим. на с. 792).

С. 558. **Шахматный конь.** Впервые: Руль. 23 октября 1927. Спустя три недели Набоков опубликовал в «Руле» рецензию на книгу Е. А. Зноско-Боровского «Капабланка и Алехин».

Кизерицкий, Лионель (1806—1853) — шахматист, сыгравший партию с А. Андерсеном (1818—1879), ставшую впоследствии хрестоматийной в шахматных учебниках.

гамбит — ситуация в начале шахматной партии, когда жертвуют фигурой ради получения активной позиции.

пикейный жилет — т. е. пошитый из пике — рубчатой ткани полотняного переплетения.

...управлял он вслепую огромным оркестром / незримых фигур на незримых досках. — Ср.: «...какая-то музыкальная буря охватила доску, и Лужин упорно в ней искал нужный ему отчетливый маленький звук, чтобы в свою очередь раздуть его в громовую гармонию» («Защита Лужина», гл. 8).

С. 560. **Университетская поэма.** Впервые: Современные записки. 1927. Кн. XXXIII. Печатается по этой публикации. Ю. И. Айхенвальд высоко оценил поэму: «...точно (Сирин, Пушкин и Даль) приняли участие в создании этой “Университетской поэмы”, вместе и прозрачной, и содержательной, какой-то необремененной, пленяющей своим легким дыханием, такой русской и такой европейской одновременно» (Руль. 4 января 1928). Сам певец «легкого дыхания», Иван Бунин, также тепло отозвался об «Университетской поэме» в частном письме к Набокову (*В90.* P. 269). В полемическом запале борьбы с литературным соперником Г. Иванов, рецензируя книгу «Современных записок», перепутал название университета, где происходит действие поэмы: «“Университетскую поэму” Вл. Сирина правильнее было бы назвать “гимназической”. Такими вялыми ямбами, лишенными всякого чувства стиха, на потеху одноклассников, описываются в гимназиях экзамены и учителя. Делается это, нормально, не позже пятого класса. Сирин несколько опоздал — он написал свою поэму в Оксфорде». (Последние новости. 15 декабря 1927).

Самое длинное поэтическое произведение Набокова (882 строки) на русском языке включает обширный автобиографический материал. Несмотря на то что поэма написана «перевернутой» онегинской строфой и ориентирована в первую очередь на пушкинское поэтическое наследие, как показывают недавние исследования, она также содержит полемический подтекст в адрес современной Набокову поэзии, в частности, обыгрывает мотивы «романа в строфах» Игоря Северянина «Рояль Леандра» (1925) (См.: Б. Кац. «Уж если настраивать лиру на пушкинский лад...» О возможном источнике «Университетской поэмы» В. Сирина-Набокова // Новое литературное обозрение. 1996. № 17). После первой журнальной публикации поэма в сборники Набоковым не включалась.

С. 560. викарий — должность помощника священника в протестантской церкви.

С. 561. Там мяса розовые глыбы; / сырая вонь блестящей рыбы... — Ср. в стихотворении признанного Набоковым Н. Заболоцкого «На рынке», написанном в том же году, что и поэма: «Сверкают саблями селедки... / И мясо властью топора / Лежит, как красная дыра» (опубл. в 1929 г. в «Столбцах»).

С. 562. ...нашел я Пушкина и Даля / на заколдованном лотке. — «Однажды, на рыночной площади посреди Кембриджа, я нашел на

книжном лотке среди подержанных Гомеров и Горациев Толковый словарь Даля в четырех томах» («Другие берега», гл. 12 (3)).

...где семенил, носками врозь, / смешной и трогательный Чаплин... — Набоков был поклонником великого английского комика (1889–1977) на протяжении всей жизни. Чаплинский образ не раз появляется как в русской прозе (например: «Над порталом кинематографа было вырезано из картона черное чудовище на вывороченных ступнях с пятном усов на белой физиономии под котелком и гнутой тростью в отставленной руке». — «Дар», гл. 3), так и в произведениях американского периода (см. A. Appel. Nabokov's Dark Cinema. N.Y.: Oxford University Press, 1974; B. Delaney. Nabokov's LOLITA // Explicator. 1998, 56:2. P. 99–100).

...и в самом сердце городка / цирюльня есть, где брился Ньютон... — Сэр Исаак Ньютон поступил в Тринити колледж Кембриджского университета летом 1661 г., где спустя восемь лет стал профессором математики. Тринити колледж, в котором через двести шестьдесят лет учился В. Набоков, был организован в 1546 г.

С. 563. Генрих Восьмой — английский король с 1509-го по 1547 г.

Гольбайн — Ханс Хольбейн Младший (1497–1543) — немецкий живописец и график. С 1536 г. служил придворным художником-портретистом при английском короле. Самые значительные его работы, изображающие Генриха VIII и его жену Джейн Сеймор, были уничтожены пожаром 1698 г.

С. 563–564. Держа московского медведя... тут жил / студентом Байрон хромоногий. — Согласно свидетельству современника, Дж. Г. Байрон (1788–1824) в пору учебы в Кембридже (колледж Харроу) водил за собою ручного медведя, представляя его как своего нового друга.

С. 564. Геллеспонт — древнегреческое название пролива Дарданеллы.

...розы мраморные Китса... — Джон Китс (1795–1821) — английский поэт-романтик. Имеется в виду строчка из поэмы «Сон и поэзия» (1817): «...там видно розу нежной белизны / из мрамора, чертами испещренного...».

...чтоб в капельке воды, / сияя, мир явился малый... — Вариация идеи звучит из уст графомана Буша: «вселенная лишь атом, или, правильнее будет сказать, какая-либо триллионная часть атома» («Дар», гл. 3).

Каллиопа — в греческой мифологии старшая из девяти муз, муза эпической поэзии.

С. 565. Виолета — Violet — букв. «фиалка» *(англ.)*. Сиреневый и лиловый — излюбленные в цветовой гамме Сирина. Виолетта Мак-Д. из Кембриджа мелькнет у Набокова еще раз в романе «Смотри на арлекинов!» (ч. 1, гл. 6).

С. 567. канотье — мужская соломенная шляпа с низкой тульей.

горжетка — в женском туалете полоса меха, носимая вместо воротника.

С. 568. ...мы на футбольном были с ней / соревнованье. — Футбол в Кембридже имеет долгую историю. В 1846 г. в университете произошла первая встреча представителей различных колледжей, на которой делегаты попытались выработать единый футбольный кодекс, заимствуя из университетских игр с мячом наиболее интересные приемы. В 1863 г. энтузиасты игры впервые в истории письменно зафиксировали устав футбольного состязания. На вопрос А. Аппеля, был ли Набоков связан с философским факультетом во время учебы в Англии, он отвечает: «В Кэмбридже я писал русские стихи и играл в футбол» (Nabokov: The Man and His Work. Madison: The University of Wisconsin Press, 1967). Тем же Набоков объяснял непосещение кембриджской библиотеки: на занятия там и футбольные игры были отведены одни часы (A. Field. Nabokov: His Life in Part. N.Y.: The Viking Press, 1977. P. 140). Зиланова в «Подвиге» говорит, что ей мешает «по-настоящему воспринимать Кембридж то, что наряду с этими чудными старинными зданиями... спортивные магазины, всякие футболы» (гл. 17).

дымок Виргинии — популярный табак производства североамериканского штата Вирджиния.

дубленый мяч — т. е. сделаный из кусков кожи, обработанной вымачиванием в специальном растворе. Ср.: «Порой сюда тайком приносили и осторожно распасовывали в углу настоящий футбольный мяч с красной печенью, плотно заправленной под кожаный корсет, с именем английского изготовителя, пересекающим аппетитные ломти его жесткой и звонкой округлости» («Под знаком незаконнорожденных», гл. 5).

С. 569. Дождь моросил едва-едва... — Ср. с описанием футбольного матча в Кембридже в «Других берегах» (гл. 12 (3)): «Накрапывал нудный дождь, переставал, как в “Скупом рыцаре”, и шел опять... Игра сводилась к неясному мельканью силуэтов у едва зримых ворот противника». У Пушкина: «Шел дождь, и перестал, и вновь пошел».

С. 570. Виктория — королева Великобритании с 1837-го по 1901 г.

С. 571. кургузый — здесь «коротконосый».

«хананыга» — «праздный шатун по угощениям» (В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. С. 542).

«Хандра: тоска, унынье, скука; / сплин, ипохондрия». — Перенеся определение дословно из Толкового словаря В. Даля, Набоков тем не менее для ритмической адаптации меняет порядок слов; ср. в оригинале: «Хандра: скука, тоска, уныние; ипохондрия, сплин».

С. 574. ...как легконогая Ленглен. — Ленглен Сюзанн Рахель (1899—1938) — знаменитая французская теннисистка, многократная чемпионка Уимблдонского турнира. В эпоху, когда спортсменки выступали на корте в неудобной, но скромной одежде, она прославилась открытыми костюмами, обнажавшими предплечья

и икры. Популярность Ленглен в 1920-е гг. способствовала превращению женского тенниса в род зрелища.

шандал — подсвечник.

С. 576. ...байдарки; / там граммофон, тут зонтик яркий ⟨...⟩ *Смотрю: на яркую подушку / она в раздумье оперлась.* — Ср. с пассажем из мемуаров: «Не стыжусь нежности, с которой вспоминаю задумчивое движение по кембриджской узкой и излучистой реке, гавайский вой граммофонов, плывший сквозь тень и свет, и ленивую руку той или другой Виолетты, вращавшей свой цветной парасоль, откинувшись на подушки своеобразной гондолы, которую я неспешно подвигал при помощи шеста» («Другие берега», гл. 12 (4)).

С. 578. затабанил — от «табанить» — грести обратно, от себя, двигаясь кормою вперед. См. также в кембриджском эпизоде с лодкой: «Джон осклабился и затабанил» («Подвиг», гл. 28).

...я шел и пел «Алла верды»... — Алла верды *(тюрк.)* — «Бог дал!» — слова из мусульманской молитвы. Здесь имеется в виду популярная эмигрантская застольная песня.

С. 579. статут — устав.

С. 579—580. Луна... Погоня... Сон безумный ⟨...⟩ *то словно тянется рука / в перчатке черной...* — Сцена погони отсылает к «Медному всаднику» Пушкина: «Бежит и слышит за собой — / Как будто грома грохотанье... / И, озарен луною бледной, / Простерши руку в вышине, / За ним несется Всадник Медный».

С. 581. «Грав», «Асти» — марки недорогих вин.

С. 583. ...портрет известного аббатства... — На английских банкнотах достоинством в один фунт, имевших хождение в 1920-е гг., было изображено Вестминстерское аббатство в Лондоне. В рассказе «Сказка» демоническая госпожа Отт «заставила известного художника срисовать с фунта Вестминстерское аббатство».

...Эола легкие качели. — В древнегреческой мифологии Эол — повелитель ветров.

С. 586. ...ни моль бичуема, ни ржа... — Парафразированная цитата из Евангелия от Матфея: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкопывают и крадут, Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют...» (6: 19—20).

С. 586. **Расстрел** *(«Небритый, смеющийся, бледный...»).* Впервые: Руль. 8 января 1928. Это стихотворение, написанное, согласно библиографии М. Джулиара, в конце 1927 г., постигла странная судьба. Его название, совпавшее с заглавием стихотворения, чья первая строка — «Бывают ночи: только лягу...», ввело в заблуждение комментаторов, которые утверждали, что «знаменитый» «Расстрел» (включенный в сборник «Возвращение Чорба») впервые опубликован в «Руле» 8 января 1928. На самом деле в «Руле»

№ 2163 от 8 января 1928 (с. 2) под таким же названием появился совершенно иной текст, публикуемый ныне. «Другой» «Расстрел» Набоков не включил ни в одну прижизненную антологию. В примечании к стихотворению «Расстрел» (знакомому читателю по сборнику «Возвращение Чорба») в подготовленном лично автором издании «Poems and Problems» ошибочно указана дата газетной публикации стихотворения под аналогичным названием.

...только — высокий забор, / жестянка в траве и четыре / дула, смотрящих в упор. — Ср. со сценой расстрела, сфабрикованной Смуровым в «Соглядатае» (1930): «...мне было велено раздеться и стать к стене... Пуля сбила мне фуражку. Я обогнул пакгауз, прыгнул через какой-то забор...»

Так ждал он, смеясь и мигая / ...чтоб магний блеснул, озаряя, / белые лица без глаз. — Ср. в стихотворении «Снимок», написанном спустя месяц: «мигнул и щелкнул черным веком / фотографический глазок». В 1925 г. в Германии появились и быстро завоевали популярность «35-миллиметровые» фотоаппараты. В качестве искусственной подсветки профессиональные фотографы использовали при съемках порошок магния. Насыпанный в трубку и подожженный от пистона, магний производил яркую вспышку света и едкий дым. В начале 1930-х гг. вытеснен лампой электровспышки. Сопровождаемый дефектом изображения, мгновенный фотографический снимок у Набокова зачастую маркирует область потустороннего. В «Машеньке» Подтягин на последней прижизненной фотографии изображен так: «изумленное распухшее лицо плавало в сероватой мути» (гл. 11); явление призрака Кончеева в «Даре» уподоблено негативу: «Солнце, как деликатный фотограф, повернуло и слегка приподняло его лицо, бескровное лицо с широко расставленными близоруко-серыми глазами» (гл. 5); мысли о мертвой жене пробуждают у Чорба воспоминание об отражении в луже, «похожей на плохо промытую фотографию». Ср. с противоположным эффектом в «Легком дыхании» И. Бунина: «В самый же крест вделан... фотографический портрет гимназистки с... поразительно живыми глазами».

С. 587. **Острова.** Впервые: Руль. 25 марта 1928.

...пекаря с кудрявыми крылами / их на грани неба испекли. — Образ восходит к обнаруженной Омри Роненом аллюзии в «Путеводителе по Берлину» («молодой белый пекарь... есть что-то ангельское в человеке, осыпанном мукой») на стихотворения Блока «Легенда»: «...среди пыли и давки / Появился Архангел с убеленной рукой: / Всем казалось — он вышел из маленькой лавки, / И казалось, что был он — перепачкан мукой» — и Ходасевича «Хлебы»: «В переднике, осыпана мукой... Вокруг тебя, заботливы и зримы, / С вязанкой дров, с кувшином молока, / Роняя перья крыл, хлопочут херувимы...» (Пути Шкловского в «Путеводителе по Берлину» // Звезда. 1999. № 4. С. 165).

С. 587. **Разговор**. Впервые: Россия (Париж). 14 апреля 1928.

С. 588. «Алая Заря», «Кряж», «Маховик» — пародийные названия советских журналов (ср. с реальными «Зарево заводов», «На посту», «Кузница»).

Цементов, Молотов, Серпов — условные новомодные в СССР фамилии, за которыми прочитывается название романа «Цемент» (1925) советского писателя Ф. В. Гладкова (1883–1958) и имя В. М. Молотова (Скрябина) (1890–1986), редактора большевистской «Правды», крупного партийного функционера.

Писарев, Дмитрий Иванович (1840–1868) — русский критик и революционный демократ.

Лидняк — контаминация фамилий популярных в 1920-е гг. советских прозаиков Лидина и Пильняка.

С. 590. Сто лет назад целковых двести / вам дал бы Греч за разговор... — См. в «Разговоре книгопродавца с поэтом» Пушкина: «Стишки любимца муз и граций / Мы вмиг рублями заменим / И в пук наличных ассигнаций / Листочки ваши обратим». *Греч*, Николай Иванович (1787–1867) — литератор, издатель журнала «Сын отечества».

С. 591. **Оса.** Впервые: Руль. 24 июня 1928.

С. 591. **К России** *(«Мою ладонь географ строгий...»).* Впервые: Руль. 1 июля 1928.

С. 592. **Толстой.** Впервые: Руль. 16 сентября 1928.

...Пушкин: плащ, / скала, морская пена... — вероятно, отсылка к картине И. К. Айвазовского и И. Е. Репина «Прощай, свободная стихия» (1887).

Дельвиг А. А. (1798–1831) — поэт, друг Пушкина.

Данзас К. К. (1800–1870) — приятель Пушкина, его секундант на дуэли с Дантесом.

Делия — условное имя, распространенное во французской любовной лирике XVII — нач. XIX в., восходящее к имени героини элегий римского поэта Тибулла (I в. до н.э.). У Пушкина есть два стихотворения: «Делия» и «К Делии».

Чертков В. Г. (1854–1936) — друг Л. Н. Толстого, издатель его произведений.

С. 594. И он ушел... на голоса прозрачные деливший / гул бытия... — Ср. с финалом «Приглашения на казнь»: «...и Цинциннат пошел... направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему».

Однажды он со станции случайной... — 28 октября (10 ноября) 1910 г. Толстой тайно ушел из Ясной Поляны, простудился в пути и скончался на железнодорожной станции Астапово.

С. 595. **Кинематограф.** Впервые: Руль. 25 ноября 1928.

...но ничего там жизнью не трепещет... — Писавший кинорецензии для «Руля», Г. И. Гессен имел возможность иногда снабжать своего друга контрамарками; по свидетельству И. В. Гессена, сидя в зале, Набоков живо реагировал на несуразности в кинолентах и буквально сотрясался от хохота (Годы изгнания: Жизненный отчет. Париж: YMCA, 1981. С. 105). Набоковская критика пошловатой киноиндустрии 1920-х гг. будет продолжена в романе «Камера обскура» (1931), где целая глава посвящена пародии на фильм с участием любовницы героя: «Магда появилась на экране... Кралась она вдоль стены возмутительно... Горну сильно надоело сидеть в темноте и смотреть на скверную фильму».

С. 596. **Стансы о коне.** Впервые: Руль. 2 февраля 1928.

...Фальконетов конь живой. — Этьен Морис Фальконе (1716–1791) — французский скульптор, выполнивший конную статую Петра Первого в Санкт-Петербурге в 1778 г.

С. 597. **«Для странствия ночного мне не надо...»** Впервые: Руль. 11 августа 1929.

...на русский берег речки пограничной / моя беспаспортная тень. — Ср.: «Каково было бы в самом деле увидать опять Выру и Рождествено, мне трудно представить... Часто думаю: вот, съезжу туда с подложным паспортом под фамильей Никербокер» («Другие берега», гл. 11 (4)).

...им снятся прежние мои игрушки, / и корабли, и поезда. — «И были изумительные игрушечные магазины (локомотивы, туннели, виадуки)...» («Подвиг», гл. 6).

С. 597. **Воздушный остров.** Впервые: Руль. 8 сентября 1929.

С. 599. **Неродившемуся читателю.** Впервые: Руль. 7 февраля 1930. В сборнике 1979 г. опубликовано под названием «Будущему читателю».

С. 599. **Первая любовь.** Впервые: Россия и славянство (Париж). 19 апреля 1930. В газетной публикации опечатка в первой строке: «лнстве» вместо «листве».

С. 600. **Ульдаборг** *(перевод с зоорландского).* Впервые: Руль. 4 мая 1930. Идея несуществующей *Зоорландии* продолжена в романе «Подвиг» (1932), рассказе «Истребление тиранов» (1938).

СТИХОТВОРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Переводы, впервые опубликованные Набоковым—Сириным в эмигрантской периодике, впоследствии им в сборники не включались и не републиковались. Мы печатаем все переводы по первым публикациям.

С. 602. **In Memoriam** (*Из Теннисона*). Впервые: Звено. 23 мая 1926. № 173. С. 4. Текст ранее не переиздавался.

Перевод LXVI песни поэмы английского поэта-лауреата Альфреда Теннисона (1809—1892), навеянной смертью друга поэта Артура Хэллама, опубликована в 1850 г. Поэзия Теннисона была известна в России в переводах А. Плещеева, Л. Трефолева, О. Михайловой, Д. Минаева, К. Бальмонта, В. Брюсова, О. Чюминой. Отрывки из «In Memoriam» — в переводе О. Чюминой (Мир Божий. 1901. № 8. С. 145) и Д. Михаловского (Живописное обозрение. 1886. № 29. С. 42).

С. 603. **Сонет XVII** (*Из Шекспира*). Впервые: Руль. 18 сентября 1927. Известен в русских переводах Н. Гербеля, А. Соколовского, Н. Гумилева, из современных переводчиков — А. Финкеля, Я. Бергера, Л. Ситника, С. Маршака.

С. 603. **Сонет XXVII** (*Из Шекспира*). Впервые: Руль. 18 сентября 1927. Известен в русских переводах В. Бенедиктова, П. Каншина, С. Ильина, из современных — А. Финкеля, Л. Ситника.

С. 604. **Майская ночь** (*Из Мюссе*). Впервые: Руль. 20 ноября 1927.

Альфред де Мюссе (1810—1857) — французский поэт, драматург, прозаик. «Майская ночь» — первая в цикле «ночей» Мюссе (последующие — «Декабрьская», «Осенняя» и «Октябрьская»), написанных в 1835—1837 гг. после расставания с Авророй Дюпен (Жорж Санд). В России стихотворения Мюссе переводили А. Апухтин, И. Тургенев, А. Мысовская, П. Козлов, А. Венкстерн, К. Бальмонт, В. Брюсов, Б. Лившиц, В. Рождественский.

Аргос, Птелеон, Месса, Пелион, Камира — древнегреческие географические названия, упоминающиеся во второй песни «Илиады».

Тарквиний — Тарквиний Гордый, полулегендарный последний римский царь, после его правления в Риме установилась республика. Его сын, Тарквиний Секст, по преданию, обесчестил Лукрецию, жену Коллатина.

Корсиканец — Наполеон Бонапарт, уроженец о. Корсика, в 1815 г. его войска были разбиты Англией и Пруссией в битве при Ватерлоо.

С. 609. **Декабрьская ночь** (*Из Мюссе*). Впервые: Руль. 7 октября 1928.

Поэма известна в русских переводах В. Курочкина, П. Козлова, А. Мысовской, Е. Полонской.

Набоков переводил ее дважды: первый вариант опубликован в журнале Тенишевского училища «Юная мысль» (№ 7, 1916, см. ниже) с посвящением «В. Ш.», т. е. Валентине Шульгиной, которой посвящен также сб. «Стихи» 1916 г. Мюссе наряду с другими зарубежными классиками входил в программу Тенишевского училища.

Декабрьская ночь
(*Из Альфреда де Мюссе*)

Посв. В. Ш.

Поэт

Мне помнится, в школьные дни
Раз в классе остались одни
Вечерние тени да я.
За стол мой сел странный прохожий,
Ребенок весь в черном, похожий
Как брат на меня.

Лицо было грустно-красиво;
Он в блеске лампады тоскливой
Читал в моей книге со мной;
Склонившись на руки мои,
Остался он так до зари,
Задумчив с улыбкой немой.

Шестнадцатый год мне настал,
Когда я однажды блуждал
В лесу; у древесного пня,
На вереск сел странный прохожий,
Сел юноша в черном, похожий
Как брат на меня.

Свой путь у него я узнал.
Я помню, он лютню держал
И веткой шиповник густой;
Он бросил мне дружеский взгляд
И, чуть обернувшись назад,
На холм указал мне рукой.

В любовь когда верят глубоко,
Я раз горевал одиноко
Над хрупкостью первого сна.
И тут же к огню сел прохожий,
Бедняга, весь в черном, похожий
Как брат на меня.

Он мрачен был, с тайной тоской;
Он меч нес одною рукой,
Другой указал свод небес.
Казалось, он тоже страдал,
Но только вздохнул, все молчал,
А после как греза исчез.

В то время, когда вольнодумно,
Увлекшись пирушкою шумной,
Я поднял свой кубок вина,
К столу близ меня сел прохожий,
Гость новый весь в черном, похожий
Как брат на меня.

Под мантией были одеты
Лохмотья багряного цвета;
Он был в увядавшем венке
Из мирта; взор жадно искал моего,
Разбился бокал мой, касаясь его,
В моей ослабевшей руке.

Год минул; с вечернею тенью
У ложа отца на колени
Я пал, в очи смерти глядя;
И тут же сел странный прохожий,
Несчастный весь в черном, похожий
Как брат на меня.

Он будто был ангел печали,
В очах его слезы дрожали,
А пурпур был цвета крови;
Сплеталися терни на бледном челе,
Разбитая лютня была на земле,
А меч был в груди.

Я в первые эти года
Запомнил его навсегда,
Всю жизнь его узнавал.
Таинственный призрак и странный...
Он Богом иль бесом мне данный,
Его я повсюду встречал.

Когда же, уставши томиться,
Чтоб с прежнею жизнью проститься,
Хотелось покинуть родные пути,
Когда, чтоб бесцельно блуждать,
Хотело[сь] уйти и искать
Какой-то надежды следы:

У Ниццы в солнечных долинах,
И где нисходят Апеннины,
Средь Эдельвейсов Альп, где так свежа роса,

В лимонных рощах Генуи и Пизы,
Где поутру в прохладе темно-сизой
Полдневный зной рождают небеса;

Где над гондолами сияют,
Пока гитары вдохновляют,
Венецианские восходы;
Где в Лидо темном, помнится, скользили
И умирали на траве могилы
Адриатические воды;

Везде, где в безбрежности дали
И сердце и очи устали
Страдать вечно свежей тоской,
Везде, куда скука хромая,
Усталость с собою таская,
Водила за новой звездой;

Везде, где, свой взор устремляя,
На блеск неизвестного края,
Следил я за тенью мечты,
Везде, где и жизни не знал я,
И прошлое снова видал я
В лице человеческой лжи.

Везде, где я смутно блуждал
И в руки лицо опускал,
Как женщина громко рыдая,
Повсюду, где я, как овца,
Терявшая шерсть у куста,
Шел медленно, душу теряя,
Везде, где хотел засыпать,
Везде, где хотел умирать,
Везде, где ждал нового дня,
В пути мне встречался прохожий,
Паломник весь в черном, похожий
Как брат на меня.

Кто ты, призрак, где слезы упали,
Я повсюду встречаю тебя,
Но твоей я не верю печали
И что ты моя злая судьба:
Слишком много в улыбке терпенья,
Слишком жалости много в слезах.
Пред тобой я люблю Провиденье,
Скорбь твоя, как сестра всех мучений,
Схожа с дружбой в этих чертах.

Ночью грустный, когда мне не спится,
Ты являешься, призрак, опять.
Ветер бился в окне, будто птица;
Я один был, склонясь на кровать.

Это место лобзания знает,
Оно знает безумства любви...
Только женщина так забывает,
Будто медленно жизнь разрывает
и себя, и лоскутья свои...

Я собрал что она мне писала,
Я собрал все останки любви, —
Это прошлое напоминало
Однодневные клятвы свои.
Я дрожащими брал их руками.
Много счастья в святынях былых.
Слезы сердца зарыты сердцами
И уж завтра забыты очами,
Лишь сегодня ронявшими их.

Я в кусочек монашеской рясы
Завернул что осталось от грез,
Будет жить до последнего часа
Только прядь этих темных волос.
И как тот, кто, ныряя, пропал,
Я терялся во всем, что забыто,
И повсюду свой лот опускал,
И вдали от людей я рыдал
Над любовью навеки зарытой.

Уж на кладе любимом хотел я
Ставить черного воска печать,
Я его отдавал, но не смел я
Этой смерти бесцельной понять.
Слабой женщины гордость напрасна,
И безумна порою она.
Отчего лгать душе так ужасно?
Отчего ты рыдала так страшно,
Если ты не любила меня?

И хотя ты тоскуешь, рыдая,
Но мечта разделяет уж нас.
Вы уйдите, минуты считая,
Что меня отделяют от вас.
Да, уйдите. Пора нам прощаться.
Ваша гордость довольна собой;
Но моя еще может смеяться,
Могут скорби еще умещаться
В ране, сделанной вашей рукой.

Да, уйдите. Бессмертна живая,
Ведь природа не все вам дала,
Вы прошли, красотой увлекая,
Но душа вас прощать не могла.

Да, уйдите, за роком блуждая,
Вас терявший не все потерял,
Да, уйдите, любовь расточая...
Вечный Бог, если так покидаешь,
Отчего ты любила меня?

Но внезапно во тьме черно-синей
Призрак тихий скользнул в вышине,
Мне почудилась тень на гардине...
Вот она подлетает ко мне.
Кто ты, призрак, безмерно несчастный,
Странный образ, весь в черном одет,
Что желаешь ты, странник злосчастный,
Или в зеркале этом неясно
Я свой собственный вижу портрет?

Ты, который усталость не знаешь,
Призрак юности бледной моей,
Кто ты, странник, зачем ты блуждаешь
Средь встречаемых мною теней?
Кто ты, гость мой, всегда одинокий,
Вечный друг в этом горестном сне?
Так блуждать разве долг твой высокий,
Отвечай, иль ты брат мой далекий,
Приходящий лишь с горем ко мне?

Видение

Мой друг, у нас общий родитель,
Но я не твой ангел-хранитель,
Не злая судьбина людей.
Шаги тех, кого я люблю,
Не знаю, к какому огню
Свернут средь печальных ночей.

Зовусь я не бесом, не Богом,
К тебе, и к царям, и к убогим
Под именем брата приду.
Всегда будешь жить у меня,
И с тенью последнего дня
К тебе на могилу сойду.

Тебя мне дано понимать,
Ко мне, если будешь страдать,
Пусть скорбь повернется твоя.
С тобой я повсюду пойду,
Но тронуть руки не могу,
Мой друг, одиночество — я.

В. Набоков
XII / 15 г.

Возможно, поздний перевод был сделан для альманаха «Кубок» (Берлин, 1924?), т. е. после гибели отца (28 марта 1922) и вскоре после разрыва помолвки со С. Зиверт (начало января 1923), одновременно с другим (неопубликованным) переводом стихотворения Мюссе «Lettre à M. de Lamartine» (1836).

С. 615. **Пьяный корабль.** (*Из Рембо*). Впервые: Руль. 16 декабря 1928.

Рембо Артюр (1854–1891) — поэт, реформатор французской поэзии. В России его стихи были известны в переводах И. Анненского, В. Брюсова, Б. Лившица, В. Левика, Ф. Сологуба, И. Эренбурга, П. Антокольского, знаменитое стихотворение «Гласные» в переводе Н. Гумилева.

левиафан — в библейской мифологии морское животное, описываемое как крокодил, гигантский змей или дракон (Иов, 40: 20–27, 41: 1–26).

...когда был слышен топот / Мальстромов вдалеке и Бегемотов бег... — Мальстром (Мальстрем) — мифический великий водоворот у берегов Норвегии, см. рассказ Э. По «Низвержение в Мальстрем». Бегемот — сухопутный мифический аналог левиафана, также доказывающий непостижимость божественного творения (Иов, 40: 10–19).

ЧЕЛОВЕК ИЗ СССР
Драма

Действие 1. Впервые: Руль. 1 января 1927. Печатается по этому изданию.

Пьеса написана в 1925–1926 гг.; в отличие от других драматических произведений Набокова — специально для театра. Единственное представление состоялось в 1926 г. в Берлине в Зале Гройтриан-Штайнвег театральным объединением «Группа» под руководством Ю. В. Офросимова. На афише (приведена в: V. Nabokov. The Man From the USSR and Other Plays. Intr. and transl. by D. Nabokov. San Diego, New York, London: Bruccoli Clark / Harcourt Brace Jovanovich, 1985. P. 32) — список действующих лиц и исполнителей:

Алексеей Матвеевич Кузнецов, коммерсант, — Б. Алекин

Ольга Павловна, его жена, — В. Галахова

Виктор Иванович Ошивенский, хозяин кабачка, бывший помещик, — Г. Жданов

Евгения Васильевна, его жена, — Т. Тикстон

Марианна Сергеевна Таль, кинематографич. артистка, — Е. Очагова

Люля, ее подруга, — Ю. Деспотули

Барон Таубендорф — А. Длужневский
Федор Федорович — Ю. Джанумов
Помощник режиссера в кино-ателье — И. Бугаенко
Горничная в пансионе — Г. Роот

На русском языке опубликовано только первое действие, остальные четыре действия известны в английском переводе Д. В. Набокова, сделанном по рукописи и опубликованном в: V. Nabokov. The Man From The USSR. P. 58–122.

Второй акт[1] помещен в «обычную комнату обычного берлинского пансиона». Ольга Павловна Кузнецова в комнате Марианны Сергеевны вышивает. За сценой слышна очень плохая игра на скрипке. Появляется Кузнецов. Между ними происходит разговор, из которого выясняется, что, несмотря на их обоюдное решение порвать друг с другом, Ольга Павловна по-прежнему любит его и всегда волнуется, когда Кузнецов отправляется в Россию: «Ты не можешь себе представить, какой громадной кажется мне Россия, когда ты исчезаешь в ней». Его появление настраивает ее на воспоминательно-мечтательный лад, куда вплетается и только что слышанный звук скверной скрипки, но холодное безразличие Кузнецова останавливает ее: «Я не люблю тебя. Не было никакой скрипки...»

«Кузнецов. Я не понимаю, о чем ты говоришь.

Ольга Павловна. И не можешь понять.

Кузнецов *(вставая)*. Знаешь, я лучше пойду.

Ольга Павловна. Два года назад, когда мы жили в Берлине вместе, была такая глупая-глупая песенка, какой-то танцевальный мотив, который мальчишки насвистывали и шарманщики играли. Ты сейчас, если услышишь ее, ведь и не узнаешь даже...

Кузнецов. Все это очень раздражает».

Он уходит, возвращается Марианна, она рассказывает о фильме про большевиков, в котором снимается. Ольга Павловна начинает плакать. Марианна, думая ее утешить, подробно расспрашивает про Кузнецова, не большевик ли он, говорит, что Ошивенские видели его на улице в обществе советского агента. Появляется Кузнецов, он очень оживлен, просит Марианну научить его танцевать. Когда та уходит за граммофоном, он сообщает Ольге Павловне, что его дело улажено и он через 10 дней уезжает. Служанка объявляет, что к Кузнецовым пришли гости, Ольга Павловна выходит.

---

[1] Пересказ и частичный перевод второго и пятого действий мы приводим по комментарию И. Толстого (в изд.: В. Набоков. Пьесы. М.: Искусство. 1990. С. 283–286), с любезного его разрешения. Третье и четвертое действия — в нашем пересказе и переводе. — *М. М.*

«Марианна. Ну же, теперь поцелуй меня — скорее!

Кузнецов. Нет, нет — пожалуйста, не торопите меня, мадам».

Марианна спрашивает, не ревнует ли он ее к бывшему возлюбленному, Кузнецов равнодушно отвечает, что нет, берет со стола фотографию, лицо кажется ему знакомым. Марианна замечает, что этого человека в прошлом году в Москве расстреляли большевики.

«Марианна. 〈...〉 Ты ужасно странный человек. У меня никогда в жизни не было такого странного романа. Я даже не понимаю, как это случилось. Как мы встретились в подвале. Потом этот безумный пьяный вечер с бароном и Люлей... 〈...〉 Я люблю тебя... 〈...〉 Скажи мне, если твоя жена — ах, да! — скажи мне, ты ведь не большевик, нет?

Кузнецов. Большевик, мадам, настоящий большевик».

Входят Ошивенские с Ольгой Павловной, садятся пить кофе, они явно враждебно настроены к Кузнецову, считая его большевиком; происходит такой разговор:

«Г-жа Ошивенская. Я слышала, у них есть знаменитый поэт — Блок или Блох — или как там его. Еврейский футурист. Так они утверждают, что этот Блох лучше Пушкина-с-Лермонтовым.

Ольга Павловна. Ну, ну, Евгения Васильевна — Александр Блок умер давным-давно. Кроме того...

Г-жа Ошивенская. Но, дорогая, в том-то и дело, что он жив. Они нарочно лгут. Лгали же про Ленина. Ведь их несколько было, Лениных. Настоящий был убит с самого начала».

Кузнецов в разговоре отвечает иронично, что крайне раздражает Ошивенского:

«Ошивенский. А позвольте спросить, как это они впускают вас в Россию?

Кузнецов. А почему бы и нет?»

Третье действие происходит в пустой комнате перед залом, где начинается какая-то эмигрантская лекция. Люля с Таубендорфом считают полученные за вход деньги. Потом Люля уходит на лекцию, появляется Ольга Павловна, которая разыскивает Кузнецова. Таубендорф пытается объясниться ей в любви, не замечая ее попыток прервать его.

«Таубендорф. 〈...〉 Я говорил вам... вы, наверное, помните... что когда вам грустно и страшно... как вы только что выразились... я сказал вам тогда, что... что в такие минуты я готов... я хочу сказать, я готов сделать для вас все. 〈...〉 Я был свидетелем на вашей свадьбе... помните?.. в той маленькой церкви в Тегеле. Потом, когда вы расстались, когда вы разлюбили вашего мужа... и остались одна... уже тогда я много хотел сказать вам. Но у меня сильная воля. Я решил не торопить события. Трижды Алеша путешествовал в Россию, я приходил к вам — но не слишком часто, верно? Сейчас я понимаю, что не нужно больше ждать, —

вы с Алешей совершенно чужие люди. Он все равно не сможет понять вас. ⟨...⟩ Он великий, он совершенно особенный... Но — он отказался от вас ради России. ⟨...⟩ Послушайте: я ничего у вас не прошу. То есть это чушь — конечно, я прошу, и прошу многого. Может быть, если попытаться, если сделать настоящее усилие, можно заставить себя — по крайней мере заметить человека. ⟨...⟩ Я знаю, что для вас я только Николай Карлович, и больше ничего. Но ведь вы никого не замечаете. Для вас тоже единственное в жизни — это ваша тоска по России. И я не могу так жить... ⟨...⟩ — Бог знает, я тоже хотел бы туда вернуться, но для вас я останусь, для вас я сделаю все...

Ольга Павловна. Пожалуйста, подождите минуту. Успокойтесь. Дайте мне вашу руку. ⟨...⟩ У вас даже лоб вспотел. ⟨...⟩ Я скажу вам то, что никому раньше не говорила. Понимаете, вы... вы ошиблись. Я скажу вам правду. Меня больше не интересует Россия — то есть интересует, но не так страстно. Дело в том, что я никогда не переставала любить моего мужа».

Четвертое действие разворачивается в павильоне киностудии, где снимается фильм о России. Все заставлено соответствующим реквизитом: три луковичных купола, балалайка, наполовину свернутая карта России — похоже на «разноцветную головоломку, небрежно или только частично собранную». Сцена заполняется русскими эмигрантами-статистами, среди них Люля. Появляются Марианна и Кузнецов, из их разговора, постоянно прерываемого криками помощника режиссера, становится ясно, что Кузнецов уезжает, видимо, навсегда.

«Марианна. Это совершенно чудовищно, совершенно чудовищно с твоей стороны...

Кузнецов. ...только одно интересно в жизни — то, что можно предотвратить. Зачем тратить силы и волноваться о неизбежном.

Марианна. Так ты не передумал?»

Марианна уходит гримироваться, появляется Таубендорф.

«Таубендорф. А, ты уже здесь, Алеша. Как ты прошел?

Кузнецов. Очень просто. Сказал, что я лучший друг какого-то Мозера. [Рассматривает карту России.] Крым здесь вышел идеальным ромбом».

Приходит загримированная Марианна, она в папахе со звездой.

«Марианна. Ты сводишь меня с ума!

Вбегает помощник режиссера.

Помощник режиссера. Мы начинаем! Давайте же, ради Бога! Материал должен быть готов к субботе. Марианна! *(Вопит прямо на нее в мегафон.)* По местам!

Марианна. Вы отвратительно грубы. Алек, я умоляю тебя, подожди... Я только на минуту...»

Марианна и помощник режиссера уходят. Кузнецов коротко разговаривает с Таубендорфом, поручает ему заботиться об Ольге Павловне.

«Таубендорф. Алеша, умоляю тебя... Я хочу с тобой! Ты слышишь, я хочу с тобой. Остаться здесь — это для меня конец...

Мегафон за сценой. Люди, вы в России! На площади! Идет восстание! Первая группа машет флагами. Вторая группа бежит налево от баррикады! Третья группа выходит вперед!

Кузнецов. Это становится утомительно, мой друг. Я уже все тебе сказал».

Они прощаются. Когда Таубендорф выходит, Кузнецов выхватывает браунинг и целится в него.

«Кузнецов. Стой!

Таубендорф. Алеша, тебя могут увидеть. *(Уходит.)*

Кузнецов. Молодец... даже не вздрогнул... А ты, дружок, не подведи меня *(Обращаясь к пистолету и целясь в зрителей.)* ‹...›».

Марианна, еще не отыгравшая свою роль, снова появляется и спрашивает «Алека», неужели он уезжает в субботу. Их разговор перебивается криками помощника режиссера.

«Кузнецов. Да.

Марианна. Не могу в это поверить. Не могу поверить, что ты меня бросаешь. Послушай, Алек, послушай... Я брошу сцену. Я забуду о своем таланте. Я пойду с тобой. Забери меня куда-нибудь. Мы будем жить где-нибудь на юге, в Ницце. ‹...› Со мной происходит что-то ужасное. Я уже заказала платья, яркие, чудные платья для юга... ‹...›

Кузнецов. Я хорошо провел с тобой время. Но теперь я уезжаю. ‹...› Кажется, я не давал тебе оснований полагать, что наши отношения будут долгими. Я очень занятой человек. Честно говоря, у меня нет времени даже говорить, что я занятой человек.

Марианна. Ах вот как... Тогда дай и мне кое-что тебе сказать. Это все было притворство. Я просто играла роль. Я не чувствую к тебе ничего кроме отвращения. Это я бросаю тебя, а не наоборот. И еще одно — я знаю, ты большевик, агент ЧК, Бог знает что еще... Ты мне отвратителен! ‹...› Ты понимаешь, что никогда больше меня не увидишь?

Кузнецов. Да, конечно, — зачем все время повторять одно и то же? Попрощайся.

Марианна (*отворачиваясь*). Нет.

Кузнецов кланяется и неторопливо уходит направо. Ему навстречу идут рабочие сцены с флагами и винтовками. Он замедляет шаг, оглядывает их с короткой улыбкой, потом уходит ‹...›.

Мегафон за сценой. Назад! Все назад! Так не пойдет! Говорю вам в последний раз — слушайте... Первая группа...».

Пятое действие. Комната Ошивенских в пансионе. Они разорены своим убыточным ресторанчиком, укладывают чемоданы, чтобы отправиться — в никуда. Ненадолго заходит Марианна, она

в черном — посмотрела фильм, в котором снималась, и страшно разочарована тем, как вышла на экране. Потом Кузнецов заезжает за посылкой, которую Ошивенские просили передать в Петербург, на Морскую улицу («Герцена», — поправляет Кузнецов). Прибегает Федор Федорович, он нашел Ошивенским новую, очень дешевую комнату, на улице Парадиз, у хозяина Энгеля.

«Ошивенский. Я бывший помещик. Я был разорен с самого начала. Но поймите: я не прошу назад свои земли. Я хочу земли русской. И если бы мне позволили ступить на нее только чтобы вырыть себе могилу, я согласился бы.

Кузнецов. Скажем просто, без метафор. То есть вы хотели бы отправиться в СССР, то есть в Россию?

Ошивенский. Я знаю, что вы коммунист, — поэтому я могу быть откровенным с вами. Я отрекаюсь от эмигрантской пустой мечты. Я признаю советское правительство. Я прошу вас вступиться за меня.

Кузнецов. Вы говорите серьезно?

Ошивенский. Я не намерен шутить в такую минуту. У меня ощущение, что с вашей помощью они простят меня, дадут мне паспорт, пустят меня в Россию.

Кузнецов. Прежде всего избавьтесь от привычки говорить “Россия”. Страна называется теперь по-другому. Во-вторых, довожу до вашего сведения: таких, как вы, советское правительство не прощает. Я охотно верю, что вам хочется домой. Но все прочее, что вы говорите, — трескотня. От вас несет старым духом за тысячу верст. Допустим, что вина не ваша, но все же.

Ошивенский. Минуточку! Почему вы позволяете себе такой тон? Вы что — собираетесь учить меня?

Кузнецов. Я выполняю ваши пожелания. Вы интересовались моим мнением, не так ли?

Ошивенский. Какое мне дело до вашего мнения? Я до смерти хочу домой, а вы мне о старых режимах. 〈...〉 Но расстилаться перед советскими... нет, мой друг, вы ошиблись адресом. Если позволите, я сделаю заявление... я поеду, но как только я там окажусь, я отправлюсь к вашим дутым героям и плюну в физиономии всех этих заворовавшихся подонков».

Появляется Ольга Павловна, она пришла одолжить Ошивенским денег. Она не ожидала увидеть Кузнецова и пытается поговорить с ним искренне, как будто он уже уехал и это только воспоминание — «нет ничего честнее воспоминания». Кузнецов говорит ей, что он «делал вещи, после которых любая личная жизнь — сердечные дела и так далее — невозможна. 〈...〉 В прошлом году, когда я был в России, произошел такой инцидент. Советские сыщики напали на след. Я понял, что, не пойди я на решительный шаг, они в конечном счете докопаются. И знаешь, что я сделал? Я нарочно пустил трех человек, мелких сошек моей организации, под пули отряда. Только не подумай, что я хоть сколько-нибудь

сожалею. Этот гамбит спас все дело. Я прекрасно знал, что эти люди возьмут на себя всю вину, но не выдадут ни малейшей детали нашей работы. И след растаял».

Ольга Павловна отвечает, что все равно любит его в тысячу раз больше, чем когда они жили вместе.

«Кузнецов. Оля, я еду в СССР, чтобы ты смогла приехать в Россию. И все окажутся там... Старый Ошивенский, дотягивающий свои дни, и Коля Таубендорф, и забавный Федор Федорович. Все.

Ольга Павловна. А ты, Алеша, где *ты* будешь?

Кузнецов (*берет чемодан, другой рукой обнимает жену, и оба медленно идут к двери; все это время Кузнецов говорит мягко и немного загадочно*). Знаешь, давным-давно жил-был в Тулоне некий артиллерийский офицер, и этот самый артиллерийский офицер...

Они уходят.
Занавес».

С. Постников в рецензии отметил неопределенность характера главного героя: «не то авантюрист, не то борец за белое дело» (С. Постников. О молодой эмигрантской литературе // Воля России. 1927. № 5–6. С. 215–225). Очевидно, сюжет был подсказан Набокову многочисленными историями того времени о двойных шпионах, тайных агентах и хождениях в Россию: например, операция «Трест», разоблачение Е. Азефа, хождения через советскую границу депутата Государственной Думы В. В. Шульгина в 1921-м и 1925–1926 гг. и князя Долгорукого (упоминается в «Даре»). Из менее громких, но происходивших в кругу Набокова событий — история А. М. Дроздова (в 1921–1923 гг. был редактором журнала «Сполохи», где Сирин напечатал несколько стихотворений, они вместе состояли в берлинском Союзе русских писателей и журналистов, литературно-художественном объединении «Веретено»), который в 1923 г. вернулся в советскую Россию, где прожил до смерти в 1963-м. Очевидно, основным прототипическим сюжетом послужила судьба Б. В. Савинкова (1879–1925), возможно, именно отсюда Набоков позаимствовал кинематографически-литературный, театральный колорит (Савинкова называли «человек-театр», в эмиграции он писал под псевд. Б. Ропшин). Несмотря на декларируемое Набоковым позже отвращение ко всяческим объединениям и партиям, он в те годы (хотя и недолго) состоял в антибольшевистском обществе ВИР, организованном Н. Яковлевым, и, очевидно, участвовал в обсуждении шпионских страстей (см. также рассказ «The Assistant Producer»; 1943). Шпионские сюжеты были популярны в то время и в советской литературе. См., например, пьесу Б. Романова «Конец Криворыльска» (Л.: Прибой, 1927), некоторые ходы которой Набоков, возможно, пародировал (противопоставляя новой советской драматургии подчеркнуто

чеховский тон своей пьесы): разговор о невозможности семейного счастья для партийца (у Романова) и шпиона (у Набокова), посещение шпионом ресторана, который содержит его отец (у Романова) — бывший знакомый (у Набокова).

В «Человеке из СССР» находит завершение «героическая линия», связанная для Набокова с образом Н. С. Гумилева, которую он затрагивал в рассказе «Порт», отчасти в «Машеньке», преобразовал в романе «Подвиг» (Мартын идет в Россию просто так, вызывая недоумение Грузинова и Дарвина) и пародировал в повести «Соглядатай» (выдуманная героическая биография Смурова).

ЭССЕ. РЕЦЕНЗИИ

Набоков опоздал к поэтическому пиршеству Серебряного века, что, наряду с неизбежной ностальгией по только-только ушедшей эпохе, обеспечило ему и некоторую независимость от вчерашних столичных литературных оценок. Пиетет по адресу столпов символизма был ему странен. О Федоре Сологубе, например, он отзывался как «об очень маленьком писателе, к которому Англия и Америка испытывают столь необъяснимое пристрастие» (V. Nabokov. Cabbage Soup and Caviar // The New Republic. 1944. № 3. P. 92). Сложнее было его отношение к Блоку. Так, в 1931 г. он прочел о Блоке доклад, как гласит газетный отчет, «облеченный в обычно блестящую словесную форму, произнесенный с большим подъемом. Сирин обрисовал Блока, поэта-романтика, вознесшего русский стих до музыкальности исключительной, игравшего образами как масками, за которыми он то и дело скрывал свое лицо. Сирин перечисляет несколько таких “масок” — Гамлет, Пьеро, паж... Отсюда вытекают и “Двенадцать”, не перестающие и до сих пор возбуждать споры, являющиеся для многих загадкой» (Н. Вечер памяти Блока и Гумилева // Руль. 16 сентября 1931). Спустя тринадцать лет отзыв о Блоке был значительно оценочней и неприязненней: «...большая часть блоковских сочинений является разнородной мешаниной виол и вульгарности. Он был превосходный поэт с бестолковым умом. Что-то угрюмое и глубоко реакционное в нем (напоминающее иногда политические статьи Достоевского), сумрачная аллея с костром из книг в конце, уводило его от его гения, как только он начинал думать. Истинные коммунисты были совершенно правы, когда не принимали его всерьез» (V. Nabokov. Cabbage Soup and Caviar. P. 93).

Блоковским взлетам и «провалам» («ухабистости») Набоков предпочел «равномерность» Бунина, которого он противопоставил символистам, в том числе и обозначенному только цитатой Блоку в рецензии 1929 г. Это предпочтение (как и выбор в пользу бледного С. Кречетова в пику молодой постсимволистской поэзии)

было частью несколько стилизованной, нарочито антимодернистской позиции Набокова.

Бунин импонировал Набокову своей наблюдательностью — это качество рецензент больше всего ценил в литературе и развивал в себе сознательно. Товарка по берлинскому «Кружку поэтов» вспоминала о Набокове: «Любил иногда выдумывать игры: “Смотрите две минуты на эту картину, а потом закройте глаза и расскажите, что ‘запомнили’”».

Конечно, он один был способен по памяти восстановить картину, не забывая ни малейшей подробности. Память, особенно зрительная, у него была исключительная, — и он даже признавался, что она ему мешает иногда, загромождает сознание» (Е. Каннак. Верность. Воспоминания, рассказы, очерки. Париж. 1992. С. 217).

Во второй половине 1920-х гг. Набоков-рецензент, как и Набоков-прозаик, исповедует пафос точного зрения, свежего называния и свободного вымысла. Он не боялся «сочиненности», которая «гораздо живее мертвой молодцеватости литературных героев, кажущихся среднему читателю списанными с натуры». (Современные записки. 1936. Кн. LXI. С. 470). Но «сочиненность» и игра автора со своими персонажами («Усмешка создателя образует душу создания» — там же) предполагает корректное описание реалий. Так Набоков распознал приблизительность литературного штампа в романе И. Одоевцевой «Изольда».

За разбором литературной техники очередных новинок русскоязычной литературы зарубежья встает для Набокова проблема эмиграции как нравственная проблема сохранения языка и словесности. Он говорит об обитателе языкового островка карпато-русском поэте Попрадове как о парадигматическом образце для поэта-изгнанника.

Произведения советских авторов Набоков никогда не рецензировал, но за демонстрацией полуравнодушного пренебрежения к советской литературе нельзя не заметить внимания по крайней мере к некоторым коллегам, жившим в СССР. Прежде всего это, конечно, возвращение к мыслям о Борисе Пастернаке. В рецензии 1927 г. он сравнил Пастернака с осужденным на вечные насмешки старым поэтом, повторив позднее это уподобление в эпиграмме:

Его обороты, эпитеты, дикция,
стереоскопичность его, —
все в нем выдает со стихом Бенедиктова
свое роковое родство.

(1970)

Чуть ранее, однако, он говорил интервьюеру: «Пастернак никогда не был хорошим прозаиком. Поэт он, конечно, хороший. Не такой большой, правда, как Блок, но хороший. <...> Любимцы

Набокова <...> в стихотворчестве Мандельштам и Сельвинский» (Г. Свет. Встреча с автором «Лолиты». Беседа о русской литературе в кафе на Французской Ривьере // Русская мысль. 7 февраля 1961).

Неотступное наблюдение за стихами литературного кумира некоторой части эмигрантской поэтической молодежи сказывалось перениманием каких-то свойств его поэтики — что не преминул отметить придирчивый к Набокову Г. Адамович (Г. Адамович. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. С. 222). Впрочем, Набоков сам рассказал читателю о нарушающих равновесие выстроенной им вкусовой системы сомнениях, когда писал об одном стихотворении Бориса Поплавского: «Оно смешное, безвкусное, но — как бывает это и у Пастернака — чем-то пленительно» (Руль. 11 марта 1931).

О некоторых из своих былых критических атак Набоков впоследствии сожалел (как это было в случае с трагически погибшим Борисом Поплавским или Раисой Блох, уничтоженной гитлеровцами), но за беспощадностью набоковских наскоков стоял спор вполне «принципиальный». Так, для тридцатилетнего Набокова сопоставление собственных стихов с лирикой Поплавского было противостоянием двух поэтик. Ранние стихи Набокова, если вычесть оценочный и вкусовой момент, достаточно верно охарактеризованы Германом Хохловым: «Стихи Сирина отличаются такой же точностью, тщательностью и заостренностью языка, как и его проза. Но то, что делает ткань прозаических произведений крепкой и прочной, вносит в условный материал поэзии излишнюю прямолинейность и сухость. Стихи Сирина, при всей своей образности и технической отделанности, производят впечатление подкованной рифмами ритмической прозы. В них много рассудочности, добросовестности, отчетливости и очень мало настоящей поэтической певучести» (Г. Х<охлов>. Возвращение Чорба // Воля России. 1930. № 2. С. 191). Поэтические принципы Поплавского были отчетливо противоположны и недвусмысленно сформулированы самим автором: «Не следует ли писать так, чтобы в первую минуту казалось, что написано “черт знает что”, что-то вне литературы. Не следует ли поэту не знать — что и о чем он пишет. Здесь противостоят две поэтики, по одной — тема стихотворения должна перед его созданием, воплощением лежать как бы на ладони стихотворца, давая полную свободу подбрасывать ее и переворачивать как мертвую ящерицу; по другой — тема стихотворения, ее мистический центр находится вне первоначального постигания, она как бы за окном, она воет в трубе, шумит в деревьях, окружает дом. Этим достигается, создается не произведение, а поэтический документ, — ощущение живой, не поддающейся в руки ткани лирического опыта» (Б. Поплавский. Заметки о поэзии // Стихотворение. Париж. 1928. № 2. С. 28—29). Апология «поэтического документа» много лет составляла содержание критических обзоров

Георгия Адамовича. Не менее упорная защита «произведения» была сквозной темой выступления Ходасевича. Набоков держал сторону второго, и о многих его газетных заметках складывается впечатление, что они являются как бы письмами — то к Ходасевичу, то к Бунину, вроде воображаемой беседы Годунова-Чердынцева с Кончеевым в «Даре».

Все тексты печатаются по первым публикациям.

А. Булкин. Стихотворения. Впервые: Руль. 25 августа 1926.

А. Булкин — псевдоним Александра Яковлевича Браславского, журналиста, который под своей фамилией издал еще два выпуска своих «Стихотворений» (Париж, 1929, 1937). В. Ходасевич заметил, что Браславскому «редко удается дописать стихотворение, не испортив его какой-нибудь несуразностью или безвкусицей» (Возрождение. 10 июня 1938).

С. 636. ...дань Цеху... — Набоков имеет в виду пристрастие поэтов, составлявших парижский (а до этого — берлинский, а еще раньше — петроградский) Цех поэтов (Г. Адамовича, Г. Иванова, И. Одоевцеву, Н. Оцупа), к прилагательным в превосходной степени — традиция, идущая в основном от стилистики Ахматовой.

Далила...Самсон... — стихотворение «Обетование»:

Вокруг меня ютятся люди,
И каждый делает свое.
Раб голову мою на блюде
Блудливой деве подает.

Мне жизнь не посылает милой,
Такой, какую я просил:
Меня стрижет моя Далила,
Доводит до потери сил.

Мой царь, любимец Бога в мире,
Меня отправил на войну,
Чтоб на войне меня убили,
Чтоб взять себе мою жену.

И если, словно Иов, проказой
Я буду бел в поту лица,
Я даже и тогда ни разу
Хулой не помяну отца.

Как Ной, блуждающий в потопе
До синей Араратских гор,
Как Иона у кита в утробе
Не забывает ничего —

Живу, обетованью верен,
Здоровый и в своем уме,
И я пройду сквозь радуг двери,
Как в двери комнаты моей.

Бенедикт Дукельский. Сонеты. Впервые: Руль. 3 ноября 1926.

Дукельский-Диклер *Бенедикт* Шмулевич (умер после 1940 г.) первую книгу стихов «Appassionata» выпустил в Петрограде в 1922 г. В Париже выпустил также сборники стихов «Душа в заветной лире» (1927), «Моей души предел желанный» (1929), «Кораллы» (1931) и др.

С. 636. «Суровый Дант не презирал сонета». — А. С. Пушкин, «Сонет» (1830).

С. 637. «Прекрасное должно быть величаво». — А. С. Пушкин, «19 октября» (1825).

Сергей Рафалович. Терпкие будни. Симон Волхв. Впервые: Руль. 19 января 1927.

Рафалович Сергей Львович (1875–1943) — драматург, поэт, издал более 20 поэтических книг, первый сборник — «Весенние ключи» (СПб., 1901). См. подробнее: «Кофейня разбитых сердец». Коллективная шуточная пьеса в стихах при участии О. Э. Мандельштама. Публ. Т. Л. Никольской, Р. Д. Тименчика и А. Г. Меца. Stanford, 1997. С. 10, 22–25.

С. 637. «...бледнел и гас...» — В газете опечатка: «...бледнел и час...».

С. 638. Кнут Довид (Фихман Давид Миронович) (1900–1955) — автор сборников, вышедших в Париже — «Моих тысячелетий» (1925), «Вторая книга стихов» (1928), «Сатир. Поэма» (1929), «Парижские ночи» (1932), «Насущная любовь» (1938), «Избранные стихи» (1949). См.: Д. Кнут. Собрание сочинений в 2 т. Под ред. В. И. Хазана. Иерусалим, 1997–1999. Ср. о нем: «Довид Кнут один из самых значительных поэтов русского Парижа, но, может быть, русская форма была для него случайностью. Его вдохновение, его темы были такими еврейскими, что кажется странным, что писал он не на древнееврейском языке. В этом его отличие от многих еврейских поэтов в русской литературе, из которых по крайней мере один, Осип Мандельштам, имеет все шансы стать русским классиком. Но Кнуту в русской литературе не вместиться. В нем звучит голос тысячелетий, голос библейского Израиля, с беспредельностью его любви, страсти, тоски» (Г. Федотов. О парижской поэзии // Ковчег. Нью-Йорк, 1942. С. 198).

Оцуп Николай Авдеевич (1894–1958) — поэт, критик, мемуарист. См.: Н. Оцуп. Океан времени. Стихотворения. Дневник в стихах. Статьи и воспоминания о писателях. Сост., вст. ст. Л. Аллена, комм. Р. Тименчика. СПб. — Дюссельдорф, 1993.

Ладинский Антонин Петрович (1896–1961) — прозаик, поэт, автор вышедших в Париже сборников: «Черное и голубое» (1930), «Северное сердце» (1934), «Стихи о Европе» (1937), «Пять чувств» (1938), «Роза и чума» (1950). В 1950-е гг. репатриировался в СССР.

Берберова Нина Николаевна (1901–1993) — поэтесса, прозаик, мемуаристка.

Дмитрий Кобяков. Горечь. Керамика. Евгений Шах. Семя на камне. Впервые: Руль. 11 мая 1927.

Кобяков Дмитрий Юрьевич (1894—1977) — поэтическую деятельность начинал в московских (1916) и тифлисских (1918) литературных кружках, в 1923 г. издавал в Югославии журнал «Медуза». В 1925—1936 гг. издал в Париже сборники своих стихов: «Горечь», «Керамика», «Вешняк», «Чаша». В 1950-е гг. репатриировался в СССР.

Ср. о сборнике «Керамика»: «...он умудряется в слове “жизнь” обнаружить два слога или сказать: “профиль позабытых лиц” (в множественном числе?). От подобных ошибок г. Кобяков, несомненно, постепенно отделается. Что хуже и опаснее в молодом поэте — это отсутствие яркой индивидуальности в его стихах, за которыми мы не чувствуем человека» (Е. А. Зноско-Боровский. Парижские поэты // Воля России. 1926. № 1. С. 154); «Почти до “зауми” по пути, на котором был Гингер, дошел Д. Кобяков, но в его поэзии явно преобладал чисто рассудочный, конструктивистский элемент, совершенно не оживленный непосредственным чувством и поэтической эмоцией» (М. Слоним. Молодые писатели за рубежом // Воля России. 1929. № 10—11. С. 111). Г. Адамович находил, что «наброски Кобякова приятны: в них есть акварельная легкость письма и легкое волнение» (Г. Адамович. Критическая проза. М., 1996. С. 57), В. Ходасевич же считал его «совсем безнадежным» (В. Ходасевич. Собрание сочинений в 4 т. Т. 4. М., 1996. С. 516).

С. 639. ...посвящением Пастернаку... — стихотворение «Путешествие»:

Борису Пастернаку

Каким просторам открывал,
Где намечают поцелуем?
И карты — эти два крыла —
Какими ветрами надуем?

Дорожку в снеге проторил
Губами, картами, в карете —
Какими воплями горилл
На острове нас ветер встретит?

Летим — тем лучше — губ и глаз —
Багаж (как поцелуй) уложен.
О Денди, Леди, Джим! Каркас
Английских полюсов не сложен!

Шах Евгений Владимирович (1905—?) издал в Париже еще один сборник «Городская весна» (1930). О первом его сборнике Ходасевич писал: «Шах хорошо знает новую поэзию, умело пользуется ее приемами, выбирая при этом лучшие и стараясь избегать

пошлостей. Он вполне культурный стихотворец, не лишенный к тому же вкуса и чувства меры... В поэзии он отнюдь не провинциален, и если бывает несколько наивен и неуклюж, то чаще зорок и слегка язвителен» (В. Ходасевич. Первые сборники // Возрождение. 10 ноября 1927).

Г. Иванов по поводу его стихов, отобранных для «Современных записок», заметил: «Стихи В. Лебедева — все-таки лучше стихов Е. Шаха» (Г. Иванов. Собрание сочинений в 3 т. Т. 3. М., 1994. С. 520)

Новые поэты. Впервые: Руль. 31 августа 1927.

Диксон Владимир Васильевич (1900—1929) до «Листьев» издал сборник «Ступени» (1925). Книга его «Стихи и проза» вышла посмертно с предисловием А. Ремизова в 1930 г. Автор знаменитого письма-мистификации Джеймсу Джойсу (см. его в переводе В. Купермана // Солнечное сплетение. Иерусалим, 1999. № 4—5. С. 43—45).

Даниил Гусев покончил жизнь самоубийством.

Р. Аркадин — псевдоним Исаака Цетлина (1901—1988) — впоследствии основателя союза русскоязычных писателей Израиля.

Лев Шлосберг впоследствии перебрался в Польшу.

Галич-Гончаренко *Юрий* Иванович (1877—1940), издавший свой первый сборник «Вечерние огни» в Петербурге (1907), был видной фигурой в русской литературной Риге 1920—1930-х гг.

Пронин Георгий Федорович умер в 1962 г. в Сан-Франциско.

С. 642. Надсон Семен Яковлевич (1862—1887) и *Фруг* Семен Григорьевич (1860—1916) — поэты эпохи так называемого поэтического безвременья.

С. 643. «...синий ворс стекла» — В газете: «сткла» — видимо, опечатка.

Бёклин Арнольд (1827—1901) — швейцарский живописец-символист.

Ратгауз Даниил Максимович (1868—1937) — поэт, с 1921 г. жил в Берлине и Праге.

Е. А. Зноско-Боровский. Капабланка и Алехин. Впервые: Руль. 16 ноября 1927.

С. 644. Зноско-Боровский Евгений Александрович (1884—1954) — критик, драматург, шахматный мастер (с 1906 г.), автор ряда книг по шахматной теории. Ср. в некрологе: «Можно сказать, что среди русских шахматистов старшего поколения не было более преданного шахматного деятеля, чем он» (Новое русское слово. 16 февраля 1955).

Ср. рецензию на эту книгу (подпись: «Любитель»): «Мастер шахматной теории, привлекаемый притом наиболее отвлеченной и сравнительно мало разработанной ее частью — серединой игры, Зноско-Боровский на этот раз не вводит читателя в лабиринты

анализа, а пытается лишь дать синтетическую характеристику двух величайших игроков нашего времени, вплетая в свое изложение очень поучительный очерк основных типов игры и сменявших друг друга школ» (Звено. 1927. № 6. С. 375).

Помимо Хозе Рауля *Капабланки* (1883–1942) и Александра Александровича *Алехина* (1892–1946) в рецензии упомянуты Адольф *Андерсен* (1818–1879), Гарри Нельсон *Пильсбери* (1872–1906), Вильгельм *Стейниц* (1836–1900), Карл *Шлехтер* (1874–1918), Акиба Кивелевич *Рубинштейн* (1882–1961), Эммануил *Ласкер* (1868–1941).

Юбилей. Впервые: Руль. 18 ноября 1927.

С. 646. Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861–1928) — русская писательница, имя которой служило символом низкопробной беллетристики.

Сейфуллина Лидия Николаевна (1889–1954) — советская писательница.

С. 647. Клио — муза истории.

Зодчий. Впервые: Руль. 23 ноября 1927.

Из десяти поэтов, преимущественно старшего поколения, объединенных в «Зодчем», наиболее заметной в эмигрантской поэзии оказалась *Екатерина* Леонидовна *Таубер* (1903–1987), автор сборников «Одиночество» (1935), «Под сенью оливы» (1948), «Плечо с плечом» (1955), «Нездешний дом» (1973), «Верность» (1984).

Из остальных участников белградского сборника отдельные книги стихов вышли только у Евгения Михайловича *Кискевича* (1891–1945) — «Стихи о погоде. Пиесы 1930–1940» (Белград, 1940) и посмертно — у *Гр. Наленча* (Григория Григорьевича Сахновского, 1891– 1931): «Стихи» (Париж, 1932). Уместно отметить, что в одном из позднейших стихотворений Е. М. Кискевича («Элегия») упомянут Набоков:

Припоминая важный стих латинский,
Мы радуемся — все прошло давно,
И так же канут Сирин и Ладинский
На вечное, укатанное дно.

С. 648. «Работай, работай, работай» — зачин десятого стихотворения из блоковского цикла «Заклятие огнем и мраком» (1907).

...тоже вроде Блока. — Имеется в виду скорее всего стихотворение «О доблестях, о подвигах, о славе...» (1908).

Имена Александра Николаевича *Круглова* (1852–1915), Петра Федоровича *Порфирова* (1870–1903) и Аполлона Аполлоновича *Коринфского* (1868–1937) выхвачены Набоковым наудачу из сонма журнальных лириков начала XX в.

Андрей Блох. Стихотворения. Впервые: Руль. 30 ноября 1927.

Андрей Григорьевич *Блох* впоследствии выпустил еще одну книжку «Поэмы и стихи» (Париж, 1929). Ср. оценку Ходасевича: «Это — настоящий (хоть и очень еще неопытный) лирик, чуть-чуть старомодный, чуть-чуть щеголяющий своей простотой, но умеющий уже превращать и самую старомодность в прием, то есть сознательно ею пользоваться» (В. Ходасевич. Первые сборники // Возрождение. 10 ноября 1927).

С. 649. ...хорошо составленное стихотворение... —

Мирный ресторанчик
На краю дороги,
Вьется на пороге
Гибкий виноград,
Мак и одуванчик
Жмутся у фонтана,
Клены и платаны,
Темный свежий сад.
Милый друг прохожий,
Посиди немного,
Далека дорога,
И пылает день, —
Здесь, по воле Божьей,
В полумраке сада
Легкая прохлада,
Тишина и тень.

Владислав Ходасевич. Собрание стихов. Впервые: Руль. 14 декабря 1927.

В «Других берегах» Набоков вспоминал о тридцатых годах: «Я очень сошелся с Ходасевичем, поэтический гений которого еще не понят по-настоящему. Презирая славу и со страшной силой обрушиваясь на продажность, пошлость и подлость, он нажил себе немало влиятельных врагов». *Владислав* Фелицианович *Ходасевич* (1886–1939) весьма ценил Набокова и писал, оглядываясь на свои отзывы на протяжении почти десятилетия: «Моя любовь к Сирину, столько раз засвидетельствованная, дает мне право быть к нему очень требовательным» (Возрождение. 22 июля 1938).

С. 649. «Брента» — стихотворение Ходасевича (1923) с эпиграфом из «Евгения Онегина» («Адриатические волны! О, Брента!..»), завершающееся строками:

С той поры люблю я, Брента,
Прозу в жизни и стихах.

С. 650. «Сердце бьется невпопад» — из стихотворения «Так бывает почему-то...» (1920).

...в «Балладе»... — «Сижу, освещаемый сверху... » (1921).

С. 651. ...о том, как с беременной женой... — «Баллада» («Мне невозможно быть собой...»; 1925).

С. 652. Другое стихотворение кончается так... — «Покрова Майи потаённой» (1922).

«Неузнанный проходит Каин...» — «У моря. I» (1922–1923).

«и так отрадно, что в аптеке...» — «Хранилище» (1924).

«и на груди моей ты робко...» — «О, если б в этот час желанного покоя...» (1915).

«прорезываться начал дух...» — «Из дневника» (1921).

...сравнение души с йодом... — «Пробочка» (1921).

«и чтоб мою к себе приблизить высь» — «Про себя. II» (1919).

«и собственный сквозь сон я слышу бред» — «Со слабых век сгоняя смутный сон...» (1914).

«изнемогая в истоме тусклой...» — «Эпизод» (1918).

«что значит знак его спины мохнатой» — «Про себя. I» (1919).

«и с улыбкой страшною немножко» — «Обо всем в одних стихах не скажешь...» (1915).

«много раз я это видел...» — «На тускнеющие шпили» (1921).

...«зонт» вместо «зонтик». — «Буря» (1921).

«я поклонился низко...» — «2-го ноября» (1918).

«ты скажешь, ангел там высокий...» — «Гляжу на грубые ремесла» (1922).

«глаз отдыхает, слух не слышит...» — «Когда я б долго жил на свете» (1921).

Раиса Блох. Мой Город. Впервые: Руль. 7 марта 1928.

Блох Раиса Ноевна (1899–1943) — поэтесса, переводчица, филолог.

Выпустила еще два сборника — «Тишина» (1935), «Заветы» (1939; совместно с М. И. Бородиной), погибла в нацистском концлагере. См.: Р. Блох. Здесь шумят чужие города... Сост., предисл., прим. В. Леонидова. М., 1996. Набоков был дружен с нею и ее мужем Михаилом Горлиным. Впоследствии он сожалел о резком тоне рецензии (A. Field. The Life and Art of Vladimir Nabokov. New York, 1986. P. 104). Слова, заключенные в квадратные скобки, в газетной публикации выпали.

P.S. был опубликован в «Руле» 23 мая 1928 г. в конце рецензии «Три книги стихов».

С. 653. Меркурий — по-видимому, псевдоним филолога Григория Леонидовича Лозинского.

Мариам Стоян. Хам. Впервые: Руль. 7 марта 1928. Сведениями об авторе не располагаем.

Три книги стихов. Впервые: Руль. 23 мая 1928.

С. 654. Божнев Борис Борисович (1898–1969) — эмигрантский поэт, бóльшая часть стихов которого не дошла при его жизни до

читателя: См.: Б. Б. Божнев. Собрание стихотворений в 2 т. Под ред. Л. Флейшмана. Berkeley, 1987; Б. Божнев. Борьба за несуществованье. Собрание стихотворений. СПб., 1999.

С. 655. ...первое стихотворение в книге... —

На землю смертный воду льет
Без радости и без влеченья,
Но в стройный обратить полет
Воды нестройное теченье,
Но к небу устремить струю
Блистательную — смертный любит,
Подобной сделав острию
И вызвав высоту из глуби...

С. 656. ...эпитет «невероятный»... — ср. в «Даре»: «Эпитеты, у него жившие в гортани, “невероятный”, “хладный”, “прекрасный”, — эпитеты, жадно употребляемые молодыми поэтами его поколения, обманутыми тем, что архаизмы, прозаизмы или просто обедневшие некогда слова вроде “роза”, совершив полный круг жизни, получали теперь в стихах как бы неожиданную свежесть, возвращаясь с другой стороны...»

Замечание Набокова-Сирина было опубликовано в «Руле» 20 июня 1928 г. с опечатками в тексте: «о стихах Давида Кнутъ».

С. 656. «Стихотворение» — журнал поэзии и поэтической критики, издавался под редакцией Б. Божнева (вышло два номера).

С. 657. Гингер Александр Самсонович (1897–1965) — автор пяти поэтических сборников, выпущенных в 1921–1965 гг. Ср. характеристику его как «несомненно талантливого, но любившего в своих стихах всяческие фокусы и выверты, порою очень остроумные. За границей он, пожалуй, был единственным любопытным учеником Хлебникова и Маяковского» (М. Слоним. Молодые писатели за рубежом // Воля России. 1929. № 10–11. С. 111). Речь идет о его стихотворении:

Стисни губы, воин честный,
Сердце верой ополча.

На равнине крайней славы
Под светилом ясных дней
Жги Диане среброглавой,
Празднуй деве, знай о ней.

Только стройной, хоть жестокой,
Предоставь любовь свою,
Льва руки и птицу ока
За нее сложи в бою.

Лейся-лейся надо гробом
Самовольная луна,

С белым-белым гардеробом,
С волосами изо льна.

Иль над легшим станьте лестно
Два Астартиных меча.

Присманова Анна Семеновна (1898–1960) — автор четырех сборников, выпущенных в 1937–1960 гг. См.: А. Присманова, А. Гингер. Туманное звено. Сост., предисл., коммент. К. Рагозиной. Томск, 1999. Набоков пишет о следующем ее стихотворении:

На канте мира муза Кантемира
Петровский желчью защищала бот.
И желтый сыр, вися над Чудью сирой,
Рябил черновики его работ.

Ни Кант, неотразимый головастик,
Ни даже голенастый Галилей
Не в силах были желтый контур застить
Извилинами мозговых лилей.

Ордой к баллону на поклон, герои!
Он, путешествуя в кругу небес,
Дрожит на заступе. И роют рои
Сырье, и пнями истекает лес.

Ему лишь ветр препонит, забияка.
Но он, отменно цепеня эфир,
Без смены мерит знаки зодиака,
И в знак того — звенит внизу цифирь.

Андреев Вадим Леонидович (1903–1976) — поэт, прозаик, критик (в том числе автор рецензии на роман Набокова «Приглашение на казнь» — под псевдонимом «С. Осокин»). См.: В. Андреев. Стихотворения и поэмы. В 2 т. Подготовка текста, сост. и прим. И. Шевеленко. С предисл. Л. Флейшмана. Berkeley, 1995. Его стихотворения:

Не звучен свет, огонь не ярок,
И труден лиры северной язык.
О эта скорбь пустых помарок,
Беспомощный и трудный черновик.

Пером просторный лист пропахан,
И черная сияет борозда,
И полон нежности и страха
Твой голос, бедная моя звезда.

Но вот, бумажным, волокнистым,
Зеленым небом стих мой повторен.
Опять меня с блаженным свистом
Одолевает неповторный сон.

И мой несовершенный оттиск,
Двойник стиха, по-новому поет,
И странный вкус небесной плоти
Мне темным чудом обжигает рот.

Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
Тютчев

Прозрачен и беспомощно высок
Осенний голос красок в нашем мире.
О первый звук непостижимой шири,
Последний, чуть холодноватый срок.

Прислушайся, запечатленный голос
Еще звенит и тонет в синеве,
Еще поет на скошенной траве
Последней паутины звонкий волос.

Мы все равно не сможем уберечь
Сухие дни от босоногой смерти.
Ступне прохладной радуйтесь и верьте
И не жалейте прерванную речь.

Познер Владимир Соломонович — см. ниже прим. к рецензии на его сборник, с. 774. Одно из его стихотворений:

Прельстившись зеленью и тишиной,
Я одиночествую вечерами
В саду, где мир кончается стеной,
Полузаросшей травами и мхами.

Ни ветра, ни шагов. Смолкает птичий гам,
Окрестность расплывается, линяет,
И если руку поднести к глазам,
То каждый палец небо заслоняет.

Закатывается за стену день
И все ровнее бьется сердце. Это
На землю, на меня ложится тень
От мне невидимых предметов.

Поплавский Борис Юлианович (1903—1935) — один из эпизодических персонажей «Других берегов»: «...хочу тут покаяться, что слишком придрался к ученическим недостаткам Поплавского и недооценил его обаятельных достоинств». В английской версии мемуаров извинение перед тенью Поплавского несколько подробнее: «Я не встречал Поплавского, который умер молодым, дальняя скрипка среди близких балалаек.

О Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни.

Его гулких тональностей я никогда не забуду, и никогда я не прощу себе раздраженной рецензии, в которой я нападал на него за тривиальные ошибки в его неоперившемся стихе». Стихотворение Поплавского:

Розовеет закат над заснеженным миром.
Возникает сиреневый голос луны.
Над трамваем, в рогах электрической лиры,
Искра прыгает в воздухе темном зимы.

Высоко над домами, над башнями окон,
Пролетает во сне серевеющий снег,
И, пролив в переулок сиреневый локон,
Спит зима и во сне уступает весне.

Расцветает молчанья свинцовая роза —
Сон людей и бессмысленный шепот богов,
Но над каменным сводом ночного мороза
Слышен девичий шепот легчайших шагов.

По небесному своду на розовых пятках
Деловитые ангелы ходят в тиши,
С ними дети играют в полуночи в прятки
Или вешают звезды на елку души.

На хвосте у медведицы звездочка скачет.
Дети сели на зайцев, за нею спешат,
А проснувшись наутро, безудержно плачут,
На игрушки земные смотреть не хотят.

Рождество расцветает над лоном печали.
Праздник, праздник, ты чей? — Я надзвездный, чужой.
Хором свечи в столовой в ответ зазвучали,
Удивленная девочка стала большой.

А когда над окном, над потушенной елкой,
Зазвучал фиолетовый голос луны,
Дети сами открыли окошко светелки,
С подоконника медленно бросились в сны.

Омар Хайям, в переводах Ив. Тхоржевского. Впервые: Руль. 30 мая 1928.

Парижский сборник переводов *Ивана* Ивановича *Тхоржевского* (1876–1951) из Омара Хайяма полностью переиздан в книге: Г. Гулиа. Сказание об Омаре Хайяме. М., 1975. С. 257–299. Некоторые образцы см.: Мастера поэтического перевода XX века. СПб., 1997. С. 141–154.

Ср. отзыв В. Ходасевича: «...перевод исполнен столь опытным переводчиком, как Ив. Тхоржевский, коего труды дважды удостоены были почетного отзыва Академии наук. Для не знающих персидского языка это может служить порукой, что афористические

четверостишия Хайяма дошли до нас неискаженными. И что же? Признаюсь, не могу без улыбки читать эти прославленные, но напоминающие Волгу, впадающую в Каспийское море, изречения:

Вино всей жизни ходу поддает!
Сам для себя обуза, кто не пьет.
А дай вина горе — гора запляшет!
Вино и старым юности прильет!

Или:

О, если бы в пустыне просиял
Живой родник и влагой засверкал!
Как смятая трава приподымаясь,
Упавший путник ожил бы, привстал.

Или (что уж совсем напоминает "Волгу"):

Земля молчит. Пустынные моря
Вздыхают, дрожью алою горя,
И круглое не отвечает небо,
Все те же дни и звезды нам даря».

(В. Ходасевич. Нечаянная пародия // Возрождение. 26 апреля 1928). Ср. также отзыв Е. А. Зноско-Боровского: «Книжка в 200 четверостиший будет привлекать к себе снова всякого прочитавшего ее, она может занять место среди высочайших поэтических, философских, религиозных сочинений у нашего изголовья. Ее можно проглотить за один раз, она может дать повод для размышления и на каждый день. Я не знаю, надо ли после этого говорить о достоинствах перевода? Не знакомый с подлинником Омар Хайяма, я не могу судить, что он выиграл или потерял в русском переложении, но что последнее позволило мне написать эти строки, является, думается, лучшей похвалой г. Тхоржевскому, какую я мог бы высказать» (Иллюстрированная Россия. 1928. № 31).

С. 658. Анэ Клод (Anet Claude; 1868–1931) — корреспондент парижских газет в России, автор романов «из русской жизни»: «Когда земля дрожит», «Ариадна, русская девушка» и др. Сборник его переводов из Омара Хайяма (выполненный в соавторстве с Мирзой Мухаммадом) вышел в Париже в 1920 г.

Антология лунных поэтов. Впервые: Руль. 30 мая 1928.

С. 660. С. Ревокатрат — Тартаковер Савелий Григорьевич (1887–1954), известный шахматист.

О его сборнике «Несколько стихотворений» (1911), отмечая нелепые ошибки в русском языке, Н. Гумилев тем не менее заметил: «Кажется, несомненный поэт... » (Н. Гумилев. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 132). В 1923 г. в Берлине Тартаковер выпустил книгу своих переводов из немецких экспрессионистов

«Певцы человеческого». О нем как о переводчике см. статью Ю. Архипова «Доспех ученого и сказочника шпага» в журнале «64» (1987. № 5. С. 24–26). В интервью 1932 г. Набоков говорил: «...чтобы написать Лужина, пришлось очень много заниматься шахматами. К слову сказать, Алехин утверждал, что я имел в виду изобразить Тартаковера. Но я его совсем не знаю. Мой Лужин — чистейший плод воображения» (Даугава. 1987. № 12. С. 79).

Ср.: «...чудак (кстати сказать, человек даже небезызвестный в иной, внелитературной области) вывернул свою фамилию наизнанку и накропал сборник пошлейших стишков, подписанных именами разных поэтов, тоже вывернутыми наизнанку... » (В. Ходасевич. Собрание сочинений в 4 т. Т. 4. М., 1996. С. 227). Ср. также: «Под конец жизни он помешался, и тогда же начал писать стихи. В предисловии к своей в Берлине вышедшей книжке пояснил, что ему поочередно являются во сне Пушкин и Лермонтов и диктуют свои новые стихотворения. Так что сам он тут ни при чем, просто, мол, записал и напечатал их неизданные стихи. Мог бы прибавить: не его вина, что они на том свете стали писать так плохо. Тем не менее я недавно обнаружил в одном славистском американском журнале статью, автор которой совершенно всерьез цитирует стихи Тартаковера» (В. Вейдле. О тех, кого уже нет // Новый журнал. 1993. № 192–193. С. 375–376).

Арбокед — Морис Декобра (1885–1973), французский беллетрист.

Два славянских поэта. Впервые: Руль. 10 октября 1928.

С. 662. Каспрович Ян (1860–1926) — польский поэт, переводчик.

Влад. Познер. Стихи на случай. Впервые: Руль. 24 октября 1928.

С. 663. Познер Владимир Соломонович (1905–1992) — французский прозаик, в 1920-е годы русский поэт, «от современной французской поэзии взявший свою отточенную сжатость и умение говорить очень простыми, обыкновенными словами о самом главном и значительном. Он только еще в начале своего поэтического пути, но и то, что он написал до сих пор, указывает, что у него несомненный, хотя и скромный талант» (М. Слоним. Молодые писатели за рубежом // Воля России. 1929. № 10–11. С. 110). Ср. отзыв Г. Адамовича: «“Стихи на случай” Владимира Познера прелестны в своей бледной и скромной выразительности, в своей акварельной сдержанности. 〈...〉 Читая стихи Познера, слышишь монолог человека. Это лучшее свойство его поэзии. Познер — правда, не везде и не всегда — договаривается до “настоящих” слов. Поэтому, когда устанешь от того, что какой-то старинный критик назвал “без пяти минут поэзией”, его книжку еще хочется держать в руках» (Современные записки. 1929. Кн. XXXVIII. С. 525). Б. Пастернак отозвался на книгу в письме к В. Познеру:

«Вам книжки не надо (и не приходится) стыдиться. Читать ее было приятно. (...) Но вы уловите сдержанность в моем отзыве. Слух не обманет вас. Все, что я говорю, я сказал искренно. Но с примесью грусти» (Литературное наследство. Т. 93. М., 1983. С. 726).

Нина Снесарева-Казакова. Да святится имя твое. Впервые: Руль. 24 октября 1928.

С. 664. Нина Снесарева-Казакова (1896–?) жила в Праге, где впоследствии выпустила сборники «Тебе — Россия» (1929), «До — Тогда — Потом» (1932), «Рыцари Белого Ордена» (1937). Она существовала в стороне от поэтических кружков (хотя среди эмигрантской литературной молодежи в ходу была ее строчка «Я сестра колчаковских армий»).

Выставка М. Нахман-Ачария. Впервые: Руль. 1 ноября 1928.

С. 665. Нахман-Ачария Магда Максимилиановна — приятельница М. А. Волошина, знакомая М. И. Цветаевой по Коктебелю, автор известного портрета Цветаевой.

Звезда надзвездная. Впервые: Руль. 14 ноября 1928.

В поздние годы Набоков вспоминал об Алексее Михайловиче *Ремизове* (1877–1957): «Я был ему отвратителен. Мы были очень вежливы друг с другом... Единственно прелестное, что в нем было, — это то, что он действительно жил литературой» (A. Field. Цит. соч. P. 188).

Памяти Ю. И. Айхенвальда. Впервые: Руль. 23 декабря 1928.

С. 667. Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928) — литературный критик, в эмиграции — сотрудник газеты «Руль». Его оценки и антипатии во многом совпадали с набоковскими, — например, отношение к Пастернаку как к «одному из темнейших поэтов современности» (Руль. 10 июня 1925). Набокова связывали с ним весьма дружеские отношения, насколько можно судить по письму В. В. Набокова и В. Е. Набоковой к нему от 29 июня 1927 г. На смерть Ю. И. Айхенвальда Набоков написал стихотворение «Перешел ты в новое жилище...» (Наше наследие. 1988. № 2. С. 112–113; публ. и комм. С. В. Шумихина).

Современные записки. XXXVII. Впервые: Руль. 30 января 1929.

Повесть Бориса Константиновича *Зайцева* (1881–1972) вышла отдельной книгой в издательстве «Современные записки».

О *Марине Цветаевой* Набоков упомянул в «Других берегах»: «Однажды с Цветаевой совершил странную лирическую прогулку, в 1923-м году, что ли, при сильном весеннем ветре, по каким-то пражским холмам». В английской версии мемуаров он назвал ее «гениальным поэтом».

Евангулов Георгий Сергеевич (Саркисович) (1894–1967) начинал как поэт в Тифлисе (два сборника в 1918–1920 гг.) и Владикавказе, в Париже выпустил два сборника: «Белый духан» (1921) и «Золотой пепел» (1925).

С. 670. ...зеленый отсвет листьев... — ср.: «Если в моем пробуждении было мало веселого, то и печального, право, не было: прямо над моей головой чирикали птички, а солнце, пробиваясь сквозь негустое кружево деревьев, согревало озябшее за ночь тело».

Борис *Темирязев* — псевдоним художника Юрия Павловича Анненкова (1889–1974), перу которого принадлежит ряд повестей.

С. 671. Из трех стихотворений Ходасевича... — «Лоб», «Веселье» и «Скала».

...три стихотворения Оцупа... — «Нет, не музыка ропот такой...», «Под небом солнечным, среди акаций...» и «Лететь куда-то без сознанья...». Второе, цитируемое Набоковым, см.: Н. Оцуп. Океан времени. СПб. — Дюссельдорф, 1993. С. 98.

О двух стихотворениях Адамовича... —

Что там было? Ширь закатов блеклых,
Золоченых шпилей легкий взлет,
Ледяные розаны на стеклах,
Лед на улицах и в душах лед.

Разговоры, будто бы в могилах,
Тишина, которой не смутить...
Десять лет прошло, — и мы не в силах
Этого ни вспомнить, ни забыть.

Тысяча пройдет, не повторится,
Не вернется это никогда.
На земле была одна столица,
Все другое — просто города.

...sur un lit hasardeux...
Baudelaire

Безлунным вечером, в гостинице, вдвоем,
На грубых простынях устало засыпая...
Мечтатель, где твой мир? Скиталец, где твой дом?
Не поздно ли искать искусственного рая?

Осенний крупный дождь стучится у окна,
Обои движутся над неподвижным взглядом.
Кто эта женщина? Зачем молчит она?
Зачем лежит она сейчас со мною рядом?

Осенним вечером, Бог знает где, вдвоем,
В щемящем запахе простых духов и дыма.
О том, что мы умрем. О том, что мы живем.
О том, как страшно все и как непоправимо.

...стихотворение Лебедева... — Лебедев Вячеслав Михайлович (1896—1969) — поэт, прозаик, переводчик, издал только один свой сборник «Звездный крен» (Прага, 1929). Писал стихи до последних дней своей жизни, изредка печатая их под псевдонимом «Виктор Ляпин» в «Новом журнале» и «Мостах». Ср. о нем:«Вещи и впечатления современного человека постоянно присутствуют в его поэзии и придают ей особый отпечаток. Любопытно при этом стремление Лебедева не описывать эту “модернистскую” обстановку и не восхищаться или возмущаться ею, как это делали футуристы или ученики идиллического Есенина, а принимать ее как обычный, естественный фон, подобный неизбежным лесу и луне ранних романтиков. Эта попытка опоэтизирования современного быта и среднего человека очень типична для Лебедева. От этого вдумчивого и серьезного работника, чуткого ко всем формальным достижениям поэзии последнего времени, следует несомненно ждать дальнейшего развития» (М. Слоним. Молодые писатели за рубежом // Воля России. 1929. № 10—11. С. 112).

Стихи о крыльях

Безумный век, бессменный ураган...
Как можно жить, как может сердце биться?..
— И вот опять летит за океан
Звенящая, распластанная птица...
И радио хрипит на площадях
Еще одно прославленное имя.
— Но ветер над домами городскими
Несет иных, легчайших крыльев взмах
Сквозь вечера и синие бульвары,
Над матовыми солнцами кино,
Туда, в простор, где звездные пожары
И пыль миров, распавшихся давно.
Лети, душа... И, веки опуская,
В последний миг я видел, как легла
Из-за плеча на тротуар сквозная,
Большая тень раскрытого крыла...

Воля России 1929, Кн. II. Впервые: Руль. 8 мая 1929.

С. 671. Сосинский Владимир (Бронислав) (псевдоним Бронислава Брониславовича Сосинского-Семихата; 1900—1987) — критик, прозаик, поэт, в 1960 г. вернулся в СССР.

...глаза Линдберга... — Чарльз Август Линдберг (1902—1974) — американский летчик, совершивший в 1927 г. первый трансатлантический беспосадочный полет.

Ирманцева К. (псевдоним Христины Павловны Кротковой-Франкфурт; 1904—1965) — автор книги стихов «Белым по черному» (Нью-Йорк — Париж, 1951). Ср. запись в ее нью-йоркском дневнике от 9 июня 1940 г.: «На днях была у Сирина, который только

что приехал на “Шамплене” из Парижа. Я в свое время хлопотала у Толстой и у Вильчура, чтобы ему помогли приехать, хотя знакома с ним не была и в свое время его критика моих “Итальянских сонетов” мне не понравилась. Однако на безрыбье и рак — рыба, а человек он безусловно очень талантливый, хотя все его писания мне глубоко несимпатичны, во всем какая-то безжалостность, безлюбовность, бестактное любопытство и механичность» (Rossica euroslavica. 1997. № 1. С. 92).

«Несколько писем Райнер Мариа Рильке» — см.: М. Цветаева. Собрание сочинений в 7 т. Т. 5. М., 1994. С. 317–323.

С. 672. ...автор книжки о Рильке... — Edmond Jaloux. Rainer Maria Rilke. Paris, 1927. Эдмон Жалу (1878–1949) — французский прозаик и критик.

Гл. Гонцов — по-видимому, псевдоним Владимира Ивановича Лебедева (1883–1956), публициста, известного эсеровского деятеля, министра Временного правительства.

Мельникова-Папоушек (Папоушкова) Надежда Федоровна (Филаретовна) (1891–1978) — деятельница чешско-русского сближения.

Ив. Бунин. Избранные стихи. Впервые: Руль. 22 мая 1929.

С. 673. «слов кощунственные творцы» — цитата из стихотворения Блока «За гробом» (1908).

«...пойте, пойте, сверчки...» — «Огонь на мачте».

«и зал плывет...» — «Вальс».

С. 673–674. «воркуя, ходят, ходят турмана...» — «Дия».

С. 674. «звон бубенцов течет, течет...» — «Караван».

«Только звон твой утренний...» — «Князь Всеслав».

«О мука мук...» — «Щеглы, их звон, стеклянный, неживой...»

С. 675. «Земля, земля! Несчетные следы...» — «Лиман песком от моря отделен...».

«Мальчишка негр в турецкой грязной феске...» — «Огромный, красный, старый пароход...».

«о миг счастливый!» — «Раскрылось небо голубое».

Петух на церковном кресте... — из одноименного стихотворения.

На гробнице Рахили... — «Гробница Рахили».

«Земля, земля! Весенний сладкий зов...» — «Растет, растет могильная трава».

И Христос так говорит Матери... — «Канун Купалы».

А. Даманская. Жены. Впервые: Руль. 25 сентября 1929.

С. 676. Даманская Августа Филипповна (1885–1959) — беллетристка, переводчик, критик.

А. Куприн. Елань (рассказы). Впервые: Руль. 23 октября 1929.

Ирина Одоевцева. Изольда. Впервые: Руль. 30 октября 1929.

С. 679. Одоевцева Ирина Владимировна (псевдоним Ираиды Густавовны Гейнике; 1895–1990) — поэтесса, прозаик, мемуаристка. См. рассказ Набокова в письме к Г. П. Струве от 3 июля 1959 г.: «Мадам Одоевцева прислала мне свою книгу (не помню, как называлось — Крылатая Любовь? Крыло Любви? Любовь Крыла?) с надписью “Спасибо за Король, Дама, Валет” (т. е. спасибо, дескать, за то, что я написал К., Д., В., — ничего ей, конечно, я не посылал). Этот ее роман я разбранил в “Руле”. Этот разнос повлек за собой месть Иванова» (Звезда. 1999. № 4. С. 34). Речь идет о рецензии Г. Иванова, мужа И. Одоевцевой, в альманахе «Числа» (1930. Кн. 1).

На красных лапках. Впервые: Руль. 29 января 1930.

С. 681. ...тот злополучный критик... — М. А. Дмитриев.

Эйснер Алексей Владимирович (1905–1984) — поэт, критик, мемуарист. Вернулся в СССР.

...что Бунин — не поэт... — статья А. Эйснера называлась «Прозаические стихи».

Степун, Ходасевич, Тэффи — имеются в виду статьи Ф. А. Степуна (Современные записки. 1929. Кн. XXXIX), В. Ф. Ходасевича (Возрождение. 15 августа 1929; перепечатана: В. Ходасевич. Собрание сочинений в 4 т. Т. 2. М., 1996. С. 181–188), Н. А. Тэффи (Иллюстрированная Россия. 1929. № 27).

«назад идет весь небосвод» — «Петух на церковной крыше». А. Эйснер приводит эту строчку как пример невнимания к согласованию логических и метрических ударений.

...в «дробном» усматривает только дроби? — У А. Эйснера: «архаическое слово “дробный” значит не “маленький”, а “мелкий” и в приведенном смысле совершенно неупотребимо».

Обижается Эйснер и на «астрагал»... — по поводу строк из стихотворения «Обрыв скалы. Как руки фурий...»:

...торчит из скал
Колючий, искривленный бурей
Сухой и звонкий астрагал.

Эйснер писал: «Это растение слишком “торчит” из “скал” и, повидимому, относится как раз к тому семейству, над которым некогда смеялся Достоевский, говоря, что его ни в каком руководстве по ботанике не найдешь».

С. 682. ...гелиотроповые бунинские молнии... — стихотворение «В гелиотроповом свете молний летучих...».

...анатомические кошмары. — По поводу стихотворения «Дедушка в молодости» А. Эйснер писал: «Эти “сплошь темные глаза” могут присниться. Надо утешаться, что слово “сплошь” не для характеристики, а для размера».

...тоже рифмовал «гнезда» и «звезды»... — в стихотворении Гумилева «Капитаны».

...что Эйснер считает недопустимым. — У А. Эйснера: «звезд»— «гнезд» (заимствовано из известного параграфа грамматики).

Ему не нравится бунинская чайка... — по поводу стихотворения «После дождя» А. Эйснер, доказывая, что у Бунина взгляд не поэта, а прозаика, писал: «Действительно, эта сбегающая с лапок далекой чайки ("вон" и "как поплавок" указывают расстояние) розовая вода — подробность у поэта невозможная по самой его психологии».

«уют алькова» — «Просыпаюсь в полумраке...».

«...пошла гулять в лес какая-то змея» — по поводу стихотворения «Раскрылось небо голубое...».

С. 683. ...путает вола и быка... — по поводу стихотворения «Осенний день. Степь, балка и корыто...» А. Эйснер писал, что стих «Рогатый вол, большой соловый бык» «не вызовет смущения только в самой наивной институтке».

Торжество добродетели. Впервые: Руль. 5 марта 1930.

С. 685. «Хижина дяди Тома» — роман Гарриет Бичер-Стоу (1852).

«амба» — конец.

С. 686. граф Монтекристо — персонаж одноименного романа Александра Дюма-отца (1845–1846).

Чичиков — ср. в книге «Николай Гоголь»: «Утром по воскресеньям он натирает одеколоном свое недочеловеческое малопристойное тело, белое и жирное, как у гусеницы древоточца» (перевод Е. Голышевой); в 1927 г. на вечере памяти Гоголя в Берлине Набоков говорил о нем как «художнике слова» и показал новые стилистические приемы, введенные Гоголем в русскую литературу (Руль. 17 мая 1927).

СОДЕРЖАНИЕ

ЭССЕ. РЕЦЕНЗИИ

Набоков В. В.

Н 14 Русский период. Собрание сочинений в 5 томах / Сост. Н. Артеменко-Толстой. Предисл. А. Долинина. Прим. М. Маликовой, В. Полищук, О. Сконечной, Ю. Левинга, Р. Тименчика. — СПб.: «Симпозиум», 2009. — 784 стр. (т. 2).

ISBN 978-5-89091-389-0 (т. 2)
ISBN 978-5-89091-381-4

Настоящий том собрания русскоязычных произведений Владимира Набокова (1899—1977) посвящен периоду 1926 г. — первая половина 1930 г., когда были опубликованы его первые романы: «Машенька» (1926), «Король, дама, валет» (1928), «Защита Лужина» (1930), — а также рассказы и стихотворения, не вошедшие в прижизненные сборники, драма «Человек из СССР» (1927) и другие сочинения, в числе которых впервые републикуются перевод отрывка из поэмы Теннисона «In Memoriam» (1926), рецензия «Выставка М. Нахман-Ачария» (1928) и небольшая заметка-постскриптум о стихах Довида Кнута (1928). Здесь впервые представлена полностью рецензия «Ирина Одоевцева. “Изольда”» (1929). Во всех возможных случаях тексты сверены с первоизданиями, сопровождаются подробными примечаниями.

Владимир Набоков
Русский период
Собрание сочинений в 5 томах
Том II

Составление
Н. И. Артеменко-Толстой

Отв. редакторы *А. К. Кононов, М. В. Козикова*
Редактор *М. В. Козикова*
Художник *М. Г. Занько*
Технический редактор *Е. И. Каплунова*
Верстка *И. В. Петровой*
Корректор *Е. Д. Шнитникова*

Издательство «СИМПОЗИУМ».
190000, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 47.
Тел./факс +7 (812) 571-45-02; 580-82-17.
E-mail: symposium@yandex.ru

Подписано в печать 12.01.09.
Формат 84x108/32. Усл. печ. л. 41,16.
Тираж 1600 экз. Заказ № 14213

Отпечатано по технологии CtP
в ОАО «Печатный двор» им. А. М. Горького
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.